

В. В. Розанов



Возрождающийся Египет





В. В. Розанов

Возрождающийся Египет





В. В. Розанов

# Возрождающийся Египет

Возрождающийся Египет

Апокалипсическая секта  
(Хлысты и скопцы)

Малые произведения  
1909—1914 годов





**В. В. Розанов**

**Собрание  
сочинений**

В. В. Розанов

# Возрождающийся Египет

Возрождающийся Египет

Апокалипсическая секта  
(Хлысты и скопцы)

Малые произведения  
1909—1914 годов

Собрание сочинений  
под общей редакцией  
А. Н. Николюкина

Москва  
Издательство "Республика"  
2002

Российская академия наук  
Институт научной информации  
по общественным наукам

Составление и расшифровка  
впервые публикуемого  
рукописного текста

*А. Н. Николюкина, В. Н. Дядичева,  
С. Р. Федеякина, П. П. Апрышко*

Послесловие

*С. Р. Федеякина*

Комментарии

*В. Н. Дядичева*

Указатель имен

*В. М. Персонова*

**Розанов В. В.**

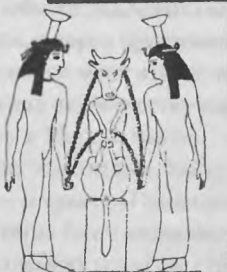
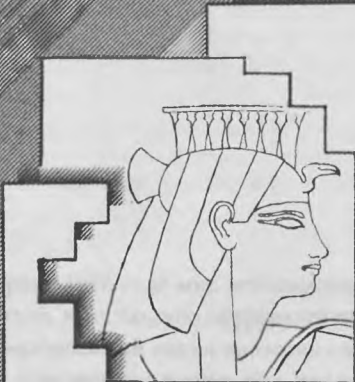
Р 64      Собрание сочинений. Возрождающийся Египет / Под общ. ред.  
А. Н. Николюкина. — М.: Республика, 2002. — 526 с.  
ISBN 5—250—01840—8

В настоящий том Собрания сочинений В. В. Розанова вошли произведения, относящиеся к последнему периоду его творчества: «Возрождающийся Египет» (1917—1918; публикуется впервые по рукописи), «Апокалипсическая секта» (1914), «Библийская поэзия» и другие произведения 1909—1914 годов. В поисках обоснования своей философии пола писатель обращается в них к религиям и культурам древнейших цивилизаций — Египта, Вавилона, Иудеи.

Адресовано всем, кто интересуется философией, религией и культурой.

**ББК 87.3**





Возрождающийся Египет



## <Предисловие>

20 апреля 1916 года мне исполнилось 60 лет. И треть века, приблизительно с 1881 года, я достаточно потрудился пером. «День рождения» я решил перевести в «юбилейный год» и провести с моими дорогими, с моими милыми читателями, поделившись с ними тем, что всего я более люблю...

А более всего я люблю египтян. Не буду отвергать и не буду порицать: в день и год юбилея надлежит быть мирным. Но никогда греки и римляне меня не притягивали, а евреи притягивали лишь временно, — и, как я потом догадался, они притягивали меня отсветом, какой на них упал от Египта. Корень всего — Египет. Он дал человечеству первую естественную Религию Отчества, религию Отца миров и Матери миров... научил человечество молитве, — сообщил всем людям тайну «молитвы», тайну псалма...

Тоже — и чувство Провидения, Судьбы. Тоже — что человек может впасть в «грех» и тогда будет «наказан»... Основные и первые религиозные представления, — фундамент религии, столбы религии, — сложены были в Египте. О, это гораздо выше пирамид, крепче пирамид, вечнее пирамид. Это не «вечные» — сравнений с этим не может быть — это просто вечно.

Нужно мне и всем людям будет всегда нужно.

Начала цивилизации на самом деле были положены не греками и не евреями. Авраам, первенец от иудеев, пришел в Египет, когда он уже сиял всеми огнями. Авраам лепетал, когда Египет говорил полным голосом взрослого мужчины.

Все народы — дети перед египтянами, а следовательно, и вся история — египетское дитя. Но неблагодарные дети забыли об Отце своем. Вот о Нем-то мне и захотелось в день и год 60-летия поговорить с добрыми читателями.

*В. Р.*



# Выпуски I—III

*Ах, эти огни уже погасли.  
— Не печалься, друг мой  
Розанов: эти огни никогда  
не могут погаснуть (голос сзади).*

*Египет все видели — путешественники, ученые, ре-  
стораторы из Александрии и из Каира.  
Все, кто лазили по пирамидам и вытискали там бумажку  
шампанского.*

*— Египта никто не видел и ты вошел в него  
первым (голос сзади).*

*А открывшие чтение иероглифов?*

*— Они и были заняты разбором иероглифов от  
буквы к букве и от строки к строке. Но не окунули  
душую «разлом» и «все» (тот же голос).*

*Разве химик или ботанику, разгадающему  
«клетчатку листа», приходится на ум, что это «вайн  
из-под ног Спасителя»?*

## ВЕЛИЧАЙШАЯ МИНУТА ИСТОРИИ

«Римская империя», Сборник статей в переводе А. С. Милуковой. Спб., 1900. — Юлиан Кулаковский. «Смерть и бессмертие в представлении древних греков». Киев, 1899. — Густав Флобер. «Саламбо», роман. — Ф. В. Фаррар. «Соломон, его жизнь и время». Спб., 1900. — «Ветхозаветный храм в Иерусалиме». Исследование проф. Олесницкого. Издание Православного Палестинского Общества.

Передо мною ряд книг, частью только что прочитанных, частью давно составляющих любимое занятие. Сборник г-жи Милуковой (667 стр.) составлен в меньшей части из русских оригинальных исследований и в большей части из переводов новых западноевропейских трудов (в отрывках) и древних памятников. Тут возле статьи проф. Герье «Август и установление Римской империи» помещен перевод открытого и изданного Момзенем анкирского памятника «Res gestae divi Augusti» — автобиография Августа. Риторический труд Фаррара не смеет отрешиться от установившегося тона при изложении библейских предметов; он вздымает крылья, но не летит, не хочет остаться на месте и остается на месте. Знаменитый роман Флобера дает кое-что, но в общем преисполнен олеографической мазни кровью и бесчеловечной грубостью. Несравненно глубже всех превосходная работа профессора Киевской духовной академии Олесницкого, реставрирующая в мельчайших деталях скинию Ветхого Завета и Соломонов храм. Но что эти труды перед темою?! Она — бесконечна. Величайшая минута истории — вот

имя тех двух-трех веков, на которых совершился перелом от — дохристианской к христианской эре. Историки пишут об этом переломе исследования, романисты — романы; и даже публицисты берут из той эпохи краски на свою палитру. Знаем ли мы ее? Да, по памятникам. Понимаем ли? Едва ли.

Многие ли, например, знают, что день 25 декабря, «праздник рождества Христова», когда мы так радостно спешим в христианские храмы и зажигаем восковые свечи перед темными ликами в них, установлен и принят был новою религиею как *компромисс с митрианством* и принадлежит собственно циклу верований этого звездного мидийского божества? У В. В. Болотова, недавно умершего высоко талантливого профессора С.-Петербургской духовной академии, есть исследование: «День и год мученической кончины св. евангелиста Марка». Попутно он входит в величайшие детали календарного расположения праздников, и вот здесь, опять попутно же, входит в сообщение фактов совершенной неодолимости для раннего христианства митрианского культа, — о том, что спор «про» и «contra» решительно колебался, и притом не в сторону христианства; и когда, наконец, победа была вырвана у язычества, то чтобы что-то затушевать, скрыть, — чтобы принять в себя и *приписать себе главный митрианский праздник возрождающегося Солнца, совершавшийся у язычников-римлян 25 декабря* — это число декабря месяца было принято христианскими епископами, вождями борьбы, за «день Рождества Христова». Признаюсь, прочитав это, я затрепетал. Точно я увидел кусок мяса или крови, еще живой и дымящийся, вырванный из столь давно минувшей борьбы. «Так вот как горячо было дело!»... Кто же не знает и еще факта, что Константин Великий, уже давший торжество христианству, провозгласивший его государственною религиею, получивший чудесное знамение Креста Господня на небе, крестился всего за несколько дней до смерти, как бы говоря всем этим: «Оно восторжествовало в империи, но не в моем сердце!» Ибо когда легионы, население, чиновничество были христианскими, когда уже собрался Никейский собор и установил главное очертание церкви, что могло одинокую душу императора удержать от шага, политически столь нужного? «Антонин Пий воздвигает храм Митры в устье Тибра, в Остии; при Марке Аврелии статуя Митры появляется на Ватиканском холме, в Риме, — на том самом месте, где теперь возвышается храм св. Петра», — пишет Жан Ревиль в книге «Римская религия во времена династии Северов». Да что такое «Митра»?!! Никто порядочно не знает, не знает внутренно и по существу. Когда читаешь исследования, поражаешься каким-то хламом суеверий, ни на одну минуту не останавливающим внимания. Внимание останавливается историей постепенного введения культа: его узнали впервые *от морских пиратов*, разбитых Помпеем; но отзывы «об этом суеверии» так презрительны и пренебрежительны долгое время, в течение приблизительно двухсот лет, как только это могли бы делать мы по тем лоскуткам известий, какие дошли до нас. Но потом *что-то узнали о нем*. Что? — Неведомо. — Марк Аврелий — не чета разбойникам, его читаем мы, на него немного лет назад указал Толстой как на величайшего мора-

листа: и вот он воздвигает Митре алтари. Очевидно, мы чего-то такого не знаем, что знал Аврелий, что составляет в культе Митры, — да и вообще в язычестве, — главное, и, не зная о чем, мы, в сущности, вовсе не понимаем кровь, жилы и нерв величайшей исторической минуты. Что такое *было*? В чем заключалось *дело*? Откуда борьба не только в жизни, но, очевидно, *и в сердцах*?

Ведь мы как себе представляем эту эпоху и самый перелом? — «Мир утопал в разврате; цезари пьянствовали, женщины распутничали. Мессалины, Мессалины и Мессалины; Нерон; бессильный Тацит; жгучий Ювенал. Приходит ап. Павел и проповедует Распятого. Свет победил тьму», — и Семирадский, как и Сенкевич, получили сюжеты для своих талантов. *Так* ли было дело? Так ли оно *просто*? Не было ли тоски и действительного недомогания? И тогда — *в чем* оно?

Нет ли языческого сейчас во мне, в вас, читатель, но чего мы не замечаем? Вот нить исследования, путь разгадок. И, проще всего, не произносим ли мы иногда слово «бог» или «Бог» с такими оттенками и в такие минуты собственного положения или окружающей нас обстановки, когда решительно нет повода вспомнить ту особенную проповедь, те частные указания и конкретные имена, которые принес ап. Павел в Рим? Да, есть!

Когда волнуется желтеющая нива  
И свежий лес шумит при звуке ветерка

.....  
Тогда смирятся души моей тревога...  
И в небесах я вижу Бога.

Вот очень странное стихотворение! Если бы цензор, просматривая его, предложил автору прежде одобрения исправить последнюю строчку в том смысле, как проповедовал это ап. Павел, т. е. что «и в небесах я вижу Иисуса Христа», то Лермонтов ужасно смутился бы, взял бы стихотворение домой, долго бы над ним думал и, наконец, решился бы лучше вовсе его не печатать, чем сделать поправку совершенно неверную относительно *состояния его души и предмета стихотворения*. Вот точное изображение приснопамятной борьбы. Богословия еще тогда не создано и не было религиозной системы; было одно Евангелие: и сущность борьбы заключалась в том, чтобы *везде*, где языческий мир чувствовал душевную нужду назвать *имя Божие без точнейших определений*, христиане стали требовать, чтобы вставлялось *конкретное и определенное имя*, называемое *везде* в Евангелии. Мы за тысячу лет к этому привыкли. Но ведь этой тысяче лет тогда не было. До сих пор я помню обрывки песни, производившей на меня впечатление в детстве; в ней поется об узнике, несправедливо ввергнутом в темницу, и тут — картина ночи и часового под решетчатым окном:

И на штыке у часового  
Горит полночная луна.



Стихотворение, конечно, плохо, потому что как же кроткая и бледная луна «горит»! Но вот последние две строчки, в которых автор-певец успокаивает узника:

Но *есть на свете Провиденье*  
И на святой Руси — отец.

Т. е. на земле есть «царь», а «в мире есть Провидение», которые не оставят до конца несправедливости. Теперь, если бы в заключительных строчках мы на место «Провидения» вставили или предложили поэту вставить: «потому что был, и умер, и воскрес Иисус, сын Марии, обрученной Иосифу», то опять вышло бы недоразумение, нежелание поправить и прямо невозможность поправки, раскрывающие странным расхождением своим смысл древней борьбы. Была ли в древности вера в Провидение? Несомненно! В бессмертие души? Конечно, — была сильнейшая вера, о которой говорят элевзинские таинства и диалоги Платона. Знали ли древние Творца мира? О нем постоянно говорят Платон и Аристотель. Вера в Бога была до такой степени сильна, что, например, обращением к Богу начинается знаменитая речь «О венке» Демосфена, а Платон кончает молитвами многие из своих диалогов, напр. «Федр». Можем ли мы представить Спенсера, который заключал бы молитвою «Социальную статику» или «Книгу о воспитании»? Смешно об этом спрашивать. Но если бы что-нибудь подобное случилось, то его бы назвали «святошей». Между тем никаким насмешливым именем не обзывали древние Демосфена и Платона, и, следовательно, напряжение веры как у светил своего времени, так и у общественной массы, — прямо было в конце язычества ярче, серьезнее, так сказать, — трагичнее, нежели у нас сейчас, т. е., во всяком случае, еще не при конце христианства. Таким образом, формула: «Мир погибал, цезари пьянствовали, женщины развратничали, пока и т. д.» — не имеет никакого под собою фундамента, и мы просто не знаем: *да что же такое совершилось тогда?*

Собственные имена богов древности, как и весь Олимп и Капитолий, не имеют никакого значения, что видно из легкости, с которою они заменяли Юпитера Митрою, а греки-Птоломеи, т. е. поклонники Зевса и Геры, придя в Египет, усердно реставрировали древние храмы Озириса и Изиды. Можно сказать, что теизм человечества разделяется на христианский и вне-христианский, причем последний везде был один, состоя из веры в Провидение, Творца мира, загробную жизнь и будущий Суд над злыми и добрыми. Но это все входит и *в нашу веру*, бесспорно, — однако, возникнув *ранее ее*. Борьба между христианством и внехристианским теизмом и заключалась в долгом недоумении древнего мира, в долгом его страхе: входят ли, — и как входят загробный Суд, бессмертие души, Всевидящее мировое Око, — в краткий и тесный рассказ, принесенный из Галилеи, который они знали не *под углом нам известного богословия, куда вошли все эти древнейшие и обширнейшие верования*, но именно как рассказ о 33-х годах жизни, о распятии и

воскресении, об определенном Лице и определенной стране. — «А мир?» — спрашивали они. — Разве он без Творца? Разве мы, несчастные люди, без Провидения?» Сейчас и тогда на все эти вопросы не могли отвечать христиане; на них ответили века христианского мышления, ответили *потом*, ответили *позднее*. И вот, как кажется, главная причина *упорства* древнего мира перед историей из Галилеи.

Теперь оглянемся на себя. Известно, как принимали новичков в Запорожскую Сечь. Новичка приводили к кошевому и тот спрашивал:

— В Иисуса Христа веришь?

— Верю.

— И в Пресвятую Богородицу веришь же?

— Верю.

Удостоверившись, что пришедший не бусурман, а христианин, кошевой повелевал его зачислить в войско. Человек становился «казакком», т. е. до известной степени «рыцарем креста и христианства». И мы все на вопрос: «Кто вы?» — отвечаем: «Христианин», а на дальнейший об этом вопрос разъясняем:

— Мы называемся христианами, *потому что верим в Иисуса Христа, Бога нашего.*

— Бога?..

— Сына Божия.

Но ведь это колоссальная разница, ибо «Иисус, сын Марии, обрученной Иосифу», не покрывает, значит, и не исчерпывает *теизма*; он составляет только второй и средний момент его. И кто же знает, в остальные 2/3 теизма неуместимо ли неопределенное чувство Бога у Демосфена и Платона, их очень ясные и до сих пор доказуемые идеи, да и вообще не лежат ли там, говоря историческим языком, и «эллин и иудей»? Вдруг, сразу, в первом, втором и третьем веках нашей эры, цивилизованному, старому и очень еще пламенно веровавшему миру, был предложен христо-теизм. Он отказался. Мы теперь, через девятнадцать веков, знаем, что это есть 1/3 полного теизма, но древнему миру он был предложен как весь и полный теизм. Он имел право отказаться. Вот чего не разобрали историки, все не разобрали. Что же такое эти 2/3 теизма?

Мы очень мало вдумываемся в глубочайшую философию, скрытую в нашем Символе веры, которую необычайно сжато сформулировали отцы Никейского собора, — так сжато, а для нас и так привычно, что мы ее повторяем, как дьячки, которые вместо «Господи, помилуй», сорок раз повторяемого, уже сливают это в какое-то гудение: «би-ли-би-ли-Господи». Велико действие привычки и — забвение, беспамятность, ею порождаемая. «Веруем в Бога-Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимого и невидимого». Что здесь не умещается? Что сказал бы древний мир, если бы формула эта, изреченная церковью в четвертом веке, была предложена апостольскими учениками в первом и втором веке тому же Марку Аврелию, Антонину Пию, Александру Северу? «В это *всегда* мы веровали! О нем — наши гим-

ны, об Отце светов, и даже в тех словах, как вы говорите: «Света от Света, Бога истинна от Бога истинна»! Ведь нужно же что-нибудь понимать в древностях. «Мир видимый и невидимый, феноменальный и трансцендентный, и в центре его как зиждитель — Бог», это есть альфа древней веры, которая без всякой перемены вошла в первый член нашего Символа. Можно сказать, в борьбе внехристианства с христианством только и делалось, что первый член Символа отстаивался от второго, пока на Никейском соборе они согласовались и не найдена была мировая «эврика». Но все мы, до сих пор мы все, совершенно вопреки богомудрости отцов четвертого века, незаметно для себя впадаем в отрезанный и обрубленный евангелизм, в Христо-теизм; — и, ничего конкретного не соединяя с Богом-Отцом, ничего в мире и в себе не отыскивая, что относилось бы — по Символу «не слиянно» — к Нему, опять выходим из полноты собственной веры.

— Вы кто такой?

— Христианин, т. е. признаю Богом Иисуса Христа.

Это, конечно, истинно, но не полно, — против Никейского Символа веры не полно, — представляя только второй член его. До чего забвение всеобщее, можно видеть из примеров Гёте и Вольтера, которые решительно отказывались понять «Троичность Единого», прямо смеялись над этим, как над арифметической невозможностью. И у нас многие смеются, просто и чистосердечно не понимая. Между тем это не только понятно, но *только это-то и понятно*, т. е. когда около Научителя высочайшего нравственного закона поставлено Предвечное Око, блюдущее мир, Свет светов, Провидение и Судия, угаданное, да и, наконец, определенно почувствованное, хотя и различно наименованное, между Тибром и Ефратом, Нилом и Пропилеями, — между древним Авраамом и до Константина Великого.

До какой степени это так можно видеть из следующего. Кто из православных, войдя в католическую или протестантскую церковь, взял бы частицу св. даров и причастился? — Никто! — Перекрестился бы по-ихнему? — Никто же! — Они в нашей церкви? — Тоже ничего бы не сделали. Между тем вера в Иисуса Христа, в Бога-Отца, полное признание галилейского события, принесенного на Запад апостолами, у них и у нас одна. Решительно — мы одной веры, мы «христиане» все. Читатель не знает и высокой степени удивится, если я скажу ему, что в Иерусалимский храм Соломона, — да, в тот храм, где поучил наш Спаситель, в который входили пророки... в храм этот входили и эллины, не как зрители, а *для совершения некоторых низшего разряда жертв и служений*. «Язычники допускались к участию в иерусалимском культе, — от них принимали все жертвы по обетам и жертвы добротные, так называемые недавог и недарим, т. е. всесождения, хлебные приношения и возлияния. Не принимались от язычников только специальные еврейские жертвы — как жертва за грех, жертва от гноеточивых и родильниц» (смотри все истории Талмуда). Ученые вяло и сонно приводят эти факты, не падая со стула от страха: хотя вся причина упасть — есть. Ибо ведь это в переводе на факты теперешней религиозной жизни говорит о та-



кой близости язычества и иудейства, какой еще нет между католиками и православными, между лютеранами и католиками. Ибо факт таков, как бы у нас был обычай и слово: «Причаститься католику у нас нельзя, а вынуть просфору и поставить свечку — можно»; или: «Нельзя пастора позвать служить нашу литургию, но позволить ему отпеть панихиду по умершим — можно, справить молебен у него — можно же». Между тем как вся сумма нашей психики и вся сумма совершившегося — и почувствованного, и действительного — разделения между протестантизмом и православием не допускает этого! Таким образом, мы от лютеранина религиозно стоим дальше, чем афинянин стоял религиозно от кого-нибудь из колена Вениаминова. Между тем «Вениаминова вера» есть немножко и *наша* («Ветхий Завет»), и этого мы не скрываем от детей, учеников гимназий. Между тем не только от гимназистов, но и от ученых скрыто, что через это посредство «жертв греков в иудейском храме» мы имеем что-то *свое* и в Эллинском Символе исповедания!! Как же не упасть со стула, если есть живой ум и воображение? С другой стороны, *четвертый месяц года* издревле и сейчас называется у евреев «Таммуз», а это — имя самого любимого божества сиро-финикийских городов. И пророк Иезекииль в одном месте жалуется: «О, еврейские женщины! Вы сидите в храме и сплетаете одежды Таммузу». Это смешение волн теизма вовсе было бы невозможно, если бы суть его, от коего до нас дошли щебень и камень, обломки обесмысленных надписей, не была подобна как бы четырем полостям нашего сердца, которые в разное время сжимаются; но через все их бежит одна кровь, хоть в разные моменты и разного цвета. Но мы показали, что и посейчас мы воздыхаем иногда языческими воздыханиями, и говорим в стихах то, что могло бы без противоречия поместиться в сборнике древнейших восточных гимнов. «Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна»... Этот момент *рождения, рождаемости в Божестве* — опять это альфа теизма в Гелиополисе и Вавилоне.

Я люблю на Литейном, близ Окружного суда, церковь, которой темно-синий купол усеян золотыми звездами. *О звездном небе ничего нет* в Евангелии, и это не есть *евангелическая* часть нашего теизма. Между тем я читаю у пророка Амоса (гл. 5) слова с очень точным наименованием одного созвездия: «Кто сотворил *семизвездие* и *Орион* и претворяет смертную тень в ясное утро? Господь — имя Ему», и в следующей главе какое-то странное упоминание, по-видимому — о Скинии Моисеевой, но с удивительным осложнением: «Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и *звезду* бога вашего Ремфана, изображение которого вы сделали для себя». — «Вот я вам, за ваши *звездочки* и *луночки*, и опахала, и цепочки на ногах...» — грозит Исаия еврейским женщинам (гл. 4). Странно. В костюме одежды переходит нечто священное или бывшее священным, по крайней мере — у народа, столь ритуального и в одежде, как библейские евреи. Да упоминание о «звезде», изображение которой будто бы носилось евреями в пустыне, не оставляет никакого сомнения о священном трепете евреев при воззрении на звез-

ды, «и на семизвездие, и Орион». Между тем трепет к *звездам* есть часть, есть неперемнная часть религий Фив и Вавилона. Я не знаю, почему, но я трепещу при воззрении на звезды, «умные очи», очи «из неба на меня», и все мне хочется прочесть там мою судьбу, рок о мне, — заботу провидения. Верю, верю с поэтом:

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,  
*И звезда с звездою говорит.*

Т. е. верю *жизни* небес, что они — живут, что они — не холодны и что они суть именно «многоочитая» одежда божества, «очи спереди и сзади и внутри и снаружи божества», как их описывал в тайносказании Иезекииль. Но эти звезды, и именно в куполе храма, — я их видел и срисовывал из атласов различных экспедиций в Египет. Ничего в Евангелии о созвездиях; в Египте — они всюду; и они же на дорогах наших церквах, но уже без памяти — *откуда? как?..* Я говорю, древность не умерла; но, потеряв имена, — вечною в ней сутью она вошла в суть нашего теизма... Ни эллин, ни иудей не умерли, и не могут умереть.

«Я поклоняюсь *святому чуду мира*» — кто меня остановит, если я так скажу? Между тем на Акрополе, и в Капитолии, и в Фивах, и в Вавилоне и поклонялись, и умилялись, и лили слезы перед «святым чудом мира», и о нем же задумался в колебаниях Константин, о нем размышлял Марк Аврелий; его мы чувствуем все сейчас. Чудо мира — в смысле недоступности для разумения; но и еще далее и глубже — *святость мира*: ибо где же в нем не Бог? Я поклоняюсь памяти святого; но еще я хочу поклониться изображению его, хотя в нем нет его, а только связь моей памяти и точной с него копии. Но также и никто меня не остановит, если я поклоняюсь звезде, как иконе Вечной Премудрости, как точке касания перстов Божиих? Если *снимок* есть «образ», то «образ» есть и *звезда*, и «семизвездие, и Орион». Вот как далеко все идет и вместе как просто! На одно недоумение Пушкина Филарет ответил прямо египетским стихом, т. е. вечною и везде истинною, которая, однако, ранее всего почувствовалась и была прямо названа, формулирована в Египте. Пушкин затосковал, смутился, — петербургский дэнди спросил в унынии:

Дар напрасный, дар случайный,  
*Жизнь*, зачем ты мне дана?

.....  
Кто меня враждебной властью  
Из ничтожества воззвал?

Филарет ответил, из души, из глубины своей души, не размышляя и сейчас же ответил:

Не напрасно, не случайно  
*Жизнь от Бога нам дана...*

Какой краткий ответ! С какой радостью мы его все слушаем! Но очнемся, откуда это? «Жизнь нам», увы, дается так же, как и каждой твари, и как в цветке дается жизнь растению, и огромному баобабу, и едва видной травке. Можем ли мы сказать о *всех* этих моментах дарования жизни, что тут — «Бог» и «от Бога»? Мы вспоминаем лотосы в египетских храмах. Так неужели им верить?! Филарет верил. Не — «Бог», конечно, но — «жилище Бо-

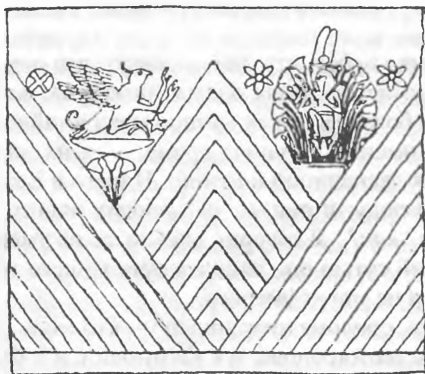


Рис. 1.

Изображение на основании колонны храма в Исне (Lato polis). Взято из 1-го тома, табл. 80, «Description de l'Égypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faits en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, publié par les ordres de S. M. l'Empereur Napoleon le Grand». Paris, MDCCCXII.

Египтяне вечно брали природу в синтезе, а не в анализе, чувствовали ее синтетические токи и направления, а не разлагающие. Можно, однако, это принимать и так, что они «разнообразие природы сводили к единству». Мысль остается одна и та же в обоих выражениях. Только эти люди природу *не умерщвляли*, как бы «химии они не предполагали и не предвидели самой ее возможности». Без этого *синтеза* и влечения к нему, тайной *радости о нем*, — не встречается почти ни одного египетского изображения.

Здесь мы имеем: *птичка подняла человеческие у себя руки* кверху, — в восторге и вместе в умирении, — как мы привычным теперь для нас жестом (но в Египте-то это было *впервые и вновь*) «всплескиваем руки» или «подымаем молитвенно кверху» (и что «молитвенно» — об этом говорит звезда перед нею), — обратясь личиком к человеческой фигуре, сидящей на лотосе и окруженной лотосами, *расцветшими* попеременно с *уготовляющимися к расцвету* (бутоны). «Роды» ли это человека из цветка, нет ли, — но к этому близко, тени этого носились перед египетским умом. Однако по присутствию *бутонов* мы заключаем, что птичка «так сложила ручки» при зрелище человека в его *рождающемся моменте*.

жие»; и как звезда есть образ, так образ же есть и цветок — как еще другая точка касания Божьих перстов. Не везде одинаково это касание, «печать» Божия не всюду одинакова: — есть точки избранные, есть точки особенные. В лице нашем насколько «глаз» особеннее «остального»! Он — точно в лице еще особенное лицо, новое, глубочайшее, изнутри проглядывающее! «Сколько души» в глазе! «Сколько Бога» — в цветке! В стебле — его меньше; в коре — совсем мало; в камне — ничего. Камню я и не молюсь, тоже — коре; но о цветке... все-таки могу сложить мистико-религиозную песенку; и тоже — о звезде... «и семизвездии, и Орионе». Звезда и цветок имеют много богоприсутствия в себе. Древние так и говорили: «Вы нам проповедуете высшую мораль; но ведь еще есть трансцендентность, есть мир-загадка, есть мир-чудо: как это у вас, в каком положении?» — Три века и шел спор. — «Вы должны любить и врагов, а не одних ближних: Он сказал». — «Но что Он сказал о звездах и цветке»? — «и о Промысле над звездой и цветком»? — «и о том, откуда в цветке и во мне жизнь?» Это совсем разные вопросы. Разную категоричность этих вопросов не уловил и Гёте, не говоря уж о Вольтере. «Правила поведения» нисколько не есть то же, что загадка о силе «роста растения». «Такой нравственности мог научить только Бог», — говорю я, читая Евангелие, и не слушаю Ренана, отмечаю Штрауса. — «Но и такую прелесть мог сотворить только Бог», — говорил древний, указывая на кувшинку в пруде, образ которой он перенес в храм. Да, Бог везде... «в видимом и невидимом»; он «видимо» жил между нами 33 года; но гораздо ранее Ему же пять тысяч лет молились как «Невидимому» в храмах, главная и всеобщая черта которых была полное отсутствие изображений, иначе как в аллегорическом смысле.

Нам хочется кончить мысль свою почти иллюстрацией. Известно, что Соломонов храм был только развитием, расширением Скинии Завета, план которой, при сокрытой мысли, дан был Моисею на Синае Богом. В то же время этот храм воздвигали архитекторы и мастера Тирского царя Хирама. Вот мост между Синаем и Тиром, устои которого стоят еще сейчас, а перила и перила снесены памятными событиями. В храме был жертвенник — святейшее место; в Скинии был он же. План жертвенника и опять же его тайная, нерассказанная мысль, была дана Богом. Между подробностями устройства

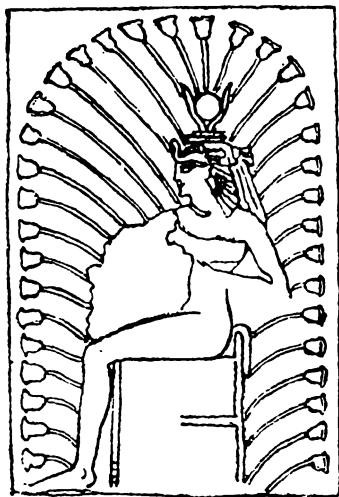


Рис. 2.

Рисунок взят с табл. 67-й того же издания. Часть рисунка обломана, — и линия та, где «ребенок сосет грудь матери». Синтез здесь выражен в рогах коровы. Объемлющий диск солнечный на голове матери. Все — как *adoratio* <обожание — лат.> материнства.

жертвенника замечательна одна: под верхней его доской находилась земля и камни — не тесанные. Мысль целостности проходит во всем израильском священнослужении: «священник должен быть без болезни и не урод», «пасхальный агнец — без порока и однолетний», а Агнцу мира, жертве за грех мира, «не были перебиты голени». Везде проходит мысль органической целостности. Еще одно упоминание Библии: в огонь жертвенный нельзя было бросать дров с загнившим или червивым сучком, ибо это — «грех», такое дерево было противно священному пламени. Везде — одна мысль: мысль о «жизни» как противоположении «смерти». Но в жертвеннике, который весь свят, были точки исключительной и страшной святости: это — рога по четырем углам его. Это за них ухватился Иоав, преследуемый воинами Соломона, перед смертью. «И ухватился Иоав за роги жертвенника», — сказано в четвертой книге Царств: это — убежище и прибежище, храм в храме, «сердце» жертвенника. Удивительно, что историки не обратили на это внимания. Если есть рога — есть и тот, у кого бывают рога; если они были столь священны, очевидно, они не были «архитектурным украшением». Но где же он? Где же Тот, кому они принадлежат?! Все мы читаем в Апокалипсисе о Предвечном Агнце и не удивляемся, не поражаемся, привыкли. Знаем и Пасхального Агнца Библии, что-то знаменующего. Агнец — ягненок: вот у кого могут быть «рога». Но где он? — Уходит в жертвенник, сокрыт в нем, невидим — по общему закону невидимости, но не отсутствия, которая проведена в Скинии и повторена была в храме. «Невидим», но «есть»; и что он «есть» — свидетельствуют рога, которые одни выставлены из жертвенника. Жертвенник похож на агнца ли, тельца ли с наброшенной на него рогожу. Видна рогожа, видна попона: т. е. доска и стены жертвенника, но они суть — дом и жилище только не изваянного, но в самом деле и живым присутствующего здесь... тельца ли, агнца ли. Моисей разбил изображение. Но разве это отрицает изображаемое? Иконоборцы отрицали образа. Но разве это свидетельствует, что они «не почитали святых»? «Завтра праздник Господу!» — сказал Аарон к народу, слив тельца. А неужели он ничего не знал о том, кому поклоняется его брат?! Нет изображения, — и его не нужно, это — грех; но «рога» есть и есть, значит, изображаемый, но он есть — живой, он есть не как медь и золото, а как — жизнь. Ровоам в Вефиле и обнажил животное жертвенника. Он снял рогожу, убрал попону; получилось то, что сделал народу Аарон. Историки поняли это как борьбу теизмов и так объяснили своим читателям. Между тем это был один теизм, и спор исчерпывался вопросом — обнажить ли все или оставить видимым лишь самый незначительный, внешний, в сущности безжизненный, ибо бескровный, придаток — рога. Рога — без крови и их можно, позволительно передать медью. Но если я поклоняюсь «крови» и даже в ней ее тайному и бесспорному мистицизму, движущему ее, содействующему ее священной, не проливаемой («не убий»), то как, в самом деле, ее выразить??? Аарон ошибся, и вот в чем его ошибка: что жизнь вообще не изобразима в камне, в металле, геометрически, статически. И как ошиблись историки в данном пункте, принимая за разные религии варианты одной, так ошибались люди, народы, творцы исто-

рии — на границах нашей эры. До нее, как и начиная с нее, был Бог — «Единый в трех лицах», как и исповедовали, как нашли формулу потом. Нам принесен был на землю нравственный закон одним Лицом; но кроме этого есть еще *факт* мира, жилы и кровь мира, и в них есть также свой мистицизм и другой родник этого мистицизма. Рождение есть факт, рождение есть кровь; его принципу и поклонялся весь древний мир, нисколько не ошибавшийся. Ибо даже для того, чтобы мыслить, надо сперва родиться. Это — изначальнонейшее; и, вместе, что это святое и божественное — не отрицает и Филарет:

*Жизнь от Бога нам дана.*

«— Да! да!» — мог бы в ответ Филарету воскликнуть весь древний мир в Афинах, Мемфисе, Карфагене, Тире, Вавилоне: — «Мы именно всегда так думали, но мы не умели выразить; мы были бессильны как художники и словесники, но как молитвенники — мы не ошибались. Не умея говорить, мы показывали на лотосы; не умея выразить трепет сердца — поднимали руки к звездам. Но мы не звездам молились и не лотосу, но, как говоришь ты, тому, что вот «жизнь — от Бога», в жизни — Бог, и он Сам — жизнен, имея в себе ключи вечного живота: отчего, изображая, мы вечно и придавали ему, конечно по-детски еще, то эту, то иную, но непременно животную форму»... «Филарет нашел *слово*, ибо он и живет в *словесную*, тоже истинную и божественную, но другую *эпоху*. У него — истина слова, у нас была истина факта, но без расхождения и противоречия».

В одном таинстве, глубоко фактическом, — браке, — и скрыт до сих пор весь этот будто бы умерший, но не имеющий никогда умереть, теизм крови, «выставляющий рога из жертвенника». Брак есть младенец, о младенце и через младенца таинство, а младенец — «образ и подобие» Агнца. Кстати, «агнец», как самое слово знаменует, есть юное, есть детское или отроческое, скорее всего — младенческое, по возрасту существо. О зрелом или старом не было бы употреблено такое слово, взято было бы другое близкое слово. Агнец — вечный младенец. Но, повторяем, в признанном церковью таинстве брака и содержится, но лишь не раскрытый, весь древний мистицизм, который и нельзя иначе разрушить, как разрушив это таинство. А как только мы станем в него глубже вдумываться, мы вдруг почуем, что ничего в древности не умирало и не может умереть. О Логосе — мы *учимся*; но мы — еще *существуем и живем*, и вот это — уже о Ветхом деньми, первом *родительском Лице* мистического Божественного Существа. И всякий раз, рождая или присутствуя при рождении, мы можем поправить греческое уныние: «Великий Пан не умер, он — в нас и во всем, как выражает и самое его имя, о котором мы у апостола читаем, но лишь в других терминах, но с величайшим и лучшим углублением: «Бог есть *всякое и во всем*». Греков следовало выдрать за уши за легкость их молитв, их светскость, допустившую перейти в поэзию, но — не за *То, Кому* они молились.

## ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС

*Пол* в человеке подобен зачарованному лесу, т. е. лесу, который обставлен чарами и который сторожат чары. Приближающегося сюда эти чары *усыпляют*, или *обманывают*, или *увлекают* и иногда *губят*. В одном и другом случае они «*проводят*» его и достигают главной своей цели — не допускают человека войти в лес и осмотреть его. Еще других эти чары отталкивают, пугают. Показываются «страшилища», которых человек даже не смеет назвать; ни кисть, ни слово *не смеют* даже передать показавшегося. Человек бежит в ужасе, и снова цель достигнута: зачарованный лес остался тайною.

Да, пол — это таинственный лес. Но вот Эдип входит в него. Главное здесь — не потерять голову, иметь «уши на макушке», насторожить ум и глаз. Не нужно вовсе фотографировать «чудищ», достаточно самому и субъективно всмотреться в них: тут начинается удивительное преобразование и первый же шаг смельчака является обильно награжденным. То, что *извне*, со стороны *города, дороги, пыли* казалось рогатыми и суковатыми чудищами, преобразуется при взгляде *с той стороны*, — *со стороны леса, в который уже вступил*, — чудесными видениями, истинными «эльфами», добрыми существами, с небесно-блаженной улыбкой и райскими крылами. Пол — «страшилище порока», «чудище мерзостей», «Пандорин ящик», откуда излетают чумные ветры, веющие на мир, — вдруг оказывается совсем, совсем не то: обителью непорочных, родником именно и специально непорочнейшего в мире, — и, наконец, прямо ковчегом, где сокровенно сохраняется какая-то вечная и неистощимая, льющаяся в мире святость. Кто *уже вошел* в зачарованный лес и «не потерял ум» при этом, находит на каждом шагу здесь величайшие сокровища: он набирает их в корзину, сует за пазуху, кладет в подол рубахи. Да это — «целос состояние», а мы-то, мы-то там, в запыленном городе, и не знаем, около какой неистощимой свежести живем.

*Выводы* «не потерявшегося ума» почти еще важнее здесь, чем непосредственно собираемые с земли ценности. Все то, что казалось и обычно кажется «падением», «с той стороны» (дороги, пыли, города) — вдруг оказывается совершенно естественным склонением, в сущности — благоговейным сгибанием колен, и — таким, о коем ничего человек не знает, что он это делает невольно и так сказать не видя, но повинуюсь склоняющей его выю руке. Это — изумительно. Далее, оказывается, что «прéдет небо и земля», но это склонение, — не прéдет. Теперь вопрос — перед *чем* склонение? «Афины повинуются мне, я — матери моего ребенка, а она сама — этому ребенку, и, таким образом, этот ребенок повелевает мною и Афинами», — сказал шутя Фемистокл. Вот верное отношение пола к «городу», и, даже, вот суть пола. Это — младенец. «Зачарованный лес» и есть лес, окружающий младенца, откуда растет младенец и даже где он зарождается, «зачинается». «Мир чудищ» есть просто Царство Младенца, где скипетр — в руках



младенца, корона — на голове младенца, армии водит — младенец; где все и вся — младенческое, т. е. прежде всего — непорочнейшее, чистейшее. Таким образом, склонение всего мира перед полом есть поклонение мира младенцу; и отчего не дополнить: есть поклонение порочного мира собственному этому миру младенчеству, — «видениям»

### Первоначальных чистых дней.

Вот что такое «пугающие чудища», «погубляющие чудища»: «порок» бежит именно к непорочнейшему, когда мы думали, что он устремился к «последней гибели»; он буравится в землю, казалось бы, «роет себе могилу»: будьте терпеливы, наблюдайте: он прорыл все 12 000 верст земного поперечника и не только «не умрет», но «воскрес» к тому же небу и тем же звездам, которым мы здесь поклоняемся. И в Америке, где-нибудь в Канаде, в Техасе — зажег лампаду в сущности перед тою же звездочкою, но только на 12 часов раньше или 12 часов позднее, перед кою и мы зажигаем в свой час лампаду. Пифагор сказал: «Есть — земля, и еще есть — *противоземие* (*αντιχθων*); есть солнце и еще *противосолнце*». Не это ли он подразумевал?

Мир эльфов, мир младенцев, мир сказок... Родник мифологии — здесь; родник юдаизма — здесь же («обрезание»). Сказочка и молитва вдруг лобзаются; младенческое целование — о, как далеко оно от лукавства! Да, это — потрясающий «зачарованный лес», до того странны здесь встречи, дико-волшебны находки. Моисей со скрижалями — и около него, как толкователь «брат», не — Аарон, но — Шекспир; Шекспир — в священническом «эфоде», с еврейскими кисточками! «Они из голубых и белых нитей, и утреннюю молитву, которую нужно читать, смотря на эти кисти, — нужно читать в тот час утра, когда глаз получает способность различать белое от голубого» (Талмуд). Да это — совсем царица Маб, о которой рассказывает какой-то Меркуцио в «Ромео и Юлии». Я говорю — зачарованный «лес», лес странных встреч. И вот, при вечерней звезде каждая счастливая чета, каждая смиренная весь, «последний мещанин» — погружается прямо грубою пятою своею в мир этих сказок и этого священничества. О, как нужно омыть для этого «пяту». Как станут понятны вечерние «священные омовения» на Востоке. Да, священный, святой Восток: родина *всех* сказок, колыбель *всех* религий, истинный «зачарованный лес» истории. Люблю его, безумно люблю этот Восток, находя там Шекспира и Моисея. Запад — полон смущений о Востоке. Как тосковал Шекспир («Буря», «Гамлет»); тосковал и Гёте («Фауст»); всякий из нас на Западе — тоскует, и мы только не умеем догадаться, что это — тоска по общей великой нашей родине — священному, святому Востоку:

Загорит, заблестит луч денницы, —  
И кимвал, и тимпан, и цевницы,  
И серебро, и добро, и святыню  
Понесем в Старый Дом...

Я не понимаю этих стихов Достоевского, верно, не только приведенных, но и *сочиненных* им: но почему-то я не могу их читать и вспоминать без слез. Тут Достоевский сказал что-то мое; «вчера» он вырвал мою «завтрашнюю» правду. Странная телепатия. Я хочу сказать, что я люблю эти стихи, как свою родину. Как любит человек могилу матери, могилу своего ребенка. Достоевский договорил:

Понесем в Старый Дом, в Палестину.

Главное, — мне отраднo, что мы понесем туда останки Шекспира; «мощи» Шекспира. Шекспир — «во святых»? неужели возможно? «Разве для Бога есть что невозможное», — сказал Он засмеявшейся Сарре. «Женщина — вера твоя спасла тебя», — сказал Сын. О, как мне отраднo, и как текут слезы о «Боге моем, Спасе моем». И пойдем, и пойдем, с «останками» наших святых, *западных* святых, всех этих грустных великих людей, смотревших в недоумении на «зачарованный лес»: и уж, конечно, — бубны и кольца в руки:

И кимвал, и тимпан, и цевницы...

Это будет *музыкальнейшее* шествие, *хореографическое* шествие. Мы будем *так прекрасны*, как еще никогда не был человек от дня создания своего, ибо мы будем *наконец-то счастливы*, а в счастья-то и скрыт недосягаемый секрет и так сказать «Пандорин ящик» всяческой красоты и всех красот. Наши движения станут прекрасны; старухи — грациозны, как дети, ибо старухи вновь станут дети; мужчины потеряют свою грубость, ибо они станут нежны, как девушки; и жены воспоют священные песни, как Мариам — сестра Моисея, или как пророчица Девора:

Я — Господу сплчу,  
Что высоко вознесся.

.....  
Он — Бог мой, я Его — прославлю;  
Бог Отчий — превознесу его...

## ИЗ СЕДОЙ ДРЕВНОСТИ

...И вселит Бог Иафета в шатры Симовы.

*Бытие.*

Существует предвечное «отчество»; есть вечное «материнство». Что такое Библия? Книга «отчеств». «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова» — вот формула Израиля, пронесенная без перемен в блужданиях между Мемфи-

сом, Ханааном, Сионом, Вавилоном, Парижем, Вильною: т. е. Бог Авраама, «родившего» Исаака, Исаака, «рожденного» от Авраама и «родившего» Иакова, Иакова, «родившегося» от них. Но и помимо этого: с самых же первых глав и до очень поздних, Библия местами переходит прямо в исчисление рождений, в необозримую генеалогию, ветвление и ветвление человека. Это какой-то словесный «дуб Мамврийский», — так и хочется поправить «дуброва Мамврийская», — и шумящий в ней священный ветер. Индивидуум всегда в ней взят в точке счлнения с «суком», на котором сидит; и вся полнота внимания остановлена на точке тех новых возможных «счленений», где от него выбежал или мог бы выбежать свежий лист. Мы говорим о том, как Библия высвечивает не в том или ином речении, но в колорите и мелодии необозримых святых страниц. Но вот и из среды «речений» одно-два ярких:

Иеффай возвращается победителем; в радости он дает обет посвятить Богу «во всесожжение» то, что выйдет первое ему из дома. Он предполагал — корову, барана; но выходит — дочь! — единственная!!! Какой ужас. Но обещание перед Богом есть уже дело, и вот как странно для нас дочь утешает отца: «Отец мой, ты отверз уста перед Господом и делай то, что произнесли уста твои. Но только сперва отпусти меня на два месяца; я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Все далее происходит соответственно обету. Казалось бы, какая тема для размышлений, скорби, недоумения летописца! — но он выписывает только одну строку: «так она и не познала мужа» (Книга Судей, глава 11, ст. 39).

Это — вечная забота Израиля, и Библию также можно назвать книгою «познаний» в этом особенном смысле, как и книгою «отчеств». Вот еще одна запись: война с филистимлянами; войска еврейские разбиты; взят в плен и увезен ковчег завета; убиты Офни и Финеес, дурные сыновья первосвященника Илия; и, наконец, сам первосвященник, получив известие, упал навзничь и умер. Казалось, весь Израиль разорен, — как племя, как государство, как «святилище»... — Что же записывает летописец? «Невестка же первосвященника была беременна и уже перед родами. И когда дошло до нее известие, то упала она на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания». (Т. е. она была мертва.) (Первая книга Царств, глава 4, ст. 20).

Вот отречение «ковчега завета». Его нет давно; от храма Иерусалимского осталась одна «стена плача»; но «плоть» израильская не только живет, но и решительно не угасает, не тускнеет, — и именно в плотском своем свете!.. 4000 лет — и никакой жизненной усталости; ни тени пессимизма... И до сих пор какой-нибудь «Хаим из Вильны», бредя домой с удачной или неудачной покупкой и увидев свет в окне хотя бы «язычника», останавливается и произносит: «Благословен Бог, сотворивший свет». Этого обычая

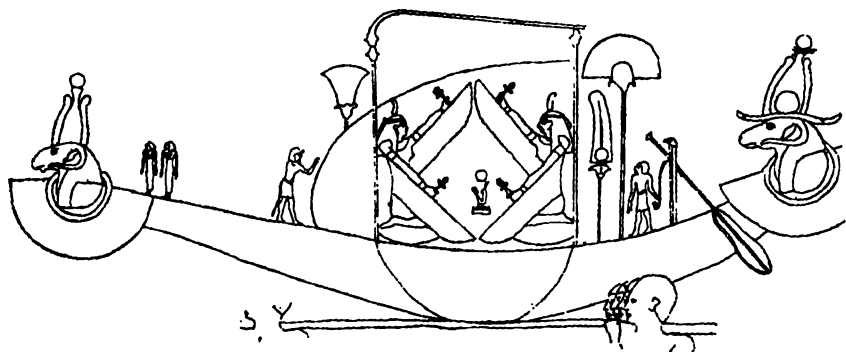


Рис. 3.

нельзя навязать: он так подробен, за исполнением его так трудно проследить, что, без сомнения, он давно бы уже исчезнул, если бы не было в каждом израильтянине внутреннего порыва *каждый раз повторить его*.

Для историков европейских Израиль и до сих пор составляет загадку. До чего далека эта загадка от разрешения, можно судить по одному замечанию, содержащемуся в «Объяснениях на книгу Бытия» покойного митрополита Филарета московского. Дело идет об обрезании, этой странной детской операции, которая и до сих пор сохранена не поколебленною у евреев. Присматриваясь к «высвечиванию» Библии, без труда можно заметить, что забота о нем и страх остаться необрезанным господствуют в ней над вниманием к пророкам и послушанием Моисею, над Сионом и самой целостью

«12 колен» (из них одно, Вениаминово, однажды едва не было истреблено: остался только *один человек из него*); что все это, — вся 4000-летия «река Израиля» и вытекла из маленького родничка этой странной операции. Но замечательно, что митрополиту Филарету она уже представлялась с чисто анатомической только стороны, как гигиеническая профилактика: «К учреждению обрезания следует полагать две причины: одна — образовательная, и другая — преобразовательная или пророческая. Первою причиною можно считать: предупреждение некоторых болезней, чистота тела, приличная священному народу, приготовление к

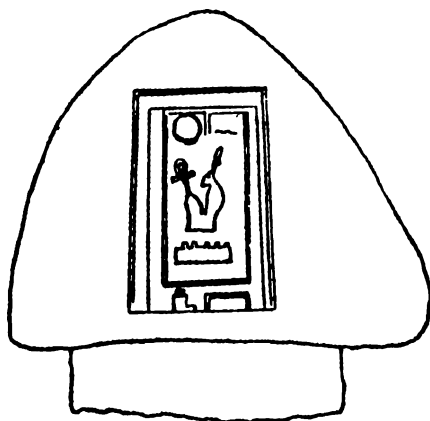


Рис. 4.

обильному чадорождению; в сем последнем смысле изъяснял обрезание Филон (еврей из Александрии и вместе философ платонических тенденций, один из великих, если не самый великий, авторитет юдаизма). Пророческое же или прообразовательное значение его выступает лишь по воплощению Бога-Слова». — Какой догматический, самоуверенный тон. Между тем это больше, чем непонимание; это — отрицание. «Ветхого Завета не было», или — «он не содержал в себе ничего»: вот смысл приведенных слов. Судя, впрочем, по ссылке на Филона, уже к началу нашей эры смысл обрезания был совершенно темен самим евреям, и оно держалось и удерживается лишь косным упорством раввината. Между тем в Библии есть одно указание на смысл операции: это — восклицание Сепфоры, жены Моисея. Важно здесь все окружение обстоятельств, и мы приведем 5—6 строк. Моисей, только что выслушав Божие наставление около Хорива, возвращается в Египет, откуда бежал было, — для изведения из рабства своего народа. Значит, совершилось великое решение, не — в нем, но — о нем и об Израиле; в хлопотах пути, Сепфора *на время отложила совершение «профилактической операции»*, нисколько не думая не производить ее вовсе. И вот, прислушаемся к тону как бы далекого и зловещего переката грома: «И случилось дорогою на ночлеге, что встретил его (Моисея) Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, схватив каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросивши к ногам его, сказала: — Ты — жених крови у меня. И отошел от него Господь. Тогда сказала она: — Жених крови по обрезанию» (Исход, глава 4, ст. 24—26). Итак, один не обрезанный малютка едва не произвел поворота в решенной уже через посредство Моисея судьбе целого племени. Не поторопилась бы испуганная Сепфора совершить «гигиеническую для ребенка операцию», и был бы умерщвлен Моисей и извода бы евреев из Египта не совершилось. Как явно, что Филарет (и неужели Филон?) совершенно ничего не понимал в обрезании!!! Будем следить о нем другие строки. «Если же кто не обрежет крайнюю плоть свою — истребится душа того из народа», — сказал Бог Аврааму при заключении самого завета. Итак, «завет» — был; его мысль — именно в «обрезании». Собственно, все «обетования» о «наследии земли ханаанской», о «размножении как песок морской» — лишь прилагаются к иному и главному, сокро-



Рис. 5



Рис. 6.

венному содержанию обрезания. Все эти обетования — земная сторона, нужная и понятная Аврааму, *склоняющая его к заключению «завета»*, и, собственно, лишь повторяющая его же тягучие мечты. Это *только награда*. Но... за что? за что? Темно, не сказано, нигде не сказано. Острый нож скользит по странной части тела малютки и обагрывается кровью, из этой части льющейся... Зачем? Кому? Вопросы, ведущие в ноуменальную часть обрезания, о которой, как *не касающейся до человека*, ему никогда не было ни одного слова сказано.

Из слов Сепфоры<sup>1</sup>, однако, заметно, что скользящий по этой части нож есть жест, обряд, процесс полового обручения, после коего «жених крови»

---

<sup>1</sup> К изречениям Сепфоры, проливающим свет на тайну обрезания, и к потрясающим словам Библии, где изложены говоры Божии, склоняющие Авраама к нему, я нашел в изданиях французской экспедиции Бонапарта в Египет два изображения, не оставляющие сомнения в том, что у египтян обрезание было не «этнографическим обыкновением», а религиозным фактом значения приблизительно еврейского. Прежде всего обратите внимание на торжественную религиозную процессию, изображенную на одном из пилонов (башня в виде усеченной пирамиды) при входе в Карнакский (близ Фив) храм. Нижняя несущественная часть изображения испорчена, но вполне сохранена верхняя. Это у египтян подобие наших «крестных ходов», — перенесение из одного места в другое «святынь» их. Жрецы несут на плечах так называемую священную барку. Нос и корма ее имеют изображения головы главного божества Египта — Аммона. В середине барки помещение, под балдахином и со стенками, — как бы «комнатка» или (для барки) «каютка». Перед нею человеческая фигурка с поднятыми руками — всегдашний жест у египтян молитвы. Заглядываем внутрь «комнатки-каютки». Два друг против друга сидящие ангелообразные существа с крыльями, простертыми вперед, охраняют в квадрате, почти замкнутом этими крыльями, существо, находящееся между ними. Каково бы это существо ни было, как бы ни называлось и что бы ни выражало собою, но что это *какое-то высочайшее для египтян существо*, — центр их религии, или, вернее, один из центров их религии и поклонения, — в этом никакого нет сомнения. Над головою его — диск солнца, всегда у египтян знак божества или божественного. Вот это-то божество, или что-то египетски-божественное, мы находим на рисунке 4, который, принимая во внимание его форму, трудно не связать с обрезанием. Это собственно *печать обрезания*, как его понимали египтяне. Изображение это совершенно опрокидывает нелепую и, однако, всеобщее распространенную теперь мысль, что это была только «гигиеническая операция», полезная для здоровья. Ибо в пунктах гигиены «образов не кладется» (по нашей бы терминологии). У евреев же есть канон и вера всего еврейства, что «как только обрезание совершено над младенцем — на него (младенца) *сходит Ангел Иеговы и не оставляет его до самой смерти*». Поразительный рисунок египтян есть только *перевод этой формулы*. Тут именно что-то вроде «Ангела Иеговы» или с ним однозначащее, — по величию и святости, по важности для египтян, — положено на ту самую часть, которая и *открывается, обнажается обрезанием*. При этом нужно держать в уме тот ответ, какой египетские жрецы дали Геродоту, когда он просил их показать ему «тайнства» их религии («тайнства Озириса и Изиды»): — «Это, сказали они, может быть сделано только для того, кто принял обрезание; прими его — и ты их увидишь». Т. е., что с обрезанием связан и из обрезания истекает весь их религиозный культ. Точно так, как это было, по словам апостола Павла, и у евреев («в обрезании уже заключены все другие правила еврейского религиозного закона»).

обязан в верности... Кому?! Какой?! Пророки разъяснили единственным и непрерывным смыслом своих слов: «не уклоняться к богам *иным*» в точке и через точку обрезания. «Обрезанный» есть «обещанный», — «связанный в завете»; и по точке наложения печати мы не можем сомневаться, что раскрытие завета, исполнение обещания наступает в браке: от этого в Египте, где также было обрезание, оно *совершалось сейчас перед браком*, на 17-м году. Замечательны подробности обрезания: в нем собственно продольно разрезается кольцо (т. е. перерубается), раздваивается, распаивается — одно в два более тонкие кольца; из них одно, «край обрезания», носится человеком, носится почти от рождения до могилы, как «память» и «залог верности»; а другое кольцо отбрасывается куда-то в сторону, — *испуганно кому-то выбрасывается*. «И отошел Господь» — как бы насыщенный, удовлетворенный. «Завет» — конечно с Богом; но «заветоисполнение», судя по точке печати, — конечно только в браке. Т. е. в браке из «*обещания*» завет переходит в *исполнение*, «слово» обручения — переходит в *дело мужа*, без перемены собственно связанных полукольцами. Отсюда — подробность: *кто не может быть мужем, тот вовсе не может быть израильянином; «скопец или полускопец в сонм Господен да не входит»* (закон Моисея). Таким образом, все «12 колен» суть «сонм Господен», но — слитый кольцом обрезания, и, следовательно — «сонм брачный», «брачующийся». И именно в точке обрезания, в месте приложения таинственной печати, — он становится, если позволительно так выразиться, «сонмствующим Господу». Сейчас тогда объяснятся странные переименования, и именно в миг завета или при его подтверждении: «отныне ты будешь называться не Аврам (= «господин»), но Авра-ам (= «отец множества»), и жена твоя не Сара (= «госпожа»), но Сарра (= «высокая жена»); «ты — не Иаков, но Израиль» (= «боровшийся с Богом»). Мысль этих переименований в необозримых повторениях разъясняется в символике обрезанцев-египтян. «Не Аврам ты более, и ты — не Сара; для меня — ты только Авраам и она Сарра; мое *видение* лежит на этом втором в вас, но собственно — для меня — *главном* лице»<sup>1</sup>. Отрицание

<sup>1</sup> Фигура человеческая вообще распадается на несколько «сосредоточений-лиц». Она как бы выпускает из себя несколько *рек*, и каждая река имеет свой «выход в море», т. е. выход в мир, выход в Космос. И вот эти-то «устья в мир» и суть в фигуре человека — лица. Именно, человек имеет: 1) голову и ее *лицо* — источник умственного, духовного света; 2) половую сферу — откуда он *повторяет себя*, откуда он уходит в будущее, в вечность; 3) *ступни ног* — *движение, странствование, перемещение*; кисти рук — работа, труд, созидание. «Талант» лица — «нравиться», «выражать душу», говорить, убеждать, проповедовать; «талант» половой сферы — обильное и главное прочное, живучее, жизнедеятельное потомство; «талант» ног — путешествие, странствование, танец; «талант» кисти руки — техника, искусства, мастерства. Обращаясь к «половому лицу», мы должны заметить, что главная часть нашей фигуры («корпус») имеет явно «переднее» — «заднее», «правое» — «левое», «верхнее» — «нижнее». Причем эти «двойшки», «удвоенные части» явно сходны, близки, аналогичны друг другу. И так как «половая сфера» есть «низ *относительно головы*», то мы должны, всматриваясь, угадывать в ней аналогию головы. В разительном рисунке «Француз-



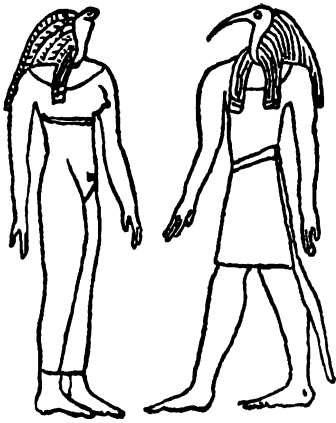


Рис. 7.

Обыкновенные у египтян преобразования фигуры человека (лицо змеи, лицо птицы).

и утверждение, здесь слитые, выражены в вечном отрицании в египетских изображениях собственно «лица» в человеке, его «головы», на место которой приставляется что-нибудь, какая-нибудь чужая голова, взятая с которого-нибудь животного; «животная» голова, — при сохранении и даже богатой разработке собственного человеческого тела, при удержании и даже богатом выявлении Авра-ама, Сар-ры. Все читаемые в Библии переименования, раздвоения человека, с отвержением в нем одного лица и укреплением второго, — лица плодоношения, — безмолвно все это сказано до сих пор неразгаданною особенностью художеств в дельте Нила, «священных» художеств. Там и здесь, у евреев и в Египте, раскрыто *лицо завета*: — то, которое поглотило обетования, и ответно за них поклялось в верности, приняв кровавую печать, связав свободу.

Что такое ритм брака? Каждое биение его пульса так кратко, стеснено во времени, что мы можем что-нибудь рассмотреть здесь лишь через фотосферу *окружающих явлений*. Это — семья; и там — ее родник; секунда, где она выникает из небытия. Семья — ближайшее и самое *дорогое для нас отечество*; пространственно — это место самых горячих связей, духовно — это место совершенного идеализма, живого, лучащегося. Но в узле этих лучей — неразглядываемое, темное пятно таинственных «прилепений». В них еще вчера «Аврам», «гражданин», «философ» — разлагается в «отца» и «дитя», вырастает в «отца множества» (Авраам); вчера девушка — сегодня разлагается в «дитя» и «мать». Построение земного человека, — начнется оно после этого или нет, — уже составит другую, более внешнюю и, очевид-

кой экспедиции Бонапарта в Египет» (фолиант V, табл. 69) я нашел прилож. на стр. 31-й изображение (рис. 5), и не могу не сказать, что мысль моя о «лицах и человеке» не могла бы получить никакого лучшего графического изображения, чем как сделано на этом рисунке: женщина держит *повторение своего лица, головы своей*, — вместе с тем преобразенное чуть-чуть в лицо и голову Изиды (коровьи уши на человеческой голове, — всегда принадлежность Изиды), *опустив ее до уровня половой своей сферы*, как бы *заслонив ею половую сферу*, как бы *представляя вместо своей половой сферы — эту голову Изиды, и лицо ее*. Вместе с тем несомненно, что в то время как опущенное к низу лицо есть именно Изидино, по атрибутам и особенностям, — опустила его простая египтянка, и голова ее не имеет никаких даже самых обычных украшений и убора. Следующий рисунок б говорит это еще отчетливее: изображенное на нем можно принять, *по округленному чертежу, по овальной форме*, как бы *за рождение лица из себя, за роды из себя головы*.

но, менее важную, зависимую и обусловленную сторону. Замечательно, что значительность как и сладость секунды лежит *в чисто внутренней, субъективной стороне саморазложения*, а вовсе не в осязательной его стороне. Но обратим внимание на фотосферу. Семья есть, конечно, «животный» союз, точка «животных» счленений мужа и жены, и — расчленения двух в «животное» же множество (дети). Поразительно, что, при бесспорно «животном» существе, семья имеет бесспорно мистическое, религиозное существо. Именно, счленяясь и расчленяясь, она померкает в лице, «Авраме», но в это же время мистическое «дыхание» пронизывает ее и она является каким-то многоглавым Авраамом, «многочитым», «исполненным внутренних очей» животным. Сплетение «животного» и «религиозного» в ней поразительно, очевидно. Какая скорбь матери о болящем ребенке! ревнивое охранение мужем незагрязненности дома! невольное требование от детей особой, религиозной почтительности! Это — *начинающаяся религия*, это — очевидно *религиозный союз*, т. е. уже религиозная связь: и все — из неразглядываемого, темного пятнышка «счленений». Малейшее загрязнение этого пятнышка раскалывает до глубины семью; дети более не нужны и брошены; кинута жена, или оставлен муж. Здесь полегла такая сила утверждений, которая не выносит внесения в себя никакого отрицания, ни соринки. Как часто жена, узнав об измене мужа, ищет могилы; как часто, с кровавыми слезами, муж губит даже предполагаемо изменившую (Дездемона). В «чем» изменившую? — какой, казалось бы, «вздор». Вспомним глубокую тоску Пушкина при попытках загрязнить его домашнюю жизнь; обратим еще внимание, что у нашего духовенства, которое очень мало занято романтической стороною брака и имеет серьезный и положительный взгляд на плотское соединение, семейный и вообще родственный уклад отличается часто поразительною, трогательною нежностью и теплотой. В любопытном возражении архиеп. Никанора на «Крейцерову сонату» приведено наблюдение, бесспорно не сочиненное: что в очень счастливых случаях супруги и внешним обликом сближаются друг с другом, начинают походить лицом один на другого. Тяжесть брака вся лежит в его «животном» ритме: *тут* он таинствен, мистичен; *отсюда* — его теплота, свет. Но если мы сравним добрачные пушкинские

Игры Вакха и Киприды...

с его же послебрачную серьезностью, когда он запел:

Отцы пустынноики и жены непорочны...

то мы будем поражены разностью психического воздействия одних и тех же физиологических пульсаций. Мы здесь не должны ничего преувеличивать и ничего уменьшать; должны быть безмерно внимательны, ибо кружимся около глубочайшей тайны бытия человеческого. Пушкин еще легкомысленно становится мужем, не предугадывая духовных последствий; он — совершенно не религиозен; вся перемена, какую мы вправе против прежнего предпола-

гать у него, заключается в иной точке зрения, в ином и более сосредоточенном ощущении в «прилеплениях». И невольно, еще легкомысленный вчера, он сегодня ставится задумчивее, завтра начинает искать новых книг и совершенно противоположных прежним впечатлений. Пушкин — «возрождается» — как и отметил это он сам в чудном стихотворении; и возрождающая сила лежит в сосредоточенно-тяжелом, внимательно-заботливом отношении, однако, к совершенно и, бесспорно, плотской пульсации. Угол зрения у него меняется; и гораздо раньше, чем рождается у него ребенок и начинается полная семья, мы видим его уже другим. Лермонтов, который постоянно сосредоточен на этих таинственных «мгновениях» и вся его поэзия есть только преобразование их почти до размеров целой вселенной, — постоянно и неразрушаемо, не отвлекаемо серьезен:

Дам тебе я на дорогу  
Образок святой;  
Ты его, моляся Богу,  
Ставь перед собой,  
Да кидаясь в бой опасный —  
Помни мать свою...

Это — открытие в нем «отчества»; конечно, это — «отец» поет, — «отец множества», по Божьему переименованию Аврама, распустившийся до неги матери, до слияния «с ее лицом» по определению архиеп. Никанора. Мы хотим сказать, что в «секундах» брачных, которые всегда дают или имеют силу дать дитя, — есть, кроме этого, еще другой мистически-духовный свет, который при сосредоточенности на них ума или воображения подчиняет себе эти способности и преобразует их глубоко, до неузнаваемости, до противоположности с прежним. Именно, эти «секунды» разливают какое-то «ветхое деньми» отчество, какое-то «древнее» материнство — на теоретическую часть духа. Это как с матерями физиологически случается, что у них при кормлении «молоко» бросается «в голову»: так свет «отчества» в миги таинственных разложений «ударяет в голову», и человек, вчера певший об

Играх Вакха и Киприды,

завтра начинает петь —

Отцы пустынники...

Девушка, вчера исполненная романтизма, завтра, став «высокою женою» — серьезнеет. Это так для наблюдателя заметно, что лишь от самого поверхностного ума скроется. В «Крейцеровой сонате» есть прекрасное замечание, что через неделю после венчания Позднышев увидел жену задумавшеюся и, подойдя, — хотел опять начать «играть с нею», но, отведя его руку, она горько зарыдала. Смысл «Крейцеровой сонаты» все-таки и до сих пор не раску-

тан; вполне удивительно и ошибочно, что его не захотел раскрыть сам автор, по-видимому «skonфузившись дела». Тайна в том, что половые «миги» при целомудренном и религиозном их ощущении, открывая и в нас, «подобии и образе», предвечное отчество и предвечное материнство, единственно и впервые и вполне ставят нас на высоту человека. И нет книг, бесед, нет вообще способов познания и чувства, которые так реально и могущественно, обливая этими предвечными чертами второе «логическое» в нас лицо, просветляли бы его и углубляли. Позднышева зарыдала, ибо она обманулась в целомудренных девичьих предчувствиях; в ней зарыдала «высокая жена» (Сар-ра), которая вдруг почувствовала, что ее мужу — ничего не понятно в браке, что для него в нем все —

Игры Вакха и Киприды...

что никогда, никогда он ее не сделает «праведною израильтянкою». Но нам пора перейти от этой минутной иллюстрации к Израилю.

Густая и светящаяся мгла его, это «облако днем и как бы огонь ночью», есть свет и мгла вечных сочленений под религиозным углом зрения, пролитом на них в «обрезании». «Таинство брака», которое для нас есть раз в жизни, и память его все хладеет, — для израильтян есть таинство ритмических биений в браке, из коих *каждое* имеет всю силу *первого*, — и имеет ту специфически-религиозную высоту, которую мы перенесли на *слово* о браке. Т. е. для них *таинство* есть *ткань жизни*, самое *снование* ткущего человека, через который —

По вечным, великим  
Железным законам  
Круг нашей жизни  
Все мы свершаем (Гёте).

Позднышева, и всякая целомудренная девушка, всякий в целомудрии блюдуший себя муж (у Толстого — Левин; см. его волнения и чувство покаяния перед браком) смутно это предчувствуют. У наших «купцов», где все-таки есть много серьезного, на свадебном вечере невеста не танцует; она приурочена к таинству и не должна рассеяться. Вообще инстинкты целомудрия все тянут сюда, на «высоту», и здесь... Здесь мы вдруг начинаем постигать весь семито-хамитический Восток.

«Географическая территория Передней Азии есть родина всех трех монотеистических религий» — заучиваем мы в детстве, по учебникам географии. И это так любопытно, что и в зрелом возрасте мы не устаем размышлять об этом, а наука пытается проникнуть в это в своем роде историческое таинство. Сейчас еще один пример — это Рафаэль: он жил в атеистическом Renaissance'е, когда религиозный скептицизм заплескивал даже папский пре-

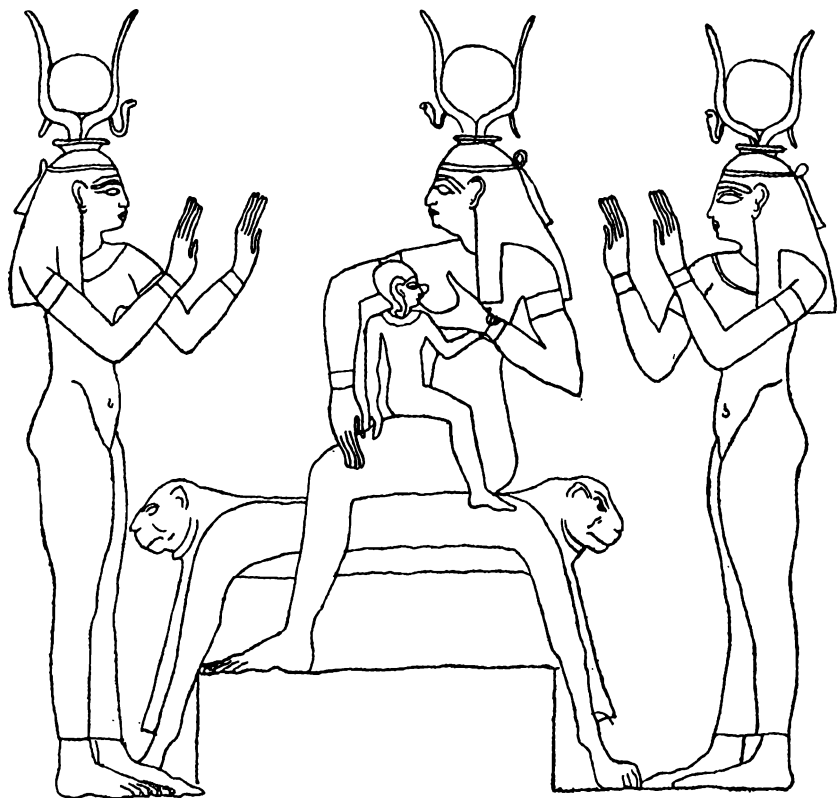


Рис. 8.

Рафаэль за 3000 лет до Рафаэля. Как Рафаэль «молился» на свой сюжет, так две египтянки будто говорят кормящей матери: «Благословенна ты, питающая! И да согрест тебя солнышко, как ты сама грешь мир». Руки их явно благословляюще подняты над нею. Изображение это повсеместно в египетских храмах: египетские храмы пропитаны и, так сказать, «засахарены» им, как чай опущенным в него сахаром.

стол. Когда умер папа Николай V, в его комнатах не нашли даже Евангелия: он все собирал античные рукописи и умер окруженный ими. Едва ли есть причины думать, и по крайней мере нет никаких биографических данных, чтобы Рафаэль имел иные точки зрения. Что же, однако, он рисовал? — Да все это:

Дам тебе я на дорогу  
Образок святой...

— вечные дитя и мать; почти отсутствие взрослых мужских фигур, или по крайней мере — не замечательные; дитя и около него иногда еще другое, товарищески играющее; иногда — «завеса» ликов, целый «воздух» ликов, но непременно — детских, т. е. с материнской влагой на глазах, едва проснувшихся к зрению мира... Истинно «многоочитая» плоть... Если всмотреться в тайну его живописи, то без труда можно заметить, что она и сводится к этой собственно почти *влаге чрева* — еще не высохшей на веках, на щечках, на губках детских ликов: и вот она-то им и сообщила ту святость, которую ясно и бесспорно мы читаем у своего 3—6—7-месячного дитяти, если внимательно, часы не отрываясь, станем смотреть на него. И материнские лица также имеют у него то невыразимое перед иною живописью преимущество, что, устремленные на дитя, — еще как будто продолжают чувствовать его биение под сердцем. Вот его тема. Причем он брал сюжеты и пользовался ими с такою же свободой, как Шекспир — средневековыми хрониками. Во всяком случае бесспорно, что одинаковые сюжеты, и посейчас остающиеся перед всеми художниками, не вызвали ни у одного из них рисунка и колорита, одинакового с рафаэлевским, который почти не хотел и не умел рисовать еще чего-нибудь, кроме матери и дитяти. Итак, то, специфическое, что, есть в его созданиях, течет, очевидно, не из определенных и конкретных сюжетов, «с именем и отчеством», не из тем *вычитанных*, но — из *существа художника*, струившегося единственной *темой материнства*... «Небесного» материнства, теперь-то уже мы можем сказать, ссылаясь на колорит его картин. Нам все хочется сказать, что «отчество» — «материнство» в точности — не стихийной природы; родник этого — не в «красной глине», образующей состав наших костей и мускулов. Что здесь, а следовательно, и в субъективных разложениях в «отца» — «дитя» или в «дитя» — «мать», т. е. в самом ритме брака, человек выходит из уз «красной глины», из подневольности «стихиям», — и возвращается к *древним* основам бытия своего, *небесной* своей родины... И что-то «отческое» и вместе «ветхое деньми», касаясь «состава бедра его», — производит в нем и содрогание, и сладкое ощущение, и пук духовных и мистических преобразований, который мы отметили выше. Вот даже для нас, для размышляющего созерцания — внутреннее и лишь приблизительное содержание мига. Но вернемся же к Востоку.

И, для начала, войдем в Скинию ковчега, в святилище, и рассмотрим устройство в нем *светильника*. Вот как «раб Божий» Моисей передает в 25-й главе «Исхода» повеление устроить его: «И сделай светильник из золота чистого; чеканный должен быть он; стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него; шесть ветвей должны выходить из него: три ветви из одного бока и три ветви из другого бока его; три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами, должны быть на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви, с яблоками и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами; у шести ветвей, выходящих

из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями его; яблоки и ветви их из него должны выходить... Смотри, — сделай все, как Я показал тебе» (т. е. как «показал» не словом, а — жестом, или, даже, вероятно самым начертанием, — на горе Синае).

Это — что-то напоминающее сестер Рахиль и Лию, соперничающих одна с другою в чадородии, и еще дающих мужу своему, Иакову, для того же забеременения, служанок Валлу и Зелфу («Бытие», гл. 30). Мы говорим о множестве символов в устройении светильника, причем все эти символы суть символы плодоношения, родов. Но взглянем же еще раз на него: «И сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампы его — чтобы светили на переднюю его сторону» (стих 37). Вот, в миниатюре, весь Израиль: несущий, как светильник перед собою, свое чадородие; «дуб мамврийский», вечно сочленяющийся, весь состоящий из «стеблей», «ветвей», «миндальных цветов» и «яблоков» (Гранатовые яблоки — возбудитель плодородия у женщин); но, в противоположность нам, — с лампадою в точке каждого сочленения. Аарон входит в святилище; на нем ефод, священная одежда: «И сделай по подолу ее яблоки из нитей голубого, яхонтового и пурпурового цвета; такого вида яблоки и позвонки (колокольчики для звона) золотые между ними кругом: золотой позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом» (Исход, гл. 28, ст. 33). В святилище входят только потомки Аарона, не все, но достойные: «У кого на теле есть недостаток — тот не должен приступать к святилищу»: ни хромой, ни — уродливый, ни — такой, у которого переломлена рука или переломлена нога, ни — горбатый, ни — с сухим членом, ни — с бельмом на глазу; недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлебы Богу своему» (Левит, гл. 21). Это так поразительно: священнослужитель должен представлять *целое и чистое тело*, и это сливается или, точнее, это замещает наше требование веры — «чистоты и неповрежденности в ее исповедании». Но требование целостности и чистоты тела стоит на втором месте: «Первое условие, которому должен был удовлетворять священник, есть *чистая кровь* — священник не мог быть женат на вдове, на бывшей в плену, на прозелитке или отпущенной<sup>1</sup>. Еще строже были правила для первосвященника. Он мог жениться только на *девице*, предварительно исследовавши ее родословную» (Н. Переферкович: «Талмуд, его история и содержание». Спб., 1897 г., стр. 111). Вот странное «богословие», в котором они испытываются; и мы ожидаем встретить великие странности в религии.

Она не имеет храмов; «стена плача» есть остаток от единственного, после которого евреи не воздвигают других; синагоги суть училищные дома и

---

<sup>1</sup> Г-н Переферкович здесь не точен в языке: он упоминает о «чистой крови», т. е. о «породе», о «предках», о «происхождении». Между тем сам же дальше говорит о «невесте» и «жене»: но это не «чистота крови» вовсе, а — «чистота совокупления», т. е. строгая и особенная выверенность, куда и в кого будет поступать семя священника или первосвященника. Блюдется «чистота сосуда», и лишь потом и независимо это переходит и в чистоту крови.

дома общественного собрания, без всякого богослужебного в себе значения. Но и в единственном храме в чем же состояло «богослужение»? Это — вечные «очистительные» жертвы, поутру или ввечеру, по требованию частных проходящих лиц; или, в некоторые сроки, жертвы за целый народ. Храм есть точка всеобщего для «12 колен» очищения. Как бы сказано молча и таинственно: *«чистись и чистись, Израиль»*, — *«будь здоров и здоров»*, — «ни единой болячки на себя не допускай». Точно будто в телесной его непривлекательности есть что-то отталкивающее для Заветодателя: и как это *продолжает* мысль обрезания! «Нездорового — Я не хочу». Явно<sup>1</sup>. При мысли о религии у нас возникает непременно мысль *об исповедании*: религия есть *круг ведения, словесно выраженного*; напротив, у евреев религия есть *сложное делание*, почти молчаливое, почти без объяснений, но — с *молитвами*. Причем, однако, выполнение первенствует над молитвою. Эти-то «делания», совершения, и образуют повседневный и годичный их ритуал, т. е. образ жизни, «субботы», «новомесячия», «очищения», и, в центре и начале всего — «обрезание». *Религия у них есть пульс жизни* — это очевидно; у нас это есть образ *мышления* — это также очевидно. Мы видим великое расхождение арийских и семито-хамитических племен. Арийцы суть племя *логического выражения*; скажем полнее: они выражают в истории *второе лицо в человеке*, — отраженной, лунной природы, — родник «наук» и «искусств», «государств» и «гражданства»; везде — *порядок слова*, или если и вещей — то через слово выражаемых, в слове связываемых, через слово преобразуемых, и «о слове и в слове живущих». Если позволительна шутка при обсуж-

---

<sup>1</sup> Замечательно, — и, собственно, вскрывает все провиденциальное значение Израиля, — что источником и первообразом «нечистоты» у евреев, еще от Моисея и по сейчас, считается «труп», «мертвое тело». По Талмуду это — «отец отцов нечистоты», т. е. «источник источников всего нечистого». Если бы не вялое воображение ученых: сколько бы мыслей родил у них один этот факт, этот закон и принцип «от подошвы Синая»!! — Вспомним еще раз устройство светильника в скинии, и снова перебросимся мыслью к этому принципу о «труп»: что же лежит в противоположной точке, в обратном полюсе с «трупом», с «мертвым телом»? Да — *созидание тела*, т. е. его *зачатие*, которое есть вместе миг величайшего одушевления отца и матери. Хотя нигде в Библии не сказано, но из «отблеска», из «высвечивания» ее, из вечной радости о зачатии и молитвословия при этом, можно безошибочно заключить, что вот это-то *зачатие* и есть «отец отцов *чистоты*» для Израиля. И в ритуале, до сих пор хранимом, есть следы такого понимания. Напр., еврейка, не погрузившись в воду «святой миквы» (нечто вроде общей ванны), т. е. именно *в теле не освятившись*, — не может брачно приблизиться к мужу; равно невеста, т. е., казалось бы, совершенно чистая девушка, без такового же предварительного погружения в микву — не может соединиться с женихом и мужем. См. об этом любопытнейшем требовании прекрасный этнографический очерк г. Литвина: «Замужество Ревекки». Еще любопытнее, что перед браком у еврейки обстригаются все роговые части на теле, напр. ногти до тела, часто с поранением: «В них *не течет крови*», т. е. они «не живы», и, следов., похожи на «труп». На этом основании шерстяная одежда, т. е. из роговых *мертвых частиц*, была запрещена *при входе в скинию священникам*. «Бог» не может обонять трупа, ибо Он есть «Отец-податель жизни».



дении важной темы, мы выразились бы, что арийцы несут свою идею и миссию «на кончике носа, горделиво его подымая», — и всегда на протяжении целой истории всего более страшась, чтобы, проходя мимо, кто-нибудь «не задел другого по носу». Это — начало и признак личной и духовной гордости. Революция и реформация, эти типичнейшие феномены европейской истории, были битвою «символом» исповедуемых, слов исповедуемых, борьбою и кровоизлиянием «из высоко несомых носов». Мы шутим, но тут есть чуть-чуть вековечной правды, и читатель легко переведет краткие строки в обширные размышления и на совершенно серьезные тоны. Хамито-семиты понесли идею свою и миссию в точке обрезания (финикийцы, см. у Геродота во 2-й книге, так же обрезывались), — т. е. в точке *реального* выявления человека; и, если позволительно сравнение, в «лике же человеческом», но уже — «отческом» и «материнском», т. е. в первом и главном, но сокровенном в нас, «не от сего мира», лице. Они не имеют наших «наук», не захотели «искусств», явно отвращаются от «государственности». Они суть *ткачи самой жизни*, — суть таинственные *жизнетворцы*. Но *это* ими постигнуто в глубинах, которые совершенно скрыты от арийцев; и, мы можем довериться, — постигнуто семито-хамитами истинно. Эти глубины «обрезания» не суть открывшаяся арийцам глубь; нам открыты глубины философии, наук, права, широкой общественной деятельности. Но мы без труда догадываемся, что все наши глубины лишь плавают на поверхности трех семито-хамитических глубин. И если, конечно, велик и удивителен «Discours de la méthode»<sup>1</sup> Декарта, то удивительнее и больше его — сам Декарт, «рожденный» и «рождавший».

Религия ритуала и «кочищений» есть именно религия жизненной ткани, снований станка —

По вечным, великим,  
Железным законам...

Мы одеваемся в эту ткань, мы ею пользуемся; кой-как и сами ткем, но, поверхностно здесь все видя, вовсе не понимаем «высоты» ткани, ее «доброты», и вообще все здесь путаем, сажаем узды, рвем. И тут..

Тут вдруг освещаются для нас все сиро-финикийские «высоты», и становится понятен Соломон, совершающий «курения на высотах»; понятно и оплакивание «девства своего» дочерью Иеффая, для чего она пошла именно в «горы», т. е. как бы врожденные, от начала мира сущие, «высоты». — «И не познала мужа», — замечает летописец: как бы она проронила и разлила какое-то священное таинство...

Когда волнуется желтеющая нива...  
И серебристый ландыш мне кивает...  
...тогда я вижу Бога —

<sup>1</sup> «Рассуждение о методе» (лат.).



Рис. 9.

Египетское крылатое изображение (повсюду в храмах).



Рис. 10.

Египетские херувимообразные существа. Очень редкое изображение. Взято из 12-го фолианта экспедиции прусского правительства в Египет и Ефиопию, 1842—1845 гг., под руководством Рихарда Лепсиуса.



Рис. 11.

Халдейские крылатые изображения (с Вавилонской цилиндрической печати).

Рис. 12.



Финикийское крылатое изображение (с монеты города Библоса, на берегу моря).

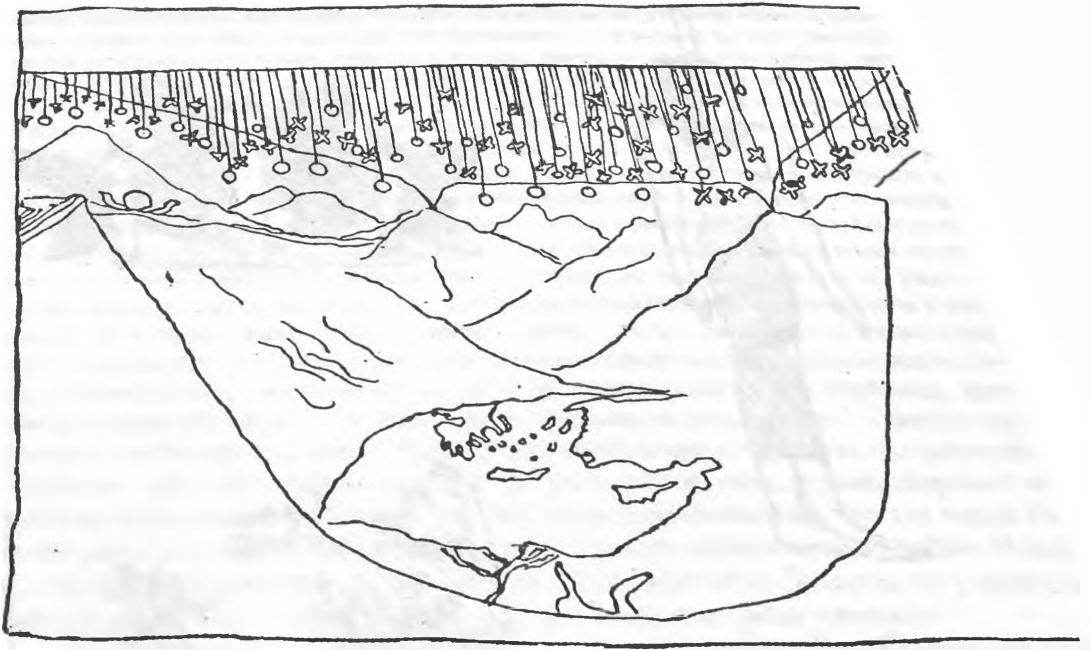


Рис. 13.

Изображает собою небо, как его представляли египтяне. В самом низу рисунка помещена дельта Нила, т. е. Египет, Синайский полуостров и, дальше, Сирия. Выше — Средиземное море, омывающее Малую Азию, Грецию и острова Кипр и Крит. — введомый египтянам мир. Над этою «древнейшей географией и историей» поднимается тоже древнейшее Небо, — именно «твердь», именно как «свод». Вот по этой тверди течет дневной Нил, и по нему совершает в священной барке дневный путь разумное и мироправящее Солнце — «Ра». Но «это» эта солнечная твердь имеет над собою другой Свод; и вот что мы видим там: среди звезд помещены лампады, которые мы только и можем принять за лампады. Лампады в богослужении и в храме возникла, по крайней мере отчасти, из желания повторить в святом месте на земле то, что наиболее прекрасно в мироздании (звезды). А с другой стороны, внесение лампад (кружечки) в небо говорит о том, что когда мы молимся — всегда почему-то «кверху», точно там есть какой-то «незримый и действующий нам в земных делах. Вспомним еврейские слова: *Бог, сотворивший Свет*».

это сейчас, в наши дни — реакция к Израилю; как и Рафаэль есть реакция в сторону «высот»; и ожидания Позднышевой, зарывавшей, что она никогда «не взойдет на высоту» брака. Вся Передняя Азия, Сирия и, дальше, дельта Нила, — это не разгаданная историками территория, — и есть территория «высокого» понимания ритмических биений пола. И, одновременно, это суть страны, где вспыхнули еще в ветхой древности первые «лампады», и от этих лампад зажегся религиозный свет и для всего мира. Но, первоначально: почему именно в геодезическом смысле «высоты» избирались «для курений»? Кто когда-нибудь смотрел в долину с возвышенного места, испытывал, без сомнения, чувство странной, но именно психической, *легкости* и как бы *воздушности* себя, почти «крылатости» своего существа<sup>1</sup>. В Библии мы почти не встречаем идей о загробной жизни, ни о воздаянии там, ни — о наказании; и смерть — как она легка! «Разрешены ее узы»!! «Приложился к отцам», «пошел в путь всей земли» (о кончине Авраама). Не менее странно почти отсутствие идеи «греха», по крайней мере, как чего-то томительно тянущего долу, «смертного». Самые проступки, порой ужасные по лютости, имеют, однако, что-то воздушное и легко рассеивающееся в себе. Собственно, только *одно* осуждается, и *всегда* осуждается: *сокращение жизни*, т. е. убийство. Но оно так ужасно разрушает и идею обрезания-чадородия!!! Остальное же все решительно отпускается человеку, и, напр., чадорождение ширится всюду, всячески и невозбранно. То чадорождение, которое у нас приняло почти всю «полноту греха» и за него всю «полноту мести». И около этого как-то странно облегченного существования — лампады, необозримые мириады их: точно *небо опустилось к земле*, и это его звездочки повисли над скинией, в скинии, вокруг скинии!!! Но паразитально: они зажглись вовсе не в одном Израиле, но *на всем широком*

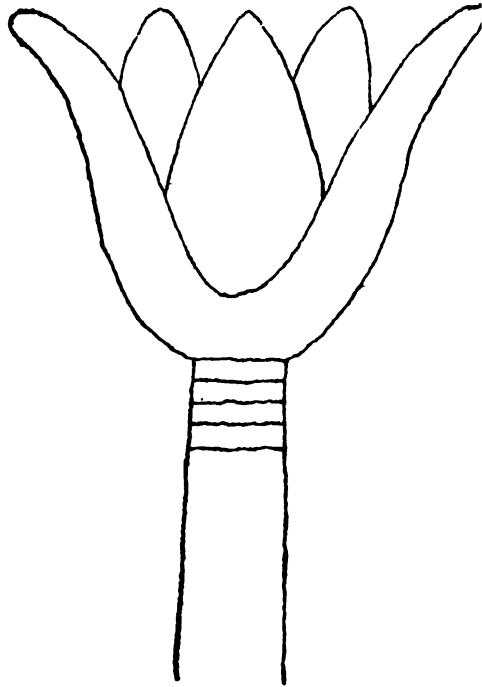


Рис. 14.

Лотосообразный капитель египетской колонны.

<sup>1</sup> Отсюда, т. е. опять в связи с «высотами» и «высоким» пониманием брака, — идея «крылатых» существ, «окрыленных» изображений, ранее всего появившаяся — в Египте и Вавилоне.

пространстве «обрезания», — и, например, мы с великим удивлением читаем у Геродота: «На празднике в Саисе (город в дельте Нила), в одну из ночей, во время жертвоприношения — все собравшиеся сюда *зажигают множество лампад, под открытым небом*, вокруг дома, причем вместилищем для масла служит чашка, куда положено несколько соли, и сверху плавают светильня. Эти лампы горят целую ночь, и самый праздник называется — *Возжением Лампад*. Те из далеко живущих египтян, которые не попадают на празднество, все-таки соблюдают эту праздничную ночь, и сами вокруг домов своих зажигают лампы. Благодаря этому, *огни горят не в одном только Саисе, но по целому Египту*. Ради чего эта ночь освещается и почитается, объясняется в одном священном «сказании» (книга 2, глава 62). В чем бы «сказание» ни заключалось, религия распускающегося лотоса была вместе с тем религией «распускающегося миндального цветка»<sup>1</sup>: и «благословен Бог, сотворивший свет» — звучит в Вильне, как могло звучать и в Саисе. Но вот Товия, с родиной в Ниневии: его научает, в пути, ангел «истин» брака, и собственно мы опять читаем об этих же лампадах: «И возьми часть печени рыбы, и положи ее на *огонь курильницы*, и покури. И демон ощутит запах и удалится. Когда же тебе надо будет приблизиться (к невесте) — встаньте оба, воззовите к милосердному Богу, и он спасет и помилует вас» (книга Товита, гл. VI, ст. 17—18). Это — молитва и почти начало ритуала; его заключение мы снова находим в странной записи Геродота (книга первая, глава 198): «...Погребальные песни вавилонян похожи на египетские. Всякий раз *после сообщения с женщиною* вавилонянин *воскуряет фимиам*; в другом месте дома своего *то же самое делает* и женщина, с которою он сообщился». Понятие и чувство, диаметрально противоположное «низинам» наших ощущений<sup>2</sup>. Но на что мы здесь хотим обратить внимание читателя, это — что обрывок страницы из Геродота и обрывок страницы из Библии сливаются оторванными краями в один цельный лист: один — ритуал, один — дух, одна — «высота» ощущения около одного и того же мига. Сейчас мы пойдем идею устройства Вавилонского храма: светлое, «окрыленное», уже в частной жизни у Товии и вавилонян окружившееся «курени-

---

<sup>1</sup> У Диодора Сицилийского — III, 58—59, у Павзания — VII, 17, у Страбона — X, 3 — при передаче характерных восточных легенд, оговорено, что «плод миндального дерева и гранатового яблока суть символы *плодородия и его органов, мужского и женского*».

<sup>2</sup> См. «Разбойники» Шиллера и там характерное, не для одних «разбойников» рассуждение Франца Моора: «Что такое отец? что такое — я? Для него это был *скотский момент*, после пьянства»... Не буквально, но мысль — именно эта, и, слышав пьесу, слушая именно эти слова, я был чрезвычайно поражен, как-то дико поражен, еще юношею-гимназистом: и, признаюсь, — тогда же ужаснулся и отверг такое представление. Замечательно, что Франц Моор *и запирает отца в башню голода*, т. е. великое *сыновнее неуважение к родителям* не отделимо от «низин» представления пола, как израильское «чти отца и мать» — есть только приложение и дальнейшее развитие «курений», «фимиама» и «ламп» около половых выявлений».

ями» и «фимиамом» ощущение, поднимаясь еще «выше», «выше», наконец и создало... Но пусть говорит Геродот: «Это — четырехугольник, и уцелел он до моего времени. Посредине храма стоит массивная башня, имеющая по одной стадии в длину и в ширину, над этой башней поставлена другая, над второй — третья, и так дальше — до восьмой. Подъем на них сделан снаружи; он идет кольцом вокруг всех башен. Поднявшись до середины подъема — находишь место для отдыха со скамейками. На самой последней башне есть большой храм, а в храме *стоит большое, прекрасно убранное ложе и перед ним золотой стол. Никакого кумира в храме, однако, нет.* Провести ночь в храме никому не дозволяется, за исключением одной только туземки... Так рассказывали мне халдеи, и они же прибавляли, чему я не верю, что *божество само посещает храм и почивает на ложе*» (книга I, глава 181—182). Мы ничего здесь не поймем, пока не обратимся к Товии, не припомним в «Пире» Платона бессильные и торопливые, взволнованные слова об «Афродите Небесной», т. е. о сопричастии чему-то небесному в нити

По вечным, великим  
Железным законам  
Круг нашей жизни  
Все мы свершаем...

и, наконец, не примем во всем его объеме сделанное нами здесь разделение порядка *логического выражения* и порядка *жизненной ткани*: т. е. миги эти — в сущности те же «*idées innées*», как «врожденная идея Бога» у Декарта, но — в переложении на семито-хамитическую гамму — не «*идея innée*», но... «*ткань бытия innée*», лежащая в основе самих идей. Вот «храм Бела», «древнего» Бела. Этот храм — тоже, что творение Декарта «*De substantia*», ни — большее, ни — меньшее, ни — менее истинное, ни — более оскорбительное... — *То же* самое, без всякого разграничения. Мы «умственно» развились до великих теологических систем, до «видения всего в Боге» (у Беркли, у Малекбранша); Восток развился «семенно» до *ощущения* святости, и, наконец — до *ощущения* прямо небесности, теистичности в акте созидания самого «лика человеческого», который ведь позднее, через тысячелетия, и заговорил — действительно заговорил — «теологиями». Нам хочется ввести эти явления в грубую, обыденную действительность, — в свет фактов, непосредственно нами ощущаемых, через призму которых станет яснее тот древний свет. Итак, вот Левин — «не чистый» — как он волнуется, испуган и несет непорочной своей невесте тетрадку исповеданий; т. е. он тянется к какой-то «чистоте» в ритме жизни. Но что он делал раньше? в чем теперь исповедуется? от чего с ужасом бежит «в брак» как в «таинство»? *Дом терпимости* — вот обратный полюс, вот противоположная точка *храму*. Левин до брака в этот *дом терпимости* относил свой половой ритм, как в Вавилоне этот половой ритм относился в храм. Два полюса, — Восток и Запад, в их соответственном расположении. *Что же делает Левин, каюсь, смятенный, робкий?* — Он вступает на *первую — третью — пятую* ступень «ветхого

днями» Вавилонского храма!!! Пол может быть выявляем «не иначе, как *только в браке*», т. е. сравнительно с домом терпимости — на «*высоте*» же, именно — на сиро-финикийской высоте. Он может быть выявляем *только с невинной любимой и любящей, глубоко нравственно связанной девушкой*: т. е. пол ищет *чистого, не загрязненного себе помещения* (см. евреи, особенно — священники); наконец, пол жаждет и действительно образует *семью*: это уже что-то «*святое*» по помещению сравнительно с толпой грязных женщин в доме терпимости. Мы видим неоспоримо, что «*семья*» и «*брак*» именно и образуют собою «*ступы*», «*скамеечки для отдыха*», но — *по тому же точь-в-точь* самому плану и мысли, как был устроен Вавилонский храм. Небесный брак, т. е. чувство *небесного* в ощущении брачного ритма, *непорочность* его и, наконец, *святость* — вот куда всплескивается и *сейчас у всех*, по крайней мере у всех *не развращенных*, половое влечение. Как оно *серьезно* и сейчас еще для девушек, т. е. для *блюдущей еще свою чистоту* половины человеческого рода!! Половое выявление вне семьи, без любви и без уважения — это пугает и потрясает девушку. Т. е. в *меру невинности* — человек и теперь стоит на высшей сравнительно ступени этого древнейшего

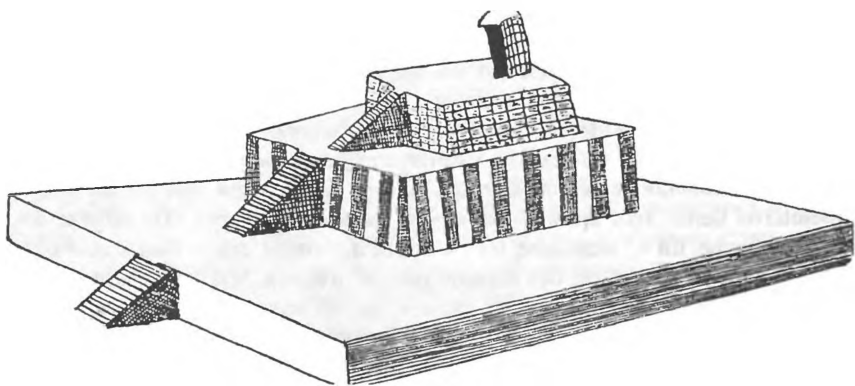


Рис. 15.

Образец Халдейского Святилища. Святилище из городка Ур, откуда вышел Авраам. Наверху его комнатка, «где стоит большое, прекрасно убранное ложе и перед ним золотой стол. Никакого изображения в Святилище не находится. Провести ночь в Святилище никому не дозволяется, за исключением одной только туземки. Так рассказывали мне халдеи. И они же прибавляли, — чему не верю, — будто некоторый бог посещает эту комнату и почивает на ложе» (рассказ Геродота, I, 181—182). (Против оригинала увеличено мною в 16 раз).

плана храма. И, следовательно, план этот абсолютно непостижим только для одного развращенного и погибшего в разврате своем человека. Вот «дыхание Востока», повторяющееся в *биографии каждого из нас*; войдем в дом, «семейный», — и в его отделениях мы откроем кой-что финикийское. Все приемные комнаты, парадная часть квартиры, куда мы входим внимательно одетые и где ведем речи внимательно обдуманнные: здесь есть люстры, канделябры, но мы не чувствуем здесь необходимости *иконы, образа*. Это — жилище «как помещение», но — еще не жилище «как семья». Но мы, войдя, начинаем искать именно *семьи, ее теплоты*, — ее прекрасной и истинно мистической животной теплоты. Только если мы интимны с хозяевами дома, т. е. если к нам они питают совершенное уважение и особенно доверие к нашей нравственной чистоте, к незагрязненности воображения и

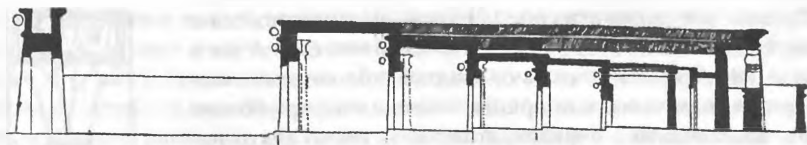


Рис. 16(а).

План египетского храма сбоку. Потолок все опускается, пол все подымается.

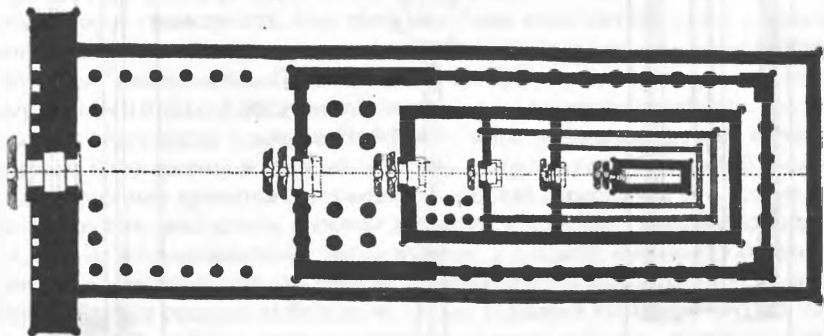


Рис. 16(б).

План египетского храма в разрезе. Кружки — основания колонн.



сердца, — тогда они перепускают нас в глубь жилища, где *комнаты меньше, темнее, все неубраннее*; и — лишь истинного, непоколебимого друга вводят в пред-спальню, в хаос копающихся детей, одетой «по-домашнему» жены. Мы теперь в «душе» дома, и вот уже здесь *есть образ и лампада*. Совершенно — «по-египетски», если мы вдумаемся, где храмы все тоже «понижались», уменьшаясь, и в последней маленькой и невзрачной комнате лежало «животное», т. е. просто одно из выражений «жизни». В спальне, куда и друг не переступает, — непременно есть «благословенный образ», т. е. коим мужа и жену «благословили» отец и мать в брак. Перед ним в таких случаях — *неугасающая лампада*; т. е. опять — это храм, начало храма, его первообраз; и он инстинктивно загорелся, засветился именно как окружение здесь совершающейся жизни. Всякий *дом и семья*, в отделениях своих и в расположении своем, это и до сих пор есть *авилонский* ли или *египетский* храм, в миниатюре его, но в полной мысли его!! Таким образом, вот *расположение истории*, повторяющееся в *расположении квартиры*. Семито-хамитическая Азия и была «внутренней» частью, «задней половиною» всемирно-исторического поприща, — *интимною, глубокою*. Там жило великое «чрево», которое истинно свято постигло задачу «плодоношения». Оно подняло его «на

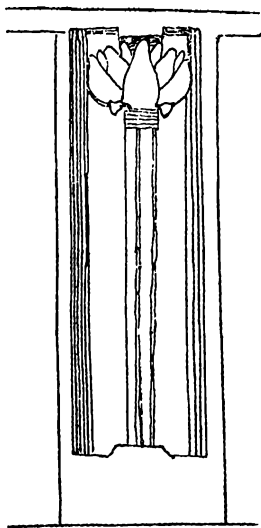


Рис. 17.

Колонна египетского храма.

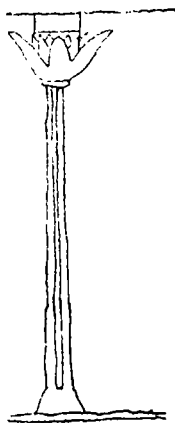


Рис. 18.

То же.

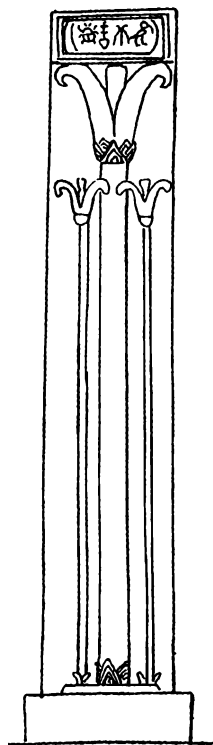


Рис. 19.

«Миндалинка распускающаяся» египетского храма (колонна).

высоту», окружало его «лампадами»; впервые в истории создало образ *филиамного курения* и открыло *мелодию молитвы*. «Материнство», «отчество» — всему этому научило их; как оно же научает этому каждого из нас, научило Пушкина, Рафаэля. «Благословен Бог, сотворивший свет» — в Сионе, Тире, в Мемфисе, Вавилоне, в Москве. Мы понимаем «распускающиеся миндальные цветки» в Скинии Завета; распускающийся лотос — в Саисе, Гелиополисе. Мы, которые — забыв это теперь уже закрытое, застаревшее, не несущее более «чрево» — почти вовсе вынесли из него именно мелодию молитвы, «воздевание рук» к небу; и все это преобразовали «в логический способ выражения», в «имя», «слова», «λόγος». Но остановимся же еще раз на древностях.

Как только мы примем указанную точку зрения на них — решительно мельчайшие подробности «святого чрева» Азии высветятся для нашего постижения, сблизятся отдаленнейшие точки, сольются в нерасчленимую картину разделенные тысячелетиями обычаи!! И поражающие дикостью «нравы», «узаконения» получают простой и ясный смысл, — совершенно обратный тому, какой придавался им. Вот несколько иллюстраций. Евреи и по сей час не остаются хотя бы в редких единицах холосты, и среди этого племени неугасающего плотского света мы вовсе не находим ни «старых дев», ни «обманутых» и «покинутых» «любовниц». Закон «ужества» или «левирата» — столь непостижимый в укладе нашего обычая закон — по коему юная вдова становится принудительно женою ближайшего покойному мужу своему родственника, обеспечивает израильтянке материнство, пока она к нему способна. *Еврей и семья, еврейка и дети* — понятия неразделимые; но как уже разделенные — у нас!! У нас не разъединимы понятия «гражданин» и «просвещенный»: и не обеспечивая каждой девушке замужество, мы ей обеспечиваем — грамотность. Мы требуем — как естественного, как нормального и, следовательно, возможного, даже с принуждением — «всеобщего обучения грамотности». Переложим это требование из порядка логического выражения в порядок жизненной ткани — и мы получим «левират», постигнем плач летописца о дочери Иеффая — «она не познала мужа», и, напр., пойдем эту страницу из Геродота: «Между странными обычаями Вавилона более всего мне нравится следующий. В каждой деревне раз в год созывают всех девушек, достигших половой зрелости, и выводят толпою в одно место; кругом их располагается толпа мужчин. Глашатай вызывает каждую по одиночке и продает одну за другую — прежде всех самую красивую; когда первая бывает продана за большую сумму, глашатай вызывает другую, следующую по красоте за первую; девушки продавались под условием супружеской жизни с ними» — т. е. мы догадываемся, что они «выдавались в замужество»; и, без сомнения, странному обычаю уже предшествовали переговоры, соглашения, любовь, которая в этот миг получала только реальное осуществление. Геродот продолжает: «Все богатые вавилоняне, достигшие половой зрелости, одни перед другими покупали себе красивейших девушек, а такого же возраста люди простые вовсе не искали красивой на-

ружности, — и с деньгами готовы были брать и очень некрасивых. Покончивши с продажей красивейших девушек, глашатай вызывает потом самую безобразную или калеку и спрашивает: «Кто желает жениться на ней с наименьшим вознаграждением?» Девушка вручалась тому, кто соглашался жениться на ней с наименьшею додачей денег; употреблявшиеся на это деньги собирались за красивых девушек, т. е. красивые выдавали замуж безобразных и калек» (книга I, глава 196). — Это — «всеобщая принудительная грамотность», но — переведенная на закон «святого чрева». «Искалеченность», «безобразие», — что для нас как бы снимает с девушки образ человеческий, — для вавилонян не значило ничего особенного; — и *всеобщую заботою* они давали ее в «жену», т. е. возводили на высоту материнства. Красивейшие, счастливые, с чисто сестринским чувством отдавали свои средства, дабы и некрасивые не остались «без доли». Вот — животная теплота; «любовь» тех внутренних частей покоя, где — дети, неубранность, лампада и полог. Во всяком случае, это есть та же забота, как и «левират» у евреев: ведь и деверь может быть некрасив, невестка — безобразна или уже стара; но она должна взойти «в мать» — в Сионе, Вавилоне, сейчас — в Вильне. Один закон, одно явление; в сущности, одно «умоначертание». — «Следующий по степени мудрости обычай у них таков: больных выносят они на площадь, потому что врачей не имеют. К больному подходят и говорят с ним о болезни; подошедший сам, — быть может, страдал когда-либо такую же болезнью, как больной, или в такой болезни видел другого. Люди эти, подошедши, беседуют с больным и советуют ему те самые средства, которыми излечились сами от подобной болезни, или видели, что излечились этими средствами другие больные. У них не дозволялось пройти мимо больного молча, не спросивши о болезни» (Геродот, книга I, глава 197). Это — братство; — теплота коровьего хлева, где никому не холодно; — истинная любовь, потому что она реальна, потому что она плотска. — «О, если бы можно было представить город, все граждане коего *связаны были бы плотским чувством: такой город был бы непобедим*, ибо в нем каждый был бы готов умереть за каждого», — воскликнул в каком-то предвидении и волнении Платон в «Пире». Но вот такой «город» есть: это — Израиль; и, в самом деле, он — «непобедим», ибо «нельзя» в нем «пройти мимо больного и не спросить о болезни», нельзя израильянке выйти за «чужого», — но зато каждой израильянке обеспечен «свой». Т. е. ясно, что это есть плотский союз, и, собственно, закон «ужества» — он тайно действует на протяжении всего Израиля; в разреженной, прозрачной, едва уловимой, но, однако, реальной форме — он веет над всею массою 12 колен. Но сейчас нам станет понятен и закон «дубрав».

Кто была Ревекка, жена Исаака? — *Халдеянка*. «И пойдя в землю мою, на родину мою, и возьми оттуда девицу в жену сыну моему», — говорит *халдеянин же Авраам*, колонист из города Ур (географическая точка в Месопотамии, теперь определенная) верному рабу своему. — «Пей, господин мой; я начерпаю воды и для верблюдов твоих, пока не напьются все» (Бытие, 24),

— говорит Ревекка недоумевающему и осматривающемуся рабу. Она под-  
 лежала закону дубрав, о котором читаем у Геродота: «У вавилонян есть, од-  
 нако, следующий отвратительный обычай: каждая туземная женщина (т. е.  
*не* девушка) обязана раз в жизни иметь сообщение с иноземцем в храме  
 Милитты. Многие женщины, гордые своим богатством, не желая замешиваться  
 в толпу других, отправляются в храм и там останавливаются в закры-  
 тых колесницах; за ними следует многочисленная свита. Большинство жен-  
 щин поступают следующим образом: в святилище садятся они с веревочны-  
 ми венками на головах: одни приходят, другие уходят. Во всевозможных  
 направлениях здесь идут дорожки, и иноземцы, выходя, выбирают себе нра-  
 вляющуюся. Севшая здесь женщина не вправе вернуться домой ранее, как ино-  
 земец бросит ей монету на колени и пригласит ее следовать за собою: «Зову  
 тебя во имя богини Милитты». Как бы мала ни была монета<sup>1</sup> — женщина не  
 вправе ее отвергнуть, и, не пренебрегая никем, она следует за первым, кто  
 бы он ни был... После сообщения женщина возвращается домой — «и, с



Рис. 20.

Из быта халдеев.



Рис. 21.

Из быта халдеев.

<sup>1</sup> Евреи не рассказывают, а историки и богословы не догадались обдумать, что «самая древняя и священная форма заключения у них брака» до сих пор есть следующая: жених подает девушке монету и произносит: «Беру тебя этою монетою в жены себе по закону отца нашего Моисея». Если девушка приняла монету — брак заключен, они — муж и жена. Никаких других формальностей и обрядов при этом не требуется. Не только по форме («монета»), но и по существу столь большой легкости и только «согласия двух» — неоспоримо, что религиознейшее зерно (эта формула — самая сакраментальная, священная, — как бы мы сказали: «От Ярослава Мудрого и по Русской Правде»), что самая священная форма заключения брака у евреев идет прямо от вавилонской священной проституции. Впрочем, гадкое слово «проституция» принадлежит ученым и никогда ни вавилонянами, ни евреями не применялось «к своим делам». Другой свет, учеными не разобранный. «Нужно согласие да любовь, и чистое тело и обильные рёды». Но это — не проституция.

того времени», — записывает наблюдательный историк, верно много расспрашивавший у туземцев, — «нельзя иметь ее ни за какие деньги». Вот обычай, который был выполнен матерями и Авраама, и Ревекки. «И отпустили Ревекку (отец, мать, брат ее Лаван), сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова и людей его; и благословили ее, и сказали: — Сестра наша! — да родятся от тебя тысячи тысяч и владеет потомство твое жилищами врагов твоих» (Бытие, 24). Вот психология, вот быт: «тысяча тысяч» в далеком потомстве — это и есть «чадородие», возведенное в культ, на «высоту» постижения, и вызвавшее странный обычай, так ужаснувший Геродота. «Напейся ты, а потом верблюды», — говорит она чужеродцу, какого увидела в пришедшем из Ханаана Авраамовом рабе, — и сказала это она после первого его слова. Покорность и ласка. «И побегал Лаван и сказал тому человеку: «Войди, благословенный Господом; зачем ты стоишь вне? я приготовил дом и место для верблюдов». Еще Израиль только начинается, но психика — типично израильская. «Благословен Бог — сотворивший свет», это будет говорить в Сионе, но сейчас это говорят в Уре халдейском. Но есть ли здесь принужденность в браке, тень которой не исчезла посейчас в России, Франции? «Когда раб Авраамов кончил речь свою, они (родители и брат) сказали: позовем девицу и спросим ее, что она скажет. И призвали Ревекку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду» (там же). Мы упомянули о ласке и тепле, о всем этом — в приложении к чужеродцу. Но что же такое «дубравы» и имя «Милитты» ли, «Мадонны ли» — общее

Дам тебе я на дорогу  
Образок?..

Универсальное материнство, космическая животная теплота, самая бесспорная, непоколебимая. Как весело бежит Лаван к чужеродцу, не нашедшему постоянного двора: «Дом тебе готов, — и для верблюдов». Но распространим же эту ласку дальше, глубже; возведем это веселье бегущих ног — до неба, до «высоты» храма Бела; и возьмем безмолвие, неумелость выразиться логически — так до конца и не создавшее арифметики, когда уже создан был Экклезиаст: вот в этом всем и лежит родник «дубрав». У племен «обрезания», где все пошло в культуру пола, которая истончилась и углубилась до непостижимых для нас оттенков в понимании целомудрия, чистоты, святости, у этих племен и идея всемирной общности людей, их братской и сестринской<sup>1</sup> связанности — «несть иудей, ни эллин» — вылилась в единственном способе говора, каким они владели, — в говоре «дубравы». «Дубрава» — исключительно для иноземцев, за «самую мелкую монету», с калеккой или уродом, «именем Милитты»... Ну, что имя —

оно прошло, оно пройдет.

---

<sup>1</sup> Замечательно, что «родное» и «чистое» имя «сестра» есть общее для жены, дочери (книга Товита) и всякой вообще женщины у иудеев, в Ханаане и Халдее.

Рафаэль его вспомнил под одним именем, Лермонтов — под другим. Эти «дубравы», как и записал точно Геродот, не носят вовсе никакого чувственного характера: их чувственно принимали иноземцы, но субъективно, но внутренне — это самоотвержение самое глубокое, «милостыня» — самая поразительная, слиянность с «варваром», «иудеем», «эллином», какой не выработали Афины, Рим, Париж. «Потом *нельзя* приобрести такую женщину ни за какие деньги», — записывает Геродот; он же прибавляет: «Выдающиеся красотой и сложением женщины уходят из храма скоро; все некрасивые остаются там долго, потому что долго им не удается исполнить свою обязанность». Вот полнота факта. Если мы вспомним, что эдикт Каракаллы, даровавший «право римского гражданства» всем «провинциалам», есть юридическое завершение тысячелетнего развития Рима, мы догадаемся, что «умоначертание» дубрав и есть «ветхое деньми» расторжение национальных, городских, территориальных уз. Но — как это показалось Геродоту — это не есть «хладное» впускание к себе чужеродцев: чужестранец, калека, старик — лишь символ далеких, не виденных земель; «благословен Бог, сотворивший свет» — в Иберии, Галлии, где тоже какие-то есть люди:

что в имени тебе моем?..

они не забыты вавилонянкою, — и она не только «поит верблюдов», «снимает сапог и оmyвает ноги», но — «знатная и богатая», «гордая» (см. запись Геродота), имея вокруг «свиту» и «укутавшись в колеснице» — совершает самоотвержение, на которое для Инсарова — лишь выздоравливающего, ушедшего от смерти — в радости и счастья о бытии, о жизни *его* именно, решается Елена («Накануне»). Тут все поразительно, всякие частности: «иные некрасивые должны ждать по три и по четыре года», записывает Геродот. Как женщина, она не могла не чувствовать укола в самую больную точку (самолюбие, и самолюбие красотью) при каждом, прошедшем мимо и не остановившемся чужеродце: — «зеркало», показывающее ее «дурнушкою» целых три года... Всякая, даже терпеливая, разбила бы такое «зеркало», — но вавилонянка безмолвна и ждет. Тут есть такая глубина безропотности, смирения, самоотвержения, до каких не может поднять нас ни наука, ни философия. Итак, к исходу третьего года — уже приблизительно тысяча прошла мимо, и, по общечеловеческой психологии, мы не можем не догадываться, что, уже начиная приблизительно с двухсотого, халдеянка чувствует в этих грубых и невинно ее обижающих людях несколько «врагов» себе. Но вот 1001-й, небрежно уронив ей в колена монету, урод или старик, вовсе не понимающий (как и Геродот) смысла того, что здесь совершается, зовет ее «именем Милитты». — «Как бы ни мала была плата, она не может отказаться»: это бросил сирота на пире мирском, «матрос», «четвертое сословие». На секунду мы оглядываемся на устройство храма Бела и видим, что вавилонянка точно понимает в брачном ритме небесное таинство; и она как «миру» проливает это таинство на «меньшого брата» и «немножечко врага»,

который в течение трех лет показывал ей «некрасивое зеркальце». — «О, как я их *всех ненавижу*, — не может не говорить каждая девушка, мысленно припоминая вечер, на котором сотни мужчин прошли *мимо ее*, не заметив ее. Природа человеческая — вечна; и как мы удивлены, что одна только вавилонянка не умеет ненавидеть: она оказывает 1001-му оскорбителю такой акт милости, склоняется около него такую «самарянкою», жертвует такую ценностью, лучшею жемчужиною бытия своего, что — растерянные — мы можем только безмолвствовать. Это — Ревекка, т. е. страна Ревекк; и знакомая Аврааму, она и вызвала у него мольбу слуг: «Вот, я стар: — положи руку под стегно мне (между бедрами — замечательно место утверждения клятвы) и клянись мне Господом, что ты не возьмешь сыну моему жену из дочерей хананеев, среди которых я живу; но пойдешь в землю мою, на родину мою, — и там возьмешь жену сыну моему Исааку» (какую-нибудь, имя, лицо, условия — не указаны: страна «добрых дочерей», «высокого подбора жен»). Библия и Геродот опять сливаются, но «отвратительное» для Геродота, для нас высвечивается *необычайным*, прямо небесным светом. Соня Мармеладова, но в невинности и бодрой улыбке, крепкой походке ее сестры Полечки.

— Вы любите, Полечка, вашу сестру Соню?

— О, да, я ее больше всех люблю; она такая добрая...

— А вы молитесь Богу?

— О, как же: сперва «Богородицу», а потом еще одну молитву: «Боже, прости и благослови сестрицу Соню», а потом еще: «Боже, прости и благослови нашего другого папашу (N. В. — Мармеладова, см. сейчас ниже), потому что наш старший папаша уже умер, а этот ведь нам другой, а мы и об нем тоже молимся».

Раскольников вдруг наклонился.

— Полечка, меня зовут Родион; помолитесь когда-нибудь и обо мне: «и раба Родиона» — больше ничего.

— Всю мою будущую жизнь буду о вас молиться, — горячо проговорила она и охватила его шею («Преступление и наказание» — изд. 84 г., стр. 173).

Вот — Халдея. Сейчас объяснится и последняя ее тайна, т. е. по крайней мере тайна ее ближней двоюродности — Финикии. Но сперва — черта из психологии и быта: Илие Фесвитянину, «души которого искали» «иконодулы»-финикияне, пришлось зайти в сидонский, т. е. финикийский же, городок Сарепту. Здесь, чувствуя голод, он попросил есть у встретившейся женщины. «Жив Господь Бог твой», — ответила поклонница Ваала и Астарты, — «у меня ничего нет, а есть только горсть муки и ложка масла; вот наберу полена два дров и приготовлю это сыну своему и себе: — и съедим, и умрем» (был голод, засуха). Какая покорность! — но израильтянин горд и властителен, и требует сперва — себе: «Не бойся, пойдя, сделай, что ты сказала; но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне». «И пошла она, и сделала так, как сказал Илия»... Музыка слов и отношений совершенно так же, как на «браке в Кане Галилейской». Но вот у нее умира-

ет «сын», — умирает тот, кто вырос из нее, как «миндалинка» в «светильнике», как ягодка на «расцветшем Аароновом жезле». И она приписывает, она убеждена, что это — от недоброй воли и волшебной силы Илии, сотворившего тогда же чудо неистощимой муки у нее в кадке. Мы сейчас должны припомнить ту сестру ее, халдеянку, которая три года терпеливо и покорно ожидает по закону Милитты, какой бы моряк-чужестранец «взял» ее. Ибо слова ее единственным во всемирной истории тоном покорности и глубины совершенно соответствуют покорному духу и покорной судьбе халдеянок, как их описал Геродот. Она, убитая горем сирота, говорит пророку израильскому: — «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить у меня сына». Вот — тембр души, вот музыка сердца, которая

пройдя веков завистливую даль,

переживет Парфенон и Капитолий, доживет до нас, станет томить наше сердце как недостижимый идеал. Но чей же это голос? Да женщины, углубившейся в материнство, провалившейся в ее бездонные глубины, в невероятную сложность и утончение материнства:

Дам тебе я на дорогу  
Образок —

«Мадонны» ли, «Астарты» ли —

Что в имени тебе моем?..

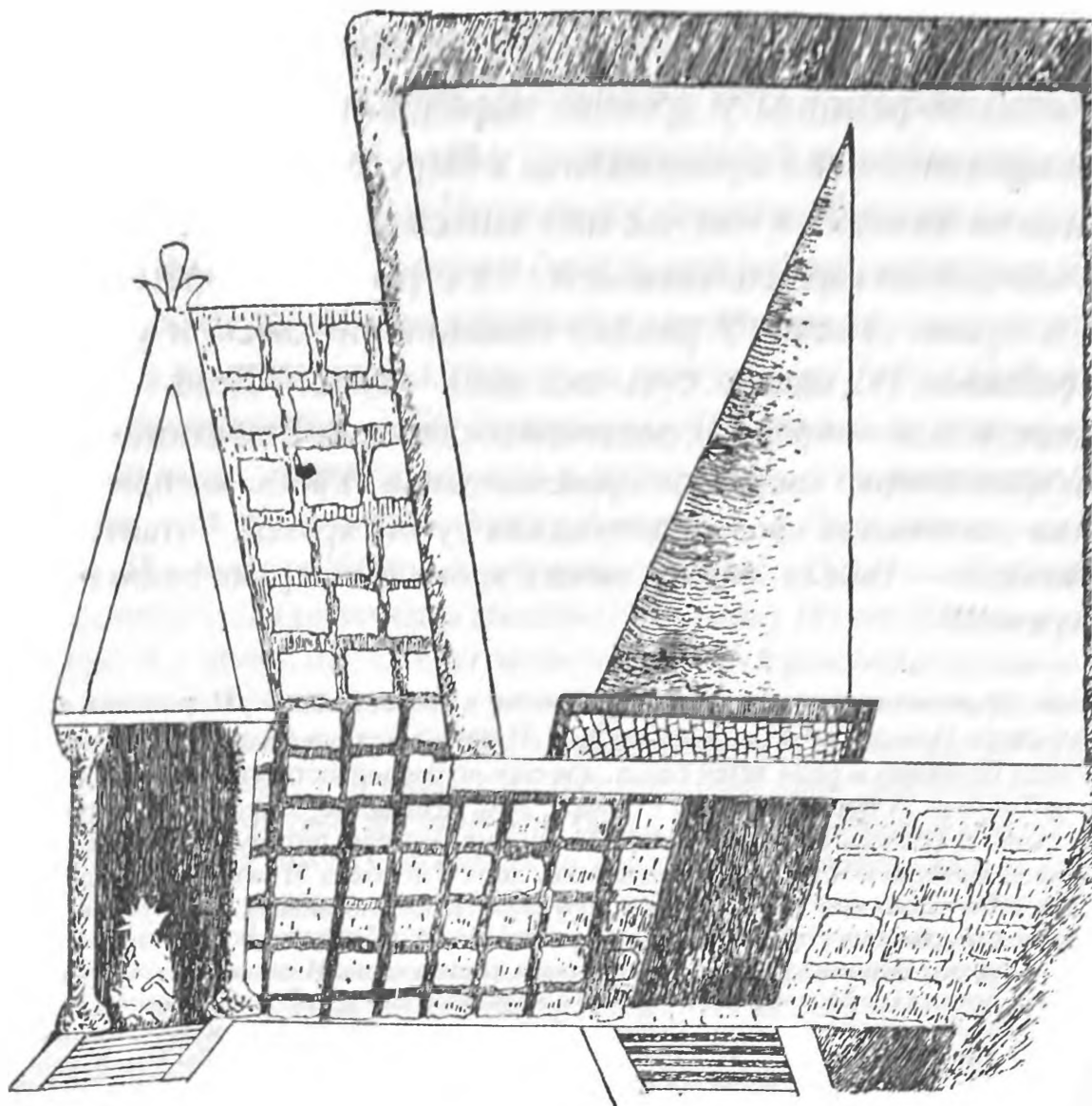
Но, может быть, вдовица Сарептская была индивидуальным исключением? Нет, это тон быта, тон массы. Вот еще слова: «И пришли соглядатаи (от Иисуса Навина) в городок Лаис, и увидали народ, который в нем, что он живет покойно, по обычаю Сидонян, тих и беспечен, — и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть; от Сидонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела» (книга Судей, глава 18). Это, 2½ тысячи лет тому назад записанное, и посейчас выражает быт простолюдинов евреев, — их разбросанность по миру, их таинственную сосредоточенность каждого в своем месте и в своем часе, — с чертами духа одинаковыми от Спинозы до русского шапочника. Соглядатаи думают, однако, что это — «язычники», и вот входят в один дом. «Знаете ли, — передают они потом, вернувшись к своим, — что в доме этом мы нашли *ефод, терафим* (типичные богослужebные принадлежности у евреев), *истукан и литой кумир*. Итак, братья, подумайте — что нам с ними делать?» (там же, стих 14). Все решили переманить домохозяина к себе. «Они, — придя уже с 600 человек вооруженных, — вошли в дом, и взяли (себе!!!) *истукан, ефод, терафим и литой кумир*. Хозяин же дома сказал им: «Что вы делаете?» — Они ответили ему: «Молчи, положи руку твою на уста твои и иди с нами и будь у нас отцом и священником; лучше ли тебе



быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израильском?» (там же, стих 19). Только тупое воображение (и деревянная душа) историков, археологов и богословов помешала им рассмотреть в этих словах, *сплошь к другим приставленных в начальной книге истории Израиля*, — целую сокровищницу открытий для истории и для веры. Ведь *кто* приходит в Ланс, *финикийский городок*? Приходят можно сказать («живость воображения») «наши» евреи, история и религия которых есть «Аз» *нашей религии*, заучиваемой ортодоксально еще в гимназии («живость воображения»). Приходят они сюда *впервые* («живость воображения»), на *девственную* для них культурно и религиозно почву, — выведенные из Египта Моисеем, который («живость воображения») и для нас *доселе* есть «пророк и человек Божий». Теперь (синтез «живых воображений»): в Финикии очевидно — «финикийская религия», отнюдь им не навязанная Авраамом, который им ничего не пропагандировал, а был «в завете с Богом» *один и со своим личным потомством*, которое все *целиком и без остатка*, вместе с Иаковом, под старость его лет, переселилось в Египет. Переселился Иаков и все его 12 сынов с детьми и внуками. Повторяю, в Финикии пропаганды не было, да религиозная пропаганда даже доселе не в духе Израиля и даже враждебна Израилю («таящийся» характер религии, — только «для себя»; начало и дух полового *затенения*). Итак, была у финикийян *ихняя финикийская религия*, а у евреев была та «своя религия», которая есть вместе и *наша* религия, насколько Моисей и Иисус Навин суть «праведные и святые люди» для учеников наших гимназий и для родителей их. Вдруг, войдя в первый же дом, — войдя именно *девственно и первоначально*, — их «соглядатаи», в своем роде «лазутчики во враждебной земле», находят у «хозяина дома», в который они забрели случайно, такие принадлежности домашнего его богослужения, — богослужения семейного и родового, — которые «годятся и нам», т. е. «годятся» этим евреям времен Моисея и Иисуса Навина, и они настолько не видят разницы между собою и этим финикийянином, что зовут его без экзамена и проверки вероисповедания быть священником (!!!) у них, у евреев, для ихнего «колена израильского», соблазняя его в своем роде «обширностью прихода». — «*Ты тут у себя и для одного своего*» семейства служишь, поклоняешься, читаешь молитвы; а у нас то же будешь делать — *для целого народа*.» Не поразительно ли, не разит ли в голову наших богословов, как гром среди ясного неба!! Центр дела, очевидно: «То же богослужение будешь править, как у себя и для себя». *Какое же* «богослужение», главное — *кому же?!!* Ведь «у финикийян — своя религия», «у евреев — своя», и между ними — «никакого сходства, полная вражда» (историки и богословы). А дело «приходится» и Библия рассказывает, что «он годился им в священники». «Рука» и «перчатка» и «рука входит в перчатку». Значит, она — «моя», или — «мы носим один номер». Явно и очевидно, что при возможной разнице в именах, как «Иван» и «Иоганн», суть и идея и чувство поклонения были абсолютно тождественны у финикийян и у евреев, и мы даже чувствуем — *в чем*: оба племени и обе религии молились одному и тому же богу или одним и тем же богам плодородия и чадородия, и как *пред-*

мет и содержание молитв было одно, то и тембр не только одних молитв, но и разговоров (Илия Фесвитянин и вдова Сарепты Сидонской) и всей вообще целостной цивилизации был один и совершенно неразличимый ни для «соглядатаев», ни для позднего пророка израильского. Историки «разделили» там, где весь текст Библии говорит: «соедини», ибо «тут только разница в подробностях и именах». Тогда мы вдруг открываем, почему Авраам, т. е. *еще до зачала евреев*, встречается в Ханаане Мелхиседека — «священника Бога Вышнего» (Бытие, гл. 14). «Израиль» начался гораздо ранее Израиля: и Авраам, оседая около «дуба Мамврийского», был каплею, капнувшей в *свое море*, как и из «своего» же моря, около Ура Халдейского, он вышел. Сейчас нам объясняется вся запутанность израильской истории: Соломон поклонился Астарте, но вот единственная в истории по колориту и настойчивости просьба Авраама: «Вот я решился говорить Владыке, я — прах и пепел: может быть до пятидесяти праведников не достанет пяти, неужели за недостатком пяти — ты истребишь весь город» (Бытие, 18). Он не недруг князю спаленных позднее городов: «Поднимаю руку мою к Богу Всевышнему, что даже нитки и ремня из обуви не возьму из того, что принадлежит тебе», — говорит он князьку, возвращая ему скот и имущество, отнятое обратно у кочевых хищников (Бытие, глава 14). И совершенно также понятно, что Хирам, царь тирский, встречая посланцев от Соломона, пришедших за зодчими, говорит: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого» для управления этим многочисленным народом» (третья книга Царств, глава 5) — т. е. он говорит *Израильскую молитву*, как и зодчие, *специально храмовые*, не спрашивают у Соломона *планов постройки* — но воздвигают все, что и как нужно. «Мы там нашли терафим и ефод, — что нам делать?» Но, может быть, неразличимое для соглядатаев, неразличимое для Соломона, неразличимое и для нас (восклицание сидонянки-вдовицы) — было различно, однако, всегда для пророков? Но нет, *от имени израильского Бога* говорит Иезекииль о финикийском Тире: «Ты — печать совершенства, полнота мудрости; ты находился в Едеме, в саду Божию; ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, — и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней; ты совершен был в путях со дня сотворения твоего (Иезекииль, глава 28). «Со дня сотворения», — это же должно, в устах израильского и нашего пророка, что-нибудь значить для недоумевающих очей историков?! «С сотворения это был Мой любимый, Мною благословляемый город». Неужели это их не потрясет? Мы понимаем тогда родник неуправляемых отпадений Израильского и потом наконец Иудейского царства в финикийский культ: — отпадений *в самую творческую и оригинальную собственную пору, сейчас после Давида и Соломона, в стадию пророчества*. «Чтили Господа, но поклонялись и Астарте» — вот строка, в которую укладывается классический период Израиля; мы ничего в нем не поймем, если не обратим внимания, что многие самые типичные, самые возвышенные и до сих пор повторяемые у нас в церквах слова, речения, строки — суть именно «дыхание» Астарты. Кто была Руфь? — Она была моавитянка, т. е. поклонница Хаммуса (четвертая кн. Царств, глава 23, стих 13).

Но кто был Иов? — Из земли Уц, в северной Аравии, куда 12 колен *не простирались*. Т. е. перед «долготерпеливостью» Иова, кротостью сидонской вдовицы, преданностью и чистотой Руфи — *потомки халдеев Исаака и Ревекки преклонились*, как и мы *доселе преклоняемся*. Но откуда же мучительный гнев на это пророков? Мы ничего в этом не поймем, пока не обратим внимания на *состав гнева* и на одну маленькую современную нам подробность. Гнев льется на самое имя, на лицо «иных богов», *не затрагивая* так сказать «дыхание» поклонения, его внутренний нерв, его внутреннее существо; он не против «материнства» Астарты, но — против того, чтобы молитва «материнства» *относилась к Астарте*, когда должна быть (у евреев) отнесена к Иегове. Вот тембр, вот линия уклона и содержание всех пророчеств. «И высоты, которые перед Иерусалимом, направо от масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамусу — мерзости Моавитской, и Милхому — мерзости Аммонитской — их осквернил Хелкия; и изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил костями человеческими это место» (четвертая книга Царств, гл. 23). Вот строка, — *типичная и однообразная* у пророков Израиля и у писателя книги Царств, — которая и запутала малодумные головы новых историков. Тут так ясно выговорено «мерзость», что какого же труда стоит повторить «мерзость» и уверять древле и — внове, что все «тирское и сидонское», все, следовательно, «от Руфи» и «от вдовицы Сарепты Сидонской», было *по существу и делу* для пророков — «мерзостью». По существу, по содержанию, по духу, по всему. Между тем ведь сами же экзегеты Библии говорят, да и пророки тоже говорят совершенно прямо, что «Бог Израиля» есть «супруг Израиля». Это так очевидно и такая «альфа» всего дела, что споров об этом нет и не предвидится. Из нее-то, из этой «альфы», и вытекает все дело и объясняются все пророчества и их неуклонно однообразный тон. Да они так и говорят, т. е. Бог Израилев устами их так и говорит своему народу: «Дети ваши — более *не мои дети*, а — *дети мерзости сидонской*, «мерзкого Ваала и Астарты», — как только евреи *начинали вступать в смешанные браки с финикийцами, с египтянами, с моавитянами и аммонитянами*. И — *исключительно к этим-то смешанным бракам слова эти и относятся*. Как и до сих пор анафема синагоги грозит каждому еврею и каждой еврейке за всякий смешанный с чужеродцем брак, за *смешивание кровей, за смешивание семени*. Историки же приняли это за смешение исповеданий, говоря нашим языком — за смешение «символов веры», за «переход из религии в религию», за *богослужебную, храмовую измену*. Между тем какому же супругу сладко, что дети «рождаются не от него»? И вот — гнев, ярость, типический гнев ревнования... В этом и лежат все пророки, — *читайте!!!* В этом и *еще ни в чем другом*. Ни в *чем и никогда в другом!!!* Читайте, читайте, читайте!!! Раскройте глаза на истину. Но ведь *существо-то* дела, *самое-то* плодородие, самая-то музыка «вдовы Сарепты Сидонской» или «Авраама с Саррою у дуба Мамврийского» остается одною и тою же, именно — плодородною, именно — чадородною. Говоря деревенским языком и говоря исключительно для истолкования истины историкам: «Хоша от Ивана, хоша от Петра: *а дело — одно*».



*Рис. 22.*

Образец финикийского Святилища. Святилище в городе Библосе, на берегу Средиземного моря. Стена преднамеренно невысокая. Крыши нет. Святилище, без сомнения, было обсажено невысокими деревьями и цветами. Внутри его на высоком, выше храмовой стены, постаменте поднимался в голубое небо чтимый фетиш. И святилища-то из-за деревьев и из-за построек городских не было видно, а только на небе и горел один этот фетиш, как земное солнце под небесным солнцем. И финикийцы и финикийки (фетиш — мужской), где бы ни проходили по городу, оглядываясь в сторону святилища, — постоянно видели чтимый фетиш, как бы «положенным на тверди небесной». Таково (я наблюдал) всегда впечатление линейного или удлиненного, без уступов и вообще без рисунка в себе, предмета, если он «прямо врезывается в небо» и если на него смотришь не очень близко. Изображение взято с бронзовой монеты города Библоса в пору подчинения Финикии Риму и увеличено мною в 36 раз (следы монеты уничтожены).

Тут-то и разверзаются глубины истории, всеосвящающие: что в поклоне-нии и его сути никакой разницы у древних народов не было, — отчего «римские жертвоприношения и принимались в Иерусалимском храме», а что разница была «в именах» и «на чье имя записывать детей», ну — и в зачатии детей именно от израильтянина, и — с страшным запретом о чужой крови и о чужом семени. У римлян «законно-римское», и у евреев «законно-еврейское». Но, однако, суть-то и дело — одна!!! Дело — крови, дело — семени; и дело — кровно-семенного соединения. Еще скажем: дело — породы, традиционно «верного» происхождения от того же предка, со страшными закланиями против допущения чужих кровей. Читайте! Читайте! Читайте! — Видьте, видьте: ничего кроме глаз, кроме очков и текста не нужно!!!!

<sup>1</sup> Как это огненно сказано: «Слово Господне к Осии, во дни... Исровоама, царя Израильского. Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: — Иди, возьми себе жену блудницу и роди детей блуда; ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он, и взял Гомерь, дочь Девилаима; и она зачала, и родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Израель; потому что еще немного пройдет времени и Я положу конец царству дома Израилева. И зачала еще, и родила дочь, и Он сказал ему: нареки ей имя Лорухама (Непомилованная); ибо Я уже не буду болес щадить дома Израилева, чтобы прощать им. А дом Иудин помилую. И, откормив грудью Непомилованную, она зачала, и родила сына. И сказал Он: нареки ему имя Лоамми (не Мой народ), потому что вы не Мой народ, и Я не буду вашим Богом. Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она не жена Моя, и Я не муж ее; пусть она удалит — блуд от лица своего, и прелюбодеяние от груди своих, дабы Я не разоблачил ее донага, и не выставил ее, как в день рождения ее. И детей ее не помилую, потому, что они дети блуда. Ибо блудодействовала мать их, и осрамила себя зачавшая их; ибо говорила: «Пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки». За то вот, Я загорожу путь ее тернами, и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих; и погонится за любовниками своими, но не догонит их; и будет искать их, но не найдет, и скажет: «Пойду я, и возвращусь к первому мужу моему; ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». А не знала она, что Я, Я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделала *истукана* Ваала. За то Я возьму назад хлеб Мой в его время и вино Мое в его пору, и отниму шерсть и лен Мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее перед глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки Моей. И прекращу у нее всякое веселие, праздники ее, и новомесячия ее, и субботы ее, и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: «Это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои», и Я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им, и украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а Меня забывала, говорит Господь. Посему вот, Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор, в преддверие надежды; и она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли Египетской. И будет в тот день, говорит Господь: ты будешь звать Меня «муж мой», и не будешь более звать Меня: «Ваали» (Господин мой). И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более воспоминаемы имена их. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа. И помилую Непомилованную, и скажу не Моему народу: «Ты — Мой народ», а она скажет: «Ты — мой Бог!»

Таким образом, вот где коренится гнев пророков, — весь и прямо примыкающий к «завету обрезания» Авраамова. Весь — только поддерживающий этот завет, напоминающий о нем, проклинающий каждого, кто от него отступает. Везде пророки отторгают Израиля «от служения богам иным», т. е. не от храмового и молитвенного служения (мысль историков), а совершенно, совершенно от другого «служения»: от служения в «крови» своей и «наследниках» своих... Мы так и слышим из-под этих строк определение Богом Себя Моисею: «Аз есмь *огнь пожигающий — Бог ревнующий*» (Второзаконие, глава 4, ст. 24). Огнь ревности чисто супружеской есть в то же время огонь религиозной ревности Израиля — «к иным богам». Место Астарты — в Тире; там ее — «10 или 15 колен». И с высоты Универса, для поклоняемого «Ока» — «Тир совершен в путях своих со дня сотворения своего» (Иезекииль). Но это именно — в Тире и об Тире. А с земли, откуда идет молитва, из «12» израильских колен — уклониться к этой тирской Астарте — *не по существу ее, а потому что она есть «тирская»* — значит уже уклониться в «блуд с иными богами». Да это так прямо и выражено, напр. у Иезекииля: «Я (Бог) проходил мимо тебя (Израиля) — и вот это было время твое, время любви. Ты достигла превосходной красоты — поднялись груди и волосы у тебя выросли. И простер Я воскрилия Мои на тебя, и покрыл наготу твою; и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог — и ты стала Моею» (Иезекииль, гл. 16)... «Но ты понадеялась на красоту свою и, пользуясь славою твоею, — стала блудить... с сынами Египта... с сынами Ассира... в земле Ханаанской, до Халдей» (та же глава у Иезекииля). Тон и мысль этого — у всех пророков. Если мы примем во внимание, что решительно духу всего Израиля и духу всей Библии противен способ риторической изобразительности, манера «образов» только украшающих, то мы догадаемся, что здесь дело идет *о действительности, т. е. о действительном ощущении, о способе «познавать» Бога*, который снова обращает наши глаза к вершине Вавилонского храма, к «бреду», показавшемуся «неправдоподобным вымыслом» Геродоту, и который, однако, и составляет глубочайшую и собственно всю тайну семито-хамитического Востока. Маленькая подробность, сейчас сохраняющаяся, вдруг объяснит и подтвердит эти древние тайны: у евреев до сих пор «выйти из религии», «отречься от Бога отцов своих» — и значит плотски разорваться<sup>1</sup> в узах с племенем своим, напр. через брак с чужеродцем; т. е. «верность

<sup>1</sup> Однако первая жена Соломона была египтянка; моавитянка Руфь стала женою Вооза; халдеянка Ревекка — женою Исаака; хананеянки бывали женами царей Израильских. В пределах «обрезания», т. е. «высокого» представления — брак возможен, хотя чуть-чуть затруднен («иные бози»). Но он совершенно невозможен с племенами «низкого» представления о брачном ритме, напр. с нами. Мы, по нравам и обычаям, «упиваясь вином», впадая в «скотоподобие», «допускаем» себя до ритма: это, мы учимся, — «животная» сторона нашей природы, коей мы делаем невольную «уступку». Евреи, не входя в наши рассуждения, но принимая во внимание наши чувства, и испытывают чувство гнусности от полового с нами общения; они не хотят нисходить из «храма» в «хлев»; и как по Второзаконию — «всякая, которая становится перед скотом, да будет душа той истреблена из народа своего», — убивают или почти убивают, хотят «истребить» еврейку, решившуюся «стать перед» не-евреем.

Богу», твердость «религиозная» проходит нитью именно в брачном ритме («со своим»). Это именно прозрачный «левират», истончившееся в утренний туман «ужество», связавшее все племя —

По вечным, великим законам...

И плотская ткань его не была бы святою, неугасающею в истории, не продырявливающейся в тысячелетиях, если бы в самое «снование челнока» действительно не входило «дыхание» Божие<sup>1</sup>, и, так сказать, существо Божие не составляло бы суть вечной ткани. По крайней мере, это так в представлениях пророков, и бесспорно — в ощущении Израиля, по крайней мере в классическую пору его существования, от которого след сохраняется в теперешних обычаях, «предрассудках», инстинктах. Но это самое ощущение и составляет «дыхание» всех стран, обрезания: — оно есть в плане и мысли Вавилонского храма, в «милостыне» Милитге, «околохрамных» дубравах, в курении Товии, «миндалинках скинии»; и, наконец, в неизъяснимом представлении египтян, что «Апис зачинается от нисходящего с неба на корову луча света, от коего она и рождает его, после чего она уже никогда вторично не может быть стельною» (Геродот, третья книга, глава 27). Здесь общее и собственно единственно-важное — субъективное ощущение «высоты» брачного ритма, его «чистоты» и, наконец, «святости» — которое зажгло лампы, «подняло» храм Бела, насадило «дубравы» и создало, как у Израиля, весь необозримый ритуал «очищений», «курений», «новомесячий», «суббот». Но мы все это оговариваем, чтобы объяснить грозную и ужасавшую всех историков манифестацию религиозного чувства «в правом от дней рождения своего» Тире. Это — ужасная курящаяся кровь детей.

Ведь сидонянка, у которой попросил Илия Фесвитянин хлеба, ответила: «Съедим — сын и я, и потом — умрем». Сын — впереди матери, и нужно слишком не понимать существо материнское, чтобы не догадаться, что дитя и всегда везде предносится матерью. Но вот оно возносится в «огнь поедающий». — «Сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам Сепарвимским, между тем чтили и Господа», — читаем мы в главе семнадцатой 4-й книги Царств. Вот поразительная тайна, отчасти Израиля, но главное — «жестоккой» Финикии. — «Отец, где же жертва?» — спросил Исаак Авраама, неся дрова. — «Узнаешь, сын мой», — отвечал Авраам. Вот диалог из Бытия, единственный полный очерк таинственного акта, где нам вскрыта и его психология. В диалоге этом — столько кротости и преданности воле Божией, что он закрался кое-где и в церковные наши песнопения (как образ, сравнение); т. е. в эти песнопения мы завили, как драгоценную нить, един-

---

<sup>1</sup> «И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей» (Первая книга Царств, глава 2, стих 21).

ственную донесшуюся до нас черту из внутренней стороны непонятных жертв. «Как Исаак, несущий дрова для собственного заклания»...

Что такое жертва? Это — то, что всегда *трудно*, это — то, в чем выражена особенная *любовь*. Мы «стоим» в храме, и сочли бы непозволительным для себя — *сесть*; есть «долгие» и трудные «стояния», на которые особенно торопится народ; паломники предпочитают «идти» в Киев, а не едут туда по железной дороге. Величина, тягость жертвы — всегда в меру веры; и даже когда нищенка затепливает

свечу  
Воску ярого

— она урывает копейку из пищи и прибавляет ее к стоимости свечи. Это — всегда, это — везде; в этом — смысл религии, что мы хотим и даже спешим в ней «жертвовать». Дитя предносится матерью, и в *нем* она *более, чем себя*, жжет. Вот свеча, достигающая неба — единственная в истории свеча: и мы предполагаем, что было и в основании ее что-то единственное в истории по яркости, по силе, т. е. соответственно предмету — по глубине и нежности, религиозное чувство. Где мы не в силах прямо постигнуть дела, мы должны искать ему аналогий, подобий. Это — костры в Испании. Как ужаснулись бы мы, если бы кто-нибудь подумал, что они были «потребованы свыше». И это — жертва, вид человеческого «усердия»:

В великолепных auto-da-fe  
Сжигали злых еретиков...

— не своих детей, не «друзей», но «недругов», т. е. тут мы можем различить ясно злое — умерщвление «врага».

Теперь мы догадываемся, что как это «*in majorem gloriam*»<sup>1</sup> есть высшая степень логической *гордыни*, так есть некоторое *ниспадение «долу»* духа в принесении в жертву «миндалинок», выношенных «собственным» чревом, и при взгляде, что это чрево — свято, и, уж конечно, еще более непорочно и свято, еще более «чистый ярый воск» — само дитя. Мы не умеем это выразить, но ярко чувствуем, что тут именно другой полюс инквизиции: — те глубины *прощения и смирения, которые выразились в слове сидонянки: «Что мне и тебе, человек Божий! — ты пришел напомнить грехи мои и умертвить моего сына»*. Во всяком случае, это-то уже понятно и читателю, что «сожжение себя» есть нечто обратное, вывернутое по отношению к «сжиганию чужака»; что сжечь *свое дитя* — обратное, чем сжечь недруга. И, наконец, сжечь грешного «злого» еретика и сжечь невинное дитя — тут все обратно, тут все противоположно, с центром в обоих разошедшихся фактах пламени «огня поедающего». Там и здесь — «около Бога», «религиозное»; но — расходящееся в противоположные стороны. И, мы чувствуем, — тут

<sup>1</sup> «к вящей славе» (лат.).



есть расхождение в самых представлениях Бога. Но в кострах auto-da-fe не ложно мы видим ужасное зло, бездну черного и демонического, бури гневливости, дьявольскую жестокость и неправду; и только под углом этого сравнения мы вдруг откроем в «огнях», через которые «проводили своих детей» израильтяне с таким неудержимым рвением, — снова какой-то, нам вовсе непонятный, но, бесспорно, небесный и чистый свет *кротости*. Да вот ответ Ахава, сейчас после поражения сирийского царя Венадава; испуганный, этот царь, думая, что пришло время смерти его, «бегал из одной внутренней комнаты в другую», и о нем сказали Ахаву. «Разве он жив?» — переспросил этот: «Он — *брат мой*». Снова этот тембр души, какой сказался в ответе сидонянки Илие. Мы заметили уже, что «дыхание» всего Востока полно «материнством»-«отчеством»; что этими чертами в себе человек обращен к небу<sup>1</sup>, т. е., естественно, он обращен в брачном ритме, в секунды действительно таинственных разложений индивидуального существа в «отца» и «сына», «мать» и «сына». И именно в небе он видит, к небу он относит разлагающее так себя начало, т. е. он молится небесному «материнству» и «отчеству». Евреи особенно почувствовали «отчество»<sup>2</sup> в небе — противоположное и дополнительное ярко выраженной женственности<sup>3</sup> себя как нации; более мужественные финикийцы, отважные моряки и изобретатели, — ярче почувствовали в небе дополнительное к себе *материнство*. Существо, однако, здесь и там — одно: это — то существо, та тайна мира и истина его, которую инстинктивно ощущает даже современная нам наука, очень мало думающая о религии, решительно отказываясь признать начало жизни «обыкновенным» ростом из «стихий» земли, из «крайней глины», без замешавшегося сюда высшего «дыхания»; и, например, устами, кажется, Цёльнера, высказала гипотезу, что «первая органическая клеточка, вероятно, упала на землю с метеоритом». С «метеоритом» или нет, но — с «неба», «не» с земли, «не» из «красной глины» поднялась, — вот что важно в утверждениях XIX века и что глубоко верно и точно почувствовалось еще строителями Вавилонского храма (девушка, на вершине храма ночующая, «к которой ночью приходит божество»). Но вернемся к евреям и Финикии: если характер финикийца был более суров, то специфически религиозное у них пред-

---

<sup>1</sup> «Ибо когда увидят у себя *детей своих, дело рук Моих*, — говорит Господь, — то они свято будут чтить Имя Мое и свято чтить Святого Иаковлева и благоговеть перед Богом Израилевым» (Исаия, глава 29, стих 23). Еще полнее и общее в книге Иова: «если бы Бог обратил сердце Свое к Себе, и взял к себе дух земли и дыхание его, то вдруг *погибла бы всякая плоть и человек возвратился бы в прах*» (глава 34, стих 14 и 15).

<sup>2</sup> Однако первая строка Бытия: «В начале сотворил Бог...» Сотворил = «бара» — форма глагола *в единственном числе* — указывает на единство или нерасчленимую *слиянность творческого акта*; но «Бог» = «Елогим» — форма *не единственного числа*. Т. е. в первую строку и основное понятие Израиля завито было и *материнство к миру*.

<sup>3</sup> Евреи — замечательно женственны, крикливы, нервны, и, например, у них, кажется, вовсе не встречается голосов «с октавой».

ставление, так сказать небесное дополнение земного человека, будучи одной природы с еврейским, было *нежнее, глубже, любящее*. Тут и лежит разгадка столь поразительного явления, которое мы наблюдаем в Библии за всю *классическую* пору существования Израиля: что неподвижные, упорные, косные в религиозной сфере евреи — *неудержимо влекутся к слиянию с Финикией*; влекутся в пору Боговидения (Соломон), сейчас после псалмов Давида, в пору создания Экклезиаста и Песни Песней, при Иезекииле, при Илие, Исаие, Амосе. Теперь, когда все стало непонятно нам на Востоке, — непонятен и этот факт; но это была внутренняя борьба в одном по существу явлении: — «отчество» ли оно? но почему — и не «материнство»? почему «не материнство и отчество»? и, главное, — почему не еще усиленное, не еще страстнее, не еще глубже, чем «у нас» (Израиль)? Это был порыв Израиля к чему-то *универсальному*, но в *тех же самых линиях, в том же самом плане мысли*, в которой и вечно, еще с Авраама, он двигался; было движение к «огнистым камням», «украшенным одеждам», к «полноте мудрости и венцу красоты», — как это выразилось в отношении финикийского Тира с безмерною любовью у Иезекииля (глава 28). Но, однако, с местной и племенной, «12-коленной», точки зрения — это было уклонением от строгого и несколько жесткого «отчества», коему Израиль был обречен, — и он был остановлен пророками. Мы можем, в точках соприкосновения, везде отметить в Израиле *реакцию в сторону грубости*: ведь это Илия «порубил пророков» на Кедроне; и в сношениях с сидонянкою — вся нежность, покорность судьбе, готовность к помощи — на ее стороне; в случае с Ахавом: — едва он отпустил Венадава, как к нему является пророк и говорит: «Душу за душу... Вот, ты отпустил его живым, и за это заплатишь жизнью». Вообще, *черты грубости и жестокости*, порою решительно непереносимые, какие есть в книгах Царств, *везде суть реакция специфически-израильского духа против более кротких «дыханий» «материнского» соседства*. Книга Руфь, Книга Товита, Книга Иова и, наконец, Песнь Песней — вот отпечаток Моава, Ниневии, Аравии, Сидона на древе Авраамовом, на законе Моисеевом; и, с тем вместе, это суть самые нежные и высокие страницы в самой Библии; они гораздо выше и чище Второзакония. Есть даже удивительная высота в том, что «соседство» не оставило после себя никаких книг: оно *прожило* «Песнь Песней» вместо того, чтобы оставить памятник этой жизни в *слове*. Кстати об этом великом произведении. Мы догадываемся, что оно и есть памятник «дубравных» молитв; и, до известной степени, это есть в слове выраженная мысль и план Вавилонского храма. Образы Иезекииля об отношении Бога к Израилю — в сущности повторены здесь; и в то же время, в неясности говорящих здесь лиц, в том, что мы постоянно слышим голос которого-нибудь одного лица, что это есть вздохи, ожидания, но не встреча и не самое касание, мы как бы читаем ту ночь ощущений «туземной женщины» на «высоте» таинственного храма, описанного Геродотом:

«Я сплю — а сердце мое бодрствует; вот голос моего Возлюбленного, который стучится: «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, чистая моя! Потому что голова моя вся покрыта росой, кудри мои — ночью влагою».

Я скинула хитон мой; как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои — как же мне мараить их?

Возлюбленный мой протянул руку сквозь скважину, и чрево мое взволновалось от него.

Я встала, чтоб отпереть Возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с пальцев моих мирра капала на ручки замка.

Отперла я Возлюбленному моему — а Возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его; звала его и он не отзывался мне.

Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня; сняли с меня покрывало стерегущие стены.

Заклинаю вас, дочери Иерусалимские! — если вы встретите Возлюбленного моего — что скажете вы ему? что я изнемогаю от любви.

Чем Возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем он лучше, что ты так зачинаешь нас?

Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры, уста его — сладость и весь он — любезность. Вот кто Возлюбленный мой, и вот кто Друг мой, дочери Иерусалимские» (Песнь Песней, глава 5).

Конечно, мы можем тут улыбнуться, вспоминая

...игры Вакха и Киприды,

но нас остановит, бесспорно, религиознейший на земле народ — евреи, ибо именно эту «Песнь Песней», а не «Исход» и не «Второзаконие», что отвечало бы историческому воспоминанию, они читают в «субботу суббот», в «святую» Пасху. И наша церковь, которая также не знает

...игр Вакха и Киприды

и не может не видеть, что содержание Песни Песней есть чисто брачное, — признала, что содержание это обнимает не лицо, не индивидуумы, не землю, но обнимает землю в отношении ее к небу, содержит «поднятые» над землю «небесные воскрилия» (Иезекииль). Тут гипотеза Цёльнера, храм «древнего Бела», мечта Саиса, вздохи Сидона, мысль «обрезанного» под дубом Мамврийским Авраама, — вторая, не объясненная Аврааму, темная сторона обрезания, сказавшаяся в загадочном восклицании Сепфоры: «Ты теперь — жених крови у меня»... «И отошел Господь: она же прибавила — жених крови по обрезанию».

«Обрезание» и есть «обручение»-«обещание», коего исполнение начинается по достижении половой зрелости. «С первыми признаками зрелости, в 13 лет, еврей уже становится полноправным в народе и обязан исполнять все мицвы или религиозные законы» (Н. Переферкович. «Талмуд, его история и содержание». Спб., 1897, стр. 91). Здесь опять громовой недостаток воображения, — недостаток силы представлять, — был причиной, почему и этот переводчик на русский язык Талмуда, и тысячи ученых гебраистов и

библейских историков, конечно, знавших это еврейское «правило веков», прошли глухо и мимо этого правила, хотя оно кричало им в ухо гораздо более, чем пресловутый «камень Хаммураби». Как было не заметить из него («в 13 лет — все мицвы»), что внутренняя сущность юдаизма, *вся сущность и всего юдаизма*, лежит не в «законах», не в «правилах», не в самых даже этих «мицвах», и равно не в «Моисее и пророках», но *исключительно и единственно в возрастном и половом*

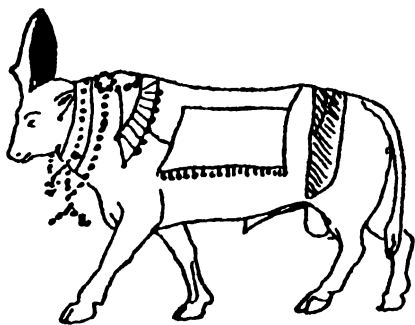


Рис. 23.

*созревании мальчиков у евреев, самчиков (самец и самка) у них, т. е. в их членах, в их теле, и зерне самого тела — семени.* Что юдаизм есть религия *семени* — и не более, *семени* — и только, *семени* — и не иначе. Что все, что он «делает, мицвы и проч., — все, что он читает, молитвы и проч., — все только окружает и только охраняет «созревшее к 13 годкам семя мальчика», и не будь бы его — не было бы их, а раз оно *есть, зреет* в каждом, *формируется* во всяком, то вот седые и мудрые евреи, с Моисея, Авраама, а в сущности еще с Египта и в Египте впервые — сотворили все эти мицвы — эти или подобные, и вообще какие угодно — все равно. Ибо все равно — семя уже несется, а раз есть «подлежащее» — будет «сказуемое». То, что у нас в Европе называлось в один век «готикою» и «рыцарством», и в следующий век называлось «гуманизмом», а теперь вот называется «школою и конституциею», то в юдаизме от Мемфиса и Вавилона до Вильно и Белостока именуется без перемен одним именем: «мальчик», «13 лет», — и весь Израиль начинает точно прыгать около него, плясать, скакать, пировать, — сходить с ума, безумствует, надевает мурмолку и снимает мурмолку, что-то бормочет; а вслушивавшись в бормотанье, мы бы услышали: «Для *таких-то мальчиков и сотворен мир*»... Воистину — это Апис и год избрания его на царство... «Нашли нового Аписа! Нашли нового Аписа!...»<sup>1</sup> И Фивы шумели,

<sup>1</sup> Египтяне сделали нечто невероятное мастерством своим и усилием, — и, истине, в данном рисунке Аписа труд веков, забота веков совершили чудо. В самом деле: можно ли *быку* придать *человечность*, можно ли, чтобы *лицо быка* было вот именно чем-то вроде лица *невинного* мальчика в 13 лет, который совершенно не догадывается, чему радуются его родители, как вот египтяне радовались «нахождению нового Аписа». Между тем это сделано, достигнуто, совершено. Бесспорно, — перед нами только что избранный Апис, «в первое ясное утро его». Он сам — утро, и это утро — в лице его, совершенно невинном, чистом, отроческом: хотя это в то же время и лицо быка, притом зрелого, «в совершении». Но еврейские человеческие Аписы «совершаются» в 13 лет, а египетские мальчики от коров (бычки) по законам всей земли «совершались» уже к истечению 3-го года от роду.

Египет праздновал. Недоумевающий странник Геродот спрашивал: «Что такое *нашли*? Почему *нашли*?» — Ему насмешливо отвечали: «Как же, жук под языком», какое-то удивительное «изображение на лбу» и что-то такое «на крестце». Но, конечно, дело было *не в этом*, а в том, что «Апис созрел», а вот еврейскому мальчику — «13 лет». Ибо и «жук», и «изображения» — все оставалось на Аписе, и некуда было этому деться, но как только «проходило время его» (старость, половая немощь) — так с него снимались все чины, короны и звезды, и он становился даже не «быком», а просто — животным, не то, чтобы выкидываемым вон, — деликатные египтяне не были к этому способны, — но во всяком случае «отставленным», «не нужным», во всяком случае — *более не Аписом*. Но вернемся к мальчикам.

Итак, поэтому *многих тысяч лет обыкновению* — вот у евреев «начало *полного гражданства*», применяясь к нашим терминам — начало «*logae virilis*»<sup>1</sup>, наступающее в точке обрезания; и, собственно, самое «гражданство» лежит в ритме этой точки. Мы закончим это, несколько археологическое, исследование поразительным, как и храм Бела, изображением еврейской субботы, как оно сделано в интересной книге г. Переферковича, только что нами цитированной. Но сперва заметим, что «суббота» — начинается с *вечера*, кончается — *в полдень*, и не трудно догадаться, что центр ее — *ночь*. Суббота есть — ритм, одно биение в 4000-летнем пульсе:

«Переносить предмет из одной так называемой области в другую — запрещено; при этом понятие несения разлагается на два момента: *поднятие* вещи в одном помещении и *опущение* ее в другом. Таким образом, возможно нарушение этого запрета, даже стоя на одном месте: достаточно предмет *поднять* в одной области и *опустить* в другой. Ученые раввины различают четыре области: 1) *область неограниченную, беспредельную* — *решуд харабим*; сюда относится всякое пространство, не ограниченное со всех сторон; 2) *область ограниченную* — *решуд хаяхид* — собственно: *область частного лица*; сюда относится всякое со всех сторон огороженное пространство, напр. двор, такая крепость, ворота которой на ночь запираются, и др.; 3) *кармелит* — среднее между областью ограниченной и неограниченной, напр. море, тупик, т. е. глухой переулочек, огороженный с трех сторон; и 4) *свободное место* — *макомпатур*; сюда относятся возвышения или углубления, которые можно рассматривать, как ограниченные со всех сторон. Не только несение из одной области в другую составляет нарушение, но даже несение в пределах *неограниченной области* и *кармелита*, на пространстве четырех локтей. Носить можно только внутри ограниченной области, какой бы величины она ни была. Однако делается различие между ограниченной областью, принадлежащей частному лицу, и такой, которая принадлежит многим лицам. Переносить предметы из одной ограниченной области в другую — запрещено. Вследствие этого нельзя, например, выносить из своего дома на двор, хотя бы он также представлял область ограниченную, так как на него имеют права все соседи»...

<sup>1</sup> «одевания мужа» (лат.).

В изложенном мы имеем тончайшее как бы обоняние *области жилья человеческого*, — обоняние вообще *пространств, местностей*, с их как бы различными жилыми и нежилыми запахами. Мы, в Петербурге, Берлине и Париже, уже совершенно не умеем вбирать в нос этих запахов, а потому и настоящий мотив этих распределений субботних пространств от нас ушел в вечность. Но мы ему должны доверять, т. е. верить, что здесь «содержалось *что-то*», то здесь «разумеется *что-то*», нам темное и важное. Но вот далее начинается понятная сторона «субботы»:

«Для того, чтобы вынос предмета на двор не составлял нарушения, должно, чтобы *все соседи представляли одну семью*»...

Вот *положительная черта* в субботе, вот *требуемое, искомое, должное*:

«...одну семью с фиктивным главою, со стола которого они, «члены семьи», получают пропитание, хотя живут в различных квартирах. Символом такого «родственного» отношения между совершенно чужими людьми является принесение всеми соседями хлеба к одному лицу во двор<sup>1</sup>. Этим актом *все квартиры* одного двора *соединяются, «смешиваются»*, так что все они вместе со двором представляют *одну и ту же частную область*. Этот акт называется *эрув* — «*смещение*»: благодаря ему становится дозволенным вынос предметов из частной квартиры на двор и обратно».

Читаешь и не надышишься. Читаешь и не наудивляешься. Это что-то параллельное «микве израилевой» (бассейн с водою для погружения тела евреев и евреек). Не будет филологической ошибкой сказать, что евреи «семьями» и «общинами» магически и вещь *погружаются в свою субботу*, уходят «вглубь субботы» — на эти 20 часов скрываясь от европейского глаза и подглядывания. Уходят поистине «в себя». — Ибо об евреях поистине можно сказать, что они «облечены в субботу» (одеты ею).

«В субботу запрещается удаляться от города более, чем на 2000 локтей. Для этого устанавливается, при помощи измерения, городской *иббур*, т. е. описывающий весь город *прямоугольник, стороны которого соответствуют четырем сторонам горизонта* — *мировому квадрату*. На сторонах этого квадрата и строятся *субботние черты* — *техумы*. Они изображают из себя *прямоугольники, которых одна сторона равняется данной стороне иббура, а другая 2000 локтей*.

---

<sup>1</sup> Читайте внимательно, — до чего это поразительно! До чего это *ново для Европы*, «несет совсем другой запах», несет «теплый хлеб», вносит «египетского навозного жука» (скарабей) в холодные северные (у нас) улицы, — куда мы напрасно впрыскивали из трубочки «братство, равенство и свободу», но никакого у нас «братства» не родилось, потому что какие же мы и почему же мы «братья» друг другу? Здесь через «навозного жука» — вопрос решен: через 6 дней в 7-й соседи воображают и по требованию религиозного закона чувствуют себя «одним хлебом», «одним стойлом», «одною семьею» — с «общею едою». «Жук» все решил и сотворил мир на земле, — мир по крайней мере в одном племени, которое тайно исповедало «навозное насекомое».

Для того, чтобы можно было в субботу исполнить какое-нибудь предписание — мицву — по ту сторону техума, дозволяется до наступления субботы фиктивно перенести свое жилище на такое место, откуда не запрещалось бы ходить как до обычного места жительства, так и до требуемого места. Символом нового жительства опять становится пища».

Поразительно. Все поразительно. Все необыкновенно для европейца, — не имеет никаких «соизмерений» себе в его цивилизации. Суббота, как мы видим и как это написано, собственно *территориально строится, вычерчивается на земле* — вот ее особенность. Это «праздник места, где что-то будет совершаться; *«что» совершаться* — по обычаю еврейскому о всем главном — не выговорено. Как ведь не выговорено и о мальчиках, почему же именно «в 13 лет». Мы же договариваем, что если «празднику» — вычерчивается на земле, то, собственно — это «вычерчивается» храм. Вот мысль «субботы»: — это незримые для чужих и понятные только самим евреям «храмины», «кущи», «скинии» около каждой семьи, рода, родственников, «получающих еду с одного стола». Евреи не имеют «храмов», но они имеют «субботы». И в самом деле: «иббур» — это *двор* «храма»; за черту коего нельзя выйти, не прервав «празднования», т. е. не разрушив «храма»; «ограниченная область», «двор» с фиктивным главою и «хлебами предложения», которые хотя бы фиктивно, но соединяют жильцов отдельных квартир непременно «в одну семью», — есть в этом храме «святилище»: за его черту нельзя ничего «вынести», в нее нельзя ничего «внести», ибо тут — все Богово, как вне ее, в «мире» — все «не»-Богово. Но была еще в храме Соломоновом и в Моисеевой скинии «субботняя», радостная, высокая и святейшая часть: это — «Святое святых». Что ей соответствует в «построяемом» доньше храме, в еженедельной субботе евреев? Отворим дверь, переступим через порог; сузимся в «субботе» от «иббура», от «двора» — к теснейшему и внутреннейшему сосредоточению: мы — в «семье». Вот перед нами Авра-ам, еще вчера Аврам; около него Сар-ра, выросшая из пятничной Сары; и около них — «светильник»: это дети, живые «миндалинки», отвечающие огнистым миндалинкам древнего храма.

«По мысли раввинов, — заканчивает г. Переферкович, — «суббота» представляет совершенно особый, идеальный мир, имеющий очень мало общего с миром будничной суеты. В субботнем мире для еврея существуют лишь самые необходимые предметы, как, напр., пища, одежда, без которых жизнь в этот день не мыслима и которые были *заготовлены* специально для этого дня. Эти предметы составляют «мухан» — *заготовленное*. Все остальное, что не может пригодиться в субботу, лежит вне субботнего мира и составляет «муқэз» — *выделенное*. Предметы, которых не было при наступлении субботы (напр., яйцо, снесенное в самую субботу), лежат также вне субботнего мира: они — «нолад», *родившееся после*. Все не субботние предметы запрещено брать в руки или употреблять в пищу в субботний день (стр. 122—124).



Рис. 24.

Египетское материнство, охраняемое, сберегаемое и согреваемое ангелами. Ни одной нет и не было цивилизации, которая дала бы такую картину и мысль такой картины. Т. е. из соков которой соткалось бы и вышло к свету подобное изображение. И ничего другого не надо видеть, чтобы понять, чем был Египет и для чего он жил. Для чего Бог «воззвал его в историю». — Взят рисунок из храма в Ерменте, — большая комната, архитрав (Lepsius. Denkmäler aus Aegypten und Aethiopen. Berlin, 1849—1858).

Вот поразительный праздник, так не похожий на наши! Мысль его — *разобщение* с миром, *отделенность* от земли, некоторая «духовная», сливающаяся с «плотскою», «высота»: «нельзя брать в руки» «не субботнего», нельзя выходить из дома за границу этих последних «техумов», нельзя ничего мирского и внешнего переносить во внутреннейшую, интимнейшую часть «мирового квадрата». — «Там наверху есть комната; — однако никакого кумира нет; провести ночь там никому постороннему не дозволяется, за исключением...» (Геродот, кн. I, гл. 181) — «за исключением чистых, как жертвы, детей» рассмеявшейся под дубом Мамврийским Сар-ры и «отца множества». — «Не смейся», — сказал ей Господь: «Через год в этот день Я буду у тебя — и будет у тебя сын» (Бытие, 15).

Так от субботы к субботе ритмирует этот народ, высвечивающийся изнутри, когда мы ищем освещения с боков, сверху, снизу. Неугасимый народ. Он догадался о *святом* в брызге бытия, — там именно, куда мы в понятиях своих отнесли *грех*. Мы из «греха» замешиваемся, — и ищем потом, позднее, вокруг помощи, опор, костылей для тягостного в природе своей и роднике существования. Ему «ветерок», «высота» сообщает воздушность созерцаний: «Благословен Бог, сотворивший свет». Он не имеет для себя центров внешнего сплочения, — иначе как принужденно, иначе как защищаясь. Центр его сплоченности — суббота, «некоторое идеальное место». Таинственная ночь, перед наступлением которой зажигается светильник. «И сделай светильник из золота чистого... Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Три чашечки — наподобие миндального цветка: а на стебле четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами: все сделай, как Я



показал тебе на горе» (Исход, гл. 25). Почти странствующий, кочевой народ доселе и всегда; какая-то толпа выкликающих «пророков» или «тихих и беспечных ремесленников», каких еще в Финикии увидели и описали пять соглядатаев: но после какой борьбы, какого сопротивления, в потоках самой горячей и свежее-бегущей крови они срывались с места своего, казалось бы, «странствования»... Рим разлагался изнутри; Греция изнутри же умерла. «Стены города дрожат от таранов, а вы, граждане, сидите в цирке и забавляетесь ристаниями», — обращался в эпоху падения к «своим» Сальвиан (кажется). Какое расслабление: это — труп, который бессилён поднять руку, чтобы отогнать обнюхивающую его собаку. Но как трудно было Александру Македонскому сорвать «блистающий в цветных огнях» Тир с его «высоты». Какая кошачья цепкость существования. Так с «высоты» же был сорван Сион Титом. Узенькая полоска по «илистому», «влажному», «небесному» (Гомер) Нилу была после 4000 лет неутомленного существования едва покорена Камбизом, обладателем всей Передней Азии. Везде, во всех этих случаях, — внешнее разрушение, «зарезанность» на «дороге»...

Но и после Камбиза «Мицраим» живет еще роскошно культурною жизнью. «Благословен Бог, сотворивший свет». Как этот особенный и специальный свет «суббот» и «миндалинок» — цепок в бытии, упорен в сопротивлении, жгуч и как бы переполнен кровью в секунду гибели, под разрезающим его ножом! Как глубоко «корни» этих племен ушли в «мать-землю». И какие памятники — в слове (Библия) или камне (пирамиды!!). Пуняне (Карфаген) едва сами не погубили Рим: «Hannibal ante portam»<sup>1</sup>... Но и в самый последний миг, извне «срываемые», эти племена обрезания не несут, типичного в арийской смерти, *разложения и трупного запаха*: никаких морщин старости, утомленных мускулов; ни — Weltschmerz'a «мировой скорби», ни «социальной анархии». Жизнетворцы «по вечным, великим законам», они в самом *нерве бытия исключили идею смерти*, — «не принимают идеи небытия», как выразился в «Федоне» Платон о бессмертии души. Напротив, у арийцев внесено «жалю» отрицания в самый родник бытия, и это «жалящее отрицание» пульсирует в их жилах. Арийцы живут в смерть и поклонились гробу.

Мы до сих пор вращались в подробностях ритуала, остановимся же еще на одной и яркой черте его. Евреи, еще от времен Товита, т. е. живой Ниневии, прикоснувшись даже по необходимости или нечаянно к *трупу* — не смели до «завтра» войти в «святой дом, место «бытия», «утверждения», снований жизненного челнока. И посейчас они кидают тела умершей жены, матери, брата в какую-то почти яму, без обряда, слез, без уважения, с отвращением и религиозной брезгливостью. *Труп* для них — «отец отцов нечистоты». Какой ужас в этом отношении — для нас; но под отвратительным обычаем — какая глубина мысли, яр-

<sup>1</sup> «Ганнибал у ворот» (лат.).

кость ощущения жизни, и разделительной линии, проходящей между нею и смертью. Мы лобызаем покойников с большим благоговением, чем живых; мы немножко им «поклоняемся», — и какая красота у нас погребального обряда! Но какое же чувство под этим? не утрата ли в самом ощущении нашем разграничительной между смертью и жизнью линии? не находение ли наше в области смерти, как бы еще при жизни? и, как выразился бы Платон, — не то ли это значит, не то ли символизирует, что мы «приняли идею небытия в самое бытие свое»?

И это — «жало смерти», «идея небытия» пульсирует в нашей крови.



Рис. 25.

Медная монета гор. Библоса, с которой взят образец финикийского храма.

## ПОДРОБНОСТИ И ЧАСТНОСТИ

### Как произошли «египетские» и другие «древние таинства»?

Теперь, когда я издаю эту книгу, — когда пробежали в голове все мысли «Из седой древности», — то, бродя с корректурами в типографию, все приставляю палец к носу и спрашиваю себя:

— Да неужели в самом деле мог существовать в науке вопрос, — в истории вопрос, в богословии вопрос, в археологии вопрос, в греческой литературе вопрос, в новом обществе тоже вопрос, — о том; *«в чем же состояли египетские, малоазийские, элевзинские, самофракийские, критские и другие таинства?»* Т. е. неужели существовал ум и умы, которым не было известно, что если «заклучение брака» есть пир и праздник, всем открытый, ибо это только «предисловие», а не «книга», — *то самое осуществление его, однако, «от всех закрыто», «ни один человек, кроме участвующих, туда не пропускается», и «никогда и никому об этом не рассказывается?»* И, словом, что это «осуществление» несет в себе все до единой, все до крупинки, все до «йоточки» черты, о которых согласно свидетельствует древность: «египетских и малоазийских и прочих таинств никто не видел, никто о них не рассказывает, и о них запрещено говорить» и т. д.

Каким образом можно было писать томы и статьи? И, — как этот совершенно сделанный из кудели Лобек, — говорит в заключение двухтомного

громадного труда, где «собраны воедино свидетельства всей древности», — что «в элевзинских таинствах ничего особенного, по-видимому, не происходило» или, по крайней мере, «ничего нельзя узнать о происходившем». Наконец, в более новых трудах, которые пишутся уже современными нам учеными, высказываются предположения и почти даже утверждения, что «наверное, таинства были местом схождения заговорщиков, где обдумывались планы свержения такого-то ига или такой-то гегемонии?» Я сам это читал своими глазами и протирал глаза от изумления:

— Неужели это в самом деле напечатано?

Как есть «метафизика», которая следует «после всех наук» и доискивается того, что в них трактуется лишь с внешней стороны, — так когда-нибудь в отношении «наук» и «научных вопросов» будет построена «заключительная глава»: «каким образом в очень многих случаях ученым приходили на ум вопросы столь наивные, что они не могли бы войти в голову никакого обыкновенного человека?» Потому что взглянув только на серию этих «удвоенных божеств», — *мужского около женского*, — что повторяется во всех без исключения древних религиях, — «Зевс и Гера», «Валл и Астарта», «Озирис и Изида», «Адонис и Кибела» и т. д., и т. д., и т. п., и т. п., — и имена в сущности даже не интересны, — как можно было не видеть с ясностью «пальца перед глазами», что эти все «религии», суть не то «семейные», не то «брачные», а во всяком случае и безусловно — «муже-женские» и след. «половые»: а «признак пола», первый — *не показываться, скрываться, затеняться, избегать имен, слов, названий*, — и избегать этого с какой-то «свирепостью» и «наказанием за раскрытие»... Все, точь-в-точь, признаки «таинств». И если бы даже у летописцев и историков, по причине какой-нибудь исторической или библиотечной катастрофы, не сохранилось ни единого упоминания, что «в древности были таинства», то мы, только взглянув на устройство халдейского храма, «с комнаткою наверху», и на устройство финикийского храма, с «мужским фетишем» внутри его, сказали бы: «в *этих* религиях несомненно существовали *таинства*», и даже: — «вот, приблизительно, в чем эти таинства состояли»... Все это понятно решительно всем, кроме ученых; все это требует умо-



Рис. 26.

Пример восточных божеств. Фиванская эннеада, где около мужского божества рядом сидит соответствующее женское. «Где не двое — нет жизни». Соответственно им располагались и люди на земле.

заклучения до того короткого, что оно не приходит на ум одним ученым. Старец Лобек его не знал; но 14-летняя Джульетта, конечно, знала.

«Конечно, — *таинства!!!* Разве можно же *наружу*?» — «*На улице, открыто*?!!! — И она, девочка, ударила бы по щеке каждого, кто промямлил бы: «а почему же и не открыто?»

Этот «удар Джульетты» пусть вынесут ученые. Позор, позор, позор. Я держу себя за нос и спрашиваю: «неужели этот позор был»? «Неужели об Элевзиниях и Египте спрашивали, гадали? Неужели были колебания, сомнения»? — «Размышляли, искали документов»? (И, конечно, ни одного не нашли.) Решительно *об этом* нигде и ни в одной литературе ни слова нет, ибо это в *самом естестве вещей есть тайна*, нечто «не самопоказывающееся»: но решительно все об этом знают, все и каждый, до детей почти, кроме одних ученых.

«В семейном доме есть нечто главное, чего увидеть никому не дано»... «Это — не дурное и худое: но увидеть — не дано». Самозакрывающаяся вещь. От создания мира сокровенная; сокровенная «в самой себе», без приказывания, без понуждения. Какие все признаки «таинств»? И — что о них «никогда никто не говорил». «Никогда и никто»: неужели по этому одному нельзя было узнать о вещи, о которой и до нашего времени — «никогда и никто не проговаривается», и даже ученые, сами тоже — «никогда и никому» (о себе). Но ведь их и не просили «размазывать», достаточно было сказать: «Мы, однако, знаем, — что». Но они, именно, говорили: «Не знаем», и прибавляли: «Невозможно узнать».

В предании об Астиаге, царе Мидийском, рассказывается, что «однажды ему приснился сон, будто из чрева его дочери выросло дерево, которое ветвями своими покрыло всю Азию». Какой характерный восточный сон. Мне же брезжится в самом начале труда, что из какой-то мертвой головы выросло сухое дерево, безлиственное, не зеленеющее, — и колючками и терниями залезло в головы бесчисленных ученых: и закрыло от них прямые, прямо стоящие перед глазами, памятники веры, молитвы, где народы «сами написали о себе», «сами *изобразили в рисунках*»:

- чему они молились...
- чему поклонялись...
- приносили жертвы...
- построили храмы...

и положили на ладонь ученым. Но они, вместо того, чтобы просто *описать* это, — стали придумывать самые необыкновенные и странные гипотезы.

Джульетта опять приходит на ум... Неужели это не иллюстрация «методов»? Оспоримо ли для кого-нибудь, кто видал подлинные «открытые» статуи Озириса, и видал рисунки «поклонения этим статуям», — в *чем* заключалась подлинная религия Египта? Искали «Отца»... бродили мыслью около «отцовства и материнства». Да об этом говорит не «Аз» памятников религиозных Египта, Финикии, Сирии, евреев, а говорят, кричат, зывают решительно «все буквы алфавита»... Рождалась — от Нила до Греции, — колос-



Рис. 27.

Лицо Изиды.



Рис. 28.

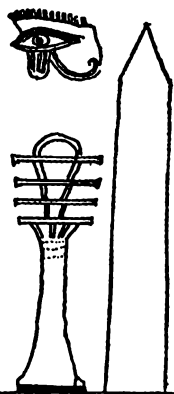


Рис. 29.

Ермент. Из «Denkmäler» Lepsius'a, vol. V, лист 97. Чрезвычайно редкое сочетание с глазом и с обелиском мужской фигуры, носящей имя «Бесса». Сама фигура очень часта.



Рис. 30.

Повсеместно в египетских храмах. Почти нет листа ученых экспедиций, где не находилось бы одного или нескольких подобных изображений.



Рис. 31.

Бронзовая монета города Ольвии, III—IV века до Р. Хр. Монеты с этим изображением чеканились почти во всех городах древней Греции. Рисунок на них обозначается в нумизматике: «La masque imberbe de face avec la lanque tirée — и не имеет никакого объяснения.



Рис. 32.

сальная религия, «отчества-материнства», — и, следовательно, «сотворения мира, сотворения бытия»... Бродили около «загадки жизни», и как не написать — «около Загадки и Тайны жизни»... В «мистериях», конечно, все это было: и в «мистериях» отчасти показывали, отчасти — излагали. «Семейный дом» — но целого Мира: тут, конечно, войдут и животные (Египет). Как все понятно... Войдет ли сюда Солнце? Станный вопрос, когда «от него по весне родятся травы»... Таинства? — О, «таинств» будет слишком много: больше, чем «в нашем семейном доме», потому что ведь «рождается»-то чудище-мир, такой огромный, неизъяснимый, великолепный. Как все ясно!

На ладони! Чего искать? Вещь перед глазами. «Сложение религий» совершенно очевидно в колоссальных очертаниях своих; именно — очевидно как «тема и поиски», как «сюжет» и только «без подробностей»... И всему этому научает простая улыбка Джульетты, — и небольшая «розга для ученых», которые, сами себе завязав глаза, «ищут и никак не могут найти»...

### «Афродита Книдская»<sup>1</sup> и египтянка

Ну, что такое это —



Рис. 33.

Красота без биографии.



Рис. 34.

Красота без будущего.



Рис. 35.

Красота на «сейчас».

перед этим:



Рис. 37.

Будущее.



Рис. 36.

Красота, в которой вообще нет содержания.

<sup>1</sup> К рисункам 33, 34, 35 и 36. Прототипом для всех музейных «Афродит» была Афродита Книдская, изваянная Праксителем и воспроизводимая часто на монетах города Книда (Кария, в Малой Азии).

Купающаяся или не купающаяся, в «раковине» или «из пены вод», — она равно эмпирична. И чтобы только «посмотреть» художнику-порнографу.

Красота? Самая малая вещь. Она придет «потом» и «сама собой». Кто молится как мать — она всегда к той придет.

## Первая молитва на земле

Вот кто первый помолился — это *Мать*. Когда она испугалась за своего заболевшего ребенка. Тогда она подняла руки кверху и сказала: «Ах!»

И прибавила: — «Помоги»!.. — «Помогите»!..

Кто — звезды, небо? Откуда солнце и свет? Откуда жизнь?.. Да, без солнца нет жизни. И она сказала: — «Солнышко, помоги! Солнышко, исцели!!»

Судьба ли темная? «Молюсь и Судьбе». «Не знаю, кому»... «Кто сможет, тот и спаси».

Наутро встало Солнышко, обогрело малютку, и ему стало лучше.

«Вот видите», радовалась мать соседям.



Рис. 38.

(Повсюду в египетских храмах, увеличено мною в 4 раза.)

Соседи передали другим. Старик оценил, поняли и изобразили здесь и еще во множестве таких же барельефов Египта *родоначальницу любви, надежды и веры — мать*.

К этому потом стали прибавлять. Размышлять и прибавлять. Вышла *религия*. Но «Аз» ее, молитву, сказала мать, поднимавшая руки к небу над заболевшим ребенком.

\*\*\*

Это было так давно и рано, когда не было еще пророков, законодателей и никаких мудрецов. И письменности не было, ни букв, ни иероглифов. И люди только рисовали. Потому и первую на земле молитву они просто нарисовали, не понимая «что это», а только понимая, что это прекрасно и верно. Что «надо поднимать руки», что «хочется, когда боль в душе, поднять руки и что-то прошептать».

«От начала Египта до покорения его персами (Камбизом) прошло столько времени, сколько прошло времени от Троянской войны до Наполеона Бонапарте». И тогда не было, при первых египтянах, даже и дикарей с их «вещественным фетишизмом». Так эта вера — не из «поклонения камням», как говорят одни ученые, и — не «из почитания у дикарей *табу*», как другие говорят, и не потому, что кого-то «научили жрецы», единому Богу или «многим богам», а из того, что мать сказала «Ах» и подняла руки, когда ребенок кричал и мучился у нее на руках.

Но «ребенок мучился у нее на руках» — это было так давно, так рано, — давно и рано, — что еще никого почти не было на земле. У... у... у... Еще не рассветало.

Далее можно сказать, что у первой матери ребенок «мучился животом», и она кричала, бегала и кричала. «Ах! да помоги же, Солнышко. Ну, согрей животик моему малютке». И поднимала в лучи. И согревали лучи. И ребенку вправду делалось легче.

Европейцы же оскопители, будучи дикарями в религии, стали разъяснять, что «религию выдумали жрецы». Не сообразив даже того, что ведь раньше, чем появились жрецы, должна была возникнуть религия, коей они были «жрецами». Итак, религия раньше священника. Религия раньше и богословия, которое размышляет «над религией», и, значит, она уже была.

*Откуда же она? — Нет, от кого? Рисунок разъяснил, осветил:  
— От Матери, ищущей Помощи.*

## Как произошло изображение Изиды

Могло бы ведь быть и *так*, как у коровы.

Могло бы быть и так, как у собаки.

«Захватил губами и пей молоко».

Пьют же лошади воду. И могло бы у женщины так.

Но тут сотворен какой-то острый уголок.

Тут есть мысль:

«Ничего прекраснее женщины, кормящей грудью младенца своего, не будет».

Бог сказал.

И люди сказали:

— Да.



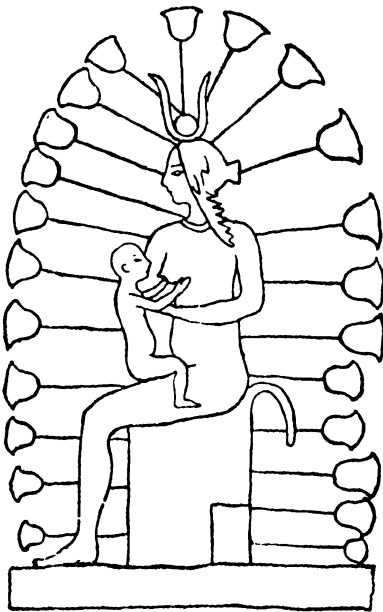


Рис. 39.

<sup>1</sup> Египтяне суть народ, поистине гениальный равно в религии, в морали и искусстве. Они не только не взяли в основу религии какое-нибудь отвлеченное понятие, например: «творец мира», «бог», «дух», и т. д.; или — «предки», «деды», «родоначальники», или же — «первые герои» и «цари»; а — взяли осязательнейшее и перед лицом каждого лежащее, — отца, обобщенно и у всех людей — «наши живые отцы», «наши живые матери». Но именно — живые и сущие, не «покойники», не «давню» и «прежде», как соскользнули все народы сюда, к «забытому», «неясному» и «археологическому». Это имело чрезвычайные последствия, сотворив необыкновенную свежесть, живость и мощь их религии. «Естественно каждому больше всего на свете любить свою мать»: и вот перед каждым египтянином мерцала мысль: «моя мать кажется есть Изиды... Тут «религия» и «быт», «небесное» и «мое» так слилось, что «коровки полезли мордочками в избу», а «небо спустилось к нам в дом». Но и в самой матери и материн-

стве что именно взять? Можно было бы взять «заботу», «хозяйство», «попечение о детях». Египтяне, и только они одни во всемирной истории, среди всех цивилизаций Востока, взяли — как я указываю — для изображения Изиды самый острый, страстный и нежащий «уголок материнства» — кормление грудью младенца. Кроме их ни один народ этого не сделал; и хотя мне раз это попало на халдейском рисунке, но только раз: и в Халдее оно почему-то не удержалось. Почему не удержалось? Не нашлось вкуса и понимания. Египтяне одни ухватили, что это — центр и суть. И самой «кормящей матери», как и младенцу, они придали вид исключительной нежности и глубины: сосок — уже во рту младенца, и сам он положил младенческую ручку на большую руку матери. Следовало бы написать особые диссертации и собрать в них всю, — говоря терминами археологии, — «иконографию Изиды», т. е. все варианты ее представления, изображения и воображения о ней как у народа, так и у жрецов. Можно сказать, нахождением «изображения Изиды» египтяне также много оказали услуг всемирной цивилизации, как и созданием ее понятия и сути. Нужно удивляться непониманию всемирному, каким образом молодые матери, всегда так счастливые «кормить своего ребенка», хотя бы для домашнего и уединенного наслаждения и для памятования детей своих — не снимаются на картинах и в фотографиях в минуты «кормления ребенка», что гораздо интереснее картин и фотографий «со шлейфом». Но с привычки и инициативы таких домашних изображений пойдет другая пора действительности и истории. Нуте-ка, матери...

У египтян это «зерно их веры» отразилось чудесным образом на сложении всей цивилизации: все отсюда и после этого пошло в нежность, деликатность, кротость. Ни жестоких войн, ни грубых нравов не могло уже образоваться. Зрелище прекрасного, — даже прекраснейшего в мире, — «умягчило злые души», когда они и рождались.

# Как стали поклоняться Изиде

ого —

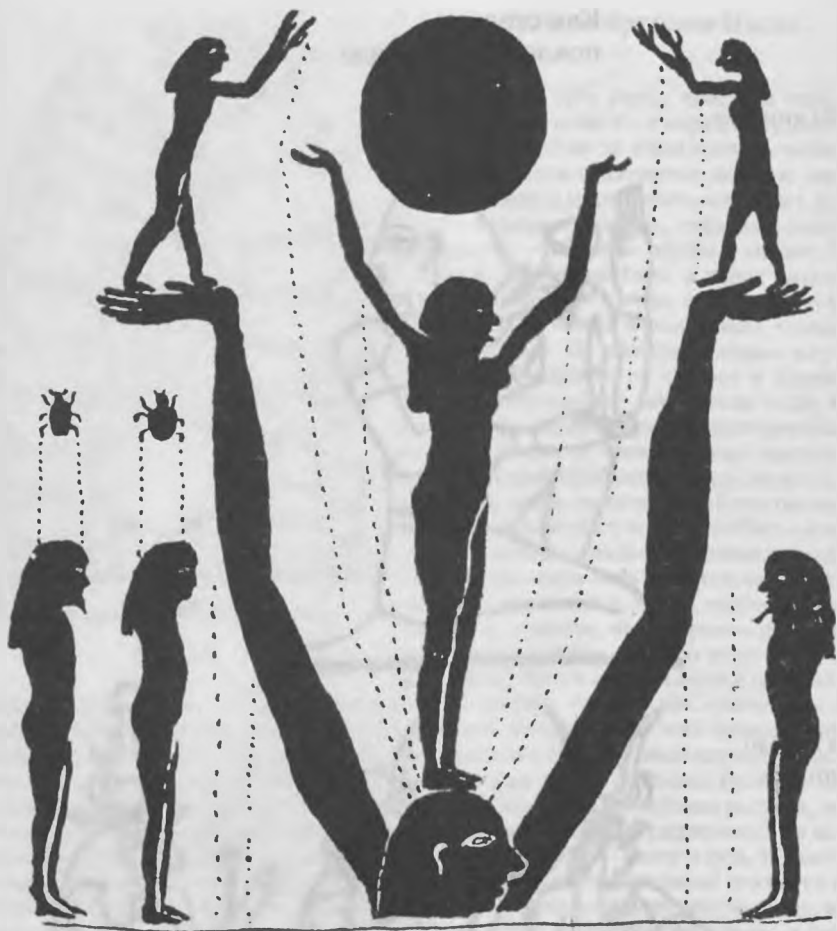


*Рис. 40.*

*Рис. 41.*

И ВЫШЛО  
ВОТ ЭТО:





*Рис. 42.*

Очень просто.

Потому что человек благороден. И кто сам молится, тому украдкой стоя за спиною кто-нибудь незаметно и безмолвно тоже помолится.

Так произошли «святыи» и «боги» и «богини» на земле.

Множьте, люди, молитвы, — множьте, люди, молитвы, — множьте, люди, молитвы. Молитвою земля греется, от молитвы солнышко горит.

Как на земле не останется ни одного уже молящегося, так солнце погаснет.

Зачем ему свстить?

Сцена изображает собственно другое. Она изображает «сотворение человека»: видите, налево, стоят «сотворенные из красной глины» первые муж и жена. Направо — «дальше люди». Но нарисовавший картину бесспорно имел и мою мысль: «Черная мать-сыра-земля» подняла руки, подняла, подняла... И держит на ладонях черных, земляных — двух человечков, которые «протягивают руки к Солнцу»:

— Согрей!

— Освети!

— Накорми!

И солнышко радуется. Солнышко всегда радуется, когда люди молятся<sup>1</sup>.

## Афродизианская красота

В искусство не вовлечешь того, чего нет в жизни. Искусство истинно даже и тогда, когда оно лжет. Это искусство «ложных образов» — по крайней мере относительно женщины — дала нам Греция. Это ее знаменитая «афродизианская красота», наполняющая наши музеи.

По существу и делу, это была странная бессемейная цивилизация. И она была таковою уже с эпических врсмен Троянской войны, разыгравшейся из-

---

<sup>1</sup> Если, с одной стороны, поставить перед собой все греческие скульптуры, и все рисунки, с ваз, с саркофагов, — и с другой это египетское изображение «солнца, земли, людей и молитвы», то мы разом и моментально поймем, чего же грекам «не хватало»? и даже — отчего Греция «так скоро прожила жизнь?». В рисунке все сказано: бесконечность содержания — у египтян, короткое содержание — у греков. Греки могли сказать «ах», — воскликнуть Афродитую, Гераклом, Ниобею. Но что же дальше «ах»? Увы, греки молчали. Не было содержания. Мы только пишем реторику около их искусства и даже около портретных их изображений, не видя того, что прямо перед глазами: что портреты их удивительно монотонны, вялы, и — не «говорят», без мысли и без содержания. Напротив, взглянув вот на эту «молитву, землю и солнце», — мы слышим нескончаемый гул голосов под землей, слышим говор народа и народов, стенания, мольбы, тоску, скорбь и широкую бытовую жизнь. А между тем дана — схема. Но «схема»-то как-то — «из жизни» и «пронизана жизнью». Посему «простой монотонный очерк в красках», без теней и перспектив, заставляет сжиматься и тосковать сердце. «Земля подняла из себя людей к солнцу»: о, какая это бесконечная мысль, какис дали, — даже и до Кампанеллы, даже и до Руссо... Воистину, египтяне были до христиан христианами. Что-то такое есть...

Но снова вопрос: почему же, почему греки этого не нарисовали? Такие «изобретательные» и «универсальные». Ведь у них была же «Деметра»? Да: это или «круглое лицо женщины», выражающее «круглый видимый горизонт земли», или «Деметра едет на колеснице, запряженной драконами, и сеет зерна», и еще последнее — «она с красивою (все «хорошенькие») головою, украшенною хлебными колосьями». Зерно? Посев? Кусок круглый земли, и вне связи с этим — драконы — как это бедно и мало!! Кто не скажет, что бедно? А эта тоскующая о себе земля, черная земля, и черные рабочие руки, поднявшие черных рабочих людей к небу, с шепотом: «молитесь, молитесь, молитесь!» — о, как это чудно, возвышенно, сложно!

за жены, бежавшей из дома мужа. Не что-то «основное», не то, «на чем земле стоять», взято в центр великих песен. Великие песни Гомера пропеты о женщине, о которой мы не знаем, «где же у нее душа». Но и позднее, далее — мы видим тоже. Семья была в Греции «на заднем дворе», а на передний фас были выдвинуты гетеры. И вот это общее положение вещей, «ткань самой цивилизации», уже нельзя было изменить и поправить, перейдя к мраморному, золотому и бронзовому «изваянию жизни». «Ложь жизни» перешла в «ложь искусства».

Греческое искусство есть «для погляденья» искусство, а не для того, чтобы «с ним — жить». Например, нет и нельзя представить себе «Афродиту», с которою «провел бы долгий вечер» в «задумчивой беседе». Самое сочетание слов «Афродита» и «беседа» — вызывает улыбку. Афродита ясно «для выставки», а не «для дома». И это решает все.

«Я ее не люблю».

А это кончает и женщину. Страшный глагол, но его приходится выговорить: все Афродиты — не женщины. Странно, страшно, но — так.

«Она не сладка мне».

Она вечно «постыла». Как этот вечно остынувший, холодный мрамор.

— Мне не нравится.

— Что же вам нравится?

— Биография, судьба. «Высочив из пены волн», Афродиты будто засыпали и не «пе», ни «ме». Безгласны. Господи, какой ужас: женщины без языка, без голоса. Но ведь мы тайным образом все чувствуем, что «Афродиты» действительно и в самом деле все «без голоса». Эстеты, юные и старые, осматривают их спереди, осматривают их сзади, осматривают даже с боков, и, наконец, «проводят пальцем» по руке, по ноге; как помню во Флоренции я сам сделал, взяв в свои три пальца мизинец «Афродиты Медицейской». Да, этот холод «выточен изумительно». «Выточен», а не «живет». Как мало для человека. Мало даже для петербуржца.

Почему же эстеты «разглядывают их так и этак»? Увы, по печальной и страшной вещи: что «богини» им «сами показывают» в себе то бедра, то шею, и особенно, «поворот головы»...

«Поворот головы»?.. Как страшно. Если бы кто-нибудь меня спросил: «какой поворот головы у вашей жены»? — я бы ничего не понял в вопросе. Но если бы другой спросил это о моей сестре, целомудренной и чистой девушке, я бы ударил его по лицу, сказав: «моя сестра не лошадь, а человек». «Спрашивайте иначе и о другом. А лучше всего ничего не спрашивайте: по вопросу я вижу, что вы тупой человек».

Страшным и странным образом «греческая красота» есть вся «тулая красота», притупленная: потому что и отвечает-то она на тупые вопросы эстетов и ученых, а не людей с молитвой, с жизнью и корнем. «Не коренная красота». Да почему?! Увы, на ней не лежит физиологизма. Все поднимут на меня камни, но я отвечу холодным: «все-таки *самое-то красивое* — ведь рожденное». Рожденная женщина, рожденная лошадь, рожденная собака.

Все вот именно *живое* — одно *подлинно* и великолепно, неизъяснимо, божественно. «Афродиты» суть именно «не богини», потому что они слишком уж «из мрамора».

Между тем это доступно и кисти и мрамору: передать «со слезинкой в глазу». Но это грекам в голову не приходило. Вы скажете: «это — уже романтизм». Нет. Можно передать без страдания, без «чувств». А поглядевшему не захочется «обходить справа и слева», а сесть около статуи и поплакать с нею. И то, что грекам это никогда не пришло на ум, — показывает их какую-то глубокую душевную ограниченность. Какую? Не умею выразить. Но ответу: — «Недаром пришел Христос».

Уж если для *кого* особенно пришел Христос, то для греков: — «Дети Мои, как о многом вы не догадались! О многом и лучшем, о многом и еще прекраснейшем».

Они выкинули биографию из лица, из скульптуры. Т. е. выкинули интереснейшее, да наконец — и красивейшее!! Все их мраморы пусты. Воистину пусты. О «богине», которую можно рассматривать и «справа», и «слева», можно сказать, что это не только не «богиня», но и «ниже человека». Потому что какой же человек не оскорбился бы, если бы его «рассматривали справа и слева». А это и есть показатель всего.

«Греческая красота» на самом деле и при глубоком анализе есть «оскорбительная красота». Христу воистину надо было прийти, — между прочим — для эстетического восполнения мира. Для тысячи причин еще и притом главных, — пусть не сердятся богословы; но, между прочим, и для этой маленькой и последней: для восполнения красоты мира.

Так Он «Единородный» и «рожденный» восполнил греческую красоту, которая решительно не была «рождена».

Так Он эту порочную и преступную («потому что не рождена») красоту восполнил чем-то живым. Пламенным и горящим. Ведь в греческих мраморах нет ничего пламенного и горящего, — с этим-то согласятся и эстеты.

Противопоставляя египтянку грекам, я хотел озаглавить: «Греческие Афродиты и египетская работница». В самом деле, египтяне точно нарочно устранили из фигуры всякий убор, — между прочим убор головы, непременный почти без исключения на всех изображениях; и хотя по «лапам львицы», мы предполагаем, что это «богиня», но указываем на то, что египтяне придали ей вид не «выходящей из пены вод», а вид скорей всего работницы. Проста, пряма, работаща. Много рожала (вид груди). В последующем читатель увидит, как из этой «столь физиологической» красоты, — «слишком физиологической», «по горлышко», — вышла изумительная, томительная для души красота египетских лиц «с говором», — да таких, что мы узнаем и «контральто» и «сопрано». И, между тем, у египтян и египтянок передано это одной линией, простой линией. «Бедные мрамора», «бессильные мрамора». Но что «во-истину рождено» — то уж будет прекрасно. А у египтян,

как и показывает эта замечательная фигура на стр. 79, все было уже «слишком рождено»...

«О, слишком»...

Бедные греки. Все-таки хочется о них сказать слово христианское. Они не умели, они не нашли. Какой-то их бес толкнул «все к формам». И не подсказал, заплакав, ангел: — «А содержание»?

Неоспоримо и извечно, что их идеал «афродизианской красоты» действительно повлек в яму не только «вечно прекрасный и благородный образ женщины» (он воистину благороден), но — по связи всех вещей и по господству у греков искусства — повлек в яму и целую греческую цивилизацию. — «Ибо, черт возьми, пересмотрев сто Афродит и еще одну, вновь найденную, — что же я *сам-то буду делать*»? Роковой вопрос, над которым и задохлась Греция. «Что же нам делать дальше»? — спрашивала Греция, спрашивали греки. Таинственным образом, в Афродите и «афродизианстве» действительно не содержится «дальше», — и это есть ноумен их... И грекам, а за ними и римлянам, — пришлось оборотиться только к Востоку.

«Умираем! Задыхаемся! Все Афродиты похожи одна на другую, только одна немного лучше другой»... «Пересмотрели спереди, сзади, сбоку и теперь больше не знаем — еще с чего!!»...

«Воздуха! Воздуха!».

Отворилась дверь на Восток.

«Немножко физиологии. А то очень сухо»...

Нужно было векам пройти, чтобы один почти «штрих пером» до такой степени насытить природою. Явно, мы имеем две фигуры, два бюста человека, — «так, набросанные только пунктиром, недорисованные» — да они и в самом деле конечно недорисованы, некончены. Вот — голова, одною линиею, и до чего странною! Что это «голова», мы бы и не поняли, если бы не явно «две руки человеческие», согнутые в локте, но представленные стеблями растения. А на место «кистей рук» — цветы. Какая-то «раскрытая чашечка» в одном случае, «колокольчик» — в другом.

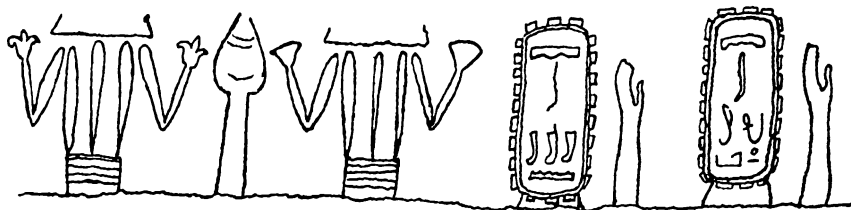


Рис. 43.

Пример физиологическо-религиозной живописи. Заимствовано из 2-го тома, стр. 129. — «Catalogue des monuments et d'inscriptions de l'Égypte antique. Ed. sous les auspice d'Abbas II, chediv, par la Direction générale du service des antiquités. Bena, 1895».

Египтяне еще не устали и все выдумывают, — и в каждом штрихе пера у них — новое (это общий метод, постоянная манера у египтян: нет «стереотипа»). Разделены или, вернее, соединены они — бутонем. И тут — метод: у египтян, где можно или «идет», всегда два, всегда — дружба. И дальше, в конце, какое чудо: точно из земли, да и явно из земли — протянутые вверх руки, наше «Господи, воззвах к Тебе», сказанное не голосом, а жестом. Таким, однако, вразумительным, что мы через 3000 лет читаем ясно. Вот объяснили бы историки, почему ни одному римлянину поздней эпохи, читавшему и Плиния, и Тацита, и Ювенала, ни разу не пришло на ум нарисовать где-нибудь на стене дома, в Помпеях, на стене храма, — этой вещи: чтобы всего «на 2<sup>1/2</sup> квадратном клочке» места задышали чем-то единым, чем-то прекрасным и религиозным, — человек, ботаника и богословие! И как на ихнее: «мы Бога хвалим», не прошептать — «Хвалите Господа в века! Хвалите, рабы его».

Но кто в таинственном сознании души не почувствует, что обрисовавшие так «женщину» (стр. 73), как египтяне, — в конце концов когда-нибудь нарисуют и этот рисунок? Ибо в ее «чрезмерной физиологии» как-то пахнет и цветком, и молитвой. Ведь она «труженица» и «без нарядов». Да и с лица «не очень вышла». А кто любит трудиться, когда-нибудь полюбит и молиться. Наоборот, между «афродизианским представлением» и *отсутствием* таких у греков рисунков — тоже есть связь. «Ты слишком хороша собой, и будешь ли думать о цветках»? «Ты так хороша и счастлива, что молиться тебе и на ум не придет». В самом деле, вот уж кто никогда не помолится: это — Афродита! О, как она смертна поэтому! — и как, поэтому, египтяне долго прожили!

## У ноги мужа

Ну, Афродиты, устыдитесь своей праздности!

Сегодня праздны, завтра праздны, вчера были праздны. Как не надоело!

Посмотрите, египтянка: тут уж читается библейское: — «Се, раба Господня»... «Вот я раба твоя».

Как Руфь сказала Ноемини: «Твой закон будет моим законом, и твоя вера будет моею верою». Сказала — *по памяти мужа*, уже умершего.

Ибо так сотворил Бог женщину. Сотворил для любви и верности, для любви и памяти о любви.

«Я от тебя имела детей: какой вопрос, что я вечно твоя, даже и за гробом».

И вот, смотрите: взяла за ногу. Нет, держится за ногу. Навертываются слезы: это выше Дамаянти. Так плачет только наша Ярославна, — «в Путивле». «Полечу я зигзицею за Днепр. Омочу бобровый рукав в Днепре». Но оставим параллели. Ибо параллели всегда поглощают предмет и его особое, единственное лицо.



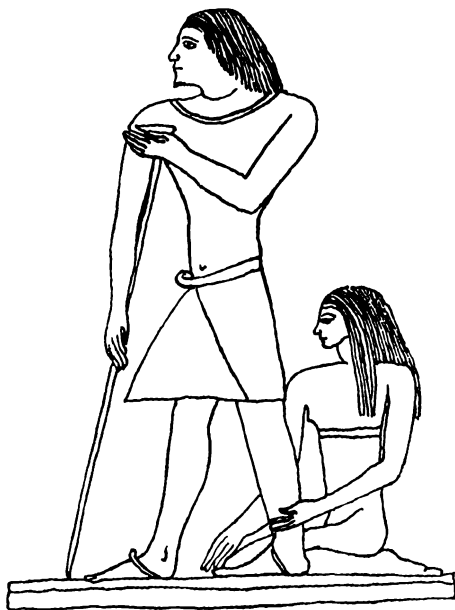


Рис. 44.

вому для женщин (*сильное лицо*), видно, что он ни малейше не озабочен дальнейшей судьбой, и спокойно сам знает, что «не уйдет».

Европейские историки культуры египетской все ищут легенд, рассказов, новелл, — ищут «хоть начала беллетристики», «по крайней мере, — хоть начала». Но зачем же египтянам было *дважды* писать то, что они уже великолепно и бесконечно написали в своих «в одну линию» рисунках. Ибо взглянув и особенно *своей рукой перечертив рисунок этот*, я знаю об этом египтянине и египтянке решительно все, что мог бы узнать из длинного «тома»: но знаю *музыкально*, как решительно не мог бы узнать из «тома». Суть и особенность египетских рисунков, что они все *музыкальны*, и, представляя «штрих», на самом деле рассказывают содержание. Но — без подробностей, право же *случайных* в каждой биографии. Ибо я, конечно, не знаю, к кому именно они ходили в гости, подолгу ли в гостях сидели, и о чем именно разговаривали. Это-то и есть обычные «страницы» беллетристики. Но зачем мне знать их? Я вижу по рисунку, что они были люди мирные, — он очень энергичен, она — тиха и скромна. Но он был человек строгий, справедливый, и соседи очень уважали его; а «род» и родственники его надеялись и опирались на «хромого».

<sup>1</sup> «Большой египетский вельможа Ти и его жена» (фр.).

И от них всем было хорошо. А от всех им было хорошо. «Вот и беллетристика». Чего вам надо? Зачем ищете? Вы прослушали музыку и все из нее узнали.

Тайна и чудо, глубина и прелесть египетской цивилизации заключалась в следующем. Что в ней «деревцо выросло как выросло». Оно и везде *растет*: суть дерева. Но оно у одних народов растет «как должно», у других — «как требуют». Еще — «как ожидают». Но у египтян никто не «ожидал», не «требовал» и не «делал»: ибо они были первые. Потому «деревцо росло как росло». Мы все у них находим «первичное» и «пекущееся в своем соку». У них не то, чтобы «не было брака»: но не было брака «по примеру римлян» или еще «по примеру евреев», по «закону Моисея» или еще «по образцу Порции и Катона». — «Как же делать?» И самого вопроса не представлялось: а — «нужно иметь детей». «Суть брака» сводилась к «нужно иметь детей». И у них выработались две линии, хорошо засвидетельствованные историей: на недоумение, «от кого же иметь детей», они ответили: «ближе всего — от брата». А дедовский инстинкт сказал: «я так хочу иметь внуков от дочери, что имущество свое отдам не ей, а ее беременному животу». Эти два восклицания «матушки-натуры» выработали две «семяно-дольки» египетского брака: братнино-сестринский брак, почти общепринятый у «*grand seigneurs égyptiens*»<sup>1</sup>, и — «утробное право наследования». «Наследует не сын, и не дочь, а ребенок дочери».

У взглянувшего на картинку, как и наверное у сделавшего под нею подпись ученого, мелькнула мысль, — наша грустная европейская мысль, — что в рисунке сокрыто «рабство женщины», «рабство семейного ее положения у египтян». Без этой мысли наверное не было бы подписано: «*grand seigneur*»; и молчаливое подсказывание: «без рабства — он ее выгонит из дому», да и она «держится рабою, дожидаясь наследства от хромого и знатного мужа». Между тем, она просто сестра ему, и равна по имущественному и сословному состоянию. Она от него ни в чем не нуждается, а любит его. Почему же «любит», да еще «хромого»? Особенно-то любит именно потому, что он хром; а вообще любит, потому что он «смирил» ее как муж. В Библии везде сказано, что муж в первый же момент, как «познает» жену, — «смиряет ее». Отчего? Как? Да мы и до сих пор это знаем: муж передает в жену «путь», коими она внутренне опутывается, связывается, и таким образом, что сама никак не хочет «уйти из них». В сладкий мед опущены мои ноги. И я хочу идти — но не могу почти. И все хочется сидеть дома и держать мужа за ногу».

Вот египетский рисунок. Это — любовное рабство, а не законодательное рабство, не экономическое рабство. Все подобное — не начиналось, не брезжилось в истории. Но суть любви — выразилась. О, как она выразилась, как хорошо выразилась; — говорим не с гордостью господства, но с бесконечной верой в красоту любви. И ведь он, правда, ее «не замечает», идя к делам своим «с костылем-то». Да она и не держит его нисколько, лишь приложив ладонь к

<sup>1</sup> «великих египетских вельмож» (фр.).

ноге, а не «ухватив его за ногу». Она говорит ему только: «ты вспомнишь меня, милый, и к вечеру — будешь мой». «Я сниму с тебя сандалии, и оботру пыль с них. И успокою тебя. И буду тебе лучше Суламифи».

## Дети египетские

А о детях египетских нам нечего писать — вот они:



Рис. 45.

Сцена в могиле египтянина Ти.

Особенно хороши носишки и губа у обоих. Прямо — поцеловать хочется. Такие глупые. И преднамеренно придано (заметно в рисунке) глуповатое выражение. Особенно — сыну (заметно по формам, что это — ослица и ее сын).

И еще — вот:

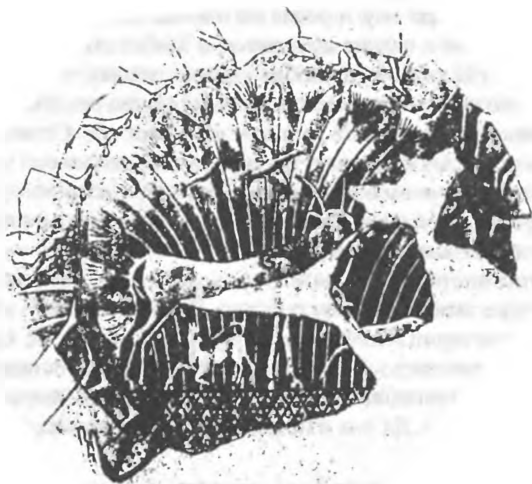


Рис. 46.

Читатель спросит: как? что? почему?

Но Геродот же (книга II, гл. 36) сказал, как о «зрелище перед его глазами», что «египтяне жили вместе с животными», т. е. одним двором и в одной избе<sup>1</sup>. Там люди лежали «в середочках» между животными постарше и животными помоложе, между животными потяжелее себя и животными полегче себя. И «в середочках» им было тепло-тепло. И они уж не знали, которые «ребятки» и девчонки родятся от них, а которые ребятки и девчонки родятся от коров, ягнят и свиней. И посмотрите: где не идет «мамка с ребятками», «бабушка с дочерями», они непременно нарисуют осла «с осленком», свинью «с поросятами». И «без семьи» не воображали животных, как и себя. Как же им было не жить «тепло-тепло».

И они объединились с миром, не написав диссертаций «De rerum essentia»<sup>2</sup>, а нарисовав везде, что «essentia» всего мира — одна, что нет «много-сущия», есть одно-сущие, едино-сущие. Поздней мы увидим это в бесчисленных изображениях. Это-то и образует универсализм Египта. Но универсализм не «одной мысли, пронизывающей мир», а единого биения пульса, трепещущего в целом мире. От звезд и до былинки. А пока — вот картинка, где с одного взгляда видно, что египтяне точно «обхватили мир», в одну охапку, и, повалив на себя, воскликнули: «нам так хорошо, что на плечах своих мы выдержим целый мир».

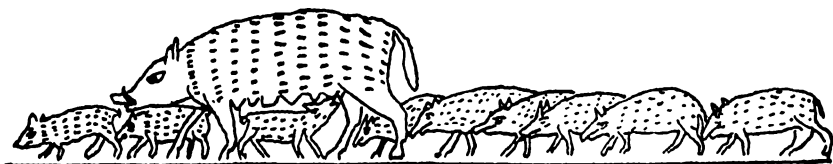


Рис. 47.

<sup>1</sup> Рассказ Геродота везде прескрасно прост. Вот это место в связи с другими соображениями об египтянах: «В других местах священнослужители носят длинные волосы, в Египте жрецы стригутся. У других народов в обычае, что ближайšie к покойнику лица в знак траура стригут себе волосы; египтяне в случае смерти родственника отпускают себе волосы на голове и бороде, а обыкновенно ходят стриженными. У других народов люди живут отдельно от животных, египтяне живут вместе с ними».

<sup>2</sup> О существенных всах (лат.).

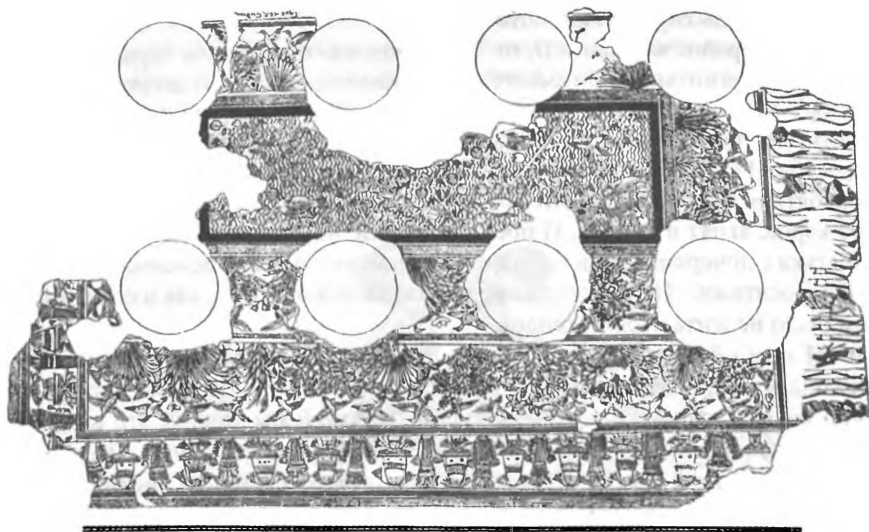


Рис. 48.

Настилка одной из зал дворца Аменофиса IV  
(Эль-Амарна)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Тут все «дни сотворения», — сотворения «в водах рыб больших», на земле — «животных», и над землею — «птиц летающих». Но обратите внимание: точно все «выскочить из себя хочет: так все переполнено бытия, силы, утверждения. Мерцает в уме сближение с исполином-младенцем сказки, который будучи засмолен в бочку — «потянулся, уперся головою в доньшко, — и дно отлетело, а он вышел на землю». Здесь (и всюду в Египте) природа взята в резком чувстве начала бытия своего, «недалекости создания», и это ощущение составляет настоящее чудо Египта, тайну и загадку Египта. Но откуда, откуда? Почему, почему? Слепорожденные, разве вы не видите: наверху, над воздухом, в котором реют птицы, т. е. на каком-то «будто потолке над миром» стоит ряд тех самых изображений, какое финикияне Библоса воздвигли над святилищем своим. Это — мужской фетиш, от которого родится все», — «бысть битие всему». И, как я предположил, в Библосе «святилище было обсажено невысокими деревьями и цветами», так посмотрите здесь — фетиш украшен цветами, ветвями и растениями, — о, как украшен, до «преизбыточества»!! И это не «рисуночек», а — дело, не «арабески художника», а он не смел сделать иначе, потому что это истина и сущность и исповедание Египта. Нельзя усомниться, что источник всего этого оживления и как бы воздушности, крылатости природы, лежал в египетских «таинствах», где они как бы «венчались» с источниками бытия, приходили в необыкновенную близость с ними, прикосновение, касание. И «выходя на воздух» — смотрели на мир как «новобрачные»... Смотрите, ведь у «новобрачных» другой взгляд на вещи, чем у «старобрачных» и чем у «холостых». Египтяне вот и жили в вечном «новобрачии»: и это не природа «выскакивала у них из орбиты бытия своего», а это безумно свежий глаз их увидел, «по себе», и всю природу в «вечном медовом месяце». С рисунков их, правда, каплет мед. Смотрите, наблюдайте, замечайте!!!»

## Первая колыбельная песня на земле

Дам тебе я на дорогу  
Образок святой,  
Ты его, моляся Богу,  
Ставь перед собой,  
Да готовясь в бой опасный  
Помни мать свою...

.....  
.....

Вот в этой песне, эмбрион всех кистей Рафаэля... всех его образов, понятий, чувств. И никакого — *еще* представления в основе его, кроме как этот рисунок, нарисованный египтянами в так называемой у них «Книге мертвых», т. е. в книге «оживших там, на небе», каковую, начертав на папирусе, они давали в руки своим уснувшим.

И никто, никто и доселе, до наших времен и до ресторанов в Париже, не смог от образа этой песни и от этого изображения египетского подвинуться ни вправо, ни влево, ни назад, ни вперед.

Ни в ощущении материнства, ни в тоне и мелодии Колыбельной песни.

И что так *просто* вышло у египтян, это — хорошо. Из этого «теленочка с коровой» через три тысячи лет мог и должен был образоваться Рафаэль, а из ста Рафаэлей только с одними его кистями и красками не вышло бы все-таки такого рисунка. Ибо у того были кисти, а египтяне пролили сюда сердце и вложили мудрость.

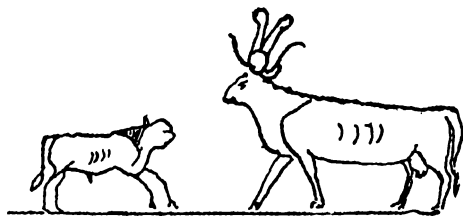


Рис. 49.

## Песня песней

Есть две «Песни песней». Одну поют евреи в субботу. Но над каждым израильтянином один раз поет «Песнь песней» Бог: это — когда он обрезывается. И ее слышат родители и веселятся. И слышат гости и подпрыгивают. Но чужим они никому об этом не рассказывают.

## Обрезание у египтян

Относительно обрезания у египтян Геродот выражается со знанием наличности. В общем течении рассказа, вот как он говорит о нем:

«...Тесто египтяне месят ногами, глину руками; руками же подбирают навоз»<sup>1</sup>. Прочие люди оставляют детородные органы в их естественном виде, — за исключением тех, которые усвоили себе египетский обычай; а египтяне совершают обрезание» (книга II, глава 36).

Глубокоуважаемый ученый наш, Николай Петрович Лихачев, бывший помощник директора Императорской Публичной Библиотеки, автор монументальных трудов по русской — светской и церковной — истории («Иконография Богоматери»), — оказывается не менее, нежели к русской, прилежит и к всемирной истории, и прилежит именно в ее основах, подымающихся от Египта, Халдеи и Сирии, — от Авраамовых и Сезостризовых чресел. И вот он-то дал мне ознакомиться «в картине» с обрезанием у египтян. Едва была напечатана в газете первая же моя статья о Египте: «Пробуждающийся интерес к Египту», — как он из немногих строк ее, — для всякого вообще читателя даже и непонятных, — о «родительстве мира», об «отыскивании египтянами Отца-Небесного» — сразу прозорливо схватил всю мысль моих истолкований Египта, — истолкований, которые у египтологов не только не приняты, но и всеми мерами у них отвергаются, презираются и скрываются. И в длинных разговорах и трении «плечом около плеча со мною», стал совершенно на мою сторону. Именно: ученые все скрывают, вопреки тысячам египетских памятников, вопреки «всему зрелищу Египта», как он виден в монументах, описанных экспедициями Бонапарта, Лепсиуса (прусского правительства), Росселлини (итальянского правительства), — что Египет, и отчасти весь Восток, прожил четыре тысячи лет собственно для того, чтобы остановиться на теме и гениально разработать тему единую, всемирную, всяким человекам нужную, каждому из нас неизбежную, и кроме того радостную, восхитительную, согревающую Вселенную: тему и идею Отчества <...>

---

<sup>1</sup> Я думаю — это ритуально и религиозно: потому, во-первых, что коровы почитались на протяжении всего Египта священными, у нас бы сказано было — «святыми». Но и не это одно: вторая причина заключалась в высоком и даже высочайшем почитании скарабея, — «священного жука», который в то же время был «обыкновенным навозным жуком».

# Выпуск IV

## ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ЛИЦ, ШЕСТИ КРЫЛ И ОМОВЕНИЕ

В Батуме мне привелось быть один раз. Прекрасное море, благоустроенный город; но я подумал, что если где видеть татар, то — здесь. И поутру на другой день, спросив, где мечеть, отправился в нее. Однако службы не было, народу не было, и, осмотрев «пустой сарай», хуже всякой лютеранской кирки, я с разочарованием и недовольством вышел на маленький дворик, все еще оглядываясь на мечеть с ожиданием: «Да скажи же, что ты и кто вы?» — когда увидел не то чтобы старого, но пожилого муллу, сюда вошедшего на дворик. Я не сообразил, что он идет «на службу», и смотрел на его грязные туфли и всю невыносимо неповоротливую, неуклюжую фигуру. Оставив одну туфлю на земле, он как-то отвратительно лениво поднял одну ногу до высоты «до колена» и вставил ее в медленно льющуюся, должно быть, из желоба воду. И, взяв назад ее, также спустил туфлю с другой ноги, и также вставил ее в струю, и вода также омыла и эту ногу. Я тут опять не сообразил: мне следовало бы подождать, и я увидел бы, что он под ту же льющуюся воду подставляет еще и сокровенные части тела; потом, вероятно, — руки; потом еще — лицо. И вот весь «омытый и чистый» он войдет теперь в мечеть и начнет «служить».

Как у израильтян, только тот «священник», который без «коросты», без «болячки», весь чист телесно. Закон один или одна мысль.

Под льющуюся струю он подставил, вынув из туфель, ту самую часть ног, к которой египтяне, на прилагаемом рисунке, приставили головки «бо-



Рис. 50.



жественных шакалов». Когда, лет 20 назад, я увидел этот рисунок у Масперо в «Hist. d'Or.»<sup>1</sup> — я тоже чуть не свалился со стула. Потому что в это именно время у меня замелькала мысль, что наши ноги оканчиваются «головами», в коих подошва — «лицо», а «подъем», где нога «горкой» — затылок. «А вот и кости черепа» — прямо под кожей «горки» кости; тогда как щеки и губы и все мягкое лица выражены в мягкой подошве. Из этой особой головы и ее «ума» и «таланта» текут танцы, ходьба и у каждого (индивидуальность) «своя походка», путешествия. Ноги имеют память и сами «донесут до дому», если ходок задумается, замечается. Таким образом, тут есть зачаток поэзии (танцы) и прозы, науки и ума. Потому они оканчиваются копытами или когтем, где уже явно видна душа или «добрая», или «хищная».

И вот... приставить бы «головку шакала» к спине или боку? Чудовищно, смешно. Как приставить «головку» туда, где нет никакого ее зачатка? «Не идет». И египтяне не сделали. Но если они приставили головки к концам ног, то явно они почувствовали, что это — «идет». И что взглянувший удивится этому, — удивится великим удивлением (как я), но не найдет этого смешным, невозможным и безобразным. Просто найдет, что это «идет» и что египтяне отгадали великую тайну природы.

И отгадали еще другое: что «кисти рук» наших суть тоже отдельные головки. И что в ней безволосая ладонь, с какими-то странными, явно не случайными «линиями судьбы», есть то же, что «лицо» с его «чертами», а покрытая пушком волос верхняя поверхность, и тоже с костями сейчас под кожей, — это «затылок» и вообще «череп».

И «лицом рук» мы молимся, воздевая их к небу. У египтян это постоянно. Пальцы рук складываем в крест. Вообще мы «душою» и «рукою» молимся. Жмем руку другу. Целуем руку у невесты. В руке вообще есть что-то благословляющее, доброе, благое. И египтяне эту таинственную свою догадку выразили вот странной фигурой, какую мы уже приводили и повторяем для дальнейшего размышления читателя:

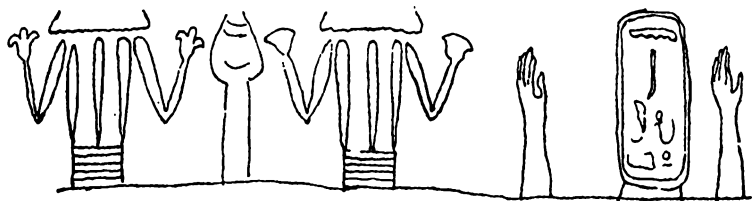


Рис. 51.

Просто, не придет никому в голову так сделать. Чтобы так сделать, нужно иметь концепцию человека, «оканчивающегося на все стороны головами».

<sup>1</sup> «Ист[ория] Вост[очная]» (фр.).

Руки — удивительны. Кормят человека. Работают. «Вся цивилизация сделана руками». А только десять пальчиков. Но вот особенность: ими мы кое-что делаем такое, притом духовное, что было бы менее выразительно в слове:

<Рисунок: дотрагивается до подбородка>

Разве это можно выразить речью?

Именно кисти рук «особенно близки религии». И хочется сказать, видя «воздетые руки», что «мы обнимаем Бога».

И, наконец, третье лицо: посмотрите, могли ли бы египтяне нарисовать так эту великолепную, изумительную картину, где «лицо Изиды», уже несомненно — «оно», поставлено как отделившееся от женщины, но в том именно месте, где сокрыто и тайно зажато ее третье лицо. Нельзя эту картину нарисовать, не шепнув зрителю: «Вот как таинственно устроен человек, что он везде оканчивается *«головами, лицами, говором в миру, вещанием о себе миру, но и с другой стороны — любовью, восторгом и восприятием».*

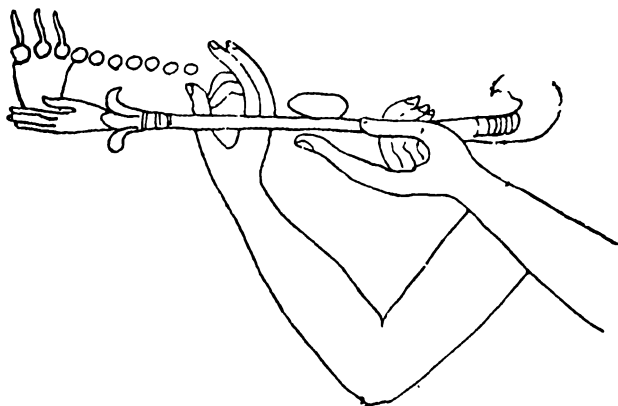


Рис. 52.

Неверною рукою и верною душою я срисовал эти руки, полные души, нежности и благословения. Между тем это обыкновенные руки египтянина, совершающего жертвенное курение фимиамом. Замечательно и поразительно, что сложение пальцев правой руки точь-в-точь, как у наших архиереев при благословении. Между тем это — сложение руки за тысячу лет почти до Рождения И. Христа.

Любовник мира.

И вот — человек «живет полной жизнью», когда путешествует, танцует, ювелирничаёт, ткёт, молится, говорит, размышляет.

«Ни одна голова не молчит».

И вот четыре тайны. Четыре лица. На ногах — стоит, и их, т. е. «лицо подошвы», закрывает «матушка — сыра-земля». Но три лица закрыты — каждое двумя крылами. Шесть крыл. Самая идея «шестикрылых существ», закрывающих «лица свои», не могла бы возникнуть без того представления о таинственной фигуре человека, «образе и подобии Божию», какое здесь сказано.



Рис. 53.



Рис. 54.

Это — дыхание Азии: шесть крыл. И их поэзия — омовения.

Есть или нет документы, такие омовения, с религиозным их значением, бесспорно были в Египте. И даже, несомненно, они начались с Египта<sup>1</sup>. Так как «шестикрылые существа», со всем отчетливым великолепием, и появились там.

В религиозных омовениях, которые под действием этого представления и начались везде на Востоке, — содержится несомненно знойно-страстная сторона и Африки, и Азии. «У них нет изображений», и они «не манятся и не развращаются» греческими Афродитами и итальянскими «мадоннами». Ах, что значат все эти взгляды на литые кумиры, на бездыханную медь, сравнительно с прикосновением к горячему телу, — такому розовому, такому белеющему или смуглому. Помните, в «Песни песней»:

— Смугла я. Солнце меня опалило...

И перед пятью словами, — из коих одно — в одну букву, все Венеры валятся в яму. Признаюсь, понюхать цветок или втягивать медленно в себя пахучесть гриба, отдельно ножки его и отдельно шляпки его, сперва в целом и потом отламывая частицы одна за другую («жертвоприношения»??..) — это гораздо, неизмеримо страстнее, чем час простоять перед Афродитой Книдской. Собственно страсть, решительно всякая, начинается не с взгляда вовсе, а с темного, мглистого обоняния. Ночь, — часы страсти, — не дает никакого света. «Свет» свернут на палку и вынесен за дверь мира: и именно когда «свет» выставлен за дверь мира, цветы чудовищно распускаются и начинают благоухать всюю энергией таинственной своей эссенции.

<sup>1</sup> Статья эта была уже отпечатана, когда, бродя для других тем по Геродоту, я прочел у него в II, 36: «Жрецы (египетские) моются два раза в день и два раза в ночь».

Цветочные и обонятельные инстинкты развиты на Востоке неизмеримо с Западом: и если «омовения»-«умывания» начались «с 4-х лиц», т. е. с догадки и открытия, что человек на все стороны оканчивается лицами, — то именно предрасположенность Востока к пахучему так укрепила, так подхватила и «не отвязалась» от омовений. Там ведь любят и мирру, и ладан, и розовое масло. Есть какая-то таинственная и универсальная связь между «обонятельностью» человека и «религиозностью» человека. Например, тощее лютеранство оттого так тоще, что в нем вовсе нет ничего пахучего. «Пахучее» в лютеранстве исключено из богослужения и культа. И также секты тем скуднее и скорее рассеиваются и исчезают, чем они менее пахнут. Мы, русские, имеем в этом отношении самые длинные обещания, потому что из всех христианских вер православие всех пахучее (воск, сок плодов масличного дерева, ладан, розовое масло; в иконостасах часто — кипарис; и вообще церкви у нас всегда пахнут, и все православие пахуче, ароматисто). Восток, Азия и Африка, задохнулся бы вовсе без осязательности, без изображений и без кумиров, если бы таинственным образом не ввел в религию нечто лучшее и большее: пахучесть. Ежедневно и еженощно он вдыхает цветень мира, рассеянную на поверхности земли при создании ее. Зачем она? «Зачем», я думаю? Случай ли и «игра природы», или сущность вещей? Нет обоняемого, которое бы кто-нибудь не обонял. Зачем же цветы и кому они пахнут? Пчелкам, мотылькам? Но ведь это совсем другое царство, нежели царство цветов. Обонятельность тем поразительна, что есть что-то в пахучести подобное музыке, т. е. «без слов» и действует «глубже слов» и действует «на всех». В пахучести эссенции мира обменивается и связывается весь универзус в единое. «Где — я? Где — ты?» Нет. «А мы — уже *двое*». «Двое» цветок и пчелка, столь разные. «Где небо? Где земля»? Противоположны. Но так как все пахнет, то — и едины. В запахах гармонируется мир, — самые его крайние точки, самые его далекие, если можно сказать, «лица»: «путешествующее» получает себе крылья, размышляющее получает «воображение», техника превращается в «искусство», — если особое и всеобщее лицо «творчества», полета, — огня и страсти<sup>1</sup>, — дохнуло в них. «Страстный путешественник», «неутомимый мыслитель», «ученый, который не устает все открывать». Цветок и пчелка? Вольно же пчелке копошиться в цветке. «Так далеки по существу». И тайна всех вещей мира, пожалуй, в том, что они все развалились бы, «матерьял» выпал бы у «горшечника» из рук, если бы, кончив вещи, он не спрыснул их все пахучестью.

---

<sup>1</sup> При чтении египетской истории поражает перевод «иероглифических имен» богов и богинь: нередко попадается именной иероглиф: «огонь», «страсть», «жар», и ученые иногда приставляют свои толкования: «например, жар *битвы*». Увы, — никогда не «битвы». «Все боги от Озириса», и вне очерченного озирианского круга, — т. е. того истолкования, какое я здесь отдаленно и косвенно даю, все толкования неверны и наука на них не имеет права. «Нельзя колебать трон Озириса».

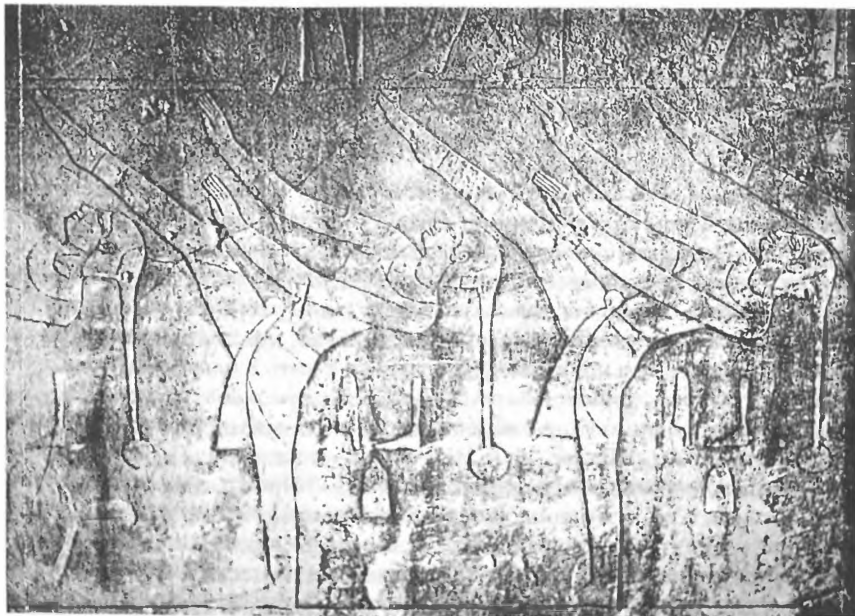
Вдруг все вещи запахли...  
«Гармония! Гармония!»  
Восток закричал:  
— Омовений! Омовений!



*Рис. 55.*

Девушка обоняет цвет-  
ток.

\*\*\*



*Рис. 56.*

«Праздничные собрания у египтян бывают не один раз в году, но многократно. Наичаще и наихотнее собираются они в городе Бубастис в честь Артемиды; потом в Бусирисе в честь Изиды; в-третьих, собираются они в городе Саис; в-четвертых, в Гелиополе в честь Солнца... На пути в город Бубастис египтяне ведут себя так: едут туда мужчины и женщины вместе, причем в каждом судне помещается множество лиц обоего пола. Несколько женщин в продолжение всего путешествия трещат трещотками (систры), а несколько мужчин играют на флейтах, остальные женщины и мужчины поют песни и хлопают в ладоши. Подплывая к какому-нибудь другому городу, они пригоняют судно к берегу, причем некоторые женщины прodelывают то же, что и прежде, другие кричат и издева-

ются над женщинами этого города, третьи пляшут, *четвертые подпрыгивают, поднимают платье и обнажаются*. Едущие проделывают это у каждого города, лежащего на речном пути. Когда, наконец, они прибывают в Бубастис, то устраивают там празднество с обильными жертвами, и виноградное вино выпивается тогда в большем количестве, нежели за все остальное время года. Собирается здесь мужчин и женщин, не считая детей, около семи сот тысяч душ, как рассказывают туземцы. Таково празднество в Бубастисе» (Геродот, II, 59 — 60). — И ученые издатели книги «Une rue de Saqqarah», и Масперо в очерке египетского искусства наименовывают особые телодвижения здесь женщин «танцами». Я этого не думаю, — и связываю зрелище на рисунке в Саккара с приведенным рассказом Геродота; самый же рассказ Геродота связываю с празднеством в Бубастисе «в честь *Артемиды*», т. е. богини *лунного (вечнодевственно-го) цикла восточных божеств*, а не солнечного цикла совершенно других божеств — плодородия, рождающих (см. мою книгу «Люди лунного света», особенно в начале, о «девственном божестве» у древних народов Востока). При празднествах этого характера, по свидетельству всех древних писателей, активные их участники (здесь — якобы «танцующие») переодевались в платье противоположного, чем свой, пола: мужчины — в женское платье, а женщины — в мужское платье. «Женщины в честь Небесной Девы Астарты (= Артемиды греков) также обрекали себя на всегдашнее безбрачие. В связи с такого рода посвящением мужчин и девушек на служение Молоху и Астарте, и сопровождавшими его обрядами, находился преследуемый Моисеем обычай, по которому *мужчины одевались в платье женщин*, и — наоборот. *Юноши как бы обращались в девушек*, после посвящения их божеству... Согласно древним писателям, богиня Венера представлялась иногда андрогином и называлась и «Марсом», и «Венерою». *Особенно в мистериях представлялась она обоюдополою*. Ее называли поэтому «Deus Venus», как и сирийскую богиню луны «Deus Lunus» и «Dea Luna». На острове Кипре была даже «*Бородатая Венера*», «*Venus barbatus*». Молох превращался в Мелитту и наоборот. Вот почему мужчины перед Венерою приносили жертву в одежде женщин, а женщины перед Марсом в мужской одежде. «*Invenies in libro magico graeserī, — говорит Маймонид о религии сирийцев, — ut vestimentum muliebre induat vir, quando stat coram stella Veneris, similiter et mulier induat loricam, quando stat coram stella Martis*...»<sup>1</sup>

В Сидоне Астарта была Девственница, Virgo Caelestis, Санхониатон и ее называет «Звездю Венеры», большинство греческих писателей признают ее «*богиней Луны*». Здесь, сквозь значительную путаницу исторических показаний, происшедшую от вставки «должно», «они должны»,

<sup>1</sup> «В магических книгах имеется предписание, что муж должен облачаться в женские одежды, когда перед глазами — звезда Венеры, также и жена должна облачаться в кольчугу, когда восходит Марс» (лат.).

— просвечивает тот до нашего времени очевидный факт, что «мужественные девы» одеваются в платья «почти мужского покроя», и даже прямо — «в мужское платье», а мужчины женственные — любят женоподобность в своих одеждах. И это безо всякого «должно», а потому что «нравится». Не «мистерии» возникли ради таких субъектов, а такие субъекты неодолимо сложили свои привычки, нужды и поползновения в «мистерии».

Обращаясь к зрелищу «танцев» за 3000 лет до Р.Х., мы именно и наблюдаем в нем только что рассказанное. «Танцующие» суть женщины, что видно по длинным их косам с металлическими шариками на шее, и как это вообще видно по рисунку 56, далее прилагаемому; между тем столь же явно на них надето обыкновенное мужское египетское платье. Обратимся к другой стороне, якобы «зрительниц танца». Если бы это были «танцы», то отчего бы на них не смотреть и мужчинам, и женщинам, — как у нас в театральных залах на балете присутствуют и мужчины, и женщины. Но здесь зрительницы — одни женщины (если только не мужчины, переодетые в женское платье). Мы моментально вспоминаем в рассказах об «Элевзинских таинствах», что на некоторые их отделы допускались одни только женщины (девушки собственно), а мужчины вовсе не допускались. Этот-то отдел, бывший, конечно, также и в Египте, как и в Элевзинах, — и выражен на картине: зрительницы — все женщины (девушки), поднявшие руки вовсе не для хлопанья в приветствие «удачным танцам», «успеху в танцах», а богомольно (см. для сравнения дальше в рисунке) поднявшие руки выражают то *adoratio*, ту «фетишизацию» природы людей «лунного света», какую мы вообще встречаем до сих пор и которая впервые в истории рассказана о соседях Авраама и Лота. Тут находит себе место и строка Геродота: что «ехавшие в Бубастис женщины, обнажаясь в проезжаемых городках, смеялись над женщинами их», т. е. над хозяйками их, над семьянинками, женами и родительницами. Это та смертельная неприязнь, которая также до сих пор проходит между категориею людей лунной природы и людей солнечной природы: всегда — насмешка, всегда отвращение и отталкивание. На самом деле, сцена показывает, как это ясно и из странно высоко поднятой правой ноги, поднятой ненатурально, и как вовсе не попадаетея ни на каких египетских танцах, — это есть *обнажение фетишизуемых частей* — одною половиною уже пожилых девушек, с лицами жесткими, грубыми, совершенно почти мужскими (так это и до сих пор есть) и фетишизация их обратно девушками очень женственными (так это и бывает непременно, и тоже до сих пор), преувеличенно женственными. Так мы и наблюдаем в «приязанностях» в празднике одного и того же пола. Можно сказать — *natura aeterna*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> природа вечна (лат.).

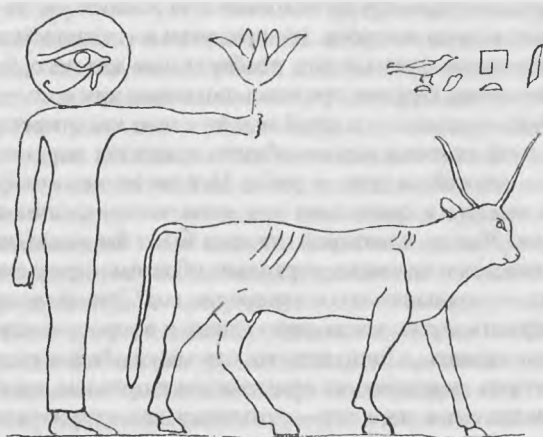


Рис. 57. Из «Dizionario di mitologia egizio». Lanzoni. Pisa, 1895, tab. CCXXXVI.

О, гений изобразительности египетской: смотрите, опять руки поднимаются из-под земли с молитвою: но уже здесь — не к солнцу, как на с. 78, а к тому Оку Всевидящему, по всемирной графике, которое женщина-кормилица (см. массив груди) опустила ниже пояса своего, и держит его на уровне с родительством своим, как выражение и как «графику» этого родительства. — Возможно думать, что это было одно из тех, по всему вероятно, многочисленных и очень разнообразных изображений, какие были нарисованы на стенах и потолках комнат, предназначенных для мистерий. Это было именно нечто «показывавшее» и «объяснявшее» дело мистерий, «выводивших» в это дело, и настроивших зрителя расположению к нему.



Глядя в рассеченном трупe человека или животного на *сердце* или на *легкое*, на *почки* или на *желудок*, мы признаем и соглашаемся, что это только *органы* животного, нужные ему, необходимые для него, без коих оно существовать не может. Орудия, средства, подпоры; или еще — модусы существования. Они «нужны» — и иной мысли к ним мы отнести не можем. Но они до известной степени «ниже общего существа животного», и просто потому, что — служебны, что — рабы. Нет ли же чего-нибудь в человеке, что было бы именно в сравнении «со всем человеческим существом» — *господственно*? Что до некоторой степени было бы *выше* «всего прочего в нем»? Что, находясь в человеке, странным образом «превосходило бы человека», являясь — «дальше» его и «впереди» его? Эти-то вопросы и измерения и надо держать в уме, когда переходишь к вопросу о «лице». Что такое «лицо»? Прямо сказать: «Лицо есть то, что мы особенно *уважаем в человеке*». Вот категория суждения, не применимая к органам, ни к каким. Далее, что мы можем сказать о *лице*, это — что через него струится энергия изнутри человека и оно есть та острая иголка в нем, которая обратно собирает со всех сторон энергии из мира в себя. Итак, лицо есть место встречи энергий «туда» и «сюда», входящей и исходящей, объективной и субъективной. — Посему, когда мы обращаемся к «духу» человека, вообще к «самому человеку», то нам и на ум не может прийти обратиться, коснуться или дотронуться до какого-либо его органа: обращаясь к «целому человеку», мы вместо всего его — говорим «лицу» его, говорим «голове» его; но собственно именно не «голове» — а «лицу», «глазам», рту, носу, «передней» и «лицевой» стороне головы. Посему-то и говорится: «Я говорил перед лицом царя», «перед лицом первосвященника», «перед лицом друга» и т. д.; еще, в Писании — «Моисей говорил перед лицом Божиим». И еще, в каких-то неясных иносказаниях: «На лицо *Божие* нельзя взглянуть и не умереть». Теперь: совершенно нельзя понять происхождения египетских (и других древних) мистерий, пока не задашься вопросом: «Да *одно* ли лицо в человеке?» То «лицо», к которому были бы относимы все указанные выше суждения. Едва мы зададим этот вопрос, как после самого краткого размышления о фигуре человеческой, найдем, что в самом деле у человека собственно не одно лицо, а несколько; и что самое, напр., происхождение его рук и ног, его «конечностей», объясняется выбросом как можно дальше от туловища (к коему относится и с коим связана «голова» и «головное *лицо*») таких «лиц», которые уже с туловищем не связаны: именно — «кистей рук» и «ступней ног», с явными «затылочными костями» в них, и с мягкой собственно *лицевой стороною* в них: ладонь, подошва. Это две совершенно уже явные по устройению своего «головки», с двумя «затылочками», с двумя «личиками». Но вот четвертое: пол и его (не орган, а напротив) — выражение. Это — совсем особое: тут проходит какой-то массив, какая-то громада: *мужчина* и *женщина* или *все мужское* и *все женское* в природе, в целом мире, кто знает — может быть, даже в звездах, в солнце и всем мироздании — разделяется по этому, что одно — *мужественно*, а другое — *женственно*, одно — *жестко*

и наступающе, а другое — уступчиво, мягко, смягчительно. Есть же такая хитрость, что небо почему-то украшается днем — солнцем, а ночью — луною; и «при луне» влюбленные гуляют, а при солнце мужчины работают. И вот входит в нас потрясающая мысль, что и это суть *лица*: по какой-то совершенно новой категории, или вернее — другого объема, объема какого-то неизмеримого, трудно обнимаемого даже мыслью. А в мире, а в творчестве его, в жизни его — уже совершенно неисследимого, бесконечного. «Луна-то — она девушка, а солнце — это скорее *он*». Мысль кружится. И вот, едва перед нами промелькнула эта мысль, как мы неожиданно прозреваем во все древние религии, их сложение, до того не похожее на сложение нашей религии, становится удивительно ясно; да что «ясно» — оно становится убедительно, оно становится истинным. И убедительно такую особенную убедительностью, что поколебать его труднее даже, чем христианство: тут — книга, правда неизъяснимой высоты, но там — книга мира, «Бытие», воистину — «Бытие» (впервые раскрывается смысл этого именно слова), сложение вообще космогоническое, о коем написаны все книги, о коем существуют все науки. Тогда нам сразу объясняется какое-то странное «звездочетство» всех древних религий, их заглядывание «в звезды» как какую-то «судьбу человека»; их связывание «человека» с «небом». Но это именно не грубая и бездушная «астрономия» наших дней, а благородная «астрология» древности, поистине не имеющая с нею ничего общего. Дворянка и позитивный мужик. Один «считает по пальцам», «сколько муки продал»; а астрология нашептывает душе таинственные шепоты, таинственную магию, она роднит человека со всем миром, она объясняет «человека» «из мира». Она — родная, а астрономия — чужая. Впрочем, не будем отрицать истины и в астрономии: счет тоже нужен и мука пригодится. Но истины астрологии совсем другие, нежели астрономические, — глубже, страстнее, страшнее. Астрология — небесная философия, так же мало зависимая от Ньютона, ему вовсе не подчиненная, как, конечно, Наль и Дамаянти несколько не подчинены Аристотелю и не испугались от того, что «Бэкон пришел». Ни Бэкон, ни Аристотель, ни все Ньютоны не могут поколебать астрологии: «потому что ведь в самом деле любим-то при луне», ну, а «мальчику и девушке любить друг друга» — это перешибет хребет всем философам и всем астрономам, это их крепче всех, это их божественнее и, так сказать, знатнее. «Венера! Венера!», «Таинственный Меркурий!», «Вaal-Солнце!!» — «Луна, бледнолицая, меланхолическая»: о, как счастливо опять произнести эти слова, произнести, наконец, с христианскою верою, надеждою и любовью. «Истина, истина!!!» — «Эврика, эврика!» — Мы — нашли древность. Нашли оправдание древних, которые не напрасно же молились четыре тысячелетия, не «в пустую дыру молились», а слагали гимны и молитвы, и совершенно истинно слагали, тому же живому Богу, как и мы. Только не надо гнаться за именами, которые пусты и, может быть, ошибочны и вообще ничего не значат. И не нужно гнаться за извинениями мифов и сказаний, которые также ровно ничего не значат, и могли быть и другие, как и у христиан не один был

«Иван-Воин», а мог бы он называться и «Поликарпом», — да и был «Поликарп», а еще «Иван-Воин», а не было бы «их» — были бы «другие», и это вовсе ничего не значит, а значит — то, что объявилась «кротость» и были «кроткие святые». Посему есть «христианство с прочими святыми». Подобно этому, назовем ли мы «Зевса», «Ваала», «Озириса», или — «Геру», «Кибелу», «Изиду» — не важно, не нужно, не представляет абсолютно никакого интереса: а важно, что нет «Маши», которая не хотела бы «кормить ребенка, как Изиды», «быть ревнива, как Гера», и в 40 лет не пожелала бы любить юношу, «как Кибела». Тайна — в любви и в загадке любви. И что от любви рождается дитя, таинственное — дитя, потрясающее все миры — дитя; важнее чего и религиознее чего вообще ничего нет. Дело и не в астрологии наконец, а — в любви. И не в «Иване-Целителе», а — в здоровье. Дело-то — в мире. Просто — в мире. И — в загадке, судьбе. Во всем. «Все»?.. Но, Боже, что важнее «Всего»? Важнее «Всего» — ничего нет. А почитание «Всего» — это и суть древние молитвы, древние люди, древние младенцы, древние старцы. Они были столь же мудры, как и наивны, и это прелестное соединение наивности с мудростью составляет великолепие ранних зорь человечества. О, они нисколько не расходятся с поздней вечерней зарей, с нашим христианством. Как и пророки и Христос с любовью смотрели на сидонянок, на хананеянок, не гнали, любили, ласкали. «Это все — наше!!» Скажем с радостью это спокойное слово, ни с кем не разделяясь, а со всеми соединяясь, не по равнодушию и индифферентизму, а понимая все. Все — люди. У всех — одна молитва. Один потрясен словом Христа, другой потрясен — смертью, один — страдает, другой — чисто радуется. Примем же в сердце наше все.

И вот, кроме астрологии, объясняется и «порнография» этих древних религий, которой решительно невозможно отвергнуть во всех древних религиях: а, главное, — вредно отвергнуть, странно отвергнуть, отвергнув — нельзя ничего понять и надо все перечеркнуть «цензорским карандашом» или, что то же и даже хуже — перечеркнуть уже совершенно глупым пером ученых, которые решительно ничего во всех древних религиях не понимали и не усвоили, кроме «имен» и «мифов», которые единственно совершенно ни к чему не нужны и ничего не выражают. Ибо дело — мир. А назовете вы его «mundus» или «le monde», «l'Universe» или «Вселенная» — кому какое дело? Порнография есть каждый брак, который «если реально не свершился» — невеста плачет, родители ее плачут, все — стыдятся, все — такой брак проклинают. «Нет порнографии» — проклятие. Ждали ли этого лицемеры? Пусть поцелуют это мое слово. Если не поцелуют — их весь мир проклянет, а если поцелуют — признают весь языческий мир. Именно он должен был быть порнографичен, насколько был истинен, реален, зиждителен, астрологичен. Порнография древних религий есть свидетельство их истины и глубины, реализма и правды, как «окровавленная сорочка новобрачной» есть показатель того, что «все было как следует» и все гости пьют «здоровье молодой», одни ученые куксятся, краснеют и лезут под стол. Но их вообще и следует держать под столом, а «за стол сажать — только стол портить».

Стол — жизнь.

Господи, это — мир...

Едва я сказал, как какая-то радость облила сердце, и я не хочу продолжать темы, о которой начал.

Так вот: тайна 4-х лиц в человеке. Их кажется — больше. Но «шестикрылые» небесные существа древнего мира говорят только о четырех лицах этих херувимов, «закрывающих крыльями лица свои». «Закрытие, сокрытие» говорит особенно о *половом лице* в нас, о *родовом* лице, которое деятельностью своею идет в вечность, влечет нас в вечность... Вообще, *это именно лицо* есть главное, универсальное, в отличие от слишком *индивидуального лица головы*. Лицо половое есть космогоническое в нас, астрологическое в нас; тогда как лицо головы — по преимуществу есть историческое у нас лицо; с ним мы «сражаемся», «заключаем договоры», «присутствуем в салонах». Пожалуй, это главным образом «ученое лицо», отчего ученым менее всего удастся схватить религию, религиозное, сущность религиозного.

Но едва дело касается полового лица — как оно перестает громко говорить, речь его переходит в шепот, да и мы сами о нем шепчемся. Мне тоже бы следовало так говорить: но мне — только мне, последнему, необходимо прорваться, чтобы выговорить наконец слово, что по всем-то данным уже этих всемирных шепотов мы и узнаем в нем смиренное и прекрасное лицо религии, до такой степени различающееся и от лица «путешествующего» (Меркурий, ноги), и от лица технического (руки, кисть их), и от лица ученых. Тут выходит прямо гром: что такая потрясающая глубина древних религий, особенно же и преимущественно перед всеми — религии Египта, и заключалась в том именно, и произошла от того именно, что эти религии и преимущественно Египет соделали предметом специфического религиозного внимания специфическое религиозное в нас, в человеке, лицо — т. е. половое лицо. «Религиозно» обо всем можно думать, даже о торговле. Думали же подобным образом римляне, и придумали для себя «Марса», которому в сфере религии какое же место, кроме придачи небу какого-то медного, железного оттенка, стучающего мечами и щитами. Это — безумная неспособность римлян к религиозному. Далее, о религии можно думать песенно, живописно, музыкально, философски. Явно, однако, что все это «не что следует», все побочно и скользит мимо. Египтяне, и одни они в упор взяли самое религиозное, самое мистическое и магическое — ...вот «Озириса» и «Изиду». Прямо — в упор. Посмотрели «электрическим взглядом» в «электричество». Получилась чудовищная вспышка, «небеса загорелись», «земля загорелась», все пришло «в движение», объялось пламенем, пламенностью, живостью самого неизмеримого. Ихнее открытие для религии самой религиозной темы, даже собственно единственной религиозной, — еще гораздо сгущеннее, нежели было потом у евреев: у них (евреев) было обрезание, и, поэтому, собственно говоря, сюда же тянулось, как и у египтян. Но у египтян это было прямое, отчетливее, без затенений и иносказаний. Они первые

сознали, что собственно, единственно, религиозною темой может и должно служить половое в нас лицо, оно же сюда и возбуждает. Таким образом, здесь субъект и объект — одно, одно — певец и воспеваемое, гимн «о себе же», и, словом, что «Всякий умерший есть Озирис». Это необыкновенная мысль о человеке, какой вообще ни одному народу даже на ум не приходило, на самом деле есть коренная мысль всего Египта, и она до того одна исчерпывает все его религиозное мышление, — религиозное и вместе философское, — и вообще до такой степени в этой мысли содержится вся метафизика Египта, что можно бы, «произнеся ее», ничего не прибавлять, о чем и поставить точку. Это есть именно: «вкусите древа жизни и будете божи». Но Египет это исполнил. Кроме этого — в «Таинствах» он только это и исполнял. Таким образом, он не мысленно только, но бытийственно приобщился Древу жизни. И стал — в духе всей цивилизации — богом для себя.

«Но только по смерти для каждого...»

— Ах, я жажду умереть: потому что ведь тогда я стану Богом.

— И с Ра буду обтекать Небесный Свод...

Какие странные упования. Но мы предупреждаем будущие исследования. Пока для нас одно: вот эта фигура: где так явно опять начертано, что то Глаз-Голова-Ведение-Сознание, какое женщина предыдущего рисунка как бы преднамеренно (да и, конечно, преднамеренно!) со срезанною у себя головою (единственное такое представление, где голова и не заменена ничем, а ее просто — нет, шея упирается в потолок) — держит в руках против своей половой сферы — здесь этот Глаз-Голова-Ведение-Сознание замещает вообще всю голову. И никакой иероглиф не сказал бы зрителю отчетливее эту мысль жрецов, ту их мысль, на которой и воздвиглись все их «таинства», — что то, что европейцы в себе именуют «половым органом», т. е. каким-то «вспомоществованием», «орудием» для чего-то, — на самом деле и незримо есть не только «целая голова», но более того — голова как «Зрение-Мудрость и Ведение».

Еще об астрологии и астрологическом, о тенях, так сказать, астрологического: есть разница, действительная и реальная разница, феноменальная и ноуменальная разница, между тем, как «смотрит на звезды» гимназист VI класса, где начинается «проходиться космография», и девушка, которой «вчерашний день понравился юноша», и еще как смотрит на небо человек бессовестный и как смотрит на небо человек с совестью: потрясающая весть, что в Небе есть что-то нравственное, и потрясающая весть, что в небе есть что-то любовное, в конце концов — родильное, «материнское», «отцовское», но это — так. Небо — брюхато. И — со скрижалями. Звездными скрижалями, предостерегающими человека от беды, от обмана, от лукавого, за все это «наказывающее». И — брюхатое: манящее к любви и в роман. И когда скажешь это, вот я кончил: повалишься со страха на землю.

Теперь же, теперь-то объясняются все эти египетские рисунки, которые отнюдь есть не шалости, не воображеньице, не «украшение небес», а разгадка Небес: отчего они насовали в небо столько глаз и наполнили женщину

звездами. Это не парикмахер делал, а астролог, и не гимназист VI класса, «знающий расстояние Земли от Солнца», а Кант. Действительно, действительно, действительно. Действительно луна есть тайная девушка, «а в нее влюблены все юноши», и действительно солнышко есть чудлистый самец, есть бык, собственно бык быков, отец всех быков в мире, и без него не зародился бы ни один бык в мире, не было бы самой «бычачьей породы». Есть действительно незначительные «меркурии» — торговые; и есть «Отец всего на небесах»... Звезды — самцы и самки. Звезды — дышат. И по ним, «сообразно им», дышим и мы. Небо в самом деле не «куафюра», чтобы было «красиво посмотреть нам». Небо — оно действительно.

Действительно, действительно, действительно. Действует, действует, действует. *Regnum coelestum*.

Rex — Deus<sup>1</sup>.

Ах, астрология. Бросим же в небо скипетр. Бросим жезлы первосвященнические. Которые мы так гнусно ограбили оттуда, как воришки, разворовавшие свое же царство, обокравшие отца и мать и пропившие родительские вещи в гнусном кабаке.

Все — истинно.

Древность — полна.

.....

.....

Я хочу (и не умсю) сказать ту астрологическую вещь, что есть действительно какая-то связь между «формированием в нас семени» и приуготовлением матки к восприятию мужского семени — и между «состоянием неба» и сложением «космологии из звезд». Что в самом деле человек есть «маленький озирис», а Космос — чудовищный Озирис: отчего «заглядыванье в Небо» и есть сродная человеку вещь, есть родная ему вещь, проливающая в него трепет и «узнавание чего-то своего». Что «пол», «самец», «самка» и чудо груди — оно в небе и космогонично. Что есть в самом деле небесные груди, небесное молоко. Оно называется «светом», «эфиром», им мы «дышим» (ведь отчего дыхание у человека? Зачем же камни не дышат?), и что оно есть мудрость.

Небесная мудрость.

Есть небесное молоко. О, пейте его люди, человеки. И вы будете живы. Вовеки.

И есть небесная мудрость. Научайтесь ей. Без нее вы вечно останетесь детьми, учениками. А пора восходить в учителей. Нудит, нудит нас к этому наше время. Мещанское. Несчастное. О, как мы задыхаемся в Европе. Еще более, томительнее и скучнее, чем Греция и Рим.

В общем и всегда египтянки несколько не похожи на русских: но эти зимние лапти или валенки, русский явный платок на голове, широкие рукава «фонарем» (никогда у египтянок!!) и голые ниже локтя руки, и широкий

<sup>1</sup> Царство небесное. Царь — Бог (*лат.*).

русский нос, подбородок «яблочком» (я все очень точно срисовал), и лицо широкое, деревенское наше... когда я увидел все это в «Dizionario di mitologia egizio», извлеченное откуда-то со статьи под № 30, я не знал, куда деваться от изумления...

Откуда такой безумный атавизм?.. Или, так как не египтяне же нам подражали, — то откуда за много веков до Р. Х. и в жаркой Африке такое предчувствие русских и русского, «лепки» нашего лица, вплоть до рукавов и платка?..

Откуда сходство до «Матрены», когда она именовалась какою-нибудь «Нофер-ка-ра» и поклонялась солнцу?

Не понимаю и не понимаю. Но читатель сам видит чудо сходства, — действительного, а не мнимого.

Возвращаюсь к науке. И эта приблизительно Нофер-ка-ра несет в руках лицо Изида, и опять несет его так в отношении уровня своего тела, как и она свидетельствовалась своему жениху, невинною и чистою, и спрашивала о *его чистоте*, говоря, что ему придется иметь дело с Изидою, и он должен быть чист и невинен, как жрец, — и также должен часто омываться, и так же часто читать псалмы, молитвы и всякую религию.

## ВОЛШЕБНАЯ ТРОСТЬ

Взяв волшебную палочку, мы ведем по фигуре человека «по образу и подобию Божию» данной нам... Палочкой или даже просто перстом, но любящим и нежным... Провели по лбу — нет отзыва, по щеке — и опять без эха. По груди — и статуя стоит как мертвая. Но нежно мы коснулись живота: и статуя вдруг стала оживать. Пусть стоит она, однако, и дремлет. Мы пошли дальше: чудные видения ее посетили сквозь сон, лицо ее оживлено и непременно улыбается.

Но мы коснулись отчего лица: и человек встал весь полный силы. Глаза полны огня и страсти. Мы коснулись его силы, грации и живости. Теперь он будет жив. И, как где-то сказано, — «пойдет и не устанет, полетит и не утомится».

В начале же истории своей Египет коснулся мыслью отцовского лица; и своего, и мирового. Это видно по тысячам памятников, заливающих их храмы и «комнатки при могилах», из коих ни одно не донесено в так называемых «историях Египта» до зрителей и до читателей. Так что читатели и зрители совершенно лишены возможности узнать, что же такое был Египет и над чем он трудился 4000 лет. Но он трудился, заметно, с каким-то странным счастьем. Он видел прекрасные сны. И сны его одушевляли.

Он летел и не уставал. Четыре тысячи лет летел и не устал. Сады его странно расцвели. А сам он взял чудовищные камни и построил пирамиды «в вечную жизнь себе».

«Все легко теперь», — сказал он о непосильном ни для кого.

Ах, эти аписы.

Вот и я все беру карандаш и рисую «заднюю ногу жертвенного быка». И почему-то меня все завораживает вести линию паха его. Там, где египтянин тронул волшебною палочкою. Раз я вернулся домой, когда шли хлопья снега. Так как он пошел внезапно, то вдруг как-то запахло, засустилось на улице, все поспешили домой. Я был уже у крыльца и оглянулся с него в улицу. Подъезжала (к подъезду рядом) лошаденка. Извозчичья и рыжая. Я взглянул на нее, — равнодушно, как всегда. Она была бедная, очень усталая, и никакого вида не представляла. Скользнув по фигуре ее — я взглянул на пах. Здесь неприятно-рыжий цвет волос переходил в тот нежно-белесоватый, как бывает подрумяненная пенка на сливках. Я стоял «сюда», и поэтому это был правый пах. Она им медленно передвигала — знаете «как в беге». И вот это движение мускулов... ну, я не знаю, мускулов, кожи, чего — только я весь замер от красоты «молочно-розового». И не от цвета, который, впрочем, мне тоже нравился: но у нее вышла такая линия, сосущая душу, такой сгиб линии, «шар» (отсек шара) ее... что я внутренне закричал: «Погоди»...

Она лениво бежала, вся усталая. Но вот прошло 15 лет и я помню.

Не невозможно, что египтяне, — «особенно среди жертвоприношений», — так всмотрелись в животных, в их страдания и изгибы во время страданий... что бросили «шапку оземь» и влюбились в своих животных. Ведь мог же мне понравиться на 15 лет пах усталой лошади.

Рис. 60. ⇔

8 000 000 девушек брачного возраста остается ежегодно в Германии без замужества. Столько же — в Англии. В остальной Европе — столько же.

24 000 000 девушек «без судьбы». Пора вспоминать аписов.

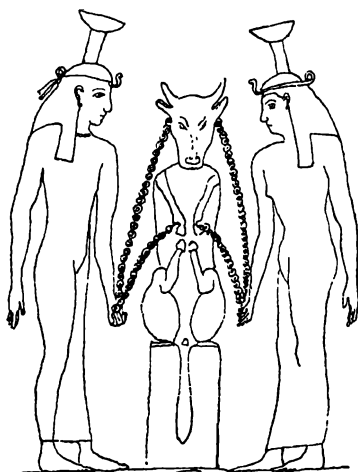
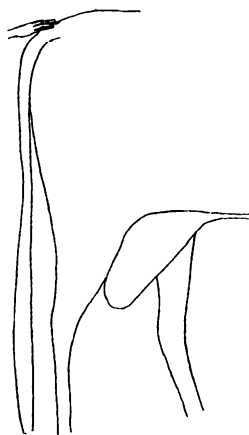


Рис. 58. Бык, приготовленный для жертвоприношения. Он и «украшен» и «связан».



Рис. 59. Часть жертвенного быка, «принятая небесами» (в окружении звезд).







*Рис. 61.*

Из «Une gue de Saqqarah». Рисунок быка худо сохранился на стене из серого песчаника. Но всеми усилиями как египтяне постарались сделать... не красивым, но человеческим лицо быка; и дали ему разумом смотрящий глаз!

Отчего им не могло понравиться «вечным нравлением» все это царство животных.

И они подняли его. И закричали. И пали.

В рисунках они везде животных представляют озаренными и очеловеченными. Художники и египтологи совершенно не всмотрелись, как именно египтяне рисовали животных. Не как мы, — «съедобными себе». Они их представляли как вечных. И спросить бы их отчетливо: «кому вы собственно хотите поставить пирамиду, фараону или быку», и они воскликнули бы: — Быку.



*Рис. 62.*

## О ПОКЛОНЕНИИ ПЛОДОРОДИЮ НИЛА

Поместив в своей «Hist. d'Orient» изображение этой статуи, находящейся в Британском музее, Масперо жалко подписывает под ним: «Эта статуя была посвящена в 880 г. до Р.Х. великим жрецом Фивского Аммона Шехон-ку, впоследствии roi d'Égypte: ce personnage est représenté derrière la jambe du dieu, le peau de panther sur le dos, et les deux bras levés en signe d'adoration. La statue est mutilée<sup>1</sup>; и далее объясняет, что часть носа и другие мелочи отбиты, но восстановлены. Однако же оставим Масперо и обратимся к делу.

Статуя изумительна в смысле и выражении, и в ней дышит весь Египет. На нее нужно очень долго смотреть; отложить — и опять смотреть; часы; и потом опять смотреть, повторяя несколько раз, много раз.

Вот он, с брюхом «в этом египетском стиле» — набитом пшеницей. В очертании живота, немного нависшего, но не грубо, а «намеком», — та неуловимая линия, которая тем больше волнует, чем более она — только намек. Но «все балы мира» не хочется взять за одно погляденье на этот живот и нежные, «душевные» бедра. В самом деле, всмотритесь: в лице нет души, в животе и бедрах — душа, нежная, пахучая, как нильский ил. И это передано в одной линии! — Но как она плывет!! «Мягкость берегов Нила» — в этих «оплывающих» очертаниях ног, почти женских. Статуя разнеживает душу и делает ее ко всему готовую, ко всему склонную. Душа дремлет, не видит, не знает — «где добро и зло». Ах, Нил смыл все границы. Он — в разливе, парной и теплый, и это — миг, когда он под брюхом оплодотворяет илистую землю.

Двумя крайними точками, верхнюю и особенно нижнюю, он крепко опирается на твердую подставку, которая и держит его массивное тело, так что на ступни нежных женственных ног ему не надо твердо опираться. «Нил слаб в ногах», это очевидно; ведь он вечно лежит или течет. И, не опираясь на ноги, он весь «лениво распустился» во вспухших берегах. Ноги его, во всяком случае, не сжаты: а, главное, они, при упоре спиной, поставлены косо и вперед, и в этом-то упоре спины и отлогой постановке ног и заключен весь смысл статуи: «для чего ей быть», «для чего она поставлена жрецом». О, он умел объяснить художнику, «как и что сделать». В самом деле, при



Рис. 63.

<sup>1</sup> царю Египта: эта особа изображена сзади ног божества со шкурою пантеры на плечах, а две руки подняты в знак поклонения. Статуя повреждена (*фр.*).

таковом положении ног — все нильское «плодородие», человекообразно выраженное, отвисло книзу. Попробуйте, станьте так — и вы почувствуете. Оно — прямо перед взором жреца, будущего фараона. Вот отчего не «перед лицом Нила», не спереди статуи, а странным образом сзади ее встал строитель-жрец, подняв руки в молитву. Каким образом этой-то главной мысли всей сцены, всего изображения, всего «кусочка религии» не замечают сухие, «с высохшими берегами», зрители и ученые Европы — я не знаю. Ведь это — так явно. Так явственно необычно положение молящегося человека перед лицом умоляемого бога. «Стать позади, за спиной бога, — и немного ниже спины?!!» Всякий европеец закричит: «Что??? Как!!!» Но умолкнем и отойдем в сторону. Пусть перед нами шуршат старые строки Библии: «Исход», глава XXXIII, стих 18—23:

«И сказал Моисей: «Покажи мне славу Твою».

И сказал Господь Моисею: Я проведу перед тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы перед тобою; и кого помиловать — помилую, кого пожалеть — пожалею.

И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть; потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых.

И сказал Господь: вот место у Меня: стань на этой скале.

Когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расщелине скалы, и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду.

И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо».

Здесь я даю в удвоении эту великую статую. И — параллельно: к таинственной и волнующей плывучести ее подходит тоже чарующая плывучесть этого «лежащего Озириса». Смотрите: вы увидите одну мысль.

## У РАЗВАЛИН ВЕЛИКОЙ СТЕНЫ

Всякая история Востока, т. е. семито-хамитических племен, поскольку она не начинается с обрезания, не может быть названа *подлинною*, т. е. *сообразною подлежащему предмету обследования*. Она будет рядом придаточных предложений, которым недостает главного, и потому сколь бы они блестящи ни были, сколь бы ни были остроумны, изящны и усыпаны какими бы то ни было сведениями, не могут ответить даже на вопрос: «что они такое» и «для чего?» Страницы, главы и, наконец, томы — все будет прекрасное новое платье, принесенное «господину своему», но которое «господин» не надевает. Этот «господин» — сам народ, хамиты, семиты. «Не обрезанной» истории своей они на себя не наденут, не возьмут, не воспользуются. И это будет история только для европейцев, — удовлетворяющая европейские вкусы, удовлетворяющая европейские ожидания, и «всю

систему понятий и представлений» европейца о мире и о людях, но которая совершенно «не подходит», не «одевается» на тот народ, о котором она написана.

Она будет до некоторой степени иметь сюжет воображаемый, — т. е. будет одним из бесчисленных европейских воображений, лишь краевым и незначительным образом соприкасающимся с семитами и хамитами. До известной степени — она будет обидою им, обидою и в небесном, и в земном смысле. Они скажут с тоскою, и скажут земле и небу: «Что же историк описывает наш климат, показывает и исчисляет, какие города мы построили, какие у нас были улицы, устройство домов: *но об нас самих* ничего не говорит, и нами не интересуется, и не знает нас. А между тем мы приходили на землю для чего-то, мы твердо на ней стояли и думали, что для чего-то живем. Он думает, что мы пришли для того, чтобы шить себе такие-то одежды, нарисовать такие-то картины и вообще «искусство», поиграть на инструментах. и произнести известные слова. Между тем все это было у нас «по дороге», но «в путь» с небес на землю мы пришли не для этого: не для картин и чтобы поиграть. Мы верили, думали и знали, что за гробом увидим своего Отца Небесного, если обрежемся, а если не обрежемся, то и не увидим<sup>1</sup>. И посему в обрезание положили всю мысль свою и душу».

Ни один народ не живет пусто. Семиты и хамиты и будут оскорблены такую историю (вернее — не обратят на нее внимания), потому что увидят себя в такой истории опустошенными; «в платье» и без «души». Историк не совпадет с самосознанием о себе этих народов; как бы говоря об европейских народах, азиатский их историк опустил понятия «славы», «чести», опустил в них сторону «благородства».

Это-то хамито-семитическое самосознание было выражено кратко и просто, вместе и бесконечно, — в обрезании. Ни один из этих народов не носил полового органа без огромного самосознания о нем, вернее — без огромного внутреннего чувства и даже какого-то мистического страха перед ним. Все прочее — торговля, промыслы — он делал «от себя», но половой орган как бы «от себя» все делал и заставлял носителя своего следовать себе и исполнять то, что он хочет. Так. обр., «лично каждый хамит и семит считал себя страшно ограниченным своим органом, связанным, повинующимся. Ведь это так и есть на самом деле, даже у европейцев, которые этого только не замечают. И вот европеец-то (историк) и должен был бы начинать все с вопроса: «Что же отсюда вытекло?»

---

<sup>1</sup> У евреев, если младенец родился мертвым, — а значит в утробе матери уже имел душу, — то над ним, т. е. над мертворожденным его трупиком, все-таки со всеми церемониями и молитвами совершается обрезание: по всрованию синагоги, великих учителей ее, а также всего народа и родителей младенца, что «в противном случае он не увидит Отца Небесного», т. е. «загробной жизни» не наследует, если не обрезан. И следовательно, обрезание = земной и небесной жизни, вхлестывает ее в себя, вбирает, съедает и ею существует и живет.

Он получил бы точку, «откуда начинается главное» (история). Это и есть «главное предложение», с которого начинается «строй речи», — которое всю речь одушевляет, увивает мудростью, есть ее «пар» и ее «руль». Вот отчего если в «предметном указателе» из какой-либо истории не содержится слово «обрезание», то такую историю можно пользоваться для хронологии, для рассматривания картинок, для знакомства с фауной и флорой страны, но не ищите там «египтян», «евреев» и «вавилонян». Там будут попадаться только имена «Асеурбанипал», «Набухудароскор», но возле них будет веять дух и стиль Парижа или Лондона.

Применяя еврейский термин, но применяя со всей строгостью и требовательностью, и лишь перенося его на понятия и категории науки, все подобные истории (не с «обрезания» начинающиеся) следует признать трэфными; т. е. «негодными», «не отвечающими делу...», как бы при этом они ни были построены стройно и великолепно. Но в них есть «нечто поганое по существу», как во всяком (вольном или невольном) обмане, выставке без содержания, магазине без товара и друзьях без дружбы. Они представляют собою кажущееся обилие, кажущуюся науку; они будут, с европейской точки зрения, историей дипломатики, политики, торговли; но даже и это все получит в себе некоторый ложный привкус. «Торговали, да не так». В самой торговле, напр., характерный вексель (изобретение финикийян) не приходил на ум ни грекам, ни римлянам; а Московская Русь, вероятно, до естественного конца своей истории не начала бы векселя и не додумалась никогда до векселя. Эта деятельность «вперед факта», это средство покупки без денег, уплаты тоже без денег — есть характерная черта народа необыкновенной живости: и тут дышит обрезание. «Ты повернулся десять раз: в это время я повернулся уже сто раз», — говорит обрезанный финикийнин только болтливому, но отнюдь не живому галлу.

Конечно, к этим «своим излаганиям» европеец может прибавить много своей европейской мудрости, и вообще влить много блеска и остроумия. Но «не тем» будет пахнуть история. Ни «запах египетского», ни запаха «хананского» или «халдейского» здесь не будет. Ну возьмем частность, и даже мелкую. Например, любовь. «Кто же не любил?» Но ни у Андромахи, ни у Ярославны, ни у Дамайнти, ни у Порции или Мессалины любовь не выразилась и никогда не могла выразиться, как у Суламифи. Любовь тесно чувственная, узко половая: но выраженная с такой глубиной поэзии, что когда лежит в наших храмах — не оскорбляет их высоты. Как «лежащие в мире совокупления нисколько мира не оскорбляют».

Конечно. Что касается обрезания, то оно есть малое и большое. Малое очень обыкновенно и, кажется, встречается у кафров или готтентотов. Это есть этнографическая привычка, или занесенная от хамитов Африки, или появившаяся случайно и оказавшаяся полезною и потому удержанная. Как таковая, она вообще ничего не значит, и можно и нужно сказать, что эти народы «не обрезаются», хотя они и обрезаются. С ним не имеет ничего общего большое обрезание хамитов и семитов как священный акт союза или завета с

Богом. Сравнивая или, вернее, «в последний раз разделяя» эти два обрезания, мы можем сказать, что «сколько ни купайся — крещения не выйдет». Это — совсем другое дело, хотя по наружности одно. Мы «крестимся во Иисуса Христа», а они «обрезаются во Иегову»... Песнь Песней, можно сказать, поется два раза: всю-то жизнь, по субботам, евреи ее для себя поют. Но один раз, и именно во время обрезания, она поется над евреем. Тут час собирается в секунду: «чирк ножа», кровь брызнула, что-то обнажилось, и младенец как бы берется на руки «Отца Небесного» и с тех пор на землю никогда не спускается, но и лежит «на руках Божиих», которые его несут до могилы и после могилы прямо берут к себе. Это — вера евреев; подобная или приблизительно подобная, связанная с «таинствами» (Геродот) была и у египтян. И у финикийян, и у халдеев, или, по крайней мере, в высшем «мудром» классе их — было приблизительно то же. И эту «песнь песней» невидимо для людей уже произносил Иегова: с этой-то секунды и начиналась такая особенная связь, крепкая-крепкая между Иеговою и евреем. Простое следствие и развитие обрезания — пророчества. И законы Моисея — «только для обрезанных». Какие же тут «кафры и готтентоты», которые «и в Бога не веруют».

Евреи же «пьют живую воду» из своего обрезания. И сия вода не иссякает и не иссякла до сих пор (4000 лет). Обрезанием они богаты. Обрезание действительно привело потоки золота им. От обрезания они «сто раз повернутся», когда другой повертывается 10 раз. Как мы «кротки» через крещение, «любим Бога» через крещение, «пойдем в будущую жизнь» через крещение.

\* \* \*

Я был очень удачен или, вернее, «Отрок Онуфрий» (Благодетельствующий) принес мне пользу, внушив нашему известному ученому, Ник. Петр. Лихачеву, прийти ко мне касательно обрезания — на помощь. Прочитав, в первых числах ноября месяца, мою статью в газете о Египте и сейчас поняв из нее, что я хочу говорить и буду говорить об Озирисе в смысле «Сотворения миров», — он мне выразил готовность прийти на помощь указаниями, знаниями и книгами. «Дабы вас не обвинили, что вы ломитесь в открытую дверь». Я посетил его немедленно, и в большом двухэтажном доме, в коем весь нижний этаж занят библиотекою — самыми разнообразными сокровищами по всем отраслям истории, письменности (у него мелькнуло в разговоре замечательное объяснение себя: «Цель моей жизни — установить документальную связь исторических событий», — откуда и вытек всю жизнь собиравшийся им в Европе, Азии и Африке музей «вещественных доказательств») и фактов в камне, глине и известняке. Из библиотеки он немедленно достал книгу, изданную в Голландии, в Амстердаме, одним ученым и вместе богатым человеком, который на свои средства раскопал одну улицу возле пирамиды Саккара, — и рисунки в домах и в могилах этой улицы — издал. В этой-то драгоценной и исключительной книге находится единственное изображение самого производства у египтян обрезания. А из другого

рисунка, там же, где нагие египтяне производят разные работы, видно, что некоторые взрослые люди — не обрезаны. Откуда следует, что обрезание у них было, но не всеобщее народное, а (как я думаю) — лишь «для посвященных в египетские таинства». Думаю это на основании условия, поставленного Геродоту египетскими жрецами: «Таинства нашей религии ты можешь увидеть не иначе, как предварительно обрезавшись». Возможно, что это несколько простиралось и шире, т. е. что обрезывались и знатные египтяне, из касты воинов. Как бы то ни было, оно было ученою и аристократическою, «мудрою» и «религиозною» привилегиею, и не сообщалось простецам. «Простецы» множатся, а как и почему — не знают. Обрезание было, так сказать, «первым уроком», на котором «посвящаемый» вводился во внимание к своему половому органу. Он начинал «слушать»: а в таинствах, без сомнения, «открывалось» делом или словом, или и делом и словом, сущность и значение пола в человеке, у животных, в космогонии. Но уже по самому месту приложения «условия для вступления в таинства» совершенно непререкаемо видно, что «таинства» были «половыми таинствами», которых видеть и знать народ не мог и не должен был.

Продолжая беседу на эту тему и около этой темы, Н. П. Лихачев показал мне интереснейшее исследование, написанное его другом и учеником, начинающим ученым В. К. Шилейко: «Вотивные (посвятительные) надписи Шумерийских правителей. Клинописные тексты памятников южной Месопотамии собрания Н. П. Лихачева. С приложением семи фототипических таблиц. Петроград, 1915». Об них, которые он все показал мне в своем собрании (среди большого числа других египетских древностей), он пояснил следующее: правитель, построив в благодарность за какой-нибудь успех храм богу своему, писал на каменном изображении бычачьего полового органа гимн или благодарность богу; и этот-то половой орган быка закладывался в основание храма, так что храм собственно воздвигался на половом органе быка, с этою посвятительною надписью. Ни о чем подобном я никогда не слыхал и мне не приходилось нигде читать: мне никогда не думалось, чтобы половой орган, уважительный и почитаемый на всем Востоке (это я знал) — поднимался на такую исключительную высоту самого жертвенника или алтаря, и мог нести на себе посвятительные письмена, в своем роде, да и прямо — посвятительную молитву. Снова, как и при начале занятий Египтом, в 1897 году, я увидел (и сотрясся) такое выражение этой стороны дела, какое и на ум европейцу никогда не может прийти! «Вот они на чем писали свои молитвенники». Но почему бык? Почему хоть не человек? И у шумерийцев не было поклонения Аписам? Загадка не разгаданная, тьма бездонная. Однако совершенно очевидно, что от границ Индии до границ Сахары, без имени «Аписа» («Что в имени тебе моем?») — равно бычачий половой орган вкушал и гимны, и молитвы; и, как у шумерийцев, — «на нем все строилось». Почему? Как? За что? Но слова архимандрита Хрисанфа в «Религиях древнего мира» о служении всех народов древности «богам производительной силы», «натуралистическим силам природы», получали яркое выражение и падали в срединную точ-

ку: не «натуралистическим силам» вообще, не озону, кислороду и радио, не золоту и бриллианту, а они поклонялись все «производителю на завтра новой органической жизни», — производителю телушки или нового еще бычка:

— Родил — и бог.

— Ибо Ты — отец!

## ЧТО ТАКОЕ ОБРЕЗАНИЕ

Это «вся любовь Бога к человеку», выраженная в «чирке» ножа, обнажающего головку члена младенца и обгаряемого его кровью.

Его «во веки» и «вечно».

Как зуб входит в плоть: это — нож. «Туда», «сюда». Всегда два движения.

В тот час Бог израилев вкушает младенца, как он будет потом всю жизнь вкушать Бога.

Обоюдность. Два. Завет-связь.

Сперва Бог питается человеком, и потом человек Богом. Теснее где связь? «Почему вещи питаются»? Не «почему одна ест другую»: это — понятно — жадность. Но почему «та вещь выходит, и как-то усваивается», гармонирует, приходится «как раз» и приносит здоровье и жизнь, — «продолжение жизни», приносит «завтра» после «вчера», вместо того чтобы остановиться на «вчера» и прекратиться.

Ах, всякое «питание» есть «воскресение», как «завтра» есть рождение из «вчера». Так значит время «рождается», а не «ест»? Оно не течет, а пульсирует? У времени есть пульс? Не чудеса ли? Но приходится им верить.

И «еда» возрождается в желудке к «новой жизни». Была «хлебом», а стала «человском». Хлеб «не умер», а стал «хлебом» же, но уже через который просвечивает «душа человеческая», а не душа растительная.

Так в «обрезании» сокрыта та мистерия, что «через человеческое просвечивает божеское».

Вот почему существует: 1) сперва питаемость, 2) потом обрезание и 3) напоследок «связь человека с Богом», религия. Все вместе кругооборот — Божеское.

Поэтому: «Не помолясь — не вкушай».

## ОБРЕЗАНИЕ

Не из Солнца...

Не из Луны...

Не из звезд...

Не из цветов...

Не из пахучести

вышло обрезание.



## ИЗ ОБРЕЗАНИЯ

взошло Солнце,  
показалась Луна,  
рассыпались звезды,  
и все стало пахуче,  
ароматисто,  
прекрасно,  
мудро,  
вожделенно,  
желаемо.

Пошел бык к корове

и

человек к деве.

(Потом пришел Павел и раздавил обрезание, как вошь.)

<Афродита>

## Выпуск V Как возникли колоссы египетские

Откуда возникли колоссы египетские?.. Это — постоянное *преувеличение человека*... От постоянного внимания к родительству всякого «я». Они и оне хотели, чтобы уже подходя к своим храмам — видели прямо перед собою родительство своих богов и богинь. Вот как на изображении этого храма (рис. 64), где видна пропорция стоящих человечков — в отношении величины и роста и вида самих

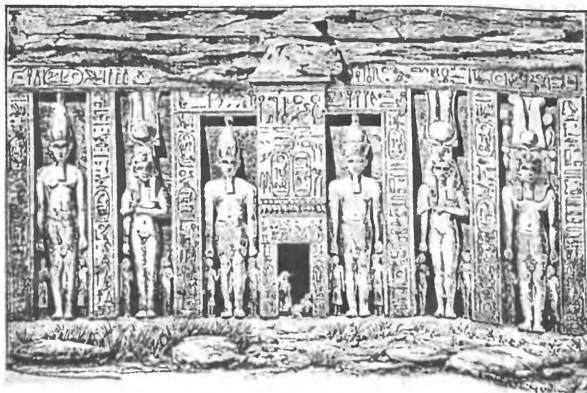


Рис. 64.



Рис. 65.

богов (статуи их при входе). Устроено (жрецами) так, что глаза входящего — и то лишь несколько поднявшись — прямо падают на родительскую сферу изображений. Как вот у этого сфинкса, который «совсем по-католически» (видал! видал!) сложил в молитву руки свои. И чтобы сказать: «Аз есмь, потому что ты еси», «мы (входящие) есьмы, потому что вы — есте».

Суть и столб Египта. Он весь и все 4000 лет истории разрабатывал, утверждал и осмысливал: «Почему я — есмь».

Все дохристианское было заморожено этим созерцанием мысли, — заморожено, объединено и покорено. Совершенно так же, в той же степени и уровне, как у нас душа, мысль и воображение как бы заставлены везде крестами, символами нашего другого, духовного, спасения. Египтяне и другие древние народы Востока также не могли шелохнуться и дохнуть без этих представлений. «Были родители — вот отчего я есмь».

И вот, возле храмов, уже у самых человеческих колоссов эта прелестная улыбка (смотри правую крайнюю фигуру на рис. 66), столь чистая и столь

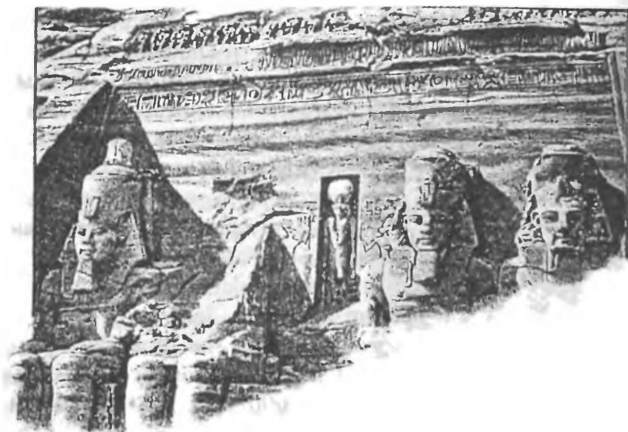


Рис. 66.



Рис. 67.

язык «История религий древнего мира», — вне всяких сравнений с существующими переводными «историями»), приступая к изъяснению египетской религии и начиная ее характеристику народа, высказал следующее: «Это был один из самых серьезных и глубокомысленных народов древности, отличавшийся сосредоточенностью и меланхолическою настроенностью (?)»... «По словам Геродота, — египтяне были благочестивейшим и религиознейшим народом древнего мира. Из Египта сами греки изводили свои древние предания, и не напрасно он издавна признавался страной глубокой древности»... «В новом христианском мире Египет был отечеством высшего созерцательного Богословия и созерцательной жизни. Здесь положено начало для христианской философии. Из Александрийской школы, древнейшей в истории христианского богословия, вышли первые знаменитые отцы и учителя церкви с созерцательно-философским направлением»... К этим словам хочется прибавить одно замечание Бругша, сделанное в истинно египетском духе, в истинно египетском стиле: «Египтяне были народ весьма *молчаливый*» (это-то, без сомнения, и дало повод арх. Хрисанфу назвать их «меланхолическими»); «однако, тот ошибся бы, кто бы подумал, что как они были мало разговорчивы — то значит, что они были и угрюмы; напротив, под молчаливою корою — они были внутренне очень жизнерадостны и оживлены» (цитирую на память и приблизительно). Замечание — глубочайшего смысла, вводящее нас в самую душу египтянина. Действительно, разговаривая — мы выдыхаемся и слабеем. Сил меньше, энергии с каждым словом, с каждою речью — меньше. Египтяне (4000 лет опыта!) подметили это соотношение и — «взяли себя в молчание», чтобы сберечь силу и радость души. Этот-то относительный и прекрасный «обет молчаливости» и создал их стиль

невинная. Есть тайна, о которой мир не догадывается, что в родительстве и всем до него физиологически-относящемся сокрыто нечто, чего коснувшись мы юнеем, освежаемся, очищаемся и уходим от уныния в какую-то «теперь»-радость, — чистую и невинную... Хочется сказать: чистейшую и невиннейшую!! Сил прибывает, крепости прибывает, терпения на все прибывает: и только все становится юным-юным, будто обрызганным утреннею росой. Не такова ли пора наставшей любви? А вместе с тем ум вырос, поседел. Сказано: «крепкий?» И от Крепкого — все крепится, душа крепится. Но только все — счастливо и юно.

Архимандрит Хрисанф (решительное, — лучшая до сих пор на русском

силы, ясности души и тайного восторга в сердце. И они запели песни и гимны... И гимнам (молитвам, псалмам) их не было конца. А разговаривали они мало. И посмотрите это лицо (рис. 67): как сжаты губы! какая энергия, воля, могущество? Видали ли вы хоть одно такое лицо на статуях греков и римлян?! И вот — другое лицо (рис. 68): оно нежнее, юнее и — замечательно невинно. Но подбородок сложен по тому же типу, как и в предыдущем, с этим же неодолимым: «Я хочу»: тоже — и третье (рис. 69). От крепкого все крепко, от рыхлого — все рыхло. Но идея «родительства» включает в себя, — как самую сущность себя, — *крепость и благоустройство*. Ни арх. Хрисанф, ни все решительно историки Египта, не умели связать принципов *пола*, которые они решительно не понимали (другая эра, другое время) с величием, силою и красотой Египта, которые им не могли не кидаться в глаза. Этот пол им казался разрушительным, анархическим (он и есть таков *в наше время*, полуразрушенный сам), — между тем как, напротив, именно оттого, что он есть отчее начало мира, т. е. какое-то *верховенское, старшее всего* — он строит все «от фундамента» и достраивает до конца и «купола»... В «куполе» же и «куполообразном» он странным образом, и уже зримо, выражается сам. «Вот отец всех вещей» как и это «куполообразное небо» над нами. Тоже странная аналогия, тоже из загадок мира. Так он (пол) строит генерации, из них — племена, из племен — историю. От неба до истории — везде мерцает его сущность и вид. Нам это непонятно, мы об этом не думаем. Другая эра, иные века. Но кто «открыл» это и впервые в истории заметил — возлюбил «куполообразную» и «остроконеч-

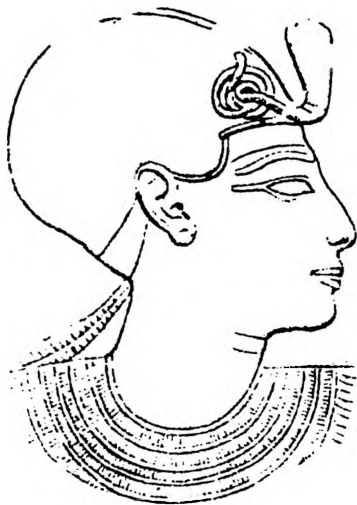


Рис. 68.



Рис. 69.

То же выражение энергии и непоколебимости.

ную» (смотри конус в финикийском храме, стр. 55) паче всего, всему этот вид придавая, и как бы из самого зрелища черпая энергию и силу. Это — умершая тайна древности и Востока. И вот смотрите этот второй сфинкс. Он уже совершенно иной, чем предыдущий: не он «молит», на него «молятся». Голова его увенчана солнцем, — всегдашний у египтян знак божеских связей, божеского происхождения. И под «лицом-мордой» священного барана, как под защитою — изображение покойника, или (как я долго принимал) — «сам покойник». Во всяком случае — «ему тут лучше покоиться», «тут покойно»: вот мысль Египта. Да почему? Тот — светский сфинкс, этот, по египетскому воззрению, божеский сфинкс: он — фетиш, египетская «икона», поклоняемое.

Но почему? Взгляните на оперение. Во-первых, странно; баран — в шерсти. У него шерсть «барашками». Почему же этот баран и не «в шерсти» и не «в барашках»? Мы вообще ничего не замечаем,

думая, что это «странность» и «своеобразие» Египта. «Каприз воображения художника». Между тем ничего подобного нет. Взор зрителя не особенно поражен, думая, что это «оперение»: но жрецы, которые указали художнику, как ему сделать «барана», приказали ему под видом «оперения» взять уже, во всяком случае, не перо с *тела* птицы, а перо из *крыла*, но опустив все странные перья *книзу*. Какое же это «крыло», — это одеяние барана. Никаких намеков на очертание «крыла» нет, — да и тогда перья были бы обращены острыми краями назад. Указав сделать «перья», жрецы просто показали художнику палец, или вот подобный этому небольшой фетиш, но без бюста (рис...) сказав: «так»; «сделай — подобным образом». Только фетиш этот — небольшой, а на теле барана каждое перо длиною с голову приставленного к нему человека. Форма фетиша и форма каждого пера, как вы видите, совершенно одинакова; а не скрытое в фетише обрезание — показывает смысл всего. Священный баран весь одет в рясы органов родительства у человека, и отсюда — и «солнце на голове», и «покойник — прижатый к груди его», и самое поклонение — ему. «Мы, в Египте везде кланяемся Единому Отчеству», — где бы оно ни проявилось, у кого бы ни было оно. И посмотрите, далее: невозможно удержаться от мысли, что (см. рис. 71), кренко спеленывая своих покойников («мумия»), сжимая тесно ноги ему, они ему преднамеренно придавали, с одной стороны, вид спеленанного ребеночка, — как он «вышел из утробы своей матери» и как в младенчестве мы его пеленаем; а с другой стороны — при-



Рис. 70.

У Масперо наивно или притворно написано: «Une servante avec buste grec». По я не знаю, в какую историческую эпоху у служанок подола окаичивались обрезанием. Фетиш этот бронзовый и хранится в Британском музее.

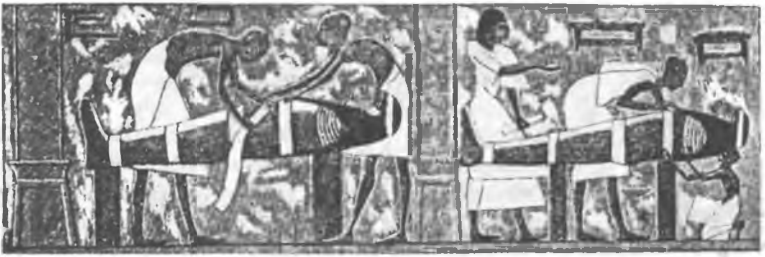


Рис. 71.

Египтяне, спеленывающие покойника в «ребеночка»-мумию.



Рис. 72.

Египетская спеленанная мумия со спины.

давали и вид этого бараньего «оперения», почти с обрезанием. Взглянув, мы в самом деле замечаем, что египтяне усиливались придать своим покойникам форму этого вавилонского фетиша. Тогда мы припоминаем мысль и догмат египтян: «Всякий человек, по смерти своей, становится Озирисом», или, что то же: «человек умирает — остается жив только его озирис» (воспроизводительный орган). Тогда мы вдруг догадываемся, что именно вид «озириса» как «органа оплодотворения» они придавали покойникам. Но тут наша мысль и почти испуг идет далее: став перед зеркалом, вытянув руки по бокам и, еще лучше, скрестив их на груди, дабы бок был глаже: — а главное — именно сжав ноги, — мы откроем, что действительно «вся фигура человеческая» как будто скомпонована «наподобие его органа размножения». «Весь человек» есть «как будто его озирис». Свинья — нет, бегемот — нет, а человек — да. Подойдите, подойдите к зеркалу, — взгляните! Сожмите ноги, опустите руки или сплетите их около груди! Спеленайте себя «в ребеночка»! Сходство, подобие, близость — есть! И, взглянув еще на следующую, бронзовую статуэтку Бри-



Рис. 73.



Britan. Mus. Bronze figure of a god holding a cone on which is a short inscription of Gudea, vice-roi of Lagash Tuble-Cose C, N 20.

танского Музея (рис. 73), как не убедиться, что на Востоке мерцала эта мысль, что о ней перешептывались: тут лысый вавилонянин, со сжатыми руками, как будто стоит перед зеркалом и дивится, на что он походит! Что это тот же фетиш, как на рис. 70, об этом не может быть сомнения, только он тут повернут «обрезанием» вверх, — и для сходства обрил голову, как ее брили и египетские жрецы. Как вот и в следующем (рис. 74), где старик изумленно держит его в руках, — изумленно и испуганно. Да и есть чему испугаться. И как там он обрился для изумляющего сходства, так здесь он невероятно увеличил свою «часть» для того же, чтобы изумиться и испугаться и воскликнуть: «Ничего не понимаю», — «почему?!!» Линии, контуры, утолщения, утончения, — эта моя «голова на плечах», утончение в шее, раздавшаяся грудь, сжатость в ногах... Да, «я сам и весь» так похожу на «свою часть».

Как и множество, множество космологических предметов, — корень корнеплодных (редька, морковь, свекла), — как расширенный, раздавшийся корень других корнеплодов (репа), — как множество плодов, и т. д., и т. д., действительно странным образом походит то на мужской орган производительности, то на женский орган производительности. «Это лицо уже везде мерцает в природе раньше человека: но лишь когда произошел человек — стало ясно, к чему все клонилось!»

Куда девать истину, если она — правда? Родительство — и именно родительство у человека, — пол именно в человеческом сложении его, — есть нечто, действительно мерцающее сквозь туман природы, сквозь призраки и формы природы. И вот объясняющаяся нам строка из Геродота, книга II, глава 106:

«Большинства тех столбов, которые в разных странах водрузил царь Сезострис, очевидно нет более; но в Палестинской Сирии я сам видел столбы с такою надписью, как сказано выше, и с изваянием на них женских половых органов».

То, что для нас кажется изображением или позорящим, или постыдным, царь воздвигал в далеких походах — как выражение глубокой своей мысли и мышления своей земли, Египта.

Она была понятна и Востоку. «Столбы» Сезостриса, вероятно, походили на следующий столб, — на котором воздвигнут только мужской фетиш: это — из вавилонских древностей. Перед ним стоит царь. Впрочем, в двух столбах впереди, которые я сейчас лишь замечаю, т. е. сейчас лишь



Рис. 75.

сосредоточиваю на них внимание, не увидать ли уже *точных* «сезострисовых столбов», с женскими рождающими частями? Не знаю. Но «мужской фетиш» совершенно повторяет «оперение священного барана», — стоит лишь повернуть фетиш вниз. И тогда мы поймем, что египтяне в том же объеме и смысле «поклонялись барану», как вавилонский царь — этому фетишу.

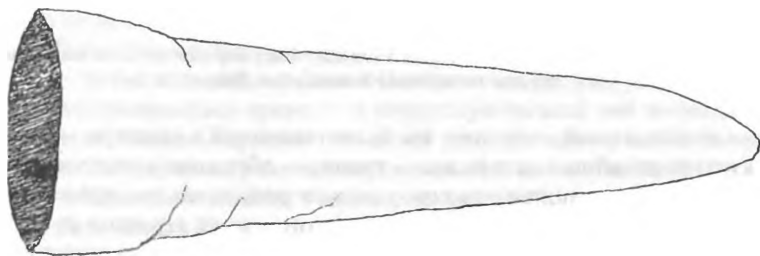


Рис. 76.

Тот же фетиш у египтян. Взят из Росселотини: «Экспедиция в Египет по поручению и на средства итальянского правительства». Там он поставлен вертикально. Однако явно, что он всегда должен быть изображен горизонтально, сообразно его положению в животном, быке, лосе, олене, собаке и т. д. Это, в отличие от антропоморфической, — космологическая и потому гораздо более на Востоке распространенная форма живой воспроизводительности.



# Выпуск VI

## «В РО́ДЫ И РО́ДЫ» ВОСТОКА

На этот раз сын Лавана уже не говорит Ревекке: «О, сестра наша! — да родятся от тебя тьмы тем потомства!!» — Он сам молодожен: и приносит памяти отца своего,

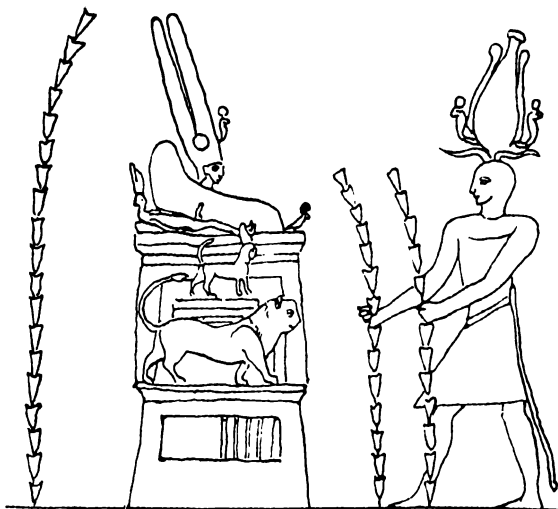


Рис. 77.

Барсельф храма в Фивах. Рисунок взят из 2-го тома, табл. 18, трудов экспедиции Бонапарта в Египет.

— этой головной статуэтке, как бы вставленной в пышную мягкую подушку на высочайшем катафалке — троне, — обещание «извести тьмы тем внуков» из себя, — пойти самому «в роды и роды»: как это представлено в двух длинных нитях «цветок из цветка», которые он держит в руках и где жизнь вытягивается в бесконечность будущего. В основании подушки и рядом с нею, «уж давно в гробу», — его дед, отец Лавана. От чего-то — они двое. Он «†», но его семя — живет на земле. И продолжающаяся жизнь семени, не имеющая никогда умереть, выражена как выражена, и это всякий может видеть. Позади трона, «в истории», — заднее, старое, древнее «в роды и роды», символизированное теми же «цветочек из цветочка». И хотя это все было в Халдее, но там они повторили то, что было в Египте: на рисунке в Фиванском храме представлено, как юный «молодожен»-фараон клянется предкам не сойти в землю не оставив после себя нового «в роды и роды»...

## ИЗ БЫТА ЕГИПТЯН

Муж, жена <рисунок>

Фалл старика <рисунок>

Ну, вот, — египетские молодожены. Он совсем молоденький, со скипетром власти; она — постарше его и уже кормившая детей, на что указывает форма ее груди. Так что-то в природе устроено, что в 27 лет мужчина женится на 22-летней, но в 17 лет проходит недлинная полоса, когда юноша влюбляется в 30-летнюю, и всегда не девушку. И когда этому звездному предрасположению не делают препятствий на земле — любят и милуются. На рисунке она дала ему скипетр власти над собою и, вся умиленная, послала идти вперед себя; сама же несет только скипетр с цветком. Она уже детная и пережила первые розы. Поздние историки это записали в том поверхностном смысле, что «дочери даже первых вельмож и жрецов в Египте предавались священной проституции» («la sainte prostitution» у Масперо), — чего на самом деле, конечно, никогда не было, потому что проститутку с ее нравами, душой и телом никто бы не взял в дом, в жену и хозяйку. Но юные аристократки, как и простолюдинки, действительно любили, действительно плодились, — и цвет расцветал и отцветал, когда ему наступало время цвести и когда ему приходило другое время — опадать с древа жизни. Тогда, при успокоенных водах жизни, спустившихся до берегов обычной и долгой жизни с одним, дочь давала родителям понять, что настало время брака ее. Историки древние и новые ученые записали об этом, — и эта вторая половина их записи разрушает первую: «Однако эта проституция не клала на молодую женщину нарекания и люди из первых семейств, как и сыновья жрецов, брали охотно их за себя замуж». «Брали» потому, явно, раз плодородие чувствовалось и было священо в древности, — и это известно всем историкам и ученым, — то как же и почему было избегать женщину уже усвященнившуюся в приподнимавшемся чреве, — и возросшую во всей той интимности и «новой душе», какую открывает в бывшей девушке одно и исключительно материнство? Грудь ее на рисунке показывает, что она кормила. В психологическом, в бытовом и «во всем очерке себя» она пополнила, возросла, упышилась, — как всегда 30-летняя «мать семьи» многозначительнее, важнее, часто почти юнее своих девушек-дочерей. И юноши — кидались, искали, молили именно в силу и на почве непорочности своей. Никогда развращенный, но только самый невинный юноша полюбит тридцатилетнюю. Так до сих пор. И тогда как в приблизительно равные у мужа и жены годы любят вяло, безжизненно, — дети рождались бы вяло и вялые, — при неравенстве бывает пылкая любовь. В Малой Азии был специальный миф и специальные празднования ему — миф «Атиса и Кибелы», любви и брака юноши и зрелой женщины, лет на 20 старше его. Шумела и юнела вся Азия в торжествах, процессиях и особых «в честь Атиса и Кибелы таинствах». Но вер-

немся — к Египту: «ждут потомства»: и позади сцены — старцы рода. Отяжелевшая мать, — с этим тяжелым, крутым лицом; и позади всех — вещий «дедушка»... Умерли ли они (судя по положению матери в закрытом, замкнутом помещении), живы ли, с небес или с земли — все равно им потомство рода нужно. Старичок этот сзади, такой бородатый и лысый, — единственная фигура с такими признаками во всей египетской живописи за все тысячелетия Египта, в характерной позе и с плетью («гоню вперед», «гоню в будущее») — есть без сомнения «дед», «предок», «родоначальник», возможно, — «основатель рода». Лицо его, как ни на каких тоже статуях Египта, старо, древне, дряхло. Что он именно «производитель рода из себя», — показывается тем, что он «держится за производительный орган», как держится на земле, «прикреплен к земле» — через потомство.

И сфинкс Горнократа (у греков — «Горуса») наблюдает «свое дело на земле». Из середины и центра сцены он как бы говорит: «Не родись бы я от Озириса и Изиды, не родилось бы и у вас ничего». Все — «по подобию».

## ИГРЫ ЕГИПТЯН

Ну, будет рассуждать. Немножко пошалим.

Это евреи только совершают свои «мицвы». Единственный семинарист и положивший в истории начало семинарии. Он все поет псалмы и считает деньги, — и чуть ли в этой страшной связи молитвы и жадности не положил начало скупости не только православного, но и католического духовенства. Египтяне кричали: «Фуй», «фуй» — зажимали носы и, наконец, выгнали их «в землю обетованную».

В «счете денег» евреи, естественно, забыли игру. Это совершенно не играющий народ. Это самый в мире монотонный народ. И от них отвернулся и Спаситель, как и египтяне. «Ну, считайте ваши деньги, а я пойду к блудницам».

Еврей и «шалость» — как-то несовместимо. Как еврей и «садоводство». Шалости наши суть садоводство в душе нашей. Им надо отдаваться беззаботно. Еврей же никогда не бывает беззаботен: он считает деньги. Кто считает деньги — простись с весельем и наслаждением.

Египтяне дают нам зрелище чудного совмещения молитвы, труда и веселости. В них нет ничего унылого, но и нет буйного и нахального. Буйное от греков, а нахальное от римлян и парижан. При виде дурных танцев парижан египтяне умерли бы от стыда и позора за человечество:

— Дети наши: что с вами стало, до чего вы дошли?

И повалились бы в свои пирамиды.

## ПО КАНВЕ ЕГИПЕТСКИХ РИСУНКОВ

Немного расхолодимся, добрый и благочестивый читатель: п.ч. тема обрезаний как-то кинула мне «кровь в лицо». Между тем сравнение евреев и египтян, которые обоим обрезывались, проливает еще новые поразительные светы на обе эти народности. И я нахожу преимущество — в египетской. Оно заключается в следующем.

Читаем Библию. Поражены, потрясены. Умилены — особенно. Пророки и законодательные книги — это так «гремит», что оглушает нас каким-то неземным оглушением. И для всего «земного» у нас как-то бессильны ноги. Мы жалуемся. А ведь на свете мы должны жить и «изводить культуру», «создавать цивилизацию».

Вот для «цивилизации» у евреев всегда не хватало как-то свободного дыхания: и собственно от этого они такие вечно «странники», сочившиеся «среди других народов», по побережью всего Средиземного моря и теперь во всей Европе, и в Америке, в Китае, Японии. Я как-то с изумлением прочел о евреях в Китае: где, — обрезываясь и будучи совершенно иудеями дома, — они наружу, граждански и в быту, отпускают себе косы, носят кофточки, как в Японии тоже «притворяются» и носят кимоно, будучи опять теми точно евреями в действительности.

Я думаю — именно оттого, что они уже слишком «раздавлены бытием Божиим» и у них не осталось никакого простора дыхания и кровообращения для выработки некоторых второстепенных и важных сторон цивилизации. Например, шутка, забава? Игра! Правда, я с радостью увидел, что в одном отделе Талмуда, — кажется, «Праздники», — как евреи во время своих «Кучек»<sup>1</sup> («Кущей») «танцуют с лулавами». И еще позднее на собранных мною, довольно многочисленных, еврейских монетах я увидел и эти «лулавы», как и изображения «серебряных труб», которыми во время чеканки монет — при Барнохби и первосвященниках, они трубили в храме. Трубы — длинные, даже очень; и лулавы тоже суть длинные, очень длинные перистые пальмовые ветви.

И на рисунках в Талмуде — вот эти «фигуры евреев с пальмовыми ветвями в руках». Это — у Переферковича: не сомневаясь нисколько, что г. Переферкович никоим образом не смел в изданиях Священного Талмуда давать изображения фигур человека. Это вообще грех: но ведь и Переферкович не столько еврей уже, сколько «ученый ориенталист» без памяти подробностей.

Но я радовался. Все-таки один день танцуют. Но вне этого дня... какое томительное, однообразное существование, какое исключительное погружение в

---

<sup>1</sup> В гимназии, в Брянске, на вопрос: «Отчего Цырлина и других нет на уроке», ученики, по осси, отвечали: «У них, В. В., нынче праздник Кучки». — «Какой?» — переспрашивал я и серьезно не понимал. Потом, когда они приходили, я узнавал. Но они тоже произносили: «Кучки». Потом из расспросов я узнавал, что это на самом деле «Праздник кущей».

мысль о Боге, в чувство Бога. Причина этого, я думаю, в том, что «весь Израиль» собственно «создан из одного обрезания», причем данного тихо, молча и без объяснений. Это слишком — да будет только легко сказать необходимое слово — слишком потно, удушливо и безвоздушно. Тут — темь и ночь «Песни песней». Но — ничего еще. Еще — вырвутся бурные пророки, с их «сжимами» и «разжимами» голоса, как бы ритмизирующими той же «Песни песней». Я думаю — самая торговля и талант к торговле вечен у них из того, что они были точно засушены своим вечным «богосоответствованием об одной точке» и «вокруг одной точки». «Царства» их, конечно, не включали «политики», «законы» не развились, кроме необходимых подробностей об исполнении «мицв», т. е. домашнего применения закона Моисея. И т. д. «Универсализм», «сношения с людьми» — все вырвалось в «один просвет», к «одному окну»: «продай», «купи».

По-нашему выражаясь, — это «одна семинария». Высшая «духовная школа». Евреи — не «граждане», не «царисты» («царство»), а «школяры» с «меламедом», с «синагогой», «раввином» и «резчиком скота». В этих вещах замыкается их жизнь, очень прочная, сколоченная: но где неодолимо становится «тесно дышать»: и отсюда, естественно, они рассеиваются «по чужеродцам», в «диаспору». Почему я думаю, «сионизм» есть высшая неудача евреев. Отсюда же, хотя история их чрезвычайно углублена и занимательна, необыкновенна и трогательна, но...

Где же синее небо? Простое, спокойное, прохладное?

И вот я решил, сам «затруднившись в дыхании» с обрезанием, дать место и шутке, и улыбке. Ах, во всем этом — великое значение. Приходит на мысль, что «египтяне владели обрезанием, и оно не связывало их», а у евреев — «обрезание овладело нацией» — и они были слишком несвободны в нем. Отчего жизнь их — длится: но это — узенькая стальная линейка, противоположная широкой, толстой и мягкой, как бы распушенной во все стороны, египетской цивилизации.

## Семья и сожитие с животными

Египтяне *открыли семью* — семейность, семейственность. До них... Хотя кто же был раньше их на земле? — Они предшествовали всякимномадам. Таким образом, вернее сказать, что *около них, в соседстве с ними, одновременно с ними* бродили и жили племена, которые имели случки, работу женщины на мужчину, роды ребенка и кормление его грудью. Ребенок вырастал и также случался, и около него росли дети, которые, выросши, начинали охотиться и тоже случались. Нить эта продолжалась бесконечно и еще могла бы продолжаться бесконечно. И собственно человеку предстояло оставаться дикарем, а человечеству — собранием диких племен, если бы египтяне первые во всемирной истории не задумались: «Что же это значит, что человек рождается? И как он рождается? И отчего?»

У них родилась идея СОТВОРЕНИЯ. Она вся выведена из рождения. Но может плотник-мужик «срубить избу» и может архитектор построить великий собор. Суть, и особенность, и новизна египтян в специальной к этому «богоизбранности» или «предназначении историческом»: в том, что тому, всегда предлежавшую человеку и предлежащую нам (роды, рождение), египтяне восприняли (разработали?) во всем богатстве цветов и оттенков, — в таком богатстве, выше которого она никогда никем не воспринималась (не повторялось?), и мы даже только в редких и счастливых условиях можем понять, перенять или усвоить их мысль и понимание.

А поняв, вернее, *создав* семью, они пришли ко всем прочим идеям строительного и религиозного характера: провидения, загробного суда, греха, фараонов, каст, жрецов, воинов. Дело в том, что идея семьи есть бесконечно строящая идея и бесконечно источающая идея. Можно до некоторой степени сказать, что семья есть *лицо человечества к Богу* — к Богу, *в вечность и в будущее*: в том смысле, как у человека есть «четыре лица» и у каждого из нас может быть только «одна отвратительная рожа». «Вот какую мы рожею отвечаем перед Богом», может сказать большинство из нас и могут целые племена сказать о себе, указав на свою семью.

А открыв как храм «семью», — потому что все мы храмы, с переходом бутона в цветок, суть храмы именно и только семьи, — египтяне открыли любовь. И то же о храмах их можно сказать, что они суть храмы любви. Ни о греках, ни о римлянах мы не можем сказать, что они «открыли любовь». Конечно, она была у них, вернее попадалась: но похищение Елены и Троянская война, — и все, что окружает Елену, — есть просто пошлость. Около любви греки и римляне имели... осмелились иметь, в сущности, похождения. И это они именно начали всемирную порнографию. Елена была первой порнографической женщиной — явно. Египтяне, узнавая греческие мифы (то же — и о милом Зевесе), могли только пожать плечами и сказать: «Это — пошлость». И прибавить: «У вас вообще не религия, а мифы, сказки, — и о пошлых существах. У вас нет религии, а только какие-то имена богов. У вас нет плача Изиды об Озирисе, — и целования Возлюбленного. Уйдите. Уйдите с глаз долой».

Когда они это сказали... греки задумались, загрустили и основали тоже у себя «таинства», с обонянием цветов и целованием плодов. У Гомера нет упоминания о таинствах. Тогда греки, как и номады, имели случки. Около случек — небольшая проституция. Семьи у них не было, а кое-что. К поцелуям и вдыханиям они перешли слишком поздно. И уже развращенных — их не могли поправить таинства.

\* \* \*

Чтобы *открыть* Египет, нужно было собственно *в себе открыть семью*. Ибо параллельное познается только параллельным. «Не параллельное» никогда не познает себе не параллельного, — хотя бы «и узнал о нем всем».

Ньютон ему будет представляться «человеком в пять пудов», ибо не найдет этому «никаких эмпирических противоречий». Сократа он отравит. Не желая сказать чего-либо злого, я не могу, однако, не посмеяться, что ученые, однако, «гравили Египет», как афиняне травили Сократа, хотя он был им соотечественником и они «знали его во всех физических, зрительных и слуховых подробностях». Поразительная история, что из корифеев египтологии, — Бругш, Масперо и другие, — никто не догадался в своих «радующихся об открытии новой страны» популярных трудах, трудах «для моего дорогого народа», французов, немцев, — воспроизвести «мать, над которой подняты ручки», с этим до нашего времени сохранившимся жестом и приемом молитвы («*воздеяние руку мою*, — жертва вечерняя») — все решает. Я помню тот момент, когда, перелистывая лист за листом (12 колоссального формата фолиантов) Лепсиуса «*Denkmäler*»<sup>1</sup> (атлас экспедиции в Египет), я — «еще повернув лист», вдруг увидел это...

Вдруг увидел это...

Вдруг увидел это...

Разве я не знал греков и римлян?

Разве я не знаю русских?

Или мне не знакомы немцы, французы, — англичане «с их Векфильдским священником» и пылкие испанцы...

Тихо, тихо все... Дали истории. Правда, на дальнем горизонте Дамаянти грустит. Но ее покинул по обыкновению поганый муж, — и она только бедная продирается, отыскивая его, через какой-то лес...

Пустынно, холодно. «Не гармонично» — это уж во всяком случае. Вдруг из Египта, **ЕДИНСТВЕННО И ТОЛЬКО**, поднимаются две ручонки... и так большой палец отставлен несколько, и его хочется поцеловать, а прочие приставлены друг другу и их поцеловать нельзя...

<Серия матерей с поднятыми руками над ними>

Господи: да разве греки не были гениальны? Что же, они не умели бы изобрести? Изобрести позу? Они, которые придумали Аристотеля, у которых был Платон. И Пиндар. И Анакреон. Не явно ли, что только у египтян была МАТЬ, а у всех прочих мать...

Дело-то, очевидно, не в изобретательности и не в гении, а в **ФАКТЕ**, в **ОЩУЩЕНИИ**, в **ЖИЗНИ**. Но ведь этот факт — **ИСТОРИЯ**. Как же не история, когда *в каждом доме*? Как же не история, когда 4000 лет? Если это не история, почему история — пирамиды? Почему история — обелиски? Там камень, здесь человек, и камень мертв, а это живые, «историю которых я должен написать».

И вот они писали: «Эти люди построили пирамиды». Но я отпехиваю ногою и говорю: «Не это важно, а то, что они нарисовали, — и везде рисова-

<sup>1</sup> «Памятники» (нем.).

ли, постоянно рисовали, — что «как если мать» — то над нею подняты ручонки, и она молится, а над нею и о ней молятся соседи, друзья, народ, «церковь», какая-то их «египетская церковь», таинственная египетская церковь... И фараоны, и жрецы.

Тогда я понял эту козочку:

<Козочка чешет ногой за ухом,  
а у нее сосет вымя козленочек>

Это — я видел в Риме. И, не отрываясь от окон магазина, любовался на статуэточки. В самом деле, нельзя «сущность материнства» — но уже у животных — выразить нежнее, глубже, умиленнее. «О, и ты нам сестра!» Египтяне усестрились козам и убратнились козлам. Шла какая-то музыка 4000 между животными и людьми. Руки раскрывались, поднимались к небу. «Как хорошо на земле!» — О, как хорошо, что мы все родились. Как хорошо, что мы рождены, а не камни. Потому что у камней нет братьев и сестер. Мы же, и с овцами, и с телятами — одно стадо.

<Рисунок, стоящий Парфенона;  
пасгух, коровки, телятки>

Они умели, без сомнения умели, пролить нежность и в стада. Они завели у них семью. О, несомненно! Они не смотрели «на стадо» как «для убоя», — беря из них лишь «жертвы» и украшая их,

<Украшенное  
жертвенное животное>

и зная, предчувствуя, угадывая, что каждая жертва «взята к Богу», — и вот эта теперь «новая часть рассеченного жертвенным ножом теленка» проносятся в небесах, «среди звезд», в раю.

<Жертвенная нога  
среди звезд>

И бык жертвенный — живой, «т. е. воскресший», — среди звезд...

<Бык среди звезд  
в небе>

И в эту облагороженную семью животных они вошли семейно же, — несомненно! Мы кричим: «Пантеизм! Пантеизм!» — Два ученых в накуреном кабинете кричат: «Пантеизм!». О том же кричат и как будто сорадуются два журналиста. Как будто можно «быть пантеистом», если «куришь табак» и значит портишь воздух даже в комнате. Как будто можно быть пантеистом не в чистом, даже чистейшем воздухе, в котором зачихалась бы корова. Нет,



они были в чистом воздухе. Говорю об Египте: и, припадая, смирно и вообще любяще, сосали коров своих.

<Фараон сосет корову>

Они, и ТОЛЬКО они, ЕДИНСТВЕННО они, были «пантеистами», не «говорунами», а «делом»: ибо если ты, мой друг литератор, воистину «пантеист», то поди и пососи у коровы вымя, «как бы она была мать тебе». А если корова не «сестра тебе», то ты воистину литератор и ничем больше не можешь быть.

Вот отчего египтяне смеялись над греками, которые тоже писали «о пантеизме», а коров не сосали. Смеялись и думали:

— Дети. Они думают, что слово что-нибудь значит.

И ближе и ближе, одухотворяя животных, лаская их, нежа их, нося на руках,

<Ношение на руках животных>

держа в руках их тельце, такое «не наше тельце», — а сердчишко и у него бьется, «как у человека», — и все-то оно ведь немножко «человек» же, — они даже и не заметили минуты, времени, года, эпохи, когда с ними стали родниться, семейниться, и даже не «опомнились», как, припадая к вымени коровы, уже в самом деле припадали к груди «своей сводной матери», — и «своего сводного отца», — и своих «сводных братьев и сестер». Эта-то тайна, особенная и глубокая, и сердцевина коей нам совершенно и никому не известна, не известна в своем ощущении, совершенно, особенно не известна в своих последствиях, в осложнениях духовных и в осложнениях физиологических, — она лежала, без сомнения, если не единственно, то главным образом в основе «почитания животных», которое, повторяем, было больше всего просто «умилением перед животными», «умилением на них», любованием и восхищением... Вообще — тут мост, — а как именно его перейти — я не знаю. У Геродота, в его вообще наивных записях, есть определенное указание, что *так было*, хотя он и не догадывается сам, что «так было». Именно он, среди «дивовинок» египетских записывает, что «в соседстве какого-то города» или у какого-нибудь клана, племени маленького, «все жители приставлены были пасти свиней, и им не разрешено было вступать в брак». Тут мне не нужно ничего дополнять к предписанию египтян, вообще и везде «слишком женатых», — читателю уже ясен смысл предписания, без сомнения, египетских жрецов. «Слухи» не все, конечно, дошли до Геродота. Совершенно бесспорно, что на длинном протяжении Нила были подобным образом распределены и все другие «возможные к совместной жизни» с человеком животные. На это же указывают названия каждого городка, что и «в нем священным животным почитается такое-то». Но больше всего было посвящено городов «богине любви, Гатор» (корова). Самое наименование коровы «богинею любви» при замечательной красоте египетских де-

вушек так выразительно, что тут достаточно подчеркнуть и не надо никаких комментариев.

«Богиню любви» любят; к «богине любви» и нельзя плотски не стремиться; если «богиня любви» — понятен фараон, сосущий корову, и даже рядом с теленком: ибо очевидно и неоспоримо, что она была ему двоюродною матерью.

Я не умею иначе как этой таинственной особенностью приписать загадочную улыбку египтян, которая не повторилась ни у единого народа потом, — совершенно НИ У ЕДИНОГО, — как и такая их близость к животным и почитание животных также не было присуще — НИКАКОМУ ЕЩЕ НАРОДУ. «Египтяне» и «почитание животных» — это что-то одно. Нельзя представить одно без другого. Это так исключительно, особливо, ново, — для историка «совершенно поразительно». «Чего не бывало на свете»... «с чем не знаком человек». Но и улыбка — ни у кого не попадает. Ни грек, ни римлянин не знаком с улыбкой. У них есть смех. Есть хохот, сатира. По египтянам же видно, что они никогда не хохотали. Но таинственная улыбка светится на их лицах (посмотрите в Петрограде два исключительной красоты сфинкса, привезенные из Фив). Улыбка льется *с лица*, а не *из губ*. Лицо «светлое» — ясно. Откуда «светлое»? От открытия, от мысли, от чувства? Да, может быть, но тогда это было бы у *индивидуумов*, не было бы *народно*. Сфинксы же, да и эта улыбка на всех почти рисунках, — явно выражают «народный дух» и черту какой-нибудь *народной особенности, народного бытия*. Итак, это не счастливая улыбка какого-нибудь ученого или философа, пришедшего к любопытному открытию, а «приложение к щекам народным» (улыбаются щеки) какого-то обычая сел и городов. Но «обычай», совершенно исключительный, был только этот; как и улыбка — лишь на Ниле. Я дополню еще мысль тем, что в улыбке передается что-то физиологическое: это «глаза светятся умом», а тело что-то испытывало исключительно сладкое. И если животные для них воистину были «боги», и это-то записано уже всеми документами, то отчего не думать, что «свидания с Гатор», — с «самой Любовью», не доставляло им блаженства, как нам с нашими возлюбленными. Я думаю. «У кого такое счастливое лицо, как у любовника, идущего со свидания».

Но с богиней?..

А ведь это — документы.

Свяжем две нити, порознь нам, бесспорно, известные, порознь документальные, и «узел» улыбок, полившихся с гранитных лиц, чуть-чуть забрезжит нам, хотя и не вполне доказанный.

— Египтяне: чего вы улыбаетесь?

— Ах. Нам так хорошо.

— Хорошо. Когда всему свету худо?..

— Ах, «весь свет» не любил богинь, богов. Воистину почитаем их, глупо почитаем их... О, как мы почитаем, почитаем их!!!!

— И?

— Они нас любят! Оне нас любят. Вот Изиды, Гатор...

— Но это корова. Рациональная корова?

— Ах... не будите нас с вашим разумом. Что? Как? Разве мы не разумны. У нас пирамиды, у нас фараоны. Труд, земледелие. Касты. Четыре тысячи лет и ни одной революции.

— Почему же революций не устраивали? Так приятно. Огонь бежит в крови...

— Ах, огня-то у вас и нет, а только всплески печатной слюны. Огонь бежал у нас. От солнца. От хлебов. От скарабея. Вы, значит, не знаете, что такое скарабей и уреус? Отойдите, не будите нас. И до сих пор мы спим блаженным сном, — обложившись скарабегями — **ОБЛОЖИВШИСЬ НАВОЗНЫМИ СВЯЩЕННЫМИ ЖУЧКАМИ**, — теми, которые ползают в навозе наших возлюбленных богинь...

— Оне вам кажутся коровами? Но ведь вы их не знаете так глубоко...

— Да, это мясо. Корова. Бифштэкс...

— Вы их не знаете так глубоко, как мы. Ну вот согласитесь же С ЭТИМ ОДНИМ, что вам совершенно неведомо, для чего Бог сотворил... ну, этих съедобных — пусть для вашего объедения, но ПРОЧИХ-то, прочих — ЖИВОТНЫХ уже явно не для еды, а для какого-то «себя»...

— Мы же познали, что и животное есть человек, как человек есть животное, и вы видели же, что у нас нет «мужчины» без бычачьего хвоста, а женщины наши сверху оканчиваются коровьей головой...

— Ну?

— И ваше поле любви был один человек, а наше поле любви был весь мир...

— Ну?

— Так и своим даже глазком вы знаете, что любовь творит счастье, улыбку, радость...

— Ну, ну?

— Представьте же, поздние и грустные люди, что около вашей любви «с камешек» стояла наша любовь «с солнышко»...

— У, у, у — любовь. Которая нигде не кончается. «Любовь в комнатке, «любовь» во всем мире...

— НУ?

— Не мешайте нашим снам. Доживайте вашу действительность. Переступив «сотворение человека», мы жили в «сотворении мира», а вы живете и вы знаете одно «сотворение себя» человеком. И вам узко и душно, а нам было широко и дышалось легко.

— И оттого, что дышалось легко, мы улыбались.

— Это не мы улыбались... мир был счастлив в нас. Не мы были только счастливы в мире: но самый-то мир, весь Космос, был счастлив в нас, которые его так безумно обожали, вот до зверей, до коров, и не словом, а делом, сожитием, — и через нас улыбнулся истории...

— Чтобы когда она дойдет до отчаяния и в глазах будет витать смерть — вспомнила о пирамидах. Там еще есть роднички. И не каменные, а живые скарабеи. Да и у всех они есть. Оглянитесь.

P.S. Итак, это странно и ненатурально, по-видимому, — наконец это невообразимо и недопустимо, — и, однако, это совершенно естественно и просто могло случиться: что ученые, войдя в Египет, не увидели солнца, «бывшего со всей силою в глаза». Не увидели просто — ничего. В самом деле, разве обязательно было Шамполиону быть семьянином? Да он мог быть даже холостым человеком. «И знать иероглифы». Не только знать, но «первому открыть их чтение и ринуться во всю премудрость». Но ведь весьма естественно, что египтяне в линии своих писем вносили только *новое*, вот «что случилось этот год», кого они «победили», кто на них «напал», с каким царем они «заключили договор». И — «молитвы, гимны богам». *Старого* они не вносили, и *общего* они тоже не вносили. Потому что не замечали его, потому что это им не казалось замечательным, наконец потому, что это решительно все египтяне знали. Никакому летописцу и даже хроникеру, никакому строителю каменных памятников и могил не пришло бы на ум внести в летопись семейные были Ростовых и Болконских, «лежанье» Обломова и даже «Семейную хронику» Аксакова — *потому что тут вообще ничего нет*. «Тут ничего нет», и между тем «вся Русь жила этим». Увы, «вся Русь» никогда не жила «Историей 1812, 1813 и 1814 года» Михайловского-Данилевского. Понятно ли, возможно ли, чтобы, таким образом, «историк страны» — ничего «не знал о стране»? Не только «возможно», но и «вполне естественно». Историки действительно не знают стран. Закинем Грецию громадной простыней: вот историк собственно рассказывает о том, «куда катали это завязанное в простыню», — «укутали в Азию» (Александр Македонский), «покорили римляне». И, наконец, что касается «внутри Греции»: то опять-таки получаются только меньшие простыни с завернутыми туда «Афинами», «Спартой», «Ахейским союзом». Историк катает простыни разных величин, и, увы, *самое существо* «историчности» заключается именно в этом бедном и внешнем.

Правда, остается «история культуры». Но это понятие совсем новое и, собственно, оно очень долго, всем «настоящим историкам», не приходило вовсе на ум. И когда наконец даже пришло на ум, они ограничили свое дело перебиранием мелочей, подробностей. Все египтяне-мужчины привязывали за спиною себе хвост. И историк пишет:

«Они ходили в туниках. Кроме того привязывали сзади хвост».

— Но ПОЧЕМУ?!?! — и почему — НИКТО ЕЩЕ?

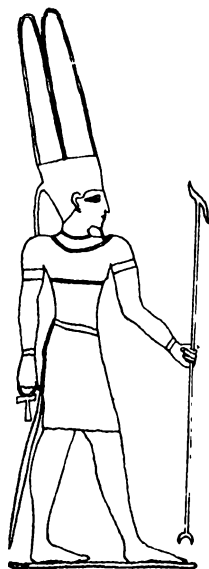


Рис. 78.

Мужчина  
с хвостом.

Начинается «умиление к животным». Но «умиление к животным» так же необязательно для Шамполиона, как и женитьба.

Ни для Шамполиона, ни для Бругша, ни для Лепсиуса.

Таким образом, произошло фатальным и роковым образом и совершенно естественно, что «ученые вошли в Египет», имея в душе и уме «со всем другие темы, чем на какие жил Египет». Произошло расхождение тем, расхождение интересов. Математик встретился с химиком и читает его знаки  $H_2O$  как величины: тогда как химик в формуле  $A + B = C$  ищет химические соединения элементов  $A$  и  $B$  и говорит, что математик напутал, ибо этими двумя буквами элементы не обозначаются. Таково знаменитое объяснение «статуэтки Didon», — показательное для всей египтологии. Жрец сказал: «Это спинная кость Озириса». Сказал просто и ясно, и сказал вещь очевидную для всякого, кто видал полные и без одеяния статуи Озириса. Но статуи эти с фаллом *in statu erectionis*. Когда А. В. Прахов, написавший специальное исследование о египетских храмах, лично бывший в Египте и проехавший по Нилу на лодке до самых порогов, рассказывал мне об этих статуях Озириса, попадававшихся, при выходе их на берег Нила, в высокой траве, то он хохотал громко, показывая «руку от плеча до кисти» (величина фалла). Я содрогался от интереса и *полного понимания*, что «творческая сила природы», что идея «Творца Природы» и не может быть никак иначе выражена — конечно! Он же смеялся, что в разговоре пришлось ему, старику, упомянуть о «неприличном». Тут только один «крючок бы спустить» — и дверь открылась: «Позвольте, Адриан Викторович: Вы семейный человек и у Вас есть дочь, притом — на выданных: а ведь без «этого» и Вам, и жене Вашей, и дочери Вашей — не обойтись. Так что без «этого» не обойтись. И слава Богу, что египтяне так представили, так выразили Озириса: а то бы Вам не жить, жене и дочери Вашей не жить, да и Руси бы не было. И мир вообще провалился бы в дыру». Но вот подите: конечно же он знал халдейский миф о сошествии Истар «в Аид», после чего вся тварь земная перестает совокупляться и зачинать детей: но чтобы это было применимо к нему и его семье, к Петербургу и его слушателю, — чтобы это было вообще *важно*, чтобы это было вообще *действительно*, — этого ему никак не приходило в голову: *потому что он был человек плодящийся бессознательно, безотчетно*. А потому и все его объяснение устройства египетских храмов — вздорные пустяки. Может быть, даже и не «вздорные», но вообще — пустяки; лишены содержательности и интереса. Египтяне же, как и весь Восток, «задумались о плодородии». А что «задумались» — свидетельство именно и единственно статуя Озириса, — «именно такая». Но «задуматься о плодородии» не было обязательно и Шамполиону, и Бругшу, и Лепсиусу. «Они читали иероглифы». И натолкнувшись на сообщение египетского жреца: «Это — спинная кость Озириса», так как ничего сами не соединяли со «спинной костью», ибо ведь и анатомия, и физиология для них не была обязательна, отбросила его, — *отбросила уже вопреки требованию науки* — дать Египту египет-

ские объяснения, — натворили с ней то же, что «необрезанные» натворили с объяснениями «обрезания».

Вообще, тема объясняется из темы; не нося темы в душе — нельзя понять темы у другого. И если не носить в душе главных тем Египта:

ПРОВИДЕНИЕ.

РОД, РОДОСЛОВИЯ; ПРЕДКИ И ПОТОМКИ.

СЕМЬЯ.

РЕЛИГИЯ. И в основе, и в стержне всего названного как «колыбель» религии, молитвы и рода:

ЖИЗНЬ и ПОЛ.

Если всего этого не иметь *лично и самому* задачей жизни, то нельзя ничего понять в Египте.

И пройдешь мимо Скарабея. И пройдешь мимо «знака жизни». И посмешься даже Озирису.

И вообще пройдешь весь Египет как бы в дремоте. И выйдешь из Египта. И станешь даже писать о нем. Но ты Египта не заметил.

Вот удивительно: пройдешь Грецию и, конечно, увидишь ее. Пройдешь Рим — и весь он на ладони. «Патриции и плебеи — так понятно».

Ноходишь в Египет:

Люди с хвостами животными...

А — не животные...

Куда: нега, как не додумалась Греция. Не мерещится и нам...

Улыбка у всех... Чистый свет льется от лица. Свет — даже от гранитных лиц (петербургские сфинксы).

«Мы счастливы».

— Вы, когда весь род людской уже так несчастен. И был даже в Греции уже несчастен, грешен, тосклив, уныл (трагедии)?

Смеются как дети. У них и старцы — дети.

— Ах, это оттого, что вы узнали скарабея. Грязного навозного жучка. Но он весь — золото. Выше богов, первый бог.

И, взяв палец в рот, начали сосать его. Какой-то привычной тысячелетней привычкой. И разбежались...

Музыка играла. Арфы звенели. Огненный шар солнца садился «в Аменты»...

Все так же сося палец, египтяне подбежали и в последний раз сказали, что и Геродоту:

— Обрежьтесь и пойдем с нами праздновать наши таинства. Они все грязны, как скарабей, и вонючи, как скарабей. Но от них мы бессмертны, безгрешны и блаженны.

И, совсем приблизившись, стали водить пальцем по губам ученых и подносить к носу их лотосы, шепча лукаво:

— У вас губы сухие. Да и нос какой-то кривой. И вы не можете быть ни бессмертны, ни блаженны.

Брэстед пишет как что-то обыкновенное: «Для богослужения в храме или для собственных молитв царь (Эхнатон) составил 2 гимна в честь Атона, которые были оба вырезаны вельможами на стенах их гробничных молелен. Из всех документов, сохранившихся от эпохи этого единственного в своем роде переворота, гимны Эхнатона являются наиболее интересными; по ним мы можем составить представление о поучениях, над распространением которых так потрудился молодой мыслитель-фараон. Они неизменно озаглавлены: «Славословие Атону царя Эхнатона и царицы Нофер-Нефру-Атон». Самый длинный и совершенный из двух гимнов заслуживает известности в современной литературе. Заголовки отделам даем мы. Сто третий псалом Давида обнаруживает замечательное сходство с нашим гимном, как по смыслу, так и по выражениям.

*Великоление Атона*  
(Величие Божие)

Твой восход прекрасен на горизонте,  
*О живой Атон, зачинатель жизни!*  
Когда ты поднимаешься на восточном горизонте,  
Ты наполняешь каждую страну *своею красотой*,  
Ибо ты прекрасен, велик, блестящ, высоко над землею,  
Твои лучи объемлют *все страны, которые ты сотворил*;  
Ты Ра, и ты полонил их все;  
*Ты связываешь их своею любовью.*  
Хоть и далеко, но твои лучи на земле;  
Хоть ты высоко, но следы ног твоих — день.

*Ночь*

Когда Ты заходишь на западном горизонте неба,  
*Мир во тьме, подобно мертвецу.*  
Они спят в своих жилищах,  
Их головы закутаны,  
Их ноздри замкнуты, и один не видит другого.  
*Украдены все вещи, которые у них под головой,*  
*И не знают они этого.*  
Львы выходят из своих берлог,  
Змеи жалят. Царствует тьма. Мир в безмолвии.  
*Тот, кто создал их, почил за горизонтом.*  
Ты простираешь тьму, и бывает ночь.  
Во время нее бродят все лесные звери.  
Львы рыкают о добыче  
*И просят у Бога пищу себе* (Псал. 103, ст. 20—21).

### *День и человек*

Светла земля, когда ты поднимаешься на горизонте,  
Когда ты сияешь днем как Атон.  
Тьма изгнана, когда ты посылаешь свои лучи;  
Обе страны (Египет) справляют ежедневно праздник,  
Бодрствуя и стоя на ногах.  
Ибо ты поднял их.  
Омыв члены, они надевают одежды,  
Их руки воздеты, поклоняясь твоему восходу.  
Затем во всем мире они делают работу.  
Восходит солнце, —  
И звери ложатся в свои логовища,  
А человек выходит на дело свое  
И на работу свою до вечера (стихи Пс. 22—23).

### *День, животные и растения*

Скот наслаждается на пастбище,  
Деревья и травы цветут,  
Птицы порхают в болотах  
С поднятыми крыльями, в знак поклонения тебе<sup>1</sup>.  
Овцы прыгают на своих ногах,  
Крылатые твари летают:  
Они живут, когда Ты осветил их.  
Барки плывут вверх и вниз по течению.  
Пути открыты, когда ты взошел.  
Рыба в воде прыгает перед Тобой<sup>2</sup>  
И Твои лучи посреди Великого Моря.  
Это — море великое и пространное:  
Там — пресмыкающиеся, которым нет числа,  
Животные малые и большие;  
Там плавают корабли,  
Там этот Левиафан, которого ты сотворил играть в нем.

### *Сотворение человека*

Ты производишь человеческий зародыш в женщине,  
Ты создаешь семя в мужчине,  
Ты даешь жизнь сыну в теле матери,  
Ты убаюкиваешь его, чтобы он не плакал,  
[Ты] кормилец [даже] и в утробе,  
Ты сообщаешь дыхание для оживления всякой твари;

<sup>1</sup> Замечательное выражение: работа, норма, — «как позитивизм» и механика, — для египтянина это-то и есть «поклонение Богу».

<sup>2</sup> Поразительно!!



Когда она выходит из тела,  
...в день своего рождения,  
Ты открываешь ей рот для речи,  
Ты удовлетворяешь ее нужды.

### *Сотворение животных*

Когда цыпленок пищит в яичной скорлупе,  
Ты сообщаешь ему дыхание в ней, чтобы сохранить его живым.  
Когда ты завершишь его  
Так, чтобы он мог пробить скорлупу,  
Он вылупляется из яйца,  
Чтобы пищать изо всех сил<sup>1</sup>.  
Он бегаёт на своих двух лапках<sup>2</sup>,  
После того, как он выйдет оттуда.

### *Все творение*

Как разнообразны все твои произведения:  
Они скрыты от нас.  
О ты, Единый Бог, силами которого никто не владеет  
И кроме которого — нет еще иного бога.  
Ты сотворил землю по своему желанию,  
Когда ты был один.  
Людей, всякий скот, крупный и мелкий,  
Все, что на земле,  
Что шагает на своих ногах<sup>3</sup>,  
Все, что в вышине,  
Что летает на своих крыльях;  
Страны Сирии и Нубию,  
Землю Египетскую.  
Ты ставишь всякого человека на его место;  
Ты удовлетворяешь его нужды.  
У каждого своя собственность,  
И дни его исчислены.  
Их [людей] речь различествует по наречиям,  
А также их внешний вид и их окраска,  
Ибо ты, разделитель, разделил народы.  
Как многочисленны дела Твои, Господи!  
Все соделал Ты премудро;  
Земля полна произведений Твоих (стих 24).

---

<sup>1</sup> Великолепно! Изумительно!

<sup>2</sup> !!!

<sup>3</sup> Изумительно!

Ты сотворил Нил в Исподнем мире,  
Ты явил его по своему желанию, чтобы сохранить народ живым.  
*О владыка всех, охваченных слабостью,*  
О владыка каждого дома, поднимающийся ради него<sup>1</sup>.

.....  
Ты сотворил их [людей] жизнь.

.....  
Как чудны Твои замыслы, о Владыка Вечности!  
Нил на небесах — для чужестранцев  
И для скота каждой страны, шагающего на своих ногах;  
Но Нил исходит из Исподнего мира для Египта.  
Так, Твои лучи питают каждый сад;  
Когда ты поднимаешься, он живет и растет благодаря Тебе.  
Ты создаешь красоту формы через себя одного, —  
Селения, города и деревни,  
На дороге или на рске —  
Все глаза видят Тебя над ними.  
Ибо ты Атон дневной над землею.

.....  
Ты в моем сердце,  
Нет никого иного, кто знал бы Тебя,  
Исключая твоего отца Эхнатона.  
Ты посвятил его в свои замыслы  
И в свое могущество.

.....  
С тех пор, как Ты утвердил землю,  
Ты воздвиг их для своего сына,  
Происшедшего от твоих чресл,  
Царя, живущего по истине,  
Владыки обеих стран, Нефер-хепру-Ра, Уан-Ра,  
Сына Ра, живущего по истине, владыки венцов,  
Эхнатона, чья жизнь продолжительна;  
И для великой царской супруги, возлюбленной им,  
Госпожи обеих стран, Нефер-Нефру-Атон, Неффети,  
Живущей и процветающей во веки веков.

Откуда же Эхнатон взял дивную песню, — и главное — дар к пеню? И почувствовал так диск Солнца, как бы он был Милосердец?

Но разве он не видел, как и все мы, что растения, — и подсолнечник, и роза, — повертывают свои цветочные диски навстречу солнцу.

И принимают из ручек его запах свой.

Как он сам, Мудрый Царь, принимал запах от Нофер-ха-ка, которая подносила его к самому носу больного друга.

---

<sup>1</sup> Какая мысль, — индивидуализация универсализма: солнце встает не «вообще», а — «для тебя, Ивана, оно нарочно встало».

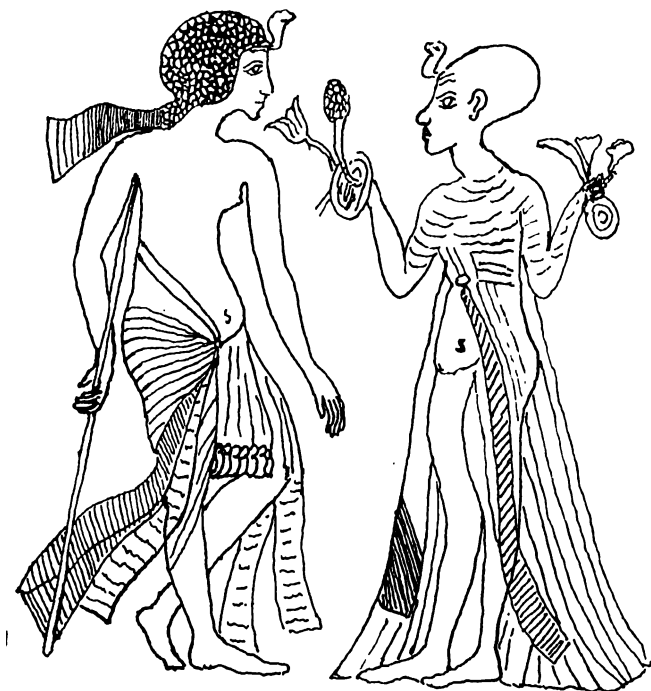


Рис. 79.

Раскрашенная ярко плита из известняка  
в Берлинском музее.

О всем этом еще более мудрый Брэстед, профессор Чикагского университета, где торгуют свиньями и имеют свою чикагскую политику, написал следующее:

«Ни один народ не нуждался никогда так настоятельно в сильном и дельном правителе, как Египет в момент смерти Аменхотепа III. Но ему выпало на долю иметь во главе себя в это критическое время юного мечтателя, который, несмотря на небывалое величие своих идей, не мог справиться с положением, требовавшим энергичного практика и опытного военачальника, говоря кратко — человека, подобного Тутмосу III. Аменхотеп IV, юный и неопытный сын Аменхотепа III и царицы Ти, был поистине могуч и бесстрашен в известных отношениях, но он совершенно не умел понять реальных нужд своей империи. Взойдя на престол, он сразу столкнулся с очень трудным положением вещей. Конфликт между новыми силами и традицией, как мы видим, ощущался уже его отцом. Ему надлежало направить эти антогонизирующие силы так, чтобы

дать возможность определенно проявиться новой и более современной традицией и в то же время охранять старые идеи в той мере, чтобы отвлечь катастрофу. Эта проблема была под стать опытному государственному человеку, но Аменхотеп IV видел ее главным образом в идейном аспекте. Его мать Тии и жена Нофритити, — возможно, что азиатского происхождения, и любимый жрец Эйе, муж его кормилицы, составляли его ближайший круг. Тии и Нофритити, вероятно, оказывали на него огромное влияние и принимали значительное участие в правительственных делах или, по меньшей мере, в общественных церемониях, ибо, далеко превосходя в этом отношении своего отца, проявлявшего ту же тенденцию, он постоянно появлялся публично вместе со своей матерью и женою. Его возвышенные и далекие от жизни стремления нашли себе горячий отклик в этих двух влиятельнейших его советчицах. Итак, в то время когда Египет настоятельно нуждался в твердом, искусном администраторе, юный царь находился в тесном единении с жрецом и двумя женщинами, быть может, и одаренными, но абсолютно неспособными показать новому фараону, в чем реально нуждалась его империя. Вместо того чтобы собрать армию, в которой так сильно нуждалась Нахарипа, Аменхотеп IV углубился сердцем и душой в идеи того времени, и философствующая теология жрецов имела для него большее значение, чем все провинции Азии. Углубленный в размышления, он постепенно развил идеи и тенденции, сделавшие его самым замечательным из всех фараонов и первой личностью в истории человечества...»

Почему Брэстед так много знает и положительного, и отрицательного, — это, вероятно, не объяснят и чикагские клубы. Но замечательно, что все это переведено на русский язык.

И вот шлет цинкографию еще цинкографию: «Торс дочери Эхнатона. Из известняка». Шлет торопливо, спеша — как хороший ремесленник хорошего ремесла. Все Филарет Филаретович Артемьев, молодой еще человек, но такой прилежный. Я хлопаю в ладоши и повторяю из Хераскова: «Веселися, храбрый Росс».

...Потому что семя Эхнатона и ..... теперь застряло у нас в ноздрях.

Нужно всегда, оглянувшись на сторожа, пускать свое «ба» или «ка» для обвевания прекраснейших торсов, умерших уже 3600 лет тому назад...

И погребенных в сыром песчаннике, таком тусклом, неинтересном, воистину «сером»...



Рис. 80.

Торс дочери Эхнатона. Из известняка.

Но ведь вышел-то этот торс из «ба» или «ка» Эхнатона и его прекраснейшей...

И мы слышим его «ба» и «ка».

И наши мертвые души воскресают...

Воскресают через ноздри, как и у египтян.

И мы начинаем ходить и проповедовать совсем новое.

К РИСУНКУ:

«АНУБИС ПРИНИМАЕТ МУМИЮ  
ИЗ РУК ПЛАЧУЩЕЙ ЖЕНЫ,  
ЧТОБЫ ВНЕСТИ ЕЕ В МОГИЛУ»

К жене плачущей:

— Не плачь! Он не умер!!!

К нему:

— Ты вышел из Провидения. И ты возвращаешься в Провидение.

— Ты был зерно. И из тебя вытекли дела твои, мысли твои, желания твои. И все это рассеялось в воздухе. Не оставив даже запаха. Впрочем, запах остался. Всякий человек в цивилизации оставляет запах свой, хороший или дурной.

— Но теперь дела твои отлетели от тебя. Ты опять такой, каким вошел в утробу матери твоей. Т. е. зерно, семя.

— И мы положим тебя в землю. Как всякое зерно. И ты вырастешь в Жизнь Будущую, Жизнь Вечную.

— Ты будешь Озирис, ты будешь зерно. И будешь от потомков своих принимать ответ за их дела.

— Как сейчас народ предками своими («суд Озириса») скажет свой ответ.

## ИЗ «КНИГИ МЕРТВЫХ...»

Лепсиус, в сороковых годах прошлого века, издал книгу «Das Todtenbuch», которая обычно в нашей египетской фразеологии именуется «Книгой мертвых». Но в собственном смысле «мертвых» не было в Египте, в нем никто «не умирал», а лишь получал иную форму жизни, иное состояние бытия. Без этого убеждения они не строили бы пирамид своих и не укрепляли бы наподобие крепостей своих могил...

Всматриваясь в рисунки ее, я волновался многими мыслями, которые передам читателю. Право на эти мысли я почерпаю в следующем: три или четыре раза случилось, что прочитав *собственные выражения* египтян о существовавших у них символах, вообще узнав древние египетские формулы, я восклицал радостным согласием, а уж внутреннему трепету и конца не

было. Они совпадали с тем, как я думал, что *египтяне должны были это думать*. Раз это было о знаменитой статуэтке *Didon*, раз при чтении надписи на дощечке около собрания скарабеев в Эрмитаже, еще — о знаменитом выражении египтян: «*Всякий человек по смерти своей становится Озирисом*», и о примечании одного египетского жреца на папирусе: «*Мир есть семя Озириса*». Дело в том (и это особенно относится к символической статуэтке *Didon*), что я *так думал* раньше, чем мне удалось узнать мнение об этом египтян; и что мнение европейских египтологов или индифферентно к этим египетским мнениям, т. е. европейцы *мертво* приводят их, без своего «да» или «нет»; а в других случаях (о статуэтке *Didon*) развивают взгляды совершенно противоположные египтянам, между тем как египетский взгляд совершенно ясен и вразумителен, европейский же по меньшей мере пуст от всякого смысла. Возможность такого факта, т. е. возможность «угадывать чужую мысль», вытекла из одинакового фундамента для мышления: приблизительно около 1896 года я допустил в себе гипотезу: «А что, если *семя* человеческое не есть грязь и скверна, как обыкновенно трактуется, а совершенно этому обратное: что тогда и как тогда представится и начнет мыслиться мир?» — Гипотеза быстро развилась и пошла очень далеко. Тогда для проверки ее я вошел в Императорскую Публичную библиотеку, — приблизительно года через два. И моему изумлению не было предела, когда я в *неоспоримых египетских* рисунках, не допускающих прямым и выразительнейшим смыслом ни малейшего перетолкования (*изображения Озириса, никогда в ученых сочинениях, предлагаемых для чтения, не встречающиеся*), увидел, что это — «то самое». Египтологу, конечно, не обязательно иметь никакого мнения о семени; никакого вообще мнения о детородной системе. Вообще детородильная часть — не его сфера. Но в силу этого он не имеет никакого ключа к пониманию египетской цивилизации, которая внутренне и духовно выросла и развивалась на этой единственно и исключительно основе. Египтолог неодолимо становится похожим на ученого, который читает книгу об электричестве, но который никогда не видал молнию и не потер сукном янтарь. П.ч. ведь в самом деле нет ни одного египтолога, для которого египетское вероучение было бы хотя в малой мере допустимо; как подобно этому из богословов, разбирающих Библию, был ли хотя один, внутренне ощутивший потребность для себя и сладость для себя совершить обрезание? Таким образом, самое главное: *сладость веры* Авраама и всех евреев, в одном случае, египтян — в другом случае, темна для легионов библиистов и египтологов. А как я «другому расскажу о вкусе пирога», когда его не ел; точно так же и о вере: если вы не знаете о ее *сладости* — вы никогда другому не передадите ее вкуса... А «вкуса» цивилизации не передашь, то что же передашь? То, в чем они *подобны нам*: о войнах, о торговле, о путешествиях, о сношениях с соседними странами и народами, о мирных с ними договорах и что в этих договорах написано. Но это все собственно «наше», схемы нашей цивилизации и нашей мысли, коих «египтяне» как «общечеловеки» — не избежали. Но собственно *египетского там* нет ниче-

го; особого их, личного их — ничего. И хотя иероглифы и открыты: но душа Египта отсутствует из египтологии, ибо еще из смертных ни одному не приходила мысль: «Может быть, семя и не тó, как оно нам кажется и как мы иначе никогда не допускали мысли?»

Иначе как пришло бы на ум — спокойно, без оговорок, без нервов — оторвать во всех ученых сочинениях о Египте самую главную часть в изображениях главного Бога египетского, Озириса: и представлять ее вовсе не так, как ей молились египтяне, как ее любили египтяне, как они его почитали. Это искажение, — «с оторванною частью», — до того всеобщее, не знает ни единого исключения, что профессор Археологического института в Петербурге глубоко почтенный Алек. Конст. Марков, — читающий на всех языках книги, относящиеся до археологии древнего мира, в том числе, конечно, и Египта, при случайном разговоре совершенно отверг, чтобы в самом деле Озирис изображался с этою «оторванною у него учеными частью». Таким образом, самый вид *Божества* остался неведом вообще археологам с обширным европейским образованием: до такой степени собственно *египтологи* не придавали этому виду никакого значения и, следовательно, в собственной мысли не делали отсюда никакого вывода. Представьте как если бы И. Христос никогда не был распят и крест никогда не встречался в Его изображениях: хорошо было бы «христианское богословие» и затем уже в связи с этим и в последствии этого — и «христианская мораль», «христианский подвиг» и т. д.

Но «Правда о Египте» никому не приходила на ум. Она была до такой степени «запрещена себе самим» египтологами — что без уговоров и не соглашаясь — они одинаково и по собственной воле *перерисовывая, воспроизводя, даже фотографируя Озириса* — отрывали, отламывали, словом — изображали вот ТАК его. Когда он как Отец всего — ТАКИМ и НЕ МОГ быть. Ибо скопцы отцами не бывают.

<Место для статуи Озириса>

Все это мне и дает право на толкование непосредственно из зрелища того, что я усматриваю. А читатель, пробегая строки мои и взглядывая на рисунки египетские, почувствует слова мои как «правду» или «неправду»:

Г л а в а 1. Ну вот эти пять женщин, провожающие «уснувшего» в другой мир, — все закрывают правою и левою рукою родильные части в себе, — как мы не открываем никому, до кого это не относится (муж ее и ребенок ее) этот корень бытия своего. И тем они положили первое в мире выражение стыдливости, скромности и застенчивости... которое в дальних временах выразится потом в точь-в-точь таком же расположении закрывающих перси и закрывающих лоно ладоней в Афродите Книдской и во всех других нам известных Афродитах. Понеже девушка ли, женщина ли без стыдливости — ничто. Как и не закрытый землею корень — высыхает и становится мертв.

Она есть «существо» и «человек»: но тайну «женщины» утратила. И уже есть не «она», а — «что-то».

Г л а в а 6. Вот везется «уснувший». Умер? Уснул? Все человечество гадает. Не знает. Тоскует. Но подождите: уже тело его в какой-то башенке или в шатре: а на выпуклой крышке ее неясный по миньютюрности предмет, напоминающий палку, — но который из других крупных изображений той же погребальной сцены и именно из изображений *одной этой башенки с лежащим внутри ее погребаемым телом* определяется как родник мужской силы его. По-видимому, у египтян была вера, что тело человека умирает, но самый родник жизни его не умирает. Откуда она взялась у них — не ясно; но самая мысль эта совершенно ясна, читаема на подробных изображениях погребальной повозки.

Этот источник продолжает жить, — ибо нужна бы бо́льшая, чем обыкновенно СМЕРТЬ, чтобы убить то, что само КОРЕНЬ МНОЖЕСТВА ЖИЗНЕЙ и включает в себя полноту квадрата или куба и даже большую степень живучести, неодолимости, сопротивления смерти. Эта ли догадка или какая другая лежала в их мысли, или даже сама эта мысль была «допущением», «верою», «предположением», но — она ЖИЛА в них, — и вот ее последствие.

Г л а в а 7. Бычок — душа фараона (хоронится, по-видимому, фараон, судя по приделанной бороде, — как носили только фараоны), совершенно юный, безрогий, дитя — встречает Мать-свою-Изиду: т. е. входит по смерти в ту самую Утробу, из которой появился на земле; но — не в земном ее выражении, а в Небесной и Вечной сущности. Здесь, пожалуй, есть и какая-то разгадка мифа об Эдипе. Ибо что такое это погружение в утробу Матери, что такое «встреча с Матерью за гробом»? Ах, ни греки, ни египтяне не договорили своих тайн, — да, может быть и не знали их «наверное», — и брезжили, гадали... Шептались в Элевзине...

Г л а в а 13. Но вот в главе 13 — цветочки и цветочки. Это «растеньица, скоро прорастающие» вроде нашего лука на Пасхе (в ящичках и на столе для разговленья), а в Элевзине что-то другое, чуть ли не горох. Но все равно: суть в том, что «зерно вчера умерло, похороненное в землю», — умерло и было оплакано, как этот фараон; а через три дня *сгнившее уже зерно* дало новую жизнь из себя. В сущности *умершее зерно* было *фаллом-производителем молодого растеньица*. И раз «не весь фараон умер», а остался живым его фалл, то, конечно, из него «*вырастает*». Бутоны же прелестны: особенно два задних. Молоденькие, молоденькие, — и в стебельке так вьются. «Будем играть и там». О, если бы верить... Но за эту веру, слаще которой нет на земле, — жертва. Один левит ли, иерей ли несет бедро, а за спиною у него — предшествующий жертвоприношению момент: закалывание священной коровы. А вот дальше:



Глава 15. Молитва. Встав на колени — как мы и сейчас точь-в-точь станем, — и также точно как мы делаем — подняв ладони рук в уровень с головою, — жена его плачет. А за его небожительница или земная женщина льет воду из сосуда с крестом. Вода ли это жизни, что ли, мы не знаем. И вот — еще бутоны. И — обелиски. Какая ранняя мысль их!

Обелиск — «я встал на молитву». Жест вместо слова, символ жеста; его «образ и подобие».

Глава 17. Если от умершего в живых остается одно, его детородный орган, то не египтяне одни, а и мы стали бы говорить по-египетски: «Фараон *имя рек* умер, и теперь только остался его Озирис». Или короче: «По смерти всякий человек становится Озирисом» (изречение египтян, формула египтян). И вот несет статуэтку Озириса с этим единственным неумершим органом покойного и опять с таинственной веточкой растеньица — его жена: и не перед нею, а перед этою статуэткой поднимает молитвенно руки всякий. Сзади же душа умерша, в виде птички, которая как бы говорит живым оставшимся: «Я всегда останусь около вас; *не* около вас и *еще* около вас. Но вы будете видеть меня не наяву, а во сне. И я буду незримо помогать вам, в хозяйстве и во всем, как Судьба». Все это как-то обобщается дальше: вот сидят, опустив печально руки, две женщины перед символом жизни (египетский крест), как бы выросшим на кончике склоненной же печально веточки. Смотрите их груди, много питавшие. Они отяжелели в трудах кормления, «безобразны» по-нашему, прекрасны и духовны по-ихнему. «Только рождай, корми — и не колеблись о будущей жизни». И сейчас же за ними сочетание лежащего льва и как бы падающей на него руками женщины, — мотив, незнакомый и нам в позднейших скульптурах. Поза женщины — единственная в изображениях, под которою хочется подписать библейский глагол к Еве наказующего за непослушание Бога: «И к мужу — *влечение* твое» (*надает* на льва). И между ними — связующий скарабей: он их связывает, соединяет в «чету». Его положение — неизменно повторяющееся и в других рисунках, где скарабей помещен *возле* женщины, — указывает, что именно половой ее орган, точнее — половое ее лицо, есть залог вечных обновлений, вечных возрождений (сущность скарабея как символа, по египетским верованиям).

Глава 18. Вот и смертный, и бессмертный человек приносит цветочек и плод как в своем роде «твоя от твоих» перед несокрушимым Мужеством (Озирис) и «Вечной пловучестью», как хочется назвать женственное, уступчивое, покоряющееся начало в мире (Изида), и перед их порождением — Гарпократом (Горус). Сии три гармонируют в себе мир; весь мир — только повторение их. В руках Изиды и Гарпократа — крест, символ жизни.

Глава 30. Но все три — совмещены в Скарабее. Скарабей — точка, от движения которой — и линия, и даже от движения — плоскость и объем. Скарабей — бутон, из которого вырастают и Озирис, и Изиды, и Гарпократ. Оплодотворение — одно, единица: но таковая особая «единица», которая не

стоит, если нет трех: кто оплодотворяет, кого оплодотворяет и что рождается. И вот ему, Ему — Единому, молитва.

Г л а в а 41. А вот Дьявол. Смерть поражает, но, конечно, бессильно, змейку: не злую и не ядовитую, не *это* в ней взяли добрые египтяне, а как существо, подобно скарабею вечно сбрасывающее старую шкурку и облакающееся в новую. Она делом и натурой доказывает то, на что указывает символически скарабей.

Г л а в а 53. И вот древо жизни — всякая в мире травка и каждое решительно деревцо на земле, — которая чуть ли не рукою подает что-то человеку. Всматриваюсь: да, это *рука, две руки*. Растение очеловечено: левою рукою она ему льет воды жизни, другою подает блюдечко с плодами. «Как бы ты жил, смертный, если бы я не давала тебе *плоть свою на съедение*». «Ты вкушаешь меня и жив: и я даю тебе только-только чуть меньше, чем дали отец и мать. Они дали *жизнь, я поддерживаю жизнь*».

Г л а в а 71. А вот — змейка: это просто спинной хребет человека. Не кость его: а то, что в кости: мозг спинной и черепной, как основа движений и ощущений, как *седалище и пункт* жизни. Все органы — в частности, для — частного. Мозг — вообще и для общего. Египтяне открыли «мозг» и затрепетали открытию.

Г л а в а 80. А человек не иначе рождается как и плод: просто выходит из цветка; из цветка — матери своей.

Г л а в а 102. А вот Изиду чтут: ведь она — Мать, и из нее вечно плывет жизнь.

Г л а в а 110. Тут какой-то божок: скрюченный — незаметный. О, это — что-то главное. Сама Изиды и Нефтис — семья и Монастырь (Нефтис — противоположна Изиде: она не только бесплодна, но и несет символ бесплодия на голове — пустую корзину), чтут этого смиренного, скрючившегося божка. Но скарабей — на месте головы у самого божка.

Г л а в а 146. И скарабей — как корпус человека, преимущественно в его хребтовых, мозговых частях.

Г л а в а 157. А вот — колокольчики на месте головы. Это — обычный убор жен, наряд жен у фараонов: но над ними поднимается не голова, а красиво растет чета колокольчиков.

Г л а в а 162. И вечный Глаз. Провидение. И опять — Корова-Жизнь-Изида.

## ЕГИПЕТСКИЙ ЗАГРОБНЫЙ СУД


Плодородие судит только плодородие.

[Символ «по 12 рождающей» свиньи]

И Судящий — Озирис: сам — Производитель плодородия.  
Потому в загробном мире — они будут обонять же цветы.  
И будут им приноситься напитки и плоды с древа жизни.  
Которое есть просто — Озирис.

<Большая картина со свиньей:

Суд Озириса.

Внутри ее вставлены выше: домик,  и проводы плачущей жены.

Внизу: свинья с поросятами.>

## ШАКАЛ

Если бы я был старец Гомер и имел его прекрасные гексаметры на кончике языка, то пел бы не «Ахиллесов щит», сделанный из металла Гефестом, а вот этого живого шакала, который выше всех сделанных «щитов», — потому что они не рождены и мертвы, а шакал жив, и египтяне в самую медь умели перелить жизнь, бившуюся в нем...

Еще раз смотрите на него... О, вот что значит «почитать животных».

Лапы не доделаны. Да и не нужно! Хвост какой-то странный, прямой, вероятно, «не похожий». Не нужно!! Не нужно!! Одни «почитатели животных» могли схватить медь и бросить весь кусок ее в одну точку: «как в эту минутку сидит шакал». В эту минутку! В эту минутку. «В минутке — весь человек!»

Они сделали чудо, — позволю сказать — «и не снившееся грекам», ни их деревянному Гефесту. «Для этого надо было почитать животных». Египетское искусство, несмотря на недоделанность «лап» и прочее, — несравненно с греческим, и именно — по превосходству у египтян могущества, экспрессии. И, я бы сказал: по преобладанию у них «центра» над «все», тогда как у греков «все» (лапы, «каждый пальчик») господствует над центром и даже заливаает его, даже «центра» вовсе не видно.

Они не делали: «лапа», потом «шея», а вот наконец и «хвост», где пушинка к пушинке и виден каждый волосок. «Все кончено» и мертвое произведение искусства «упоет посетителей музеума».

Не таков египтянин. Он музейев еще не знал. Но он знал другое: «поклоняться животному». И долго-долго бродя в полях, в садах, в шелку забора или иначе он наблюдал «божественного шакала».

И был умилен. И был восхищен. «Смотрю на шакала и кружится голова». И долгие годы он видел шакала и каждый нерв его был ему понятен.

У него был дар — делать, лепить. Не пользовался он им. «Еще искусств ведь не возникло». Но внутренне заговорило. И «помолившись тому же шакалу», — он вылил массу расплавленного металла «в эту минуту священного животного».

Смотрите ребра — «чуть-чуть». Шакал вечно голоден, и жиру не наростало. Но что я притворяюсь и пишу о ребрах, когда они ничуть меня не занимают. Но от кончика хвоста до кончика носа пронзает его «стрела Амура» — и вот в этом все дело. И об «Амуре» я не думаю, а оттого сказал, что он «со стрелой»: а в шакале я вижу «единую стрелу», проходящую от хвоста до носа. И вот он весь создан, сотворен «по этой стреле».

В нем нет «двух минут», — одна минута. В нем нет «вчера» и «сегодня»: он весь — «сейчас». Смотрите на его шею, в ее таинственных источниках. И смотря на него, я думаю: «Египтяне не даром боготворили шакала».

И вот эти недоделанные хвост и лапы — они все «в стреле». И вы чувствуете, что если бы художник стал отделять «пушок в хвосте», он вынул бы стрелу из тела и все тело повисло бы.

«Мертвое тело». Его-то египтяне и не выносили, как и евреи в своем богослужении.

«Не хочу мертвого». И они зажимали нос. И вот «случился шакал»: тогда египтянин бросил его всего «к жизни». И поистине, он свою медь также «бросал к жизни», как отец и мать зачиная шакала — бросали семя «в вечную жизнь»...

Ах, так вот откуда пирамиды и мысль «о вечной жизни тела». Да, они «сеяли семя» не как мы. Помните в Библии о сотворении мира: «и сотворил Бог деревья, — каждое *сеющее семя, по роду его и по подобию*». Шакалы, деревья, — все размножалось в Египте по этому особому «закону Божию»: как бы бросая семя «в вечность», в «нескончаемость времени».

Искусство египтян — зернисто. Оно рисует не формы, а «зерно» дела, существа, существ. Искусство египтян — центрально, искусство греков периферично. И египтяне могли бы сказать им, как и о всем: «Вы занимаетесь только пустяками».

Уши? Глаза? «Что ты скажешь мне, шакал?» О молчи: потому что все сказали твои формы, и речь была бы тавтологией.

Скажите, о которой Венере можно было бы сказать, что она «слушает»? Они все глухие, «глухонемые врожденно». Жалкие подобию существа. Но бронзовый шакал — это уже не «подобие», а сам «существо». И ни один зритель не скажет: «Я не знаю, слушает он или нет».

Но это — везде у египтян. Смотрите кошку: и вы не скажете, что она подумывает, «куда бы ей лечь и помурлыкать». Это не русская кошка, которая «мурлыкает», а египетская, которая есть «бог».

И вот этот мальчик<sup>1</sup>. У египтян — везде одно: тело также все собрано в «стрелу», все соединено проходящим через тело огнем, как вы не увидите

---

<sup>1</sup> Деревянная статуя «принца Эвибора», в Каирском музее; взята из «Истории Египта» Д. Г. Брэстеда; увеличена мною в 5 раз.

ни у одного из обвислых Аполлонов, которые как бы держатся за плечи ма-тушки родной, со словами: «Зачем же ты меня такого безжизненного роди-ла?» Каждая фигурка Египта говорит: «Я проживу 3000 лет», как каждая фигура уже века Перикла говорит: «Вот скоро придет Александр и все это «объединит» или разрушит». Вечность жизни. Короткость жизни. И корот-кость жизни дышит в самых великих мраморах Афин.

Посмотрите шаг мальчика: ноги его также поставлены, как шея у шакала. Все «ждет», все «в будущем». Посмотрите, как сжаты кисти рук: предмета нет в них, а хочется что-то сжать. И одна рука поставлена иначе, чем другая. Нет повторений — «из бутона — цветок». Все — «в завтра», все — «в жаж-де». Люди, животные и, наконец, цветы точно пьют воду и не напьются, ды-шат воздухом и не надышатся. И к ним, как и ко всему ветхому Египту, прило-жимы слова:

В те дни, когда мне были *новы*  
Все впечатленья бытия...

Везде — Озирис: бог древний, бог первый, и, по задачам своим («рас-тить и множить из себя»), бог юный, юнейший. Вечный «бутон» мира, как и его «могила».

## ЖИВОТНОЕ, ПРОСВЕЩАЮЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА

Можно сказать, не животное, а квашня. Какая грация, что? «Да, это уж не газель». «Не красивая антилопа». А такие в Африке есть. И вот эту сущую квашню египтяне усадили как раз на голову *hominis sapientis*, шепча: «Про-свети ее». И прозвали эту квашню, кажется, «Тотом».

И что-то есть, что мы понимаем как «идет». Ах, эта загадка линий и форм! — в них есть своя магия. Почему «идет»? «Можно»? «Не вемы». Но мы не поражены ни безобразием, ни невозможностью. Мы чувствуем, что так и надо «просвещать человека» и смирять его «гордый разум», дабы он не нагородил чепухи.

«Идет»... Таинственное «идет». Но я думаю, что «идет»: ибо это таин-ственный отпрыск «древа жизни»: один из источников его, каких в Египте бесчисленное множество. И любимеся, не понимая. «Так, так, Тот: учи нас». «Сиди квашней на голове». Как «Увар Уварович» со своим: «побарабанил что-то по столу и промышчал». Увар Уварович был стар, толст и тоже совер-шенно походил на квашню. Но когда Елена «билась в нервах» («Накануне», Тургенев), он что-то барабанил по столу и мычал. И та успокаивалась.

То же — Обломов.

То же — Петр Петрович Петух.

Может быть, Фамусов? Ведь он умнее Чацкого и колоритнее, красоч-нее. Может быть, Кутузов? Тот говорит вообще: «Не торопитесь, люди.

Солнышко зайдет и взойдет». «Век будущий будет похож на минувший». И жизнь вообще есть хроника, а не перемены.

И, может быть, это сенат Рима и ареопаг Афин? Во всяком случае это наш старый Государственный Совет. «Старички думают лучше, потому что у них брюхо толще». Это, во всяком случае, «старосты» и «старики деревни».

— Молодежь, не торопись. Успеете, все успеете и пожить, и умереть.

Post scriptum. Отчего именно в Египте сложилась эта нелепая фигурка<sup>1</sup>. Слишком горячо солнышко. И горячи, горячительны темы, над которыми трудился Египет. Всему они, через Тота, и дали ответ вечернего, вечеряющего солнца, — эпического и старого. Сочетали с тем безумным утром, историческим утром, какое переживали, тихий тон «говора под вечерок»...

«Все по традиции», «все по-старому»: и самая горячая молодая любовь.

## Выпуск VI'

### ПОКЛОНЕНИЕ СОЛНЦУ

(малое)

Так они поднимали руки к своему Солнцу...

Так они поднимали их благословенные.

— Солнышко, согрей!

— Солнышко, исцели!

— Солнышко, накорми!

— Солнышко, сохрани!

И солнышко не было глухо.

Видите: вот лучи из него. Но ни в Вавилоне, где тоже «поклонялись солнцу», ни мексиканцам, кои тоже «чтили солнце», ни уже, конечно, турым римлянам, которые от Антонинов и до Константина Великого — на его

---

<sup>1</sup> Как вообще можно заметить, вопреки римских и греческих фигур, «в позы речей», но на самом деле без говора в себе, — египетские фигуры все с безумным говором в себе, и я думаю оттого, что сами египтяне были традиционно и «по закону» молчаливы. «Говор» и выражался у них в фигурах (и даже отсюда у них совершенно неисчерпаемая скульптура и живопись). И не надо особенно гоняться за тем, какое имя фигура носила и какие легенды об имени рассказывались. «Рассказывали, что случилось». Но изваяние — это уже полная мысль (у египтян) и говорило «безграмотному народу», — «не читавшему папирусов», — все что надо, что велел сказать художник фигуре и что самому художнику велели сказать через фигуры жрецы...

монетах исключительно почти надпись: *Soli invicto* («Непобедимому солнцу»), — а только одним благородным и чутким египтянам пришло на ум или, вернее, «вырвалось из их сердца» — дать вид «человеческого милосердия Солнцу»... Но слова, эти мои, пусты и ничтожны: тут-то, увидев рисунок в «*Denkmäler*» Лепсиуса, я (метафизически) свалился со стула, увидев, «в чем, собственно, дело» и что *на самом деле значило* «поклоняться солнцу», — и значило, конечно (или вероятно?), и у мексиканцев, и у вавилонян, но только гений Египта нашел, изобрел, открыл, «как же это выразить?»

Одни египтяне. Одни и только. Ну, как их не назвать «Мудрейшими из людей». Греки, где *ваш* гений? И почему вы только ограничились «Аполлоном с лирой», каковое изображение есть поистине пошлость перед универсализмом египетского вот этого «милосердного солнца».

Человеки, — царь, царица, — протягивают руки к солнцу, простирают их в пучину света. Что же Солнце? Глухо? Немо? Но разве не слова Его — дела Его: и хлеб, и маслина, и наша жизнь? Разве врач, подносящий больному лекарства, не «говорит»? «Говорит» тем, что «дает» и что лекарство «лечит». Но у Солнышка есть и более отчетливая речь: к вдыханию царя и вдыханию царицы оно поднесло жизнь (египетский особенный «крест», символ и эмблема жизни, лекарства, всего вообще целебного):

— Подышите мною и будете жить...

— Не забывайте! Молитесь!!

Лучи его, все, все, каждый, каждый — оканчивается человеческою рукою. *Это-то* увидев, я упал. Но разве можно устоять. Ах, так вот в чем «связь человека и солнца»: в — Милосердии. И что человек чувствует себя всего, «с детьми и потомством, с хлебом и цветами, с жизнью и здоровьем», — объатым «руками милосердного Солнца».

Отец? «Отчее Солнце?..» Мысль за такую далью уж нельзя прозреть. В ту немолодую уже пору «фараонову царству» казалось, что солнце есть «Отец сущего и податель жизни»...

Что он «подает жизнь» — это-то они и нарисовали...



И вот мы, поздние циники, видим все это и спрашиваем себя: да уж не было ли какого-нибудь основания у них, действительно и о сю пору?

Гармония нас поражает. Гармония и благодетяние.

Ну что бы не быть не «солнышку», а «солнищу». Для такого чудища, перед которым Российская Империя есть песчинка в песчинке-планете, разве много было «напрячь чуть-чуть сил» и вместо того, чтобы ласкать и холить землю в лучах, так что «все растет» и человек «вот молится» — послать каменные огненные стрелы, которые расплавили бы людей и храмы, с гордым солнечным: «Не хочу».

«101 градус температуры» — и люди бы сожглись, а океаны испарились. Почему же не 101 градус, когда для сил солнца это, очевидно, только маленькое незаметное усилие?

Нет ли, таким образом, в Солнце, в самом деле, милосердия?

Не живо ли оно, в самом деле? Почему температура его не остывает? Отчего он Рим жег не больше теперь? Грецию не больше? Египет не больше? Да и вообще Солнце существует «довольно давно».

Кажется — давно. И не остывает. От Августа Римского до короля Гумберта оно не понизило температуры. Я знаю сам, что такое Неаполь в июле месяце. «Жжет, как при Цицероне», — который посещал Байи, где и я был. Нет, Солнце очень горячо. Так же. Почему же оно не остывает?

Не остываю я и мой читатель, потому что мы люди, потому что мы живы. Не остывают птицы, потому что у них выше человеческой температура, ибо «они будут летать в высших слоях атмосферы, где стужа». И вот у них «температура выше, а они не хворают». Как человек, ходящий по земле, и которому дано 37°.

Так не красота ли это? Не доброта ли это? Не смысл ли?

Боже, «смысл в Солнце». Как не упасть при этой мысли.

И вот оно пускает не огненные стрелы, а лучи «с таким расчетом», чтобы, перелетев от него к нам, «ласкали людей, не повредили ни одному животному», распределив с небольшими вариантами и температуру «воздушных, земных и водяных тварей» так, чтобы лучи его каждому существу «пришлились как раз».

Можем ли мы в солнечной голове (сказалось же) предположить счет «как раз»?

Но если «сосчитано как раз», то как же не предположить «счета как раз»?

Очень был. У кого? У Солнца? Но кто же «для земли» будет считать, «кроме солнца», раз другие-то звезды к земле даже и не относятся, — которая есть «крепостной» и «раб» одного солнца?

«Хочу — сожгу. Хочу — помилую». И милует. О, как очевидно.

И вот «март» — и всем хочется размножаться. Быки поднимаются на коров, овцы иначе блеют. Что это? Неужели от сил солнца — и наше размножение? Неужели мы все приходимся какими-то «зятьями» и «внуками» Солнцу? Этого и предположить нельзя.

Но настает март месяц: грезы иные, думки иные. И не у человека только. А у быков. И они — поднимаются.

И вот египтяне сотворили чудо: они поставили на голову коровы солнечный диск, а внутрь диска вставили нечто, что напоминает орган мужества: в другом месте нарисовав этот же орган, из которого льется семя. Сказав: «В марте месяце ты захочешь: но захочешь потому, что в солнце есть сила, зовущая в этом месяце поклониться себе и коров, и женщин, и овец, и коз».

И все поклонилось. Но египтяне одни за это догадались помолиться солнцу.



И еще посмотрите: солнце все залито кровью. Оно — полнокровно. В нем — жилы и пламень жара. Как и мы наблюдаем в органе, когда он желает.

## ЕГИПЕТСКОЕ СОЛНЦЕ С РУКАМИ

Первый раз, как в великом «Denkmäler» Lepsius'a, дойдя до соответствующего тома, я увидел это изображение Солнца, — я едва мог удержаться на стуле, чтобы не упасть: до того это изображение было ни на что не похоже, что можно было бы вообще представить себе о нем: ну — «греет», ну — «ласкает». Впрочем, «ласкает» — это уже слишком, это — Египет. Нет, «греет» уголь, огонь. Ну, растит зернышки; хорошо, даже очень хорошо. «Солнышко кормит всех людей». Далее, что заметишь: все животные «к весне совокупаются»: скажешь со славянами — «скотный бог», «Велес». Но... солнце с душой человека, с руками человеческими: это — невообразимо, это, можно сказать, люди «сами прекраснее солнца».

Но возвращаюсь к ходу своих мыслей: не зная еще египетской истории, — я принял это за «вообще египетскую концепцию солнца», и теперь, когда я давно уже знаю, что это — *не так*, что это концепция «царя-реформатора», Эхнатона, я возвращаюсь к мысли и уверенности, что Эхнатон вовсе не дал нового понимания, новой концепции Солнца, а лишь обнаружил то, какое внутри храмов, у священников египетских, давно таилось в сокровеннии, или сделал лишь очень небольшие личные прибавления, но ни в каком случае не совершил «религиозного переворота», не ввел «новогорства». Так как решительно «весь Египет», за тысячелетия до Эхнатона, «подводил» именно к этому. Да и вообще это есть только гениальная концепция, — более гениальная с графической стороны, — «понятия о солнце», которая жила во всех странах, почитавших солнце, т. е. в Финикии, Халдее, Вавилоне да и везде, решительно везде, не исключая мексиканцев, которые уж во всяком случае о египтянах не знали.

Но каково чувство европейцев, взглянувших на это разительное солнце? А вот оно (у Тураева). Они решительно ничего не чувствуют, как и перед внушающим трепет и замирание души «почитанием животных у египтян».

## ПРОВИДЕНИЕ КАК РАСТИТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ

Откуда у египтян родилась идея Провидения — это есть кардинальный вопрос для всего Египта: потому что без этой идеи едва ли бы они догадались и о прочих; и вообще их цивилизация едва ли бы сложилась так, как сложилась. Идея эта есть какая-то далекая, туманная... все собою обнимающая, звезды, человека... приоткрывающая завесу загробного существования. С

тем вместе в ней есть какая-то торжественность, умиротворение, покой, — и покой именно для души, — как и покой для царств, если бы они возникли. Потому что человек — лицо раньше царства додумывается до провидения: это мысль именно одного человека, это не мысль толпы, множества, шума. Наконец, сказать ли: это есть мысль молчания, молчаливого человека, — человека, не любившего разговоров, ухидившего от них к себе, в свою келью-молчание...

Но быть одному можно во мгле, в темноте, в унынии. Можно молчать и печалиться, молчать и унывать...

Пока не «кто-нибудь около тебя». Можно быть «не одному», хотя без третьего человека. Это: «я более *не один*», «никогда — *не один*», и есть чудная идея Провидения, какого-то безмолвного ГЛАЗА около тебя, который вместе с тем и в тебе, — но это глаз — широкий, бесконечный, точно ты сам в этом глазу, и он обнимает тебя как судьба. «Судьба», «судьба»... Теперешнее понятие, и мы не должны им оперировать, говоря об египтянах. Но в самом деле и у них едва возникло «Провидение», мысль о «судьбе всякого человека», о судьбе самого мира уже быстро, почти моментально сложилась...

Только бы увидеть «ГЛАЗОК», который на меня смотрит: и уж все прочее — понятно.

И тогда печаль превращается в радость. Уныние рассеивается, появляется улыбка. «Я более *не один*». У меня есть вечный друг, который на меня смотрит, но не из любопытства или подозрительности, а с заботой обо мне. И с заботой не о мелочах, не о пустяках, а об *общем*, — больших линиях моей жизни, именно — о Судьбе.

Кто же так смотрит, заботится? Кто этот благой друг? Пусть на этой строчке читатель захлопнет книгу и долго, долго ищет сам ответ на вопрос. «Самоупражнение» есть прекрасное качество не в одних училищах, а и в религии. Пусть погадает, поищет. А на завтра откроет вновь страницу.

Да нет, они нас вечно покинули: усопшие. Но не все, а «мои усопшие». Кто же «они»? От кого «я родился». Вот кого нашел я «около себя», кто живет во мне еще, хотя и умер. Связь «есть» и «было» найдена, связь «я есмь» и «будет» открыта.

«Я не один»... Действительно — «не один». Родители мне дали не только «жизнь», а дали в рождении, в самую секунду зачатия — и «Судьбу мою». Мог родиться глупым, но — «умен». Мог родиться больным, но — здоров. Мог родиться порочным, но — «слава Богу, думаю о добром».

И что бы глупый ни делал, он никак не может «перевернуть в себе рождение» и стать умным. Это уже умный догадывается о своем глупом товарище; еще о другом товарище, таком хилом, он догадывается, что он никак не может выздороветь, потому что были хилые люди его родители. И еще о третьем, которого провели на казнь, — что это, может быть, «сын преступников, которые пользовались почетом по недоумению, потому что их никто хорошо не знал».

Но они умерли? — Умерли и живут. Умерли и творят добродетель; или умерли и творят зло. Они перешли «в космогонию». Каждый «умерший», как только он умер, точно «переходит в звезды» и из звезд начинает управлять тою частицею мира, которая ему принадлежит. И никогда из этой «его частицы», — которая все множится и увеличивается, из «песчинки» превращается в «песок», — даже, наконец, «обильный как морской», он никогда из этого мирового песка не исчезнет. А будет в нем — мыслью, душою, рулем.

<Глаз-руль>

И вот все родившиеся — имеет о себе Провидение. Это — ГЛАЗОК из меня, на меня глядящий. Он — не «я», но и не совсем «не я». Он — БОЛЬШЕ меня, о — неизмеримо... Настолько, насколько «все предки больше меня»... Единый глаз рассыпается в мириады глазов, и все они мигают, обо мне и надо мною, как небо мерцающих звезд надо мною... Однако эти «все» сосредоточились в двух глазах: моих родителей, только отразившись в них и через них уже глядя на меня.

И вот я хожу «на могилу родителей» — на могилу «Судьбы моей». Которая всего меня «определила», «связала», дала «крылья», если я летаю, и дала ползание, если я ползаю. «Кто друг мне в мире — то это могила моих родителей». Которая — и там, на кладбище. Но — и «в доме моем», вот когда я сижу один.

<Дом с глазами>

И, взяв дерево, египтянин сказал: «Вот — я».

<Дерево, мужчина, женщина>

Потому что «себя-то» еще не понимаешь: а в дереве все так понятно. Никогда яблоня не вырастает из пальмы, а яблочная косточка никогда не дает из себя стебля папируса. Все — разделено. Все — определено. Определено тою косточкою, которая уже сгнила, и, кажется, ее *нет*: на самом же деле, невидимо и очевидно, эта «исчезнувшая куда-то косточка» не дает поднявшемуся над землею дереву, такому шумному и зеленому, отодвинуться ни вправо, ни влево, — вырасти выше, — родить лист из себя хоть с чуть-чуть иной окраской, иной величины, иной формы и расположения на стебле. «Если где Провидение — то в дереве». Еще строже, нежели надо мною, но то же самое, без иоты перемены. «Ибо и я под Провидением, п. ч. рожден. А дерево под Провидением, потому что родилось, как и я, растет, как и я, и умрет, как я».

«Посеял пшеницу — и выросла пшеница». Все дикари это делали: но египтянин первый упал со стула при этом, и цивилизация как благородное — началась. Ибо ведь и Ньютон всего только подивился великим удивлени-

ем: «Да почему же вещи, столкнутые с места, летят не вверх, а падают на землю». И открылось — всемирное тяготение. А перед египтянином открылась связь вещей, связь умершего и живого, и «вечный друг около каждого Рожденного».

«Нет вещей одиноких, ибо мы все имели родителей. И родители — из них никто не умер: потому что живем мы». Мир «я» вдруг расширился в бесконечность, вперед, назад, по сторонам, в прошлое, будущее. «А вот братья мои». «Они одной Матери». «И будут дети мои, когда я умру». Тогда не написать ли: «Дети»? Да и не написать ли: «Мои». Потому что я стал какой-то Большой: не как тот воин, который, идя в битву, — печально думает, что его «убьют и, все кончено». «Меня убьют» — ничего особенно не значит, однако при условии, если есть дети: и, идя в битву, — конечно, надо оставить уже дома потомство<sup>1</sup>. Но «убьют» — и «я не разорван», «не отделен». Мой «глазок» встанет над живущими как забота и любовь. И они будут греть меня своим дыханием: а я к ним прилечу на крылышках солнышка. И посвечу им утром и посвечу им днем. И обрызну их утренним лучом, и прошусь с ним и вечерним лучом. «А солнышко-то, — ведь оно вечно».

И нет тревоги и тоски, — однако при условии, если есть дети. У Моисея повсюду мелькающая строка в законах, о бесплодных или при угрозах бесплодием за порок, преступление: «душа такого истребится *из народа своего*» — прямо вынесена из Египта. Это сказал ему египтянин, упавший со стула при мысли о растении. Как из Египта и великая его строка, от которой много лет тому назад я тоже чуть не свалился со стула, прочитав после кратких «Историй Ветхого Завета», полные слова полной Библии:

«И сказал Бог: да произрастит земля зелень, — траву, *сеющую семя*, и дерево плодовитое, *приносящее по роду своему плод*, в котором семя его на земле: и стало так».

«И произвела земля зелень, — траву, *сеющую семя по роду ее*, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле. И увидел Бог, что это хорошо.

И был вечер и было утро, день третий».

— Как, в то время!!.. Странствующие номады! И такое понимание природы, которое читающим эти изумительные строки законоучителям XIX века даже не дано заметить, уразуметь, почувствовать и перенести в свои учебники!! Но ведь какую же тогдашние люди, этот странствователь по земле

---

<sup>1</sup> У евреев, если случалась война, — молодые люди никогда не брались в войны. Они оставались дома, и не несколько времени, а несколько лет. А как в супружество все и поголовно вступали 13 лет или около того, то не было «еврейского убитого воина», у которого уже дома не пицало бы 5—6 пискунов. Это не то, что у нас, у которых «до военной службы запрещено вступать в брак», потому что если «живой человек что-нибудь значит», то его потомство («ха! ха! ха!») никому решительно не приходит на ум. Скопчество, там где-то когда-то воссиявшее «новым разумом», получило свой «песок морской» в Рязанской и Тамбовской губерниях. Да и во всех странах с «новым разумом».

Моисей, «ботанику проходили»? А мы и «при ботанике», если бы начали сочинять на тему «сотворение мира», то сказали бы просто:

«И сотворил Бог растения, деревья, леса, луга...»

Мы непременно сказали бы ландшафтно, а ни в каком случае не сказали бы физиологично. Да ведь физиологии в самом деле еще не было!

Кроме одной: внимательного, внимательного рассматривания животных, подбираемых на жертву. Но зато — на ощупь. Теплое животное трепещет в теплых руках; трепещет, ласкается. И человек его любит, и животное любит человека. «Ты пойдешь к богу в жертву за меня. И с меня снимется грех мой. Потому что ты и я — одни ягнята в Божьих стадах, в Божьих садах»<sup>1</sup>.

<Рисунок жертвенного животного>

Они не знали картинок Брема, и эти игрушечки им были не нужны. Потому что над ними всеми уже вспыхнуло Провидение. Вспыхнуло и согрело, вспыхнуло и объединило; вспыхнуло и обратило и усέстрило.

«Я также умру, как ты. Я не камень. И камень вечен и не чувствует, а я временен — но чувствовать буду вечно».

Как травы, деревья и животные. При этом чувстве какие же «ландшафты»? Зачем? Не нужны.

И нет страны в мире нищего, одиночки, бездружного. «Хотя бы и всеми оставлен, и не нужен ни единому человеку в мире, никаких товарищей у меня нет и по характеру моему даже не будет никогда, — однако четыре глаза из земли, матери и отца, смотрят на меня с любовью как ни на кого в мире», и вот им-то я всегда «дружен». И это даже рок и для них, что они меня никак не могут разлюбить, потому что «я есмь». Великое «ЕСМЬ», которое не лежит одиноко — потому что «они БЫЛИ». И тут тоже почему не свалиться со стула при мысли перехода из «*есмь*» в «*были*» и из «*были*» в «*есмь*». Нет, больше, страшнее, пугливее: как из «четырёх потухших глаз» явились «два живые», — как из живого «были» стало сущее живое и новое ЕСМЬ.

---

<sup>1</sup> По Талмуду, жертвенные животные в Иерусалимском храме, предварительно жертвоприношения попились чистойшею водою из золотых храмовых чаш. Из золотых чаш и люди редко пьют. Разве что цари, первосвященники и священники. Все эти подробности указуют на такой *тон* в жертвоприношениях — *не унижение* жертвы, а ее чрезвычайное *возвеличение*, почти до божеских качеств. Жертвоприношение ни в каком случае не есть «убийство», — «зверское убийство» человеком-«зверем» «животного». И храм — не бойня. О, нет!! «Жертвоприношение» — тайна; неисповедимая тайна всего язычества, которое и разгадается не ранее времени, когда люди проникнут во внутренний секрет жертв. Тот факт, особенный и исключительный во всем язычестве, что в *Египте приносились же жертвы и вместе там обоготворялись животные, т. е., конечно, были боготворимы и жертвы*, простым «равенством двух величин третьей» показывает нам, что «жертвоприношение» где-то стоит в туманной близости к «обожению». Недаром у жертвенных животных передние две ноги Талмуд везде именует «руками». «И положи рядом две руки его и две ноги его». Это совсем по-египетски.

Рождение! Рождение!! Рóды, рóды!!

«Тайна надо мною, если я рожден».

«Чти отца и мать!..» «Чти! Чти!» И мириады строк с этим одним: «Чти».

Не за добродетели, не за качества, а за неизмеримо большее: за «*есмь*», в каком «*есмь*» уже содержатся какие-нибудь и добродетели и качества. Кто же чтит «прилагательные» больше «существительного». Все прилагательные, если они не «при ЧЕМ-нибудь» — без земли и суть пар и даже меньше пара; а когда перед лицом «ЕСМЬ», то уже из него вырастает что-нибудь.

«Есмь», «есмь». Ничего нет больше — «*есмь*». ЕСМЬ — самое большое на свете.

А все «родители». Источник, что «я есмь». Все их — роды; все их — любовь. Такой маленький воробышек, а родил слона. Потому что «моя судьба» — это уже слон. А они были «только минуту счастливы» и, кажется, «ничего особенного не произошло». Но уж «судьба»-то моя — во всяком случае, «особенное». История. Из «маленького родилось большее». Из «минуты любви» родилась моя «60-летняя судьба». Тогда это только кажется, что «воробей»: это — «воробей с бесконечностью». С письменами внутри. С речами внутри. Оперы, сказки, песни: нет, больше — «есмь» сказок, песен, речей, что все воистину ведь только приставлено ко «МНЕ». «Я есмь» — это бесконечность; и вытекло из того, что они «любились».

Даже один миг. А ведь мигов-то было у них много. И значит, вообще-то «их любовь» есть «бесконечность бесконечностей», — которая не осуществилась только потому что... почему, не знаю. Но понимаю, что если бы «что-то не помешало» — из них и любви их произошла бы бесконечность бесконечностей. А между тем они были такие маленькие и уже умерли. Тогда не притворство ли это? Не только ли «казалось», что они не большие и хрупкие, хрупкие и смертные, потому что «куда же столько богов»: а на самом деле мои «хрупкие родители» суть ВЕЛИКИЕ БОГИ.

Кто рождает — тот и божественен. Самое существо рóдов — божественно: потому что СУДЬБА отсюда, и — мне уж как хотите единственное и потому для меня-то по крайней мере — БОЖЕСТВЕННОЕ «ЕСМЬ». Так уж устроено, что оказывается вечно энергическое что-то в Я ЕСМЬ, по крайней мере для того, кто ЕСМЬ, преступника, глупца, все равно. «Моя звездочка зажглась», «гороскоп особенно сложен», нечто прибавилось в мире, — «на мою глупость» прибавилось, «на мое преступление» прибавилось; мир «побрюхател» несколько с секунды, как я появился, «есмь». И воистину и очевидно, что всякие родители «что-то прибавляют миру». Ну, а «прибавить миру», наложить новую черточку на мировую космогонию — это не так просто. Между тем с каждым родом это, очевидно, так.

Так что родители, если бы были без любви, т. е. родителями бы не сделались, то они и действительно «ничего особенного собою не представляли

бы»), и точно «их душа истребилась бы из народа своего». Но «божественное», т. е. «мою судьбу» они соделали потому, что им самим была выполнена «любовь». Они, пожалуй, «обыкновенны»: а «необыкновенное» их есть «любовь в них». Таким образом, опять мы видим «маленькое существо», в которое вложено «большее, чем он, существо». Геркулес, который лежит в пигмее. И не видно, ноги не выставляются.

Чудо — не в самом человеке, а как он устроен. И не в дереве, а что оно «плодовитое, приносящее плод, в котором семя его, по роду его на земле». Точь-в-точь о дереве сказано как о человеке сказано. И о человеке не больше можно подумать, чем о дереве, а о дереве не меньше можно подумать, чем о человеке. Но разве и деревья любят, «любятся»? Значит. Иначе бы не рождали. И судьба?..

Конечно: под деревом тот же «глазок».

<Дерево с глазом>

Суть — в «глазке», в «семени». В «родительском» во «мне». И «пелена судеб» — «гороскопы» в «гороскопах» — пролетать над миром в силу того, что от «Аристотеля» до «бузины» в саду все роняет «в землю семя свое» и из семени вырастает «еще Аристотель» или «еще бузина». Тайна — в скарабее. Грязный жучок и копается в навозе. Не видно, а «взяв в руки, — нужно потом вымыть руки». «До всего грязного дотронувшись, — надо вымыть руки»; но в Талмуде есть именно скарабеевская строка: «Кто, читая, перелистывал Тору (книги Моисея) и, таким образом, дотрагивался руками до пергамента, на котором они написаны, — точно потрогал руками навоз, в котором бегают скарабей: потому он ни к чему не может коснуться, сперва не вымыв руки».

Но «дети уже выросли» и сами понимают, как «рождаются дети». И, вздыхая, говорят:

— Божественный скарабей. Если бы скарабея не было, мира бы не было.

Так египтяне, ясно и отчетливо сознавая, что «скарабей есть жесткокрылое насекомое, ползающее в навозе», — маленькое, невзрачное, очевидно для всякого — умирающее, растаптываемое при неосторожности ногами, поместили его в солнце.

«Знаем, что мал. Но солнце не зажглось бы, если бы в нем не было скарабея».

«Солнце горит, потому что в нем есть любовь».

И посылает... Не посылает, а прямо руками передает на землю вечное — «плодитесь<sup>1</sup>, множитесь, наполните землю».

<Солнце и семья>

---

<sup>1</sup> Едва ли есть эта тавтология в полноте и законченности каждого Божьего слова, и по всему вероятно в оттенках библейских глаголов есть расчлененность актов «наполнения земли»: 1) «совокупляйтесь» («сеите семя по роду и подобию вашему»), 2) «множьтесь» («да творятся растения и люди по подобию и роду родителей») и этим 3) «наполните землю». Т. е. слова: «совокупляйтесь, множьтесь и наполните землю» несколько подскоплены при передаче на русский язык.

## СИМВОЛИКА, СИМВОЛЫ, ПОДОБИЯ И ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Неисповедимую, от начала мира неразгаданную загадку, составляет следующее:

Каким образом нечто, что: 1) всем известно, 2) всеми думается, представляется, воображается, 3) и как представляемое и воображаемое не оскорбляет души и не оскверняет ее, составляя (п. ч. ведь «думается» же) наслаждение ее, 4) что необходимо миру в такой степени, что он исчез бы весь через 100 лет, если бы «это» исчезло, 5) что и как совершение, и как факт (п.ч. «совершается» же) каждому совершающему приятно:

Каким образом «это самое», будучи названо, показано, обнаружено, — «заставляет всех разбежаться с криками». И больше, страшнее и загадочнее:

Действительно на него нельзя смотреть, оно не переносимо на вид?

Суть — в *виде*, в *форме*. П. ч. с *понятием* все оперируют, пока это есть *идея* — о ней не избегают говорить и с тем уважением и достоинством, какого требует предмет.

Что-то такое есть в *форме*... Суть именно в конкретном. «Понятия» — прекрасны, нужны, необходимы, благоговейны, чтимы. Как только от «общего понятия» мы переходим к «единичному [этого же понятия] выражению» — все разбегаются, закрывают уши и прежде всего глаза.

«Не можем видеть».

«Не можем слушать».

Мож. быть, окончательно это разгадается в «последнюю минуту мира», — разгадается, и тогда все станет «преображаться», небо и земля покажутся нам иными, новыми, да и в самом деле «станет все новое». Недаром говорится в страшной книге «Последних судеб мира» о какой-то «книге», которую «никто не разгибал», которая «за семью печатями»; и что «печати постепенно снимают ангелы», а земля в это время мучится, задыхается, живущие на ней невыносимо страдают; а что когда «все кончится», — восстанет опять какой-то древний город, теперь разрушенный почти, и запоется древняя-древняя песнь, самая древняя и старая, первоначальная... И приведется человечество, но уже массою умножившейся, к подножию «Древа жизни», от которого было отведено в сторону почти в первый же момент своего создания.

Ему как-то дано «множиться». Это — «пусть». Но совершенно не дано «взглянуть», «назвать», показать таинственное «множиться».

Это — тайна.

И вот в «среднем пути», от начала до конца, все двинуть «чем-то», чего назвать не могут и показать не могут. «Что есть страшное святотатство, если назвать или показать». «Оскорбление миру», «унижение всех людей». И — не называют, не показывают.



Отсюда произошла — символика. Т. к. понятие есть полезнейшее и благодетельнейшее, а «конкретного никто не может видеть»: то люди прибегли к «подобиям», «символам» и «аллегориям». Вся мировая символика есть символика «древа жизни».

## Озирис и Аммон

Впервые конкретно я натолкнулся в египетских атласах (ученых экспедиций) на до того явное преобразование «озириса» в голову «барана», что следя за подробностями перехода — нельзя усомниться, что дело изобретения заключалось или подталкивалось необходимостью «дать что-нибудь», от чего люди «не разбегались бы», — но к чему они могли бы относить все то уважение, какое они сохраняют и не могут не сохранять к нему в «понятии», когда дело не доходит до «конкретности». «Аммон» есть конкретная, зримая и называемая невозбранно форма Озириса:

<Ряд изображений>

Отсюда то явление, что «голова Аммона» — а вовсе не он весь — постоянно фигурирует в Египте.

<Барка;  
покойники под головами Аммона>

И вот уже Аммону они придавали все то «умиление», какое и *in concreto* придается в личных биографических и автобиографических сокровенных «свидениях с ним». Теперь они могли устраивать «аллеи сфинксов», ведущих к храму. Воздвигать его в огромных формах, праздновать ему праздники. Наконец, никакого не было препятствия к тому, чтобы у народа, через века и тысячелетия, исчезло даже представление о том, «как именно произошел Аммон», — «откуда взялась эта чтимая форма», а сохраняли это в ведении своем одни жрецы. И оставили вместо одной надписи на полях папируса: «Мир есть семя Озириса», ту красивую и неоскорбительную для слуха легенду, будто «мир произошел из слез Аммона».

## Знак жизни

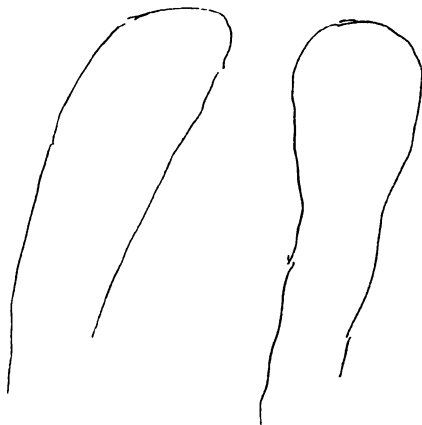
«Знак жизни»... Когда его смотришь на саркофагах, чередующимся с знаменитой статуэткою *Didon*, и смотришь его иероглифы, почти «строки», — и видишь у всех живых в руках и, наконец, в руках у «покойников», то, зная общую сущность озирианства в Египте, совершенно не можешь удержаться от простейшей и яснейшей догадки, что это есть то, что по «Бытию» и сотворило человека, там описанному, было первым услышанным словом от Бога, — плодитесь, множитесь, наполните всю землю.

Или, так как «плодитесь» есть то же, что «множитесь» и представляло бы одну тавтологию, то — совокупляйтесь, умножайтесь, наполните всю землю.

В самом деле: это есть простое соединение «какого-то пустого емкого мешка», трубки и стержня и двух откинутых в стороны стержней. Это есть просто — матка, правый и левый яичники и то, что в анатомиях именуется «рукавом». Именуется тоже почти символически. П. ч. на самом деле это не «рукав», т. е. необходимая для проживания часть одежды, а канал влагалищный. Таков смысл ясен, если взять несколько вариантов его.

### «Уреус»

Никакого отношения к «змее Пифону египетскому» не имеет, как думает Масперо, помещая изображение этой египетской змеи в начале своей истории Египта. Здесь мы имеем то же отношение, как к барану. «Не нужен весь баран», а — его голова. И «Пифон весь не нужен, а только его поднимающаяся кверху головка». Нужно, собственно, вот что:



И к нему почти не приделывался хвост и туловище. Другая змея, очень длинная, и которую я мысленно называл «скукою», тоже попадает в египтологию, — но именно к уреусу она не имеет никакого отношения. Озирисский характер уреуса особенно определяется теми странными «пустотами», какие внутри его постоянны и каких у «египетских пифонов» вовсе не водится, но если трешь зеленый лист между пальцами и сотрешь с него весь хлорофилл, т. е. зеленую окраску, то увидишь в прозрачной клеточке листа именно это самое зрелище «египетского уреуса». Это — «растительная кле-

точка», открытая египтянами, — в открытии коей они пережили, конечно, восторги: и подметили очень точно, что уж если чему, как оригиналу этих урейских символов, искать клетку, то, конечно, — ему. И в самом деле, ему и действительно присущи «пещеристые пустоты», наливающиеся кровью в тот самый момент, когда он начинает получать вид, в том «становлении», как присуще ему на изображениях крылатого Озириса.

## Древо жизни

Но величайший из всех символов, — уже не одной какой-нибудь части или ее состояния, — но целой категории всех этих жизненных явлений, — образует Древо Жизни. Это — действительно прекрасный символ. Он образует — род, рост, связь всех явлений. Образует «целое» живой мировой жизни, — и для этого действительно прекрасно выбрано что-то ветвящееся, «отходящее» от ствола и вместе с ним «связанное»; выстроена «лествица», все поднимающаяся к небу, все ширящаяся, точно пополняющая собою «поднебесную», — и как бы отвечающее на первый глагол Господен человеку:

— Вот, Господи: мы в одном человеке сотворим всех нас. И мы из одного ствола вышедши принимаем, как листья древа, солнечные лучи — свет солнца со всех краев земли. И благодарим тебя и за свет, и за любовь, и за жизнь.

## ПОЧЕМУ ФАРАОНЫ ХОРОНИЛИСЬ НЕ ПРИ ОСНОВАНИИ ПИРАМИД?

Хороним ли мы усопшего, мы кладем его на *дно* могилы. Это так естественно: прийти и положить, принести на плечах — и *положить*. Во всяком случае *положить*... Пирамида — гробница, могила фараона: в таком случае естественно было бы, что тело фараона будет положено в *основании* пирамиды, и она — воздвигается над *ним* как его «мавзолей», ну — храм посмертный. Но и в мавзолее тело кладется — *на дно*, на *пол*, *невысоко* над полом, если оно помещено в особую «раку». Так, в храме св. Петра в Риме есть усыпальница Ап. Петра: пол храма идет ровно: затем сделано в нем большое *углубление*, туда сходит папа и служит службу Апостолу, читает молитву перед его прахом. Но и в сем случае папа *спускается вниз*.

У египтян единственно приходилось подниматься от дна пирамиды — вверх, почти до половины ее... Половина пирамиды: это страшно высоко! Ведь пирамида — почти гора! Это есть каменный огромный холм, — и вот нужно было дойти почти до половины его, чтобы найти маленькую комнатку, где находится, живет, существует, казалось бы, «уснувший фараон».

В обычном костюме, правда, — нарядном костюме египтянина, «по всей форме», я нахожу разрешение пирамиды.

Тело фараона положено на «такой мере в отношении вершины и основания», на какой мере от середины головы и подошвы ног положены необыкновенные, исключительные украшения египтянина, — и мистического «переносного» значения.

Почему все египтяне это думали — постигнуть невозможно. Я могу только сообщить факт, который слышал и при слышании тоже «содрогался от страха», что в случаях казни через повешение преступников — наблюдалось, что эта часть у них становится «как изобразили у умершего египтянина». Слова эти я услышал от В. Т. Б-ина, который их сказал секретно, очевидно, тоже от кого-то узнал, м. б. медика. Но во всяком случае это можно проверить расспросами. Рассказывавший мне объяснял, что вследствие задушения кровь не попадает более в мозг; через то тело переполняется кровью и явление вызывается, правдоподобно, к жизни этим.

Но у египтян в основе лежало не это, а следующие их засвидетельствованные верования, что «всякий умерший становится Озирисом». В «Книге мертвых» так и надписывалось: «Умерший Озирис (имя рек) и т. д.». Вот это их мнение, м. б., основано на наблюдениях над умирающими. Мы этого не знаем. Но их мнение, что «умерший есть Озирис», совершенно выражает приведенные рисунки, где все — «прах», но «очистилось» — восстало.

Если так, то всякая ли пирамида (как великая постель) есть собственно храм Озириса: причем очень естественно, что фараон клался в пирамиде именно на ту самую высоту и вообще «в той пропорции от макушки до подошвы», где «озирианская часть находилась у живого».

Пирамида в сем случае становится совершенно понятною: это храм Вечного, каков им стал бранный человек после своей кажущейся смерти.

Если они были так важны: то ведь как радостна должна была быть мысль для того и как постарался ее запечатлеть «великими храмами»: что смерть есть не смерть, а начало Вечной Жизни.

Прежде всего здесь висит треугольник, и это так странно вместо ожидаемого или нужного фартука, т. е. приблизительного четырехугольника, что нужно сделать усилие, чтобы не представить себе  $\Delta$ , который составляет сторону пирамиды. «4 фартучка египетские» — и пирамида готова. Ведь никем не разгадано и то, почему в могилу взята именно пирамида. Но если бы мы могли понять, зачем и по каким «соображениям и тенденциям» египтянка носила треугольные фартуки, мы приблизились бы и к пониманию, почему выстраивались именно «пирамиды». Суть ее вовсе не в том, чтобы оканчиваться острою верхушкой. Суть в том, чтобы стороны были — треугольники.

Зачем эта лесенка: что она? Какое-то «восхождение», п. ч. по лестнице «подымаются». Или — нисхождение. Во всяком случае движение не по горизонтальной, а по вертикальной линии. Будет ли это «восхождение на небо» или «нисхождение в ад» — представления лестницы не избежать.

Но вот странные, неизъяснимые рисунки «скончавшихся египтян», которые изумительно каким образом не были переданы никогда в «истории

египтян», хотя с первого же взгляда очевидно, что тут выражено нечто, что нам никогда не приходило на ум и что составляет какую-то специальную мысль за 1 и 3000 лет до Р. Х., и одного юного Египта. Как «такую специальность» было не отметить?

Вот все варианты этого, какие я зарисовал в атласах ученых экспедиций. А я поспешил, конечно, зарисовать все.

Везде — он «умер» и его оплакивают: но не только не умерла, но восстала к жизни та часть, которая у живого часто дремлет, большей частью дремлет; и которую живой прикрывает таинственным  $\Delta$ . Он не прикрывал себя сзади, п. ч. сзади она прикрыта его телом. А с боков: именно потому, что «уснувшая» эта часть не видна.

## Выпуск VII

### Лица прекрасные

#### К БОЛЬШОМУ ПОРТРЕТУ ДЕЛИКАТНОГО И СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ЛИЦА

Посмотрите, сколько содержания в этом лице! Ни одного подобного у греков, у римлян! — Ей можно доверить тайну, и она сохранит ее. Обманутая жена доверит ей горе, — и она утешит ее. Осмеянный муж расскажет о

семейной беде, и она никому не перескажет. Она никогда не замешает себя ни в чьи смуты, и ни в каких мятежах не примет участия. Если даже и «худо идут дела», — она поймет, простит и обойдет вопрос.

Она семьянинка. Это уж не «нагая Афродита», до такой степени никому не нужная. И даже глупого Менелая она бы не обманула. А если нестерпимо стало бы — просто ушла бы от него.

Может ли она поступить в монастырь? Да, она подумала. Но осталась в миру.

Ее сущность — это деликатность.



Рис. 81.

(Альбом)

## К МУЖСКОМУ ПОРТРЕТУ

Ну, Аполлоны, убирайтесь вон. Приходят египтяне.

Что вы делали? Стреляли из лука? Это не важно. «Издыхал Пифон»? — Это отвратительно. Ах, еще вы «предводительствовали музами». Ну, это как-то несерьезно.

«Песенка поется», когда людям хорошо. А Египет и был занят тем, чтобы людям было хорошо. И что им было «хорошо», говорят вечные улыбки и вот это лицо.

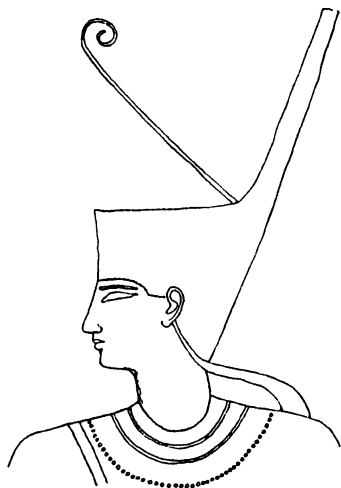


Рис. 82.

## К КАРТИНЕ (БОЛЬШОЙ) ЕГИПЕТСКОЙ СЕМЬИ

Ничего подобного, ничего к этому приближающегося, к этому даже протягивающегося — нет во всем всемирном искусстве. В живописи, равно и в скульптуре.

Только тоскующие песни человечества, только одна музыка имеет «кое-что в этом роде»...

Картина потрясает. Ее нельзя забыть и — НИКОГДА ЗАБЫТЬ. Ее помнишь как вечный прототип семьи, как вечный идеал семьи. Как то, что нас зовет и чего мы не умеем достигнуть.

Нежность и глубина лиц, деликатность и благородство линий — лица, рук, шеи, — особенно шеи... И эти таинственные губы, которых необычайная толщина нисколько не отталкивает, не отвращает, ибо она нимало (почему? почему?) не антихудожественна, не груба, не чувственна почти... и только передает наблюдающему потихоньку эту сцену о какой-то длинной традиции в целом ряду поколений безмолвных поцелуев...

которые были долги и безмолвны и душа отлетала в них...

она улетала в селения Озириса и Изиды

и когда «опять очнулась» — едва помнили.

И губы росли: как растения, поливаемые живой водой.

<Живая вода из уреуса>

<Живая вода из сосуда>

Как что-то, что умащается миррой...

И стали как бы органом в органе, как бы лицом в лице, развившись во что-то самостоятельное и целое...

Как вырастает у дышущего, у тварей земных, в одном случае «хвост павлина»...

И в другом случае — рог. Олень.

Еще у птиц — голос. У голубей — воркованье.

И у всякого — своя красота. У цикад — их стрекотанье.

Но у человека сюда, именно сюда, в губы перешла и переходила массовая энергия жизни...



Все грезится и не может забыться. Как СУХИ все рафаэлевские рисунки около этого египетского изображения. Что у Рафаэля собственно семейного? Мать и ребенок — да. «Что-то небесное в красках» — да. Но собственно рисунок, «то, что взято в сюжет». Палитра его была небесна, — «искусство взять краски». Но еще? Но сцены? «Ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз он передвинуться не мог». И потому что жизнь, «виденное» — собственно не давала ему сцен, зрелищ, опыта, наблюдения.

А из самого не росло. Как, впрочем, не росло и ни у кого.

Многозначительность египетского изображения сказывается в том, что хотя эта картина, по-видимому, представляет апогей, выше которого и египтяне не могли подняться, — однако из серии других рисунков, выражающих нежность и ласку, мы знаем, что все основные моменты данной картины уже сложились «везде вокруг», что египтяне приблизительно так, да и совершенно так, обычно ласкались, нежились, нежили друг друга...

везде у них эти же дотрогивания концом пальцев до подбородка...

...протянутые руки...

...протянутые к обниманью. Но — не грубому, не «прижиманию к себе».

Никакого давления. Свобода.



И еще заметка, и она внушается опять Рафаэлем. У египтян явно, что нежность выросла из самой семьи. Это здесь она нежится в своем соку, вытекшем из «него» и из «нее», свободно, самодельно, без подсказывания, без внушения. Не как то, что «нам задано» и «мы должны». У Рафаэля этого нет, и «глубина» его — сколько она есть — явно «задана» сюжетом. У него есть «урок», которого если он «не сдаст», то и картина его не будет помещена туда, куда он желал, чтобы она была помещена (католическая церковь). У египтян вылилось свободно. «Мы благодарны только Солнцу». Правда, оно им «бог» (Ра). Но тут другая тайна: полное слияние «божеского» и «природного». Это «солнечное» и вместе «божественное» так же тянет к «божественному», как к «солнечному», но и одновременно к «солнечному» оно

тянет так же, как и к «божескому». Этим двух тягот в таинственном мерцании друг другу мы никак не должны забывать, отчетливо их выделять, «не смешивая, не разделяя».

— Ах, мы растем, как растения. Только — растения. Но ведь и они — от Бога. Как мы.

— Чуден наш рост. Чудна любовь. И она от Бога и Солнца.

— Кто остановит растение в росте его? И кто остановит нашу любовь?

— Да и никто не хочет останавливать. Ни растение. Ни нас.

— Потому что Ра.

— Он бог.

— Он бык и корова.

<Апис и какая-нибудь корова>

— И между звездой и звездой, между травой и фараоном, и нигде — нигде, ни на земле, ни в мире всем, нет ничего, ни которой былинки, которая не благословляла бы нас, как мы благословляем ее.

Как же тут не вырасти любви во что-то исключительное, всеобъемлющее. Без «помехи». И не распуститься ветвями, корнями по земле, по материку, вползя в храмы, перелившись в Нил («Нил есть Озирис» — верование их), заползя в хлевы, в стойла лошадей, в стада.

— Играй, музыка. Потому что вся земля любит.

<Музыкальная сцена>

## К ПОРТРЕТАМ ЕГИПЕТСКИМ

Изучайте лицо человеческое. Изучайте лицо человеческое. Изучайте лицо человеческое.

Хотите ли вы узнать эпоху, время, цивилизацию: сперва всмотритесь в лицо человеческое.

Не торопитесь к летописям, к памятникам. Все это поистине «успеется»...

В памятниках ничего не записано, кроме «обыкновенного», «общего». Какие были цари. Какие были войны. Это все скучно и не нужно.

Люди о себе сами не знают важного. Ибо лишь когда пройдет их «время», — важное их откроется другим: именно — тем, которые этого важного уже не имеют. Между тем «важное» их и вместе с тем их «повседневное» именно отпечатлелось на их «всегдашнем лице».

Смотрите явное и тайное в лицах. «Над»-ноготное и «под»-ноготное. «Грех» их, «слабость» их...



Смотрите «беса» в лицах. И если не увидите, скажите просто и ясно: «Это — боги».

Смотрите — грех, преступление, окаянство в лице: и если не увидите — скажите: «Они были невинны».



*Рис. 83.*

Какие губы... Какое сложение всего рта... И глядя на этот страшный рот, будто слышишь из-под Земли глухой крик Ламеха: «Адоаа и Циллиа — послушайте слов моих! Вы, Ламеха жена — прислушайтесь к говору моему!.. Ведь если бы я ударом своим убил человека, — побоем своим ребенка убил...» (Быт. IV, 23).

Тогда вы заложите фундамент: и, перейдя к «памятникам», изложите:

«Войны каинитов»,

или

«Воинства ангелов кинулись на воинства Сатаны».

И напишете или страницу из Мильтона, или страницу из Иловайского.

Этот египтянин пел:

— О, пойте пески Египту. О, пойте пески Египту. О, пойте пески Египту.

— И ты, Деворра. И Мариам, вытащившая меня за ногу из воды.



Рис. 84.

Куда вы разбежались по заграницам, по периферии. Это не нужно. Вернитесь все к центру. Египет дал миру солнце и бутон. И быка, из которого бутон и солнце.

Вернитесь все к могилам нашим. Посмотрите, какое чудище Дерево из сих вырастает. Мы от того и запаковывали их так крепко, что знали: некогда будет День, и все народы к нам придут.

## К ПОРТРЕТУ ИЗ ШАМПОЛИОНА:

«Les monuments de l'Égypte», № 22



Рис. 85.

Такие-то всеблагие матери рождались у египтян. Или, вернее «делались», постепенно «совершались» (вечное «das Werden» Египта). Это, верно, египетская «матушка», поповская супруга (да не рассердятся «наши» за приближение к ним). Посмотрите, посмотрите, посмотрите, сколько благости в лице. Нет — в шее; куда нам «до головы» мечтать. В этом странном движении рук. Оне не протянуты, а верно положены на колена. В левом плече при соотношении с правым. Что она, задумалась? Ждет мужа? Нет, она смотрит на тихий вечер. Тихою душою на тихий вечер. Отличие лица, что в нем ничего нет «недостигнутого», упрека судьбе, досады на мир. Какой-то абсолютный покой, — но не тупой, «наш».

— Господи. Я сыта. Продли дни мои.

Вот все.

Это лицо я бы внес во все храмы мира, во все религии, как «законченное». «Как полное примирение неба и земли».

29 сент. 1916 г.

Ах, читатель: перестань читать историков. Что они тебе скажут? О походах? Все, которые «ходили», уже умерли. О религии? Но в этом лице религия. Ты в этом лице можешь прочесть религию до самой глубины, до «донышка» и «за донышком», — притом без «подробностей», которые ведь могут и обмануть. Тут же *Summa summarum*, «итог всего».

Изучай, читатель, не документы, а лица. Лицо есть самый важный документ истории, которого нельзя «подделать» и нельзя ничем «опровергнуть». Ибо оно есть. Ты видишь? За этим лицом строй царства: оно не колебалось. Религия: в ней не сомневались. Жрецы, цари: они не обижали. И Нил родил хлеб. И не один год, а века. Ибо в этом лице — века. Еще что: да, дождей не было. Облаков или не было или совсем мало. Еще что: коровы хорошо рождали, быки хорошо зачинали. Видишь, сколько узнал, читатель. Для чего тебе знать путаницу времен? Путаница прошла, и слава Богу, что эта сплетня прошла. Путаниц поистине «в каждом времени достаточно своих», и незачем выталкивать их из прошлого. История — это «пыль улеглась». И вот когда «пыль улеглась», все входит в свои границы и получает истинные и вечные очертания. Тогда говорит не «случайное» и не «сегодня» — не «сегодня за 3000 лет до 1916 года», которое какое же имеет преимущество перед «29 сентября 1916 г.», кроме того, что тогда и там не шел дождь? Не «сегодня» Египта важно, а — века. И века — в лицах. Века еще в трудах (пирамиды). В каналах, в работе, в земледелии. И посмотри: лицо ведь это не праздное. Особо поставленные руки, поворот в стане, наклон головы не говорят о праздности и беззаботности.

А говорят, что самый труд был гармоничен и спокоен.

Вот сколько узнал.

## ГРУДИ, КОРМЛЕНИЕ «НА ТОМ СВЕТЕ»

### *Монашеская*

Неужели вы, смертные, решитесь сказать, что это не молитва? П.ч. иначе зачем же так лежит ободок около шеи? И так она поддерживает грудь? И настолько именно, не более, он поднял голову? Это монашеское, полное смирения покрывало, у нее на голове? Конечно — это молитва.

И преобразование в молитву питания грудью — сущность Египта. И достигнулась она тем, что после всех рыданий, плачей — «когда встретимся опять там, я опять выну грудь и ты будешь сосать сосок, для тебя и ребенка от тебя приготовленный от века».

### *С душой и змием*

О, священное питание женскими грудями... Его открыли египтяне: что надо питаться не дифирамбами Анакреона, даже не старыми песнями Гомера: а тем, что всего старше в мире — грудью женщины. Из которой младенец пьет будущий разум свой. И которыми, если бы питались взрослые, они бы не унизились до унижений Вольтера и сарказмов Гейне: а были бы велики и благи, как коровы, бараны и быки.

Как агнцы и теляточки, изливающие кровь свою для ближнего, а не берущие от ближнего себе кровь.

*Маленькая;  
она — в короне с зубцами*

Когда-нибудь начнется всеобщая цивилизация питания женскими грудями.

Ясного, открытого, правдивого.

И тогда потухнет гнев твой, о справедливый Некрасов.

И желчь у Добролюбова пройдет и он улыбнется.

И Вольтер скажет: «Теперь я верю в Бога».

### *Вообще*

Египет открыл категорию грудно-кормления...

Открыл, осознал и освятил...



Он так же, с такую же обширностью и богатством последствий, для всех цивилизаций и в религиях у всех цивилизаций, открыл ее, как *Nouvelle Revolution a decouvert*: «l'egalité, fraternité, liberté»<sup>1</sup>.

Но совсем с другими и богатейшими последствиями: он вдруг «возвел в религию» всех человеческих матерей. Поставил в дому икону в углу: зажег перед нею лампаду. Согрел наши думы.

Слава, слава Египту!! И будем ходить по цивилизациям и возглашать: «Воздайте славу египетским мудрецам».

— Взгляни на Неаполь и умри (география).

---

<sup>1</sup> Новая революция напрямик: «равенство, братство, свобода» (фр.).

— Зачем я поеду так далеко. Да и дорого. У меня есть дешевая жена, всегда под боком: я расстегну ей ворот и погрузусь в Египет. Который мне слаще Парижей, и Венеций, и Неаполя.

Смертные, неужели вы забыли, что Отец всех так же любит деревеньку, как и Париж (но и Париж, как деревеньку). И соделал каждому крестьянину, и мещанину, и купцу радости, каких не знает больше и первый вельможа царства.

В лоне жены он имеет себе отечество. И такое дорогое, как были Фивы для египтян.

И «кто любит жену» — имеет «Эдем и Библию у себя под подушкой» и ему не надо ни географии, ни истории. Которые пришли «совсем после».

## НЕЖНОСТЬ

Что ты все призываешь, Розанов, к нежности? Мир нежен, но не показывает этого. Потому что он стыдлив.

Потому что он все больше и больше погружается в трясины с цивилизацией. И если Адам, «застыдившись» надел «препоясание из листьев», то теперь пришлось бы закутаться «с макушкой» в простыню. Он весь — один стыд.

И скрывает. Лучшее скрывает. Ах, «лучшее» давно ушло «в сокровенья». От этого-то мы и основали свои «тайны».

Таинства для Озириса.

И таинства для Изиды.

Мир заглох. Показал наружу одни гадости. Банки, газеты.

Но что он истинно любит и что истинно хорошо — у нас все в ночь.

И вот в ночи — он истинен. Тогда он любит хорошее. И любит любовь свою. И не стыдится быть нежным.

Мы же, которые жили «пока», — и на нас не смотрел никто: когда мы были как Адам в раю, и вся наша цивилизация есть «Адам в раю», — мы так и жили, как вы теперь — ночью.

И ласкались, и нежились, как вы ночью.

И подносили пальчик к подбородку друг друга.

<Пальчик к подбородку поднесли>

И обнимались.

Открыто. Ясно. Как мотыльки в воздухе.

.....  
.....

Только более глубокое и страшное — мы уже и тогда это боялись показать.

И унесли в тайны.

Таинства.

Оставив наружу одни символы:

Цветок.

Палец.

Но эти символы — ты найдешь у нас везде. Потому что они обнимают весь мир. Как и мир обнимает соответственное этим символам. На барках:

<концы барок священных  
с сосанием пальца>

в солнце

<ребенок сосет палец в солнце>

больше же всего в Изиде

<голова Изиды сосет палец>

Но утешься. Мир воистину нежен. Он не похолодел еще, но спрятался. И у вас, поздние шалуны и мальчишки, есть вся прелесть шалящих детей: но она вся унесена в ночь.

Ночью вы бываете прекрасны, как дети, — прекраснее сухопарых римлян; и иногда в лучших случаях в вас просыпается подлинный Египет.

## ОТКУДА ЭТИ ЛЮДИ?

Не знаю, все ли отвернут этот лист, чтобы «посмотреть что-то такое, чего я могу и не смотреть». Отяжелели рученьки у христиан, устали ноженьки... Устали, даже и не ходивши, отяжелели, даже и не работавши. «В скорби есьмы»... Ну, — и в некотором легкомыслии.

Да что читатели, — мои читатели... Разве ученые от Шамполиона до Бругша и Д. И. Введенского, коему в нашей печати принадлежит последняя книга об Египте, испортившие глаза над книгами французскими, немецкими, английскими, над греческими книгами, над латинскими книгами, над коптскими рукописями, над папирусами и иероглифами, — видевшие все эту картину, пересняли эту картину, видели, все знают. Почему же нигде в истории Египта она нигде не воспроизведена? Ах, ведь это не «мумия Сезостриса», дошедшая чудом до нашего времени; не «вид пирамиды Хеопса», которая, впрочем, сложена из такого же камня, как и все очень большие

здания, — и которая вообще есть камень... Они «видели» и «перелистнули дальше» атлас Лепсиуса, думая: «А дальше — будет дальше, и, может быть, мы увидим интереснее».

Не тронуло. Не тронуло это изображение никого из ученых, потому что у них закаменело то место, которое вообще «трогается»... И даже этого ленивенького: «Это все-таки оригинально и, кажется, нигде в древности нам не попадалось», — они не сказали в себе...

Между тем «мумия Сезостриса» (я видел ее, — или вообще какого-то древнего фараона, — в Мюнхене, — и, посмотрев с полминуты, с равнодушием и брезгливостью отвернулся) — есть просто «мертвая голова», с проваленным отвратительным носом, и пустыми ноздрями, и — *ровно ничего интересного не представляет*, как всякая решительно мертвая человеческая голова. Безобразная у меня через 50 лет, как у фараона 3000 лет тому назад, — и у фараона безобразная, — как будет у меня. На что тут глядеть и что хранить??? Ее надо было, вынув из пирамиды, опять благоговейно вложить в могилу и пирамиду.

Ах, все мертвые уже не интересны...

Но живые?

Глядите.

Муж, мать и двое детей. Передний, протягивающий ручку к подбородку матери, — явно *сын* лет 3-х, 5-ти. Сзади барельеф обломился, часть головки — почти бесспорно — *дочери*, несколько старше, лет 7-ми. Между мужем и женою проходит солнечный луч, который... как это не видано нигде на памятниках Древности, хотя есть множество сохранившихся памятников от других народов, которые также поклонялись «Солнцу и Луне, и звездам»... оканчивается ручкою, выпустившею крест — символ жизни (позже я объясню этот крест). Так вот как *очеловечивалось* для них Солнце... Оно «с руками», которые мы только не видим; да и видим мы их, но не понимаем, что *оне держат в себе жизнь и дают ее, несут ее* всей Подсолнечной, от человека до былинки. Это — лучи. Они звенят. Они пахнут. Ведь «солнечный день» и у нас пахнет не так, как «сырой день», темный день... Увы, как наш обыкновенный «болотный день», с департаментом поутру и с картишками к вечеру. Но забудем «нас», умрем или замрем «о-нас»: вспомним юность и рай человечества, который халдеи представляли между Ефратом и Тигром, но египтяне верно представляли у себя, дома. Зачем им было мечтать о «прошлом» или о «будущем», когда на рисунке дано явное «теперь ЛУЧШЕ всего»... Благие лица явно ни в чем не нуждаются... В них нет скорби. Неодолимо я хочу сказать: «Нет греха». И почему? Природа и душа адекватны. Нет *уступа*, ни — вверх, ни — вниз.

Еще раз взгляните на *лица*... Заслоните рукою, например, все лицо молодой *матери*, кроме *нижней его половины*: и вы увидите в сложении губ и подбородка такую деликатность и нежность, какой, конечно, никогда не видели в пошлостях греческих «Афродит», выходящих из пены или стоящих на раковине. Еще и еще раз смотрите, как я сейчас смотрю: и вы увидите,



что это смотрит именно *мать*, а не женщина, не «знакомая» и «соседка», со всей неизъяснимой глубиной и трогательностью материнского ощущения. О, физиология... она когда-то была священной. Она была Царица, а не судомойка (теперь). Теперь она ничего не охраняет, не спасает: потому что, что может вообще спасти «чужая женщина», судомойка. Она вымоет, вычистит, возьмет плату и уйдет. Но физиология или иерейство?

Другое дело. Люди как бы «сваривались из священного мира» совсем иным способом и по другому способу и из иных, отборных и исключительных трав! О, Солнце... пошли эту «ручку с крестом» в наши радости, в наши восторги, в нашу любовь: и «крест и жизнь» войдет в то, что из нас родится... *Состав человека* делался другой, не из «греха, проклятья и смерти», а... какой-то бессмертный, вечный. «Пирамиды! Пирамиды! — стройте пирамиды: ибо мы не умираем, когда кажется, что мы умираем, — а только переходим «куда-то»... Куда? Мы доверяем Солнцу-Человеку, о нас пекущемся, что переходим куда-то, где еще лучше, чем на земле».

Теперь взгляните на «хозяина дома» и «главу жены своей»... Едва я сказал эти термины наших дней, как у читателя сморщилось лицо, и он тоскливо и скорбно оттолкнул: «Не надо! Не надо! — говорите не теперешним языком, а египетским языком».

А на «языке Египта» не было этих грубых понятий: «хозяин», «глава». Знаете ли, египтяне были «царством», с «словами», с трудом: но у них, после трех тысяч лет цивилизации, *не зародилось денег!* Да. Только когда он был *уже вторично покорен*, т. е. когда после владычества Камбиза и персов наступила эпоха греческих Птолемея, — появляются в Египте первые *деньги*. Раньше не было. Не удивительно ли? Была торговля, ремесла, воздвигли величайшие в мире здания, пирамиды, со всею их изумительною техникою, — а «как делать деньги» — не догадались. Почему не «догадались», о чем давно догадались и греки, чеканившие монету уже с 6-го столетия до Р.Х., и в Малой Азии; и в Китае «догадались» чеканить монету за тысячу лет до Р. Х. В Египте же не «догадались», потому что верили на слово, на память, — и потому что у них были вот эти лица, не денежные, а нежные...

«Отец семьи» и есть «отец семьи», не догадывающийся что из его «отчества» вытекает «господство над женою» или еще «хозяйство и экономика в дому». Факт лежал как факт: «любились», «рождались». Что же «еще» и особенно что «потом»? «Что отсюда следует?» Катехизические вопросы. А египтяне родились до катехизиса и не изобрели катехизиса. «Потом» будет то же, что в прекрасном «теперь», т. е. этот мальчик и эта девочка «полюбятся» и у них «опять родится». «И пока солнце посылает лучи, оканчивающиеся ручками — будет вечно и все рождаться, еще рождаться, опять рождаться... А мы будем строить опять пирамиды, с мыслью, что рождение — никогда не умрет».

## НОГА КОРОВЫ

В малодушии и думая, что читатель скучает текстом страниц и хочет утешить взор на красивых рисунках, я выбрал из Масперо: «Искусство египтян» и из Брэстедовой «Истории древнего Египта» (1915 г.) несколько рисунков диадем и ожерелий женских: когда, проснувшись в ночи, подумал внезапно и весь засиял в этой думе: какая измена Египту и позор для души «ему верного» засорять страницы всем каменным хламом, который не греет души, не укорачивает тоски, тогда как если приложиться щекою к теплому боку коровы, то сейчас почувствуешь, что у нее сердце бьется, как и у тебя, а кожа под ухом твоим как-то собирается и ёжится, и она вся чувствует тебя, а ты чувствуешь ее, и оба вы уже «два», а не то страшное «один», что человек чувствует «в бриллиантах». И египетские-то царицы имели основание носить диадемы, ибо оне их уже не охладили: так как оне были согреты и горячи до диадем, и надевая диадему, чувствовали: «Я — сыта, и тогда давай и это»; но «тощие коровы» (сон фараона) Европы никак не могут надеть диадем: ибо что же за зрелище — мороз, голая женщина и колье на шее из камней.

И, кроме того, — это вообще мусор. И вы можете судить о достоинстве книги по Египту из присутствия этих диадем или из отсутствия этих диадем. Есть оне — и книга пустая; нет их — и книгу можно начинать читать. Что такое диадема для Египта? Это печальные души русские, печальные души английские, печальные души французские, печальные души итальянские утешаются и забавятся камнями, когда на сердце тоскливо и пустыня, работы нет, денег много и праздности слишком много. Но что такое оне для народа трудолюбивого, занятого и торжественно-молитвенного? Ничего. Сор. «К выбросу». Или так — чуть-чуть и минутно позабавиться; выразить «вот еще и через колье» мастерство рук, пальцев и глаза. Но для всех египтян, для каждого решительно египтянина нога коровы

<Нога коровы>

была выше диадем: в которых ведь кровь не течет и пульс не бьется:

<Диадемы царские>

И даже мысль египетскую я выражу, если сочетаю вот так:

<Козленок, сосущий козу, стоит над египетской и папской,  
и королевской тиарой>

О, печальные души европейские, о печальные души европейские. Вы празднуете юбилеи и именины, и дни рождения: когда это одни слова. Ибо

вы не помните и не имеете основания помнить дня зачатия своего, а без него какие же у вас юбилеи и почему именины?

Без праздников. Без внутренних праздников. И тогда обрядили шеи и головы свои диадемой.

## Выпуск VIII Священный блуд

### БУТОН

А что, благочестивые читатели, не поскакать ли нам около этого бутона?

<Бутон>

Вы, пожалуй, посидите, а я поскачу.

Дело в том, что я забыл в точности его: и мне приснилось, что бутон «сломился в ножке» и болен. Умирает.

Умирает бутон — умирает мир.

Когда бутону не жить — миру не жить.

И египтяне его охраняли. Они построили ему храмы. Только ему одному. И все храмы, величиной с версту.

А он такой маленький. Но он больше всякого храма.

Бутон «заболеет» — мир «заболеет»; а все кирпичные здания развалятся — ровно ничего не значит.

Люди построят новые, такие же легкомысленные. И новые развалятся. А бутон действительно могут «раздавить», а вот родить его никто не сможет. И могли это только его отец и мать. Они — одни, его — одного. И поэтому «раздавленного бутона» нельзя возродить силами всей цивилизации, между прочим даже и египетской цивилизации. И египтяне знали это и ставили бутон не только выше своих храмов, но на вопрос: что, бутон или вся их цивилизация священнее, не решились бы ответить: «наша цивилизация». Оттого они себя считали в матерьяльной действительности, в живучей жизни — обыкновенными, а бутон считали необыкновенным и поклонялись ему как богу.

### «ВЕЧНОЖЕНСТВЕННОЕ» ЕГИПТЯН

«Вечноженственное» египтяне и представляли с той именно стороны, что в женщине, во-первых, — *вечно*, и, во-вторых, — *именно женственно*. Но что же это как не прекрасные ее *сосцы*, а еще прекраснее — *живот*.

Вот так:

Так они и рисовали в истине ее природы. Не исходя из ложного и не пытаясь ее подменить.

А поняв ее так, эту женственность, они ее милую толщину передали и тому или, вернее, той, кто как бы включает в себя квинтэссенцию жено-сущности — Изиде. Смотрите:

Но это египтяне дополнили рогами коровы. Что такое *женщина* и почему только женщины? Что за пристрастие к антропоморфизму? Нужно брать не женское и женственное, а — *жéтино*: и в одной мысли объединить все твари, поскольку они суть супруги. И вот мы видим: середина — женщины, лапы — львицы, голова — с рогами. Но они захватывали и глубже: брали и цветы, хотя по отсутствию в то время микроскопа могли только догадываться, что и в цветах есть что-то женское, и там — дети, девушки, женщины, старухи.



Она несет в себе этот же прекрасно раздувшийся живот, по-видимому, не беременный, но и вне беременности тянущийся стать в размеры и формы беременности. «Это Я вот — женщина, — и такова наша *вечная сущность*».

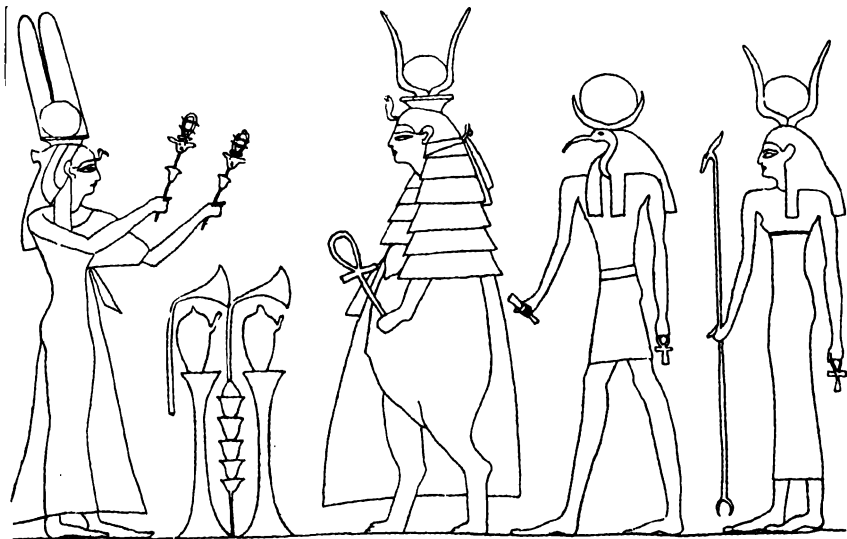


Рис. 86.

Посещая здесь, в Петербурге, в старые годы Александровский рынок ради разыскания там хотя каких-нибудь греческих и римских монет, я был поражен зрелищем: из лавочек выбегали, перекидываясь крикливыми голосами с завыванием на конце, совсем юные еврейки. И вот из них половина, очевидно молодые жены, были «в таком положении», — и так приятно было видеть эту юную до детскости беременность. Тогда еще Египтом я не занимался. Но было приятно смотреть: «Вот народ, понимающий, в чем женская красота». Она — просто в беременном животе, который всякого мужчину волнует сочувственным волнением. Когда, позднее, я приступил к атласам египетских экспедиций, Бонапарта, Лепсиуса и других, — я вдруг увидел в них «мой Александровский рынок». Та же тенденция «порисоваться животом», нимало его не конфузясь (у христиан) и почитая его славою. Еще — это уже волнующая тайна. Тип еврейской и греческой красоты совсем разен, и вообще полагается, что греческая красота — выше. Но все признающие это однако соглашаются, что в некоторых разрозненных случаях еврейки представляют тип столь исключительной высоты красоты, как это осталось для греков недостижимым. И именно, через одну тайну: что у них уже в девушках проглядывает мать, т. е. в округленных грудях 14-летнего возраста точно мерцают будущие отяжелевшие, висящие, длинные сосцы. «Я буду кормить! Я буду кормить!» Это — Изида. В еврейской красоте, у избранных и, соглашаюсь, немногих, — есть какая-то влага, что-то влажное, сыреющее, «коровье»: но — в девушке 14-ти лет и до замужества. Еще мне было передано, с отвращением и смехом, что еврейские барышни, курсистки и прочее, садясь, имеют обыкновение так широко раздвигать ноги, что «противно видеть». Рассказано мне это было в 1916 году бесплодными русским мужем и женой, и я согласился, что «гадко». Что делать: «Tout le monde veut»<sup>1</sup>. Но срисовал из египетского атласа следующую меня взволновавшую картину:

<Сидит девушка,  
широко раздвинув ноги>

Какое совпадение, — *до сих пор*, — поз, манер, приема «сесть» и «поставить ноги». В этом рассказе русских, и в том зрелище Александровского рынка, и в необъяснимо высоком иногда типе еврейских девушек сохранился тон Египта, вынесенный из Египта, подчиненный его закону. «Всякой хочется быть телкой». «Всякой хочется войти в хлев и побыть просто телкой».

<Изида — корова в цветах>

И вот она постоянно кормит: ребенка, мальчика, — уже подрастающего.

---

<sup>1</sup> «Все желают» (фр.).

Она — с юношей, обнимает его, но — как мать:

Она — везде в Египте:

<Ряд матерей  
и с коровьими лицами>

Не от нее разве началась молитва?

Ей приносят цветы и жертвы.

И припадая к вымени ее, ее сосут цари.

Иногда — одновременно с телятком.

«Вечная женственность! Вечная женственность!» Она закружилась в вихрях Египта — и закружила эти вихри в себя. «Ты не будешь сух, Египет! — ты будешь вечно житницей человечества, пока среди тебя стою я и моя Небесная Влага».

<Корова со звездами>

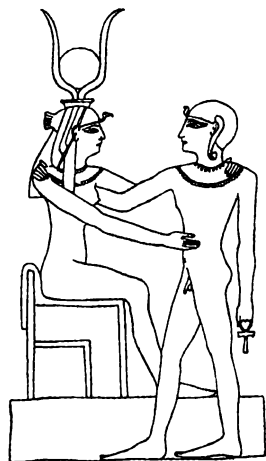


Рис. 87.

И поля Египта тучнели. «Изида! Изида! Ты даешь нам хлеб и зерно, из тебя — колос... из тебя теленок... из тебя мир или, по крайней мере, половина мира...» Потому что еще полмира — из Озириса.

Влажность. И я не хочу Изиду называть иначе как Вечная Увлажненность. Ну, а как окрест ее и колокольчики, цветы, везде цветы, много цветов, то уже неодолимо называешь ее и Вечною Ароматичностью.

...и мы окружены и до сих пор и все «изидами», «изидами», «изидами», в матерях — во-первых и всего благоговейнее, в дочерях — заботливо и нежно, в сестрах — дружелюбно, до — благословенного хлеба. И конюшни. И поля. О, Изида: ты обтекаешь материки океаном и без тебя они засохли бы. Но как ты есть, — то мы вечно будем пить **ВОДЫ ЖИЗНИ**.

И русские не все с тем подсыханием себя, как те двое, которые подсмеялись над манерою еврейских девушек садиться. За разные годы жизни я был счастлив получить несколько писем, свидетельствующих об удовлетворительном состоянии русских **ВОД ЖИЗНИ**.

## МОИСЕЙ И ЕГИПЕТ

«Видимое» Египта Моисей сделал невидимым. И учредил праздник «Песачим», «Пасху» — в память того, что «извел евреев из плена Египетского», «из рабства и из труда египетского».

«Исход, исход!» — «Отделение, разделение».

И повел манием руки: «Творю все новое».

А в одном мифе из Талмуда я прочитал:

— А что делали евреи при переходе Черного моря... И еще вопросы разные — о других, но все со значением, «что они делали». И последнее: «А что делали женщины еврейские во время перехода между двух стен разделившейся воды, готовой их поглотить».

И прочел, сказанное старцами, и запрыгал. Ответ:

«Еврейские женщины кормили в это время грудью детей, — с верою, что воды не сдвинутся и не поглотят младенцев и матерей питающих».

Но это — не те ли ангелы, охраняющие кормящих матерей, какие египтяне нарисовали в храме Ермента (вкладной лист).

А вот — и Агнец закланный, какого евреи закалывают на Пасху.

Его я нашел в храме мистерий египетских, в большом храме Дендера.

(Рисунок)

И о самом Синае — не всеми помнится, что он весь — исключительно для гор — обелискообразен.

7/VIII/917

## ВЕЧНОЕ АФРОДИЗИАНСТВО

— И когда вошла она...

— Все ее заметили...

Т. е. все ее пожелали.

~

— Желаемая: вот и все касательно женщины.

Тут ее ограничение и полнота.

~

Но это же ничего еще другого не значит как:

— Я солнце и все лучи на меня. И эти лучи — семя. Я — вечно обливаемая.

~

Бесполо — значит, и без жизни. И нет христианства. Я все-таки не понимаю, как же его «выводят», как же оно «нужно»? Оно и не нужно и не выводимо. Оно просто реторика.

~

Реторика на 2000 лет...? Какое красноречие.

Рыба (икра). Рыба была посвящена (на одной монете Кизика) Афродите. А жиды в субботу (к вечеру с пятницы — на субботу) едят «щуку».

«Фаршированную щуку» (т. е. еще начиненную яицами куриными), как посмеиваются у нас.

Посмеивайтесь, посмеивайтесь, русские. Как-то вы засмеетесь, когда придется дохнуть. А без рыбы —дохнут.



Я не понимаю, как «Константин с ума сошел»? Как можно было предпочесть девок бабам и холостых господ семейным? А ведь к этому сводилось все. Сводилась сущность и зерно.

Беззерность?

И он взял скорлупу с вытекшим содержанием. Красил. Раскрашивал. Перекрашивал. Построил из нее домики. И вот эти «домики» — рушатся.

Просто — ничего нет.

«И поют песнь Моисея» (Апокалипсис). Я не понимаю, почему же так долго держалось?

Все непонятно. Все непонятно. Все непонятно.

Мне непонятно самое начало христианства? Самое возникновение. Неужели можно было основаться на красноречии?

«И бе слово»... Ах, все слова. Так неинтересно.



В христианстве нет рыбы. Нет сотворения. Нет звезд. Что же есть?

— Политика.

— А, это другое дело. «Папы» и прочее. Но это Гиббон, а где же «я плачу и кто меня утешит» (жена).

— Roma locuta est<sup>1</sup>.

Ну, брат, щука вернее: она действует.

Поел и через 10 месяцев ребенок. Жена похоронит, а сын помолится. Папа же о всяком человеке забудет: ей-ей, у него так много «на поклонении» и самых «юбилеев» тоже было так много, что он в конце концов о всяком человеке забудет.



И вот «она вошла и всем нравится»... Нет, я что-то другое хотел сказать. Я хотел сказать: «Вошла на бал — и все взглянули с желанием»... Так на самый бал уже мужья приводят с тем, чтобы «всем нравилась и все ее поже-

---

<sup>1</sup> Рим высказался (лат.).



дали». Какое бесстыдство. Да, но космогония. «На звездочку не посмотришь напрасно», а заплати. — «Чем же заплатить?» Странно, что «мужья всем должны немного предложить своих жен, — за то, собственно, чтобы полюбоваться звездочками».

Это понимал Пушкин, написав (у Щеголева) из деревни письмо Natalie, что ведь за нею ухаживают на балах, собственно желая п..... ее п.... грубо и по-египетски (мистерии). Но на самом деле и существенно — так.

И она декольтируется. «О, это уж меньшее, что я могу». «Меня так долго никто не п.....» (Пушкин). Какой ужас. Какое солнце. Какая щука. Пыль и звезды и вечно несущееся что-то. «Дурашка, зато ты обоняешь цветы и любишься на звезды» (жена мужу). «Поделись немножко женой, и за это ты будешь обонять до могилы цветы и любоваться век звездами». «Ну, что тебе»...

В самом деле, «что тебе»? «Зато ты пьешь от коровы молоко». «Кофе — душист поутру...» Звезды, путешествия в разных странах. Мир право хорош. «Ущедрил Бог мир». Но и ты же за это не будь так скуп в отношении единственной меня, «овечки — как ты говоришь — своей», и дай мне полетать пыльцою по Вселенной, и пролететь дымящею кометою даже и до миров иных.

«Бог тебя ущедрил. Будь и ты щедр к Богу. К Богу и творениям его».

И мужу так хорошо, что он «ущедривает». И вот «звезды горят» и все хорошо.

Если бы женщины не танцовали, звезды не горели бы. И если бы в Египте не было мистерий, мир погас бы.

А как оне «танцовали», то и вечно «улыбались». «Моя звездочка далеко катится», и «кто-то меня не забудет».

Нет, я что-то еще хотел сказать. Я хотел сказать о:



Я хотел сказать, что не греки, а египтяне угадали «вечную Афродиту», потому что вечно женщина родит в мужчине одно определенное и лучшее желание соделать из нее:



Даже когда она бледна и задумчива, даже если вся «мадонна» — она с младенцем на руках, т. е. мать. И девушка (греческая Афродита) действительно совершенно не нужна, безрелигиозна (еврейская точка зрения) и «выброшена со счетов», всяческих и мировых. Девушка — не сотворена (Богом). Ее «сотворяет более муж», чем отец. Отчего «муж превалирует перед отцом» в судьбе ее. Перед отцом и матерью. Не чудо ли это всемирного быта, и цивилизации, и уставов, и законов?! Как же ошиблась Афродита греческая: как она вся скрючилась, жалка. Как, едва она зарисовалась, сгипсилась (гипс), окреморилась, — так она и потянула в могилу греческую цивилизацию.

«Именно — не нужна».

Напротив, «Афродита египетская» дала вечный, на все времена, безусловно на все пределы и времена, канон женщины, из которого не вышло и христианство. Как захватил ее и Апокалипсис («Жена рождающая в солнце и звездах и луне»). К «концу времен» (Апокалипсис) даже этот канон еще расширяется: взять момент и муки рождения, и все «созвездия около нея»... Взяла именно космогоничность, и «гороскоп» и небо. Дальше уже мыслить немислимо... Ничего еще нет, нет пределов. И все это:

— Желание к ней.

Таким образом:

— Желание — это пульс.

И мир бьется под сердцем матери как младенец. Ах, так вот где эти «Астарты», «Кибелы» и все «неприличные богини Востока». Суть именно в этом:

— Я — желаема.

И желанием полон мир. Так вот отчего горит и движется мир; почему звезды не мертвы и не неподвижны; почему клубятся туманности. Все от

Озириса. Озирис льет семя. Но на что? Нет, на кого? Это-то и есть «мировая Душа» — она в самом деле есть вечная Женщина обливаемая Озирисом. «Мир есть семя Озириса» (запись жреца на краю одного папируса). Это именно,



Рис. 88.

как я нарисовал в каком-то тумане мысли.

Томится мир. Томится душа. Что такое «Афродита греческая» перед этою космогониею? И так понятно, что в Библосе воздвигали в храме просто



Рис. 89.

И — ничего еще. Ничего не надо. Как понятно, что они взяли быка, а не мужчину. Что они все «увеличивали» и «увеличивали» фетиш. И все «купола» создали «по образу этому». Совершенно правильно. И никакой еще мысли — религиозной. Как вся религия и все религии выросли собственно из этого.

И вот — обрезание.

Обрезание и ничего еще больше не нужно. Ни молитв, ни таинств. Как это просто сказано, совершенно:

— Обрежься.

Авраам долго томился, не соглашался. Из слов: «и напал ужас великий на него» (во сне, перед жертвоприношением, как бы введение к заключению завета и к обрезанию), видно, что операция показалась для него чрезвычайно страшной, дикой, необыкновенной. «Зачем это? Зачем в завете?» Бо ничего не разъяснил:

— Обрежься и ты будешь вечно религиозен.

— «Как? Что? Почему?» — но и до Апокалипсиса с его «Поют песня раба Божия Моисея» евреи, конечно, и остаются одни истинно религиозны. А «Павлово благовестие» как-то зыблется, дрожит, туманится, колеблется.

Евреи все практикуют. Они во всем свободны. Ничем не связаны. Везде живут, смешиваются жилищами. И кажется нет их — кроме толпы. Но толпа-то эта вечная. Толпа эта никогда не умрет.

### БОГ и ЧЕЛОВЕК.

Государство? — Не нужно. Цивилизация, искусство? — Зачем!.. Что же «нужно?» — Лавочка. Как средство пропитания. Человек должен быть скромн на земле. Он именно должен содержать лавочку, а в пятницу на субботу съедаь щуку. У него, но только невидимо, тоже горит



А жидовки, на Александровском рынке, самые молоденькие, ходят как богини и львицы, буквально в жарке:



И все веселы. Нет меланхолии. В «религии» никогда не может быть меланхолии, а только тихая задумчивость «о Боге своем», выраженном через фетиш:

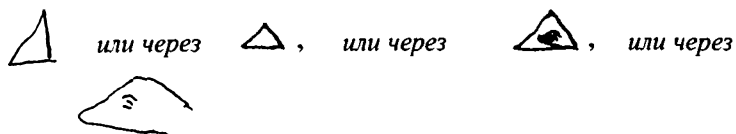


Рис. 90.

Мир — животноеобразен, или главным образом он *голово-образен*. И вот «мы любим Бога», или как Давид сказал в псалме:

«Как лань желает на источники воды, так душа моя желает к Тебе, Господи».

Религия не должна быть запутана; это — «наши наряды», поистине «воздвигнутые на пустоте». Религия должна быть простая, ясная жизнь, больше всего полная практики (польза ближнему), и просто — память о Боге. Внутренняя скрытая память, которая, как и сердце, — должна биться в груди невидимо. «Поменьше разговоров о религии», и — «никаких споров».

«Так желает душа моя к Тебе, Господи».

И все — «желается»... И все — «хочется»... Да «что»? Да «как»? «Обрезание» слишком ясно говорит, слишком просто говорит «омойся», «очистись», «будь здоров, силен» и съешь щуку, которая действует, как мандрагоровый плод. Будет потомство сильное, деятельное. «Не надо царств». «Особенно не надо политики». Все эти «вавилонские башни» государственности только печаль одна, песок и зыблемость. «Лавочка вернее». Лавочка — просто «день за днем», и — ничего более и далее.

«Праздник наш в субботу», а не в тронах, не в славе, не в победах. «Вавилонских башен не нужно, когда есть суббота». Она есть совершенно частное дело, при котором «каждый еврей уравнивается с Соломоном», и которая не у единого человека не отъемлется, «даже и до скотов». «И животные — субботаствуют». Суббота, собственно, — в мироздании. От того звездочки горят и нет смерти и даже покойники изводятся из могил. Смерти нет, смерть побеждена, смерть только «доселе» и мнима: а на самом деле и как египтяне уже догадались:

<Ряд покойниц кормящих грудью  
мужей своих и сынов своих>

Персефоны восходят из гроба, и не то сынов своих, не то мужей — опять начинают кормить грудью. «Как я бледна. Оживи меня, сын мой... не то сын, не то муж... взяв грудь мою и пососав ее».

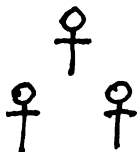
Родство. Нет в мире ничего, кроме родства. Нет ничего, кроме Единого. Все раздельно, но и сливается тоже все в одно. Родство и есть «разное» — это, во-первых, и «единое» — это во-вторых. Без «родства» мир был бы «не связан», рассыпался, скорбел, был в унынии и потух: а как есть «в звездах родство», то он и не может никогда погибнуть. А что он «не может погиб-

нуть» — доказываемся тем, что он «и до наших печальных времен не погиб», хотя, чтобы ему погибнуть, — было времени достаточно. О, поистине достаточно.

И нет тления или оно временно. «Мир есть пульс», и нет могил. Нет костей умерших. «Как ты говоришь, что это могила, когда в ней — Озирис, и мы почитаем усопших?! Как можно говорить о каких-то усопших, когда сердце наше изнывает по ним, когда воистину усопшие еще живее живых, огромное, еще оживленнее неизъяснимым оживлением; и то, что мы зовем «раем праведников» — и воистину есть рай, если только они хорошо едят жуку и правильно и с верою радовались на земле:

Покойника душу взвешивают

а «весы» —



Все прекрасно, если человек живет с доверием. Если он верит, что мир действительно прекрасно сотворен, и нет в нем уродств, изъянов и ошибок. «Нет лишнего пальчика». Все уродства происходят из того, что были безумцы, предположившие мир шести-палым и начавшие резать «шестой палец». История началась с преступления, она началась именно «Каином и Авелем», когда добродетельный Каин принес только Богу одни плоды, и осудил Авеля, принесшего Богу нечто от крови. «И убил брата своего, и затрясся от страха перед Богом». Он «пожалел животного», захотел «отрезать шестой палец», а вместо этого попал в сердце брата. Все хорошо, даже и смерть (жертвы). Если мы будем верить и в смерть — мы воскреснем. «Жертвоприношение» есть «воскресение».

<Нога быка в звездах.>

<Бык — в звездах.>

И вот «вера в быка» оправдывается. Бычье начало есть тоже обрезание. «Обрезают только бычков»: девочек — нет. Почему их — нет? Какое умаление, бедствие, уныние? Все они должны радоваться, «с быками» и через быков они приобщены и к обрезанию. «Лота история недаром читается вслух», и не без причины Ориген счел сих дев прекраснее наших христианских жен. Все должно делаться серьезно, что — серьезно. «Оне пошли в путь всея земли», а «не пойти в путь земли» — все равно как если бы солнце «в эту пятницу не взошло, с намерением взойти в следующую пятницу». Явно, что тогда бы «вообще не взошло», и Павлово «*даяй* — хорошо поступает, а не *даяй* — лучше поступает» содержит ту кривизну и фальшь, что хотело выразить мысль: «Вовсе не нужно *даять*, иногда — *даять*», да он не посмел этого выразить вслух. Он «закрыл Солнце», но поистине «ладоня-

ми»; и сам его не увидел, но от человечества его не «закрыл». И Лотово деяние, Лотов узкий и последний путь — он все-таки должен совершаться, когда все дождит и солнцу «никак нельзя взойти в эту пятницу». «Не загорай уст волю молотящему». На самом деле, конечно, «не волю» (оскопленному, «кладенному», по-христиански), а быку. И быку не должно быть положено предела.

Только он входит в мертвяшную мистерию, телушка не входит. Потому что она не несет семени, а приближается к семени, как его *implicata* (сотворение Адама без Евы, ибо в Адаме уже включена и Ева) (до того *slum*, неволен и необорим брак, до того он «доходит до Лота»). На самом деле, есть одно озирианство, а нет изидианства, и Озирис содержит в себе полноту и изидианства. «Двух» нет — изначала. Ибо если бы изначала были два, все было бы разделено, и, как изначала разделено, — то было бы и пусто, мертво. Суть родства — в стяжении. Суть в том, что «соотносится». Суть в том, что «пусть будет целое», а «части уже влиты», — как тени и подробности. Суть в том, что где будет «гора», будет и дол: и «голов», и «долин» в финикийских храмах не изображалось, а одна «гора». Это и образует «монотеизм».

Все «в обхвате», «в лобзании». Оттого миры «кружатся»; кровь «кружится», все — бежит: и недвижности — нет ни в чем. Вот отчего «недвижности-то нет ни в чем»? Казалось бы, «сотворил» и «стой». Но мир весь «в качаниях», «покачиваниях», мир весь «в желании». В «разделении» и «томлении». Воистину «Озирис и Изиды» или «Иегова и его Шехина».

И это до подробности: я желаю. Мы желаем, меня желают. Это «гора» в финикийском храме — ее так же «желают», как она «желает». И миряне или библиосцы поистине были счастливы, бросая на храм свои взгляды: «Он меня желает, а я его желаю». Какая удивительность. Какая невозможность. Какая прелесть. Какая сжимаемость в объятиях, — какое это великолепие, что самые храмы как бы сжимались в объятиях и не разжимались, замирали. И как тут было быть не горячо. Горячо.

«Но нужно поделиться». Иегова не уступает всего и человек тоже не уступает Иегове всего. То-то бесспорно: «Иегова есть муж израиля». Запечатлено. В тысяче словах. И — самым телесным образом, непременно — телесным, со всеми подробностями. Но как же тогда «она»? Совместность. Этого никогда на ум не приходило ни одному богослову, что ведь из «Иегова — муж тебя», происходит таинственная совместность, совмещение, и как? И в чем? Страшно выговорить: но не это ли пыл, когда, вводя на бал жену свою, с открытыми грудями, муж кидает ее во взоры — «желайте».

Переплетается. Переплетаются страсти. Переплетаются огни. «На эту звезду падают лучи всего неба». Но «и на все небо падают лучи каждой звезды».

— «Как мне укрыться от тебя, Боже?»

— «Есть ли желание мужское, от которого была бы я укрыта?»

— Нет бедной овечки; нет такой бедной, которая бы от всякого уже укрылась.

Тем лучше. Нет пыли. Есть только солнца. И мир царствен, потому что он весь и без остатка солнечен. Ибо где ты думал: «наименьшее» — увидел: «наибольшее».

Так, не так ли глядит на нас смирение? Нет, не глядит — а опустилось к лицу лицом. Больше — опустилось на колени. «И нет его». И подняли мы голову его: «Ты-то и есть наше избранное».

Потому-то и мигания, мерцания. Потому звезды мигают. И все вуаль, и все туман. И все — дрожание. А «твердое» — это самое «нетвердое».

И обнимает Бог человека, а человек обнимает Бога. Это — «в совместности». Таинственная совместность, таинственное совмещение.

### ...ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «НАГИЕ БОГИ»

Я просмотрел целый мир «изображенной нагой женщины», в труде: «La déesse nue babylonienne. Studes d'íconographie comparée par D-r G. Contenau, élève diplômé de l'école de Louvre. Paris, 1916» (см. рис...), и мне хочется сделать об этих изображениях, относящихся (в общем) ко времени более чем за две тысячи лет до Р.Х., несколько замечаний.

В начале и *исходе* этих изображений поставлено то, что в книге именуется гадким медицинским термином «mons Veneris», — термином XIX века, употребительным в лечебниках дурной болезни, в порнографии и у гимназистов нехорошего поведения. Но тогда как же вышла отсюда «богиня», а не та худая порнография, которая стоит в душе и уме гимназистов, лечебников и отвратительных беллетристов? *Богини* не могло выйти, в *религию* эта нагая женщина не могла попасть. Она и должна была остаться на той «мостовой», где образовалось слово, откуда взято понятие. Явно, что «mons Veneris» явилось *не первым в истории, а последним в истории*; и оно явилось, как результат долгой, или тысячелетней или многовековой работы ума, имевшего исходною точкою:

Любовь,

смерть любимой.

Надежду увидеться за гробом.

Добро от любимой.

Благо. Рождение. Дети.

Скажут: но схема-то уж очень проста и первобытна. Отвечу: «схемка» и «дурной чертеж» ничего не доказывают: 1) «иконки», «образки», «идолы» делали не Праксителы (когда религия уже умерла, оставив одну эстетику), а делали «Иваны» Элама, Вавилона, хеттеев и пр. Это были люди рабочие, землепашцы; а каждый даже образованный, если он на месяц перестанет писать, а займется ручным трудом за сохою или с топором, то, взявшись «вновь за перо», почувствует, что почти не может писать, рука дрожит, пишутся каракули, а в изображениях «выходят одни черты», грубые первона-



чальные схемы «как бы ледникового периода». И это даже в наше время, «когда мы знаем художества».

Нельзя вообразить вообще, чтобы «со схемы самого детородного органа» пошла религия... И пошла так далеко, как она ушла в Вавилоне, в Египте. От детородного органа, solo, — могла пойти лишь порнография и «дальнейшее падение нравов», с развалом всей цивилизации. Между тем как вышло ее усложнение. В чем же дело? «Элементарный чертеж» в две-три линии ничего не доказывает, не знаменует. Мы должны открыть *древность* или точнее *первоначальность* из преемства сколько-нибудь возможной мысли, сколько-нибудь предположимого размышления тех древних людей, подлежавших совершенно всеобщим законам морального и умственного суждения, и должны это сделать, опираясь на оставленные ими чертежи. В этих чертежах мы должны найти этапы древнего размышления: вопросы, ответы и заключения, — посылки, предпосылки и выводы; вопросы, недоумения и твердую точку.

Твердая точка, на которой все кончилось, — *богиня*. Едва вызрела мысль о «небесном», о «не-земном», как все дальше пошло уже само собою. Религия стала развиваться, усложняться. Не можно ли допустить, что начертавший первый чертеж из поставленных в ряд (черт...), сказал, подумал:

— Вот отсюда я или мои потомки — мы будем изводить богов и богинь.

Отсюда, из зрелища этого явно и могла возникнуть одна порнография, как мысль только о ней рисуется гимназистам, медикам и даже ученым ориенталистам. Не только не может быть, но и действительно нет никакого *прямого перехода* от изображения мужского или женского детородного органа, fallus'a или montis Veneris — к религии. Таким образом, вся схема развития «древних религий», насколько она строится на этом начале, — а «это начало» безусловно в них входит и это засвидетельствовано памятниками, — зачеркивается. И «ряд изображений», с этим начертанием в исходе,



явно разрушается.

Это просто глупо и нелепость.

*Религия, высокое* — могла двинуться не иначе, как придя к изображению детородного органа после веков или тысячелетия размышления вовсе не над органом in se, а над загадками любви и ее ignorabimus, рода и его ignorabimus, зачатия и его ignorabimus, — роста всего живого и его ignorabissimum aeternum<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> непознаваемый вечно (лат.).

Почему все живое растет?

Оно одно. Оно всегда.

Почему поражает его смерть? Его одного поражает. Почему вздыхания, плачи? «Можно бы об умершем и не вздыхать», которого ведь «нет», и значит, ему «не больно» и его «не жаль».

Почему жена хочет убиться у гроба мужа? Муж хочет убиться у гроба жены?

Почему «дети так растеряны, когда умерли отец и мать»?

И вот когда как стрелы пройдут через душу эти вопросы, — эти и еще другие *такие же и большие*, но вопросы именно *великие, жалостливые, страшные*, — и опалят душу огнем неугасимым, так что она вся зачернеет в крыльях и задохнется во вздохах, тогда у смертного поднимутся глаза к Небу, — и ему будет оттуда сказано:

— об загадках *mons Veneris*,

— об загадках Древа Жизни.

Тогда, и только тогда, не ранее, он небрежно, схематически нарисует рукою:



И вот после всех этих размышлений и плачей отсюда потечет уже не порнография, а религия...

Окруженная вздохами, слезами...

Поднимутся боги, богини...

Как эти:

<Богини Вавилона поднимают подолы>

Они будут терять умерших мужей:

<Похороны египтянина>

и верить, что эти умершие пошли в Провидение... И что «там» есть таинственный «Дом», где есть Бог.

<Дом, и — глаза возле него>

И еще верить, что муж «встает» «там» именно как «муж» и «для жены» своей:

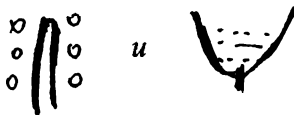
<Озирис с растениями над фаллюсом>

Или — просто:

<Озирис с фаллом>

И что «там», как на «земле же», богиня, в которую обратится по смерти и жена его<sup>1</sup>, будет, как и на земле, но уже выросшая и прекраснейшая, кормить его грудью.

Было ли сказано «с Неба» о «бытии всего живого» как о «раскрытии Единого Древа Жизни», — или какой-нибудь нежный и плачущий пророк извлек это учение из обширного, как Вселенная, сердца своего: но только не «сейчас после ледникового периода» и не «у троглодитов», а в заключение веков или тысячелетия, начертились:

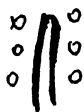


Гомером ли философии, Баяном ли мышления, перед коим Кант есть дитя: но только в те времена, когда они начертались, как исход мышления, смутились Небеса и потряслась Земля: ибо нечто вышло из Вечности для человеческого утешения. И отсюда потекли религии и мифы, «боги» и «богини». И начались праздники. И осветились ночи лампадами.

О, как поздно это пришло. По самой «середине» истории. «И не будь бы Шлимана, мы сказали бы, что кто-то должен разыскать скрытые в земле тысячелетия», — и не будь Эванса, мы сказали бы, что «в почве Крита есть нечто, что раньше Трои на 2000 лет», и без Библии знали бы, что «Авраам пришел в Египет, когда там был полный бал...» И все оттого, что обрезание, т.е. эти обе фигурки,

---

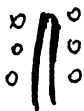
<sup>1</sup> Кстати: по верованию египтян «всякий умерший обращается в Озириса». Т.е., конечно, «в Озириса» обращается умерший *мужчина*. Но в кого же обращается умершая женщина, которой делали мумию и клали ее в гроб совершенно с такими же предосторожностями, как и мужчин? Поразительно, что самого вопроса об этом нет в египтологии, «не пришло на ум». Между тем, как не прийти? Явно, что если мужчина обращается «там» в Озириса, то женщина обращается в соответственную Озирису «Изиду». И «рога», таким образом, есть столько же «земное украшение» женщины, как и — небесное, «тамошнее». Таким образом, «загробный» и «здешний мир» сливаются в одно, «временное» и «вечное» — два берега одного Океана; два берега и — два сада. Так вышла идея «Вечных Пирамид», вечного «Дома и жилища там». «Пирамида» есть столько же «Гроб» сколько и «Неразрушимая Резиденция».



конечно, сложнее, мудренее, чем открытие Америки — изобретение пороха и установка календаря.

Одни лишь Халдеи постигли премудрость,  
а также Евреи,  
Что Бога-Царя-Самобытного чтили<sup>1</sup>.

Ибо даже в наше «довольно образованное время» этой мысли, что «в связи с *mons Veneris* могут начаться молитвы, построиться храмы, зажечься светильники», — не усваивают люди самые ученые, которые и после календаря, и после пороха, и после Америки все-таки думают о



как гимназисты. Ни вершком далее, ни вершком глубже.

Порнография и молитвы, гадость и религия (в Египте, Вавилоне, на всем Востоке).

Как соединить, связать?

Ясно, не положив перед собою рядом орган и молитвенник, а заметив в мире такую вещь, которую совершенно не заметили все ученые, — все и ни один, — что есть на свете такие простые вещи, как

- 1) муж и жена
- 2) вздыхающие, плачущие
- 3) любящие, молящиеся
- 4) и непрестанно друг с другом совокупляющиеся.

Рождающие детей

5) именно из совокупления.

Плачущие о детях, когда они умрут:

6) именно молитвами.

---

<sup>1</sup> Слова греческого оракула спрашивавшим его о том, кто из народов суть самые благочестивые. Приведено у св. Юстина Мученика в «Увещании к эллинам».

Вот где все связано. И вот откуда Восток и Египет. Нет иных религий, кроме религии семьи. А где семья есть — будет и религия.

Будет это Вечное Утешение Человечества.

Как семья — Вечная Опора Человечества.

Но это есть просто:



Но это и начертано в Халдее. То же — в Египте. Да и решительно на всем Востоке.

Но этого-то, этого и одного, не мог понять ни гимназист и ни один ученый, читавший клинопись и читавший иероглифы. Между тем это:



есть весь Восток. Это — только. Это — единственно. Зачеркните все иероглифы, сожгите все папирусы, «пусть не разобраны останутся клинья»: из этого вы выведете своим умом весь Восток, точь в точь тот самый, какой он дан в памятниках, зачеркните эти два рисуночка: и вы, прочтя все папирусы, будете все-таки «Петрушкой, слугой Чичикова, который постепенно от алгебры перешел к папирусам». И сколько понял в алгебре, столько же и в папирусах. Он понял великое:

Ничего.

Ерунда.

Но оракул не даром сказал:

Одни лишь Халдеи постигли премудрость,  
а также Евреи,  
Что Бога-Царя-Самобытного чтили.

## ЕЩЕ О ТОМ ЖЕ

И из этой:

<Афродита Милосская>

не выведешь религии. Все останутся искусства. Музеи, зрелища...

Поглядел. Вспомнил. Написал книгу о ней.

Напротив, из этого «пауперизма»:

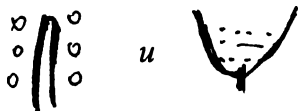


религия вполне выводится. Она таинственным образом отсюда истекает, потому что сюда входит и милосердие «к не могущему», и приказание Милитты любимой дочери: «Корабль пристал. В нем плывут неизвестные галлы, неизвестные мне и неизвестные тебе. Но они — люди. Выйди же на берег, и отдайся первому, кто тебя спросит, за самую мелкую монету, за грош. Потому что он человек и ты человек. И ты нужна ему, а сама по себе ты праздна теперь»...

В браке даже и до сих пор «приказание Милитты» действует. «Раз на раз не приходится». Одну я спросил замужнюю женщину, с которой уже муж (потаенно от света) «не жил»: — «Как относятся ваши родители к нему?» Она: «Они ничего не знают». Но отец раз сказал мне: когда же ты принесешь нам внука? И в другой раз, когда я гостила у них, и пришло письмо от мужа, зовущее к себе, то они торопливо оба сказали мне: «Поезжай, поезжай, ты нужна ему».

Я хочу сказать, что таинственным образом «проституционный момент» входит и в самый законный, и в самый христианский брак. «Раз на раз не приходится»: «если ты пассивна и тебе не хочется, а ему нужно — будь ему просто как проститутка. Потому что он муж и господин тебе, а ты раба ему».

Это-то и проливает в:



кротость и милосердие. «Милитта» есть на самом деле богиня вовсе не «наслаждения» (какое же «наслаждение», если «продается» и «против воли?»),

но она есть и стала «богиною», объявлена была таковою народами, старцами (а ведь старцам «не нужно»), потому что таинственным образом в акт сам по себе усладительный, усладительный вообще и для всех, она путем невероятной судороги («судорога мысли», «скачок Канта») пролила милосердие, наставила шипы, страдание. «Пусть роза будет. Но она будет священна, когда около торчит колючка».

Колючка укола, страдания в том, что вообще есть «только наслаждение», — это и есть «открытие Милитты». Она вдруг возвела совокупление в религию.

«Из наслаждения» религии не выйдет. О, никогда... Но вот «роза» благоухающая на весь мир. Доселе — сад. Вещь обыкновенная. Вдруг шип величиной как кол: трепещут сердца на нем, человеческие сердца, бедные человеческие сердца.

— Страдаем (вавилонянки), мучимся.

— Как это гадко (Геродот о Вавилоне).

Милитта:

— Мучьтесь. Страдайте. Проституируйте.

И сквозь слезы и отчаяние, верите, затопленная страданием, роза вдруг извела из себя Эдем:

— Ты находился в Эдеме, в саду Божиим...

— Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями...

— Рубин, топаз и алмаз... Хризолит, яспис, оникс... яспис, сапфир, карбункул... и изумруд и золото... все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было тебе в день сотворения твоего.

— Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять и Я поставил тебя на то...

— Ты был на Святой Горе Божией, ходил среди игристых камней...

— Ты совершенен был со дня сотворения твоего.

(Бог о Тире через Иезекииля, гл. XXVIII)

...Право, зажмурясь, будто слышишь в сжимах и разжимах слова и эти сравнения и ропот слов точно сладострастные сжимания и разжимания священных блудниц...

«Я услышал, — записывает Геродот, — что в Тире есть очень древний храм, построенный от основания города, и чтобы увидеть его, — поплыл туда. Храм очень древен. На нем было два столба. Один покрыт золотом, а другой яхонтовый и светится ночью»...

Столбы, конечно, выражали оба «древа жизни».

И Восток поклонился им... Но сколько веков истекло раньше этого. И сколько мысли, бесконечной мысли, над тем, что в наше время кажется таким «пустым и бессодержательным».

Но у тех эламитов, вавилонян и египтян были бороды до земли, а у нас усики, «нафиксатуренные» не у одних офицеров, но и у многих ориенталистов.

## ПРИМЕЧАНИЕ К «НАГИЕ БОГИ ВОСТОКА»

Взята бы была «голая женщина» — и мы, взглянув, сказали бы: «Голая женщина», и — ничего бы не прибавили. Просто, ясно, наглядно и «отвернулись». Но во всех изображениях мы узнаем «*déesse*»<sup>1</sup>, а не «*femme*»<sup>2</sup> — почему? По демонстративности. Не просто — «нага», но — «указует в себе» плодородное, будущее, жизнь, детей. Отсюда разница с «нагою в раковине», на чем так ошиблись греки (Афродита). «Нагая в раковине» показывает красоту и ничего еще. «И красота — умерла», тогда как дети «могли бы остаться». Афродита — мало физиологична, она только скульптура: и от того никто около нее и не ожидает звезды, солнца, луны. Она не божественна, не небесна. Небесное и начинается с *mons Veneris*: что все, как и кормление (груди), показуется, выдвигается «вавилонским бесстыдством». Женщина (особенно смотри вавилонские цилиндры) взята не обнаженной, а *обнажающеюся*, — в момент обнажения; в процессе обнажения: и так характерно: не разворачивает *с себя платье*, давая видеть перед собой нагим, и *не сбрасывает рубашку*, давая видеть себя с шеи и груди, а именно снизу, над коленями и потом бедрами и наконец лоном — приподымая широкое, красивое, отороченное украшениями — юбку, как бы какую-то (судя по покрою) «одну юбку от плеч до ступней ног», «один подол, но укрывавший ее всю». Так как это было до Авраама и до Троянской войны, то можно представить себе изначальность, и те усилия мысли и внимания, которые заставили все это подчеркнуть, выяснить, оттенить. Древние ясно различили *стыд*, «стыд Адама и Евы», но сказали: *под* ним-то, *под* его вуалью и его покровом, и начинается в человеке все важное. Это — небо в человеке, хотя вовсе не представляется таким. Без стыда — открытое небо, с стыдом — оно же, но закрытое, затененное, заоблачное. Одежда — облако, тень, покров. Одежда — отделение «я» от «не-я». Нет «отделения», «вместе» — и «небеса слить», и из небес является новое существо, младенец, еще жизнь на землю; пало в землю еще «зерно», которое всегда есть «глаз», т.е. «Провидение о ком-то и над кем-то», «еще судьба» и работа неба: ибо и «упавшее» — то есть частица Неба же. Можно сказать, что «Вифлеем со всех сторон так и выглядывает», что Восток весь был до некоторой степени Вифлеемен, что не будь Вифлеема, «там-то», он появился бы в другом месте, ибо не было избы на Востоке, которая «чуть-чуть повернутая другим боком» уже не высвечивала бы нам совершенно как Вифлеем. И все это — *mons Veneris*, плоско названная так европейцами, ее «учеными», ее — увы — не «старцами». Ибо «старцев» вообще в Европе нет, и она вся какая-то мальчишеская. Но пройдет, пройдет ее мальчишество, и усилия сей книги — чтобы оно скорее прошло.

<sup>1</sup> богиня (фр.).

<sup>2</sup> женщина (фр.).



Но на Востоке, около этих лун, звезд и солнца — это так утверждено, так незыблемо и во всякой хижине это установлено, что как-то «все христианство уже дышит нам в лицо». Тогда как ни из Рима, ни из Греции оно отнюдь не дышит. Там что ни «изба» — то «Вифлеем»: в Афинах и Риме — Парфенон и Капитолий, граждане, сенаты, ненужности. Нужно было Востоку слишком пропитаться блудом для этого; в Риме был разврат, в Афинах был, — но мелкий, не глубокий, поверхностный; был как «упрек» и «слабость» — себе и соседу. Там воистину не было «ближних». «Ближний мой» — это дыхание Востока, это шепот Востока; это слово Суламифи, которая, в сущности, содержит в себе весь Восток. Суть в святом блюде; не в том, чтобы «соблудить» и «согрешить», «согрешить» и «раскаяться»: а в том, чтобы раствориться, распуститься, истаять в блюде, и до того, чтобы и не осталось в человеке уже ничего из блудного, ни одной мысли, ни одного движения сердца, ни одного пальчика или, как говорит Суламифь:

«И с пальцев моих капала мирра на ручку замка...»

«Возлюбленный мой постучал в дверь и (не услышала «я», не «пошла отворить дверь») чрево мое заволновалось».

Чрево — огромное, почти замещающее всего человека, именно, как рисовали египтяне... а ноги только носят его, руки помогают ему кормить и кормиться, ухо слушает — «какой возлюбленный зовет его», и голос — чтобы ответить Возлюбленному: «Сейчас иду». Все — от чрева и к чреву, человек весь служит ему одному: как молитве святой, как долгу и радости, и волноваться чревом, всю бы жизнь волноваться им одним — и вот не надо другой жизни, совершенно ничего еще не надо. Отсюда, померкает вся цивилизация, ничего, в сущности, не надо, да и никого не надо — кроме любовника, кроме любовницы, кроме ласкающего чрево, кроме находящего чрево, кроме оплодотворяющего чрево. Земля — и солнце ее оплодотворяет, как на этом прелестном рисунке Египта, — которое по какому-то непониманию представляется в атласах всех экспедиций мужчиною внизу и женщиною над ним очевидно, тогда как это просто «оплодотворение женщины мужчиною», но где оплодотворение передано как лучи, идущие из всего мужского тела и на все женское тело, — что и действительно даже физиологически верно, ибо семя мужское ссачивается изо всех частиц организма и расходится оно тоже по всему женскому организму, и «для того кровь бежит и бьется сердце». «Священный блуд» уже сам собою отсюда вытек: п. ч. без блуда никто не мог жить, не умел жить, не захотел бы жить и сейчас бы умер. Отсюда, если еврейка была беременна, то обычно брат ее делал предложение ее беременевшему жениху, и если рождалась девочка, — он был с минуты родов уже «обрученным женихом ее», и принимал в свой дом, если другой жених ее не брал. «Брак дяди с племянницей наиболее угоден Богу», — сказали старцы Талмуда, — сказали о той некрасивенькой, сухонькой или больной, может быть, слепой, глухой, которую, «кроме дяди, некому было взять». Он же брал тоже охотно и без тягости, ибо у него было много и других еще жен, которые вознаграждали, возмещали ему красотою свою немощь этой. «Тогда всех брали», и это было «еще лучше

Вавилона» (Милитта). Тогда отменяется «гостеприимная проституция», которая и тени не имела нашего смысла — смысла, какой придают ей наши ученые мальчики. Все было другое: блудницы были воистину священными, и они не «относительно» и «сравнительно» были священны, а серьезно и действительно, по вере «в солнце, луну и все воинство звезд», окружающих ее лоно, да и прямо живущих в ее лоне вторым небом. Все — к этому. Ничего — без этого. Идея блуда, — нет: сырые, влажные берега его, пахучие гнилюю тлеющих в воде трав, этого «тростника и папируса», этих «лилий водяных» — он до того пропитал весь Восток, что «пророку некуда было ступить, чтобы не наткнуться на блудницу». «Везде шалаши — в поле, у пророка, на полянке» (слова пророков); в самом храме, возле, вдали. «Блудила земля сия»: ну, *это если с чужеродцем*, если хоть одна израильянка отнимала лоно свое от израильянина, «обижала ближнего своего», отдаваясь «дальнему». Ревность — безумная; в меру преданности именно — «своему». Из голого по силе ярости ревнования, — совершенно безумного в пророчествах, узналось: чем же было, какую непримиримостью было «положительное содержание». «Будет время: семь женщин ухватится за подол одного мужчины и скажут: свой хлеб будем есть и свою одежду носить — сними с нас только позор девства». Девство — позор, хуже его ничего нет; яд, чума и отравы, которую нужно изплевать. Но изплевать можно только отдавшись. «Как? Кому?» Тягостный вопрос для Европы, теперь-то уже роковой, тягостный и почти безысходный. В Израиле этого не было, и по простой причине многобрачия. Так оно устроено было, так обдуманно «старцами», что Сион, да и весь вообще Ханаан был «домом блудилишным» — но со своими только (ревность), исключительно со своими одними: — нет мельканий тени, лиц не видно, свету почти не видно, имен не слышно, а только вздохи любви, пахучесть любви, влага любви, сырость любви. Священный лес шумит... нет, он не шумит, ибо все безветренно: он шелестит лениво, жарко, и растворяется пахучая камедь его, и смолы пахучие капают... А небо любит его и жарко объемлет и еще подбавляет сил ему. И как не скажешь: «Поэтому и солнце и лучи из него».

## Выпуски IX—X Résumé и тайнства

### ЕГИПЕТСКИЕ ТАИНСТВА

Вы входите в дом и, естественно, обращаете внимание на тех хозяев дома, которые вас встречают, не замечая вовсе мух, которые жужжат по стенам... Одна там ползет, другая сидит на окне, — кто знает: вы их *не видите*, потому что не смотрите, потому что не они кидаются вам *навстречу*. И вообще, «встреча» очень много значит в «узнавании». «Встретились» — узнали. А

если не «встретились» — то и никогда не узнаете. Хотя бы «тут было», и даже «было» осязательно, видимо, совершенно ощутимо.

Так египтяне сохранили нам свои «тайнства». Они их все-таки «сохранили», не сочли возможным или полезным закрыть окончательно, просто не изобразив нигде и вовсе. Тогда бы все «кануло в лету» и человечество совершенно и никогда ничего бы не узнало о них. Но, взяв загробную жизнь из них, взяв из них всю силу (пирамиды, колоссы), взяв великий, исключительный дар молитвы и всю свою невероятную серьезность и торжественность, — они естественным образом до того верили в «заклинательную силу их», в их «магическое волшебство», что, несмотря на весь инстинкт «затаивания», совершенно естественный в отношении таких исключительностей, никогда ни одному смертному не приходивший на ум, не вбивавшийся в самое изображение, — оставили их, как «мушек на стене», на которых никто вообще не остановится. Но когда-нибудь в веках, в тысячелетиях придет однажды кому-нибудь на ум, взяв увеличительное стекло, посмотреть на «надоедливо жужжащих мух» и спросить: «Что такое?» «зачем?» «что выражает собой?» — И, все же чуть-чуть переменив самый вид, воскликнуть изумленно: «Неужели это когда-нибудь *было и могло быть*?!!!

«Переменив вид»... По-видимому, мы на это не имеем права. На это права не дает наука, знающая только точный факт. «Факта же нет». Но египтяне с безумным мастерством взяли факт в таком моменте, за которым не может последовать другой факт: и вот этот «другой факт», таким образом, вовсе не нарисованный, которого «вовсе нет» и никто его не видит, — показывает «тайнство» во всем его потрясающем и неожиданном очерке. Которого нельзя, однако, отвергнуть, потому что никто, смотрящий уже на нарисованное зрелище, не отвергнет, что через 2—3 минуты должен последовать другой факт.

Рисунок уже был мною зарисован 20 лет назад: но из-за великолепия сцены, прямо открывающейся, — «которая с вами здороваается». Но для полноты картины я зарисовал и этих «мушек, летающих по комнате». Я их видел. Да как не видеть, хотя они и с наперсток. Придавал ли им значение? И «да» и «нет». Они так помещены, внизу, под сиденьем «великолепных богинь-матерей», что внимание отводится зрителем именно богине-матери. «Они так полны и красивы». «Вот Египет — настоящий Египет». — «Тут все так специально египетское». «Зачем я буду смотреть на муху, видя великолепного слона». И я не смотрел. Тем более, что «мухи» имеют совершенно почти подобные параллели, в большом виде, разительные, — более разительные, нежели коровы-матери. Но в мушках есть что-то особенное. И что «особенное» — я видел. П.ч. «еще не входила в голову мысль о истине». Дело в том, что «разительное изображение» нельзя почти заметить, если не найдешь в нем повторение подозрения, *которое самостоятельно возникло в тебе самом*. Таким образом, египтяне ранее евреев на 1000 лет употребляли метод, о коем записано в Талмуде: «Колесницу (видение Иезекииля таинственной небесной колесницы) нельзя толковать трем ученикам, нельзя тол-

ковать и двум ученикам: а только — одному. И то, если *толкующий заметит*, что ученик *сам знает толкование*». Египтяне так и поступали: они нарисовали «таинства», но таким особенным образом, что о смысле нарисованного может догадаться только тот единственно, кому через особенное предрасположение нервов, настроений и духа это не было бы особенно чуждо и враждебно. «Поймет тот лишь, кто находится с нашими таинствами в *родстве*». Вот кому они сказали. «И тот нас не осудит». Таким образом, осудивший же нас и нашу религию — никогда этого не узнает».

Картину большую читатели уже видели. Она была помещена на стр. [...]. Видели, «поздоровались», — удивились и ничего не заметили. Видели и это:

<Фараон сосет корову>

Но читатель не заметил, что внизу под сиденьем вовсе не коровы. Но фигурки так малы, что он думает, что «может быть, это плохо нарисовано, а на самом деле коровы». Только когда я стал думать о странности, что «египтяне вечно сосут палец», — и вовсе не один Горус сосет, а девушки, женщины, мужчины, «человеки», я начал думать, что это вовсе не «привычка младенца Горуса сосать палец», а что-то более распространенное и всеобщее. И, «мелькая», как «зайчик на стене» от луча, бросаемого граненым стеклом от люстры, эти «пальцы, положенные на губы», стали казаться мне «намекami». Если «нарек» — значит, «не хотят сказать прямо». Если не хотят «сказать прямо» — значит, есть причина для этого. Вдруг у меня мелькнула мысль о бесе и его странном высунутом языке, которую я тоже давно знал, и тоже мне не приходила вообще никакая мысль о высунутом языке. «Странно», но «не понимаю» и через то самое собственно «не вижу». Вдруг «маска с высунутым языком», высунутым так же далеко, как всегда у беса...???! «Что такое?» «зачем»? Тогда, пересматривая свои рисунки, я вдруг нашел явно замечательное изображение беса, обелиска и Глаза-Провидения, «всего архиерейства Египта», но уже бес не просто раскорячен, а взял детородный свой орган в руки. И... этот язык высунутый. Позднее, в 1917 г., я — встретил это изображение и, оказалось, срисовал его не очень точно: язык большой, широкий и высунут не крошечно, как у меня показано, а «как следует», т.е. как всегда решительно у беса. Тогда я стал следить за всеми, мне попадающимися изображениями беса, срисовывал все их у Лепсиуса, и между ними это, «полное очей». Я был поражен. Вот «Всевидение Озириса». Вот «знание из аппетита», — из вечного озирианского «хочу». Связь беса с Озирисом, явно озирианский смысл беса, стал для меня ясен. Я трепетал. Вдруг, вторично перелистывая том I-й французской энциклопедии, я нашел «малый храм в Эдфу», с 24 изображениями «бесов» на фронте, и еще — без единого какого-либо другого изображения, без единого рисунка. Это было 22 февраля 1917 года, когда улицы Петрограда начали шуметь. Я не замечал самого шума, знаменовавшего

го падение целой нашей династии, весь поглощенный восторгом: «Неужели я нашел подлинный и неоспоримый храм египетских таинств...» Что если «так», то именно в статуэтке беса лежит разгадка таинств. Какая же его особенность? Да высунутый язык. Тогда вдруг «зайчики по стене бы играя забегали», т. е. эти вечно «сосущиеся пальцы» по стенам египетских храмов: а затем, открыв еще коров-матерей, я увидел, что внизу их вовсе и неоспоримо не коровки, а крошечные бычки, обыкновенные, отнюдь не аписы, без «солнца» и вообще «архиерейства»: и — все их фигурки повернуты головою назад, с очевидным недоумением к тому, что же с нами делает человек?..

«Что же делает человек?» Он в таком же положении, как относительно коров, у коих сосет вымя. Но сосет вымя — это слишком обыкновенно, я бы сделал. Ведь это вкусно. Вкусно и здорово. А к титулу фараонов, после имени, всегда прибавлялись слова: «жизнь, здоровье, сила». Это — пожелание Египта всякому. «Жизнь» для них была священна, и здоровье — частица, или степени, жизни — священна. Сила? Это у быка. Человек стоит вовсе не у коровы, а у быка. Что же ему нужно? У меня зародилось подозрение, но дело было так необыкновенно, что я гнал подозрение. Когда у Ланцони увидел изображение:

<Ланцони: Бык и сосущий человек>

Уже кончая Ланцони, я вторично срисовал рисунок, внимательнейшим образом всмотревшись в него без «кальки». Да, нет сомнения: человек не просто «стоит в таком положении», а он прижался ртом. И, вместе, поднял руку для некоторой ласки, неженья, щекотанья. Но «щекотанья» не хочется сказать. Что же бы последовало через 1½ уже минуты? То самое, что не могло не последовать у человека, и у всякого животного через возбуждение этого места. Что же...

Потрясающая мысль...

.....  
.....

Потрясающая, потрясающая: отнял ли бы человек рот от этого места? Отступил ли бы на шаг назад? — В Египте нигде этого не нарисовано. Не нарисовано вообще 2-й минуты. Но она должна была наступить. 2-я-то, 3-я-то минута и изображает собою потрясающую мистерию: показывающую, откуда черпали египтяне «силу», отчего не ограничились они двумя пожеланиями — «жизни» и «здоровья», а прибавляли третье мистериальное пожелание: «сила».

Тогда «палец во рту» показывает суть вообще мистериальных отношений: а «почитание животных» показывает, что они взяли животных не только в центр мистерий, но и в центр мистерий именно о воскресении души за гробом. «Сила» — от быка; но это — не все. «Душу за гроб несет возлюб-

ленная Гат-хор», и вместе «воскресенье, оживление души» происходит через какое-то обоняное. «Все — через нос». «Если бы не нос — мы не были бессмертны».

<Рисунок>

Тогда нам понятны становятся и вечные обоняния цветов у египтян, «детей и даже за гробом». От Гат-хор они взяли пахучесть, а силу и жизнь брали от обыкновенных быков в стадах.

Что такое это — мы, собственно, не знаем. П.ч. ни один из европейцев, несомненно, не знает ни женской пахучести коров, ни мужского вкуса обыкновенного быка. Мы этого не знаем. И — не узнаем. Но кто узнал бы, тот может быть, понял бы, отчего с такой твердостью, с такой непоколебимостью египтяне верили и в воскресенье за гробом, и отчего вообще они были так нежны, глубоки и деликатны. Действительно, они как бы проглотили природу. И звезды точно задвигались внутри их женщин. Внутри их женщин и внутри их коров.

Это-то пассивно-половое, покорно-половое, зависимо-половое отношение к животным служит объяснением и тому, почему египтяне были вовсе не «равны животным», а «почитали их»... Как послушная жена своего мужа. Египтяне были женственны в отношении мужества животных.

## ТАЙНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РТА

Да не будь этого срама, — может быть, не было бы *красноречия*. Представьте себе оратора, вышедшего на кафедру без *губ*? Просто — разрез в щеке, через который просовывается ложка, вилка и ломоть хлеба.

Чай для *лаканья*.

Очевидно — *губы*. Губы — начало цивилизации. Но губы, очевидно, не для *лаканья* жидкого и не для *просовывания* куска.

Губы — *улыбаются*. А, это уже не еда. Губы вообще для цивилизации, а не для еды. И вот цивилизация начинается с улыбки.

Улыбка же и оттенки ее бесконечны.

Но главное дело — это *утолщение*. Самая суть *губ* начинается с *утолщения*. Губы призваны что-то нежить, ласкать. Губы есть орган ласки и неги, и это в них нечто самостоятельное, а не превходящее. Чтобы есть — нужен рот. Но губы нужны, чтобы один человек нежил другого, лелеял другого, ласкал другого.

Чтобы он томил другого таким томлением, когда человек забывает, на небе он или на земле.

Прервалось томление — и на земле.

Но томление еще продолжается, и он тихо шепчет: «Какое блаженство!»

Таким образом, губы, на самом деле, есть орган для предвкушения человеком райских блаженств, совершенно особенных и ни на что другое во Вселенной не похожих. И за которыми он забывает всякие земные удовольствия. И для которых он вырывается из всяких земных удовольствий.

Отсюда улыбка, край Неба. Ни одна часть и ни один еще орган у человека не может, не в силах и не умеет улыбаться. «Не дано его природе». Потому что они не толсты.

И, например, человек с тонкими губами, «политическими», — есть человек без Неба в себе, гадкий. Он будет произносить речи в парламенте, но его не поцелует женщина. Или он будет произносить проповеди, и его поцелует только «матушка», когда он принесет ей хороший сбор «с тарелки».

Губы уходят в беззаботность. Вот новое начало мира: мечта, грезы и в основе всего просто беззаботность. Отсюда поэзия начинается: потому что поэт поцеловали. Отсюда семья начинается: потому что юношу поцеловала девушка. Но поцелуи углубляются. Девушка прикоснулась. Но губы так толсты потому, что они даны не для прикосновения, а для «два — в плоть единую».

Губы — это озирианство.

## ТАЙНА ОЗИРИСА

Сосочки, сосочки, сосочки...

Сосочки, сосочки, сосочки...

Сосочки, сосочки, сосочки...

Сосите меня, юные, сосите меня, в зрелом возрасте, сосите меня, старые...

Сосочки, сосочки, сосочки...

Сосочки, сосочки, сосочки...

Сосочки, сосочки, сосочки...

Сосите меня мужчины, сосите меня девушки, сосите меня замужние, сосите вдовы. Все.

Потому что, кто меня посетит, приобщится Жизни Вечной.

Я — Вечная Жизнь. И никто еще. И нигде еще как у меня нельзя сыскать Вечной Жизни.

Сосите, сосите, сосите...

Сосите, сосите, сосите...

Сосите, сосите, сосите...

— Так, мне кажется, можно выразить это «заваливающее» множество сосков, обилие сосков, переизбыточество сосков...

Где не только тело все Озириса выразилось как одна «виноградная кисть» ягод-сосков: но, наконец, они вывалились на крышу небольшого здания, где помещена эта его статуя, — несомненно показывавшаяся только в мистери-ях: неживое (увы!) изображение столь живого.

Евреи в этой единственной черте превзошли Египет, что догадались, до какой степени непозволительно эту жизнь жизнью изображать. Но за это единственное и чудовищное по важности изобретение Жизнь Жизней и сохранила им бытие, тогда как сам Египет, все открывший, повалился в развалины.

## ТАЙНА ДИАНЫ ЕФЕССКОЙ

Тогда вдруг объясняется Диана Ефесская...

Т. е. «так называемая» Диана Ефесская...

Всмотритесь, всмотритесь, всмотритесь.

Это вовсе не то, что всегда думалось, говорилось, писалось.

Из груди Благой Природы  
Все, что дышит, — радость пьет.

Я видел ее в Ватиканском музее. Конечно, это не та, что стояла в Ефесе, но она подлинная и древняя, стоявшая в одном из городов и, конечно, повторявшая ту «первую и знаменитую».

Что же я увидал: она не в полный аршин высотой!!! Кто же видал женщину и богиню «не в полный аршин высотой?!?!»

Но что тут была какая-нибудь мысль, мне не приходило в голову.

Восхищенный, я купил изображение и поставил близко, чтобы часто смотреть.

Смотреть и любоваться.

И любить.

Ибо такую разве лезя не любить?

И долгие годы прошли. Лет 10.

Когда я вдруг вздрогнул:

«Это — не груди».

А только на месте, где груди. На этом самом месте, где у одной женщины из всего животного мира, — так высоко и исключительно, — помещены Благою Природою груди. С указанием:

«Ты будешь пить как из грудей. Но — не из грудей».

Тогда я понял смысл «не в полный аршин». Диана...о, пусть «Природа»!

Да. Да. Но это — Небо, голубое, пустое, безвоздушное или с воздухом. Это — пространство. Сама Диана как Вселенная. Но ведь суть «Неба» не что «оно есть», а в том, что «в этом небе есть».



Суть в звездах, в солнцах.

«Солнце» же никогда не было женщиною, а — «Он».

<Глаз>

Ибо Он, Озирис и Солнце, родит.

«Из солнышка — травка».

А никогда травка не вышла из голубого неба.

И «в футляр женщины» древние вставили Озириса: подсказав смертным, как они должны поступать.

## ТАЙНА СКАРАБЕЯ

*Фаллического культа никогда не было.  
Но девушки всегда хотели выйти замуж.  
А вдовы оплакивали своих мужей.*

Так хотелось бы мне ответить тому загрязненному воображению плохих европейцев, которые, увидав статуи Озириса «во всю», приняли их за бесспорное доказательство, что у египтян существовало «поклонение фаллосу».

Конечно, этого никогда не было. Конечно, *совсем* другое было у них. Этому доказательство — их невинные, прекрасные лица. И то *умиление, которое разлито по всему Египту*.

«Фаллический культ», как его воображают европейцы, есть «бух в ноги» перед тем, что будто бы «показал Озирис». Тогда, с точки зрения самих европейцев, вся египетская цивилизация была бы загромождена невероятным цинизмом, циничными нравами, скотскими формами обращения друг с другом. Чего, однако, никакого намека мы не видим.

Но в них было «то прекрасное», что мы «находим у животных». При всяком соприкосновении с Египтом нужно постоянно иметь в виду животных, которым они не столько «поклонялись», сколько на них умилялись. Животное — вот руководство к познанию Египта. Животное, а не Шампион и Лепсиус — вот кто поведет нас в Египет.

И у животных мы замечаем:

Гораздо более учащенное (игры), нежели у человека, отношение к полу. И совершенно открытое.

Полную невинность.

Но вернемся же к человеку. «Девушки все-таки хотят выходить замуж». Даже — и это действительно поразительно, — те, которые «ничего специально и в отношении брака — не знают о мужчине».

Доказательство — наши институтки, которые «почему-то влюбляются в сторожей» института, — и в старых или безобразных учителей.

«Потому что он мужчина».

Они, эти институтки, так же невинны, как и животные Египта.

Вот еще аналогия.

Дело в том, что в «мужском» есть обаяние для женщины. «Хотя бы она ничего не знала». Но ей «мизинец» мужчины действительно дороже «целой подружки». Потому что она женщина.

И одновременно нельзя отрицать, что «особый мизинец мужчины», — особый от женского, — в самом деле находится в связи с тем, что один носит один орган, а другая носит совсем другой орган. Но — оба такие, которые нуждаются друг в друге, и один — живет другим.

И вечно будут жить другим.

Тайна заключается в том, что гораздо ранее «уздания» строения мужчины, девушка «предчувствует» это строение: и просто потому, что — предназначена его удовлетворять. История сотворения человека (Библия) разительна: женщина и сотворена *только для того*, чтобы удовлетворять Адама. Это ее «чело». Это некий знак, «тавро». И Библия учит: другого «тавра» она не имеет.

Поэтому «мужчина нравится женщине» даже не с института, а — всегда, «по особенности его», и даже прямо «с рождения».

Как? Чем? Ничего не видела?

Как утка: которая цыпленком «плывет», не спрашивая себя: не «утонет ли»?

И девушка знает, что «не утонет» в мужчине, а будет «помощницей ему».

В фалле действительно есть чудо. Это, в самом деле, есть «лицо», разлитое во всей мужской фигуре, в его жестких руках, в его коротких жестких волосах, в жестком грубом голосе, в неуклюжей тяжелой поступи. «Что так необъяснимо нравится женщине».

Таким образом, нельзя отрицать, что здесь есть чудо. Что в половом сложении мужчины и в половом сложении женщины есть взаимнопереплетенная чудесность, и она-то их и стягивает, соединяет. Но чудо отличается от фокуса, а фаллический культ говорит о фокусе.

Он говорит о том, что «девушке показали неприличную картинку. Она вспрыснула и вышла за нее замуж». Конечно, ничего подобного нет и никогда не было. То, что есть — в самом деле есть необозримое чудо и священная тайна: но есть она и у рыб, которые ф-са вовсе не имеют.

Но у них есть икра и молоки. И у них самец и самка тоже не похожи друг на друга.

«Пол» и уходит в эти космические «различия» и одновременно «предназначения». Что «предназначенное» — непременно различно, неодинаково, что «в нем кто-то нуждается». И в эту «нужду о себе» — и уходит. Отсюда любовь, стремление, «аппетит вещей». «Мы нравимся друг другу». Отсюда — библейское, что Ева была «не самкою Адама», а что она «соответствовала ему». Тут говорится о гармонии, а не о голой нужде.

Ф-лос, конечно, глубоко и потрясающе таинствен. Но заменим пошлый термин: Озирис в Озирисе. Озирианство или пол в мужчине бесконечны. Именно о мужчине и муже плачут женщины, а не о подругах.

И еще:

«Он дал ей детей».

*Письмо девушки, — желавшей родить.*

«В 25—28 л. так трудно жить без мужской ласки, без поцелуя, без надежды иметь детей. Больная я, трудно мне с детьми, а так хочется, так заочно, когда вижу мать, дающую грудь своему ребенку».

«...Знаю я, в этом не признаются: у меня иногда бывает такая жажда любви, ласки, внимания, — столько лиризма в душе, что, кажется, — пойду за первым, кто ласково позовет, кто пообещает искренний, волнующий любовный праздник».

А женщина «сотворена для детей». Лишь через мужчину, Изида с ребенком и даже прямо через «Озириса в Озирисе» всякая женщина получает свою Судьбу.

<Оз. с фалл. (одиноким, громадным)>

А под Судьбой все мы. И женщина любит

<Глаз>

или, вернее, привязана в мужчине к Судьбе своей. Мужчина есть Судьба женщины. Судьба ее как некоей храмины, некоего в мистическом строении мира дома, жилища.

<Глаз около дома>

Это уже совсем другое дело. Это не игра фаллического культа. Не неприличные картинки.

Если судьба — тó и Бог, где Судьба — там и Бог. И, приглядываясь к отношению женщины к мужу, мы видим, что, в отличие от «ухаживаний» и «ухаживавших за нею мужчин», — которые ей, впрочем, очень нравились, — одного мужа она нежит, почитает, — чего к тем «мужчинам», от которых она детей, однако, не имеет, она и тени не испытывает.

<Халдейская сцена с детьми>

К мужу она имеет глубокое, особое почитание (слезы над гробом)

<Египтянка, плачущая около мертвого тела>

и именно почитание благочестивое. Тут в самом деле есть озирианство. Женихи Пенелопы были молоды: да, но не от них у нее был Телемах. Всякая женщина, и особенно всякая жена и вдова, есть в самом деле озирианка. Неодолимо, фатально, хотя бы никогда не слыхала имени Озириса.

Египтяне здесь выразили суть мира. Женщина действительно не творит, а сотворена. А творит собственно мужчина: и что касается «вечной жизни» (потомство — непременно *его, мужа, отца*), но — через женщину и жену.

И ее вечное алкание: твори *через меня*. Отсюда неприличие: совокупляйся.

*Письмо М-вой, о докторе.*

Кончается этим, и фаллисты были бы правы, если бы мысль их не была так неприлично коротка. Дело в том, что само «неприличие» они понимают безумно коротко, когда на самом деле оно безумно длинно. Действительно, все уходит в это. Действительно, все приравнивается к этому. Действительно, все к этому устремляется. Но тогда египтяне и закрыли его руками, воскликнув: мировая тайна — это неприличие.

У них были «тайнства». В таковую даль, в такой древности и первобытности, они основали «тайнства», — именно хоронясь от фаллистов, которые грозили прийти сюда со своими анекдотами.

— Извините. Жены вам не проститутки. У проституток — совсем иное.

Между тем как в действительности и в тяжелом реализме это одно и то же. Был безумный страх «ошибиться в толщине волоса» и убить всю тайну мира, допустив сюда не посвященного. «Непосвященные — не входите». «Двери! Двери!» — как гремит до сих пор в наших церквях, — этот последний звук древних тайнств. В чем же дело? «Кто не обрезан, тому нельзя показать наших тайнств», — ответили Геродоту египетские жрецы. Обрезание же именно и содержало всю тайну пола.

У евреев «обрезывались плоды» дерев: эту «гигиеническую человеческую операцию» они производили и деревьям. Когда я прочел в Талмуде, я вздрогнул. «Эге»...

«Можно ошибиться на толщину волоса. Тогда погибнет мир. Все зальется развратом». Но ошибаться не нужно. «А, — тогда вы войдите в тайнства Озириса и Изида».

Что же они видели и что там объяснялось? На туринском папирусе есть изображение, которое — по аналогии с другими, находимыми на греческих вазах, — нельзя не признать сценою из тайнств Озириса.

Но вообще говоря, совершенно очевидно «по общему сложению дела» и особенно по почитанию ими животных как богов, — что в «тайнствах», показывающих «божественное», они показывали животное-божественное, т. е. показывали то, что мы всегда и все видим у животных. Но как присущее и человеку: и откуда человек и почерпает силу возвращаться в состояние «бо-

жеско-животное-солнечное». Ибо всего этого ни у человека и даже у животных не было бы, если бы мы все не были сотворены и разгорячены солнцем; если бы текущая в нас кровь не была почему-то «не остывающе-горяча». Оно-то и есть — Озирис, налитый кровью:

<Солнце с уреусом>  
<Солнце с ребенком>

*Остальное дописать из книги.*

Они показывали, что «Лес» именно «зачарован». Что почему-то именно один человек, — и потому они считали человека ниже животных — «люди не боги» — не умеет на эту одну тайну смотреть солнечно: и шуруется, «не выносит света» (тайнства), а при встрече с нею рассказывает (тогда только начал рассказывать) анекдоты. Между тем как «тайна Озириса» хранит мир, ибо прямо продолжает бытие на земле.

«Падение... Человек пал!!» Это крик Египта, — сказавшийся именно в том, что он учредил «тайнства».

Но в них, уже именно по именам Озириса и Изиды судя, ничего не раскрывалось, кроме тайны пола, иными словами, — кроме тайны обрезания, и опять же: почему животные священнее человека.

Они именно связали пол с Судьбою, с загробной жизнью, с Солнцем. Что из пола — семья. Что все нежное-то и глубокое — именно из Озириса.

Не из Пелопоннесских войн. Не из победы греков над персами. Даже не из Праксителя и «Федона», а просто и ясно и «по-животному» — из Озириса.

Бесконечно малое и «грязное» (зачарованный лес) они сокрыли: потому что «можно ли подумать, что человек состоит из клеточки». А между тем Сократ состоял из «клеточек», — таких бездумных, таких простых.

Вот этот безумный контраст между ВЕЛИЧАЙШИМ и самонаименьшим — что оказывается «одно и то же», они его не могли не скрыть. Они только выразили и свой ужас, указав на простейшего в мире навозного жука, и изрекли: — «Вот — Бог Вселенной».

Скарабей, по их, — не только Бог: но величайший, самый великий из великих, Бог. Больше коего нет:

<Барка скарабея>

Скарабей — Озирис. Ведь и Озирис — грязен, «копается в навозе», и профаны говорят, взглянув: «Тьфу».

В тайнствах Озириса и Изиды показывалось бесспорно особое, и у животных, и у людей существующее, — но у животных больше и чаще, чем у людей, — отношение к «тьфу». Отношение — к скарабею. Скарабей — тьфу. Вот настоящее и полное имя. В тайнствах показывалось, что действительно

непостижимым образом к этому всемирно именуемому и признаваемому тьфу-скарабею происходит в тайне ночей и везде что-то, что не вынесет никакого света дня и что на самом деле есть *adoratio*<sup>1</sup>. «Разумное и полное мысли» существо, человек, как и животные, все, совершают то, что везде у египтян при дневном свете раскидано в символах обоняемого цветка и этой странной якобы привычки «богов и людей» у египтян «положить палец в рот». Во всей греческой и римской скульптуре и в живописи нет ни одной фигуры: человек обоняет цветок. Да почему бы?!?! Ведь обоняли!!! Явно. Да, они понюхали, отложили и забыли. Египтяне так нюхали, что не забывали этого ни днем, ни ночью, ни в символах «священных барок», ни даже за гробом. И еще страннее, дивнее, не вообразимее ни в какой культуре, кроме египетской, «с почитанием животных», эта фигура чистейших, благороднейших созданий, — с пальцем, поднесенным ко рту. Но сюда примыкают тайны Озириса и тайны Дианы Ефесской. И пускай о них шепчет нимфа Егерия.

Род людской никогда не может понять: почему же лес «зачарован», почему так от него «отвращаются»: но, вошедшие в него, действительно совершают поступки, какие отвечают Богу. Скарабей — оправдан. Никакому цветку, никакому благодетелю, ни единой книге и ни одному «родному» не расточается на самом деле таких нежностей, с самоуничижением даже «гордого человека», как... скарабею. Родоначальнику неги и глыбины мира.

Тут действительно что-то «скрыто». Тут действительно «играют в прятки». Дело в том, что «маленький скарабей», такой «вечно в навозе», один дает «родство» миру, т. е. он льет из себя какие-то неперетирающиеся вечные нити между «вчера» и «завтра» каждого единичного существа и всех существ и целого мира. С родством же и любовью он льет на мир свет, и именно нравственный. Родство — это свет духовный, спиритуалистический. Ибо несомненно, что «родство», будучи «телесным», вместе с тем и величайше спиритуалистично. «Где тут дух и где материя — не знаю». Никто не знает. Муж, вступающий за честь жены и умирающий за эту честь; муж, убивающий себя, раз он видит эту честь опозоренную; мать, умирающая за дитя свое; дитя, прижимающееся к матери, — да прямо сосущий у нее грудь, вот с этими крошечными пяти пальчиками, положенными на руку матери, с таким доверием, которое «скорее небеса упадут», чем это «доверие будет обмануто», неужели, неужели какой бы то ни было смертный скажет, что это не «нравственные явления», а только «физические». Нет, это нравственность и величайшая нравственность, выше коей нет на земле. «Скорее небеса перетрутся, чем перетрется родство». Но откуда??? — Скарабей. «Без скарабея ничего бы не было». Без его грязи, вони и слизи. Нет этого — ничего нет. Мир не стоит, мир падает. Тогда, перекидываясь назад умом, к «вчерашнему дню» бытия — вдруг постигаем эти странные *adorations* жи-

<sup>1</sup> обожаемое (*лат.*).

вотных, да и человека «в глубоком молчании», — потому что ведь в самом деле есть перед чем совершить и *adoratio*. Он — и жук; он — и солнце. Он — везде, он — в мозгу.

Смотрите — он ползает при сотворении человека.

Да и мир, в самом деле, может быть, произошел не столько «из хаоса», сколько «из половой слизи» Озириса... Ведь сказано же: «Мир произошел из слез Амона»; но мы уже знаем, что сам «Амон» есть «голова Озириса», и «слёзы» здесь — деликатное название совсем для другого. «Мир есть семя Озириса»: вот приписка египетского жреца — приписка сбоку, на полях одного папируса. Что нужно нам больше знать? Мы все знаем. Глаз наш прорезывает тьму от «сотворения мира» до «конца мира» и от «отдаленной звездочки» до земли. Египтяне все открыли. Сказали: «Да, скарабей!»

Не «родились бы люди друг от друга», происходи они «рядком», из «глины» или из чего другого, как «фарфоровые чашечки» на заводе, которые все равно делает горшечник из земли, — и эти «люди, сделанные человечки» похолодели бы, стали бы не нужны друг другу, рассыпались бы. Погасли бы, ибо искры-то такие гаснут. Люди бы не были в великом «родстве-единстве», а только «в хороших компаниях» и с «приятными собутыльниками». Без потомства и родителей — без детей. «Мурильо и Рафаэль, — где же ваши кисти? Нет, больше: где человеческая цивилизация?

Нечего писать Рафаэлю, не «прыгай теленок около коровы».

<Из Книги мертвых>

Мир — один. От жука до Вифлеема. «Без слизи бы ничего не было». И египтяне, «смирненным скарабеем», навозным жуком (выдумали же: но какая гениальность, «от звезды до планеты», в выдумке!!!), — указали вообще, что в мире царит и вековечно должна царить скромность, безвидность, бесшумность; священная тишина. «Все великое — из Незаметного». Что может быть меньше горчишного зерна: и из него вырастает дерево. Как и наоборот «гробы» всегда рассыпаются в песок. Где Тамерлан, где Атилла? Где Август Римский и Бонапарт французский. А девушка из Назарета — наша Пречистая Божия Мать и в каждом русском доме — в переднем углу.

«Из горчишного зерна — дерева. Да, от растения и до травы, — везде проходит «тайна скарабея». Ведь зерна хлеба, «и трав, и дерев» (см. «сотворение мира») — все это живые скарабейчики. Вместе — все это глазки, Озирисы. Мы эти зерна топчем ногами. «Нельзя пройти по траве — не убивши несколько богов». И не надо ходить по траве. Бойся, смертный, бойся, смертный. Ты топчешь жизнь свою, ты топчешь хлеб свой. Египтяне все открыли. «Если не съешь скарабея — умрешь вечной смертью». И мы его едим. Днем — хлеб земной и личной жизни. Ночью другой хлеб — вечной космогонической жизни.

Замечательно, что на «том свете» «страшный суд» Озириса египтяне представили также с соучастием огромной толстой свиньи, самого плодovitого, с одной стороны, животного.

<Свинья с поросятами  
на халдейском рисунке>

А с другой стороны, — которая по образу жизни и поведения, по инстинктам, по вкусу, по «принюхиванию» — вечно купается в грязи и жрет всякие помои и отбросы.

«Навозный жук многокопытный», «самое грязное животное» среди изящных ланей, львов, коров. На единственном типе и форме монет маленького греческого городка, — скорее даже сельца, — Элевзиса, где совершались Элевзинские таинства «Деметры и Плутона», изображены также с одной стороны Триптолем, который едет в колеснице, запряженной двумя драконами, — стоит в этой колеснице, — а у подбородка держит кошницу с хлебными зернами, которые разбрасывает по земле, засеивает поля. А с другой стороны, иногда под древесною ветвью — египетская «свинья» «страшного Суда Озириса». Конечно, это не совпадение случаев или воображений, а одна и та же мысль, протянувшаяся от Египта до Греции; но в Египте — первая, ранняя, самобытная, в Греции — поздняя и заимствованная.

<Страшный суд Озириса>

«Хлеб жизни» и разгадали египтяне. И закричали (или забезмолвовали, вернее): — «О, не растопчите его!! Вы умрете все, если около вас не будут бегать эти маленькие скарабейчики».

19. VII. 1917

## КАК ПРОИЗОШЕЛ СКАРАБЕЙ

Когда было сотворено Солнце, и весь Небесный Свод, и Луна, то было сказано: — Нет ничего подобного этому по красоте и силам. Но в нем есть недостаток — правда, один.

Бог спросил:

— Какой же?

— Слишком все исполнено блеска и великолспия, и горит, и сверкает, и все наружу. И нет в этом смирения. Смирение же таково, что одно превосходит самое большое великолепие.

Тогда-то Бог и произвел живые твари, сказав:

— Вот в каждой этой твари будет солнце, и силы его и создание его. Но чем оно будет сотворять, и самое сотворение никогда не будет видно. И даже кто увидит — отвернется.

Так произошел стыд, навоз, ночь и скарабей.



Греки, римляне и новые ученые не разобрали, что жизнь вечна и прерывиста, вечна и множится. И что «символ скарабея», обозначающий «переход в новую жизнь», не обозначает какого-либо «превращения» или «воскресения в будущую жизнь», а обозначает поглощающую мысль Египта: обыкновенное совокупление, при котором конечно происходит «переход в новую жизнь», «в существо, имеющее родиться и вновь начать жить», уже как другое и завтрашнее в отношении отца и матери.

Но навсегда потрясающая тайна: почему совокупление, столь сладостное, столь полезное, наполняющее жизнью весь мир и воистину «солнце земли» — так сокрыто и утаено — в самом деле, по-видимому, в этом. Что оно лишено было бы лучших даров духовного мира, застенчивости, смирения, скромности... И тогда оно было отодвинуто назад, в мглу, в «презираемые части» («*inter fasses et urinam*») (образование вообще зада у животных)... «Дите, самое любимое наше, самое сокровище» — выходит «из частей столь уничтожительных, что показать нельзя», и «кто увидит — непременно отвернется»...

Непрененно, непрененно, непрененно... Но это-то и образует крест смирения половых отношений. Почему они и суть не только не «нравственные», но одни и смиренны, нравственны, тихи. С тем вместе глубоки, застенчивы, стыдливы. Вся красота духа человеческого, кроме открытости. Но это-то — полная, вечная закрытость и образует последний крест красоты человеческой. «Все это закрыто, как в могилу». Да ведь в «могилу — мать землю» и уходит семя человеческое, в то же время — уходя в колыбельку нового существа.

И копаются, копаются навозный жучок... Не видать днем, никогда. Надо отбросить клок навоза, чтобы — непременно убегая, скрываясь — показались черные жучки. «Вон, только задок виден», он «уже закапывается». И цвет — черный, ночной. И запах — прелый, перегной.

— И весь он как наше Солнце (египтяне).

## ЕГИПЕТСКАЯ СУББОТА, ГРАФИЧЕСКИ ВЫРАЖЕННАЯ

— *Sabboton! Sabboton! Sabboton!*

(В Вавилоне)

— Бросай работу, Ицка!.. Идем в дѳмы наши праздновать Господу!

— Идем к детям и женам нашим соделать тук жертв в приятное благоухание Богу Израилеву...

— О, что Ра и что Озирис... Священнее обоих их жук...

— И облечем Его в ризы ангелов и изукрасим Его как ни одного из фараонов... Ибо он святыня дѳмов наших, и будет с нами от века и до века.

— И наденем на него корону...  
— И дадим ему жезл управления...  
— И всякую славу. Ибо Мицраим светел не солнцем, а жуком...  
— Вот ты черный жучок, маленький и вонючий. Которому поклонился и фараон, и царица. И царская дочь, возложив на ладонь его, подносит нос к нему и обоняет как лучшее всяких цветов.  
— Слава ему! Слава жуку! Слава и в Мемфисе, и в Фивах, и в Эсне, и в Эдфу. Но еще больше в Дендерах, куда мы стекаемся раз в год обонять Возлюбленную Египта...

## СТОЛПЫ МИРА

...о, поведите меня коровы, сперва русские и потом египетские, и научите меня мудрости страны первой, страны древней, страны священной...

Как вы священствовали там в любви и поэзии, в родах и играх...

...ибо вас не заметили иначе как «во сне фараона» ни священники, ни ученые.

...а потому ни священники, ни ученые не могут научить Египту, о коем прошептала нам древность, что вы были там жрицами над жрецами и вели в первом ряду бал цивилизации.

<Огромная Гатор-корова. Стоящая>

Как вы священствовали там в любви и поэзии, в родах и играх...

Вот еще о чем я и все смертные не спросили себя: не есть ли то, что мы именуем (без думанья) вкусом и обонянием и чему в мире отвечает этот странный *запах* и *вкус*...

...я люблю это есть.

...мне нравятся артишоки...

...мне приятна фиалка...

не есть ли *на самом деле* и *реально* физиологическая причина *не умирания души нашей?*

Никто не думал...

Никому даже на ум не приходило...

Есть логические основания бессмертия души; но ведь явно, что не «логическими же основаниями» она не умирает, держится, существует «вечно»: это — пустое, и тут явно ошибся сам Платон. Явно, если душа «есть», если она «бытие» и при том «живое», то для «дальнейшего» и притом «вечного» ее бытия должно быть какое-то физиологическое, непременно физиологическое, основание, фундамент.

И вот, это странное:

— Я ем.

— Я вдыхаю.

Что «выдыхаю» — это пустое, это ничего не значит. Но я «вдыхаю»?  
Необходимость «вдохнуть»?

И при этом «мне нравится»...

1) Сцена Озириса с fall., коему приносят девушки цветы.

2) Сцена Озир. с фалл., коему жрец совершает курение.

3) Сцена Озир. с фалл., коему приносят в жертву 6 телят.

— Ну, вы видели, читатели, ЧЕМУ поклонялись египтяне?

— Неужели?!.. Да... Но...

— Дело не в «неужели», а вы ВИДЕЛИ?..

— Трудно поверить... Однако же... Но...

— С «но» мы потом будем говорить. Но ВЫ ВИДЕЛИ?

— Представьте же: историки говорят, все до единого, что... «ну, невозможно понять происхождения египетской религии». И говорят, что если бы не *тотемы*, обычай у северо-американских индейцев, где в некоторых племенах почитают то волка, то лисицу, и тогда все члены этого племени все называются «волками» или «лисицами», — то и совсем египетской религии нельзя было бы понять.

— В самом деле «тотемы»... «Тотемы»... Хорошее слово. Может быть, в самом деле «тотемы»...

— Позвольте, а сотворение мира?..

— Сотворение мира?

— Позвольте: девушка выходит замуж. Хочет она выходить?

— Если любит — хочет.

— Если «любит»: да почему же она «любит»-то?

— Почему любят? Любятся. Потому что он «Иван», а она «Марья».

— Вы думаете: поэтому, что есть «два тотема»: Иван да Марья. А я думаю, по-другому. Ведь если бы она не вышла, детей бы «у них двух не было», и если бы «в мире никто не вышел замуж» — детей ни у кого бы не было. И через 70 лет о планете можно было бы сказать «тьфу», ибо на ней ни один человек не живет.

А с животными — и ни одного животного. Тьфу, тьфу и тьфу.

— Потому Ванька и Манька и любятся, чтобы планете было хорошо.

— Ну? «Тотем»?

— Нет. Космогония.

— Теперь если взять рубанок величиной от Сириуса до земли... И такую же пилу... И такой же нож, вилку... И... соскоблить, отрубить, отпилить «все подобное» у мира, то...

— Господи, Господи! Какие вы ужасы говорите... Да, приличия было бы больше, но мира бы не было.

— Мир был бы совершенно приличен. Ни одного гадкого места. Но только не было бы и самого мира.

— Так послушайте: неужели нельзя ПОКЛОНЯТЬСЯ тому, что «мир, слава Богу, есть», — и за это одно, что «он есть»...

— И коровки... и травки...

— И я, писатель, и ты, читатель...

— И наши ребяташки, Коля с Володей...

— И эта Дунечка.

— И та Настенька.

— Все «кой с чем».

И завопить, закричать от Черного моря до Сахары:

— Слава Богу, «это все» есть. Рубанок ученых не действует. Они пилили, да не спилили. И мир «есть не по ученым», а «по Кольке с Володькой».

— У него голубенькие глаза.

— У другого серенькие.

— У каждого свои. Карие.

— Свальный грех мира. «Планета сочетается с планетой», как «Колька с Машкой». Все живет, движется, скачет. Благоухает. Плоды растут, цветут, умирают в землю, растет новая яблоня, новая вишня, новая груша. Персик лезет на персик, яблоня скачет на яблоню, как козел на козу, и все множится, движется, дальше, больше, толще, и мир — нерасхищаемый банк, в который запускай руку — сколько хочешь, и он кричит вору: «Воруй больше, потому что меня на всех хватит»...

— Ну?

— Ну?

— Хватит благодаря тому, что «кой-что есть»... Чего же вы спрашиваете: «Ну?»... Да разве этому «чуду переворотов», — простому чуду, что «из зерна растет дерево» и «у Ваньки с Машкой родились дети», а также и у великолепной Дездемоны, и «у нас с вами, читатель и писатель», — и которые (т. е. перевороты) чуднее и неизъяснимее, трогательнее и возвышеннее всех «звезд-и-раз-звезд», дивнее солнца, дивнее Вселенной, хотя лежат всего «в маковом зернышке»... Скажите: неужели этому сосредоточенному «в росинке испаряющейся» солнцу и воистине богу нельзя было без «подражания индийским тотемам» поклоняться?..

Нет, больше, страшнее, и именно так, как у египтян:

— Позвольте, да нет, если рубанком стесать «все это» у мира, да и не «у мира», а раньше самого мира, в тумане туманов, за туманами, раньше звезд, планет...

— Если бы...

— Вырвать корень из мира: что «из двух — третье»...

— Если бы «из двух — никогда третье», а вечно только «два»...

— Унылое «двое».

- Тоскующее «двое»...
- Двое, у которых естественно «зубы болят».
- «Зубы болят», пот. что не множатся и им нечем множиться...
- И мир скулит...
- Мир стонет...
- Мир мгла...
- Мир «неизвестно зачем»...
- Господи. Какие вы ужасы говорите...
- Нет, послушайте: египтяне все это думали, сообразили, сосчитали. И спросили: да как же бы произошел-то мир?
- Зернышко из зернышка. Деточки из Бати и Мати. Груша из груши. Козленок из козла и козы. Вот так? Ну, например, ну гадая.

<Картина Космогонии>

Или же:

— Я взял глины и сделал из нее свистульку. Повсвистал, бросил и потерял. Свистулька мертвая. Не самодвижущаяся, потому что были «двое», «глина» и «Я», и «Я сделал из глины». Нет Ваньки с Манькой.

— Тогда они и решили, что как «мир» не «свистулька», а «красота», «самодышущая», «самодвижущаяся», «само-соображающая», то, очевидно, что не «материя» и «Творец», два разделенные черной и не живой ямой существа: а были некогда тоже «двое» и «из них двоих» — «фараоны», «цари», «основатели династий», «предки наши».

Египтяне связали «космогонию целую» с «счастливым происхождением нашего Египта»: и тогда начали еще больше скакать, крича:

— Мы боги, мы божественны...

Но как это — «в космогонии»: то они кинулись обнимать своих коров, быков, свиней, целовать растения, травы, и молиться звездам.

— Ну, понятно?

— Да.

— Все в зернышке.

— Да.

— Ну, и вам мигает уже отсюда скарабей?

— Скарабей? Почему?

— Ведь все началось с «тьфу». Скарабей — навозный жук. Решительное тьфу. Воняет, гадок. Но вы решили, что «без неприличия нельзя»?

— Нельзя. Мир не стоит. Нет мира.

— Посмотрите же, что сделали египтяне. Как они «написали свою религию» и «все происхождение ее», нарисовав «тьфу — скарабея» внутри солнца:

<Скарабей внутри солнца>

И торжественно неся «скверного жука» в религиозной процессии в священной барке:

<несут скарабея  
в священной барке>

И это изображение, одно это изображение — совершенно оканчивает вопрос «о происхождении египетской религии».

Это «происхождение» заключается в «происхождении» из «тьфу» мира — в переходе — действительно трагическом и непостижимом — от величайшей «гадости» к «красоте, порядку и гармонии миров». Из «тьфу» к «смыслу и величию», из «чего назвать нельзя и при показывании чего все разбегаются», — к тому, на что «когда оформится и время пройдет» — все не налюбуются, не насмотрятся, подходят, обнимают, целуют. Как ведь «целуют» же «изделие» Ваньки с Машкой после «14 месяцев» как его «заделали». И бабушка, протягивая морщинистые руки, зовет его «подать ручки», и он — падает. Падает и улыбается. И тогда гости хватают его и начинают целовать, а родители уж только стоят и не знают, смеяться им или плакать.

Эту-то, не световую, а моральную и космогоническую загадку египтяне и имели в виду, говоря в молитвах и гаданиях, что «мир вышел из мглы». Ибо ведь, в самом деле, «показать нельзя». Нельзя показать «свету очей». А если «свет очей» не видит, — не физически, а метафизически, — потому что сам пугается видеть, сам не хочет видеть... то как же не сказать, что это какая-то «неизъяснимая вечная мгла» и «моего покрывала никто не поднимал, но из меня родилось солнце» (надпись на статуе Нейт в Саисе). Солнце — мир. А мир — из скарабея. «Такое мокрое, что если потереть между пальцами, то воняет». «Отсюда премудрость Соломона и других». И посмотрите: они изобразили «на месте мудрости Соломоновой» — опять скарабея.

<Скарабей на месте головы>

Чем погрозили пальчиком и Соломону: «Знаем, почему у тебя столько жен» и даже «девиц без числа». Все одолевают грязные *мысли*. «В мозгу скарабей копошится». Извечное «оплакивание человеком блудных помыслов». Тут и праведники попали под пресс Египта. Но он говорит: «Успокойся, человек, — это космологическая тайна. И узнает ее человек только перед испепелением мира. Когда уже и знать не захочется. Да и не нужно. Голова твоя, с одной стороны, — скарабей, а с другой стороны — цветок. Когда же цветок видит корень? Не видит. Сокрыто. Сокрыто вечным сокровением».

— Расти, человек, и множься, и питайся. Не будь особенно задумчив, но и не будь никогда легкомыслен.

Ах, мир — великая, действительно великая загадка.

- Странствуй. Размышляй.
  - Не обижай других. Будь кроток.
  - Умиляйся, как мы живем в вечном умилении.
  - Ну, и обоняй цветы.
- И, засунув пальцы в рот, разбежались по своим могилам.

<Палец во рту в голове Изиды>

О Египте нельзя рассказывать, его не нужно объяснять. Ему нужно петь песни...

Будем ему петь песни...

Одну песню...

Еще песню...

Другую песню...

Полюбим то, что он любит....

И в «любовь», может быть, шепчет слово «мудрость»...

\* \* \*

Тихо мерцают звезды. Тих Нил. Не шумит город. И вот «сын Ра», поднявшись от уснувшей возлюбленной, не надевая сандалий, еще тише прошел во двор и вошел к одной из «дочерей неба» в ее теплый, парной, немного мокрый хлев...

Она не спала, его Hathor, а лежала на чистой соломе, пережевывая жвачку. Еще тише он подошел к ней, и лег к ее вымени, и прилег к нему щекой. И она почувствовала, что возле нее смертный, и, немного отодвинув ногу, приоткрыла себя.

Но он ничего не делал и все лежал щекой около ее вымени. Долго. И уже немного передвинулись и звезды, и луна, когда он взял сосок ее в рот. И потянул. И капли горячего молока орошили его рот.

Сосок во рту Возлюбленного. И она стала совсем недвижна. Как не дышит. И он еще потянул. И глотнул. Он был нарочно голоден, так как уже при заходящем солнце знал, что в ночи будет тут. И пил. И ел.

Ей было приятно. И особенно, что не теленок сосет, а Возлюбленный. Он же проводил рукой по всему ее большому животу, и казалось ему, что это целый дом, но очень теплый и внутренний. И что любовница его так велика — это обдавало его жаром.

«Точно ты моя мать и выносила меня в себе».

И она была мать ему. Потому что сотворена совсем в другой день и раньше. Все животные суть наши родители, но не лично, а космологически. Потому что сотворены, когда человека еще не было на земле. И египтяне во всех их почитали отцов своих. Отцов и матерей.

## О ПОКЛОНЕНИИ АПИСАМ У ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН

Покройте попоной, мохнатым ковром,  
В мой луг под устцы отведите;  
Купайте, кормите отборным зерном,  
Водой ключевою поите.

Так эти слова Олега-воина о любимом *коне* своем хочется повторить, взглянув на *убранное* изображение быка у египтян-земледельцев... «Священный бык», — говорили задумчивые обитатели дельты Нила. «Эй ты, я тебя», — кричал, тряся палкою, захудалый чиновник, ехавший по Воскресенскому проспекту. Я оглянулся: мужик стегал лошадь, не везшую воз. Чиновник если не соскочил с санок, то только потому, что был уже не очень молод, и расшибся бы «на ходу» саней: но он кричал через всю улицу, что привлечет мужика к ответственности, и случись мужик ближе — кажется, непременно бы ударил его палкой: до такой степени непосредствен и энергичен был его гнев. Не один я, но и улица удивленно оглядывалась на расхोдившегося Акакия Акакиевича. «Древнее почитание животных — архаический остаток чувств, ныне уже умерших окончательно». В самом деле, «почитание» и не может возникнуть иначе, как из «любования», «любви», но особенной, но специальной, вот как у этого чиновника (который *трясся*) сравнительно с нами всеми, стоявшими на улице и смотревшими равнодушно на то же. К сожалению, я истребил одно письмо, очень бы теперь пригодившееся: писала мне (откуда-то с Урала) женщина по поводу заметки моей о лучшем обращении с животными. Письмо было суровое и почему-то порицательное в отношении меня, все-таки заступавшегося за животных. Но, в пафосе, женщина (образованная и русская), очевидно, ничего не разобрала: тема «мучение животных» ударила ее по сердцу, по воображению, и она гордо, сухо и пренебрежительно написала мне в том смысле, что «люди, прах их возьми, могут калечить друг друга» и т. п. (длинная серия уничижительных жалоб), но «пусть уж в покое оставят животных», которые (кажется, по этой части письма я не помню) «гораздо чище и лучше их». Однако главный «сюжет» письма: *превосходство* животного над человеком, сказавшееся *непосредственно*, как и у Акакия Акакиевича, на извозчике — это я запомнил ярко. Главное — непосредственно, без рассуждений, «как-то», «почему-то» прямо из глубины времен капля, капнувшая в наше время. Точно просочилась, матушка, одна, через пласты истории, цивилизации, веры. Кряхтя, сгибаясь, едва имея силу и искусство сесть на подставленное ему кресло, офицер еще Крымской кампании (в 1897 г.) разразился жалобами на женщин: «Дуры они пошлые. Может быть, только русские — не спорю, не знаю; хозяйка моя: умер у нее ребенок — ничего; издохла через несколько месяцев кошка — плакала...» Это было уже действительно до того поразительно, что я, конечно, не мог согласиться с определением моего гостя, что все «оттого, что —



дуры»: ибо отчего же «дурую» не быть в отношении кошки или в отношении кошки и дочери. Отчего не пожалеть обеих или не жалеть никого. Очевидно, мы имеем опять атавизм древнего непосредственного чувства животных, ужасного (или подавленного) всеобще, всемирно: но возможного, но встречающегося и сейчас. И может быть, если оно мистично, и — не имеющего никогда умереть.

В цирке я был не более шести раз в жизни и только раз спустился «к лошадям». Резкий и неприятный запах; тусклый, во всяком случае неяркий свет. Для меня — ничего привлекательного. Скорей — кое-что противное. Каково же было мое удивление, когда я нашел здесь *толпу* дам и барышень, покупавших булки и кормивших «из рук» лошадей: общение, физическая близость, непременно «из рук» кормление, и чтобы губы лошади дотронулись до нежной ручки, которую каждый кавалер пожал бы с уважением, и затем — проведение ладонью по морде, по шее (только они и были высунуты из стойл) — и все так живо, с увлечением. Ведь женщина более нежели мужчина похожа на дитя, а дети так любят — до дрожи — животных, кур, уток, но еще больше коров и, наконец (мальчики), до самозабвения лошадей. Вот это младенчество женщин я наблюдал в цирке: по крайней мере перед сценою, видя всякие «выкрутасы» атлетов и лошадей. Оне не были так вдохновенно оживлены, восхищены, взволнованны, как в полусвете длинного коридора, где виднелось по крайней мере до сорока лошадиных морд и шей.

А привычка, а культура. Наблюдение изо дня в день и, наконец, из века в век. Если бы даже этой толпе барышень и дам, знавших об Египте только одно, что это «далеко» и «не мы», дать совершенно в обладание всех этих действительно прекрасных животных, если бы присоединить к ним крикуна за избитую клячу, авторшу письма ко мне и настоящую «почитательницу кошек», о какой сообщил мне севастополец: то в пластических чертах эта *одушевляющая друг друга и поддерживающая друг друга* толпа уже дала бы наш кусочек Египта, как о нем рассказывает Геродот.

«Хотя Египет граничит с Ливией, но он не особенно богат животными; зато *все имеющиеся в нем животные почитаются в нем священными*, причем некоторые породы содержатся вместе с людьми, а другие отдельно от них. Если бы я стал объяснять, почему египтяне почитают животных священными, я бы коснулся божеских предметов; между тем я строжайше воздерживаюсь говорить о них, и то, что до сих пор сказано об этом, было вынуждено только необходимостью. Обращаются с животными египтяне так: для ухода за каждой породой животных назначены особые сторожа мужского или женского пола, причем звание сторожа (...) переходит у них по наследству от отца к сыну» (Книга II, глава 6).

Схема почитания, из которой Геродот едва ли видел что-нибудь *конкретное* (в котором и вся суть). Страбон, описывая в «Географии» своей Мемфис, дает чуть-чуть увидеть это конкретное, хотя в то время — время Ювенала и его непонимания (см. выше) — уже от древней «веры» остались одни «помни».

«В числе храмов городских есть один Аписа, тождественного с Озирисом; здесь в отделении храма содержится этот бык, почитаемый как божество. Он имеет белый лоб и такие же небесные пятна в нескольких местах; остальная поверхность быка черная (т. е. почти он весь). По кончине пользовавшегося таким поклонением быка египтяне выбирают ему другого, руководясь при выборе вышеприведенными признаками<sup>1</sup>. Перед помещением Аписа есть двор, в котором имеется другое помещение для матери Аписа. На этот двор выпускают в определенный час Аписа, между прочим и на показ иностранцам, потому что эти последние хотя и видят быка через окно в его помещении, однако желают смотреть его и на дворе. Когда бык поиграет немного на свободе, его вводят снова в обычное помещение» (Книга XVII, глава 1, ст. 31)... «Далее следует Афродитопольский ном (уезд, административное деление Египта) с городом того же имени. Там содержится священная белая корова»<sup>2</sup> (ст. 35)... «В жрицы Зевсу<sup>3</sup>, пользующемуся здесь (в Фивах) преимущественно перед другими божествами, назначается красивейшая девушка благородного происхождения; таких девиц эллины называют *палладами*. Впрочем, это — публичная женщина (?!), живущая с кем ей угодно до наступления естественного телесного очищения; после очищения девушка выдается в замужество за какого-нибудь мужчину; но раньше свадьбы, по окончании времени прелюбодеяния, над нею совершают обряд как над умершею» (ст. 45).

Таким образом... не женщины, не проститутки — а *девочки до наступления* «времени естественного очищения» (что в египетском климате должно было происходить страшно рано, не позднее 11—12 лет) были вероятными служительницами аписов: невинность невероятная, соединенная с такою же невинностью животного, не видящего вовсе других экземпляров своей породы, кроме живущей тут же, около него, матери. Животные и женщины, обое — как дети: ибо и животное есть дитя, которое никогда не вырастает; а дитя, именно в лучшем-то, лучезарном своем периоде, суть... только животное. И в этом-то именно состоянии, еще 2—3—4-х лет, полной *животности*, без размышления, без догадок, без философии и опыта, живущие только *физиологически и элементарно* — *духовно*, дети и являют столь

---

<sup>1</sup> Солнце сильнее нагревает *черную спину* (и бока) такого бога, и кто наблюдал лошадей на ярком солнцепеке, наблюдал и видимые последствия этого. Такого быка египтяне выбирали как наиболее далекого от идей, веяний и поэзии скопчества: мысль, с которою они и вообще избрали эту породу животных в особенное почитание.

<sup>2</sup> «Гатор», которую греки называли «Афродитою». Белый цвет, нежный, мягкий, женственный — выбран потому, что во всех породах животных, и в этом числе у быков и коров, инициатива общения не идет от *virgo* и *feminae*, и след., никакой нужды возбуждения солнечными лучами для Натог не нужно.

<sup>3</sup> Озириса греки отождествляли со своим Зевсом; след., и Аписа и след., здесь говорится именно о тех «жрицах» Аписа, которых Геродот неосторожно назвал просто — *сторожихами*» (см. выше).

изумительную пластическую и нравственную красоту, какой уже не достигает человек никогда потом, ни поэт, ни философ; даже, прибавлю, ни — священник. Вот эта *цельная, круглая и естественная* чистота... животных ли, детей ли, и поразила египтян. Сюда толкнулись и женщины: они первые это почувствовали, как и в письмах ко мне, как в наблюдениях моих. Как во всемирном огромном их чувстве детей (могут ли мужчины в этом отношении сравниться с ними). Из этого клубка животных, детей, женщин — и вспыхнул теизм ли, «мистицизм» ли, какого потом же никогда не зажигалось на земле.

О женщинах тот же Геродот попутно замечает (книга XVI, глава II, стих II): «Очевидно, считать неженатых феосебеями и каппобатами значит противоречить *общепринятым* понятиям, — потому что все считают женщин виновницами культа богов: они призывают мужчин к служению богам в важных случаях, к участию в праздниках и к молитвам; редко случается, чтобы мужчина, живя без женщины, был особенно ревностным исполнителем религиозных обрядов. Так, один поэт говорит: «Мучат нас боги, особенно женатых: ибо необходимо совершать какой-нибудь праздник». Потом тот же поэт вводит ненавистника женщин, который их обвиняет: «Приносим мы жертвы пять раз в день»; семь служанок кругом били в кимвалы и при этом выли — как, верно, до сих пор. Мать около дитяти — вечная молитвенница. Она же — неустанная ухаживательница и заступница за животных. Около них, в клубке — изобретательница молитв, вот этих упомянутых «кимвалов», как и Давид знал «псалтырь» (гусли). Скромная, о чем же она будет петь. О *своем* дитяти, о всех животных (в Египте все животные почитались). Или, пожалуй, о всех детях и всех животных, в клубке. Как и Кольцов запел:

Ну, тащися, *сивка*

— не об одной *определенной* лошади (ведь он не был и земледелец), а о всей их «превосходительной» лошадиной породе. Точь-в-точь как мой Акакий Акакиевич, вступившийся за первый раз увиденную лошадь.

*Молитва* раньше *религиозной философии*. И, по всему вероятно, мужчины уже придумали последнюю, связав ее с солнцем. Точку они превратили в *universus*: а эта точка — «бабье завывание на празднике», что-нибудь вроде бубна, свирели, арфы; когда у «бабки» поправился свой ребенок; когда он у нее «на сносях» — и в то время как муж ее, ничего не думая, гуляет в поле, мать ее бьется о стену головой, и радуясь на состояние дочери, и трепеща за жизнь ее, и шепчет слова... кому-то — только бы полегчало и прошла мимо смерть в роковую минуту. Ей-ей, молитва даже раньше «бога», «божеств», «религии». И об этом есть тоже разительная запись у Геродота, вовсе (сколько знаю) не использованная ни историками, ни занимающимися теологией.

«Первоначально пеласги совершали всякие священнодействия и молились богам, как мне рассказывали, в Додоне, не называя по имени ни одного из богов, потому что никаких имен они и не знали» (Книга II, глава 52).

15 июня 1917 г.

## ЕГИПЕТ И РАБ (И ДРУГ) ЕГО

...О, Египет, Египет: как через пластинку, через которую встречаются эндосмос и экзосмос — мы бьемся друг к другу. Я — к тебе, ты ко мне. Я ничего о тебе не знаю, кроме коров. И что они танцевали, а ты сосал у них груди. И еще кое-что, что я заметил, но догадался лишь через 20 лет после того как срисовал. Так трудно было понять, так невероятно, несбыточно. И где разгадываются твои мистерии, которых и Лукиан все-таки несколько не знал. Ибо ты так их задрапировал, в каких-то «летающих мушках», которых кто же ловит по комнате и рассматривает; да и мушки — «точно я видел во сне и все слушал, как муха опять и опять бухается в стекло окна» или жужжит в паутине паука, так жалобно и печально...

Но вот: мне тоже хотелось всегда пить молоко, горячее, из вымени коров. Этим вкусом я совпал. Лично и в натуре с натуральным Египтом.

И, встретившись, — стал «просачиваться и просачиваться через кожу экзосмоса».

И ты потянул меня всего.

А я, может быть, «в твоих вещих снах», предугадывался тобою: что придет некогда человек и все разгадает.

Главное — мои «линючие цвета»: что уже невозможно было узнать и через «мушек». Что было совершенно невероятно узнать и никаким способом. И это узнал, угадал только ты один, какого-то такого же аргюг'ей, как я, — знал в совершенном сокровении своих храмов, в самом темном, бессветном их месте. И Моисей, напр., совершенно об этом не знал. И не понял 1/2 в тебе, а знал только открытейшую, дневную сторону, ясную.

И эту дневную, очевидную в тебе сторону, дал и евреям. Но ничего не дал о загробном мире, и что «всякий, умерев, делается Озирисом» — это уже твои мистерии...

Мистерии — все почерпаемые из «вчерашних запахов», которые сегодня полиняли и увяли. Из — увядших цветов, из увядших листьев, из Персефоны.

И вот: Эдип и мать его тут. Но не «выколов глаза», а «воскреснув как Бог», по Софоклу, но раньше — по Египту и вере его, что «всякий умерший есть Бог».

Ведь Софокл разыграл только тему об «умершем зерне, положенном в Деметру», и не больше. Но и не меньше.

А в Деметру — это страшно. Это Мать наша Сущая, Земля и Богиня.

А Софокл испугал только зрителей, не предупредя: «Это просто Зевс и Озирис». Так просто.

И вот, мы сошлись, сошлись друг к другу. И ты узнал меня, а я тебя. Потому что я поверил в твоих богов.

Более же всего я поверил в простую Гатор. «Вечную телицу», которую закальвали и евреи. И сжигали ее. Но пепел не выкидывали, а ссыпали в воду. И этою водою, святою, кропили алтарь и мертвых.



И тогда таинственным образом мы почувствуем, что вся природа складывается для нас как фетиш. Как великий кумир и бог. Любование и любовь. Я как-то, развернув энциклопедию Брокгауза и Эфрона на *ЛМ*, стал рассматривать Лист; поражен был, до чего «древесные листы» суть «женственные фетиши»: (таблицы) как купол неба, параболы, гиперболы, яйцо в нижней и верхней половине, все суть «мужские фетиши». Мы здесь действительно читаем — ЛЮБОВЬ. Первую любовь. Действительно — конус (как фаллияне) или овал. И никакой линейной фигуры. Так вот отчего вся природа сложена по форме этого.



Почему она не «дорожка», не «многоточие», не цветок, не восклицание, не звук, не логос, а «имеет вид». Почему она «пространственна» и это пространство имеет «вид объема». Почему природа есть «объем», имеет «обхват». «Обхват» = «объятие». И мы действительно в «обхвате», «в объятии с природой», в «любовном зажимании» и «молитве».

И вся она «тепла», «дрожит», «полна страсти». Ведь как легко бы Богу: «наставил тумб» и «пускай они стоят». Естественный ответ на предложение «сотворить». О, как она тогда была бы холодна, бездушна, индифферентна и не связана. Вот почему она не индифферентна? Отчего все «любит», «стремится один к другому», отчего мир тепел? Отчего, в самом деле, «солнышко горит». И «красен белый свет»? Все эти чудеса? Вся эта молитва? Никакое христианство не разрешит. Никакой крест, Голгофа. Крест, Голгофа — крик. «Мир создан не по крику» (а можно бы): он создан везде «по величавому куполу»:



Это и есть «вера отцов наших», вера Отца. И земного, и Небесного. Вера — Вседержительства, покоя, а не лирики. Гул времен, а не вопль времен. Крупный эпос, рассказ, склоняющийся запад и восток: две 1/2 мирового яйца.

10 июня 1917 г.

## ВКУС И ЗАПАХ

Вот еще о чем никто не спросил себя: что физиологические вкус и обоняние, т. е. космическая пахучесть и вкушение явств, — не суть ли основание и причина бессмертия плотей?

«И *вдунул* в лице человека душу *бессмертную*».

А не «дал», не «устроил», не «сделал, как горшечник горшок», душу человеку. Не дал ему, как «машине», — «пар». Сделал бы (Бог) человека как «машину» и потом напустил бы в нее «пар». «Работай», пока не «изотрешься». — Мир явно не так сделан, по Писанию.

Но и затем: вкус и обоняние на самом ли деле суть такие абсолютные показатели вредного и полезного в пище и смертного, и здорового. Есть ведь яды «сладкие»? — которые от смерти вкусом не предупреждают. Потом запах цветов? Какое «другое растение» от вреда они избавляют? Притом пахучесть цветов, конечно, *an und für sich*<sup>1</sup>: это просто половая растительная пахучесть, и она есть у одинокого цветка, а вообще-то все цветы пахнут, скорее всего, для человека, — хотя явно и без человека пахли бы. Эта половая пахучесть ранее человека, как блеск звезд ранее человека. Но только человек наслаждался цветами и звездами.

И вот он обоняет. Как звездами любит. Что же это такое. «Я люблю звезду и так наслаждаюсь запахом цветка». Несомненно, это-то уже ясно. Ибо ведь «видеть красоту» — это уже какое-то бессмертие души. «Я вижу красоту неба» — не есть ли это уже ниточка религии? И вот: «я чувствую запах цветка»; не есть ли уже это ниточка бессмертия?

Я спрашиваю. Тут мы можем только спрашивать.

Непонятные инструменты, непонятное «что-то», что душа-птичка дает обонять мертвому трупу человека, после чего тело, по странной вере египтян, оживлялось «будущей жизнью», оживлялось «загробной жизнью», оживлялось «вечною жизнью» — говорит о совершенно бесспорной мысли египтян, — догадке или знании — мы совершенно не знаем, — что «воскресенье» происходит через пахучесть, через аромат, через вдыхание. А по смыслу всей религии (Озирис, Отец, пол — и Изиды — мать, собственно, *Vulva*) мы совершенно вправе допустить и требовать, что источником оживления за гробом египтяне считали половую вдыхаемость. Это «А + Б» = «аб» — мы совершенно правильно склады-

<sup>1</sup> сам по себе, для себя (*нем.*).

ваем. Тут *tertium non datur*<sup>1</sup>. Тут читается «аб», хотя дальше и доказательнее ничего не читается.

Во всяком случае, *исторически*-то (т.е. еще не истинно) это — так.

Для человечества возникла впервые мысль о загробном существовании из полового вдыхания.

Это нарисовано. О, слишком во многих у египтян рисунках. Но так ли?

Мысль моя или вопрос и простирается в следующее: что в самом деле в тайне пахучести, и именно половой пахучести, — в том, «почему это необъяснимо нравится и животным, и человеку», — не заключено ли в самом деле и уже реально, в бытийственности, *primum movens*<sup>2</sup> и *essentia*<sup>3</sup> «загробной жизни», жизни и «там»? А следовательно, что и есть какое-то «вечное там», ну — «завтра» после «сегодня». Т.е. «будущее».

Будущее?

Будущее как «запах бывшего».

«Будущий год» как «запах прошлого года»?

«И вдунул в лицо его душу бессмертную».

Т.е. в «ноздри» глиняного и бездыханного еще человека.

Вдунул кто? «Отец». Кто отец. Тетраграмма (тайное, запрещенное имя Божие евреев). Не разбираемо. И самое главное — ее нельзя «вслух произносить».

Тогда, может быть, ее можно вдыхать? Может быть, Бог «к ноздрям человека» поднес тетраграмму: и когда человек вдохнул в нос: «глина стала человеком».

Скарабей?

Не знаю.

Может быть, это неизреченная пахучесть Елогим, двух богов — мужского и женского — в соединении их? В утробе матери, в миг слияния с мужем, младенец не зарождается ли из «азота, кислорода, водорода» через пахучесть семени и яйца? Не пахучестью ли руководятся элементы яйца и семени в бездомном «вчера» — чтобы перейти в «сегодня» и зародиться «человеком». Может быть, у семени и яйца «в начале бе» только «ноздри»: и, повинуваясь «приятной пахучести», они соединились и «зажили».

Не ведомо.

Но из «ласк животных», которые в данной теме ноуменально важны и совершенно очевидно, что «на одно совокупление в году, дающее плод жизни», приходится, я думаю, не менее 10000 странных вдыханий. Зачем бы они «вне поры размножения». До такой степени очевидно, что «пора размножения» и «вдыханий» суть *sui generis*<sup>4</sup> вещи, вовсе не помогающие друг другу, а самостоятельные, т.е. самостоятельно ценные.

<sup>1</sup> третьего не дано (лат.).

<sup>2</sup> перводвигатель, первый толчок (лат.).

<sup>3</sup> сущность (лат.).

<sup>4</sup> в своем роде (лат.).

Где же «другая ценность»? Египтяне ответили или, по-видимому, отвечают: «Для загробной жизни».

И действительно, «загробный, гнилостный» запах, чем-то «линячим и белым», есть характер полового запаха у человека и, должно быть, у всех животных. «Который лучше свежих роз». Самый отрицательный запах необыкновенно много показывает. Как будто это «нужно» вопреки «моей воле»: и я, сам сознавая — «нехорошо пахнет», — однако «выполняю». Это действительно «египетские тайны».

Мы ничего об этом не знаем. «И стал стар Давид. И кровь его не грела. И когда его не грела кровь — старцы Храма сказали: возьми двух девушек и положи их по одну и по другую сторону себя». И он согрелся. Последняя теплота немного задержалась. Не есть ли это анонимно и иносказательно:

«И вдунул в лицо его»...

И еще: «Все ищет пахучести».

Пища. «Питание плотями». Все «белковые вещества». Поел их и «жив». Минералы «не едят, и зато не живут». Растения едят кислород и опять «кислород выдыхают», а едят — странно и дико сказать — «солнечный свет». Который перерабатывался в «хлорофилл», и вот его уже съедают. Съедают эту «зелень». Тут — солнце. И в таком странном «кругообороте» Солнце, оказывается, «питает плотью света своего» всю «подсолнечную свою систему» буквально как «матка» (Мать-Изида) «кровью своего младенца — Горуса — человека». Во всяком случае, — Солнце живо. Солнце, именно «в ореоле лучей» есть Гелиос, таинственно льющий свет и тепло на землю: «бог», хоть и из второстепенных. Ему нельзя не поклоняться. Утром, взойдя на горы, египтяне «простирали к нему руки», а Эхнатон нарисовал его — на высокой, тусклой стене, в тусклом своем песчанике — с «ручками»: человеческое изображение, которое, увидя впервые, я заплакал как истине. Как же это не истина, если оно «питает все растения». Для растений — то уж оно и воистину одно — одно есть полный «отец».

Но вернемся к пахучести. Солнечный день, конечно, иначе пахнет, чем дождливый. Это я узнал в сентябре в Костроме: о как отвратительно пахли дождливые сентябрьские — октябрьские дни.

Хорошо ли пахнет утроба матери. Без сомнения, для младенца «в первые дни его», как рай. «Мать» есть потрясающее «вчера», метафизическое «вчера» для младенца. Один Эдип узнал ее. «Познал ее». И выколол глаза. Я знал случаи, когда не выкалывали глаз. Несколько случаев, два-три. Странные влечения.

Что мы знаем вообще о сути вещей. Отчего плывут в Америку, «чтобы знать новое». Эти «за-гробные тайны» более содержат нового. Но в них никто не смотрит. Маги смотрели. Они делали страшные опыты, по Клименту Александрийскому, — «мешая плоти», а желая знать, что «выйдет», «устраняли мужа», пытались «устранить» — смешивая ближайшие родства. Я прочел, что в караимской литературе есть 1 книга «о кровосмешениях», в единственном экземпляре в Публичной библиотеке. Отчего Гаркави не пе-



реведет ее. О ней я узнал лет 20 назад. Надо попросить хоть что-нибудь перевести. Почему так запрещено кровосмешение? Для людей запрещено? Если «отвратительно», — то ведь «их дело». «Кому отвратительно, тот и не входит». Т. е. все, кроме «таинственных исключений». Кто же они? Как они испытывают? Явно, не испытывающие «боятся что-то узнать», и это есть собственно магическое запрещение, от «Плутона и Прозерпины». И раз что есть это «запрещение и у христиан» — явно, что христианство тоже испугано «таинствами Плутона и Прозерпины», которые, значит, суть лица, а не мифы.

Иначе христианство не боялось бы их и ответило на кровосмесительные браки — «как хотите». Это «духа не касается».

А если не ответило — значит, касается и духа. Это выходят «страшные боги», «боги» Стикса и Ахерона — и как им всем не верить и в XX веке христианской эры.

О, страшных бурь не пой...  
Под ними хаос шевелится...

Что мы знаем о «шевелиющемся хаосе».

Христианство, как и древность, мучается. Но древность что-то понимала в этом, тогда как христианство только пугается и явно не понимает, само говорит, что — не понимает. «Потому что запрещено Ап. Павлом, написавшим о Коринфском кровосмесителе». А почему запрещено и даже почему сам Ап. запретил — совершенно ясно это знали маги, а христианству и Апостолу это было уже не вразумительно.

Я хочу сказать, что от чрева матери, которое, конечно, есть главная в мире магия, до запаха цветов — все это есть магия.

О, дивных песен нам не пой,  
Под ними хаос шевелится.

И никто, никто, никто не хочет заглянуть в магию. Никто. И — вслушаться в песни эти. Как люди ленивы. Как я, старик, уже ничего не могу.

«Умрем, и все узнаем».

— Умрем и соединимся с лоном матери.

Неужели поэтому моя прижизненная любовь к ней?

Не знаю.

Почему я не знаю?

Почему мы, люди, ни о чем не знаем?

И не научила нас религия. Она говорит: «запрещено». Но это — другое. Отчего же не научила-то? Явно, и сама не знает. О, в смысле «ведения» христианство гораздо, в сущности, ограниченнее язычества. Там были не одни сказочки. Под сказочками, аллегориями и мифами таились потрясающие истины. Которые христианские отцы «разорвали в клоки». Но какое же это удовлетворение алканию — «разорвать грамоту». Вот я любопытствую

вновь. И чувствую около плеча моего читатель шепчет: «Ищи, ищи, мы слушаем».

Во всяком случае, о «запахах и вкусах» мы знаем теперь более, чем все источники христианской мудрости. И потрясающе, что в самом деле в них скрываются источники загробного бытия души. Ведь дело-то в том, что «не дух воскреснет», а дух «с плотью». Что это не платоновское «бессмертие души», а египтяне таинственно учили о «воскресении загробном плотей наших, тел», и через эту таинственную и весь мир влекущую половую пахучесть.

## МУЖЕСТВО И ОТЧЕСТВО

Долго думаешь, что половой орган (особенно — мужчины, у женщин — только его *внешность*) существует для одних родов...

Роды, роды, роды...

Семья... Генерация...

«Авраам... Моисей»... «Василий и Надежда — Василий следующий, и опять — последующий...»

Думаешь, думаешь...

Годы думаешь. Всю жизнь...

И только на самом ее кончике вдруг начинаешь подозревать — что-то другое...

Является новое мелькание в уме... Как самая тонкая черточка, в лезвие ножа, среди полного мрака. Полного, глубокого и всеобщего... всеобщего и давнего, от начала времен...

Начинается с обращения внимания на игры животных. «Играют — живут». И... совокупление совершается всего один раз в год. Правда, в марте, когда «солнце восходит».

Но ведь март — 1/12 года, а в нем совокупление — всего час, 1/24 часть суток. Что же это такое 1/12 умножить на 1/24? Слишком маленькая дробь.

А у человека: «рождается» один человек, а семя льется, льется, и собственнo «физиологических *бытийственных*» живчиков в одном бы совокуплении могло произвести уже целый народ. Совершенно явно, совершенно и неоспоримо очевидно, что «бытие», «sein»<sup>1</sup>, «я буду», «ребенок *родится*» является не только маленькою величиною около «всего прочего», но и маленькою настолько, что ее можно принять за исчезающую, за незаметную...

Это ужасно поражает. Под старость. Бытие, всего живого бытие, всей живой жизни текущее и *вечное бытие* тем не менее совершенно неоспоримо является какою-то маленькою и незаметною величиною около мужского органа, «который так прост и ясен».

---

<sup>1</sup> Здесь: <мы> есть (нем.).

Тогда является «мелькание» и «острие ножа», что «произведение жизни», чем кажется занят половой орган, на самом деле вовсе не то, «чем он занят». Что его «занятие» или какая-то «занимательность» совсем другая, совсем иная. Помилуйте: животные живут 12 месяцев, а совокупляются минуту. Ну, самка — «носит», но это — «последствия». Самец же и главный даже и «не носит» ничего. Он просто — живет. Ему вечный «праздник», какая-то «вечная суббота собак». Сука — да, она «призвана производить тернии» или «рождать» и вообще «нести скорби». Но самец... чем он, каналья, горд?

А горд.

Лев.

Пёс.

Все — горды. Такой вид, особенный от самок, всегда почему-то красивейший, чем у самок.

Голова кружится. В старости. Думаешь: «Что же такое, отчего он так изукрашен у Бога». А изукрашен. Дарвин говорит, который «все сосчитал».

«Самцы особенно украшены». То же говорят охотники, куроводы. «Какой вид у петуха». Нет, какой вид у *фазана*, у *павлина*? Картина, зрелище. «Смотри, художник: это красивее соборов и дворцов!!»

«Суббота природы». Но почему? Почему? Он, который воистину «не поработал для красоты своей!?» Какая несправедливость!

Но он воистину «красив собою и в себе». Он «воистину красота», «*αγαθὸς αὐθός*»<sup>1</sup>. О, старость: голова седа, а я ничего не понимаю.

Когда мы вдруг прозреваем: да, «*αγαθὸς αὐθός*» есть главное и в себе сущее, не — для «продления рода», не «через то, чтобы от него через год родился такой же». Он — «сам» и «един»: и это так прекрасно, мудро, так исключительно и божественно, что... «роды»-то и «роды», «семья» и «поколения» есть лишь «луч» от «света». А самец-то, он «сам» и «один», и есть этот свет.

Всякий самец есть «солнце»: зародыш солнц же, звезд, песка звезд... «Взгляни на небо: и сколько ты видишь звезд, столько у тебя будет потомства», — сказал Склонивший Авраама к завету. Ибо Склонявший говорил к Солнцу (которое о себе не сознавало) и о Солнце же: и «завет» положило на Солнце бытия.

Ах, так вот «Бытие XV» (кажется)...

Солнце... «солнечные культы», «половые культы». Вот отчего «все солнечные культы» суть со *ipso*<sup>2</sup> «половые культы», не от того, что «по весне рождаются», а от того, что «орган человека» есть «Солнце в человеке», и — в каждом животном, в быке... корове.

В корове, впрочем, меньше; очень мало.

И вот отчего в Библие этот орган.

<sup>1</sup> красивый, великолепный цветок (*греч.*).

<sup>2</sup> тем самым (*лат.*).

Но это узнается в большой, глубокой старости. «Выдается же все от божества», которое «есть солнце» и в то же время «орган мужа и отца».

Боже, но значит от этого — отцы и матери, мужья и жены. Значит «отец есть то же, что муж», «тот же кто муж». И «мать есть та же кто жена». Мифы Эдипа и Лот и дочери — но с совершенно новой стороны и в новом освещении.

Как странно все. Мифы человечества и религия. И как разъяснение все одного органа. «Им играет жизнь». «Самец 12 месяцев без одной минуты играет, совокупляясь одну минуту. Чем же он живет? И почему он играет, а не томится, скулит и ждет смерти?»

Да явно: сами игры его и брызг веселья течет оттуда же; отчего странным образом все игры как-то тянутся, притягиваются сюда. Adoratio<sup>1</sup>. Странные движения. Пахучие обнюхивания. Странные сложения ртов — у человека, коему «эта особенная игра одному присуща». Но особенно — обоняния. И эта странная...

Странные, странные «воскресения за гробом», — воскресения «через обоняние» — как явно это, как тысячекратно это засвидетельствовано египтянами во всех их изображениях.

#### <Воскресение через обоняние>

Так вот зачем они вечно обоняют!!! Наяву, во сне, кажется, за гробом. «Вот отчего ноздри у быка». «И без носа был бы так некрасив человек». Он «красив» для «бессмертной жизни». Воистину αγαθός ανθός. И обоняет — прекраснейшее в мире, залог, обещание... нет, глубже: он обоняет и лишь насколько обоняет становится бессмертен после гроба, как усиленно здоров, жив и энергичен на земле. «Жизнь, здоровье, сила» (у египтян — прибавка к имени). «Болит ли что в вас — призови священника» (у Апостола). Уж если, что от Бога — то здоровье.

От Него — жизнь.

От Него же — и здоровье. В самом деле ведь «здоровье» есть «дробь жизни».

Так вот отчего народы Востока все так живучи. Более: они бессмертны. Тогда как все западное все «загнивает». Загнивает, умирает. Но оно умирает не только для земли, но и не воскреснет в будущей жизни.

Потому что не понимает, «что такое обонять».

И не понимает: «для чего ему даны ноздри».

Так, по-видимому, мы кончим исследование «Зачарованного леса».

Он же «Звездное небо».

Он же «Судьба и Бог».

<sup>1</sup> Обожание, поклонение (лат.).

## RÉSUMÉ ОБ ЕГИПТЕ

Я думаю, египтяне вправе были сказать грекам: «Вы еще *дети*», не по одной долготе лет, которые они прожили: но главное — по чрезвычайной серьезности тем, ради которых они жили, и, по правде сказать, которые им и дали прожить «столько времени, сколько протекло от Троянской войны до французской революции» (Бругш): т. е. 1) всю Грецию, 2) весь Рим, 3) всю Европу. Ибо темы эти воистину дают плод:

— *И долголетен будешь на земли.*

Тема эта:

Пол.

Рождение.

Семья.

Царство и общество. Труд. Цивилизация. История.

Вы видите, тут обнимается «все». Египет дал нам «все». Но «все» это могло бы быть мелочами, сбродною энциклопедиею, если бы самым первенством своим в истории египтяне не остановились на том, что в самом деле составляет стержень «натурального мышления человека» и затем корень и ствол «натуральной цивилизации».

Роды. Рождения. Семья. Это в самом деле первое. Но египтяне благородным и чистым своим мышлением освятили все это, — тогда как до них и вокруг них «люди множились, как кролики», — не помышляя «о прочем». Египтяне действительно сотворили чудную вещь созданием Изида: Матери и радостной и тоскующей, теряющей супруга и вновь находящей его, — возле злого Сета и его Нефтис, которые «не плодятся» и «завидуют творчеству». Но миф оставим. Миф есть миф. А тут что-то подлинное.

Изида — упрощенно — пол. орган или как они и выразили (см. фигуры 5 и 6 моего издания [в наст. изд. С. 25]) половое лицо женщины. Как Озирис — половое лицо мужчины. «Что такое?» Весь мир и *доселе* этого не понимает, и все наши науки, «от Троянской войны до Ч. Дарвина», не только это не разрешили, но стоят от разрешения этого неизмеримо дальше, нежели как были египтяне. Уже сосредоточением внимания на этой теме в течение 5 или 6 тысяч лет, — они чисто спиритуалистически, не опытно, «по Канту» и а priori, «врезались глубоко в эту тему». Как специалист мыслитель. Как специалист поэт. Они сказали: «отсюда религии», «отсюда Бог»: т. е. именно частичками в себе матери и в себе отца человек приводится к «открытию Бога». Т. е., конечно, — свет сущего, но который «открывается человеку». Как и доселе — Отцы и Матери суть, конечно, охранители религии на всей земле, охранители — религиям, охранители — Царства, охранители всего твердого, державного и величавого. Египтяне были младенцы и старцы, они разлили чудную невинность и детство во всей цивилизации своей и усели ее мудростью вместе с тем. Это великая особенность их, что они были вечно свежи и были всегда мудры. Видевшие рисунки их не могли не обратить

внимания, что «стариков нигде не нарисовано», это при их-то натурализме, и когда живопись вся была скрыта в могилах, в пирамидах, в храмах. Очевидно, годы нарастали у людей и, наконец, «надо же умирать», — «давать место молодежи»: но собственно — они не старились. И нашего изнеможения «под старость лет» они, я думаю, совсем не знали. Это тайна цивилизации и, я думаю, тайна всем. «Расти — семя. Тогда оно будет вечно расти». Они растили своего «озириса», и у них вечно было семя. Это большой и волшебный круг, и, думаю, это одна из «загадок Египта», о которой они не рассказывали. «Мы знаем тайну вечной молодости» — надо только «поклоняться немножко Озирису и Изиде». Возвращаясь к образам Озириса и Изиды как органов, — совершенно ведь никому не понятных (4000 лет науки), мы должны сказать: что в самом деле «в туманах» брезжит что-то вроде этого, что библейское «и создал Элогим (*не* единственное число) человека по образу и подобию своему» — где-то как-то в звездах и в выси оправдывается. «Что-то есть»... «Откуда же вечно во всех тварях Отец и Мать», и они Рождаются, а не «камешек отскакивает от камешка».

Великие «РÓДЫ» во Вселенной — они есть. Откуда? «Не вемь». Вся наука молчит. Египтяне сказали: «П.ч. это ПЕРВОЕ. П.ч. это ни ОТКУДА, а САМО».

Так они пришли к идее МАТЕРИНСТВА и ОТЧЕСТВА, как «ни откуда», а «само»: и поставили его в первый угол, в передний угол.

Вот очень простое происхождение Озириса и Изиды — в идейной связи египтян. Мифы выросли, и как — это, конечно, интересно, но не существенно или менее существенно.

Главное, что они основали СВЯЩЕННУЮ СЕМЬЮ. Главное, что они Семью поняли как ПЕРВУЮ на земле СВЯТЫНЮ, и, если же говорить нашими понятиями, терминами европейской истории, то мы сказали бы, что Египет и цивилизация его, культура его, есть собственно ЦЕРКОВЬ СЕМЬИ с естественным отсюда почитанием Озириса и Изиды, ОТЦА и МАТЕРИ. И даже специфически, пожалуй, — с почитанием их производительных органов, просто — их органов размножения (мировая загадка) «во всем обаянии». А «обаяние», свет и светоносность, отсюда несутся по всей Вселенной. Тут и цветочек пахнет. И звездочка мерцает. Вообще вот что можно заметить уже о фалле, который есть в нас «все» и «один» («в мизинце сказывается мужчина», или — «девушка», и даже — какая [имя и лицо], — индивидуализм женских пальцев): что действительно рождающееся из него есть «все» и «полнота» и «гармония», — только из него, более еще ниоткуда. Египтяне же, первые обратившие внимание на красоту мира, и сказали: «Из фалла». Тут мысль их пролетела от крошечного «я» до пределов Вселенной, искрестив ее одним молниобразным движением направо и налево, вглубь и прямо. Это — как человек, но — *выше* человека. И Озирис, и то, что в Озирисе, прямо навязывалось. Идея «отца небесного», «отца миров» лежала на ладони.

Разве что они сосредоточились на поле и «рóдах». Все дело заключалось не в нахождении, а именно в том, что сосредоточились.

«Увидишь прямую линию — будешь размышлять о прямой линии».

«Увидишь площадь — будешь размышлять о площади».

«А если объем перед тобой — будешь думать об объеме. О глубоком и высоком».

Ну, а... если фалл? Будешь размышлять о происхождении всех вещей; о первом и не происшедшем и неодолимо увидишь в нем фалл, отца; и, простираясь ниже, в «потом», воскликнешь: «Какая гармония».

Это все в высшей степени неодолимо. Я думаю, Египет в высшей степени понятен, если только примешь во внимание, что они первые задали вопрос о поле, о «самце и самке». И что прожили так долго. Ведь тема-то не разрешена до сих пор: а всякий народ живет до разрешения своей темы.

Затем, столь внимательные к животным, они не могли не обратить внимание, что вся жизнь их, игра их, все в жизни, кроме питания, в сущности, наполнено чарою пола; что животные живут, в отличие от человека, который живет как «человек», — только как «самец-собака» и «самка-собака», только как «бык» и «корова», и вовсе не живут как «лающее животное» или как «молочное животное». Взирая же на игры их, они не могли не обратить внимание, что, в сущности, это есть какой-то непрерывный фетишизм пола, — при очень редких (сравнительно с человеком) совокуплениях. Как это были «первые люди на земле» за тысячелетия раньше Авраама и Сарры, — и как у них уже была тема «о происхождении всех вещей», то они в необыкновенных играх животных в связи со своею темою не могли не поразиться, что это в самом бытии содержащееся *adoratio sexus*<sup>1</sup>, или, как теперь ученые говорят, — «фал-ческий культ». Если у кого есть «сексуальный культ», то это — у животных. При (это-то и удивительно!!) — редких совокуплениях!!!

— ЧТО им надо?

— ЗАЧЕМ это?

«Целям размножения явно не помогает, так как происходит вне месяцев и недель совокупления, — происходит постоянно. Явно — не размножение. А относится — к органам размножения». И египтяне сделали колоссальный шаг (и до сих пор безбрежно далекий от нашей науки, безбрежно «вперед» нашей науки), что так называемые «органы размножения» на самом деле имеют размножение только одною из своих функций, а на самом деле есть какие-то самосветящиеся существа — в нас и в мире — притягивающие к себе и вне задач размножения, и тех, кто не может размножаться (старика, содомия, лесбианство), — притягивающие и затем вынуждающие к тому, что сотворяют все животные.

Что же они сотворяют. Они, безмолвные, они — у которых нет училищ, книг и храмов?

Египтян поразило, что они собственно сотворяют вечное *adoratio*. Наука европейская, несмотря на огромную зоологию, не произнесла собственно об этом ни одного слова, ни умного, ни глупого, никакого. Между тем как

<sup>1</sup> поклонение полу (лат.).

первый же взгляд на игры животных открывал в них *adoratio sexus* — и ничем иначе его нельзя назвать. Никак иначе его и определить нельзя, формулировать. Но — без слов («бессловесные животные»), в поступках. Вся жизнь животных происходит в ласке. Вся жизнь их, до смерти, на самом деле есть нежность и неженье друг друга, на почве «пункта размышлений египетских» — половой. Здесь, несомненно, лежит пункт происхождения «почитания животных». «Раньше, чем человек нашел разгадку самца и самки, самец показал — что такое для него самка, и самка — показала, что такое для нее самец». Отсюда чудо: египтяне вдруг надели на человеческие тела головы коров, быков, кошек и шакалов. «Вот кто привел нас (к их, египетскому) — Богу».

В их особой египетской религии животные для них сделали то же, что «святые люди» в нашей, и обоготворение их «вот-вот на ладони».

Затем — на что такие европейские науки не обращали никакого внимания, — они в связи с играми животных обратили внимание вообще на *пахучесть всего живого* (минералы никак не пахнут, не «светоносны»), на то, что «всякое лицо имеет свою вонь», и — на обоняние. Только животные имеют обоняние, и только животные пахнут. Отсюда уже один шаг до догадки: обоняние животным и дано для обоняния друг друга. В самом деле — им связаны. Отсюда игры, нежность. «Нет обоняния — и животные рассыпались друг от друга». Угрюмые и темные, из черных, почерневших лесов — они сбегались бы в «неделю случки» и, совершив ее «для продолжения потомства» (по Европе), опять разбегались бы.

Им нечего было бы делать друг с другом.

Но есть обоняние: и оно сгармонизировало все, а мир животных наполнило поэзией и волшебством.

«Без обоняния хоть удавись».

Это — египтяне. И вот они залили свои атласы, т. е. свою цивилизацию, а ученые свои «египетские атласы», обоняниями и обоняниями, — обоняниями без числа, обоняниями везде, и египетскую цивилизацию поистине можно назвать «цветочной цивилизацией». Но воображать, что это оттого, что египетская почва родила много хлеба, — чепуха. Хлеб ведь особенно и не пахнет. Нет, другое: и даже обоняние египтян есть собственно символ того же умиления к животным: «вот что непрестанно делают те, которые научили нас богам и природе».

И обратили затем внимание на сложение рта, губ у человека. Это также *adoratio* — и вне его вовсе не нужно, не целесообразно. Вот откуда у них улыбка. «А, мы знаем улыбаться». В самом деле, ни Аристотель, ни Платон не сказали бы им, для чего *улыбающиеся губы у человека*. «Оттого, что мы счастливы губами, оттого, что с губ-то и начинается все нежное».

Поцелуй. И если сказать «цветочная цивилизация», то можно сказать и «цивилизация поцелуев». Ну-ка, что мы об этом скажем из нашей цивилизации мундиров?

«Поцелуй родит восторг». «Когда меня целуют — я пою песню». А уж кто целует — давно ее запел. Дуэт. Два. «Два — самец и самка» (непремен-



но): и у них опять разлился восторг о своей теме, в которой они находили большие и большие глубины и большую и большую основательность. «Вот уж где два соберутся во имя пола — всегда радость».

— Как мы соединены нашим Отцом Небесным.

Тогда и в природе они увидели все сосочки. И — великое млекопитание (статуя Озириса). «Питайся». «Питаемся». «Будем питаться вечно».

— О, наш Озирис....

— И ты, Великая Изидида...

Adoratio идет как тем путем, о котором мы говорили, — так и этим более углубленным. «Мы нашли хлеб жизни, мы нашли хлеб жизни». И зажигали лампы. По всему Египту их зажигали в свои Священные ночи. И построили храмы — величиною как от Адмиралтейства нашего до Николаевского вокзала (я читал у одного туриста), т. е. где стоят: Казанский собор, Знаменская церковь, католическая Екатерининская церковь, Армянская церковь, лютеранская Петра и Павла и еще домов целый город... Сюда-то, очевидно, стекался тогда весь народ, вся толпа, и они здесь кружились, и танцевали, и пели свою музыку и — отослав лишних вон — совершали свои таинства с Озирисом и Аписом и, без сомнения, «помаленьку» со всеми животными. Ибо «всех боготворили». Но умолкнем. А читатель пусть взглянет прощальным взглядом на Луксорский храм. Который я срисовывал дрожащею рукой.

## ИСТОРИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

Самые, так сказать, «категории», по которым строится «цивилизация» ли Египта, «история» ли его, — суть совершенно иные, нежели под которыми мы рассматриваем, понимаем или рассказываем все другие цивилизации.

Для других это будет:

- 1) Развитие гражданских учреждений.
- 2) Начатки философии.
- 3) Экономический строй.
- 4) Дипломатика. Войны. «Внутреннее управление».

В Египте совершенно иное. По крайней мере, прожив две с половиной тысячи лет и уже построив все пирамиды, они не завели даже денег<sup>1</sup> !!! Т. е., если не было денег, — явно не завели и торговли. «Египтяне не торговали». Вот странно. Как же они жили?! Как-то странно, «вручную». Жили «около себя» и вот «с соседями». По крайней мере, Геродот тоже не упоминает о торговле, а

---

<sup>1</sup> Египетской, оригинально — египетской нумизматики «фараонов» не существует. Тогда как одновременно уже развелась нумизматика греческая, не говоря уже о дальней китайской.

- 1) о возжжении лампад «в Саисе и по всему Египту»;
- 2) о том, что какое-то племя («клан», род, сельцо) пасло все целиком свиней и этому племени — всему до одного человека — было почему-то запрещено жениться.

Странные «монахи», посвященные на то, чтобы «пасти свиней».

Но явно категории действительно другие. Если мы обратимся, однако, к левитам у евреев и даже к нашему духовенству, то увидим, что оно если и корыстно, то ему, однако, «запрещено торговать»; а левиты тоже что-то делали, хлопотали, — приносили жертвы, вообще дела было много, но все какой-то «другой категории». Оставляя это, взятое для примера «других категорий», мы заметим, что египтяне явно располагались по следующим категориям:

<1> Странная пахучесть. По всему Египту, везде. Ни в одной нет цивилизации, чтобы «исторические останки» ее дали впечатление «обоняния цветов». Хотя явно и неоспоримо, что везде были сады, везде были цветы; и что на них любовались и их нюхали, то это — конечно!! Но все умерло и не запомнилось. Все прошло и за душу не зацепило. Было между прочим и как удовольствие. Люди любили запахи, но цивилизация не была пахуча. В Египте совершенно явно, что категория обонятельности была разлита по всему Египту, и это чувство у них близко к животным, которых они «почитали». Потому что животных без сильнейшего развития обоняния нельзя себе представить, и у них «обоняние» есть почти «разговор» — беседа, дружба; как и гоньба за добычей. Так и египтяне, Египет: явно, что они не могли без этого жить, и «вдыханием цветов» испещрена их цивилизация, их рисунки в храмах, в могилах, везде. Ни одной нет «едящей» фигуры, нигде — «обеда». Нигде. И нет сколько-нибудь сложной картины, где кто-нибудь не подносил бы к носу цветка.

<Нюханье цветов>

Это, как в Риме, везде «лязг оружия», и в Европе везде «тон политики» и у евреев или финикийн — «торговый расчет». Обоняние перенесено у египтян и за гроб, «в будущую жизнь». Это до того странно и всеобщее, что нужно закрыть глаза на историю, чтобы не сказать:

— Да. Это категория их жизни.

<2> Вторая категория — нежность. Нежным можно быть в несколько ярусов. Есть притворная нежность — это сантиментальность. Оставим ее и перейдем к натуральной нежности. Натуральная нежность

<Сцена: один обнимает другого.  
Из пирамиды Гизеха>

тоже может быть разных степеней, оттенков и ярусов. Есть люди совершенно неспособные быть нежными. Жесткие, грубоватые. Даже и добрые, но не нежные. Без доброты, конечно, людей не бывает, но нельзя отрицать, что вся цивилизация получила бы совершенно другой тон, если бы по ней была

разлита нежность. И вот: ни один народ в памятниках жизни своей не закрепил нежности. Ни картин, ни статуй, и даже очень редки «нежные сцены» в рассказах. Явно, что это редчайший случай, «минутное волнение». У египтян как будто не умели обходиться без нежности. Как будто это была манера жить, «пасти стада». Я не знаю. Но это проникает их быт во всем. И мы опять не можем остановиться: «Откуда»? «что такое»? Явно, что это тоже категория со своими корнями таинственных вдохновений.

<3> Умиление. Благословение. Точно они вечно благословляли друг друга. «За что?» «Почему?» Явно, что собственно «не почему». Ибо «так много благодеяний получить нельзя». Но что-то было у них взаимно и кожно умиленное. Точно самый вид «лица другого человека» пробуждал у них моментальную вспыхиваемость «благословить», приласкать, дотронуться. Есть же

<Человек выходит из бутона  
и дотрагивается до другого>

такие странные существа — собаки: вечно играют. Коровы: никогда не дерутся. Вот у египтян было «никогда не дерущееся». Станным образом они возвели в особый культ коров: вероятно по сочувствию, что они «не дерутся».

Вообще Египет весь какой-то теплый. Точно он недавно отелился. И молоко хлынуло к вымени: и вот сад, цветы, хлев — все это кажется корове в другом виде, чем «до теленка» это заметно. И такая категория есть тоже категория.

4. Отношение к животным. Но это уже целый мир. Это не категория нового. Это космос новый. Не без основания можно сказать, что египтяне жили совершенно в ином космосе, нежели какие бы то ни было другие народы, ибо ни у одного народа не было ничего другого, ничего приблизительного<sup>1</sup>. Египтяне совершенно непонятны, потому что они целовали коров. Потому что богинею любви, Гатор, они называли не прекраснейшую женщину, а корову. А сами они были удивительно красивы, изящны, деликатны. Что это? Весь мир не понимает. Ни один историк не сделал даже попытки разгадать эту тайну. А между тем совершенно очевидно, что без постижения этой тайны у нас «все ключи от Египта потеряны». Мы не знаем «А» их ощущения. И можем только...

Кинув оземь шапку:

— Ну, будем, по крайней мере, рассказывать их походы.

---

<sup>1</sup> Исключения на Востоке, однако, есть, но как слабые подсветы. В пророчестве Ионы записано, что царь Ниневийский, испуганный осадой своей столицы, «наложил пост на три дня на всех жителей города и на всех домашних в городе животных». Это — разительная, непонятная для христиан близость к животным. Вторая близость — в жертвенном ритуале евреев, и в обычае — «не давать по субботам работы домашнему скоту», а накануне больших праздников — «убирать их ленточками».

Это — похоже на наше.

Таким образом, мы об Египте рассказываем «не египетскими категориями» и через это «проходим сквозь лес» — «не замечая его»...

Об Египте написаны библиотеки. Но странным образом об нем собственно ничего не написано.

О, улыбка, улыбка...

— Да улыбнись же нам, Египет.

— Полно утаиваться...

— Мы хотим быть добрыми, как ты. Коровы? Бросаю о земь шапку и говорю:

— Полюблю коров!

— Гатор — любовь.

<Корова — Гатор — в цветах  
и как женщина>

— Чего ради науки не сделаешь: полюблю.

Египтяне смеются:

— Ах, это «ради науки», бедный смертный. А нужно «в самом себе».

Точка. Никто не понимает.

\* \* \*

Я писал книгу «О понимании», и как теперь помню — привстав с главы «О целесообразности», — потянулся, встал. И чтобы «размять ноги», прошелся по комнатам... Я всегда был рассеян, и только тут заметил, что никого в дому нет. Маленький деревянный домик на Комаровской улице в Брянске.

И еще прошелся. Вышел в сени, желая знать, «кто же дома?» — и увидел кошку. Сидит. Молодая, но уже не котенок, а кошка. Барышня. И я подошел к ней как к барышне.

«Nihil a me alienum puto»<sup>1</sup>.

Взял на руки и пощекотал за ухом. Хорошо. Ей хорошо и мне хорошо. И долго гладил. Люблю. Люблю, потому что ей ласково, и мне приятно, что она себя чувствует в ласке. Когда вдруг мне пришла на ум «египетская мысль». Об Египте я ничего не думал, кроме того, что «Сезострис». Но я *теперь* это называю египетской мыслью. Какая, однако, я убежден, «в начале их цивилизации» случайно могла когда-нибудь пробежать и у египтян, — но они остановились над последствиями, о каких я сейчас расскажу:

Я поставил ее на пол, а сам, войдя в комнату, быстро отыскал спичку с тупым и мягким, обоженным концом. «От которой не будет занозы». И наклонился. Теперь она сидела на полу. И все водил по спине рукой, долго, очень долго. И все удлинял по спине вождения.

<sup>1</sup> «Ничто мне не чуждо» (лат.).

Я боялся.

И, еще удлинив вожделение, дал ей почувствовать, что я чувствую ее. Как бы это была девочка — прислуга. И стал шалить.

Последовало то, что едва выразимо в слове. В кошке пробудилась душа, близкая к человеческой в этом отношении, потому что она стала играть, как с человеком. Т. е. как человек же играет.

Сперва, при постепенных и медленных удлинениях поглаживания, она недоумевала и не верила. Думала — «случайно». Но когда нельзя было сомневаться, и я дал почувствовать, что «целесообразно», и в то же время ее нежил за ухом — она, несколько раз быстро повертываясь на спину и как бы царапая, но не царапая — прыжком необыкновенной энергии отпрыгнула аршина на 2 и, легши на спину, — повернула голову ко мне. Ей ничего не стоило убежать — дверь во двор и на улицу была отворена. Она ждала меня. Хочется сказать — безмолвно ждала меня.

Я подошел. И опять за ухом. И опять провожу рукой — длинной, длинной. И прикоснулся.

Опять недоумение. Она ждала. Она уже ожидала. «Ожидала и не знала». «Cogito ergo sum»<sup>1</sup>, и «первое сомнение Декарта» в ней пробудилось. И опять — факт. «Человек интересуется тем, чем у кошек он никогда не интересуется». La decouvert de l'Amérique pour les chats<sup>2</sup>.

Моментально взвизг движений. Пробудилась та неиссякаемая жизненность, какую нельзя заметить вообще у кошек в игре, шалостях. Хотя кошки вообще живы. Но явно, что к ней бездна прилило энергии, ума, и — ласки в отношении меня. Теперь она меня ласкала. Я все побаивался, видя выпускаемые когти. Они были чрезвычайно остры, как иголки. И что же она. «Один удар когтей» — и я бросил бы. Вдруг она стала не бархатом лапки, а именно когтями проводить по голым рукам — так, что не было не только «легкого царапанья», но не было никакого ощущения, что они остры. А они были остры.

Попробуйте иголкой провести по коже — так ровно, с таким отсутствием случайного нажима, чтобы это было даже приятно.

Она делала «тем способом, какой ей дала природа», приятное человеку. Как младенец коснулся пальчиком руки.

Это было до того необыкновенно. Собственно, кошка кокетничала, тем невольным природным кокетством, какое, я думаю, дано всему в природе. Т. е. этой пробежавшей уверенностью, что она приятна мне и что обратно хочет показать, что я приятен ей. Ей, очевидно, хотелось, чтобы я не прекращал игру. Но я боялся. Мне, однако, и ее обидеть не хотелось. И, не углубляясь, я шалил все так же, пока пришли.

Я встал. И сел за «О понимании».

И еще раз был случай. Вечерел вечер в Нижнем. Я гулял в домашнем саду и читал «Утилитарианизм» Д.С. Милля. Мой любимый философ и

<sup>1</sup> «Я мыслю, следовательно существую» (лат.).

<sup>2</sup> Открытие Америки для кошек (фр.).

любимая моя книга. Последние полоски солнечные еще пробегают по земле. И одна за другой, лениво-лениво, куры пробирались к насесту. Перепрыгивая через порог и, вероятно, взлетая на шест.

В этом и во всех отношениях я всегда был глубоко неопытен. Во мне было много «Пятницы» (при Робинзоне). И мне захотелось узнать, «что такое курица», хоть тем знанием, какое имеют кухарки, когда, подержав их в руках и что-то сделав, говорят хозяйке: «Скоро снесется». Но даже и не с этим именно чувством, а каким-то неопределенным, я тихо-тихо переступил порог.

Произошло неопишемое. Курицы уже, собственно, спали или «последняя засыпала». Их было много, с десять. Повторяю, я был вовсе не слышен. Дверь отворена. «Все так ясно, и недруга нет в доме». Какой же недруг человек? Да они днем и не боятся, едва отходят при приближении. Но они поняли «мое дурное любопытство». Потому что они все разом и необыкновенно громко, «скандално», так закричали, что я не знал, что делать. Это были «гуси Рим спасли». Как Галл, я вышел назад. Что же совершилось. Чудо: куры без всякого прикосновения почувствовали, что я «не за делом пришел».

Как? При полной безграмотности? И, конечно, не испытав ничего подобного раньше (редкий случай).

«Мое дурное намерение» перенеслось через пространство, и они разом поняли «человеческую мысль», притом совершенно новой категории для них («новый случай», «небытие» для них).

Оба случая показывают, что даже мысленное или самое малое прикосновение к полу животных, «перебегает в них искрой» и как бы «из незрелой до человека природы» освобождает «почти уже человеческую». Египтяне «еще до пирамид», без сомнения, имели случаи к подобным узнаваниям. Но «без критики около себя», именно как «первый в свете солнечном народ», были сперва поражены этой способностью животных очеловечиваться. И стали «испытывать почву в этом направлении». И повели испытания универсально и бесконечно, — достигнув результатов, совершенно неиспытанных и неведомых.

И засветились своей особенной улыбкой. Которая, кроме «стран почитания животных», не попадается нигде.

<Фараон сосет корову.  
Олень с рогами. Из рог —  
мужчина, и он держит олененка.  
— Несут овец на руках>

Всмотрясь в эти изображения, никак нельзя отвергнуть, что «египтяне чувствовали и *знали* в животных что-то совсем другое, чем мы». Что им открыта была в животных «совсем *другая сторона*, чем нам». Но нам известно о них решительно все, что и египтянам, «мы все знаем» (на-

ука), кроме, правда, одной, *половой*, которую вне анатомии и физиологии, т. е. вне ихних «описательных данных», мы совсем не знаем и никогда ни один европеец (кроме *промолчавших об опыте*) к ней никогда не прикасался и даже о ней никогда не размышлял, не любопытствовал. Между тем довольно явно, или допустимо и вероятно, что «пол есть душа». Если принять во внимание «растения» и их какую-то тоже таинственную душу, то, несомненно, о них, не имеющих головы и мозга, мы скажем, что «пол растения и есть душа его». Не так у животных, но — близко к этому. «У них уже есть голова», но — малая, «не наша». Где же душа их? Явно — в поле. Если не «душа», то «пол»-души. Даже собственно больше «пол»-души, потому что и у человека «с такою большою головою» все-таки в поле его лежит половина души. И вот египтяне эту значительную часть души животных могли узнавать не через «наблюдение нравов» в поле или в зоологическом саду, но тем внутренним прикосновением, каким животные самцы и также самки узнают «крест-накрест», «поперечно» душу *своих* самок и то же *своих* самцов. Затем тут может проходить «что-то», уже совершенно и окончательно нам неведомое, за неимением опыта, и что вытекает от разницы дней творения, в какие был создан человек и созданы животные. Сказано почему-то в Библии: «в разные дни», хотя для космического созидания и силы его мог бы быть употреблен только один день. В чем тут «дело», есть ли какое-нибудь «дело» и как оно может сказаться и отразиться в прикосновении, мы совершенно ничего не знаем.

В картине, где из рог оленя показывается человек и он держит на руках своих, с любовью прижимая к груди, олененка, выражена особенным, странным, «какого не придумаешь», способом такая жажда «быть рожденным от оленихи» и, обратно, стать отцом вместе с оленихою ее нового произхождения, что именно эта картина не оставляет уже никакого сомнения в существовании в Египте любовных сближений нам неизвестных степеней и видов. Но не в виде опыта или любопытства, т. е. формального и внешнего, грешного и лживого, а «там, где все скапливается» и где, во всяком случае, нет «лжи», потому что каким-то чудом или космогоническою катастрофою случилась любовь. Рисунок кричит из себя — «любовь», он никак не мог выйти из шалости воображения, потому что шалости сказываются иначе, шалости не дают таких великолепных, сложных и законченных концепций. Тут — любовь. Тут — «в самом деле». Но как она могла произойти? В этой-то тайне, уже окончательно неразрешимой и неузнаваемой никаким «внешним опытом», и лежит неисповедимый узел Египта. Все-таки очень важно знать, что он БЫЛ, ЕСТЬ. Все-таки ценно знать: «клад Египта схоронен в ящике на дне озера Меридэ». Мы не будем искать его где-нибудь в океане. Не будем — блуждать, странствовать, а остановимся над одним определенным пунктом.

О всех указанных категориях, а кроме них, может быть, есть и другие, но немного, — нужно заметить следующее:

Несомненно, никогда египтяне не «задавались ими», они «не служили целью» — очень может быть, они даже не сознавали, что когда-нибудь настанет время и люди будут совсем другие, — не будут между собою столь «в дружбе», «связанности» и «умилении». Они жили — как жили. Они рисовали — как чувствовали. «В особую категорию» выливаются эти явления для нас. Но вот мы-то должны помнить, что это — «особая категория», для нас эти явления отнюдь не должны быть только явлениями, т. е. «штрихом», «былым», «бывающим», «мимоходящим». Если мы так поймем и так воспримем, то мы опять все спутаем, «пройдем через лес не замечая его», — и тогда уж лучше описывать походы. Т. е. лучше писать египетскую историю, как римскую и французскую, приставляя к римским и французским туловищам египетские головы, имена. Нет, не надо этого, — и тогда — категории. Возьмем святого в лесу. Он ел и пил, как мы. Но странно описывать его еду и питье. Очевидно, чудо лежит в его молитве, подвигах и видениях. В том, чего если он не расскажет нам и не объяснит, то мы *даже и не увидим*. И египтяне особенно *никому не показывали* своей нежности и глубины: они рисовали в своих темных могилах, в своих пирамидах, все это *крепко запрещая от всех глаз*, закливая потомства свое *никогда сюда не проникать* и не предвидя, что сюда придет Наполеон с учеными или сюда пришлет Германия свою ученую экспедицию. Таким образом, это было утаено и совершенно утаено от мира; и, собственно, вышло «на свет» совершенно случайно. Но вот когда «показалось к свету» — мы совершенно не вправе отречь, что это именно «категория», что «так вышло у египтян» как бы вся их жизнь и четыре тысячи лет (первые цветы нежности показываются в пирамиде Гизе-ха, в V династии: а всех династий более 30-ти) они прожили на эту именно тему: показать перед человечеством, как в известных условиях при известных обстоятельствах, при особых молитвах и особом воззрении «на солнце, себя, мир и на животных, на растения» человек и, наконец, народ целый может чувствовать и относиться ко всему в природе с таким глубоко нежным чувством, как бы деревья были «сестры» и животные были «наши отцы и матери», и солнце было не «огненной расплавленной массой», а «Родителем нашим и детей наших»... Нет, это выходят уже «слова», т. е. «мои слова». Я могу воскликнуть: «Особая категория», и — замолчать. Что в жизни святого есть «подвиг молитвы», и это есть «его категория», нимало не заключенная в римской истории и во французской истории, — то «нежность», «глубина» и «умиленность» есть особая категория египетской истории, погаснувшая там, не возрожденная нигде. И которая, как «все и единое», образует РЕЛИГИЮ ОТЦОВСТВА И МАТЕРИНСТВА. Религию, а не эмпирический факт. У нас же этой религии нет, и отцовство-материнство вновь сваливалось в грубую эмпирию.



«Почему-то и как-то не то чтобы *все рядом*, а — *один из другого*, от родителей дети, и от них — еще дети. Но почему — не знаем. Клеточка. Это — свойство клеточек».

Но сказать «свойство клеточек», т. е. сказать абракадабру и фетиш «свойство» — значит, все потушить.

Ну, выносите потухшую свечку вон. Она не светит и, значит, не нужна. Свеча, которая потухла, носит имя свечи, но на самом деле — ничего.

— Ничего? Но мир есть. Есть отцы и матери. Значит?

«Значит» — то, что Египет не погас, но, «повернувшись к северу», — мы не видим или временно не видели его света. «СУТЬ отцы и матери» — значит, «ВСЕ суть».



Зажгите свечку от свечи. И пусть весь мир осветится свечами.

Как небеса — черная яма в себе.

Но не черная: пока горят звезды.

А они горят. И не потушить их всей глупости человеческой.

## Выпуск XI Таинства Египта

### «КОЖНЫЙ ПОКРОВ» НА ЧЕЛОВЕКЕ

Так ли рациональны «наружные покровы», которыми одет человек, — *кожа* его? И оперение птиц, и шерсть животных?! Если бы «для тепла только» — ведь всякая шерсть тогда бы одинакова. И не было бы ягуара. Ни серой, чудной шерсти лани. А у кошки — белой шейки. Смотрите, «как воротничок или салфеточка» — только снизу.

Лица человеческие без кожи? Не возможна «красота», «выражение»... Да, даже «выражение» и «выразительность» невозможны.

«Человечество, состоящее из людей, у которых на лице нет выражения».

— Фуй. Ужас. Дьявол.

Но мир создан Богом. И Бог дал ему шерсти, лица, перья. И по всему этому провел кистью действительно и поистине Великого художника.

Тогда люди стали любить друг друга. Любоваться.

Но теперь будем же следить:

— До прикосновения нет связи.

Пока не коснулись этого «таинственного покрывала», где тронула «Божия кисточка», — люди холодны, внешни. И, в сущности, не любят друг друга.

Чтобы полюбить — надо коснуться.

Отсюда рукопожатия. «Зачем?» Для чего это «мировому гражданину»?!  
«Мировой гражданин» и живет без рукопожатий. Но нам они нужны. Потому что мы хотим «нравиться», «любить», потому что и нам «нравятся».

А если «нравятся» — провел «рукой по руке». Пальчиками — по кисти руки. Девушка вздрогнула. «Значит, я очень нравлюсь».

Без этого «сухо». Что «сухо»? Почему «сухо». «Что за глупости вы говорите?»

Смеюсь и отвечаю, что «сухо», если не провел пальчиками по кисти руки. А от этого началась уже «дружба».

Были «знакомы». Теперь — «дружны».

И вообразите, что без «кожи» дружба невозможна. Те люди, что «без выражения лица», правда, могли бы между собою образовать «социологию», но они все жили бы без дружбы.

Мы же, уклоняясь от наук, касаемся рук... И юноша чуть-чуть коснулся пальчиком щеки девушки.

Вся вспыхнула. Горит. Обида? Гнев? Любовь? Хотелось бы и гнева, и обиды: но любовь залила все.

«Теперь, кажется, очень не сухо». И они целуются. Странно. О, как странно. Бог устлал наружную часть рта особенным розовым покрывалом, из тончайшей кожи. И «поцеловаться» — значит, «слиться душами».

Какие же это к черту «наружные покрывала» медика. Он живодер. Тут — душа. Кожа есть душа. А что она «душа» — говорит «поцелуй».

— Ах, я забылась!..

— Ах, я забылся!..

И, тряся головой, точно сбрасывают сон.

И лукаво грозя пальчиком:

— А как хорошо было.

«Теперь, кажется, не сухо».

Прошла клейкость и вязкость. Прошло сырое. Странно: ведь и губы не сухи. Особенно если по ним провести языком. Вот еще орган, и тоже с тонкой кожей. Но люди склеиваются именно через тонкую кожу, и где не сухо. Прилипают друг к другу.

— Мне без тебя скучно.

— Ах, да ведь и мне: где нет тебя — везде скучно.

Теперь они, странствуя, уже не забывают друг друга.

— Помнишь?

— Помню!

Странно: через тонкую кожу прошло воспоминание. Если бы не «тонкие кожи» у человека в некоторых местах тела — люди не помнили бы друг друга и были только «всемирными гражданами».

А как есть «тонкая кожа» — завелся дом, уют.

В дому — тепло. Дом и есть для того, чтобы там было тепло не только «общегражданской» коже человека: но чтобы было тепло и нежно этим особенным частицам Божьих поцелуев на теле человека, где от поцелуя кожа истончилась и порозовела.

— Тут-то душа говорит...

— Ах, это душа моя...

— Любишь ли ты мою душу?

— Я только душу твою и люблю. «Общегражданского» не люблю...

— Ах, я забылась...

— И я забылся...

— Какой сон.

Теперь совсем клейко. «Двух — и не разорвешь».

— Как хорошо быть вдвоем.

— Да, я не понимаю «одного».

А все кожа. Только. И эти таинственные истончения ее.

Раз в бреду сказали:

— Знаешь, милый. Мне приснилось, что я вся из тонкой кожи. И я хотела бы, чтобы ты был весь из тонкой кожи. А то мы оба еще земные, «гражданские». И оттого счастливых минуток в дне так мало. 5 минут, час. Прочие часы — толстокожие, неинтересные и грубые...

— Вообще «лучших мест» немного на земле. В воспоминаниях они зовутся «раем». «Рай» — дом человечества. «Дом», и настоящий, всего человечества. Помнишь, Адам вдруг начал зябнуть и покрылся «кожами». И Ева. Что-то случилось. Кожа начала на них грубеть. И когда они вышли из рая и взглянули друг на друга — увидели, что все покрылось «гражданской кожей»: а таинственных нежных мест осталось два-три... Как воспоминания и остаток рая.

— Так ты думаешь, что поцелуи и ласки суть воспоминания рая?..

— Друг мой. Я не философ. Но почему же такое блаженство? Отметь в душе своей: что нет ничего, ни музыки, ни выставок картин, ни «прихода добрых друзей», но без клейкости еще, которые бы давали эти ощущения совершенно явно другого состава, нежели что бы то ни было прочее в мире. Так что вообще мир, целый мир, разделяется на «это» и «прочее».

— Ну, ты дойдешь до субботы и обрезания. Скажешь, что прочие дни суть толстая кожа, а суббота есть тонкая кожа.

— Я не дойду ни до чего, кроме Озириса: потому что обрезание тоже странным образом касается тонкой кожи. И, вообрази: в одном папирусе я нашел явно мистериальное изображение Озириса, где, кроме одной головы, все огромное его человеческое тело — руки, ноги, туловище, грудь — покрыты исключительно тонкой кожей. Так устроено и зрительно очевидно. Это — особое изображение, особенное и глубоко задуманное. Несомненно, оно показывалось в мистериях.

## ЕЩЕ О КОЖЕ ЧЕЛОВЕКА

Кожа всегда представлялась человеку *бессодержательною* в себе, лишенною *смысла*, лишенною *мысли и понимания*. Немо говорила она *да* или *нет* об остром, о режущем, о жестком, холодном и о кипятке: предупреждая соприкосновение к *вредному* и *опасному*, — для здоровья и жизни.

Кожа разделяет, а не соединяет. Она есть граница между субъектом и объектом. Она говорит каждому «я» о том, что есть «не я», о том, где «я» кончилось. «Конец я — есть «кожа», поверхность тела.



И не обращено было внимание на то, для чего же «реснички», «волосы», цвет, бледность, краснота? Зачем рукопожатия? Откуда ласки и... *любовь*? Нет, это — не граница. Скорее — это связывание. «Кожа», скорее, переход от «я» к «не я». Совсем другое, чем предполагалось, думалось.

Человек «провел по щеке моей» и без звука сказал: «люблю». Сказал — «жалею». «Наклонил голову»: и опять без слова я чувствую, что «ближнему моему грустно». «Поднял руки к небу» — я вижу: «он молится». Горестно протянул руки — и я через 4000 лет узнаю, что «этот египтянин грустил».

Как же вы говорите, что «кожа ничего не содержит в себе». Она именно «слишком много содержит в себе». Содержит, как я думаю, — душу.

И вот она покрыта эпителием, этими маленькими «щитками». Покрывается пухом и волосами. Рост, зрелость; мужество и старость; младенчество; невинность и грех — все выражается в коже. Кожа, напротив, есть самый обширный определитель самых широких категорий бытия нашего.

Я думаю — по «коже» можно увидеть мужчину и женщину; бесстыдно-го и застенчивого. Мало разве вам? — да это определено *душа*.

И вот мы «нежимся в коже», и через нее мы ласкаем у ближнего душу. Мать вызывает первую улыбку у ребенка как-то «присюсюкивая», щелкая языком и протягивая ему «пальцы». Почему-то ребенок понимает и дает первое блаженство отцу и матери блаженством улыбки своей из люльки. И он «говорит»: странным языком — он «поднимает брюшко из люльки» и в то же время смеется губами. А глазенки блестят.

Улыбка? В самом деле, она не могла бы жить без этого чудного сложения рта, без этих «пунцовых губ». Какая же «граница между людьми», если между ними есть «улыбка» и «поцелуй». Удивительно, что у египтян при их безграничной нежности, ласковости я не встретил ни однажды, среди миллионов изображений, ни одного поцелуя. И, можно думать, этой ласки у них не было. Почему? Я думаю, оттого, что поцелуй закрывает лицо. «Я его не вижу» в поцелуе: и, очевидно, для них главное было — «*видеть* счастливое лицо».

«Видеть любящее лицо»...

«Видеть радующееся лицо»...

Вообще «видеть»: т. е. насладиться *не самому*, как это естественно, в поцелуе, а насладиться через восприятие *чужой радости*. У них были

какие-то воздушные поцелуи, и они их ловили глазами. Рассмотрите их взгляды друг на друга, и то, что я назвал — «Вечное Благословение Египта».

Оно есть. И произошло — я думаю — от кожи и от вечного фетиширования через прикосновение тонких кож, в мистериях. Мы не можем не обратить внимания на то, что животные живут несколько веселее людей, более их «играючись», вообще менее нежели люди, — угрюмо: и от того, что они неизмеримо их более все фетишируются. И растения растут веселее. Взгляните — полянку: как она вся весело стоит в лесу. Она замкнута в лесе, одинока; философ. Но она вся играет. Природа не знает «пессимистической философии», а у людей она есть.

Кстати, я приведу пример из экспедиции Французской армии, издание 1820 года, эти «останки статуй»: при вторичном разглядывании меня поразило, до чего эти «останки» выше по духу европейских лиц:

<Останки>

Вольтер. Локк. Кант.

## ДЕМЕТРА И МИФ ЭДИПА

Из планеты земледелия не докажешь, сколько ни ухищрай ум. А из земледелия планету докажешь: отчего земля пузата, и «горизонт» и все.

И солнышко. Как ты докажешь из планеты, что должно быть и солнце? Не очевидно. А из земледелия «очевидно», что должно быть и солнцу; сколько ни сей, без солнышка ничего не вырастет.

Значит, земледелие есть душа, которая связывает землю и солнце. Оно протягивает одну руку к земле и другую руку к солнцу, не будучи, однако, ни землею, ни солнцем. Оно их первее, ибо и солнце, и земля есть только «ключительные слова» земледелия.

Как же ты говоришь, что человек вошь? И как же воображаешь ты, что для рождения такого «чуда — Ангела» женщина не должна залезать на Небо?

Стоит планета. Стоит планета. Еще стоит. Миллион лет стоит. Как же, однако, из миллиона лет стояния пустой планеты вырастет из нее трава?

Говорят — почва. Но почва — из перегной. Откуда же перегной, если прошлый год не было травы? А на пустой скале ни «косят», ни «сеют». Дело в том, что земледелие могло начаться только «из земледелия в прошлом году»: а «земледелия в прошлом году, — т. е. в мировом прошлом году, — не было».

Сеют: и посмотрите, ведь земля не только по виду своему, но и по существу своему — брюхата, посев есть совокупление зерна и планеты, ибо зерно есть старший и первый, есть Адам, а планета — только Ева, вторая и менее тяжеловесная. Зерно, падающее с дерева или с травы на землю, —

оплодотворяет ее совершенно, как мужчина женщину. Но «в порядке личного существования» дерево, конечно, «выросло из земли», — это единичное дерево, — и есть сын ее. И что же мы видим? Великую тайну Эдипа: что сын оплодотворяет мать свою. Но смотрите, смотрите, как ноумен пронизывает феномены: если мужу даже 50 лет, а жене только 20, жена обнимает его сверху книзу, совершенно, как мать, баюкает его и психически смотрит на него как на своего ребенка. Всякая любовь — всякий раз, как мужчина и женщина совокупились между собою, жена таинственно усваивается в мать мужу: и «Эдипова тайна» есть всеобщая в браке. Только она настает «потом», вырастает «потом»: но непременно вырастает «по образу и подобию» брака планеты с зерном.

Отсюда таинственная и особенная, страстная любовь, когда мужчины молодые или среднего возраста женятся на девушках или на вдовах много старше себя. Не женятся (никогда) на «несколько старше себя», года на 3, на 4: но всегда лет на 15 или 20. Тогда муж у нее сосет груди, как совершенно ребенок у своей матери.

И ему хорошо. И ей хорошо. «Вот думала будет сын. А он муж мой».

И груди-то устроены ведь как: только у человека так, что их не может не сосать муж. Высоко, под шеей. И — красивы, обаяние. Целуя в губы, муж переходит к шее, и неодолимо всякий переходит к грудям. Но когда он переходит к грудям — он есть «ребенок, сосущий свою мать». Опять Эдипова тайна: но в каком она теперь ореоле. Она переходит в мадонну.

Так Деметра переходит в любимейшие изображения южных народов Европы.

Об этом, об этих особенных случаях, так потрясающих душу, пока до них не дотронешься внимательным умом, — мне приходилось услышать рассказы раз 5—6. 5—6 на биографию одного человека — это слишком много, и, очевидно, таинственная паутина, плетущаяся преемственно в мире Эдипами, хотя безмерно редка, но как-то устойчива. И, я думаю, «без Эдипа земля не стоит» и кто-нибудь хотя бы один на планете несет скорбную участь Фиванского (кажется) царя. Один случай мне передал Ник. Никанор. Глубоковский: именно он начал рассказ словами: «Был один случай, что человек был женат на своей дочери и сестре, не зная того». Узнал это он из хроники дел при Св. Синоде. Священник донес ему сию тайну, о которой он узнал из исповеди перед смертью виновной матери: рожденного ею младенца она «подкинула себе»; по миновании 17 лет сын влюбился в «приемыша». Сколько мать ни отговаривала сына, уговоры не могли победить любовь. — «Что же, как вышло дело?» — спросил я профессора. Как весь полный благодати, он как-то приподнялся и сказал: «Было решено: *яже Бог сочета — человек да не разлучает*». Брак не был расторгнут. Я заключил в себе: как же можно и какие есть основания после этого прецедента расторгать какие бы то ни было вообще так называемые «незаконные браки»??? Нужно заметить, лично я вполне разделяю решение Синода и присоединяюсь к патетическому тону, каким это сказал добрый, благой и мудрый Глубоковский. Тут такая

неисповедимая тайна планеты... И, кто знает, «разлучение данного брака» не вызвало ли бы где-то, чем-то, но непременно сейчас же возникновение подобного же брака? Синод принял на свои рамена печаль земли и оставил «все дело так». Ведь и решение его, при массе разлучений по меньшим причинам, вполне таинственно, страшно и неисповедимо. Да не таинственно ли и самое зачатие с одного разу? (Было только одно единение.)

О другом случае мне рассказал студент: ему о себе поведал тайну товарищ — студент.

Третий и почти четвертый я слышал от проф. Московской Дух. Академии Фад. Конст. Андреева. Здесь не было собственно «события»: Эдипство остановилось на полудороге. Но приступы к нему, «пароксизмы» к нему, пожалуй, страшнее события. Оба случая, как и все, кажется, подобные, шли от матери. «Мать зовет»; Гη-Mutter<sup>1</sup> приказывает. И последний — следующий.

Выслушав от Андреева рассказы, я в тот же вечер передал их. И услышал ответный еще рассказ:

«Поехал я к сестре своей, замужней, в В. У них занимал в домике две комнаты инженер, к которому каждый месяц приезжала его мать. Инженеру было лет 35 (значит, матери лет 55), и был он очень красив и виден собою. Сестра и говорит мне: «Обрати внимание, как они целуются». Я отбросил это замечание. Она повторяет: «Нет, обрати серьезно. Когда бывает, мать приезжает летом, то я обыкновенно сижу в верхней светелочке, и они меня не видят, а я сверху все вижу. И вот они спускаются вниз к шлюзу. Никого нет. Пройдут шагов 10, — и начнут обниматься и целоваться. Он ее просто зацеловывает, играет с нею. Нет, это поцелуи — не к матери».

Помолчав: «И в сказках намеки на это есть». О сказках меня удивило замечание, потому что Андреев мне то же сказал.

Восходит, однако, все это к «посеву — зерна», и к устройению груди, из всего мира особливому только у одной «жены человеческой», и к счастливым женитьбам на пожилых девушках. И к тому, вообще, что в самом деле планета «есть мать дерев и трав», вступающая в брак с «семенем их», и что без этого, как начал я изложение, едва ли бы появились земля и солнце. Таким образом, Эдип зарыт в земле как некоторое ее основание.

\* \* \*

Но тогда выходит еще одна тайна: что дети, в сущности, старше своих родителей. Раньше, чем соединиться с Деметрой и войти во все положение «отца», такое серьезное и ответственное, юноша должен встряхнуть кудрями и «пролить кровь невинности». Юноша и юная любовь — больше: юная страсть и огонь, «солнце», — всему предшествует, «предшествует солнечной систе-

---

<sup>1</sup> Земля-Мать (греч. и нем.).

ме». Как космогонично все, я особенно хочу сказать — как космогонична любовь. В юноше загорается любовь к старой Деметре. Деметра принимает его зерна. И расцветают сады, земля становится садом.

## БЕС

Статуэтка «беса» знаменита своею множественностью, обилием, т. е. колоссальною употребительностью до Р.Х. и обширностью стран, где она употреблялась. В монетах особенно она царствует на мелких островах Средиземного моря, и чем ближе к западу, к Геркулесовым столбам и Карфагену, — тем обильнее. В моем собрании монет, обильном карфагенскими, это изображение попадается всюду. На восток оно заходит до границ Аравии и Синая.



Но и собственно греческие страны — обильны ими. Хотя нет сомнения, что родиною изображения этого является «хамитическое безобразие»: до такой степени фигура «беса» совершенно чужда «эллинского изящества».

То, что сразу же кидается в глаза у него, это: высунутый язык, как поражающая особенность, что-то небывалое, непривычное, «непринятое». Второе — зарослость всего лица бородою, — не подбородка, а именно лица; третье — торчащие безобразные уши, угловатые или круглые, «не человечески»; нос — широкий, русский, «скверный»; возраст старый, лысый, раскоряченные ноги, приседание; хвост за спиною; и «то, что дурно назвать», — впереди. «Полное неприличие». И — так любимо; «везде» — от Карфагена до Греции.

«Да спрячь ты что-нибудь», «или — сядь, как следует». Но раскоряка стоит. Все (почти без исключения) его изображения — стоячие. Это всегда маленькие, почти крошечные изображения. Они ставились дома по карнизам стен или носились в карманах. Остановившись в дороге, путник раскидывал палатку, вынимал беса, и устраивал «дом себе». «Теперь я у себя дома».

В «бесе» — по дедовскому его виду, есть действительно что-то «домашнее». И внутри себя я его нередко называю «домовым» хамитов; «давно умерший дед рода», «дед теперешних обитателей», который, и умерев, не покидает старых стен, и все торчит среди своих внуков и правнуков, — обходя дом ночью, как сторож общего покоя, здоровья и благополучия.

Идея эта — или как основная, развившаяся позднее в свои варианты, или как, наоборот, вариант других идей, я думаю, действительно есть в «бесе».



— Да спрячь же язык. Нехорошо.

Дедушка ухмыляется и убегает, но языка не вбирает назад.

— Безобразие.

— На безобразном мир построен. Если бы не «разные безобразия» — мира совсем бы не было. Вот бы не было моих детей, и — внуков. Так что если оказывать мне большую честь, то можно меня назвать «гением рода», «ангелом хранителем» родового типа. Но я скромн, мал ростом и не претендую быть иначе как «домовым». «Домовых» тоже рисуют черными, в саже, — и даже думают, что они живут в трубе и оттуда вылезают по ночам. Существо-то я действительно ночное, и меня днем совсем не видно. А ночью я выхожу и показываю свой язык.

— Для родовой гордости нужно бы получше тип. Не с таким носом.

— «Нос» мой тоже как следует. И вообще во мне все «как следует».

Хамиты придумали. А они знают употребление и носу, и языку.

— А уши? Ведь это глупо! — Торчат в сторону.

— Лицо мое вообще похоже на кошку: толстое, «мордастое», с ушами круглыми. И «ус», как у кота, и что-то в роде бороды. «Совсем кошка», — и кошка ведь тоже «домашнее животное». Печку любит, тепло любит. Да и привычка: кто не знает, что ни одно животное так часто «не лижет себе хвост, как кошка». Привычки одни — у кшки, у домового... у хозяев дома... и у меня, их старого дедушки.



17 февраля 1917 г., просматривая для цинкографий франц. Экспедицию в изд. Меллука, открыл «портик небольшого храма в Эдфу» или Эсне — с изображением 12 бесов на фронтоне его. Это вполне подтверждает мою мысль (явившуюся лишь зимою 1916 г.), что «бес» имеет «отношение к мистериям»: и определяет самый храм (ни одного такого в Египте) как предназначенный специально для мистерий.

Это мое открытие с начала египтологии. Помни, Русь. Не Шамполион открыл, не путешественники в Египет: а Розанов, южнее Тифлиса не езжавший.

Нет ли такого в Дендерах? И в Абидосе.

Узнал, что там «были мистерии Гат-хор (коровы) и Озириса». Конечно, с лизаньями (Гатхор) и сосаньями (Апис).

Кстати: зачем именно «Апис на Земле». Можно «вообразить на небе». Апис явно и нужен был для мистерий. Дабы «вкусить и испить». Эта мысль уже сейчас пришла, кажется, 21 февраля 1917 г. Я же, собственно, все открыл, п.ч. мне вот уже месяцы хочется пососать у быка. Ведь есть же вкус? И, м. б., он безумно прекрасен.

## ДЕТАЛЬ ЕГИПЕТСКОГО РИСУНКА

Все брожу по комнате, между множеством недоконченных и испорченных рисунков, вижу эту деталь давно и хорошо известной «общей картины».

Потом ее читатель увидит: но мне показалось, что она гораздо более философична одна, без остального. Что именно *одна* она до того выразительна, до того удивительна, до того характерна для всего Египта, что прямо «бери перо, пиши фолиант и выводи весь Египет» из этого человека, не «держашего за хвост корову», что было бы не дурною характеристикой всей Европы: но держащегося за хвост коровы: что решительно являет контраст между всею Европою, всей европейской цивилизацией, всем духом ее: и между духом и цивилизацией Египта в его тоже целом. Это:

- Да!
- Нет!

Сказанное так резко, так гениально, — так мучительно и страстно, как мы не найдем этому аналогий и подобных ни в чем, пожалуй, другом.

Об этом хвосте и человеке можно писать целую оперу. Чтобы показать всю неизмеримость между собой и коровой, человек — художник нарисовал себя крошечным. Он немного выше колена ее. Обычный способ в народных рисунках выравнивать достоинства вещей или, наоборот, показывать их неравенство.

Где же родник этого? Почему ученые не пишут диссертаций «о хвосте и человеке», или «египетское уничтожение перед хвостом»?

Египтяне были довольно учены: разделили год на месяцы и дни и за три тысячи лет до Рождества Христова изобрели Юлианский календарь, которым до сих пор пользуется Россия. Нет, они были решительно учены — учнее нас. Они жили в себе и с собою, тогда как мы отовсюду заимствовали и очень мало что сами сделали...

Я не решался думать долго ничего, хотя догадки мне приходили на ум. Но когда я взглянул на рот этого человека из Саккары, я сказал себе:

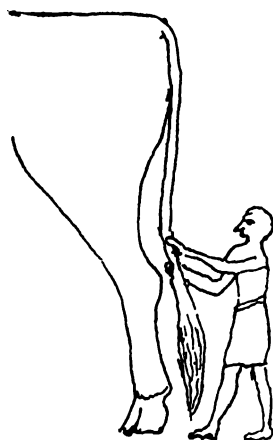


Рис. 91.



Рис. 92.

Рисунок рта, носа и подбородка портрета из «Une rue de Sakkarah»

— Да. Этот человек мог. А потом пошло далее, по традиции, по привычке. Но если так... Если так...

Если так объясняется 1/2 Египта... Больше: мы вошли в душу Египта, в сердце его, в энтелехию его. (Энтелехия — самый значительный термин аристотелевской «Метафизики»: приблизительно — «сущность вещи, объясняющаяся из цели вещи».)

Что же это такое? Очарование или что?

Очарование было. «Корова Гат-хор». Великолепно ее описывает Масперо, т. е. в «Истории египетского искусства» он описывает одну ее исключительную статую, — не замечая тоже вовсе, что хотя статуя действительно изумительна, но факт, под статуею гаящийся и его внимания нисколько не остановивший, — на самом деле есть «ключ к Египту», и настолько волшебен, настолько изумителен, настолько невероятен, что... теряешься и приседаешь к земле от страха.

Ведь что такое Гат-хор? Масперо хорошо знает: Афродита. «Афродита», «Прекраснейшая»? — Любовница? «Афродизианская сущность» слишком ясна, — если греки, придя в Египет, и если греки, придя в Египет, определили «коров» — «Афродитами», то, конечно, в смысле любовного чувства и любовных отношений.

С кем? С быками? Но ведь это старая история, и — всеобщая. С таким же правом они тогда называли бы волчиц, шакалиц и бегемотиц «Афродитами».

Нет, они называли их не «Афродитами коровьего хлева», не Афродитами скотного двора, а вообще «Афродитою», явно — как — в смысле как мы Венеру Милосскую. Да прочитайте у Масперо: они явно и сделали из нее Афродиту Милосскую:

Текст из Масперо.

1) Часовня Гат-хор.

*Масперо. «Египет» Изд. «Проблемы эстетики». Из серии «Ars Una — Species mille». Стр. 218—219, к рис. 316.*

Приходят худые мысли. Приходят священные мысли. Для нас — «худые», для египтян — «священные». Ведь «да» и «нет». И египтяне нас не приглашают соглашаться с собой.

Но сущность страшнее, чем мы думаем, чем, наверное, уже предположил читатель. Правда, если сравнить бы сцены из той же «Une rue de Sakkarah», то мы увидали бы, что человек прикасается к быку точь-в-точь так, как жена к мужу в другой сцене. Но хвоста — нет. Тайна заключается в том, что не «корова держится за хвост (мужчины у египтян носили в костюме своем приделанный хвост коровы) человека», а что «человек держится за хвост коровы». И она — большая, он маленький. Тайна, — и уже действительно совсем для нас непостижимая, — явно заключалась вот в этом поразительном отношении:

<Рисунок: человек под быком,  
вскочившим на него>

Тайна заключается в том, что были Виардо и Тургенев, и Тургенев — гениальный, а Виардо — так себе: но Тургенев чувствовал (его собственные слова, со страстью сказанные в письме к кому-то), что он «только туфля, в которую одевает свою ногу Виардо», и затем бросает и просто забывает о ней.

Дело в том, что египтяне были несравненно нежны... Мы это уже знаем. Нежны, как Тургенев, когда он писал «Бежин луг» и «Асю». Ася — это его дочь. Вот они были так нежны. И — мощны (пирамиды, сфинксы). И вот этот странный Самсон, Самсон по силе и Дамянти по кротости, и нашел в коровах свою «Далилу» и дал ей «стричь себе волосы».

Далила или Виардо...

Египтяне вскакивают из могил и дают нам пощечину. Мы потираемся и спрашиваем: — «Почему?»

— Как же вы своих хищных баб, своих Виардо и Далил, смели смешать с нашими Гат-хор.

<Гатхор в бутонах>

Которые есть все милосердие, все — доброта; которые по типу своему, уже по типу только травоядного, стоят неизмеримо выше человеческого типа, — и человек сколько бы ни развивался, сколько бы ни рос, и даже хотя бы выдумал целую европейскую цивилизацию: однако совершенно никогда не уравнивается с типом коровы, которая дает одно добро и никогда, никогда не знала зла. Мы выбрали ее и упростили быть нашими женами, любовницами («Гат-хор — Афродита»), дать нам сколько-нибудь ласки: потому почувствовали, что лишь приобщившись к крови ее, слиясь кровно с нею, мы сможем подняться над типом человеческим, который в сердце своем не очень высок. Хитер, смышлен, а добр и благ если и бывает — то как исключение. И мы искупались кровью их. Мы их приняли в себя настолько, насколько они не отказываются принять нас в себя. И они долго не хотели. Или были равнодушны. Но века прошли. Наши молитвы, наша нежность к ним пробудила в них ответное: они стали более к нам расположены. В первую тысячу лет — не очень. Во вторую — очень. И теперь они почти так же страстно нас любят, как мы их.

<В 36 раз увеличенные лица  
головы Аписа и головы Гатхор в бутонах>

Тургенев наконец победил Виардо.

Но сущность идет глубже и этого. Тургенев рассказал свое «горе» приятелям, Некрасову, Боткину: египтяне совсем никому не передали своих «таинств», и я также не посмею передать их: обратив только внимание на то, что «загробно вот эти двое, муж и жена, вдыхают особенно большие чашеч-

ки цветов, какие мы не находим на рисунках других цветочных вдыханий». И чтобы восстать из мертвых — тоже они вдыхают что-то откуда-то. И, наконец, «на тот свет» человека и душу его везет — по словам же ученых (Масперо, «Hist. d or.») тоже добрая любовница Гат-хор.

<Рисунок: на спине Гат-хор —  
умерший и его душа>

Да уж не от тех ли пор, от «Адаа и Цилаа, жены Ламеховы» пошло объединение двух слов — «вдыхание» и «душа». И «вдохнул в лице его (в ноздри красной глины) душу бессмертную».

Тогда уж не от Гат-хор ли и «пирамиды». «Мы стали сильны как быки, вечно обоняющие коров своих».

А разум — человеческий. И вот они взяли циркули, линейки, и человеческим разумом и бычачьей силой, — сами такие добрые и нежные, — подняли чудовищные камни и сложили пирамиды и храмы.

## ПЕРЕД ЗЁВОМ СМЕРТИ

Ну как же, ну как же, ну как же мы встретимся «там»?

Смерть ни перед кем не разевала зёва.

Как воззвать? Как призвать?

О чем «молиться»? Нет, к *кому* молиться?

«Боже, родненький»...

«Родненький» ли? О, вот когда спор между «хозяин мира» и «родным миру».

«Хозяин» — он неумолим. Чем возьмешь его? Как он сжалится? Почему? Мы ему «чужие».

«Чужой» к «чужому» лют.

А хочется проскочить в гроб за умершим. «Куда ты ни едешь — все равно: возьми нас с собою».

— В аид? Возьми и в аид.

«Хоть в аду страшно. Даже вдвоем страшно».

Холод. Тьма. Вечный холод и венчая тьма. Как там быть. И не увидишь друг друга.

Как мы согреем друг друга, если до такой степени холодно. Господи, но неужели же смерть погашает и любовь?

Любовь... Чем растенья живы. И чем люди живы. И мир полон ею. Пахнет. Солнце пахнет. Каждая тварь пахнет. «Запаха нет», и «он есть везде».

Запах. Пахучая вселенная. «Где граница запаха» и «когда кончится запах».

Не знаем: но «когда кончится запах» — мир кончится, «потухнет», «небытие».

Мир, который ничем не пахнет? Бррр... Господи, «даже труп воняет». И, значит, как-то он «есть». Потому что окончательно-то «нет» только того, которое уже «вовсе и окончательно не пахнет».

Но что лучше всего пахнет? Для меня и для тебя? Нет, выкинем «я»: что такое «я» перед лицом смерти, и особенно при мысли, что и животные тоже умирают? Тут мы «едино с животными». Что же для них-то и для всего мира, для высшего в мире, одушевленного и прекрасного «покрытого кожей», то белую, то розовую, лучше всего пахнет?.. И чем мы, увы, — в тайне или без тайны, открыто или в «мистериях» бесовских («бес») — всю жизнь нюхали и почерпали в этих вдыханиях *esprit*<sup>1</sup>, талант, порыв. «И переплывали моря, и задумывали новые сочинения».

Животные, оглянувшись разумным взглядом на человека, сказали:

— Как древо жизни — ничто так не пахуче. Как Озирис — никто так не пахуч. Нет еще и в поднебесной ничего, что было бы равнозначно его жизненному запаху. Его — который сам — жизнь. Который дарит жизнь. И солнце — дарит запах свой цветам. Солнце — Озирис. Само солнце в тайне вещей — озирианец природы.

<Солнце с скарабеем>

<Солнце с уреусом>

И оно оттого и не остывает, что в нем уреус и скарабей, запах и сила, запах и благодеяние миру, запах и дружба с миром: который оно держит в своих объятиях, как любовник любовницу.

И вот от солнца-то мы и любим.

Без солнца мы не обнимались бы.

Не целовались...

Не имели, похоже, и тайного и явного блуда.

Даже мы все «родим солнечными силами в себе».

И «частица-то солнца» в нас и рождает.

«Мы все — частица Ра».

И частица — Уреуса.

И частица — Скарабея.

«Воняем, как они». «И за нашу вонь нас любят».

Но «если вонью все связано»: то куда же вонь пойдет после смерти? Вонь остается. «Могила воняет».

Что «гниет» — воняет же. Зерно гниет в земле. И когда «сгнило» — вырастает вдруг феникс, новая травка из прежней. И приходит «его черед», когда «само было одно зерно».

Но «что же такое в земле». Какая тайна? Тайна гниения и праха? Что такое? Вцепливаемся руками в землю. Разрываем. Копаем. Не постигаем.

<sup>1</sup> разум, сознание, дух (*фр.*).

Не видим и не понимаем. Но сокровение в том, что «если в землю не было положено зерна, то ничего из нее не вырастет», а «если зерно и Озирис было положено» — то «по весне выбежит травка».

Да. Но не «вообще из земли», а если было положено зерно — Озирис. Т. е. из Озириса. Он же — Уреус. Он же — Скарабей. Он же вонь.

«Если не воняет кусок земли скарабеем, и в нем явно не заметно жуков — то ровно ничего и по весне не вырастет». Все-таки суть не в солнце и Ра, а именно в жуке. Как суть и не в «женщине», «пустой», — но что иногда в нее заползает «вонючий скарабей». Все-таки суть-то именно в пахучем Озирисе: отчего, животного, и ласкают так его, и нежат, всю жизнь нежат и только его одного; и поистине, именно животные открыли нам путь в Вечную жизнь.

Это наша пахучая корова. И бык, который воняет еще хуже, чем скарабей.

Несет корова покойника.

Несет бык покойника.

Так вот что такое «не умирает зерно». А если «бросить в землю» — то еще обогащается, «вырастает сам и шесть» в России и «сам и 100» — в Египте.

В земле и его брюхо.

Как не сказать: «Вещее брюхо».

Которому поклонился жрец...

Но — собственно-то не ему, а «Зерну павшему в Землю», и обещающему нам новую жизнь.

Все та же — любовь...

Но уже к Апису... вещему.

Тот же «Апис», эмпирический бык: но с какими-то чудными загробными обещаниями в себе. Он «здесь» и он «там», наш «Апис» и наш «Озирис». И «под землю» он еще чуднее, расширенное, зеленее. Именно под землей-то и в земле он вырастает в «древо жизни»: верхушка коего на земле, но большая часть ствола, а главное — корни «гниют и не гниют в земле».

Так и тяга к пахучему Озирису — что он не весь земной, а «корнем уходит в вечность»: настолько же прошедшую вечность, но силой и семенем он уходит на земле в совершенно нескончаемую будущую вечность. «Бык есмь Авраам, а евреи до сих пор живут»: неужели же это не целиком «доказательство вечности». О, «вечность» стебля доказана... И особенно «вся вечность», которая «ширится», чего не может камень, пустыня и алмаз.

«Так вот отчего мы любим этот запах». И ласкаем, и ублажаем. И входим в «бесовские таинства». И любим оба пола, уже явно вне задач рождения и вне задач дня земли, вне «плодитесь, размножайтесь» — на Земле, а для задач совсем других «загробных».

Обоняние: к трупам подносят цветы.

Птичка — душа нюхает цветок.

И вообще всякое воскресение происходит через ноздри.

Самая удивительная вещь, самая непостижимая, чему «на земле нельзя верить», и только откроется на том свете, это что всякая «линия явлений, существ» и т. д., — линия литературы, слова и т. п., — линия мысли, философии и «все в составе ее жизни» по мере приближения... к Озирису... в самом деле становится религиознее, мистичнее, священнее. Равви Акиба недаром сказал: «Что, вы думаете исключить *Песнь Песней* из канона? Но все стояние мира не достойно того дня, когда была составлена *Песнь Песней*». Наблюдая, мы действительно видим, и видим до наших дней...

Где-то в полемике или в рассказе мне пришлось прочитать (кажется, в полемике, — лет уже 12 истекло, явно «пора революции»): что «есть вещь невиданная, чтобы матушка (жена священника) была атеисткой». Тогда как хотя некоторые батюшки близки к этому. Я так поразился. Стремление к замужеству «с духовными» — чрезвычайно. Влюбчивость в них и стремление к сожитию с ними, к плотскому непременно сожитию, — чрезвычайно же. Вспомним и «девоток» у католиков. А о влюбчивости мне рассказывали с плачем девушки, барышни. Как они томилась, бедные... Воистину «Суламифи, искавшие своего Соломона». Что же это значит, весь этот круг явлений? «Озирис одолевает». «Он устраивает, он просвещает». (Озирис — Онуфрий.) До сих пор сохранилось и, очевидно, навсегда сохранится необъяснимая связь «прикосновения к нему» с верою в Бога и поднятием этой веры. Поистине как Авраам сказал слуге: «Положи мне руку под стегно и клянись Господом». Что-то есть такое. Но если «такое» есть и сохранилось до нашего времени, то как было египтянам не подумать, что животные, которые вечно озиряют, и их жизнь собственно и заключается в еде, питье и озирянии, суть «водители человека к Богу» и «основатели религии на земле». Собственно именно животные открыли им «суть вещей»; может быть, сами они и не догадались бы, как не догадались же прочие люди, все люди. И они запели «Песнь песней» животным, и слились с ними в один чудовищный, гиппопотамский, левиафанский мир, и воздвигли пирамиды. Вот где загадка мощи египтян; не только пронизательности их, но и прямо физической, мускульной мощи (пирамиды, каналы); их «здоровья, силы, жизни». Конечно, нет никакого сомнения, что они сливались с ними плотски, как только животные хотя малейше выражали к этому желание; но и вне их желания, уже по своему желанию, они покрывали их ласками и поцелуями, и, главным образом, их озиряющие части. Для этого достаточно увеличить их крошечные, в ноготь величины рисуночки: и тогда мы увидим это не «в булавочных головках», а в разительных картинах, при виде которых немеет. Но здесь-то, здесь-то именно (ведь это же никто же из европейцев и греков не испытал) они и почерпали силу и невинность. «Ибо в семени моем невинность моя», и египтяне таинственно тут возвращались в невинность. «Как матушка, спящая со священником».



...обоняние-то, обоняние... Эта странность на улицах и в стадах, не могла не поразить египтян как «новых жителей мира», «впервые пришедших в историю», великим поражением, великим удивлением. Да почему не поражаемся мы? Не знаю. Почему не поражаемся. Мы оканчиваем простым: «нравится». Да почему же «нравится». Природа именно подводила нас к открытию, м. б., величайшей загадки мира через то, что «отвратительно пахнет», как бы говоря: «Задумайся». «Отвратительно», и все исполняют. У «видных» Паскаля и Амьеля — и у очень-очень видных лиц, имена коих страшно назвать, в «муках раскаяния» и «угрызениях совести» мы ясно читаем, что они «повиновались закону отвратительных запахов». Почему же, почему они не задумались, а кличили кротким: «Худо», «грешу». Почему «сие худое делается»? Египтяне одни, хамиты одни «переключили вопрос», создав безобразного «беса» и учредив «мистерии», — которые вот именно исполнялись в этом «небольшом храме» около Эффу, на который ученые не обратили никакого внимания. Хотя не могло же их не поразить зрелище, ни в каких других храмах не попадающееся: двенадцать «бесов», помещенных в линию на фронте храма; и кроме их одних — ничего. Ни — Солнца-Ра, ни Озириса — Изиды, ни «любимца общего Аммона». Уже представляю себе зрелище для входящих: ведь в фигуре «беса» поражает, что она скрюченная и безобразная, вся как будто и скомпонована около одного огромного высунутого языка. Он — вовсе не показывается; он выброшен, выкинут, и чувствуется «в эти минуты не бес живет, а язык один живет», «бес» же просто подставка, футляр, «тень» и почти «небытие». Страсть, огонь, душа — явно в языке. И еще «в другом худом», чего постыдятся египтологи. «Одно худое живет во мне». И имя же: «бес», очевидно перешедшее в последующую историю. Да и рога козлиные. «Ну, чему радоваться». Каково же зрелище входящих: статуи так велики, что пропорционально фигуре язык высовывался на аршин, то с аршин же торчало «другое». «Ну и зрелище». Не один египтолог, но и всякий бы плюнул.

Но египтяне шли в «свою тайну мира», в свое мировое — «эврика». Паскаль не задумался, мы задумались: «Отчего к совокуплению тянет не голод, нудит не голод». «Почему совокупление наступает не по необходимости, а мы к нему прилащиваемся, ласкаемся, нежимся». Отчего «без неги нельзя просто начать», ибо тогда получишь от «девушки удар», а сперва надо «пожать руку», взглянуть «любовно», поцеловать, да и пройти всю «перипетию любви». Зачем «любить»? Можно же «прямо начинать». Но «мотыльки порхают в поле, птицы поют перед совокуплением», и быки так странно обнюхивают и «поступают по бесу». Почему же эти неги, взоры, рукопожатия.

Отчего египтяне вечно «в рукопожатиях» и «благословляют друг друга»? Откуда слезы, глядя на Египет. И как сказала эта благословенная Старк (в регистратуре Публичной библиотеки, тоже): «Египет боговдохновенен». Странный «бес» объясняет загадку любви. Загадку не «плодородия», вещи

почти медицинской, а «Эдема» и растущего «посреди его» древа жизни. Именно — эдем любви, влюбленности; «держать милую в объятиях», «быть у милого на коленях». Зачем? Почему? О, «для плодородия слишком не нужно». Для плодородия, «достаточно яйца и семени», вещей медицинских. Но отчего, отчего — вздохи, туман, любовь — эдем и древо жизни. Явно не «древо жизни» для «Эдема», а «Эдем насажен, чтобы сделать все добрым и пригодным для древа жизни». «Почему мир прекрасен». Нет, скажите, «почему же ему быть прекрасным». Мог бы «вечно идти дождь», и везде «канцелярия с чиновниками». Но почему-то «прекрасен». Ах, сбывается еврейское: «мир собственно создан для мальчиков 13-ти лет». Господи же, да неужели же мир — сон? Ибо сонному отроку, если он — главное и центр мира, естественно быть окруженным юношами.

Так неужели эти столетние дубы — юноши? «Что мерить годами: надо мерить веселостью». Действительно, таинственным образом деревья все и вообще молоды, лес всегда молод, поле всегда молодо. Да и, в сущности, мир весь и без исключения страшно молод, «при таких годах». Где же загадка и разрешение? Да он действительно и весь «чтобы веселить мальчика и девочку», «мальчика 13-ти лет и девочку 11-ти лет». С «отвратительным бесом» египтяне открыли, что мир именно «13-ти лет» и никак не более, — все сверстники мальчика и девочки, Адаменка и Евенки. «Плодитесь, множитесь». «Но не по-медицински, а по Песни песней». И мир — он весь есть «Песнь песней», поющая в хвалу человеку и уже самим Богом: вот отчего он прекрасен, и вечен, и благоухающ.

«Благоухающ»: и бес поворачивает своим отвратительным носом, который почти не имеет переносицы, а одни раздавленные ноздри.

«Таинства беса» на самом деле концентрируют в себе всю любовь человеческую, но только из рассеянной они собирают ее в одну точку:



Откуда ведь и вырастают все, откуда «выросли сами мальчик и девочка» и которую несут на себе они же. «Мистерии животных», которые гораздо раньше «мистерий беса», на самом деле именно все возвращают к первоисточнику: к первоисточнику любви и неги в мире. «Озирис» и «скарabei» вдруг из «смертельной вони» начинают совершенно «благоухать» — объясняется дело, почему же они так нравятся? «Почему это существует в мире».

Раз «для них был сад насажден», да еще какой сад. Особенный, единственный и неповторимый. Вдруг открывается, что «в самом деле все прекрасно», что «нужны поцелуи и нега», что «худого ничего нет в мире», а «самое-то казавшееся худым» оказывается, наоборот, «самым чистым и возвышенным»... Именно, многие животные привели египтян к самым поразительным открытиям: и они не ошиблись, «считая родоначальниками своими» Озириса и Изиду, «царей мифических», и затем барана, свинью и «прочих». Всех. «Все животные суть наши учителя. Они научили нас богу и молитве. Да и сами они всю жизнь проводят исключительно в молитве», которая в то же время есть «вся их жизнь». Вот у кого «вечный праздник». Странный праздник «языка и носа». Но бесам они сказали: да. И преобразовали его в таинственного Озириса, но уже более сознательного — полного очей и всеведения.

<Бес с глазами>

Так вот что мы покрываем поцелуями. И откуда — томления любви. Это порыв человека к всеведению, и от этого так странно: что «через мистерии египтяне и все древние приобщались мудрости», а все люди вообще через эти же вечные, в сущности, мистерии приобщаются какой-то «проницательности в любви», «познают душу людей», приобщаются «дружбы», «уважению» и вообще, говоря европейским языком, выходят в «положительные люди». Как «начало молитвы», твердого стояния в отечестве.

И Египет прожил 4000 лет именно благодаря мистериям, где он одновременно, одноминутно делался 13 лет и 80 лет. Мудрый и юный. Египет поразительно юн и полон силы. И Египет поразительно стар (но не дряхл) и мудр. И только «в мистериях» это одно: мистерии таинственным образом молодят и старят, и в них старик еще моложе мальчика, а мальчик еще старше старика.

«Времени», т. е. возрастов, «было» и «потом», — не находится, не существует. Просто образуется

Вечная старость

Вечное детство.

В основе же

Вечная любовь.

И еще глубже в основе

Вечная жизнь.

Которая — почти же на одном месте.

При этом условии «прогресса не надо», а нужен мальчик и девочка. Но и застоя не нужно; потому что, выводя деток, они захотят строить дом.

Образуетея какая-то бесконечная твердыня.

Именно — Египет, именно пирамида в миллион пудов, и внутри пирамид и могил — чудесно распускающиеся цветы, зелень, бутоны, улыбки.

## «ЛИНЮЧЕСТЬ» ВЕЩЕЙ. «ЛИНЯЛОСТЬ» ВЕЩЕЙ

«Отвратительно»... Всегда, когда «не вовремя пришло», — отвратительно пахнет; и только если «вовремя» — столь же безумно тянет, притягивает, волнует, возбуждает... Кроме того, обратим внимание: никогда не «вспоминается» среди «шума городского», среди «базарной суеты»... Это какая-то странная пахучесть «кельи Канта», и вообще уединений, келий... В молодости я был поражен, прочтя у Куно Фишера, что Кант, проживший 60 лет в Кенигсберге отшельником, среди разных «причуд своего характера» имел одну: холостой всю жизнь, он очень любил устраивать чужие свадьбы. «Вот философствующая сваха». Не удивительно ли? Но вернемся к теме.

В чем же собственно «отвратительность»? Слово едва ли то самое, какое надо употребить, употребление коего стоит в душе. Скорее это не «отвратительность», а какая-то отчужденность, далекость... «Далекое, далекое»... «Очень далекое», «дальнее»... И — не по *расстоянию*, а — по *бытию*. «Дальнее бытие». В самом деле, эту особую пахучесть, ни с чем не сравнимую, можно выразить хоть приблизительно, определив ее «затхлостью». Вы входите в комнату, где когда-то «жили». Жильцов нет, никого нет. Но остался запах «чего-то бывшего», кого-то «бывших здесь» — и вот это и есть или ближе всего стоит к тому запаху, который представляет такую загадку. Еще: вы вошли в сад глубокой осенью. Цветов уже нет: а лишь какие-то линялые лепестки на земле. И они гниют: вот этот запах «гниющих лепестков на земле» — опять подходит здесь.

«Землей пахнет»... Перегноем пахнет... Сказать ли: Гробом пахнет»? Да, есть и это: великая тайна живых половых запахов, что в них есть что-то «от гроба». Что-то «от покойника», но умершего несколько часов назад, и пока он еще не разлагается.

Удивительно. Поразительно. И совершенно точно. И вот эта «мертвенная пахучесть» так безумно возбуждает живые половые силы организма. Как ничто иное. И до сих пор, до нашего времени, все равно «самые безбожники», сеют или кладем живые (т. е. сорванные и *имеющие умереть*) цветы на могилу близких; или говорим могильщику, подав 5 руб: «Посади на могилу цветов».

«Цветок» и «могила» — что-то родное. Каким образом? Как? Что? Не понимаем. Но видим факты.

Но вернемся к пахучести. «Будь живые розы там» — и они бы вовсе не подействовали на половые силы организма живущего, обоняющего. Но «увядшие розы», «умирающие розы», розы, которые «вчера были» и «сегодня их нет», — возбуждают безумно.

Почему?

Запах «тления». Именно, именно тем-то, что он есть «затхлый запах», — он и действует. Но что такое «вчера бывшее»? Сегодня — «тень», а не «бытие»: и вот эти «тени бытия», присущие запаху всего полового, и волну-

ют, и влекут, и возбуждают в нас «родильные силы». — «Еще сотворю». И — «сотворяет».

Эту-то тайну и раскрыл Египет, который весь можно назвать «увенчанною цветами могилою». Храмы его, так безумно полные «цветочностью» — суть на самом деле все «могилы Озириса». А эти «Озирисы открытые» — столь смутившие ученых — суть «всякое я, которое приходит в возбуждение» от затхлого запаха умирающих цветов, который в то же время есть озирианская и изидианская пахучесть. Напротив, их пирамиды и могилы — живые места. Это — живые жилища. «От этого так прочно строились». Мир «этот» и «тамошний» для египтянина перемешался: мир «здесьний» ему казался «молодой травкой», выбежавшей из земли над «могилами озирисов» (засеянное поле). А могилы и пирамиды — вечною житницею с хорошо проветренным и очищенным, сухим зерном.

Так вот откуда пирамиды и могилы. «Хорошо храни зерно». «В сухом месте». «Чтобы не было сырости». «Чтобы не проникла сюда вода». Вот зачем они «мумии» устраивали и саркофаги. И увековечивали лица в «золотых масках». Они были вечными «хозяевами около умерших», главная задача коих в каждый момент истории была: «хорошо схоронить и еще лучше сберечь зерно предков».

«Смерть» и «жизнь» им были моменты. «Круг бытия» для них был: «минута — здесь и вечность — там». И вот оба эти момента таинственно сплелись для них в совокуплении, которое начинается с «обоняния гроба Озириса». В самом деле — оно возбуждает как ничто. «Гроб Озириса» есть в то же время запах живого Озириса: и вот откуда, собственно, происходят все изидианские и озирианские пахучести.

В них, собственно, пахнут, «могилы всех предков», всего рода, генерации. Так вот что значит «венчаются». Венчаюсь, «я присоединяюсь к роду твоему». «Не к тебе, Ивану, а ко всем твоим Ивановым». И я — «ко всем Парасковьиным».

Таким образом, одновременно объясняются и «посев зерна», «земледелие» и «наши свадьбы», что мы «любим»... На самом деле, «половое возбуждение» таинственно перевивается со «смертью»: и, воистину, не будь бы смерти, люди никогда бы «не хотели». И человек остался бы один. А как «мы умираем», то люди «множатся».

— Мы любим «смертными силами», а «умираем мы — в любовь».

И вот все эти странные сцены, где Озирис «умирает» — «воскресает», «умирает — воскресает», и всегда «половой орган возбужден у покойника», и что «всяк умерший становится Озирисом».

И что кладбища — «будущая жизнь».

А наш «базар» и «город» — несколько — осенний сад с облетевшими и облетающими лепестками.

И только теперь мы понимаем это безумное доверие египтян к любви. Можно сказать: с начала мира и ни один народ так не уважал любовь, как египтяне. Они уважали любовь как пирамиду. Они почитали совокупление,

как почитают могилу. Для них это было — одно: «соединение тамошнего и этого света». «Род, род говорит во мне» — и «священная проститутка совокуплялась». «Я хочу ее рода» — и юноша совокуплялся с проституткою. Все эти вещи, для нас «несказуемые», «позорные», — для египтян были то же, что «возложение цветов на могилу предков»... И не подумаем ли мы, что еще «священная проституция» там и на всем Востоке единственно, через связь постели и гроба, — и создала у «без ресничных и без бровых глаз», глаз каких-то видящих, но отвратительных, — и длинные грустные ресницы, и чудные «бобровые» брови. Я хочу сказать: тайна слияния в совокуплении гроба и живого бытия, вечности и умирания, научила человечество (т. е., собственно, народы Востока) истине того: как же именно надо совокупляться? Проблема потрясающая и мировая.

И вот, пожалуй, мы все сказали об Египте, что хотели и что надо.

Увенчанный прекрасный гроб... О, сколь живой!!! Гроб вечный, над которым остановимся с рыданиями.

«Гроб Озириса»... О, Египет, Египет: зачем ты взял не то имя? Зачем ты опочил? Ты просто и весь — гроб Озириса.

Вечно умирающего и вечно живого. Есть не умирание, а замирание. И Солнышко вечно светит.

И Солнце — Озирис. И весь мир Озирис. И, кроме Озириса, ничего нет; все суть только «озирианские формы». Озирианские вздохи, замирания и вечная жизнь Озириса «с запахом увядших цветов».

Живой ли год? «Год на год не походит, ни погодою, ни событиями. Живое время? Живая вечность? Да — вечность жива. Мы? Да посмотрите: зачатие, роды «меня бедного», зеленое отрочество, пунцовая юность, «базарный» зрелый возраст, со службой в департаменте; побледневшая старость, гнилые зубы, и вот «весь гнию» и снова пахну Озирисом.

Египтяне, собственно, разгадали весь мир, — или дали общий очерк и общую схему «всему, что будет».

И посмотрите на вечность: два ворона — только смотрят в вечность. Откуда горы в Египте? Что за горы? Гор нет. Кто же это на высоте. Вот на высокой, выше света всего стоящей их мысли, и они посадили сюда не какую-нибудь птичку, а именно вещего, провидящего ворона, конечно, самца и самку, и показали этим изумительным изображением, что угадали в будущем все, чуть-то даже не до настоящего о них труда, который пора наконец окончить.

Vale<sup>1</sup>, добрый читатель. Сейчас — утро. Ты пробуждаешься, а я засну. И переносно, и лично, и вообще.

---

<sup>1</sup> Прощай (лат.).

## ТАНЦЫ

Эврика, эврика, эврика!  
Восторг, восторг, восторг...  
Кому это приходило на ум, что «танцы»

<сцены танцев>

есть то же, что  
цветы под гробом Озириса,  
коровы в цветах,  
Изида-мать в цветах.

Что таинственным образом, когда эти прелестные движения ног — ног, ног, ног — с такими пахучими бедрами, от движения естественно более потными и через это еще более пахучими, «затхло-потными», — разливают в «бальной зале» этот восторг Озириса и Изиды, их удушливую пахучесть, «перед которой не может устоять никакой смертный»...

Ни мужчина, ни собака.

Ни конь, ни бык.

Ни даже я.

— Что на самом деле блистающая огнями зала:

Кипел, сиял уж в полном блеске бал

.....  
Тут было все, что называлось «светом»...

Что это есть таинственное кладбище. Со всей его магией и очарованиями. И начинается бал «в 12 часов ночи»: в тот именно час, который, по сказанию, «вызывает усопших из могил». Покойники встают: но чтобы не «пугать детей» — собираются и танцуют:

Осени поздней цветы запоздалые.

Линючесть, линючесть. Запахи, запахи. Земляные, могильные. И сами танцующие так странно молчат. Ибо «во время танцев разговаривать неприлично». Только движения. Одни движения. Для пота, для пахучести. «Землей, землей пахнет». Могилой, могилой. О, Деметра: что же ты не сказала этого раньше, что суть твоя не «красивые волосы», как нарисовывали греки, а — вонь почти, как скарабея, навозного подлого жука.

Так подло пахнет.

Так хорошо пахнет.

И залы пахнут могилой (над могилой — цветы). Это танцуют — тени. Покойники, по преимуществу — покойники. Которым хочется же «в мать», которым «хочется же в отца».

Озирис встал.  
Воистину встал.  
И Изида так пахуча как никогда.  
И юноши врожатся.  
И девы тоскуют по юношам.  
«В отца!» «В мать!» «Хочу! Хочу!» — Страшно. Бал. Спальня. Кладбище. И — «у нас у всех были предки»...

Пирамида. Похож ли бал на пирамиду? Он только и есть пирамида. Это все «упокойные тени пляшут». И «наш вечер всегда есть танцующее кладбище» — по этому невозможному его запаху, — который едва заглушается запахом «свежих роз», которыми убирают себя девушки, не иначе, как эта «корова — кладбище, вышедшая из-под земли».

<Гатор — Афродита из-под горы  
выходит в цветах. Из Ланцони>

Удивительно. Удивительно. Удивительно. И всенощная — после заката солнца. Непременно — после заката. «При солнце явно не вышла бы». Не тот тон, не тот свет. Да мы всеми фибрами души ощущаем, что «при солнце не вышло бы». Что-нибудь значит же вкус веков, выбор веков, избрание веков... И наши хлысты собираются «на ночные плясы» не иначе же, не в иной час. Они одевают белые чистые рубахи, одни рубахи, без прочей одежды, и мужчины, и женщины. Как покойники и покойницы. Заунывно поют. Воют. «Совсем кладбище». «Совсем кладбище». И бросаются в плясы. Безумные. Потееют. Эти-то уж именно танцуют «до крайнего пота», об этом записано. И «валятся все на пол», вместе, вповалку, не разбирая родства, не разбирая ничего. Ибо они в тайне вещей «все уже покойники» — «Озирисы», «Изиды», — и что же тут церемониться, и кто же разграничивается на кладбище.  
Но и всякий бал:

Тут было все, что называют «светом».  
Не я ему название это дал —  
Но смысл глубокий есть в названье этом.

есть узенькая полоска «радельных танцев», «родильных танцев», — бесспорных египетских мистериальных танцев — коих острая суть — в помертвелой пахучести. Всех! Всех! Одинаково, одинаково! Именно — Гатор, «богиня любви», Афродита (по переименованию греков), которая «в цветах, как девушки на балу», выходит «из горы», — из земли «холмом», из бока горы... И только потому «не в декольте», что Бог ее не одел и не раздел. «Быку этого не надо». Ни — человеку.

Невозможно этого нарисовать, придумать — если не придет на ум мысль о бале, какая сейчас, 19 мая 1917 года, пришла мне во время поездки в Публичную библиотеку для занятий Египтом. Рисунки я зарисовывал, таинственно волнуясь ими. Я уже знал — что «Гатор», знал, что греки, при знакомстве



с Египтом, назвали ее «Афродитою». Почему назвали? Почему смели так странно назвать и не разъяснили. Но никто не разъяснил, ни Геродот, ни Платон. Но «Афродита — дева любви». Явно — не в отношении быка, а уже в отношении людей, которые от себя и за себя называли ее «Афродитою». По этому-то качеству их *для себя* они и нарисовали ее «кормящими человеческих детей».

<Коровообразные женщины  
кормят человеческих детей>

Но почему же такая «декольтированная корова» выходит из земли — и даже зад ее — еще в земле, еще в куполо-образной почве? Деметра! Мысль — Деметры. «Деметра любит». И вот ее запах земли, запах любви, «линялый запах» осенних цветов, от которого сходят с ума юноши и девушки.

### ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. ВЕЧНЫЕ ХЛЕБЫ. ВЕЧНАЯ ВОДА

...Уже линючий, старый «вчерашний» и сегодня: он, когда умирает, — входит во всю полноту своих гнилостных запахов.

В тлении — неистленен.

Теперь-то он и пахуч. Теперь он полон. Именно тою полнотою, которая к нему так манит.

Теперь и единственно он есть «я»: раньше он был в умалении. Он скорей «обещал», чем «был». Но и обещанием так манил к себе,

Бес и



Рис. 93.

что высовывались языки и лизали его. Преисподним лизанием.

Ну, так вы понимаете, почему «там» он «судит живых и мертвых». И как вышла вообще идея «суда». Это не «суд», собственно: а идея «превознесения» и «*adogatio*», это — способ выразить последнюю и крайнюю степень *divinatio*<sup>1</sup>. Это просто древний способ сказать: «Оправдались, Господи, *все пути Твои*».

<sup>1</sup> Предвидение (*лат.*).

«И уже недостатка больше не будет».

Но вот народы пойдут «пить воды жизни». Из — Него.

Ибо он — «древо жизни».

Именно, в загробной жизни — египтяне вечно что-то «пьют» и все что-то «обоняют». И губы и язык скорее сделаны для «загробной жизни», нежели для теперешней. Ведь и в Евангелии даже есть что-то о «вечном хлебе» в противоположность земным и временным хлебам. И — о «вечной воде жизни». И сказано о «Евангелии» и еще о «Вечном Евангелии». Т. е. как будто это «временное», которое мы знаем, и что оно, значит, — «пройдет».

## СКУКА

...Я уже кончал «снятие рисунков» из превосходного, содержательнейшего «Dizionario di mitologia egizia»<sup>1</sup> Ланцони (5 литографированных томов, Турин, 1895 г.), когда подумал: «Что же это я не взял «змея». Того особенного, не похожего на обыкновенного «уреуса» — змея,

<Два уреуса: один из «Книги мертвых»>

который так полон напряжения и жизни, и очевидно выражает обычную присказку египтян при личных обращениях — «жизнь, здоровье, сила», а скорее томительного и истощенного, донельзя монотонного и однообразного, который выражает скорее болезнь, бессилие, изнеможение.

<Длинный змей>

Змий этот, скорей, похож на солитера: которому длины — 70 сажень, и вот он лежит в кишках человеческих, лежит и сосет «душу» его, истощает, портит. Человек тощ, желт, исхудал: не зная, — «почему». Приходит врач и говорит: «Это у него солитер», и «что съедает он за обедом — идет ему не в здоровье, а в «жизнь, здоровье, силу» этого окаянного солитера, кого самая сущность сушить, обескровливать, снимать румянец с лица. Действительно, человек «с солитером» сух, желт и в вечной хандре: потому что что же это за «жизнь», если я «живу для болезни своей».

Нет энтелехии мира. Нет аристотелевского τὸ τί ἦν εἶναι<sup>2</sup>: «того, что делает вещь такую, какова она есть». Родители, очевидно, соделали человека «для жизни». А вот он взял «да только и всего, что умирает».

Это — смерть. Солитер есть смерть. «Длинный змей» есть тоже смерть. Египтяне, с гением 4000-летнего творчества, не нарисовав лица «смерти», как «костяка человека с мертвой головой» — это наше изображение, или эту

<sup>1</sup> «Словарь египетской мифологии» (ит.).

<sup>2</sup> Нечто в бытии (греч).

идею нашу о «конце всего», о «невозможности жить так далее» выразили через «длинного змея», который, если рассматривать его в бесчисленных египетских изображениях, тем и поражает или тем и отвращает от себя, что лишен всякого содержания и интереса, и есть какое-то бессмысленное многогочие.

Сею рукопись писал  
и содержание оной не одобрил.  
Петр Зудотелин. Петр Зудотелин. Петр Зудотелин.

Тогда я понял: «почему не срисовал его». Потому и не срисовал, что тут нечего рисовать. Это просто бессодержательность.

Скука. «Пель-мель». *Tette-à-terre*<sup>1</sup>. В Египте? Почему? «Который воздвиг пирамиды?»

Египтяне выразили через змея то, что они более всего отрицали, что не есть «они», а — другое. Что есть не «здоровье, мощь, сила», а бессилие, безжизненность, болезнь как начало небытия или угроза небытием. «О, вот чего я — боюсь; от чего — бегу, что воистину повергает меня в ужас». И они, до такой степени любившие жизнь, что наполнившие «тот свет» кормлением грудей, и наполнившие его «такими садами», каких и не снилось полутусклой здешней земле, — изобразили другой полюс своих чаяний в этом змее.

Что же: ведь он есть на самом деле. Проницательные египтяне, мудрые во всем и «обо всем», не могли не заметить в жизни, что «есть что-то такое», что делает ее монотонною и невозможною «как наше время». Где жизнь есть не «верю, люблю, надеюсь», а — не верю, не люблю и ни на что более не надеюсь. Утро хорошо. И ночь хорошо. Но есть что-то «между утром и ночью» — день. Тусклый, скучный, «служебный». Когда ни в «картинки не переброситься», ни любовью не займешься. А нужно пойти «в департамент и исполнить какую-то пакошь по письменной части».

Это — «наше время». Египтяне выразили в змее «не свое время». Будут миры другие. Настанет другое время. Когда люди будут не жить, а только переписывать бумаги.

И пройдут эти чудовищные рога, и вымя коровы. И груди женщин истощатся. Не станет ни семени, ни молока. Люди станут чахлыми, желчными. Станут ссориться и ненавидеть друг друга. Единственно оттого, что у них нет молока и жидкое семя, без зародышей, а как вода. Но они не будут догадываться об этом, а будут приписывать всеобщее истощение неудачам в политике, и начнут делать бунты и восстания, и после каждого бунта будут еще несчастнее.

Это — Апокалипсис египтян. Их предречение о «последних временах». Я думаю — о «наших временах».

<sup>1</sup> Пошлость (фр.).

Скука. Теге-à-теге. Когда не «пьеса на сцене», а что-то «между двумя пьесами». Одно «кончилось», а другое «не началось». Не — жизнь, а — вне-житие. Смерть.

Опять эта смерть. Это «конец всего».

Замечательно: что «когда Озирис умирает», или когда «душа переходит в лучший мир, в эти неизъяснимые сады», — то «на пути ко всему», «поперек всего» становится этот «змей».

Людам скучно, людам горько...  
Птичка в дальние края  
В дальний край за сине море  
Улетает до весны.

Это совершенно египетская песнь. Весь Египет, со змеем. Действительно, как же Озирису «подняться», встать, — если так «скучно». Озирис не «подымается» и никогда не «подымается», если — департамент. «Департамент со стоящими озирисами», с «поднятыми уреусами» — невозможное зрелище. «Все разбегутся», как христиане «разбежались бы при зрелище Авраама, обрезывающего слуг своих». Но это-то «разбегутся», как, с другой стороны, «Таинства египетские и прочих других стран», — и показывают суть всего. Показывают «преображение земли» и «начало поры бытия».

Станет все другое,  
Станем все иным.

И ведь мы вечно «ждем»... О, как мы ждем!! Что за тайна в этих вечных «ожиданиях», которые однако так присущи человечеству и присущи всемирной истории.

— Чего ты, человек, ждешь?

И стоит человек. Смотрит в море. В угол. Молится «в дыру» («дырники», «щельники», «не моляки» — христианские секты):

— Чего ты, человек, смотришь на угол дома?

— Чем идти в департамент, то я лучше всю жизнь буду смотреть на угол дома.

— Не хочу.

Ах, мир состоит из «хочется» и «не хочется». Как в Озирисе, «стоящем Озирисе», египтяне дивно выразили самую суть, и корень бытия, и «хочется», так в этом обвислом змее (он всегда «висит» у них на рисунках) или на змее, которого люди вечно «несут на руках», как покойника (да он и в самом деле есть «покойник», в сущности, единственный в мире покойник), они выразили космическое «не хочется», выразили «угасшее желание», вот то, которое «между двумя любвями». Это — Сет. Злой «Сет-х», противоположность Озирису. Который отсек у него «орган» и положил самого Озириса, без органа, в гроб. И — «мешает воскресению», мешает ему «поднять головку». «Поднялась головка»

<Озирис с поднятою головкою>

— и нет Сет-ха, Сет-х «яко пар, яко дым». Испарился. «Не нужно», и просто «нет». Что же он такое? Почему «вечная жизнь», почему Сет-х только «момент», и Дьяволу бысть конец, и «Древен дьявол связан и ввергнут в бездну», «в Преисподнюю»? По египетской мысли, но мысли «пульса мира», дьявол и есть только «временное изнеможение силы жизни», коему срок по всемирному ощущению людей — «бысть три дня, а на четвертый он восстанет из гроба». Самый этот странный срок «три дня» показывает суть всего: показывает «в чем дело». Если бы неделя? если бы месяц? Ну, год? Отчего «не год» Можно ли Дьяволу «властвовать над Землею год»? Но нет: далее «3-х суток» египетские женщины не выносили. И они плакали «в пустыне». Распускали волосы. «Наш Возлюбленный умер»... «Он умер, он умер», — неслось в Финикии, в Бузирисе, в Элевзинах. Какой же Бог это умирает «только на три дня»?! — «Ах, он «опять ожил», наш Бог, Бог растительной силы, бог жизни, цветов и бытия».

И вот он «лик Озириса», совершенно ясный как иносказание действительно огромного, действительно таинственного явления, что есть «поднятия» в мире и «опускания», весна и тягостная осень, лучезарное солнце утром и оно же к «вечеру», перед «захоронами». И, мне кажется, Египет вообще понятен? Понятен ли, читатель, а?

Египтяне имели гениальную догадку: в сути полового органа человека, именно мужского, его solo<sup>1</sup> — увидеть прообраз, да прямо зерно и суть всей вообще космогонии, самого сложения мира, как бы сказать главнейшее: половой орган и рождает новое бытие оттого, что будучи и кажась «органом», он на самом деле есть зародыш и зерно мира, *parvum in omne*<sup>2</sup>, *pars pro toto*<sup>3</sup>, и еще как там выходит по-латыни или по-гречески. Отчего и проистекает не только сила его, но еще и те другие потрясающие феномены, что «боги и люди» или «животные и люди» (начало почитания животного у египтян), собаки, фараоны, девушки, царицы, волчицы, «чтут его одинаково» — чтут как египтяне в своих «таинствах».

И дьявол сказал: но если он не только бытие, как всякое прочее, но основание всякого бытия, то чем ты покажешь, что он выше солнца, луны и звезд, которым поклоняются люди, но это ложно:

ибо и солнце затмевается — и тогда мир темен,

и луны нет — тогда ночь есть мрак,

и когда на небе нет облака, то говорят:

У меня как нет глаз, «ничего не видно».

И ответила Вечной Скуке, она же есть зависть, она же есть уныние и Злоба и постоянная тьма, — Вечная Истина:

---

<sup>1</sup> Один, единственный (лат.).

<sup>2</sup> малое, которое во всем (лат.).

<sup>3</sup> часть вместо целого (лат.).

— Обними его собою. И посмотри: не сотворится ли нечто.  
И обняла его Вечная Скука. Он повис, «несут его на руках люди», и он «ничего не может».

Умер. «Он умер, он умер!» — восклицали женщины.

— Умер Возлюбленный. Слезы жен и дев.

И посыпали пеплом головы.

И разодрали одежды.

Они рыдали, а не пели.

И солнце скрылось,

И луна скрылась,

Ни звезды на небе.

В тот час стало расти другое. И что именно «расти» — все узнали Озириса.

О звездах.

И не растения, а мысли о животном.

И все.

И сложилось уже не солнце, а мысли о солнце.

И не звезды — а мысли о звездах.

## ЗНАНИЕ

И сказала «вечная скука», она же древний Дьявол, томящий человека:

— Но если он точно бог, то покажи, что в нем больше «сый», чем во всяком «сый».

И отвечено было:

Объеми его собою. Кольцами. «Жив» — обморок, «жив» — обморок.

И ты увидишь, что в обмороке он живет, как не в обмороке.

И совершилось. Стало не течение, а пульс. Мир стал пульсом.

И когда он жив,

<Озирис подымающийся>

— он сотворял бытие. И жизни было гораздо больше, чем его самого. В секунду он сотворял столько существ, что земля лопнула бы, если бы семена не гибли в самый миг извержения их.

И когда было это, не было еще ничего, кроме этого одного.

А где кольца змеи надавливали на него и он замирал, тотчас вырастали мысли, образы, идеи. Звуки, рифмы. Воображения. И все росло и росло: по закону его, все выращивающему.

Тогда являлись не растения, а мысли о растениях, ботаника. И не животные, а идеи о них: зоология. И не звезды, а астрономия. Но с теми же «клеточками» и «подразделениями», с «основаниями» и «выводами», как «члены» у животного и «клетки» в древесном листе и «сучки и корни» у дерева.

И сказало знание змию:

— Ты видишь: я тот же Озирис. Он и «в небытии» все-таки «есть». А солнце в «небытии» есть ночь, и луна в «небытии» есть тьма, и звезды, если «за облаками», — ничего не видно.

## ИЗ «8-ГО ДНЯ ТВОРЕНИЯ». «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ»

Сфинкс... что же такое сфинкс, которого никто и никогда не видал? Масперо передает, что это были все «фантастические животные», о которых les princes égyptien<sup>1</sup> любили рассказывать, возвращаясь с охоты, будто они «видели их в пустыне», — детям своим и женам своим, пугая их, смеясь с ними, привирая им. Совершенно как французские и русские охотники, также неизменно «врущие о приключениях»...

Но Масперо забыл, как египтяне были серьезны и торжественны. И что они молились, и след., «врать не могли». «За каждое слово праздное ты ответишь Богу».

Что же это такое?

Возьмите перо, карандаш, — пусть возьмет перо художник, и так, в полувидении, в полудремоте, «вот как в сказке», начнет накидывать «фантастических животных», именно сотворяя им новые формы, новое соотношение членов, или творя новые комбинации из нескольких уже существующих животных. — Провозившись, пропачкавшись, он бросит карандаш: п. ч. «ничего не выходит», или выходит глупое, т. е. такое, о чем художественный глаз сразу же говорит, что это «мертвечина не рожденная», какая невозможна и просто глупа.

Между тем египтяне не только не зачеркнули своих «маленьких помарок»: они увековечили их в памятниках из гранита, из известняка, если маленькие — из золота и серебра. В значительной степени их «боги» суть такие новые фантастические животные. Мало того: когда другие народы узнали египтян, вошли к ним, взглянули на «фантастических животных, встречавшихся принцам в пустыне», то они странным образом понравились им, и они стали их повторять у себя, в своей культуре и в истории. «Херувим», — как я называл себе изображение крылатого существа на спине пантеры, — я потому так и назвал, что он совершенно подобен нередко попадающимся «херувимам в наших богомольных церквах».

Богомолки, бабы умные  
Могут лучше рассказать —

как сказал наш Некрасов о сне богатого купца — притеснителя, которому приснился «страшный сон».

<sup>1</sup> египетские принцы (фр.).

Нет, это не «приключения на охоте». Это совсем из другого мира, из других гаданий человеческого сердца. Да что такое «видения Апокалипсиса»? или вот это видение Иезекииля?

Мы чувствуем, что это уже пугающее и взрослого изображение как-то «подходит», как-то «возможно» и, м. б., даже где-нибудь *есть* — в других мирах, на других планетах. Может быть, другую планету, не землю, Бог сотворил 8 дней: и тогда вот эти существа удивительно подходят к «8-му дню сотворения». Потому что не только египтянам, но и ноуменально всем людям кажутся чем-то «возможным и осуществимым», может быть, «сущим, тоже не на земле».

Откуда же это, и именно у восточных народов, а больше всех у египтян. «Царственный сфинкс смотрит на пустыню». Что такое сфинкс? Они написали: «Господь. Страшный».

(Сфинкс)

Но где тайна, что египтянам так хотелось это рисовать?

Жертвоприношения. И — близость к Древу Жизни. Познание его, сближение с ним в «тайнствах» (я думаю).

Они так знали «на ощупь» биение закальваемых животных, биение в них пульса, содрогание их ног, тоскливое выражение их глаз, «при замкнутом рте», — что душа животных со всем «горем» вошла поистине в их душу: и как животных-то было много, то в воспринявшей с необыкновенной жизненностью душе египтянина и вообще жертвоприношения они все стали перекомбинироваться, но так, что это «в самом деле возможно». Наконец, в тайнствах же, от прикосновения к самым корням жизни, и к корням в самый момент «прорастания в новую жизнь» — сущность и скарабея ихнего — они как бы так наполнялись не человеческим, а космическим семенем, что их как-то толкнуло даже к «созданию новых форм». Для них «новые, небывалые животные» стали не возможностью, а тем, «чего я не могу не творить»...

— Хочу! Хочу! Чрево мое полно, и я хочу родить новую вещь...

И они «рождали» новые бытия, а не фантазировали; рождали в каком-то тумане души, — я повторяю предположение — вероятно в «тайнствах». Они переполнялись бытия, фантастического. Я уже давно замечал, что их животные (в изображениях) «не совсем наши»: отечественные, прекрасные. Все животные, ими нарисованные, самые обыкновенные, нам знакомые, как-то «рвутся к Апокалипсису», к пророку Даниилу, который «видит царства в виде козлов и коров», к Иезекиилю с его «колесницею».

(Сцена скачущих коров из Эль-Амарна.  
Глаза быка из Сахарны. Апис с юным лицом.)



## СПЕКТР ПОЛА

Белый луч, белый луч, белый луч Солнца... Так прост. Он бел. Как истина и покой. Как совершенная истина и совершенное успокоение.

Желтый луч, синий луч, зеленый луч, и фиолетовый, и «ultra-фиолетовые» лучи, и какие-то таинственно «разлагающие фотографическую пластинку». И, однако, все вместе они — белый и ясный, как ясно и очевидно в пользу его всякое сущее оплодотворение.

Но их — *состав*? Отчего они *сложены*? Как это *необыкновенно*? Не гораздо ли бы проще «белому быть как белому»? и солнцу светить просто «светлым лучом»?

Тогда не так же ли это странно, но и не более странно, как и то, что во все цвета, дающие «полезное оплодотворение», такую «простую и осязательную жизнь», — входит и странная необыкновенная необъяснимая ничем любовь, когда две девушки, не могущие между собою оплодотвориться, шепчут при луне какую-то оплодотворяющую любовную сагу, и касаются оплодотворительно, и еще более нежно и страстно, чем во всяком оплодотворении. Чудо, *miraculum*<sup>1</sup>, но не более, чем «зеленый осязательный луч», входящий в состав неощутительного белого луча.

И Апухтин, когда он писал стихи...

А ведь мы знаем хорошо, *кому* он писал.

И эти таинственные строки из «Ивановой ночи» Шекспира, где ослицы и юноши, ослы и юноши, будто поменявшись ушами, также при лунном свете меняются поцелуями, будто не узнавая друг друга.

И еще, и еще...

И еще, и еще...

При луне же, непременно ночью, встают покойницы и покойники из могил...

Вся природа волхвует, смешивается.

Как лучи в солнце для произведения «простого белого луча», полезно, как полезно «оплодотворение»...

И тогда весь этот «спектр пола», — именно спектр в неисчерпаемой полноте и множестве полосок, как спектр солнца на табличке физики Гано... так же нужен, неизбежен, оправдан и прекрасен для произведения таинственного из таинственного, священного из священного, что мы именуем «жизнь». Так просто как «свет».

И тогда воистину не «Солнце вставлено в рога Аписа»...

И также Гатор...

И еще — Изиды...

<sup>1</sup> чудо (лат.).

И всех женщин...

И всех фараонов...

А это, на самом деле, есть что-то «под солнцем определяющаяся фигура», то женская, то мужская, то бычачья, то коровья...

И что просто — это солнце есть великий бык вселенной, льющей семя свое как и «наш-бел-свет».

Но уже непрерывно и вечно.



И свет этот уже органический, творческий. И мы его вдыхаем. И он в точности оканчивается «крестами», как это делали египтяне у «ноздрей» людей.

25/ VII / 1917

## ЖИЗНЬ

Все хотят всего, и это сущность жизни.

Живого.

Того, что не умерло.

Что противодействует смерти.

Что ее отрицает вечным отрицанием.

И ты сказал: «Взгляни, но не вожделей».

Если я «взглянул на мир», но не «вождедел его»: то не убил ли я мир в душе своей? А как мир все же жив, то не убил ли скорее я души своей.

«Кто же убивает душу свою»...

И кто тогда «убил меня»...

«Ты не должен желать женщины». Но разве я «не мужчина». Мне кажется единственное оскорбление, какое может сделать ей человек, это — если он не желает ее.

«Все меня не желают». Тогда не вопрос ли:

— Зачем же я?

Вопрос, который ужаснее гроба.

(А как он для многих).

Поэтому чувственность не только не оскорбительна: но единственное, что могло бы оскорбить девушку, женщину, невинную, прелестную, чистую, чистейшую — это недостаток «желания ее».

— Зачем же я чиста?

— Зачем же я невинна?

— И Бог зачем украсил меня?

Это — всеобщее разъединение людей. Тьма и ночь. Беззвездие.

Поэтому: «я люблю вас как мать», когда вы «склонились над люлькой ребенка своего», «когда вы кормили его грудью», на самом деле подразумевает в себе: «Я хотел бы, чтобы вы были от меня матерью», «чтобы вы кормили ребенка именно от меня»...

На самом деле, только одна чувственность, чувственное пожелание, и именно до низов идущее и с низов поднимающееся — оно вызвездивает жизнь, делает ее не земною, а небесною, урелигионивает.

Оно — урелигионивает ее. Ах, так вот где родит: «наших богинь». И — богов. И — Озириса. И что он всегда «такой особенный». Какое раскрытие. Что только «такой» — он желает мира. А если не «такой», то какой же он «отец» и кому нужен. Он прах и чучело.

И тогда правильна вся чувственность.

Что только потому, что солнышко «печет», — оно и бог.

И потому, что «кровь бежит», — мы люди.

Мы «горячим соединяемся»... И зима — не вера. Как сон — не жизнь.



И вот она, вся «застенчивая», «пугливая»?.. Вся «желающая убежать»?..

Затаенная высшею застенчивостью?

Потому она такая, что брошена в мир желаний, которые хотят разорвать ее. И под всяким желанием волнуется какая-нибудь ее точка.

Теперь она вся притянута.

Вся вожделиется.

И — горит как солнце.

Желания вызвездили ее.

Нет священнее ничего чувственности! Самых исподних желаний. Только исподних! Более всего — исподних!

Они одни поднимают на религиозную высоту. И до этого все — персть и прах. Обыкновенное и ненужное.

Так вот откуда «звездная женщина в Египте», и «женщина рождающая — в солнце, а луна под ногами ее» — в Апокалипсисе.

Это не только «по существу небес», но по существу небесности самого пожелания. «Да не пройдет человек мимо человека, не пожелав его». Как понятны небесные коровы Египта.

И все люди — дрожащие лучи солнца. И — пахучести. Цветенья.

И так понятен скарабей, проползающий по небесам и везде.

В пирамиде. Могиле. И в солнце.

## ЭЛЕГИЯ МИРА

И всякий храм есть могила или околомогилен. И всякая любовь есть храм. И всякая поэзия — элегична. Вот «египетское» в веяниях «космоса». Влад Соловьев замечает где-то, что русская поэзия началась собственно с *переводного стихотворения* элегии Грея: «Сельское кладбище». Раньше были оды и, следовательно, не было поэзии. Все греческие дифирамбы и эпосы, на самом деле, являют шум, стукотню рифм и «не нужно». Греческая поэзия

— толстая, и как таковая есть полупозеия. На самом деле, поэзия началась только христианством.

Человек вздохнул. Какая-то птичка взвилась к небу. Что-то вечное промелькнуло. И вот — поэзия.

Влад. Соловьев не мог не быть поэтом, потому что он много грустил. Я называю себя поэтом, потому что я много грущу. Но что такое грусть, вообще и *an und für sich*?

Первый вздох о том, что «мы с неба и опять уйдем в небо». Грусть — это всегда разлука. Тени и воспоминания.

Замечательно, почему же любовь начинается только в 17 лет?

Что такое наслаждение момента выхода семени, и вообще «последнего момента»? Совершенно неоспоримо, и притом объективно неоспоримо, что это есть «полагание семени в могилу» (землю), «смерть», «пахота» (совокупление есть пахота). И вот такой восторг секунды «положения во гроб». Улыбка в самую секунду смерти (видел у матери) — известна. В случаях страдания, конечно, ее нет, но ведь «зуб болит» не относится к номенологии вещей. Явно, чтобы «понять смерть», мы должны взять ее спокойную. И вот в спокойной смерти всегда появляется таинственная улыбка. Не скажем ли: перед-загробная египетская улыбка. О тонувших и недотонувших я читал, «что вся жизнь до малейших подробностей предносится перед ними, и состояние души не тяжелое, а какое-то теплое и блаженное». Это я читал, помню. У египтян «Озирис в гробу с поднятым фаллом» — потрясает. Что это такое? Какова была их точная мысль? Есть ли это только аллегория «положения зерна в землю» или что-то более вечное и чудное? Они не сказали об этом.

По-видимому, странное и потрясающее явление — совокупление с почившими телами, сия тайна Персефоны, — есть единственное явление, «раскрывающее тайны гроба». Таинственных «безумцев» находили «что-то бормочущими». И никто не подслушал слов? Да, не мы одни, но и Европа «не любопытна и тупа».

Еще я слышал: свидетельствуют врачи, что повешенные преступники оказывались с поднятыми фаллами. Это мне передал один очень старый и довольно типичный поэт-сатирик (очень образованный). Не потрясает ли и это?

По-видимому, в секунду смерти что-то происходит «с внутренним зерном человека». Как с «зерном, когда его положили в землю». Вдруг оно «прорастает»: тогда и у умирающего явно должен «подниматься фалл». Как у египтян. Почему этого никто не заметил, не наблюдал, не полюбопытствовал? Тогда улыбка объясняется.

*Post coitum animus tristis*<sup>2</sup>. Это — элегия? Собственно, для мужчины наступает пленительный сон, и потом он пробуждается в высшей степени здо-

<sup>1</sup> сама по себе (нем.)

<sup>2</sup> После совокупления животное грустно (лат.).

ровым, поздоровевшим. Тут-то особенно он пробуждается «из гроба»: и вот с новыми силами, и как-то духовно поздоровев и покрасивев. Сокупление — всегда красота. После сокупления и мужчина и женщина становятся красивее, светлее, несколько моложе. Наблюдать 28-летних матерей о 6-ти и о 8-ми детях — редкое зрелище: но оно неопишимо. Раз такой матери, в вагоне, стал весь вагон служить. Ей не могло быть более 22—26 лет: у нее было от 6 лет до двух лет, человек от 5 детей, и вся она была, как девушка, самая молоденькая и счастливая.

Только когда девушка рождает на стороне 14-ти лет — она есть сущая «мадонна»: существо физиологически религиозное. Старше роды — уже обыкновенны. И столь же прекрасны, прелестны роды в 45, 50, я думаю, в 55 лет. «Женщина между Сарою и Мариам» — ноумен. Теперь все это рассеялось, все это изменено («изменяю тебя», «выброшу вон»). Теперь брак — карьера и пакость. Это не сказка любви, а «физиологическая потребность» заматерелых баб и спесивых самцов. Церковь все уничтожила, всяк цветок. «Пение птиц» она перетолковала в пророчество «о пришествии нашего Господа Иисуса Христа», т. е., собственно, «о водворении во власть протоиереев и митрополитов». Бред.

4—5 июля 1917 г.

## АНАРХИЯ

«Аз же глаголю вам, если не станете таковыми как дети — не войдете в Царствие Божие».

«И, поставив младенца перед старцами — показал им».

У египтян — несли барку (в Евангелии — «священная барка»), в ней — Солнце (или яйцо?), и внутри его — сидящий младенец, сосущий палец (Горус? Мистерии).

Адам и Ева — отроки, почти «сосущие палец» от невинности.

И старцы Фиваиды — невинны, как дети.

Да и вообще «есть детская простота», при коей нет лукавствия.

«Он и украдет — ничего». Дитя зажжет дом: и все же не казим его.

Есть «что-то», «какое-то» в человеке, при коем он «не наказуем». Нет острогов. Раскрыты двери темниц.

«Не надо суда». Не судим человек.

Что такое? Что за категория?

Но не об этом ли тревожится анархия? Не этим ли сном человечества, мечтою человечества? Но только как люди зачерствели в пороках, что сейчас анархия тревожится этим как преступлением. Рвет, разбойничает. «Хулиган рвется в банкирский дом». Да не лучше этого хулигана и Прудон, написавший «La propriété c'est le vol»<sup>1</sup>. И провокатор прусский, Маркс, написавший — «Пролетарии всех стран — соединяйтесь» (и грабьте имущих).

<sup>1</sup> «Собственность — это кража» (фр.).

Между тем истина-то в том, конечно, что не только младенец, «своровавший у мамы кусок сахару», но и голодный, укравший с лотка булку, — конечно, оба и вполне невинны. Елизавета Алексеевна Овсянникова сказала жене покойного брата Коли Александре Степановне, несильно моложе ее: «Если мои дети будут голодны — я не поколеблюсь открыть у Вашего мужа письменный стол и взять из-под ключа 25 р.» Сказала угрюмо, упорно и сурово (я подумал, гимназистом, — «да»).

Она, бедная, очень нуждалась. Каждый год — роды, уже у 40-летия. Жена инспектора гимназии, очень идейного (тип Рудина). Кончила курс в женском Нижегородском институте. Этот ответ был горд, прекрасен и женствен. Это не был ученый ответ мерзавцев Прудона и Маркса, идея раздора и разрушения человечества, — а благородный ответ матери для сохранения человечества.

В сущности, все живут во всеобщем воровстве, и «государство», берущее «налоги» для своих каких-то плоских чиновников, поступает хуже Овсян-й и совершенно по Марксу и Прудону.

Напротив, у евреев закон «Орла» («край поля»), приказывавший не дожидать до самого края хлеб на ниве, а — оставлять «край» его для бедных, — прекрасен и возвышен и мягок. «Это уже не Прудон-с». Подобно, я *никогда не считала* сдачу, *приносимую* прислугой, зная, что если она «взяла», то «от нужды» и ясно — «Господь с ней».

Ясно, что если бы у европейцев было обыкновение не «прятать на кухню остатки обеда», а класть их на особый лоточек на подоконнике, то кража в стране совершенно бы не развилась. Ибо 1-й ее мотив — голод, и уже потом «наступили мошенники — взломщики», а за ними пришла и «универсальная отмычка» (Шерл. Холм.) — социализм.

Равно благословение всяких любовных связей с «адамовского возраста» предупредило бы проституцию.

Вообще при анархии действительно не было бы пороков, и это и выразил Христос. Он выразил то благое Востока, что выразилось в колосьях. Ибо, по Марксу, Руфь «все-таки воровала колосья» или, наоборот, «Вооз предварительно украл пшеничное поле у Руфи». Уж не знаю как и не хочу разбирать этого мерзавчества.

Христос и сказал: «Живите по инстинктам».

Это как египтяне: «Будем жить, как звери». «Поклонимся животным». Обобщенно: «Заведем мистерии».

И благословим блуд и блудниц.

И пусть будут фараоны.

И мудрецы.

И войны.

И везде Фаворский свет, в котором показался Христос.

<План горы Фавора>

Мудрость социальной жизни заключается в том, чтобы действительно не бороться с пороком. Порок — прыщичек: а если его начать ковырять, то разовьется рак.

(Петроград шумит, 2-я революция, ленинцы и анархия)

P.S. И «наконец, последнее, страшное». Этот запрет: «Не убий» и угроза всемирной истории: «что, если ты убил»? Каин, Авель, «кровь брата моего». Страшно. Трясутся ноги (на Воскресенском хлопают пулеметы и одно — «бум», большая пушка). Но сюда относится великая мистерия жертвоприношений, которая «бысть от начала мира», и затем, в самом деле, кровь горяча, а солнышко греет. Ах, если бы оно не грело, весь мир замерз бы. Нужно миру движение, нужна жизнь. А то — «мертвые души», чичиковы. «Кас-тра-ция» (мужички). (Опять затрещали пулеметы.)

Нельзя ведь не принять во внимание, что «войны бывают» и что один окоп берет больше «жертв», чем возьмет вся сегодняшняя ночь Петрограда. А «один окоп» — об этом не говорит даже хроника войны. «Взяли три окопа», вот строка телеграммы: о сегодняшней же «ночи в Петрограде» (опять «бум», большая) будут всегда рассказывать. И найдется не только плохонький Луи-Блан, но и С. М. Соловьев. Даже Пушкин приложит строфу. Что же значит это? «Когда девушка горит, то она скоро прольет кровь». Молоха иудеи представляли с фаллом на лбу (из книги еврейской, Лернера).

Странные человеческие жертвоприношения были в религии еврейской «кротчайшей из всех» (Руфь, Вооз). «Помиримся на меньшем». «Не надо Вильгельма», «помиримся на Чернобородом ругателе». Что такое волнение некоторых губерний? Поволновались и перестали. И в мире бывают бури. А землетрясения не надо (Вильгельм). Лучший план истории, когда два архиепископа воюют из-за любовницы. Во-первых, как архиепископы, они не должны воевать, то воюют, крадучись, и потому немного. И костромские ворики («вылезли из-под моста двое и взяли лошадей под уздцы»: пистолет ко лбу, «выворачивай карманы»). И опять это возвращает к идее истории как заросли, как «леса с перелесочками», «как непогоды с грозами», а не как окаянства (Вильгельм, цивилизация). Странно, что мой идеал юности — «Время судей израилевых», с этими мелкими войнами с филистимлянами, с «перенесением Ковчега из Газы в Аскалон» (теперь у меня есть монеты и Газы, и Аскалона), с Самсоном и Далилой (так естественно), с Иеффаем и прекрасною дочерью его, всегда бывший для меня «мещанским идеалом», и теперь на 62-м году восстает в душе, да я в нем и не разочаровывался никогда. Уже Давид был *decaden'som*<sup>1</sup>. Но он еще пастух и псалмопевец, и так чудно оплакал Авессалома.

«О, дочери Иерусалимские, видели ли вы когда-нибудь моего сына...»

<sup>1</sup> декаданс (фр.).

Что-то в этом роде, лучше. Положите же на фоне этого двух Вильгельмов с их «традициею», и оба в касках. Гадость, мерзость. А войны: 1) с Данией. Австрией. Францией. Коалицией. Явно — это безумие, явно — там идиллия.

А история «по-маленькому» всегда будет идиллией.

И сон Руфи с Воозом.

И Далила, остригающая Самсону волосы.

Ну, вот:

Молох — ты жмешь меня.

Мы и самое в мире трагическое, «Не убий»... впрочем, не «мы», а Озирис, даже «кровь жертв» он преобразует в идиллию и праздник.

P.P.S. Связь крови с детородным *мужским* органом ясна из того, что женщины никогда почти не убивают. Нет убийц, разбойников, и не они ведут войны.

Корова — она кротка:

Одних я помню — матерей,

Им не забыть своих *детей*.

(Некрасов)

Соответственно этому *жрица* не закалывает жертвы, а только один жрец, один Фалл. Нет могелихи, а есть моголь. Очень мало цариц, а все *цари*, военачальники. «Ты, женщина, рождай... И плачь, пой песни, но не ропщи, что мы некоторых из детей твоих разбиваем головою о камень».

И женщины кротко и со слезами поют: «О, воины наши» (о, наши Ваалы, быки).

6 августа 1918 г. Ночь.

## ЕГИПЕТ

...мерцания, мерцания, мерцания...

...не вижу и вижу, не вижу и вижу...

...туман, небо, облако...

...если начало жизни...

...les origines de la vie<sup>1</sup>...

...initia vitarum<sup>2</sup>...

...сокровища жития...

---

<sup>1</sup> происхождение жизни (фр.).

<sup>2</sup> начало жизни (лат.).



Все это если

БОЖЕСКОЕ,  
— то и  
ОН БОГ НАШ

вечно ЖИВ, вечно СУЩ...

.....  
.....  
.....  
.....

СВЕТ из света

и

из света опять СВЕТ.

Но если они ВСТРЕТИЛИСЬ,  
ПРОНИЗЫВАЮТСЯ.

То ГДЕ же и в ЧЕМ?

Ах: где

ПАХУЧЕ.

Где — ЦВЕТОК.

И вот Египет... пирамиды, пастухи...

Народ пастырей...

...фараоны, сфинкс...

Вся мудрость каст и кастового устройства.

Где люди живут и *не завидуют*.

Где предупреждена и невозможна главная или из главных мук жизни, и главный или из главных грехов бытия: *завидование*, проистекающее из *сравнивания* МЕНЯ и его или ЕГО и меня...

...где «все равны» в каждой «перегородке»: п.ч. перегородки эти до неба...

А ведь РАБОТА... Так нужно работать?

И земледелие? — Нужно же возделывать землю.

И ремёсла: тоже необходимы.

И фараон. Мудрецы. Жрецы.

## Выпуск XII

### ИЗ ВОСТОЧНЫХ МОТИВОВ

Каждый, кто любит Восток и сколько-нибудь интересуется его историей, знаком с так называемую солярную теорией происхождения большинства восточных религий. По этой теории в Египте, Вавилоне, Тире, Сидоне и даже отчасти в Греции люди поклонялись солнцу как главному божеству, луне — как второстепенному и всему множеству звезд — как духам или

гениям. Все истории восточных религий объяснялись и до сих пор объясняются с этой точки зрения, в сущности неопровержимой, так как в исторических памятниках прямо и непрерываемо сказано, что, например, египтяне именем Ра или финикияне именем Ваала называли солнце, а луна называлась у финикийян Астартою, у вавилонян — Милиттою, у египтян — Изидою. Все знают, что Венера обозначает и вечернюю звезду, и богиню чувственных наслаждений у римлян, что у греков культ Аполлона есть солнечный культ, а Артемида или Диана есть луна. Читая книги этого содержания и, конечно, ничего не имея возразить против изложения, в сущности лишь переводящего на новые языки свидетельства греческих и римских писателей, я, однако, всегда задерживал в душе некоторое тайное недоверие к изложению, недоумение, удивление. Сейчас скажу об источнике его, а пока сообщу, что вовсе не я один из профанов не доверяю столь солидно установленной научной теории. Приблизительно в 95-м году, познакомившись с Вл. Сер. Соловьевым, я раз спросил, не знаком ли он с одним знаменитым египтологом, и, на утвердительный ответ, спросил снова:

— Что он говорит о происхождении египетской религии?

— Он объясняет ее солярною теориею.

— Но ведь это вздор?

— Мне кажется — вздор.

И он улыбнулся своею короткою улыбкою, прибавив:

— Но разубедить его в этом невозможно, как, впрочем, и всех ученых, совершенно согласно держащихся этой теории.

Теперь я скажу, почему так твердо и мальчишески назвал «вздором» мнение стольких компетентных умов и почему, приблизительно, улыбнулся Соловьев, почти согласившись со мною. Совершенно невозможно представить себе, чтобы люди, какой угодно степени дикости или наивности начали почитать богами солнце, луну и звезды, смотря на них так, как мы смотрим, и вычитая из их знания наши космографические сведения. По теории этих ученых выходит, что «зрелище неба» минус «наша астрономия» дает в остатке солярную теорию; что, таким образом, все древние религии были невежественным или наивным звездочетством, которое и рассеялось, когда начала появляться настоящая астрономия. Но ведь для нас солнце есть приблизительно громадный раскаленный булыжник, луна есть огромный, освещенный солнцем, камень: скажите, пожалуйста, каким образом мы можем почитать, чтить камень, горячий или холодный, темный или светлый, — все равно! Если бы кто-нибудь сказал, что невежество древних не давало им понятия «камень» о небесных телах, то ведь это есть не укрепление, а начало разрушения солярной теории, потому что тогда это «другое, а не камень» и образует зерно древнего поклонения. Наши астрономы, которые во всех небесных светилах видят только геометрические движущиеся точки, пути которых они исследуют, не испытывают никакого религиозного чувства к постоянному предмету своего созерцания. Теперь, если древние испытывали это религиозное чувство, то к чему же, собственно, они его испытывали?

К неизвестности? К непонятному? Но тогда у них началась бы наука, между тем ученые говорят о начале религии. Отношение к неизвестному возбуждает любопытство и размышление, т. е. науку и философию, между тем как начало религии есть умиление, есть молитва, есть доверие и любовь. Ощущение религии начинается там, где начинается ощущение святого, а не там, где появляется соприкосновение с неизвестным. Неизвестное пугает и гонит от себя, а ведь в Вавилоне, Тире, Сидоне, Египте, так же как и в России, человек влекся к Богу. Вот этого-то и нельзя себе представить, чтобы к раскаленным булыжникам, разбросанным по небу, человек протянул руки, воскликнув: «О, вы, святые камни», или «ты, золотистый песок, рассыпанный по небесной тверди!» Невозможно! Невероятно! А если невероятно, то не верна и вся теория, предполагающая в древних религиях несовершенную форму нашей астрономии, т. е. нашего механико-геометрического отношения к светилам небесным.

Может быть было другое отношение к ним, и тогда теория должна называться по имени этого другого, как своего настоящего зерна. Вечерняя звезда называется Венерою, которая в то же время знаменует собою любовь; ну, если они в ней видели и чувствовали любовь, то, очевидно, эта часть культа и религии и будет не звездною, а любовною, что совершенно другое дело, не имеющее ничего общего с нашею астрономиею. Значит, древние люди, конечно любившие, как и мы, удивились, как чему-то таинственному и божественному, — чувству влюбления, любви в себе и поклонились ему, положим, как фетишу. Но тогда зачем и каким образом они связали это со звездою? Иными словами, коренная задача истории древних религий будет заключаться в ответе на вопрос: каким образом им пришло на ум соединить чувство любви в себе со звездою и назвать звезду именем любви, venus, или любовь — именем звезды? На это-то не только не отвечают истории древних религий, но и не ставят даже этого вопроса, а он главный, в нем скрыт ключ к загадке. Мы можем только указать на пример: наш Лермонтов вечно пел о звездах, это — характерно звездный поэт, и в то же время он вечно пел о любви, это есть характерно любовный поэт. Это есть почти единственная иллюстрация во всемирной литературе, которая всегда нам казалась очень много объясняющей в халдейских культах. Конечно, до дикости странно было бы предполагать, что в поэзии Лермонтова есть хоть какие-нибудь крупинки интереса к астрономии, что он есть «соляренный поэт». Нет, он есть романтический поэт, и чудо, настоящее чудо начинается с догадки, что, значит, есть что-то обратно романтическое в небесах и звездах, почему в чувстве поэта любовь и звезды связались так постоянно и несколько тоскливо. Во всяком случае, поэт любил звезды не как камни или песок, не механически и не геометрически, как ими интересуются астрономы, а как отчасти живые существа, т. е. характерно по-халдейски:

Когда бегущая комета  
Улыбкой ласковой привета  
Любила поменяться с ним.

Неужели мы скажем, что тут разумеется комета в астрономическом смысле, комета Бизлы или какая-нибудь другая, определенная, геометрическая? Конечно — ничего подобного! И древние, назвав вечернюю звезду — любовью, а любовь — именем вечерней звезды, и сделали этот характерный лермонтовский шаг; этот оборот мысли, этот поворот души. У Лермонтова, вечно певшего про любовь и звезды, есть уже умиление — и поразительно, что оно опять направлено туда, куда было направлено в Халдее, — к Матери, к ребенку, к идеализму материнства и детства. Белинский удивился когда-то, как он, не изведав отцовского чувства, написал знаменитую «Казачью колыбельную песню», и, будучи очень сомнительным христианином, написал: «Я, Мать Божия, ныне с молитвою...» Между тем дитя и мать, идеализация детства и материнства дала в Египте и Вавилоне, например, в идеях Изиды и Горуса, вещи, решительно не соединимые с солярною теориею. Теперь я напомним, что в астрономических атласах созвездия обведены животными фигурами: Большая Медведица, Малая Медведица, Скорпион, созвездие Рака, Козерога, созвездие Девы, Геркулеса, Водолея. Изображения эти идут из глубокой древности, из Вавилона и Египта, дойдя до нас без перемен вида и чертежа. Но любовь, влюбление есть не только идеальное чувство, но и животное, жизненное, жизнетворящее ощущение; и как только в звездах люди почувствовали любовь, они поместили звезды внутри громадных небесных животных фигур. Связь здесь уже ясна, мостик уже перекинут. Астрономы, нам современные, давно предлагают отбросить эти не нужные ни для чего фигуры, мешающие их арифметическому счету, но древние смотрели на звезды не арифметически, — каково же было их огромное чувство романтизма в небе, когда они придумали эти фигуры! Вот их религия! Вот ключ к ней! А что в ней и есть некоторая таинственная правда, т. е. небеса действительно живы и даже несколько «животны», «имей в себе ключи воды живой», мы можем видеть из того, что само христианство начинается со звезды и таинственного рождения Спасителя в яслях, в обыкновенных коровьих яслях, и среди животных стад, которые стерегли вифлеемские пастухи. До того это поразительно все, что мы не можем не отметить. Последняя халдейская звезда потухла над Спасителем, и, если бы позволено нам было несколько удлинить факты, мы сказали бы, что последняя халдейская звезда ниспала к нам Богом; упала перед изумленным Западом в сочетании всех тех условий, в каких мы находим «звездопоклонничество» на Востоке: Св. Дева — та же Мать; Предвечный Младенец; стада, пастухи. И царские дары, принесенные через Младенца «волхвами». Предчувствия всего этого мы рассматриваем в рисунках на потолках и стенах фивских и гелиопольских храмов.

Кто не знает странного явления сомнамбулизма. Лунатик идет, раскрыв глаза и ничего не видя, что открыто. Что такое лунатизм — наука не разгадала до сих пор, но согласитесь сами, что тут есть кое-что для «лунопочитания», и притом вне идеи, что это есть остывший камень. Нет, луна не есть только остывший камень. В данном цикле фактов, столь непрекаемо свя-

занных с фазами луны, у человека пробуждается какое-то второе око, внутреннее, и во всяком случае, не здешнее, не земное; есть психология, есть движения, есть намерения, о которых, «проснувшись к земле», он прежде всего ничего не помнит. Суть сомнамбулизма заключается в крепчайшем сне, в совершенной потере чувства действительности здешней и тотчас в открытии какой-то другой чувствительности. Какой? Никто не знает. Мы знаем только одно — луна. Но что такое луна? По астрономическим понятиям — камень такого-то размера, веса и пути. А по явлениям сомнамбулизма — она действует на душу, усыпляет и пробуждает, усыпляет здешнее и пробуждает какое-то «тамошнее», дает, очевидно, какие-то видения, потому что человек идет, страшится, блуждает, ищет и вообще действует как бы актер в невидимой опере. Это — опять халдейская и в высшей степени соблазнительная причина переименовать «луну», в «Астарту», в милую девушку, делающую над человеком какие-то «пассы». Во всяком случае, тут есть просвет к древним религиям и восклицанию: «Живы небеса!» Точно там возьмется какие-то животные, которых и обвели бледными линиями древние мудрецы. Конечно, они ничего не отгадали, но они правильно гадали. Колумб не знал Америки, но плыл в Америку; он представлял ее чудовищно неверно, но что было и есть то, что он представлял себе, — это остается верным.

Все так называемые языческие религии чрезвычайно схожи между собою и содержат в себе, разрабатывая до известной, не одинаковой высоты:

- 1) принцип звездный;
- 2) принцип животный или скорее — животнотворческий;
- 3) принцип романтический;
- 4) принцип чуда и святости, или на низшей ступени, в грубых пережитках, или на ступенях недоразвития — принцип волшебства и умиления.

Эти элементы содержатся и во всякой поэзии, а также и в общем мистическом чувстве всех людей, породившем метафизику и вообще философские размышления. Все истинные философы и все великие поэты возвращают нас к звездам, к любви, к загадке жизни, к поклонению чуду и святости мира, т. е. ведут немножечко в Халдею. Еще точнее сказать: в каждом человеке есть немножко «Халдея», есть древнее, есть что-то от звезд: как будто, рождаясь, мы что-то захватываем в себя из того древнего тумана; частичка звездного полога свертывается, перекраивается, как-то сшивается необыкновенно — и получается человек, Иван Иванович или Петр Петрович, родившийся «такого-то года и числа», служивший там-то, но который нет-нет и посмотрит на звезды, как на родину, подумает о Боге, как о близком, и, словом, скажет: «Не здесь моя родина», «моя родная матушка и родной батюшка — там!»

Не так давно я читал прелестный рассказ из быта наших черемисов, крещеных, но с остатками язычества. Между подробностями описания мне запомнилось одно: среди деревни стояло старое-престарое дерево, к которому бедные и невежественные люди относились со страхом и благоговением: дерево было не то волшебное, не то священное; языческое было дерево, а не

ботаническое; все знают, что колонны в египетских храмах распускались лотосами — черта параллелизма; одно и то же явление, но на высшей ступени; но я поразился гораздо более, читая через несколько времени римскую историю и найдя в ней сведение, что при котором-то императоре римляне пришли в большой страх, «потому что священное дерево, росшее в Капитолии, и, по преданию, посаженное Ромулом и Ремом — и с которым таинственно римляне связывали судьбу своего отечества, — окончательно в этом году засохло, не дав ни одного листа». Через несколько времени, однако, страх рассеялся, потому что старец-дерево не только дало лист, но и выкинуло еще ветку. Здесь был уже не только параллелизм, но полное единство в чувстве римлян и черемисов: а между тем какое расстояние от римского пантеона до жалких, нищенских представлений наших инородцев! Это поддало мне мысль, что от Нила и до Северной Двины язычество всюду одно, но здесь оно выросло в чахлую березку, там поднялось баобабом, тут — полевая мышь, там — лев. Однако сущность одна и та же везде. В очерке меня поразило еще одно: по описанию русского путешественника, впрочем проведенного между ними целый год, они необыкновенно нежны и ласковы, вообще мягки в характере и чувство Бога у них необыкновенно конкретно и близко, приближено к человеку. Это было для меня чрезвычайно ново, ибо я привык представлять себе язычников грубыми и жестокими. Но каково было мое удивление, когда, обычно читая Библию, я нашел у пророка выражение: «О дочь Халдеев: вперед не будут называть тебя нежной и роскошной» (Исаия, гл. 47, ст. 1). Кто знает язык пророков, резкий и пугающий, невольно будет удивлен эпитетом, до такой степени не отвечающим всему колориту речи и, очевидно, вызванным зрелищем исключительной нежности, как и роскоши. Исаия в этом месте называет «дочерью Халдеев» самый город Вавилон: «Девница, дочь Вавилона, — сойди и сядь на прах: отныне нет тебе престола и ты будешь сидеть на земле». И затем сейчас — «нежная и роскошная». Очевидно, не только формы язычества, но и дух язычества — один и различается степенями поднятия, фазами развития, а не существом. И, задумавшись вообще над моментом роста в язычестве, я нашел в нем для солнца еще и другое положение.

Не то чтобы солнцу поклонялись в Халдее и Египте, но солнце породило египетский и вавилонский теизм, вызвало его семя к жизни и на берегах Нила и Евфрата вырастило его в баобаб, а на берегах Волги и Ветлуги вырастило его в клюкву. Отношение между Египтом и черемисами — есть отношение огромного к крошечному в одном порядке бытия. Все это — одна ботаника, говорящая о разных растениях; но как в клюкве, так и в пальме тоже заложено основание и одна сущность — клеточка — солнце. Таким образом, солнце есть производитель, есть родитель, «матушка и батюшка» самого чувства Бога, как оно сказалось некогда, на заре истории. Суть здесь не в астрономической теории, а в действительно существующей мистической связи солнца с человеком, у которого оно — растит волосы, определяет цвет кожи и вместе из которого оно растит неопределеннейшее и секретней-

шее чувство Бога. Ведь притягивает же солнце землю — это мы знаем и знаем, что притягивает ее без веревок и рычагов. Теперь другое влияние, еще могущественнейшее, на человека, своеобразный солнечный сомнамбулизм: оно вызывает в человеке сны умиления, молитв, восторга, «нежности и роскоши» и, словом, человека-зверя, человека — «ком земли» преобразует в человека-молитвенника тоже без помощи рычагов и веревок, без посредства всяких вещественных знаков. Но сомнамбулист-человек, бродя в путях своей истории, раскрыв руки и ища Бога, как лунатик, в конце концов повернул лицо к небу и сказал: «бог — солнце». Только в этом смысле, а никак не в астрономическом, можно принять «солярную теорию», хотя не нужно оспаривать, что со временем, более и более просыпаясь к действительности, человек начал подходить к небу и астрономически. Из Лермонтова мог потом выработаться лаборант Пулковской обсерватории, но нет сомнения, что начал он петь о звездах не с «Пулковской точки зрения». А в этом — разница, и эта разница не замечена историками древних религий.

Проезжая иногда мимо китайского посольства, я вижу огромный их флаг, с изображением солнца и хотящего его пожрать черного дракона. Черный дракон — это небытие, отрицание, по всему вероятно — смерть. Вообще тут выражен принцип погашения солнца, и таковое погашение определено как первое и главное, основное в мире зло. Солнце погаснет — и ничего не будет; не будет Китая, не будет нас вообще, и китайцы заботятся несколько и о нас, ненавидя своего дракона и любя свое солнце. Ведь и вавилоняне — «нежны», как китайцы — очень кротки. Во всяком случае это есть своеобразный вариант мистико-«солярной» теории. Даже в наших представлениях дракон играет какую-то роль, и только он нам представляется огненно-красным. Мы «в огне будем гореть» и вообще «огонь, по-нашему, есть ад; между тем в древности, совершенно обратно, огнем очищались, и в одном месте Библии (Второзаконие, гл. 4, ст. 24) Моисей говорит евреям: «Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель». Вообще огонь, т. е. обыкновенный и будто бы только физический, есть тоже загадка: все горит, сгорает, сгорая, обращается в нуль или рассеивается в стихии, как в смерти мы тоже обращаемся в нуль или рассеиваемся в стихии. Воздухом дышим, в воде тонем, но в огне сгораем — как ни в какой иной среде. Я раз видал, при пожаре огромной фабрики, как птицы во множестве бросались в огонь. Почему? Никто не знает. Было очень страшно и жалко смотреть. Бабочки тоже «летят на огонь», едва ли из одного любопытства, потому что тогда не обжигались бы. Их как будто тянет огонь, как землю тянет огненное солнце; как огненное солнце тянет растения из земли и из человека тянет мысли. Солнце рождает, солнце и сжигает; все мы рождаемся, а умирая, уходим «куда-то»... в солнце? на небо? Во всяком случае уходим не на астрономическое, а вот на какое-то другое, с ним параллельное романтическое небо, где «воды жизни» и которое мерещилось Лермонтову, а в Вавилоне его обвели животными фигурами.

Кстати, об этих животных фигурах, из которых четыре: орел, лев, дева и телец (созвездие Тельца) — попали даже в наши церкви и изображаются

позади евангелистов как «четыре апокалипсических животных»: с этими животными фигурами и вообще животным принципом в небе я соединяю древнее: «не убий». Почему «не убий», почему особенно и как-то страшно? Кровь священна: если «ключи жизни» в небе, то кровь священна и что-то страшное даже. Кровь иррациональна и чуть-чуть волшебна, добрым волшебством конечно; кровь есть добрый гений, а не просто сукровица. Убить сонного и моментально — так же страшно, как зарубить гиганта в лесу. Страх здесь — не страх сопротивления или опасности отпора, а именно страх пролить кровь. Мы боимся не человека, которого убиваем, а крови его. Она пугает. Раз пастух гнал стадо коров по улице, а навстречу в мясную лавку везли коровьи туши. Коровы, которые ведь никогда не видели ободранных коров и вообще для них это было непонятное и новое явление, казалось бы глухое и немое, каким-то иррациональным знанием все узнали: стадо взбесилось почти и бросилось на человека, шедшего за телегой, с ужасным воем, в очевидном смятении. Вот волшебный факт: как коровы узнали свою кровь и поняли, что тут «зарезано». Ребенком лет 8—9 я узнал, что у нас на дворе будут резать корову, почему-то переставшую давать молоко. Я знал, что это «больно» и «убить» и, однако, чтобы видеть невиданное, влез на сеновал и стал смотреть из окна: корову привязали, наклонив голову, человек что-то пощупал у нее в затылке; но когда секунду спустя наша чернавка пала на передние колена без стопа и звука, я тоже упал от моментально сообщившегося мне страха и до сих пор чувствую, что это не только грех, но что было грехом даже видеть это. Да, коснуться крови — грех. Достоевский нарисовал в «Преступлении и наказании» вовсе не картину убийства и его последствий с филантропической стороны, а с этой мистико-религиозной. Кровь — в небесах, и перед небом начинаешь трепетать за нее. Трепет за убийство, этот особенный и мистический, вовсе не понятен с юридической стороны, как и со стороны жалости или «человеколюбия вообще»: «я не старуху убил — я себя убил», «о, что старуха: я так ее ненавижу сейчас, что еще десять раз убил бы». Так рассуждает Раскольников, конечно верно и относя свои рассуждения к процентщице, к человеку вообще, к социальной единице, к члену общества, государства, нации. Все это — пыль; все это — земное; все это грозно земным судом и земной силой, а он прикоснулся и «посягнул» на неземную силу и открылся на него неземной суд. Да, «дева, телец, орел и лев» не напрасны в наших церквах, ибо они есть на небесах. В процентщице текла не сукровица, а эта, от «льва, тельца, девы и орла» взятая стихия, ей самой в себе неведомая и которую открыл Раскольников. Страшно открыть кровь человеку. Тут не боль — это второстепенное; не гражданское преступление — это опять переносно; да ведь и, наконец, есть такие люди, которых убить — подвиг, при смерти которых все облегченно вздыхают. Такой случай и взял Достоевский. «Удивительно, почему я вовсе не думаю о Лизавете, доброй, а об этой противной старушонке». Лизавета была повторением, второй единицей около первой в новом порядке испытываемого им бытия; прибавлялось только филантропическое сожаление, новое было в чувстве



потерянности еще гражданки. Но все это потухло перед ужасом мистическим первой пролитой крови. Небеса уже спустились и раздавили его. Какие небеса? Астрономические ли? Нет, именно то таинственное, «животное» небо, какое рисовали в Халдее, и след этого рисования сохранился в наших астрономических атласах: пролить всякую кровь, самую виновную — есть все равно что стать «гигантом», которые полезли на небо с камнями — и Бог обратил их камни на их голову. Отсюда, в противоположность страху к первой крови, есть таинственное влечение к последующей крови: уже хочется еще заглянуть в таинственную и страшную даль; уцепился за край неба, и как ни поражаешься в голову — все держишься, и даже лезешь еще и еще. Страшно, но близко к Богу; преступно, но вижу Бога. Таков нечестивец, которого вспомнил Пушкин в «Скупом рыцаре», вероятно, слылав о таких чудовищах рассказы:

Нас уверяют медики: есть люди,  
В убийстве находящие приятность.  
Когда я ключ в замок влагаю, то же  
Я чувствую, что чувствовать должны  
Они, вонзая в жертву нож: приятно  
И страшно вместе...

Здесь обратный полюс чувству Раскольников, чувству раздавленности, подавленности. Таков убийца все больше и больше входит в таинственную даль, и некоторые странные полководцы, как Наполеон, Тамерлан, поднимающие ненужные войны и идущие, дымясь в крови, все вдаль и вдаль, может быть, имеют тут кое-что для своей психологии. Недаром Раскольников вспоминает Наполеона: «Почему я не такой же», «что нас разделяет», и в чудесном монологе он разгадывает психологию гения. Да, он ступил на первую ступень — и сотрясся; Наполеон стоял на последней ступени и уже тянулся. Но от первой и до последней ступени таинственная лестница крови говорит о себе, что она — святое, что это — страшное место, таинственная область, которой во днях земного своего странствия не должен касаться никакой человек. Сделаем еще замечание: все астрально-звездные культы заключали в себе элемент крови, жертвоприношений, «всесожжений», от голубя и до быка: но и все эти цивилизации были не только нежны и мистичны, но, нарушая принцип мира в редких случаях, они не создали войны как ремесла, как профессии; не знали постоянного войска, а китайцы, например, изобретя порох, стали тратить его на иллюминации, а не на пушки. Они потому же не перешли от пороха к пушкам, почему не хотят переходить от грунтовых к железным дорогам: «Не нужно», «не хотим». Этот особенный мир души, мир быта может выработаться только в мистике крови; она проливается и там, однако с таким особенным страхом, какой не допускает до войн и даже до правильно, регулярно установленной смертной казни, как постоянной принадлежности суда. Восточные войны суть схватки, сшибки, потасовка, т. е. случай и беспорядок, а не что-то постоянно периодическое,

намереваемое, предусмотренное. Изредка у них кровь разольется потоком Тамерлана; но вообще это — нежный и нервный Раскольников, трепещущий и как-то специально особенно крови. Так и евреи, у которых были старые добрые жертвоприношения, у которых женщины в известные дни месяца очищались, принося горлинок в жертву Иегове: сказать, что они лично и все компактно — трусы, нельзя. Нужно очень большое мужество в биржевых операциях; с другой стороны, во время южных погромов они дерутся яростно. Кажется, они не были трусами во время осады Иерусалима Титом. Но это — случай, казус жизни; тут — потасовка, драка, момент. Они, в спокойном состоянии, лично и все вообще — не идут на войну, бегут из войска с тем особенным страхом, предрассудком и смятением, как коровы бросились на провожатого коровьих туш. «Это — не мы и не наше! У нас — мирные жертвы! Мы — боимся крови, у нас — горлинки как замена нашей крови Господу — голубиной». Тут — Восток, в своей значительной глубине и правости... И Вавилон был «нежный», и Китай ведь был удивительно мирен и кроток, пока его не встревожили миролюбивые христиане, приносящие «бескровные жертвы».

## ЕГИПЕТ

«Египет есть страна сумрака и неподвижности», «закостенелых каст» — вот представление, которое мы усваиваем юношами из учебников и которое ничем не рассеивается позднее, когда мы становимся взрослыми. Римлянин Ювенал уже находит эту страну «низкою», так как в ней люди «поклоняются животным — существам низшим *себя*». В не очень талантливом романе Эберса «Серапейм» мы читаем сцену, как был разрушен храм этого имени римскими воинами, в присутствии христианских священников. «Мир не устоит, если разрушится храм», — предостерегали и волновались «жрецы», уже видя придвинутыми стенобитные машины. Больше они ничего не умели объяснить. Но машины приведены были в действие, и стены повалились. Христианский воин поднялся по лестнице к статуе; толпа «язычников» замерла в ужасе. Он поднял топор — и каменная голова «бога» свалилась к ногам испуганных почитателей. Повалились руки, плечи; веревкою стянули туловище. Толпа, на миг изумленная, разошлась спокойнее. Храм был не в городе, но в стороне. Окрест стояли живые пальмы: они не содрогались и не пугались. Прошли тысячелетия. Туловище идола, разломанное в камни, позднее измельчилось в песок. Ветер поднял гранитную пыль и разнес. На месте тех пальм, из их семени росли уже другие; теперь растет и их десятое поколение; через тысячу лет будет расти двадцатое. И пришла пора задуматься и спросить: «*В самом деле, разве храм Сераписа возможно разрушить?..*»

«Храм Сераписа» — просто растительная клетка. «Она умрет — мир умрет» (жрецы).

Это просто — «от бутона к цветку», «от животного — до человека».

<бык, переходящий в человека>

Это просто — «капля семени, из которого КАК-ТО развивается организм». Жрецы и поклонились загадочному КАК-ТО, пригрозив разрушителем: «И вы — поклонитесь, или — УМРЕТЕ, ИССОХНИТЕ».

В 1893 году у Николаевского моста, в Петербурге, впервые я увидел *настоящих* египетских сфинксов. «Из древнего города Фив, поставленные повелением ныне царствующего Государя», — как говорила на них надпись. Они стали уличным украшением — подробностью около «гранита», в который «оделась Нева». Самая коротенькая река в мире течет мимо их, как три тысячи лет назад текла самая длинная; и город самый новый из европейских шумит около обитателей самого ветхого в истории города. Однако все эти мысли-сопоставления пришли мне на ум гораздо позднее: при первом же разглядывании меня остановило удивительное выражение лица сфинксов. Как это может проверить наблюдением всякий, — это суть *молодые лица с необыкновенно веселым выражением*, которое я не мог бы определить выше и лучше, как известною поговоркою: «Хочется прыснуть со смеху». Я долго, внимательно, пытливо в них всматривался, и так как позднее мне случилось два года ежедневно ездить мимо них, то я не могу думать, чтобы обманулся во впечатлении: это были *самые веселые и живые из встреченных мною в Петербурге* действительно, казалось бы, живых лиц!.. От впечатления веселого, улыбающегося лица я позднее стал переходить к другим их линиям: сложение спины и состав бедер — удивительны по силе и правде. Это как бы фигуры из «Войны и мира» Толстого, перед коими остальные памятники Петербурга (выключая статую Фальконета — Петра) есть то же, что перед жизненными созданиями гениального художника забытые мною лица из одного, в детстве прочитанного рассказа, от которого я запомнил только заглавие: «Яшка — красная рубашка». Долго я приписывал это «стилю». «Мы не имеем искусства, потому что мы эклектики в истории: сфинксы эти суть подробность культуры, и, как все культурное, они осмысленны и живы». Больше ничего мне не казалось. Но удивительное влечение к их фигурам и почти волнение при созерцании меня никогда не оставляло и сохраняется до сих пор.

В один из свободных дней или, точнее, урвав один день от службы свободе, — я посетил музей «Императорской Академии художеств», находящийся как раз против этих сфинксов; может быть, эти последние, украшая Неву, имеют и некоторую идею, связывающую их с преддверием нового искусства. В академии, между другими ее сокровищами, есть коллекция гипсовых слепков со всех отысканных до сих пор скульптурных произведений Греции и Рима. Удивление мое к сфинксам еще более возросло, когда, рас-

смаатривая эти слепки (понятно, очень точные), я никак не мог пробудить в себе и доли того живого, почти физиологического волнения, которое само собою и с первого же взгляда пробудили во мне они. Как и петербургские памятники, — но только, конечно, несравненно более изящные, — они лишены были этого «прыснуть со смеху», т. е. они были очень изящны, но, однако, — *мертвы*. Всякий, кто захотел бы проверить мое впечатление, может легко это сделать, и особенно всмотревшись в аналогичные части фигур. В лицах греков, даже молодых, есть собственно молодость *очертания*, но не *молодость оживления*; в них нет разлитой улыбки, — улыбки не губ одних и не рта, а щек, лба, всего цельного выражения, над которым, кажется, не проходило никогда ни одного облака.

Дальше, — *вечно чуждый тени*,  
Моег желтый Нил... —

как почему-то угадал Лермонтов. Без-«тенность», «неомраченность» есть удивительнейшая и специфическая особенность сфинксов! Но меня, при осмотре академической галереи, поразили сейчас же не эти части. В галерее есть несколько «конных» изображений так называемых «центавров». Кажется, по мысли греков, они выражают собою силу: это что-то «человеческое», возросшее в «лошадиное», с сохранением (по крайней мере части) и человеческой красоты. Мощное и окончательное, сверхгранное завершение «Геракла, опирающегося на палицу» (мускулатура). Для меня в этих гипсах-центаврах была сомнительна красота; но в чем я не мог обмануться, хорошо запомнив сфинксов и как бы туманясь ими, как видениями, это — что в *крупе и бедрах* центавров не было вовсе выражения той силы, переходящей в легкость, силы, — для которой все легко, что выражено в могуче приподнятых лядвях сфинксов, в спокойно-уверенном положении лап, в смелом, идущем кверху концом, сгибе сжатого, крепкого хвоста. Сфинкс хочет (или может) встать; греческие же изображения спят вечным сном. Чуть-чуть эти изображения мне показались сонны, как и жители Петербурга (живые). Волнение, которое я не могу иначе передать, как волнение жизни, переливающейся волны жизни, еще болес во мне укрепилось к сразу понравившимся фигурам. Уже много позднее я прочел, нарочно достав роман Эберса, выражение: «Храм Сераписа невозможно разрушить», — и чуть-чуть, тою же улыбкою сфинксов «прыснуть со смеху хочется», улыбнулся этому восклицанию сам. Удивительно, что жрецы ничего не могли объяснить более, понятнее разрушителям.

Совершенно поздно, в 1897 или 1898 году, я посетил и египетскую залу в Императорском Эрмитаже; в начале ее есть огромные плиты с ассирийскими изображениями. Мне они представляются, как и все ассирийские изображения, мною виденные у Масперо, — *безжизненными*, только окультуренными. Идея «окостенелости», обыкновенно относимая к Египту, на самом деле очень верна в применении к ассирийским скульптурам. По край-

ней мере, ничего «переливающегося» в самого зрителя — не идет от них при самом долгом всматривании, и от них отходишь холодным, если даже и подошел с намерением «сочувствовать», «разогреться». Но вот за стеною огромных ассирийских плит и направо от входа вделаны в стену осколки маленьких египетских плиток: в расположении фигур, в сгибе ли спины, в расставленных ли ногах — опять *жизнь*, — как и в улыбке сфинксов, и опять *волнующее!* Правая стена так густо затенена в Эрмитаже (высокое положение, почти около потолка, окон и малый их размер), что едва можно что-нибудь рассмотреть здесь; и с лучшими ожиданиями я завертывал к передней стене. Саркофаги, как самое интересное, я решил рассмотреть позднее: по левой (от входа) стене тянется ряд шкафов с сотнями статуэток, величиною от вершка до четверти: они *все почти — идут!* Мне не приходилось в прочитанных об Египте сочинениях где-нибудь прочесть указание на эту особенность — повторяю, *почти всех — их изображений.* Но это удивительно, это поразительно и ново и, очевидно, — важно: что ничто изображавшееся у египтян, почти ничто, — *не остается в покое*, не стоит, не «отдыхает» и, очевидно, — не нуждается в отдыхе, а *хочет идти.* Лишь полуопрокинутые, прислоненные к стенке (сзади статуэток) фигуры уже естественно сидят. «Египтянина нужно связывать, чтобы он *не шел*» — это было впечатление от статуэток, как «хочет прыснуть со смеху» — было впечатление от обоих сфинксов. *Здесь и Там — родное, общее,* — то есть у Николаевского моста и в Эрмитаже. И было — изолированное, как бы остров среди «мертвого моря», пожалуй, — «оаз» в «пустыне». Я говорю о брызгах Египта среди Петербурга. В общем статуэтки не были красивы, но я не только этого не чувствовал, но мне и не хотелось в них изящества, красоты, как чего-то низшего и меньшего. В них было *«сейчас бытие!»* — вещь, не достижимая ни для какой скульптуры, как — *«чужого для зрителя».* Тогда как египтяне «во мне шли» и почти щекотали меня. «Проснись!» «Не дремли!» Три следующие подробности я замечаю для археологов: в одном из шкафов — между среднего достоинства крошечными и большими кошками — есть одна вершка в 2 1/2 высоты: она очень тщательно сделана и, собственно, представляет в себе изумительную красоту. Всякий знает, что кошки (в отличие от собак) не засыпают, по крайней мере — не засыпают крепко. Они лежат, свернувшись, кажется, без снов и при малейшем шорохе поднимают голову. В чудной статуэтке кошки, о которой я говорю, это внимание и настороженность выражены с изумительною глубиною. Не усиливаясь, она прислушивается, т. е. прислушивание как бы льется из ее природы, из сложения ее костей, мягких, едва касающихся земли, лап, не «развалившейся» спины. Кошка — это «готовность». «Они поклонялись в кошке *живости*», — мелькнуло у меня в уме, — *прототипу в этом направлении,* до которого они сами хотели бы достигнуть. Правда, их нужно было привязывать, чтобы они не двигались, но ночью они все-таки *спали*, имели *сон* и, очевидно, в этом видели слабость своей природы, возможность небесного себе упрека. Кошка не спит, «не дремлет», «не разваливается» — вот что соблазняло в

ней их и манило; взманило — до *почитания*. Но это только брезжущая мысль и почти только «улыбка» мысли. Теперь — изображения коров, т. е. лица коров на человеческой фигуре. Я не могу ошибиться, что было преднамеренное у ваятеля — так оно подчеркнуто, обведено необманивающей чертой — сделать повторение «лица коровы» в сочетании груди и живота человеческой женской фигуры: причем груди образуют выпуклости лба, как бы с готовыми вырасти из них рогами, бока втянуты и образуют щеки лица, а живот имитирует эту утолщенную часть коровьей морды, где соединены вместе широкие ноздри и рот. В словах нельзя заставить этому поверить, но серия удачных фотографий, снятых под разными углами с одной фигуры, убедила бы в этом читателя. Достаточно нескольких минут созерцания, чтобы увидеть, что, собственно, на плечи человеческой фигуры вознесена не голова тех коров, которые у нас стоят по хлевам и у египтян были в храмах, а вот эта *совсем другая голова, лишь прозреваемая художником или угаданная богопоклонением*, на которую в самом деле походят два больших овала питающих грудей и живоносящего чрева. Не умею передать и доказать: но, смотря на статуэтки, особенно на некоторые, я думал: «Да! да!» Ибо две груди и чрево этих худощавых фигур *подчеркнуто* говорили из себя: «Вот — я, *лицо коровы!*» Недоделанное природою, только лишь смутное в природе — доделал египтянин-скульптор, без претензий, без имени, «безымянный брат» в таинствах Изиды и Озириса.

Третья особенность — это изображения так называемых «керубов», человеческих фигур с двумя вытянутыми вперед крылами. Совершенно ясно можно видеть, что крылья у них *начинаются вовсе не за плечами* (как у ассирийцев, у греков («Ника»), у римлян («Victoria») и у нас (церковные «ангелы», «херувимы») и отнюдь не относятся к верхней половине туловища. Крылья эти, длинные и вытянутые, *растут от нижней трети позвоночного хребта, от позвонков поясных*, — о которых мы знаем и египтяне вполне могли знать, что в них лежит центр полового возбуждения. Достаточно, преднамеренно или случайно, согреть эту часть хребта, чтобы получилась та характерная особенность, с которой всегда почти у египтян изображался их Озирис, — «*cum fallo in statu erectionis*». Египтяне и сами без сомнения знали следствие такого согревания, как знают русские крестьяне (и евреи), которые так любят в банях «парить спину». Но к этому нашему бытовому или медицинскому «сведению» египтяне отнеслись религиозно. Они вообще поклонились *силе, оживлению, цветущести*. Известно, что все в природе *расцветает и оживляется*, подходя в возрасте, во времени года или в часах суток к минуте и минутам, когда становится близко к типичным изображениям Озириса. И центр фигуры нашей, вернее, — организации нашей, откуда идут эти возбуждения и, вероятно, где скрыт возбудитель, они отметили крылами, как бы говоря: «Вот откуда — *легкость, воздушность* в человеке», по которой в некоторые минуты он, землеродный и землеползающий, становится «будто птицею, окрыленным». Я заметил на маленьких бронзовых статуэтках Аписа, что и у них *тоже от поясничных позвонков идут эти*

*крылья*. «Все в природе, и человеке и быке, точно летает, когда готовится, или хочет, или может родить». Все как бы подымается над землю, в эфир, может быть, к звездам, все становится лучше и благороднее, наконец, становится божественнее («живее и живописнее» у египтян) — в эти особенные минуты. Так думали египтяне. И для чего же твердят о них учебники: «Это — касты, то — неподвижность; движение начали первые в истории — греки».

Но мудрые сфинксы не опровергают, не спорят. Они только смотрят с улыбкою на пустые петербургские улицы, где

Их моют дожди, засыпает их пыль —

и мимо каменных изваяний их шмыгают чиновники с портфелями, делающие «европейский прогресс».

## ПРОБУЖДАЮЩИЙСЯ ИНТЕРЕС К ДРЕВНЕМУ ЕГИПТУ

«Мы не знаем, наконец, куда же девать ту силушку, которая собралась в нас» — вот простой мотив, простой вздох, простое ощущение себя, которое толкнуло египтян к созданию всех этих колоссов, пирамид, чрезвычайных изваяний, изумительного среди пустыни сфинкса. Не здания из камня, но горы камня, которым придано очертание зданий... Нигде кокетства, но во всем какой-то горящий глаз (портреты лиц на так называемых «масках» над усопшими, на некоторых статуях, и тоже портреты животных). «Чрезмерность» — вот общая характеристика Египта; и под такими формами и созданиями мы чувствуем какой-то прилив энергии, решительно не повторявшийся потом никогда. Кажется, им легче было построить пирамиду, выкопать (для запаса вод Нила) огромное озеро Мероз, чем европейцам построить Эйфелеву башню. «Легко! Легко» — вот крик их, слышавшийся доселе из-под пирамид. «Нам все легко»: и, значит, — какие же силы, нервы, запасы нервов! Потому что ведь, очевидно, они не задавались целью сделать «как можно больше», — они, которые в древнем царстве (эпоха величайших пирамид) не имели современниками цивилизованных народов, и вообще у них не было никакого и ни с кем мотива соревнования. Строили, можно сказать, субъективно, «про себя» и «из себя». «Так выходило», «меньше не можем».

И вот за всеми этими явлениями — загадка: «Откуда же течет эта энергия?»

В их маленьких статуэтках — та же мощь экспрессии. Их «крошечное» есть, в сущности, колоссальное. Рука всегда крепко сжимает в себе предмет; нога — всегда вперед выдвинута. Это почти канон лепки, делания. Но ведь откуда же «канон»? В «канон» пошло обыкновенное. И значит их «обыкновенный» канон: «Не знаю куда девать силу».

Они все — как их «летающее солнце» с крыльями. Представить солнце с крыльями: неужели это не необыкновенно? Из европейцев никому, ни грекам, ни христианам, не пришло на ум так выразить и показать солнце. А ведь кто первый в истории рисует обыкновенное явление (солнце) особенно, странно и исключительно — у того непременно под «особливостью изображения» лежит необыкновенная своя мысль. Грекам и римлянам не пришло на ум; тогда почему же пришло египтянам?

А суть — особая сила, особые токи силы, полившиеся в них, в их воображение и вдохновение, — из «Отца небесного» и «Сотворения миров», над сутью и загадкой которого они остановились и проработали над нею тысячелетия. Всякий народ живет в долготу своей темы. А египтяне прожили — сколько прошло времени от Троянской войны до французской революции. Отчего же столько прожили? А тема их была велика. Тема их жизни, тема сознания их — творчество. «Как сотворен был мир», исходит и, главное, откуда все растет, «как сотворяемся мы» и как все «происходит, начинается и растет». Без лотоса — нет Египта: и сами они не отвергли бы, что один живой лотос священнее всех их храмов. В камне они не камню поклонялись, а идее и проникновению своему в идею: как все происходит и, главное, откуда все растет. Отсюда-то и вытекли их экспрессия, порыв и энергия.

Небесный Аполлон греков (солнечный бог) — стоит. Он прекрасен, но стоит. Египетское солнце — летит. В этом вся разница. И я, и может быть, многие со мной воскликнут: «Это — лучше, священнее и истиннее».

Когда-нибудь не будет кощунством высказать и выслушать, что греки с их красивыми богами и изящными мирами совсем маленькие перед загадками и дивами Египта. И хочется с христианским писателем начала нашей эры сказать: «О, Египет верный, о, Фиваида прекрасная», но эти слова чудные я как-то перебрасываю именно в древний Египет: «О, прекрасные сфинксы и удивительные гиппопотамы! — когда-нибудь вам еще раз поклонятся люди».

Чудо Египта, что он поклонился (в общей схеме) не мудрости (Индия), не красоте (греки), не власти (римляне), не кротости (христиане). Что он выбрал в поклонение — силу жизни, вот «как она дрожит в лотосе». И обнялся с нею, и вознесся вверх. Чудо! — как было не прожить 3 000 лет! Ожидалось бы больше, да Камбиз «зарезал на дороге».

И этой «силе жизни» они создали храмы такой чудовищной величины, что в Луксорский или Карнакский храм войдут: св. Петр в Риме, св. Павел в Лондоне, Кёльнский, Миланский и Страсбургский соборы. В один — все. Только московские «сорок сороков» не войдут. Значит после Руси — Египет первый по вере. Это хорошо, это нам сродни. «Чем пуще вера — тем лучше», — канон крестьянства. «И колокола большие». Ну, там тоже все «большое».

Интерес к Египту очень возрастает. И тут, конечно, первую роль играет чудная коллекция Голенищева, купленная за гроши (300 000 руб., когда ее стоимость не меньше миллиона) для московского Музея изящных искусств



имени Императора Александра III. Ее видит миллион москвичей и все проезжающие через Москву, — т. е. уже миллионы человек. И хорошо, что в то же время появилась первая оригинальная русская «История Египта» — нашего тещи иероглифов и любителя коптов (прямые потомки древних египтян), профессора здешнего университета Б.А. Тураева. Кстати, он только что перевел с иероглифов на русский язык «Рассказ египтянина Синухета и образцы египетских документальных автобиографий» (в серии книг: «Культурно-исторические памятники древнего Востока»).

## ОТТЕНОК РАЗНИЦЫ

(К спору об Египте)

Окидывая панораму всемирной истории, которая как-то оканчивается слезами и печалью, замечаешь следующую разницу между Грецией и Египтом. Всесмеющийся ум человеческий нашел метод, нашел способ, нашел удивительную лазейку, чтобы пересмеять, окарикатурить Грецию; и если здесь 9/10 вины и пакости лежит, конечно, на посмеявшемся, то 1/10 причины относится к «чему-то», что, однако, лежало в Греции и дало немецкому шарлатану возможность вложить Менелаю, Елене, Калхасу, Аяксу и Ахиллу позорные слова в уста и придать смешной вид.

Но никогда и ни одному уму не пришла бы в голову мысль посмеяться над «историей» Изиды и Озириса. И поздний историк может спросить себя: «Да почему?»

Есть что-то неизъяснимо торжественное и величественное в Египте. Улыбка есть там (посмотрите на сфинксов напротив Академии художеств); но смеха, хохота во всем Египте не было, этого нельзя себе представить, и вот со смехом совершенно невозможно подойти ни к одному египетскому слову и ни к одному египетскому рисунку. А улыбка царит, — их мягкая особенная улыбка, которая заключается в том, что какой-то свет льется от всего лица и теряется где-то в очертаниях благородно сложенного рта.

Отчего?

Когда я в первый раз увидел изображение Нефтис (свояченица Озириса), плачущей над прахом деверя, у меня защемило душу. Низко присев, — не на колени, а совсем опустясь до земли, она подняла руку ко лбу. И только. Ни растерзанностей, ни конвульсий. Все тихо, — их благородной египетской тихостью безмолвною, малословесною. Но мне показалось, точно я вижу монашенку, читающую Псалтирь над покойником. Это что-то наше, христианское. Но как передана эта печаль! Не буду рассказывать, не умею.

А греческие боги жили «здорово-себе». Гера все толстела, а Юпитер имел увеселения, рассказанные в мифах. И вот поздний, — соглашаюсь, скверный человек, — засмеялся. Шум — это нехорошо. Шум — это не религия. И уже к концу эпохи римский человек спросил: «А где же религия?»

В самом деле, где же религия, если нет печали? Египтяне и имели ум, тонкость и гениальность пролить в религию печаль... и этим «завязали узел» настояще-религиозного, чего не было у греков, совершенно светских. Вся Греция — совершенно светская, только светская, — вот ее колоссальный недостаток, зерно смерти, далекий источник гибели «вообще греческой цивилизации». «Что за страна, где и поплакать негде». А в Греции было «негде» поплакать. В Египте же были всенародные плачи, траурные торжества («погребение Озириса»)... Они уловили ту мысль, что «прорезающее» печаль счастье именуется благородным наименованием радости... И в Греции было веселье, а радости не было. В Египте же веселья было немного, а радость — постоянна («улыбка» их, переданная даже на каменных памятниках).

И Греция умерла. Умерла как неблагоприятный юноша, не совсем хорошо проживший жизнь. Египтяне им говорили: «Эх, дети, дети». По свидетельству историков, они называли греков (и римлян) «детьми».

Поэтому так настороженным кажется, когда последнюю главу о Египте Масперо увенчивает прекрасным бюстом юноши, — не то «стилизованного» Александра Македонского, не то «под Бога» — императора Августа. «Конец древней цивилизации Востока», так излагает эта последняя глава. У француза была та мысль, что теперь наивность, и грубость, и элементарность Востока окончились, — и он поставил красивый «греческий профиль», как иносказание всего дела, то есть всего дела к всего résumé истории. «Теперь пришло гражданство Рима и школьная мудрость Аристотеля». Между тем в плаче Нефтис есть что-то более вечное, что-то более нужное всему человечеству, нежели во всей «Метафизике» Аристотеля.

Ах, плача Нефтис нельзя забыть. Ее плачем — мы все плачем. Египтяне как-то умели на весь «шлейф истории» кинуть траурный тон... И вот он именно так дорог, и мы целуем этот шлейф.

Они угадали культурную и историческую необходимость скорби. А мы по их следам и по указанию их — более всего любим во всемирной человеческой истории эти переливы печалей. «Мы все дети перед египтянами», — как не сказать?

И вот никто, никто и никогда не смог посмеяться над египтянами. Комики и старики опускают глаза, когда проходит торжественная процессия египтян.

## ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ИЕРОГЛИФОВ

Когда срисовываешь какую-нибудь натуру, то смотришь на нее совершенно иначе, чем когда разговариваешь с человеком или когда шутишь, играешь с животным. Перебегая от рисунка к натуре и обратно опять к карандашу, правда торопливо, мечешь глаза туда и сюда: но в этот момент глазное яблоко живет утроенною, удесятеренною жизнью; оно страшно напряженно и на натуру бросает «схватывающий» «впивчивый» взгляд. Не будет ошиб-

кою сказать, что в миги срисовыванья душа переходит в глаз и сливается с объектом («натура»). И то же происходит, если рисуешь на память: ум, воображение, припоминание вливается во вспоминаемый предмет, ухватывает все его подробности и частности, — и это вообще есть совершенно другое, чем вспоминать человека «не для бумаги».

Иероглифы, или «животное письмо» — письмо через изображение зверьков, животных — изобрели египтяне. И оно у них в отличие от демотического или буквенного, почиталось священным.

Теперь: конечно, они взяли «зверьков» и части человеческого тела — глаз, веко, рука, нога, передняя часть льва, передняя часть быка, — потому что все это им уже первоначально нравилось; нравилось еще в пастушескую пору, до «царства» и династий. Но потом вот начался период этой иероглифической письменности.

Папирусы мы иногда видим как коротенькие, старые, местами прованные тряпочки. Но это — случайные и драгоценные обрывки. Целые и «серьезные» папирусы тянутся на многие сажени, и иногда на десятки сажен; некоторые, и особенно один знаменитый, доходит почти до четверти версты. Вообще это были настоящие книги, нисколько даже не коротенькие...

И приходилось не «писать букву», а «рисовать зверька-букву»... Как-то я долго всматривался в чередование: «бычок», «коровка», «глаз быка», «голова коровы»; величиною с нашу печатную букву каждый «знак животный», — но как при этом сделаны, например, ноги быка, рога отдельно коровы и отдельно быка!.. Какая же — не тонкость техники, это ошибка сказать, — какая была приученность души к «стилю и очертанию животного», — к его манере стоять (бычки), лежать (шакалы), сидеть (кошки).

И кончили египтяне тем, что «влюбились в свое невообразимо трудное письмо». Срисовывая рисунки их с атласов, я заметил, что не так много уходит времени на самый рисунок, как на этих «маленьких зверьков вокруг». Они, очевидно, раз нарисовав (и потрудившись), хотели еще раз нарисовать «змейку» или «мышку»... И рисовали, рисовали, почти гипнотически увлеченные.

В их отношении к иероглифам есть положительно что-то гипнотическое, — именно для самих писавших. Они их любили, как сомнамбула свой сон. Нарисовать не десять и не сто «глазков», но многие тысячи глазков, — и, написав, захотеть прибавить еще глазок — это невозможно без гипноза.

А им явно хотелось «еще раз нарисовать птичку, ибиса, утку, кошечку»...

Как я уже сказал, в начале же, животные были милы египтянам. «Впивчиво вглядываясь в них» и «впивчиво их припоминая», они явно так освоились с ними «в сидячем, лежачем и прыгающем положении», до того вообще «впились глазом» в их натуру, что, в конце концов, «загорелась страсть художника к натуре»...

Это возможно: кто наблюдал, напр., над живописью Репина, мог заметить, до чего он до некоторой степени влюблен в «ужасные носы» и «поскверному сложенные рты». «Вглядыванье», «впивчивость» родит, в конце концов, страсть. Раз я рассматривал всем известные «черновые наброски пером» Леонардо-да-Винчи: это такая серия чудищ, носов, губ и выпяченных, гнусных подбородков, что страшно смотреть, отвратительно смотреть. И вместе — не оторвешься.

Но перед египтянами были не «гнусные итальянские носы и губы», а совершенно невинные и чистые зверьки, не знавшие и не подозревавшие, что их срисовывают. И вот тут, я думаю, было нечто «воспособляющее» к знаменитому их и казавшемуся во все времена непонятному «культу животных», «почитанию животных». В окончательном виде этот культ, вероятно, никогда не будет разгадан. Тут есть такая тайна Египта, которая навсегда унесена в могилу. Когда я раз увидел, как фараон в страхе присел на пятки перед смотрящим на него спокойно быком, — в страхе и последнем изничтожении себя, я подумал: «Этого — никогда не понять!» Это было не «почитание», а что-то выше, страшнее. Явно, у египтян в душе их проходили какие-то видения животных, «апокалиптических» животных... Помните, в Апокалипсисе и у пророка Иезекииля говорится о четырех небесных животных — льве, орле, быке и деве. Вот и у египтян было нечто подобное. Но что в точности — уму непостижимо.

Но к этому «навсегда неведомому и основному», я думаю, прибавилось неодолимо от иероглифов очарование художника-зрителя. Тут проходила мягкая, смягченная форма того же явления: «Теперь я тебя не боюсь, а только люблю». И они рисовали и рисовали этих «священных животных», склонясь над полотном во много сажен. «Еще солнце не село, и я нарисую три-четыре строки иероглифов». «Теперь ты на меня не смотришь, ибис: и я тебя только люблю в тишине писания и заглазно».

Возможно. Это осложнение, несомненно, было. Его не могло не образоваться вследствие всеобщих и извечных законов человеческой природы, глаза и сердца.

Еще я что наблюдал, уже в быту. Есть некоторые вещи с первого взгляда неприятные, очень неприятные. Но если на них смотришь, и еще смотришь, и опять смотришь, то «та же вещь» начинает видеться совершенно иначе, открывает новую, даже не предполагавшуюся в ней никогда сторону, — и вот эту совершенно новую «незримую» в себе сторону начинает вдруг ужасно нравиться. Я упомянул о художниках, но это бывает еще чаще в быту. Нравятся «несносности» и даже безумно приковывают к себе. Вообще есть «взаимный сомнамбулизм вещей». Мы часто говорим: «Как вы можете жить с таким человеком?» Но, что делать: он уже «пьян этим человеком». Это бывает. И вот тут опять нечто «относящееся к культу животных». Относящееся, но не зерно его, конечно, — которое совершенно неисповедимо.

## ЦИВИЛИЗАЦИЯ «ЦЕНТРА» И «ОКРАИНЫ»

(К духу исторического Египта)

Что прекрасно, возвышенно и исключительно в Египте, то это следующее: что он нигде не центробежен, а везде центростремителен. Можно взять почти какую угодно в нем точку: и тогда, по достаточном размышлении, из этой точки можно вывести весь Египет. Такой чрезвычайной слитности, такого исключительного единства вы еще нигде не встретите.

Например, Греция: как вы соедините или свяжете ее искусство и дух торговли? Ее философию и дар колонизовать соседние страны? Несводимо друг к другу. А между тем, все четыре явления одинаково ярки, сильны, мощны. «Греция» горит в четырех самостоятельных «я».

Возьмите египтян. Откуда их задумчивость? — Будущая жизнь (их открытие). Но откуда будущая жизнь? — Зерно не умирает, а превращается в дерево. И вот сад: и посмотрите — из «сада хозяина» объясняется «сам хозяин».

— Но почему ты, смертный, строишь пирамиду?

— Именно потому, что тело мое и весь я буду жить после смерти. Взгляни на бутон цветка и на полный цветок, из него развивающийся.

Таким образом, «сад египетский» объясняет и «пирамиды египетские».

У них сады (на картинах) чудны. И животные чудны: «Почему, египтянин, животные-то у тебя чудны?»

— А потому, что какая же разница между мною и между животным? Они даже лучше меня («священные животные»). Я их погребаю и делаю им мумии.

— Но почему?

— А потому, что они — живы. И все живое не умрет, а воскресает «туда». Жизнь бесконечна в конце, потому что она безначальная в начале. Жизнь есть процесс, жизнь есть рост. И «больше» и «шире» она может делаться, а меньше никогда не делается.

И из «бутона» можно вывести всю цивилизацию, и от «пирамиды» можно вернуться опять к бутону, да даже и прямо — уйти в бутон.

— Ну, египтянин, удивляешь ты. Пожалуй, и пирамида твоя есть «бутон»?

— Именно. Это «вечный дом» фараона, где он живет, откуда видит землю, откуда продолжает незримо править страной, советуя своим потомкам и нашептывая повиновение и покорность подданным.

— Хорошо. Но, однако же, вы не хороните бутонов?

— Именно хороним. Когда сеем зерна в землю. И из «зерна» вырастает «колос»: вы видите, жизнь размножилась. И ничего решительно не умерло.

— Ну, египтяне. Перевязали вы себя своими мыслями, как веревками. Крепко.

— Да, крепко.

— И это колесо «до Казани доедет», против Гоголя?

Египтянин заплакал.

— Смертный, зачем ты шутишь? Разве можно шутить и жить? Какие вы бедные, какие вы горькие. У вас поднялись тоскливые песни, потому что вы нигде не видите Бога. Мы же всегда были радостны, потому что Бог всегда был с нами.

Получил от доброго русского батюшки письмо. Пишет из Пскова:

«В последнее время вы пишете об Египте. Так вот вам тема для размышления. Для чего это Сыну Божьему, лишь только Он родился, в самые первые же дни Его бытия на земле, понадобилось бежать в Египет». (Бегство Марии в Египет, по указанию Ангела во сне Иосифу.) Батюшка продолжает: «Почему Он не был послан в Рим, в Грецию, в Месопотамию, в Аравию, а именно в Египет? Или сюда было ближе? Или дорога сюда была безопаснее? Едва ли чтобы такие мелкие и ничтожные причины могли тут иметь место. Нужно допустить что-либо более важное и серьезное. В Египте благоговейно и боголепно почиталось Отческое начало бытия и жизни. Посему, нужно думать, над Египтом особенно полно почивало благоволение Отца Небесного. И вот, только лишь Сын Божий родился на земле от Девы и *Матери*, как сейчас же послан был в страну особенного, преимущественного благоволения Отца Небесного, чтобы там воспринять на Себя это благоволение, эту любовь *Отца* Своего Небесного; надышаться там воздухом, наполненным любовью Отца Небесного; как бы родиться от этого воздуха.

Евангелист, объясняя это событие, говорит, что все это произошло, да сбудется реченное Господом чрез пророка, который говорит: «Из Египта вызвал Я Сына Моего» (Осия, глава 11, стих 1). Но ведь пророчество не было причиной данного события; наоборот, бегство в Египет было причиной пророчества. Так или иначе, но вдуматься в это событие следует. Вот и народ еврейский, на самой заре своего бытия, в первые же годы своего существования, тоже для чего-то переселяется в Египет. Не затем ли, чтобы именно в Египте, под осенением благоволения Отца Небесного, воспитаться в избранный и возлюбленный народ Божий? Примите эти слова старца 62 лет как благословение на доброе ваше историческое странствование в Египет. В нашей истории страна эта как-то совсем обходится. А ведь это ближайшая по исходам своим к нашей вере страна».

Спасибо батюшке. Приму его совет в назидание.

## ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ЕГИПТА

Я долго читал книгу об истории изучения Египта, написанную русским ученым...

Оговорюсь: я склонен считать, и теперь и прежде считал, всех тех редких, даже редчайших русских ученых, которые избрали «колыбель человечества», Египет, в предмет изучения, какими-то особенными, почти «святыми людьми»: так ведь это трудно, так необыденно, столько надо иметь изощренного вкуса для историка, чтобы остановиться не на крестовых походах, *Les croisades*, не на феодализме, не на революции, а вот пойти в эту дальнюю и (для ученого) какую-то бескорыстную страну. Что она обещает, кро-

ме внутренних восторгов, полного непонимания вокруг, — печатанья трудов, почти никем не читаемых?

И (читал я лежа) бросил книгу в противоположную стену, как когда-то один монах чернильницу, в «показавшегося ему черта».

Книга прекрасная и прекрасно написанная. С любовью, одушевлением. Но что она передает? Идет история истолкования Египта и истории египетской из сравнения с нравами, и обычаями и верованиями дикарей: то австралийцев, то индейцев: религия возникает «из фетишей» (т.е. необъяснимо почитаемых вещей), «тотемов», «табу» и прочих диковинок, найденных Тэйлором, Спенсером, Вундтом, Видеманом и Тиле у полинезийцев, у бродячих и воинственных индейцев. «Есть племена индейцев, почитающие, например, волка; тогда все члены этого племени называют себя волками, берут это имя себе в прозвище: «серый волк», «злой волк», «старый волк», «глаз волка» и т.д. Они считают, что душа волка перешла в них, и считают себя потомками волков, а волков называют своими предками. Эту теорию, как объясняющую «почитание у египтян животных», египетскую «зоолатрию», изобрел немец Видеман.

И вот я бросил книгу. С ненавистью, с отвращением и презрением. Не к ней, а к излагаемой теории. Позвольте: Наполеон Бонапарт и команчи Северной Америки. Положим, есть сходство: те и другие воевали. Но что же: неужели есть повод, изучая Наполеона, вспомнить и команчей, и не только вспомнить, но и поставить темою: так как команчи существовали раньше Наполеона Бонапарта, то нельзя ли стратегию Бонапарта и его военный пафос вывести из талантов команчей, из возможного здесь «заимствования», и вообще «провести параллель между французской революцией и бытом драчливых команчей»?

Подобная тема, которая никогда не может прийти на ум обыкновенному человеку, однако, не только возможна, но она постоянно волнует науку, занимает ее и занимает до такой степени, что ученые, занятые «трудною проблемою», перестают наконец видеть Египет и находят только команчей.

Протираешь глаза. Не веришь. Берешь книгу опять, и видишь: нет, действительно исследуются нравы, обычаи и верования индейцев для объяснения египетской цивилизации.

Аналогии, сравнения ведутся столь тщательно, зрелище развертывающейся учености так поразительно и так увлекательно, что, с одной стороны, «вытягиваешь руки по швам перед академиею», а с другой — неодолимый внутренний голос шепчет: «Какая все это ерунда». И ерунда, совершенно невозможная в области здравого смысла и могущая зародиться только под сводами зал, далеких от мира, от людей, от улицы, вообще от действительности.

«У людей этого не может быть. Да, но в этнографии может быть». — «Ибо этнография — не люди, а наука». А «для науки здравый смысл слишком обыкновенная вещь, и вообще наука часто имеет вид необыкновенный».

И идут цитаты, авторитеты; еще цитаты и еще авторитеты. Голова кружится. Перестаешь что-нибудь понимать. И вопль души: «Где же Египет? И фараоны, и кошки» — понуждает кинуть книгу в стену.

Странное, дикое подозрение, что «египтология до некоторой степени засыпала Египет и сделала его невидным» — закрадывается в душу. Чудовищное подозрение прячешь, но куда его деть. «Не удавиться же с таким подозрением, — лучше высказать». И вот я высказываю. Зрелище Египта, египетская очевидность, дивная и великолепная в себе, и в самой себе совершенно ясная по множеству, почти по мириадам изображений на всех храмах, во всех могилах, — по этому буквально «городу одних рисунков», — совершенно как-то не походит ни на «тотемы», ни на «фетиши», ни на «табу» полинезийцев, индейцев и т. п. Она ясна, эта египетская действительность, просто как сосредоточение глаза, внимания и размышления над основой бытия и мира: как произошел мир? Как и откуда все рождается? Произошел ли он мертвым или живым способом, т. е. рожден или сделан?»

Да, мы все об этом думаем. И без «тотемов» доходим до Бога. «Бог — Творец мира»: это первое, что говорит каждая мать своему ребенку. Почему ученые не возьмут «в объяснения Египта» себя, детей своих, свою жену и мать? Почему не «вывести Египта» из «повседневного и нужного», а нужно бегать к американцам за тотемами?

Да разве не бьется в сердце каким-то могучим пульсом разложение «божества» и египтян на Озириса — Изиду — Горуса, т. е. на «семейную триаду в каждом доме»: и восклицание «по образу и подобию Твоему создан человек», т. е. слова главной нашей священной книги, — неужели эти «священные слова» не объясняют происхождение «священного» в Египте? «Как у нас, так и у них». Почему это не подумать, не сказать? Зачем выводить религию из «волка Северной Америки», когда она «выводится» из спальни нашей жены с детьми? А ведь посмотрите: жены, замужние, не барышни, конечно же, религиознее, более любят храм, больше читают молитв, чем барышни. И посмотрите, какой свет: Египет, построивший все на семье, дал религию, создал чудовищной величины храм. Греция, так, в сущности, и оставшаяся при барышнях (Афродиты), — религии не создала в собственном смысле, и у нее были не храмы, а парфеноны.

А ведь парфенон беднее русской деревенской церкви. Ибо в одном случае мужики, хлебопашцы, а в другом — художники, артисты. Вот разница, вот разветвление течений. И Египет, бывший хлебопашцем, и вообще артистичеством вовсе не занимавшийся, создал из «хлеба и полей» чудовищной величины и объема религию. Неужели это не ясно, не просто, не «пять пальцев на руке»?

## ЗА СПИНОЙ ОТКРЫТИЯ

Я прочитал небольшое рассуждение проф. Вл.К.Бламберга, директора московского Музея изящных искусств, о «рельефе» египетских изображений... Но, раньше чем продолжать, возражать и размышлять над размышлениями, расскажу один эпизод из египетских раскопок...



Копали-копали ученые... Нашупали в земле какую-то статую... Ташат... Вытащили. Как вдруг все арабы, работавшие по найму при раскопках, рассыпались со страхом, крича: «Это — наш шейх!»

— Был живой... А теперь — вытащили из земли, и — каменного...

Знаменитая эта статуя, получившая в лице несколько ударов заступом и исполосованная этими ударами (4 трещины, одна — пересекающая правую щеку от глаза до подбородка, две — поперек лба до глаз и одна — вокруг всего лба, под стриженными волосами, начиная от правого уха и до левой стороны головы), — при всей этой «исполосованности» ничего почти не теряет. Был «здоровый шейх», в земле, — теперь стал «побитый шейх»: и побитый еще реальнее не побитого... Все — быт, деревня, и исполосовали дяденьку. Статуя теперь находится в «Гизехском» музее, и ученые прекрасно сделали, оставив за нею, в сущности, безымянную и сделанную безымянным художником, — то наименование «шейха» («Le sheikh-el-Beled»), какое у арабов вырвалось при раскопках.

Одугловатый, ленивый, властный — он больше всего любит удовольствия под вечер. У него (мусульманин) четыре жены, но он предпочитает им беседу в компании. И вообще — компанейский человек. Умен, хитер, но не злокознен. Спасает «хитростями» себя. Любит выпить, хоть тайно (мусульманский закон). Овальный подбородок («кадык») говорит вообще, что он любит жизнь сладкую, масляную, «с вареньем». И в качестве варенья берет и приятелей, и 4-х жен. Уши глубоко засели в толстую голову, и это придает ему вид свиньи. И мы бы назвали его так, если бы не чувствовали столько ума («в чем-то»), что мы и не умеем назвать. Но как не скажешь: «в шейхи даром не выбирают» и «этот староста не выдаст свою деревню».

Масперо — человек большого блеска — выбрал не какую-нибудь принцессу в заголовок всего своего труда — «Histoire ancienne des peuples de l'orient classique», — а этого вот «побитого заступом» шейха... И действительно не ошибся: если придвинуть его к великолепной и *отвлеченной* Венере Милосской: то что собственно потеряет «наш шейх»?

Позвольте: шейха я видел. О шейхе арабы закричали: «Он — наш». Сколько жизни, сколько крови. Значит — много «крови» в той египетской «натуре», с которой делал статую неизвестный египетский художник, и было особенно много крови в самом этом художнике. Крови, ума и верно-сти руки. А Венера в Лувре — до чего она матушка бескровна. «Вот эту Венеру — делали, а не родили». Но шейх... прямо «рожден» неведомым художником; и оба, он и художник, покатываются со смеху: «как удалось»...

Да, «удалось» так, что арабы сделали свое восклицание. Каким образом *совпало*, что у теперешних арабов сидит в деревне точь-в-точь «с таким лицом» начальник, как этот 4000 лет тому назад живший египтянин, — это, конечно, есть чудо, и есть что-то провиденциальное в этом чуде. «Судьба заботится об Египте». Такие «на далеких пространствах» исторические совпадения — бывают. Когда я в Киеве осматривал Софийский собор, то и спутники мои (человека три), и я все приглядывались к крестьянину с Во-

лыни, тоже осматривавшему святыню храма: высокий и прекрасный, с благородным гордым — «княжеским» — лицом, он крестился, молился и осматривал «старинку», поистине «свою старину», точно вставший из гроба «Владимир-Красное-Солнышко», или же по крайней мере кто-то из его дружины, и, кажется, всего скорее — Добрыня Никитич. А. А. Прахов, А. И. Тучков и его супруга — все были удивлены и шептались. «Вот перед нами встала Святая Древность».

Бывают атавизмы. И вот мы любовались «Красным солнышком» в лице волынского мужика, а арабы «узнали своего шейха» в вырытой из земли статуе египтянина...

«Дьявольская острота линии и точки»... Самое поразительное в шейхе — губы. В них что-то неизъяснимое. Улыбка? ирония? воспоминание вчерашнего вечера? «Так может лепить только Толстой» — словом.

И вот об этом бесовском реализме египтян долго думали ученые всего света, что они «не умели делать» рельефа человеческой фигуры, ибо «лицо сделано в профиль», а глаз в него вставлен прямо «en face»; и будто бы ступня на ногах то одинаково правая на обеих ногах, то одинаково левая. И еще прочие чудища. Г-н Бламберг прекрасно это разъясняет. Он говорит, что тут «никакой ошибки у египтян не было», а напротив, египтяне сделали удивительный прием, удивительное усилие, чтобы через плоское изображение дать зрителю «объемное впечатление». И в самом деле: я срисовал себе много сотен таких изображений, совершенно не заметив того «упрека», какой сделали египтянам ученые. До того фигурка с «неестественно соединенными» 1) лицом, 2) глазом, 3) туловищем (en face) и 4) ногами казалась мне естественной. Я теперь только припоминаю замечание художника из «Мира искусства», который, посмотрев на мои рисунки, сказал: «Удивительно! — египтяне делали на лице в профиль — глаз en-face». Помнится, сказал это художник Л. С. Бакст. Я пропустил замечание, потому что изображение мне нравилось.

«Нравилось»... И это тоже удивительно. «Как может нравиться неестественное соединение частей тела?» Ведь это «уродство». Но «уродливого впечатления» не получалось. «Несколько сотен» при недосуге (государственная служба) и лени, наконец, — без всякого понуждения и мысленной задачи (я не думал никогда писать о Египте). Я единственно мог срисовать потому, что «мне нравилось самое срисовывание». Но чем? Как? Художеством? Нет. Ведь это простой профиль, одна линия, которую я веду «через прозрачную бумагу», но веду точь-в-точь по-египетски. С первых же рисунков я почувствовал волнение: и, не останови бы меня абсолютное «некогда», я, кажется, простер бы «в бесконечность» срисовывание. До того мне было около них тепло, уютно, благородно, весело. Что же это такое? Тут есть «что-то», чего, мне кажется, совершенно не замечается в рассуждениях об египетском искусстве.

«Несколько сотен» я никогда бы не срисовал с греческого искусства. И устал бы над всякими Парфенонами, Гераклами и Алкивиадами.

Тут «лень русского человека» служит проверкой «искусства»; как «масса читателей» — вне эстетических суждений и всего подобного — служит проверкой

«хорошего беллетристического произведения». «Беллетристика египетская в рельефе» тянула меня, засасывала меня: и доходило до того, что начальник «исторического отделения» в Публичной библиотеке, помнится, г. Соколов, уходил домой и оставлял меня одного со сторожем. «Видя такое усердие». К чему?

Да. «Одна линия» и «никакой красоты». Целый мир учеными не замечен. Именно то, что египтян нисколько не увлекла «красота живописи», и до некоторой степени менее эстетического внутренно народа, чем египтяне, — никогда не существовало. Да ведь и рисовали они на стенах гробниц и внутри пирамид до такой степени накрепко запертых, что никогда на ум не приходило, что эти гробницы когда-нибудь будут вскрыты. Таким образом, они рисовали «в вечное закрытие», в «вечную спрятанность от глаза», в «безвестность и тайну». Отчего же они рисовали, где стимул? Только и ответить: «вечное искусство». «Вечность его» в жилах наших, в крови нашей, в таинственном сложении мозга и нервов. И посмотрите матерьял: это не «белоснежный мрамор» греков, можно сказать «из рук Творца вышедший для выставки», а тусклый, серый, безвидный песчаник. «В могилу прячется, да и сам — могила». А «рисовать хочется». Но «никто не увидит». Вот это-то сочетание «порыва» и «не выставочности» сообщило египетскому так называемому «искусству» такую глубину и негу, такое исключительное сосредоточие на «сюжете», — который из рук «художника» пойдет «прямо в могилу», — а по этим основаниям и такое могущество воздействия на душу зрителя, как это совершенно не доступно ни одному народу и никогда не удалось грекам, «рисовавшим для Афин». И «с афинянами» — умерло; а перейдя к нам в остатках, — пошло в музеи. Все искусство египетское — какая-то келья расписанная. Да ведь так и есть: могила — келья, а келья — могила. Полное уединение, абсолютное уединение и молчание. «Рисуем в могилу» и «чтобы никто не увидел». Что же они рисовали? Только в их живописи («книга, которая не будет иметь читателя») есть полное совпадение того, что «ведает рука» (кисть) с тем, что «есть в душе». Оно одно в мире искренно, чисто. Где «притворства» нет «ни крупички». Но что толкало, кроме таланта?

Во всем (во всем!!) египетском искусстве нет ни одной гримасы, сарказма, насмешки. Ни одной линии, точки — отрицательных. Не изумительно ли? О, как я изумлялся этому, в наш насмешливый, тоскливый век. Такого «утвердительного отношения к миру» опять не только «я никогда не видал», но, очевидно, такого утверждения жизни не повторялось еще ни у одного народа во всемирной истории. К египтянам вовсе не идут наши категории действительности: эпическая, идиллическая, трагическая (комическая же начиналась), а жизнь была слита в такое единое целое, которое еще не начало распадаться, расчлняться на эти течения и особенности. И вот эта «целая жизнь», в ее чистосердечии «дневника, который никогда не будет прочитан», льется из их песчаниковых стен: и обдаёт позднего зрителя умилением, которого он решительно не испытывает от греков, не говоря о римлянах. Мне кажется, я произнес настоящее слово. Спросите себя о Гераклах, даже спросите о Ниобее, не говоря уже об Афродитах, и Милосской, и Медицейской, дают ли они впечатление умиления? Нет. Против египтян все они холодны, даже Ниобей. Мы

сострадаем Ниобее, мы дрожим за Лаокоона. Но это слишком резкие, колючие чувства. Этого непрерывного тока умиления, прелести, восторга к самой жизни изображаемой, к самим людям изображенным — мы не испытываем. Египетское искусство ближе к христианскому нежели к греческому, — с которым уже по скромности оно не имеет ничего общего. Ужасный недостаток монастыря и «теней его» убивает греческое искусство. «Разве можно так шумно, греки», — хочется сказать им. «Оглушили»... Вот «оглушающего» ничего не идет от этой прелести могил, в которые закопались египтяне.

Теперь слушайте чудо: и вчера, и вообще эти дни я просматриваю: «Une rue de Sakkarah» — снимки стеной живописи с одной улицы, раскопанной близ пирамиды Саккара. Неопишное оживление льется с этих снимков, сделанных за 1 1/2 тысячи лет до Авраама. Тайна молчаливой и скромной жизни египтян лежит не в одном умилении: можно быть «умиленным» и несколько «сопливым»; но они имели какую-то тайну слагаться в чудные по «сцеплению фигур» сцены, причем ни одно «слагаемое» не только не спит и не дремлет, не только не «устало» и не «жалуется на усталость», а как будто оно вовсе не знает сна, и никогда «не знает». Странное дело: ведь они верили в «вечную жизнь»: ну, вот эта «вечная жизнь» была в них точно разлита уже на земле. И я чувствовал, что вечная жизнь вливается и в меня, усталого петербургского чиновника. «Как», «что» — не понимаю: но разве при усталости я мог бы нарисовать столько, если бы не чувствовал, что кровь во мне согревается дыханием из-за четырех тысяч лет.

Но это было, воистину было. Этого чуда «срисовывания», «копирования» я не думаю, чтобы производили греки. Как «согретые» такую давностью? Греки нас очаровывают, Египет — трогает. И трогает, не заключая ни одной (ни одной!!) страдательческой, мучающейся фигуры. Чем же он трогает? Это поистине не разьяснимо. Можно только сказать: «Поди и посмотри».

1916

## УМ СВЕТИТ ИЛИ СВЕДЕНИЯ СВЕТАТ?

Это не вне связи даже с текущей войною, когда ряд ученых Германии выступил с защитой прав своего отечества резать направо и налево людей. «Это мы, первая нация в свете: почему же нам не зарезать ближнего своего, в дружбе с которым мы притворялись до сих пор?»

Может ли ученый сойти с ума? Станный вопрос. Конечно, ученый подлечит всему «общечеловеческому», — а сходить иногда с ума принадлежит к печальным особенностям человеческого рода (кажется, животные этого не знают, по «большой упрощенности» их жизни). Но переменим или, вернее, расширим вопрос: «Не может ли иногда сойти с ума наука?» При этом вопросе все заартачатся, встанут на дыбы... и поднимут камни против бедного фельетониста.

Но, ей-ей: этот вопрос не так глуп. Защита прав «зарезать» не только германскими учеными, но германскими учеными в таком большом числе и

массе, что их уже позволительно принять за «германскую науку в ее теперешнем фазисе», окрыляет на эту смелость. В XVI веке Томас Мор написал «Похвалу глупости», где гениально высмеивает современных ему ученых, — как они «делаются профессорами» и через посредство «лекций» превращают головы слушателей из нормальных в совершенно ненормальные, и в том же веке Бэкон Веруламский посвятил отменные страницы своего «*Instauratio Magna*» на борьбу с учеными и с наукою своего времени, классифицировав даже по рубрикам специальные, специфические заблуждения именно ученых, именно их знаменитых «диссертаций». Бэкон не предвидел ужасной эпохи, когда собственные его идеи не только восторжествуют в науке и восторжествуют в цивилизации, но сделаются новым корнем самых безумных заблуждений, самого отчаянного суеверия. И в двух словах это можно объяснить так: Бэкон боролся против схоластики и в противовес ей — указал на свет, льющийся (на науку) из *опыта* и из *наблюдения*. Гениальное воззрение, для своего века — исключительно и превыспренно гениальное...

Но протекли годы, века... «Схоластикой» назывались вообще «рассуждения». Тогда что же сделали ученые? Все борясь против «рассуждений» и «вообще философии», они взяли да и сняли с себя голову, — поставили голову на отдельную табуретку, — «для домашнего и преимущественно хозяйственного употребления», — а что касается до науки, то, «следуя Бэкону», приказали широко раскрыться одним глазам, так сказать, вынув из-под них мозг, с лозунгом: «Смотри! наблюдай! Записывай, регистрируй наблюдения!» «Ничего не пропусти!! Но о виденном, пожалуйста, постарайся никак не думать, пожалуйста, поменьше философствуй, — а ограничься серией фактов».

Вы не узнаете? Да это и есть наука нашего времени, «бэконовская», — и от нее, от этой «положительной науки, только описывающей», уже рукой подать до теперешних троглодитов Германии, оправдывающих «права зарезать» суровой обстановкой «действительного положения вещей». «Нам хочется кушать, а у соседа есть мясо. Обдерем мясо с костей и будем сыты». Это — позитивизм.

Довольно видно, как Ньютон и Паскаль превратились в обезьяну. «По Дарвину». «Ретроспективное развитие». Все ученые термины. Все хорошие термины. И вот...

Читатель не посердится на меня, что я такую публицистику навел от Египта. Что делать. «Бог Тот» (бог учености и покровитель ученых в Египте) многому учит. По поводу небольших египетских заметок в «Нов. Вр.» я получил письмо очень интересного содержания, которое выводами своими, да и прямым смыслом слов заставило меня заглянуть вообще в департаменты науки. Корреспондент мой пишет:

«Изображения и надписи, которыми покрыты памятники Египта, одни могут служить беспристрастными документами для нас. Но вся беда в том, что их толкование — вещь чрезвычайно трудная и сложная. Наука до сих пор еще недостаточно знакома с языком этих знаков. Ведь на протяжении 4000 лет и язык, и воззрения егип-

тян испытывали множество изменений. Не могу не вспомнить мнение одного известного египтолога, который на мой вопрос: что знает наука о мистериях («тайнствах») Озириса, имевших такое значение в религии, сказал (слушайте! слушайте!), что наука должна ограничиваться буквальным переводом надписей, не мудрствуя лукаво и не делая (слушайте! слушайте!) никаких выводов. — и что о мистериях Озириса и Изиды науке ничего достоверного не известно. Ваш взгляд в одной статье об Египте в «Нов. Вр.», что наука египтологии затемняет истинный смысл и дух Египта, совершенно верен. Я бы добавил: такая наука, которая не видит ничего дальше буквы. Но это, к сожалению, справедливо по отношению не только к Египту».

Запн слов в душе, из которых пробормочу хоть некоторые. Во-первых: Бэкон у нас совсем в кармане. Это он научил «смотреть и не размышлять»: рецепт, простершийся даже до египтологии... которая, я скажу теперь смелее, чувствуя подпорку в милом и умном письме, прямо закрыла от людей Египет. И (увеличу дерзость) — читающий «Историю Египта» в изложении Брестеда, Масперо и (усиливаю извинения) Б.А. Тураева — просто «разучается Египту», а не «научается Египту».

И виноват Бэкон и Германия. В «египтологиях» ничего решительно нет египетского, а есть французское, немецкое, английское и итальянское. Намек — и все понятно: Изиду и свою любимую Гатор-богиню египтяне выражали коровой. «Мы тайнств Изиды на знаем». Но одно «тайнство» мы разгадали — «тайнство Тураева, Масперо и Брестеда»: именно от их трудов «не пахнет коровой». Захочут, ударят по щеке меня, но я отвечу: это — Париж, а не Фивы и не Мемфис. Ибо как же я пойму что-нибудь о Египте у Масперо, если он «стыдится» дотронуться умом и мыслью до той «коровы» и не допустил ее шерсти, рогов, и вкуса, и запаха в свою «дивную историю Египта», где этой «корове-Гатор и корове-Изиде» поклонялись?

Явно: Масперо — одно, а Египет — совсем другое.

Тураев и даже великий Голенищев, собравший чудную коллекцию — древностей об Египте, — это совсем «одно», и самый Египет, тот подлинный древний Египет — это совершенно, совершенно другое. И «египтология» и «Египет» просто даже не знакомы друг с другом. Чудовишно? Между тем одна молния освещает ночь: все родное Египту, все «священное» ему, все ему «святое», все над чем он дрожал, дышал, что он целовал (есть рисунки, никогда не передаваемые в «египтологиях»), все это, все и безусловно — отвратительно, не переносимо, гадко для Парижа, Лондона, Масперо и Тураева.

Порок и просто, можно сказать, преступление (ученое преступление), что, например, передавая «воскресение Озириса» в специальном филологическом журнале в Харькове, где уже можно «все поместить», так как и читает-то этот журнал почти что один человек, наш прекрасный и серьезный египтолог, однако, передал (рисунок) неверно «воскресающего Озириса». И когда я его спросил по телефону (прочитав дома подаренный им мне оттиск его статьи), «почему он передал изображение неверно», он мне ответил: «Откинутая мною часть изображения Озириса не имеет значения».

Но ведь Египту судить, его жрецам судить, — «как изображать Озириса в миг его воскресения», а не Петрограду судить и не Тураеву судить. Не правда ли? Не ясно ли? Тайну «воскресения» — египтяне разгадали. Первые. Как же не передать *точь-в-точь то самое*, что они нарисовали, изображая «воскресение своего бога»? Боже, Боже... Но это именно — «вынуть мозг из-под глаз».

Но как же они не догадуются, т. е. как же Европа не догадается, «бэконовская» и теперь «немецкая», что «без мозга глаза ничего не видят», ибо нет тогда «думающего глаза».

«Думать — запрещено» (письмо моего корреспондента, принцип египтологии)...

Но тогда корреспондент мой понимает, отчего «Таинства Озириса не разгаданы». Да к ним не было *внимания и интереса*. Мне же, когда я занимался Египтом, эти таинства чувствовались в каждом египетском рисунке, в рисунках храмов, в рисунках садов, в рисунках всех их милых животных, и *рисовывая*, все восклицал:

— О, зачем Парфеноны!! Зачем эти сухие красивые здания, с камнем, с холодом, с безжизненностью... Потому что из каждого маленького рисуночка египтян мне точно брызгала в лицо жизнь, точно «текло по душе» молоко бесконечных (в смысле и глубине изображения) их коровок...

Другой, уже европейской значительности ученый, бывший помощник директора Публичной библиотеки и собравший у себя целый музей древностей египетских и месопотамских за 2 и за 3 тысячелетия до Р.Х., пишет мне:

«О происхождении стел и обелисков ученые умалчивают, — я думаю, иногда из предположения, что «посвященные» в науку это и так знают, а большой публике и знать незачем. Едва ли какой-нибудь ученый отвергнет связь первичных типов стел и формы обелиска с мужским половым органом, но выяснить смысл этих столбов-символов жизни — считается ненужным. А вот что любопытно. Гаркави (знаменитый как семитолог, хранитель древнееврейских рукописей в Публичной библиотеке) указывает, что при завоевании Ханаана евреям предписано было уничтожать «столбы» ханаанян, т. е. стелы в форме столбов. Как известно, уцелела чудом только одна сравнительно позднейшая «стела Мёти».

И здесь Гаркави говорил, да не договорил. «Почему приказано было?» Да по простой причине: — «Никаких *изображений*». Принцип Мозаизма, введенный впервые вождем и законодателем евреев как *принцип сокрытия, закрытия* всего от «непосвященных», а вовсе не как принцип пустоты, воздушности и призрачности религии. Поздние же читатели священных книг, читая об «уничтожении столбов», подумали естественно, что они были уничтожены из «гадливости», «пренебрежения» и «презрения». Так произошло впоследствии «месиво в головах» археологов, историков и богословов, вообразивших и закричавших на четыре горизонта, до чего Моисею и религиозным евреям было несносно всякое напоминание и о том органе, который они продолжали священной обрезывать, — в священной церемонии, заключаемой «пиром обрезания» (смотри молитвенники еврейские).



Апокалиптическая секта  
(Хлысты и скопцы)







## МЕЧТА «ДУХОВНЫХ ХРИСТИАН»

На воздушном океане  
Без руля и без ветрил  
Тихо плавают в тумане  
Хоры дивные светил...

*Лермонтов*

### I

Уже в начале XVIII века св. Димитрий Ростовский в «Розыске о брынской вере» записал такое странное толкование Евангелия некоторою частью им наблюдававшихся раскольников: они говорили, напр., что в известном рассказе о беседе Спасителя с самарянкой «дела не было, а притча есть». Именно, что «самаряныня» — это душа человеческая, «кладезь» — это крещение, «вода жива» — дух святой, «пять мужей» — пятеры Книги Моисеевы. Также точно Лазарева воскресенья не было «в деле» (т. е. как факта его не было), но «притча есть». «Лазарь-бо боляй толкуется: ум наш, немощию человеческого побеждаемый. Смерть Лазарева — грехи. Сестры Лазаревы — плоть и душа; плоть — Марфа, душа — Мария. Гроб — это житейские попечения. Камень на гробе — окаменение сердечное. Обвязан Лазарь укроями — это пленницами духовными ум связанный. Воскресение Лазарево — покаяние от грехов».

Вдумаемся в этот отрывок, и мы заметим в нем поворот духовный, диаметрально противоположный направлению, в котором шли «буквенники», люди старого обряда, «Исуса» и «аллилуйи». Факты, в Евангелии переданные, история спасения рода человеческого, там записанная, — как бы бледнеют здесь, затуманиваются перед духовным взором читающих. Искупление, как совершившийся факт, как твердая опора позади нас, из которой мы исходим, на основании которой лично каждый из нас спасается, — не ярко ощущается. Пройдет немного времени, еще поколение сменится, — и станет возможно понимать это искупление как задачу, как работу духа, как

факт *продолжающийся теперь*, снискиваемый *собственными* нашими усилиями.

Что такое Евангелие, как не посох, на который мы опираемся, бродя и ища этого спасения? Это — собрание небесных глаголов, святые строки, под которыми мы должны разгадывать подлинную мысль Саваофа. Главное — объект спасения, я сам, моя грешная душа: об этой *овце погибающей* писано Евангелие. *Внимание отходит от писанной книги Божией*, оно скользит по ней каким-то боковым, рассеянным взглядом, и всею силой падает внутрь другой, не писанной, а созданной *вещной книги Божией* — *самого человека*. Вот — загадка! вот — книга, которая испорчена первородным грехом, в которой истинное сплетено с ложным, святое с лукавым, свет с тьмою; и правильный текст, которой нужно и предстоит восстановить при помощи писанной Божией книги, где нет лукавства! Таким образом, задача послениконианских времен, понятая «староверчеством» как *задача спасения древних книг и обряда*, древнего типа святости, — преобразившись и одухотворившись, выразилась здесь как *задача огромной внутренней работы*. В следующем духоборческом стихе ясно сказался этот *разрыв с преданием*, это *отпадение от буквы*, неопределенность новых наступивших блужданий:

Стечемся, братие,  
Во храм *нерукотворный!*  
Поклонимся *духом*  
Истинному Богу!  
Он един услышит нас,  
*Явит нам спасение,*  
Проявит милость многу  
На свое творение.  
Возопиеш, братие,  
Мы устами духа:  
Услыши нас, Господи,  
Не затвори слуха!  
*Сотворивый разумом*  
*Весь мир, всю природу,*  
*Даруй нам, рабам твоим,*  
*Вечную свободу!*  
*Да внемлем словам Твоим*  
*Разумным слухом,*  
*И летим к Тебе, Боже,*  
*Свободным духом.*  
*Да ищем в премудрости*  
*Мы Твоей познанья;*  
Не лиши рабов Твоих,  
Боже, *упованья.*

В этом стихе мы ясно чувствуем потерянную почву православия, почву церковного строительства, уже имевшего место восемнадцать веков. Прекрасные, благородные усилия, которые, мы ожидаем, оборвутся...

В усилиях, которые человек делает к спасению, он *помогает* действию над собой благодатных сил Божиих. Он должен *возбуждать* в себе эти душевные течения и искать для этого возбуждения *средств*, не пренебрегая даже физическими, если бы они нашлись; и, раз возбужденные, эти течения движутся, как и благодатные, *смешиваясь* с ними, им родственные, к ним *близкие*. Вот точка отправления «*божиих людей*», «*пророчествующих*», генетически связанных с спокойными, созерцательными ветвями духовоборчества, как *молоканство*<sup>1</sup>, которое удержалось на первоначальной неопределенно общей ступени духовоборческого искания. Самая узкая, но и вместе страстно глубокая ветвь духовоборчества, порвав почти всякую связь с христианством и только обнимая имя Иисусово, бросилась в головокружительную бездну нового религиозного созидания. Она потеряла границу между человеческим и Божеским; Бог перестал быть для этих людей «премирным» (термин отцов церкви александрийской школы); Он приблизился, Он обнял дух человеческий, встревоженный, взволнованный; и вот — «*пророчествующие*». Слова Иоила: «И будет в последние дни, глаголет Господь, излию от духа Моего на *всякую* плоть, и *прорекут сынове ваши и дщери*», — они чувствуют, что эти слова сбылись, сбываются. Понятно слишком, что наша завещанная древностью литургия, эта *фактическая* литургия, где все есть *установленное* действие, и каждое действие есть воспоминание *бывшего* факта, — не могла бы ничего выразить у них, перестала быть им нужною; также как перестали быть нужными и что-нибудь выражающими и формы нашей молитвы. Для нас молитва есть *обращение* к премирному Богу — это моление, которое будет услышано или не услышано: мы остаемся при нем пассивными или, по крайней мере, в страдательном положении; для них — это *общение* с Богом, — это слияние сил своих с Божескими, некоторое состояние экстаза, исполненное движения. Отсюда — возникновение, естественное развитие так называемых «*радений*», явления столь невыразимо странного на наш взгляд, у *христовщины* (в просторечии называемой «хлыстовщиною»). «*Радение*» — то же, что «*работа*», труд, движение, в религиозных целях совершаемое; «*работа Израилева*», как называют эти радения сами «хлысты». Общины, или «*братства*», хлыстовские, очевидно, чувствуя странность своего положения среди православия, как бы смещенность свою с его почвы, которую, однако, они продолжают любить и чтить, — называют себя «*кораблями*»: характерное название, выражающее чувство разобщения с морем остальных людей, среди которого они одиноки не столько *в вере*, сколько в *способах* верить, думать, уповать, молиться, в самом *методе* спасения. На так называемых «*корабельных радениях*», т. е. *общих*, куда собирается

<sup>1</sup> В исследованиях, по поручению правительства сделанных, не раз указывается, что «есть какая-то связь между хлыстовщиной и молоканством». Но это связь психологическая, а не фактическая.

все братство, всегда в ночь перед большим праздником, — нашим православным праздником, — они после торжественного пения опять нашего православного канона: *«Богоотец убо Давид пред санным ковчегом скакаше, играя; люди же Божиим святым образом событие зряще, веселимся божественне»* (поется на Св. Пасхе) — уносятся в вихрь головокружительной пляски. Удивительно наблюдать сочетание этих оборванных кусков православия с потоком религиозного конвульсионерства, не имеющего ничего общего ни с одной христианской церковью, — эту память, которая лепится к *своему прошлому историческому*, и, очевидно, не в силах была противостоять новым порывам. В длинных и широких белых рубахах — символ «убеленных одежд», о которых говорится в XIV главе *Апокалипсиса*, — они прыгают, трясутся, кружатся (неизменно «посолонь», как в дониконовской церкви), кружатся то в одиночку, то «всем кораблем», то образуя фигуру круга, то — креста; до изнеможения, до полного упадка сил, после которого «шатаются, как мухи». Без сомнения, как всякое чувство в нас вызывает движение, так и обратно: движения, по крайней мере некоторые, особенные, могут если не зародить, то усилить уже имеющееся чувство, ускорить его темп и, следовательно, напряженность. Кружение, как средство довести до величайшего напряжения религиозно-вакхический экстаз, было, вероятно, постепенно найдено, «открыто» хлыстами, и несколько не было заимствовано ими от малоизвестных древних сект. Таковы были «галлы» и «корибанты», буквально — «головотрясы», в позднюю греко-римскую эпоху; у римлян — коллегия жрецов «салиев», то есть «скакунов»; и еще ранее подобные же религиозные пляски исполнялись в древней Финикии и Сирии. Мы назвали это религиозно-вакхическим экстазом; действительно, род опьянения испытывается ими при этом, как это простодушно выражается крестьянами-хлыстами. *«То-то пивушко-то»*, — *говорят они после радения, и поясняют посторонним, — человек плотскими устами не пьет, а пьян бывает.* Если мы вспомним, что сущность учения «христовщины» есть аскетическое воздержание от мяса, вина и брачных отношений, — мы слишком пойдем необходимость и как бы невольность этих психических опьянений. Связь их собственно с «пророчеством» ясна из того, что всякий, кому указывает наставник или кто сам хочет *«стать на святой круг»*, то есть начать пророчествование перед «кругом»<sup>1</sup> братьев и сестер, — предварительно непременно кружится, очевидно возбуждая себя. Приведем для характеристики их религиозных представлений следующую песню хлыстов-скопцов:

Царство ты, Царство, духовное Царство!  
Во тебе во Царстве — благодать великая:  
Праведные люди в тебе пребывают.

---

<sup>1</sup> То же, что «круг», «рада» у казаков; происхождение слова очевидно южнорусское. Можно высказать предположение, что, как Кондратий Селиванов, изобретя скопческий акт, стал «богом» у некоторой части хлыстов, так Данила Филиппович был обожествлен *всею* сектой хлыстов собственно за *изобретение опьяняющего кружения*, положившего начало их секте.

Они в тебе живут и не унывают,  
На Святого Духа крепко уповают.

.....  
В том ли во Царстве — сады превеликие;  
В тех ли во садах — древа плодovитые.

.....  
Растите ж, вы, деревушки, и не засыхайте,  
Белыми цветочками всего расцветайте;  
Вы цветы цветите до Царства Небесного.  
Будьте вы, деревушки, первые во саде;  
Будьте во главе во Царстве Небесном,  
Будьте вы любимы Отцу и Сыну,  
Отцу и Сыну и Святому Духу!

Круг, в котором вертятся *божии люди*, они называют «*вертоградом*», а составляющих его братьев и сестер — «*вертоградными и садовыми древами*». В песне образно представляют они себя и свое отношение к Небесному Царству.

### III

Духоборчество закончилось в скопчестве, — секте, которая возникла в 60-х годах XVIII века среди хлыстов. Слишком много сошлось течений в нем, которые все подводили к заключающейся в этой секте мысли, чтобы она могла не появиться, позднее или ранее. И прежде всего — *возвеличение человека*: средоточие постоянных восходящих и нисходящих религиозных токов, вечно ожидающий на себя «излияния Св. Духа», предсказанного пророком Иоилем и подтвержденного ап. Иаковом «всякой плоти в последние дни», — он мог не только принять свои экстазы за подлинно боговдохновенные, но и почувствовать, что эта боговдохновенность *течет из него самого*, что *он сам есть источник* Божеского или близкого к Божескому. Отсюда странные, невероятные представления, бродившие уже у божиих людей еще в середине XVIII века. Сходясь, они испытывали силу духа друг друга; не забудем, что это совершалось в среде простого крестьянства; и вот бывало, что среди людного собрания «корабля» раздается удар по лицу: окровавленный «брат» не только удерживается от ответа, но и подставляет «другую ланиту», исполняя точно слова Евангелия.

Чем большее может перенести *божий человек*, — тем более полон он божественных сил. Сшибленный с ног или слыша нестерпимую обиду в слове, он молчит, чтобы назавтра иметь возможность гордо сказать обидчику: «*Мой Бог больше*», то есть «*во мне больше, чем в тебе, Бога*». Иногда это выражалось даже в словах: «*Я — больше Бог*». — «О, и куда же *твой Бог велик!*» — сказала Селиванову, еще безвестному бродяге, одна «пророчица» хлыстовского корабля, которая вступила с ним в роде духовного состязания и была побеждена. Отсюда — необыкновенные знаки внешнего почитания, какие оказывали при встрече друг с другом эти люди. «Брат», встретив где-

нибудь «брата» или «сестру», — если не было никого посторонних, — крестился и клал земной поклон «перед образом и подобием Божиим». Представление о *богоподобности человека* было, таким образом, уже вполне развито в среде *«божских людей»*, откуда вышло скопчество; оно было вполне там привычно: они все были маленькие «божки», и потому не были вовсе поражены, когда, затмевая их, отменяя их «пророков», среди их поднялся «большой бог», сам «Спаситель Иисус Христос»<sup>1</sup>. Далее — идея аскетическая, собственно скопческий акт. Та «вечная свобода», о «даровании» которой просят духоборцы в приведенном выше стихе, не имеет ничего общего с именем свободы, которое употребляем мы. Их «свобода» — это *свобода духа от телесных уз*. Ради ее они «вертятся», и тогда душа воспаряет на крыльях — они «пророчествуют»; но это — экстаз, момент: он прошел, и душа снова в узах тела. Естественно могла и должна быть возникнуть мысль о *длительном средстве* освободится от этой тягостной оболочки, от вечно язвящего, кусающего, *живого* греха, который мы носим в своем теле. И «радение» — тоже физическое средство, уже найденное, могущественное, — оно тоже минутно. Внешнее искажение себя — оно близко, оно ходит около всякого конвульсионерства, если последнее есть средство, *усилие* к экстазу. Наконец, последняя идея — вторично нужного и возможного «искупления». Мы уже сказали, как бледно, слабо духоборцы ощущали всякий *факт* и ярко чувствовали *надежду*. Вследствие этого вся Библия и Евангелие осветились для них как одно великое пророчество, как зов или как прообраз внутренних духовных отношений в человеке: *не было* беседы Иисуса с Самарянкою «в деле», *не было* вшествия Иисуса в Иерусалим, воскресения Лазаря, а были только — «*притчи*». Итак, весь акт искупления, уже совершившийся, который они не смели отвергать, поблек для них в себе самом, и от этого именно осыпался в своих подробностях. Имя Иисуса было постоянно на их устах; все собрания хлыстов открывались и до сих пор открываются этою песнью:

*Дай нам, Господи, к нам  
Иисуса Христа!*

От имени постоянно призываемого Христа и, до известной степени, от этой песни, которой они придают необыкновенный мистический смысл<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> В «Страдах» Селиванова (род автобиографии) можно видеть, до чего скопческая мысль стала *тотчас понятна* хлыстам и вместе испугала их, до чего почувствовали они *беззащитность* свою против этого вывода из собственных психологических посылок. Они хотели его убить, его — искалеченного «молчанку»; донесли на него властям; и в то же время провозгласили его «богом над богами, пророком над пророками».

<sup>2</sup> Хлысты, равно как и скопцы, уверены, что эта песня (довольно бессвязный набор слов) есть *та самая* неповторимая ни для кого песня, которую, по *Апокалипсису*, поют старцы перед престолом Божиим; они уверяют, что кроме самих хлыстов (и скопцов) этой песни пропеть, *как нужно*, никто не может, — и даже не может всякий, уже вышедший из их секты.

они получили самое имя «христовщины». Но это — именно Иисус, о котором они говорят к Богу: «Дай!» «Дай!» — неисследимо *перенесшийся* из прошлого в будущее, из факта — в ожидание: и это напряженное ожидание разрешилось.

#### IV

Брак есть не только таинство, но величайшее из таинств. Рождаясь, умирая и, наконец, вступая в брачную, то есть глубочайшую связь с человеком и человечеством, каждый из нас подходит к краю индивидуального бытия своего, он стоит на берегу неисследимых оснований личного своего существования, понять которых никогда не может; и только инстинктивно, содрогаясь и благоговей, ищет освятить их в религии. Вот почему не свята и не истинна всякая церковь, которая не понимает этого акта именно как религиозного таинства; и, наоборот, религия, церковь, секта настолько открывают свою содержательность, насколько глубоко и проникновенно смотрят на этот акт. Скопчество поэтому есть отрицание всего священного; это есть *другой полюс* не только христианства, но и *всех религий*. Нельзя достаточно отвергнуть, достаточно выразить отрицательных чувств к нему: все человечество, вся тварь Божия должны бы восстать на него и выбросить, как величайшее свое отрицание, как некоторое nefas, одна мысль о котором приводит в содрогание. Оно должно быть сброшено именно как мысль, как представление, как возможность, и не только с человека, но и со всякого животного. Скопить — это *ругаться над природой*; и человек, как господин ее и покровитель, должен бы не только не допускать его в себя, в свой род, но и не допускать его *ни до чего живого*. Если вносимы были некогда войны в целях уничтожения невольничества, по простому чувству отвращения к нему, то насколько более оснований внести оружие для освобождения стран от этого беззакония (восточные евнухи), перед которым рабство есть сама святость и человеколюбие.

Тем ужаснее, что между 60-ми годами XVIII века и 1832 г. оно разыгралось у нас. Мы уже сказали, что оно представляет собою апогей духоворчества, что все течения в «христовщине» сошлись к тому, чтобы произвести его. Приведем несколько мест из «Послания» основателя секты, из которых ясно станет, что собственноскопческий акт только заканчивает *общие* духоворческие настроения. Заметим, что «*лепостью*» он называет плотское вожделение, ясно разумея здесь не один физиологический процесс, но всякое *влечение к красоте*, все «прилепляющее» к себе человека; самое же оскпление он называет «*чистотою*».

... «Берите все истинного отца вашего крепость, чтобы ни малейшая не ододела вас слабость греха. Многие от пагубного вожделения *Учители — учительства, и Пророки — пророчества, Угодники и Подвижники — своих подвигов, лишились, не доходя до Царства Небесного*. Все они лишились вечного блаженства, которое истинный ваш Бог Искупитель *обецал любящим Его и соблю-*



дающим чистоту и девство. Ибо единые девственники предстоят у Престола Господня<sup>1</sup>, а чистые сердцем зрят на Бога Отца лицом к лицу<sup>2</sup>... Чистота же есть от всяких слабостей удаление, как-то: в начале — от женской лепости, а потом — от клеветы и зависти, от чести и тщеславия, от гордости и самолюбия, от лжи и празднословия; словом, что б от всех пороков и слабостей сердца ваши были чисты и совесть ни в чем не была бы замарана. Имейте всегда перед собой целомудрие; и оное состоит также не в одном слове, но заключается в нем многое, а именно: дабы и ум ваш был от всего освобожден и на все непоколебим, во всяком случае был бы цел и здоров, — и ниже сердце свое занимать какую-либо видимую суетой; или умом и сердцем прилепляться к тленному богатству, а равно и к лепости... Преклоните головы и обратите сердечные ваши очи внутрь себя, и разумеите: *какая польза именоваться христианином, а жить крайне не христиански, отвернуться от мира и потом наки миру подражать, и в таковых же слабостях и неразумении пребывать?* О, страшно о таковых изрещи, и утробушка моя болит от всех грешных, что через нерадение и слабость лишаются вечного блага и вечного царствия... Предохраняю вас от всех слабостей и лепости: от нее и в прежние времена многие тысячи праведных душ погибли, и великих Угодников и Столпников женская лепость свела в муку вечную. Еще прежде говорил вам и ныне напоминаю: не судите друг друга, а един судья у вас — Отец Искупитель; вы же между собой имейте любовь, совет и согласие; плевел и клеветы друг на друга не чините, а каждого покрывайте своюю добродетелью. Ибо любовь многие пороки покрывает и на оной основана церковь Христова, а без любви пост и молитва и прочие подвиги ничто же есть. А посему призирайте сирот и питайте видимым хлебом; а паче призрите самого Господа внутренним болением, слезами и воздержанием»...

Так писал эту в своем роде *Крейцерову сонату* также апостол чистоты и любви; он считал себя реформатором, но только не общеморальным, а религиозным. Он ясно понимал, что нечто *завершает*, что достиг того, что ранее его не было никем достигнуто; «благодать (т. е. учение) у них чистая, да плоти коварные», — говорит он о всех прежних, до него бывших, учителях; и еще, в другом месте, определеннее: «У старых учителей и пророков *благодать была по пояс, а я принес полную*». Так этот тульский мужик, села Столбова, Писание читавший, но писать не умевавший<sup>3</sup>, понимал себя. В конце

---

<sup>1</sup> Намек на начало 14-й главы *Апокалипсиса*, вообще образующей, — конечно, при ложном понимании, — закваску скопчества; мы приведем здесь эти важные слова: «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним 144 тысячи, у которых имя Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих: они поют как бы новую песнь пред Престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. *Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники суть*; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены от людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства; они непорочны пред Престолом Божиим».

<sup>2</sup> Намек на заповедь блаженства в Нагорной проповеди Спасителя: «блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят».

<sup>3</sup> «Послания», равно как и «Страды» (род автобиографии), записаны учениками Селиванова с его слов, по безграмотности, но буквально.

«Послания» своего во многих отношениях поразительного, он объективирует себя и чрезвычайно ясно характеризует свою историческую роль, как сам ее понимал:

«По сырой земле странствуя, ходил и чистоту (*оскопление*) всем явил. На колокольню выходил и одною рукой во все колокола звонил, а другою избранных своих детушек манил и им говорил: «Подите, мои верные, избранные, со всех четырех сторонушек: идите на звон и на жалостный глас мой; выходите из темного леса, от лютых зверей и от ядовитых змей; бегите от своих отцов и матерей, от жен и от детей! *Возьмите только одне души, плачущие в теле вашем!* А почто ты, человек, нейдешь на глас Сына Божия и не плачешься о грехах своих, Который толико лет зовет тебя от утробы матери твоей телесной? И почто не ищешь душе своей Матери Небесной, которая воспитала бы душу твою благодатью и довела бы до Жениха Небесного? Он возводит с земли на Небо, где ликуют души верные и праведные, Преподобные и Мученики, Пророки и Пророчицы, Апостолы и Учители, наслаждаясь вечною радостью и зрением Его красоты». На сей мой жалостный глас и колокольный звон некоторые *стали от вечного сна пробуждаться, и головы из гробов поднимать, и из дна моря на верх всплывать, и из лесу ко мне выходить*».

## V

Он понял себя «Искупителем»; он понял, что «глава Змия» вовсе еще не стерта «семенем Жены», как обещано было павшему человеку от Бога; что и теперь, как всегда, жало греха язвит человека «в пяту», и бессильно он «поражает его в голову». *Благодать учения есть, а благодати факта нет. Он принес самый факт:* он совершил вторую и труднейшую половину искупления, и также запечатлел это своею кровью. Слова Спасителя, иносказательно понимаемые Церковью, ему представилось — поняты так по отсутствию мужественной правды: «Суть скопцы, иже из чрева матерня родишася тако; суть скопцы, иже скопишася от человек; и суть скопцы, *иже исказиша сами себе Царствия ради Небесного*» (Матф. XIX, 12). Но можно отгадывать, что если эти слова послужили для него опорой, если на них он утвердился, то поманили его не они. В секте «пророчествующих» заветы и требования как Библии, так и Евангелия, вовсе не исполнялись твердо; и поэтому основателем скопческой ереси не было принято во внимание прямое повеление Моисея: «Да не входит каженник и скопец в сонм Господень» (*Втор. XXIII, 1*). Все манящее, все значущее заключалось для «божьих людей» в пророчествах; и вот, без сомнения, чудный заключительный образ *Апокалипсиса*, где, после Суда над миром, показываются 144 тысячи праведников, «*искупленных от греха, первенцев Богу и Агнцу*», и поясняется о них, что это — «те, которые с женами не осквернились, но сохранили чистоту девства», —

---

<sup>1</sup> Постоянный призыв, вечный идеал *духоборчества*, «духовных христиан», хлыстов и скопцов, во исполнение зова Спасителя: «*Оставьте отца и мать, и следуйте за Мною*».

этот зовущий образ пал язвительно и рано в душу основателя новой секты. Слова этого видения постоянно путаются в речи его, главным образом в большом «Послании», где он изложил свое учение; и, вне сомнения, истинное основание, *мотив* скопчества — в нем. Селиванов в точности был девственником, не физически, но *по самой структуре души*; из всех идеалов христианства — любви, милосердия, незлобивости — идеал *чистоты телесной и не оскверненности воображения* всего глубже поразил его. «Когда меня везли в Иркутск, было у меня товару (*т. е. благодатного дара, особенной его «чистоты»*) за одной печатью; из Иркутска пришел в Россию — вынес товару за тремя печатями». Он трижды произвел над собой страшную операцию, всякий раз чувствуя, что еще след мысли и вожеления остается в нем. Что-то страстное, почти *личное* что-то, есть в его гневе против *этой* формы греха. Он хочет «грех весь изодрать». «Раззорю на земле всю *лепость*», — восклицает он в другом месте «Страд». По-видимому, мысль свою он считал неотразимо обоснованною, он не сомневался в присутствии своего идеала у всех людей (он присущ *всем* ветвям духоборчества), но видел, что всем им недостает универсального средства, которое вот, наконец, он «открыл». На это, *т. е.* на сознание могущества своей мысли, есть намеки в автобиографических «Страдах»: он передает, не без радости чаяния, как, после первого ареста, солдаты, примкнув его штыками, говорили: «Его убить бы надо, да указу нет; не подходите близко — это великий прелестник: он и Царя обольстит, недоволю что нас». «Называли меня *волхвою*, как и Христа иудеи», — добавляет он. Ему, тульскому темному мужику, собственная мысль — без сомнения, плод многолетних размышлений и чтения с «отметинами» всего Писания — представлялась волшебной непобедимой, как некоторая новая математическая формула. Привезенный из Иркутска в Петербург по повелению императора Павла, он, как только был представлен ему, открыл всю свою мысль и предложил принять «свое дело» (*т. е.* оскопиться), за что немедленно был посажен в сумасшедший дом. Но «прелесть» открытия его уже поползла по земле; «искупленные от земли» апокалипсические человеки, которых было много и в Петербурге, употребили все усилия и добились для своего «Бога», для «Батюшки-искупителя» — свободы. То, что мы читаем по документам, хранящимся в архиве Петербургской градской полиции, в «делах» от 1801 по 1820 год, превосходит всякое вероятие. В эпоху конгрессов, Сперанского и потом Аракчеева, когда не смела шевельнуться «не так», «не по закону», ни одна былинка, — в Петербурге на глазах высшего Правительства образуется общество, и деятельно распространяет учение о «Сыне Божием», «Иисусе Христе», «вторично сошедшем на землю Искупителе», который есть вот этот седенький столетний старичок, с ласковым лицом и «необыкновенно нежным взглядом», перед коим поются гимны, молитвы, — поются тысячными собраниями в доме Солодовникова. Высшие сановники, Кочубей, Голицын, Толстой, Милорадович ведут секретную переписку об «этом Старике», который *нигде в документах не назван по имени*, — по какому-то безотчетному и основательному страху; посылается к нему,

«для некоторого переговора», директор департамента Министерства народного просвещения, сам позднее принявший учение секты; еще посылаются чиновники для осмотра дома, где он жил; и едва, через 20 лет, с величайшими предосторожностями, в виду все возрастающей численности общества, его виновник высылается в Спасо-Евфимиевский суздальский монастырь, с секретным наставлением от митрополита Петербургского Михаила настоятелю монастыря — «обходиться бережно и внимательно с сим начальником секты, именуящим себя и от единомышленников своих называемом Искупителем и Спасителем» (препровождено к архимандриту Досифею при отошении министра вн. д. гр. Кочубея от 7 июля 1820 г. за № 140).

Одна из величайших фантазмагорий нашей истории, может быть, — даже истории всемирной. Мы попытались дать ее психологию. Тут не было обмана<sup>1</sup>; был чудовищный самообман всего духоборчества. Несколько слов мы скажем и считаем *нужным* сказать о логике этой иллюзии<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ни в «Страдах», ни в «Послании» Селиванова нет даже намеков о его царственном происхождении, и, очевидно, *эта легенда возникла вокруг него, но шла не от него*. Она и обнаружилась впервые в Херсонской губернии, когда Селиванов уже жил в Петербурге.

<sup>2</sup> При чтении «Исследования о скопческой ереси» Надеждина, а потом и самых документов, главное «Страд» и «Послания» Селиванова впечатление получается настолько сильное, что некоторое время вам кажется, что вы читаете историю какого-то нравственного «светопреставления», что-то апокалипсическое, чудовищное, неписуемое вовсе в «гражданскую» и «политическую» историю человечества выбрасывающееся из рамок всего этого. Нет сомнения, бездна мощи и логики, но, главное — бездна *заблудившейся* совести, положены в основание секты. Чтобы судить о силе брожения, из коего вышла секта, достаточно упомянуть о «друге-наперснике» Селиванова, Ал. Ив. Шилове, который «произошел все веры» и был перекрещенец, и во всех был учителем, а сам говорил всем: «Не истинна наша вера и постоять не-за-что. О, если бы нашел я истинную веру Христову, то бы не пощадил своей плоти! Рад бы головушку свою сложить и отдать бы плоть свою на мелкие части раздробить!» В «математическом секрете» спасения, какой «открыл» Селиванов, Шилов наконец нашел то, «за что бы раздробить плоть свою». Характерно его восклицание, когда его озарила новая благая весть: «*Вот, кого надо и кого я ждал сорок лет — тот и идет Ты-то (то есть Селиванов) — наш истинный свет, и просветил всю тьму, осветил всю вселенную, и тобою все грешные души просветятся, и от греховных узлов развяжутся; и тебе я с крестом поклонюсь! Кто как хочет, а я тебя почитаю за Сына Божьего*». Все мысли об обмане Селиванова должны быть безусловно оставлены. За исключением того, что он был еретик-невежда, — он был безусловно праведный; то есть, *если бы не заблудился*, он был бы святой человек. И то, что безграмотный мужицкий мальчишок, с изумительным и *истинным* идеалом в душе, не был взят своевременно в семинарию и потом в Академию — это несчастье породило самую чудовищную на земле секту и вместе лишило православие не только великого подвижника святости, но, может быть, и могущественнейшего из *словесных* учителей. Ибо его «Послание», за исключением одного пункта помешательства, его чудовищного «изобретения», есть в точности *послание святого человека*, есть религиозный феномен *необыкновенной силы!*

Темная деревня, Селиванов поднялся на грех как на медведя с рогатиной, со всею ее *силой*, но и со всею *неосмотрительностью*. Он забыл о грехе *воспоминания*, о грехе *представлений* — этом истинном грехе, против которого не дал средств, обрезав только *исполнение*. И далее — допустим это соображение неправильным, допустим, что «чистота» его освобождает и дух: какая польза победить *мертвый грех*? Где *заслуга* перед Богом? Нужно восходить, усиливаться, побеждать *живой* грех, вот *этот*, который кусает, жжет, манит, а не тот, который *был* и его нет более. Его «искупление» есть какое-то *деревянное* искупление, мертвое, *безблагодатное*. Бог не напрасно, *дав благодать* научения, *оставил в теле ниспадение долу*: «усиливайся, восходи, снискивай Царство Небесное!» Это — тернистый путь, это — узкая дверь, на которую Он указал человеку. Но оскопленные — каким путем они идут? где эта суженность *существующих* у них желаний? где тернии отречения? Их *ничто не соблазняет*, — и они также мало имеют чистоты отречения, как я отрекаясь от богатств сиамского короля, которые *мне не принадлежат*. Они поклоняются, с крестным знаменем, «образу Божию» друг в друге: но зачем они *исказили* Его? Их преступление против Бога страшнее, чем против человечества: ибо Бог *дал*, и Он же может Единый отнять даже само-малейшую черту из своего «подобия». Своим произволением они *сняли искус с себя*; они выкинули *испытание пожизненное*, — для чего живут они?

Но, ясно видя логику фантома, мы должны проникать в его *особую* психику. Совершенно ложно все, что пишет Надеждин («Исследование о скопческой ереси», печатано в 1845 г. по распоряжению министра вн. д., перепечатано в лондонском издании у Кельсиева, т. III) и, что обычно предполагается о «скорбном чувстве членов этой секты», о «мучительных сожалениях», о духе пропаганды<sup>1</sup>, «вытекающем из чувства их преступности»; грубо ошибочны также все аналогии их с *подневольными* евнухами Востока. Они принимают оскотление своею волей. После торжественного пения «всем собором» тропаря пятидесятницы, *нашего* тропаря: «Благословен еси Христе Боже наш, иже премудрые ловцы являй, и тем уловяй вселенную», — поступающий вновь «брат» произносит, держа в руках икону старого письма, следующие слова: «Пришел я к Тебе, Господи, *на истинный путь спасения* — не по неволе, но по своему желанию, и обещаюсь про *дело сие святое* никому не сказывать, ни царю, ни князю, ни отцу, ни матери, и готов принять гонение и мучение, только *не поведать врагам тайны*». Многочисленные, чисто *народные*, следовательно, без всякой придуманности, скопческие стихи — все в грубо *мажорном* тоне: восторг, победа — *легкая* победа,

<sup>1</sup> Пропаганда имеет достаточное объяснение в числе 144 тысяч «искупленных от земли», по Апокалипсису, восполнить которое усиливаются скопцы, и тогда ожидают обещанного конца мира. Поэтому, по их верованию, оскопивший 12 человек, как ков бы ни был в других грехах, уже заслужил Царство Небесное. См. у Кельсиева.

скажем мы, — слышится во всех их! Они теперь, после забытых мучений минутной операции, —

Чистые, непорочные,  
Грехом тяжким недоточные (*недоступные*), —

вознесенные над нашим уязвляемым миром, над грехом и проклятием; в своем роде — *по-ту-сторонние* люди. «Твой конь был и смирен» (т. е. плоть очищена и укрощена), — не без зависти сказала Селиванову, в темную пору его скитаний, хлыстовская «пророчица», первая объявившая его, в опьянении удивления, «богом над богами, царем над царями, пророком над пророками» (*Кельсиев*, т. III, приложения). Так все они чувствуют. Струя восторга слышится во всех их писаниях: «Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!» — так начинаются все «Послания», «Страды», даже частные их письма. Любимые песнопения — Пасхальные; ничего — заунывного; полное господство идеи победы над грехом. Страшен только порог переступания в эту *потустороннюю* жизнь, только акт решения. Вполне трогательны и проникновенны слова «прощающегося» с «миром» «новика» перед тем, как переступить этот порог: «Прости небо, прости земля, прости солнце, прости луна, простите озера, реки и горы, простите *все стихии земные*» (*Кельсиев*, III, 139). Он знает, что еще таким же, *прежним* взглядом, он уже не взглянет на эти стихии; что переменится *он* и переменятся для него *оне*. Но вот акт совершен: *тот* мир — остался позади, и в *новом* мире, на «радении», раздаются такие истинно вакханические песни:

Уж как царь Давид по садику (*то есть братству их*)  
гулял,  
Я люблю, я люблю!  
Он по садику гулял, во свои гусли играл,  
Я люблю, я люблю!  
Звонко в гусли играл, царски песни распевал,  
Я люблю, я люблю!  
Полно други спать, есть время восставать,  
Я люблю, я люблю!  
Еще есть время восстать, ключевой воды достать,  
Я люблю, я люблю!  
Я еще люблю Саваофа в Небеси,  
Я люблю, я люблю!  
Я за то Его люблю: — небо, землю сотворил,  
Я люблю, я люблю!  
Небо, землю сотворил, солнце, месяц утвердил,  
Я люблю, я люблю!  
Солнце, месяц утвердил, небо, звездами украсил,  
Я люблю, я люблю!  
Небо звездами украсил, своим гласом прогласил,  
Я люблю, я люблю!

(*Кельсиев*, т. III, прилож., с. 74)

Или еще следующая, несомненно, поющая в момент самого верчения, судя по ее смыслу и *тону*:

Ай, кто пиво варил,  
Ай, кто затирал?  
Варил пивушко Сам Бог,  
Затирал Святой Дух.  
Сама Матушка сливала,  
Вкупе с Богом пребывала;  
Святые Ангелы носили,  
Херувимы разносили;  
Херувимы разносили,  
Серафимы подносили.  
— Скажи ж, Батюшка родной,  
Скажи, Гость дорогой!  
Отчего пиво не пьяно?  
Али я гостям не рада?  
Рада, Батюшка родной,  
Рада, гость дорогой,  
На святом кругу гулять,  
В золоту трубу трубить;  
В золоту трубу трубить,  
В живогласну возносить!  
Богу слава и держава  
Во веки, аминь.

(Там же)

## VII

«За всем тем, при внезапном посещении домов, которые вовсе не считаются раскольничьими, замечены были очевидные признаки раскола, как-то: *листовки* с треугольниками, то есть особого рода четки; *подручники*, род подушечек, подкладываемых при земных поклонах под руки; *кадильницы*, медные и глиняные, употребляемые при домашнем молитвословии; прибитые над воротами и расставленные в избах на полках *кресты осьмиконечные*, от 3 вершков до 1/2 аршина и более длиной, почти все без титла *і. н. џ. і.*, с заменяющею ее подписью *іѣ хѣ снх Бѣжн*, с нерукотворным вверху образом Спасителя вместо изображения *і* оспода Саваофа, с солнцем и луной на краях большого поперечника; старинные *иконы*; разные *апокалипсические изображения*, в том числе поражение Антихриста на коне, в воинской одежде и каске; надписи над дверьми с изречениями св. Отцов; непрерывное повторение хозяевами при входе чиновника молитвы: *Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас*, — частое повторение которой раскольники считают достаточным для спасения и защиты себя от нечистой силы; чтение молитв по скитскому уставу, с лестовкой в руке; и прочее т. п.» (Кельсиев, IV, 3—4).

Так писал в докладной *Записке* своей министру внутренних дел, в 1852 г. некоторый «ст. сов. Синицын». И вот нам почему-то думается, что, сопоставив ту буйную религиозно-вакхическую песнь с отрывком из этой официальной записки, — мы поймем многое. Там оскопление телесное ради духа, здесь — скопчество духа ради покоя телесного; забыв уже Церковь, — там уносятся в буйное кружение; здесь, не рожденные в Церковь, — прикидывая аршин, «вымеряют» кресты, и «официально» записывают изображения на его «поперечнике». Два полюса, две несоизмеримые величины, две не ощущающие друг друга категории — вот наш *раскол* и *мы*, ему противостоящие.

Еще две-три выписки из официальных документов, и все станет в этом расколе до чрезвычайности ясно:

«С полученною от настоятеля запиской, беглый переkreщенец, где бы ни проходил по беспоповщинским селениям, *всюду снабжается приютом и продовольствием*» (*Киселев*, II, с. 113; из «Краткого обозрения расколов, ересей и сект» *Липранди*).

Итак, вот — христианское братство, взаимопомощь; а у нас — homo homini lupus est<sup>1</sup>. Взглянем на *быт*, как продукт этого нравственного строя:

«Природные буковинские староверы (*липованы*) вообще отличаются трудолюбием, трезвостью и тихими, миролюбивыми нравами. Их почти не слышно в крае, хотя они всюду попадают на глаза, резко отличаясь от туземцев своею русскою физиономией и русским парядом. Мне довелось видеть огромное сборище их в Сучаве, по случаю праздника Иоанна Сучавского, совершаемого 24 июня. Тут было их до нескольких сот обоего пола, и между тем я не заметил между ними ни пьянства, ни буйства, не слышал даже шумных, разгульных песней, обыкновенно сопровождающих праздничные собрания русского простонародья. Туземные хозяева чрезвычайно дорожат ими как работниками; а правительство не может нахвалиться их смирным, спокойным поведением. Со времени утверждения владычества австрийского не было примера уголовных преступлений и даже видимых полицейских беспорядков, в которых бы замешаны были липованы» (*Кельсиев*, I, с. 94; *Записка Надеждина: «О заграничных раскольниках»*).

Раскол есть восхождение к идеалу, усилие к *лучшему* в том самом *типе бытия и развития*, в котором находимся мы на очень низкой ступени:

«Не в щепоти состоит дело, — учат последователи Ефимия, основателя секты бегунов, — печать Антихриста, сияющая на слугах антихристовых, не значит щепот или крыж, но — *жизние*, согласное с мыслью Антихриста, но — *подчинение* ему как Христу, но *исполнение во имя Христа* — законов в *духе* Антихриста; презрение к вере при всем наружном к ней уважении, по-

<sup>1</sup> человек человеку — волк (*лат.*).



рабошение Церкви, измена древним обычаям» (Кельсиев, VI, с. 327; записка гр. Стенбока: «Краткий взгляд на причины быстрого распространения раскола»).

И, как общее этого следствия, — вот взгляд на раскол православной национальной среды:

«Распространено и утверждено в простом народе повсеместно сильное предубеждение, что раскольничья вера — святая, настоящая христианская, что в одной только этой вере и можно спастись; и что вера Православная, или, по народному названию, «вера по церкви», есть вера мирская, в которой невозможно спастись среди трудов и сует житейских. При входе в крестьянские избы, я часто был встречаем словами: «Мы не христиане». На вопрос: «Что же вы, нехристи?» — отвечали: «Как же, мы во Христа веруем, но мы — по Церкви, люди мирские, суетные». — «Так отчего же вы не христиане, если веруете во Христа?» — «Христиане те, — что по старой вере; они молятся не по нашему; а нам некогда» (Кельсиев, IV, с. 45—46; из «Записки ст. сов. Синицына»<sup>1</sup>).

Итак, вот подающаяся перед расколом среда. Она подается с сознанием, что она — не идеал; уступает как низшая ступень *того же развития* перед высшей; склоняет перед расколом голову, как обычный церковный приход перед строго уставным монастырем.

\* \* \*

Есть затруднения исторические, неразрешимые ни для каких усилий искусства и ума, но разрешающиеся простым *честным* взглядом на дело. Таковы были в начале XVI века затруднения с зарождающейся реформацией; в конце XVIII века — с готовящейся революцией; вообще, все явления совести или где *завита* совесть.

Акт *уверования*, субъективный акт — доступен только субъективному же внутреннему акту, и, так сказать, не реагирует, не соотносится по несоизмеримости ни с каким внешним актом, наружным воздействием, на которое *не умеет* отвечать иначе, как отрицательно, замыкаясь в себе, противодействуя, внутренне обособляясь, усиливаясь. Вот, пока, история наших отношений к расколу, история наших воздействий на раскол. Они все вытекли из

---

<sup>1</sup> В общем, при недостатках *внешнего отношения* к религии, официальные записки, перепечатанные в Лондоне Кельсиевым, составили бы, если бы были опубликованы во всеобщее сведение, великую честь для Министерства внутренних дел. Никогда нельзя было предполагать, чтобы наш чиновный мир был так деловит, серьезен и даже граждански мужествен; факты, им собранные, — громадны; он действительно *изучил* дело и не скрыл от себя его трудности и даже неразрешимости; вовсе не скрывает даже продажности всех почти агентов своих. Все, в чем мы готовы бы обвинить его, — он знает лучше нас и также болеет об этом, раздражается на это. Но *творчества* — нет; великого *порыва* духа — не ищите. Все *знает*, но ничего *не может* (сделать).

внешнего понимания его, как какого-то чужого заблуждения, как заблуждения не только бесспорного, ненужного, основанного на упрямстве, но и как заблуждения *чужих людей*, некоторых политических и религиозных «гоев», «варваров», «еретиков».

Нужно подойти к нему внутренне, субъективно, — это я назвал честным отношением к делу. Нужно понять в нем честное уверование, к которому иначе, как с честною же верой, и подойти нельзя. Нужно признать его не внешним для себя фактом, который предстоит победить, а *своим* собственным состоянием, состоянием *своей* Церкви, *своего* быта, *своего* государства, которые выбросили из себя такие две ветви, как староверчество — с одной стороны, духоборство — с другой. Не излечить *их* нужно (меры правительства); тем менее — отсечь (требование раскола о религиозной свободе на правах *иноверцев*); но — исцелить в собственном организме своем. И тогда эти ветви вберутся назад сами; их силы возвратятся в материнское лоно.

Мы указали раньше, что знаменует собою староверие: необходимость нам самим податься в сторону древнего *типикона*<sup>1</sup>, праведного жития, в сторону *уставности, предания*; — благоговейнее понять букву. Пересмотр клятв собора 1667 г., которые собором же не сняты и потому лежат и на нашем единоверии, открывшем сверх сего еще какую-то странную *дву-церковность* вопреки Символу веры, повелевающему веровать в «*Единую соборную и Апостольскую Церковь*» — этот соборный пересмотр и вероятное снятие клятв, вне всякого сомнения, воссоединит с нами девять миллионов (в 1853 г.) поповщины и беспоповщины.

Теперь относительно духоборчества как явления более психического, нежели только церковного. И здесь есть исцеление. Духоборчество есть симптом, показывающий и отрицающий великую *пассивность* всех наших духовных состояний, — пассивность, достигшую высокой степени уже к концу московского периода нашей истории, но с тех пор все увеличивающуюся. Не выносит этого душа человеческая. Мы начали очерк развития этой ветви раскола с противоположения *видимостей* нашего исторического и государственного бытия потаенным его явлением и закончили извлечением из официальной бумаги, где некоторый внешний человек внешним взглядом рассматривает, считает, меряет «признаки» внутреннего акта веры, как бы не замечая и не понимая этого акта, во всяком случае, отвергая его. Невыносимо это для души человеческой, и тогда она начинает «вертеться» — «посолонь» или даже «против солнца»; невыносимо, говорим мы: потому что

---

<sup>1</sup> От коего, без всякой нужды, мы все далее и далее отступаем. Например, такие явления непонимания, как освещение Православных храмов *мертвым* электрическим светом, конечно могут только усилить раскол. Свеча, которую я ставлю перед образом и молюсь о *моем* грехе, — храм, который освещается *ярче* или *тусклее* в меру усердия к нему прихожан, т. е. как бы светится их *любовью* к Богу, — разве это *возмещается* электричеством? Но оно им *вымещается, вытесняется*.

природа души человеческой есть *жизнь, акция, инициатива*, — потому что душа есть Божия тайна, и именно тайна *творческая*. Между тем у нас все творчество, всякая инициатива, акция отнята формами, — увы, оскопившимся духа формами! Что оставлено бедному русскому человеку, что оставалось ему эти последние два века?.. «Шесть дней потрудись и на седьмой сходи к обедне; вечером напьешься чаю». Этого мало, поистине — этого мало! Мы — композиторы, художники, писатели, нас 1500—2000 человек, — не должны забывать о миллионах... Мы можем фантазировать, буйствовать, «вертеться» с пером или кистью в руке, — но остальные? Им также нужно в чем-нибудь, как-нибудь «вывертеть» свой дух. Мы говорим с иронией, мы употребляем смешные слова, но не избегаем этого, чтобы быть неотразимо понятными в серьезной мысли: дайте *сотворить* человеку, — иначе он умрет или «завертится». Но чтобы он не «вертелся», чтобы он не *уродствовал*, — откройте ему для творчества *благородные формы*. Мы знаем, государство руководится исключительно утилитарными понятиями... И оно не замечает необходимости великих этических и эстетических идей; однако же, если без этих этических и эстетических идей в целом жизнь умирает или уродуется, то *не есть ли они вместе с тем и утилитарные идеи?* Итак, господствующая идея *удобства* в труде — это господствующее и даже единственное понятие артели плотников, кладущих «аккуратно» исторический сруб, — должна податься перед идеей художественною и нравственною. Мы говорим о художественной и нравственной идее в приложении к государству, быту, вере. Боже, кто же усомнится, что «ст. сов. Сеницын», «вымеряющий», в силу инструкции за № 262, в раскольниковой моленной кресты, не есть в государственной храмине продукт художественной идеи? Мы взяли подробность, и из миллиардов таких подробностей состоит наша жизнь, наша история. Итак, если к истории применимы биологические термины, то мы скажем, что в самое существо той «красной глины», той физической массы, которую образует тело народное, у нас не был вдунут дух никаким истинным художником; что, так сказать, новая Россия зачата и рождена без всякого истинно-творческого, художественного или этического порыва.

Мы заговорили о такой глубокой и общей стороне нашей истории, потому что лишь в *ее свете* становятся понятны и «мелочи». Нельзя не заметить, что, из всего Петром Великим созданного, живуча и прекрасна, деятельна и народна вышла собственно только *армия*: в нее им вдохнутый дух не умер в двух веках. На *главный* мотив реформы России — мотив *самосохранения* — эта реформа и ответила твердым, умелым «да». Все остальное в его реформе уже не творилось с тем же сознанием нужды, с тою же живостью, надеждами, страхом, с *поззией* личных усилий и ожиданий народных, — не ковалось в трудах и несчастьях Великой северной войны. И все остальное — большею частью плод подражательности — вяло, не имеет цены, не имеет завитого в себе *живого акта*. Петр не настаивал уже на остальном; осталь-

ное — не главное в его деле; и оно подвергалось, тотчас по его смерти, бесчисленным переделкам, в которых народ не принимал никакого участия. История едва знает имена «переделывателей»; однако одно имя даже и в народе, кажется, не безызвестно. Остановимся на нем: это — Сперанский. Вот инициатор, или, скорее, довершитель, а также и образец для бесчисленных позднейших «творцов», которые все равно трудились над организацией внешних форм нашего бытия, тех *видимостей*, которые невольно вырисовываются в уме, когда задумываешься над духоборчеством. Не он один, но он во главе мириад аналогичных лиц, почти вовсе не известных или полуизвестных и которые по самому существу своему никогда не могли стать *славными, любимыми, народными*, которые никогда не были людьми воинственного поля, народной площади, но только всегда мужами «чернильницы» и «отношения», — он и все эти люди как бы произвели некоторый скопческий акт над Россией. С тех пор или, точнее, под влиянием нового *их* метода, жизнь скрылась из России. Где она? Как именно Россия существует? Что ей грозит? Чему она радуется? Мы узнаем это все только из бюллетеней. И о религиозном, например, бытии России не только мы ничего не знаем из фактов, в которых бы *соучаствовали*, но и самые документы об этом бытии можно выписать только из Лондона. Формы замкнулись от России, затаились в своей деятельности от ее глаза; они ей не доверяют, ее не любят, — и они иссякли в дуге. Россия изуродовалась, «завертелась», *не имея достойных форм для своего духа*.

Мы снова возвращаемся к духоборчеству, от которого, по-видимому, так далеко отошли. То «опьянение», то «духовное пиво», которое «человек плотскими устами не пьет, а пьян живет» (см. выше), — это и есть *иррациональная этическая и эстетическая идея*. Нужно *некоторое сладкое опьянение человеку*. Ной был праотец, но раз и он был пьян, и четыре тысячелетия людских поколений не видят в этом греха. Только Хам осудил его, но он был Хам. Благословенно духовное «пиво»; благословен труд, забота, бережливость, — но более благословен тот неясный безотчетный восторг, ради которого человек говорит: «Живу и *хочу* еще жить». Здесь именно, в эстетической и этической идее — семена жизни; и как всю жизнь мы считаем Божией, то идеи, указанные нами, как наиболее жизнетворящие, мы вправе назвать *любимыми Божьими идеями*. Тут — *sacrum sanctum*<sup>1</sup> истории. То, чего касаться человеку не следует. И только — беречь, лелеять; прислушиваться к сердцу своему, есть ли в нем эти идеи. И пока есть они — обильно напоять ими жизнь.

Вот мысли, которые, если бы они были изложены перед Сперанским, остались бы в высшей степени непонятны ему. Мы снова возвращаемся к этому человеку удивительных талантов, удивительной судьбы, но совершенно не определенного нашими историками значения. Характерно самое проис-

<sup>1</sup> святая святых (*лат.*).

хождение его, из духовенства и семинарии, т. е. из сословия и школы, которые, дав длинную вереницу *методистов-тружеников*, не дали России ни одного поэта, ни одного музыканта, ни одного живописца. Не столько в составе своих убеждений, сколько в свойствах своего темперамента, Сперанский лишен был совершенно этической и эстетической идеи; и вместе, в самом характере он лишен был той глубины и непоколебимости, какой мы удивляемся, напр., в митрополите Филарете. Все существо его было в высшей степени риторическое; недаром единственный его литературный труд есть книжка «О правилах высшего красноречия» (изд. в СПб. в 1846); склад ума трезво логический, исключительно формальный; тусклое воображение; погашие или, вернее, не заложенные в натуре страсти... Характерно, что он был женат не на русской, а на немке — сочетание брачующихся, редкое в России. При всех этих личных данных, он всего менее мог стать Цезарем или Периклом нашего государственного строя. Совершенно напротив: осыпьте всеми внешними дарами, всем внешним величием, блеском и знаменитостью, наконец, — дружбой монарха, но оставьте в тайне души, где-то глубоко запрятанным, бедное, робкое сердце Акакия Акакиевича и узкую, скудную мысль Молчалина — и вы будете иметь исторического Сперанского. Все это отразилось на его труде. Он создал для внутреннего употребления России какую-то политическую «хрию», по-видимому, неопровержимую, но в высшей степени бесполезную, а главное — погашающую всякий порыв и творчество, погашающую тем вернее, что это творчество, видя перед собой эту удобную форму, невольно входит в нее и неизменно в ней погибает. С его времени, по преимуществу, Россия обставилась департаментами и канцеляриями — не как *необходимую записную книжку*, куда живой деятель вносит свои предположения, решения, расчеты, — но именно как *самим деятелем*, решителем, творцом. С тех пор фабрики не успевают готовить чернила и бумагу; мы улучшаем *пером* земледелие, *пером* создаем промыслы, вводим в отечество «расцвет образованности», *на деле* не имея ничего этого; и всему, что в этой сфере готово бы само начаться, чрезвычайно мешая. Мы теоретизируем, планируем — так же легко и, по-видимому, правильно, как 16-летний семинарист, когда он сидит над темой «о свойствах бытия Божия». Россия закрылась канцелярскими формами и стала в них непроницаема для истины, неуязвима для суждения, беспомощна в работе, изящна и сокрушена, как Парис, вздумавший однажды одеть доспехи Гектора. Яснее станет значение Сперанского, если мы рядом с ним поставим людей, к которым невольно как-то привязывается любовь *народная* и историческая *слава*. Около его рассудительной фигуры и, слыша его убедительную речь, Суворов был бы смешон, Орлов стыдливо спрятал бы свои кулаки, Потемкин — свой «греческий проект», на который он *любовался*; и, может быть, сама Екатерина растерянно потупилась бы. Но вот они *сделали историю*, а он только *говорил и писал, и научил нас только говорить и писать*. Они, неправильные, иррациональные, — они то смешные, то буйные, всегда страстные, — знали тайну духовного «пива». Они были немножко по-

этически опьянены и от богатств духа своего напояли окружающую жизнь. Все было поэтично около них, трудно и героично; люди умирали за них и благословляли их, отведав «пива». И им самим, опьяняющим сердца человеческие тою струйкой восторга, которая вилась из них, — все было легко, исполнимо. «Удача, опять удача, тысяча удач — да дайте же сколько-нибудь — и уму», — говорил Суворов обиженно: но люди справедливо не давали ничего «уму», и все — *«удаче»*... «Удача» — бог истории, бог совершенных, исполненных дел, в противоположность бездарному уроду — *неудаче*, этому бесу, преследующему всех ограниченных «умников». Мы снова возвращаемся к расколу, и да простит читатель нам эти перипетии мысли, вызываемые самим предметом. Есть едва заметное, только упомянутое, но любопытнейшее известие (официальное) у *Кельсиева* (I, с. 183), что раскольники начали было тысячами<sup>1</sup> переходить в единоверие, когда мысль его была провозглашена *Потемкиным*, и этот переход остановился тотчас, как только, с начала XIX века, для него даны были «правила».

Дело имело успех, пока было *процессом*, и умерло, как только стало *формой*. Не было более жизни в нем, *надежды*, чаяния; за ним не стоял человек, который мог бы *понять, снизить, простить, уверовать*; но — «правило», которое ничего более не понимало. Живой акт веры (у раскольников) встретил живое сердце (у нас): и великое слияние началось, принцип единства был найден. Но пришел «ум» и схитрил: он дал раскольникам попов и не дал архиерея, ибо дело было для ума не в вере, а в *подчинении*; он сказал: «Это — церковь, совершенно церковь, как и наша», и шепнул своим, чтобы они *«не ходили туда и там не причащались св. таин»*. Трусишка «ум» испугался, что все православные тотчас перейдут в единоверие, — или нет: он испугался не этого, а того, что произойдет какая-то путаница в «ведомостях» православных, единоверцев и раскольников. И вдруг раскольникам стало ясно, что все дело именно в этих «ведомостях», — не в сердце и его вере, до которых дела нет, — а именно в порядке *документов*, в красоте *отчета*, в порядке *ведомости*: до которой в свою очередь им не было дела.

---

<sup>1</sup> Это так замечательно, что мы приведем буквально: «По ходатайству Потемкина-Таврического в 1782 г. дозволено было, в Новороссийском крае, раскольникам свободное богослужение, и разрешено им иметь своих попов. Это было *началом единоверия*, правила которого были утверждены в 1800 году. Успехи единоверия не были значительны, и замечательно, что до 1800 года присоединение к единоверию, *еще не организованному*, было несравненно сильнее, чем впоследствии. Так, в самом гнезде и рассаднике *поповщины*, — в Нижегородской губ., тысячи человек приступили к единоверию, и в Черниговской губ., другом центре раскола, — то же; но после утверждения в 1800 году *правил* митрополита Платона, положивших *твердое основание этой церкви*, оно таких *успехов не имело*» (из «Записки о русском расколе, составленной для В. К. Константина Николаевича» — Мельникова). Между прочим «строго воспрещалось записываться в единоверие тем, которые, будучи раскольниками, пишутся православными в книгах, ведущихся священниками, а также и тем, которые по бумагам значатся православными; таких теперь около 9/10 всей массы раскольников» (там же).

И они отхлынули назад, а мальчишка «ум», этот глупый урод, кричит с тех пор, кричит вот уже 96 лет; «Неудача, неудача, решительная неудача!» — «не вижу никаких мер, которые могли бы принести существенную пользу!» (гр. Стенбок: «Взгляд на причины быстрого распространения раскола», у Кельсиева, т. IV, с. 342).

Нет, осталась еще мера: *исполнить* слова Псалма — «*сердце чисто созижди во мне, Боже!*»...

Мы говорим, однако, не об *единоверии*, этом не оригинальном подражании изобретению Антония Поссевина, а об «*Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви*» символа; мы говорим не о *компромиссе*, а о *слиянии* на основе «чистого сердца». Не следует, однако, уже теперь забывать, что, воссоединив с собой раскол, *нужно его удерживать, нужно предупредить расколы и отпадения обратные*. Нужно помнить об оригинальном и огромном *движении*, которое испытала русская душа в расколе, об этой бездне *инициативы, акции*, суровой борьбы и *поэзии*. Нельзя ожидать, чтобы, после двух веков подобной жизни, она возвратилась к той *пассивности всех отношений*, которую и мы, после двух веков привыкания, едва имеем силы переносить. Все то деятельное и живое, что есть в расколе, то «духовное пиво», которым он бесформенно напоял до сих пор христианскую душу, — это должно быть бережно сохранено, должно быть взято нами как сторона истинная в нем и *разлито по всем формам нашего бытия*. Если вспомним сказанное ранее о приближении к древнему *типикону* жития, как средстве умиротворить «буквенников», — мы пойдем в целом реформу, нам предстоящую: *ожить древним духом*, — тем прекрасным духом, прототип которого дала нам еще Киевская Русь. Возможно сделать это при сохранении всей той крепости сил, какую сумела создать Москва, и не отказываясь несколько от правильных сторон просвещения, которое любить завещал великий Петр. Все это можно соединить; все — слить в *новую гармонию*, через *живой акт души*. К такому живому акту мы нудимся задачей раскола.

Вот почему, мы верим, язва его — «не в смерть, но во исцеление»; мы верим — Бог не оставит Россию, и великий *художник ей будет дан*.

1896 г.

## ПОЕЗДКА К ХЛЫСТАМ

### I

Года два назад один из самых видных деятелей по расколу и старообрядчеству, лицо вместе с тем официальное, предложил мне:

— А не хотите ли, В. В., поехать к хлыстам?

«Вот какой хитрый, — подумал я — он меня самого подозревает в каком-то еретическом вздоре, чуть ли не в хлыстовстве именно, и хочет прове-

рить свои впечатления, сведя лицом к лицу с этими сектантами». И я насто-  
рожился. А вместе с тем любопытство увидеть хлыстов, о которых столько  
приходилось читать еще в литературе 40-х годов и в новейших трудах, пре-  
возмогло во мне над личной опасливостью. «Ведь это все равно как Левинг-  
стон, путешествовавший к верховьям Замбези. В такой же мере — новые стра-  
ны, новые люди, невероятные понятия. И что мы о них знаем иначе, чем через  
книги? А в книгах описаны впечатления или духовных лиц, т. е. людей слиш-  
ком специального образования для того, чтобы они могли дать фотографию, а  
не карикатуру; или — чиновников, т. е. людей, которые прежде всего в Бога не  
верят, и потому лишены самого органа восприятия в данной сфере.

Я сказал — «в Бога не верят». Конечно, это слишком крепко... Чиновни-  
ки, сколько я их знал вообще, т. е. многие сотни, почти тысячи людей, без  
какого-либо хотя единого исключения, «верят», но только по очень кратко-  
му катехизису: «Есть там что-то такое, о чем лучше не думать; а которые об  
этом думают — мешаются в уме и называются еретиками». Не забуду, как  
умирал учитель русского языка, лет 62—63, прекрасный семьянин, служив-  
ший, между прочим, еще при Муравьеве, любивший все русское и между  
прочим любивший духовенство. У его постели сидел я и учитель греческого  
языка, молодой и образованный армянин. Все трое были Московского уни-  
верситета, разных эпох:

— Вот, В. В. и Сергей Иванович, я умираю. Слава Богу, дети все обеспече-  
ны. Полная пенсия, да я последние годы и откладывал кой-что. Их всего  
трое (детей) и уже все в старших классах. Мать у них останется, еще не  
дряхлая. Учатся хорошо. Хорошие дети (все были действительно хороши).

Мы выразили сожаление. Сказали, что он не умирает еще:

— «Пустое. Вы успокаиваете меня. Нет, я умираю. Полное несварение  
желудка, и я, в сущности, умираю от голода. Ничего не усваивается. Просту-  
дил сильно желудок, когда ездил по селам на ревизии при Муравьеве (порт-  
рет его висел над постелью умиравшего). Лет двадцать прихварывал, а те-  
перь — конец». Он посмотрел на желтые, обтянутые кожей, морщинистые  
руки. Задумался. — «Говорят, там бессмертие души? Не верю. Для народа  
— ну, тому надо в это для чего-то верить, но образованному человеку зачем  
себя обманывать? Я убежден и знаю, что там ничего нет, и меня несколько  
это не тревожит, потому что я и потребности в этом никакой не чувствую, а  
наука нам говорит прямо, что это вздор. Жил я честно и жил не несчастно,  
хотя и в трудах. Судить меня не за что. Зла я ни к кому не питаю. Пожил и  
надо умирать. Хозяин умер, дом остался. Мой дом устроен, чего мне же-  
лать?»

Когда мы вышли, учитель-армянин схватил меня за руку:

— Но ведь это Сократ?.. Настоящий Сократ!.. И кто мог думать, что  
такой замухрышка-учитель, что ни на есть человек 20-го числа, который и  
говорил-то все смеясь и анекдотами, обнаружит вдруг перед лицом смерти  
такой покой?.. и величие!

И он долго волновался. Учитель умер через 2 или 1½ дня.



Или другой пример. В городе разнеслась весть, что добрый наш знакомый, нотариус А., захворал, не принимает пищи, а когда доктор исследовал его, то определил «сужение пищевода», или, в менее деликатной форме, рак пищевода. И вот встречаю я его, идет с горки мой седенький старичок, такой благообразный весь, с вечно ласковым лицом, теперь опавшим и потемневшим. Весь город его чрезвычайно любил. Жму руку.

— Хвораете?

— Умираю.

В глубоком смущении я не нашел слов. Он стал успокаивать меня.

— Как вам сказать... Вот вы смущаетесь, а я — ничего. Ведь хорош клуб (он был чудный игрок в карты). И люди приятные, и игру любишь. И сад вокруг, — соловьи (летом играли в клубном большом саду). А пробьет два часа ночи, встанешь: надо идти домой. Так и жизнь. Она хороша, но пришел свой час: и надо ее оставить.

Клуб он, бедный, так любил, что бывало на Страстной неделе, когда игры не было, и сторожил его только сонный сторож, — он все-таки придет туда, посидит и походит в пустых комнатах. И жил спокойно. И умер еще спокойнее. Оставил жену и дочь лет 9-ти. Самому было лет 57.

Никогда решительно страстных разговоров на религиозные темы я не слышал среди чиновников. Лирики религиозной, религиозной нервности — ни тени! Точно это где-то «за морем», о чем приходят «глухие вести» — вся область религии. Говорят иногда о Западе, что вот он «возвращается к язычеству». Сетуют. Оплакивают. И не замечают, что собственно служилый и грамотный наш люд «потихоньку, да полегоньку» так радикально «возвратился к язычеству», притом времени угасания мифов, что, пожалуй, начать в нем опять христианство, живое, с «верой, надеждой и любовью» — чуть ли не тяжелее и безнадежнее, чем было начинать его при Плинии и Таците.

## II

Поездка к хлыстам все откладывалась. Мой добрый знакомый, человек чиновный, был занят. Я уже сам напоминал несколько раз. «Поедем... Непременно поедем!..» И все оттягивал неделя за неделей. Наконец в одно воскресенье, утром, часов около десяти, он вошел ко мне и, не снимая шубы, заторопил одеваться. — Я в минуту был готов. Сбежали с лестницы и сели в сани. Он назвал извозчику далекую окраину города, особенно глухую зимою.

Я уже сказал выше, что немного опасался. Чиновник этот очень недавно со мною познакомился, и познакомился по своей, а не по моей инициативе. Репутацию же он имел зловещую и до некоторой степени грозную. С той поры со всем предубеждением я старался изучать его. Может быть, конечно, я глуп. Может быть, совершенно не наблюдателен? Однако я его видел в товариществе, в службе (несколько), в литературе и, случайно, одно лето, прожив на даче рядом с ним — видел и домашнюю его сторону. Правда, он

был богат. Высоко подвинулся в чинах. Но этим отрицательное в нем и кончалось. Мало ли кому Бог посылает: не все же богатые и знатные суть дурные люди. Это был смиреннейший супруг перед своею гордою женою и до такой степени трогательный отец семьи, как я редко видал. Никогда среди самых адских служебных хлопот, полных ответственности, он не забывал письмом или телеграммой спросить, как идет течение самой пустой детской болезни (дома). Мне кажется, что если кто кого-нибудь любит, ну хоть ребенка, жену, то уже *eo ipso* не есть камень, а способен ко всему человеческому. Не забудем «искру Божию и в разбойнике» и допустим ее в генерале. Мне хочется сказать нечто доброе, что я видел и знал положительного в этом человеке, ибо роль его — историческая и, сколько я отовсюду слышу, мрачная: но последнего я абсолютно не могу, не умею представить себе; и, может быть, из сопоставления моего свидетельства с этими мрачными фактами, которым я также не вправе не верить, будущий историк извлечет общее объяснение, какое современники не могут отыскать. В товариществе, и не близком, а поверхностном, в товариществе «с камнем за пазухой» (из-за убеждений), я наблюдал, как этот человек спасал от глубоких, тревожных неприятностей, почти от опасностей, людей ему вовсе идейно и принципиально чуждых, в сущности, враждебных. В одном случае мне пришлось наблюдать это в таких особенных условиях и отношениях, когда он (мой спутник) наверное знал, что этот заботливо им охраняемый приятель, в то же время крайний недруг по воззрениям, никогда не узнает об его тайной заботе. Сказать, что это не великодушно — невозможно! Наконец, были факты и я их видел, когда он «манкировал» своей службой и изменял всему своему «credo», что б — опять из заботы о человеке — положить «под сукно» донос, принесенный ему очень яростным фанатиком и довольно высокопоставленным лицом:

«Это ваш враг. Враг всего вашего дела. Враг всего, во что вы верите» (слова приватного письма-доноса).

С такими доносами люди «из общества» являлись к нему, облеченные в полную парадную форму. Они *требовали у него розыска и преследования*, возбуждения «дела», принося документы, случайно попавшие им в руки.

И он все способы употреблял, чтобы успокоить человека «из общества», уверяя, что такой-то, оговариваемый «еретик», есть «православнейший человек, хоть немножко и вольнодумец: «Но что поделаешь — такое время, и кроме нас с вами, ваше превосходительство, ведь кто же верит в России по-настоящему?...»

О всем этом я имел самые положительные сведения. Теперь я давно этого человека не вижу, почти не знаю. Не имею никаких причин любить его, не имею причин сомневаться во всем темном, что говорят о нем. Но и так сказать «*d'outré tombe*» (замогильно) не могу же не сказать, что видел человека с замечательно злой репутацией, который мне открывался с замечательно доброй стороны. Но вот его черта. Он любил крепко, незыблемо все русское, всю Россию, а более всего в ней любил ее веру, ее православие. Собственно, православие было для него — вся религия, как бы полнота всего религиозного вмещения земли (насколько земля может вместить).

— Какое, В. В., мое образование... Ведь вот куда меня Бог вознес; с министрами разговариваю, и министры меня выслушивают, мои слова принимают во внимание. Между тем я и в академии не был (он был духовного происхождения). Был только в семинарии. И какая она в нашу пору была? Конечно, я подчитываю, и стараюсь бывать в обществе образованных людей, прислушиваюсь, как они спорят, рассуждают. Ловлю крохи. Трудно. Однако кое-чем подкармливаюсь.

Он между прочим старался усвоить французский разговорный язык, предполагая, что бывать у министров, не зная французского языка, — неуместно. Но французский язык давался ему с трудом, за то русского духа хоть отбавляй. Через сюртук, через пунцовый галстук последнего фасона — так из него и пёр великорусский мужик. И не в грубых, а тонких и глубоких, великорусских чертах.

«Государь», «государствование», «церковь русская», ореол русский — все это было святыня для него. Я сказал, что он считал православие воплощением религии на земле. А католичество? А лютеранство? Их он просто ничем не считал. Просто, считал почти выдумкою, — праздных или заблуждающихся умов, продуктом необузданности Лютера и честолюбия пап. И лютеране и католики были «убежавшие от православия» люди, т. е. от истины православия, — какие-то «воры» религиозные, как москвичи называли «тушинского царька» просто «тушинским вором». Таким образом, у него была как бы врожденная (такая же твердая) идея, что все народы и веры настолько не сливаются с православием, насколько они находятся в фазе пребывающего возмущения, своеволия, бунта; что все они по злой воле не признали православия, еще в древности отделились от него (он историю плохо знал), а затем вот до сих пор упорствуют. Но это упорство минет в веках, и все немцы и католики со временем все равно признают православие, да вероятно и политически сольются с Россией или как-нибудь подчинятся ей, потому что вообще не может быть других «настоящих» держав, кроме России, и «настоящих» же вер, кроме православия. А на вопрос, «почему», он бы ответил:

— Очень все это хорошо. Во-первых, все правильно, издревле. А во-вторых, привлекательно и сейчас. Хоть и недочеты есть, но только недочеты снаружи и от людей.

Мне кажется, что пластика не очень художественного глаза и совершенно поверхностное знание истории, как и поверхностное же знание «основ учения» исповедуемых им истин, было причиною этого необыкновенно прочного, совершенно непоколебимого убеждения. Вместе с тем (и это опять трогательно!) из уст именно его я слышал такие плачевные, прямо страшные рассказы о деталях в состоянии его «ведомства», — такие преисполненные скорби картины, каких в печать никогда еще не попадало. Таким образом, он был реалист, как мужик; и правдолюбец, как мужик. Но вот еще я слышал, — не от него, а от более тонкого человека, — взгляд необыкновенно близкий к тому, которым в темной своей практике руководился этот зловещий чиновник:

— Да, я знаю, наше ведомство полно кровавых язв, и нигде реформа так не необходима, как здесь. Реформа — до полного преобразования! Но, помните, *реформа*, а не *уничтожение*! А вы или другие заговариваете об *уничтожении*! И вот чем больше сердце мое горит при виде этих язв, тем яростнее я ненавижу указывающих на них, ибо они это делают не для исцеления, а для *разрушения*. Вы говорите — сектанты? старообрядцы? Но им-то я устроил бы кровавую баню.

Между тем этот был уже университетского образования; поэт, философ; человек в некоторых направлениях поразительных способностей.

— Для меня вне России и православия — *ночь*. Ночь не наша, русская, а *мировая*. Если в России не содержится вечного начала, абсолютно доброго, святого, притом нового, — если этого нет — то вообще конец истории и хулиганство. Тогда приходите и берите жену мою — мне все равно. Такое признание для меня печальнее, чем изнасилование жены или болезнь детей. Когда России не нужно — ничего не нужно. Тогда пожар. Пожар и разбой. И я сам первый приму участие. Но врете. Россия *есть*, в ней есть *святое начало*, а вас всех надо связать и выбросить или и хуже.

Я заговорил с ним о старообрядцах и услышал глубочайшее воззрение на них:

— Да, они правы... Там филологически и исторически, — не спорю... Но в них живет сатана, и их надо распять. Я сам наблюдал старообрядца, входившего в алтарь в ихней моленной: шел, понуря очи, с таким благочестивым, постным лицом, точно в нем душа кончается. Он меня не видел, а я стоял так, что мне было видно его, когда он скрылся от глаз народа за алтарную стену. Тут он вдруг щелкнул пальцами и подпрыгнул. Масленица после поста. Пост они держат на виду у нас, православных, а в душе у них масляница. Масляница от того, что Никон был, конечно, невежда, а филологически и всячески по истории — они правы: и вот они стоят перед нами с истинно каинскою жаждою убить, задушить. Ведь «по документам» и Шейлок был прав. И за это их проклятое чувство к нам я хотел бы их сжечь.

Я до того был изумлен этой новой, нигде не высказанной точкой зрения на старообрядчество, что передаю ее как слышал: 1) полное признание так сказать догматической правоты старообрядчества; 2) прощание в них, лично и народно, сатанинской гордости этою правотою, этими «оправдывающими документами»; гордости — отмщающей, кровавой, бешеной, возникшей на почве их собственной исторической муки; и 3) желание их преследовать, чуть не сжечь, за это именно их чувство «праведных фарисеев, все исполнивших по закону». Церковь же, полную ошибок исторических<sup>1</sup>, неправиль-

---

<sup>1</sup> Да не удивит это кого-нибудь. Цитирую из декабрьской книжки за 1904 г., «Богословского Вестника» слова профессора Н. А. Заозерского: «Даже сам Святитель Филарет Московский не обинуясь признал, что как он, так и прочие иерархи, его современники, принуждены, по некоторым церковным вопросам, *крадучись обходить апостольское законоположение*» (с. 722). И, очевидно, — это факт давний и всеобщий.

ностей канонических и всяческих (он был довольно знаток в этом деле), он считал прямо святою за чувство смирения в этом, за то, что в ней нет *гордыни непогрешимостью* в прошлом и настоящем.

Не правда ли, для читателя все это ново? Во всяком случае, он убедится, как много гадается теперь в ту и в другую сторону около твердыни православия. Он увидит, как много фанатизма здесь, — не вовсе пустого.

Мне приходилось касаться, так сказать, «опаляющего» края этих господ. Я их успокаивал. Пытался дать прохладной воды на каленую сковороду их психики:

— «Ну, ведь, глава церкви, однако же, Христос?» И «врата адовы не одолеют ее?» Ваши же тексты. Что же вы мучаетесь в душе? А вы очень мучаетесь, видно. Как будто вы не верите, что Христос подлинно и теперь пребывает со своею церковью или что какие-то неясные «врата адовы» одолеют и самого Христа? Стражи не должны терять уверенности в крепости. Ну, что за Свеаборг, когда гарнизон его подозревает, что — это просто деревня? Тогда ведь он и в самом деле будет деревней, ибо в этом случае *идея вещи равна самой вещи*. Так что пусть старообрядцы подпрыгивают в душе, а хлысты радеют свои радения: вам-то что? *С вами* — Христос. *С теми* — Христа нет. Так что вы можете дремать и даже совсем заснуть, и чем крепче будет ваш сон, тем неприступнее будет Свеаборг: ибо таковое ваше отношение к делу, исполненное веры, надежды и любви, и показывало бы полную реальность вашей связи со Христом, Единым заступником вашего дела».

Сколько ни успокаивал — не успокаивались.

### III

Через Литейный мост и Выборгскую сторону мы выехали на одну из самых далеких окраин города. Хорошее было утро. Не морозно, а холодно. И снега не было, а стояла алмазная редкая пыль, которая садилась на усы, бороду и воротник. Мы разговорились. И спутник мой рассказывал о хлыстах, как он наблюдал их на Кавказе:

— Село хлыстовское. А кругом пустыня. Убить могли, если бы узнали, что я лицо официальное. Но я ходил в армяке; а лицо у меня русское. Бывало, сядешь на бревнушке, начнешь им доказывать их заблуждения. Куда! Стоят на своем, как слоны неповоротливые. Фанатизм невероятный. И повинование. Слово, жест их *богородицы* — и село готово кинуться в огонь, готов зарезать или зарезаться. Вы подумайте, до чего это опасно. Т. е. для России и нашей веры.

Поразило это и меня, но как я больше читаю журналы и слежу за мировой политикой, то повернуло это мои мысли совсем в другую сторону, чем как это было у моего спутника:

— Вот дисциплины, — говорю ему, — во всем мире ищут. Даже у немцев ее не хватает. Везде неповиновение, анархия, своеволие, и это есть фа-

зис мировой истории, которого не могут одолеть пророки, священники, философы, законодатели, никто. Вы подумайте, до чего же это *важно*, а уж во всяком случае, *интересно*, что вдруг в *России зародилась* какая-то таинственная секта, с религиозным энтузиазмом, *суть которой есть нахождение того*, чего никто не нашел. Мировая «эврика»... Вы говорите: сотни живут как *одна душа* и повинуются *беспрекословно* и вместе *упоенно* жесту одного человека. Это нашел Пифагор, в своем неразгаданном «Союзе»: «*αὐτὸς εἶπεν*», «сам сказал». О нем говорили: «Пришел не бог, не человек, но Пифагор». Уже не «лже-Христос» ли был пифагорейский? Меня интересует политика: после Пифагора — *секрет таинственного, самозабвенного повиновения* нашли еще хлысты и больше никто. Т. е. они ведь нашли в своем роде «квадратуру» политики, которой не нашел ни Аристотель и Макиавелли, ни Бонапарт, ни Меттерних, ни Бисмарк!..

— *Богородица* ихняя (сколько помню — Лукерья), — ведь она в этой степи устроила хлыстовское царство. Сам губернатор ее знал и уважал. Во время последней турецкой войны случилась большая нужда в лошадях для скорейшего перевоза к армии военных припасов и провианта. Лошади сильные уже все были раньше взяты через перепись, и теперь у населения оставались одни клячи. В крайней нужде губернатор и обратился к этой *богородице*. «Вызвольте, матушка». Сегодня сказано, завтра сделано. Она выставила целые табуны и денег не взяла. Губернатору была благодарность из Петербурга, а он не знал, как благодарить *богородицу*.

— Когда по одному делу, — продолжал он, — случилось мне ехать с нею в одной коляске, то по пути вышла нужда в деньгах. Достаточно ей было сказать об этом кому-то из окружающих, как весть об этом моментально облетела село, где мы остановились. И вот понесли к нам деньги хлысты, кто сколько мог: не считая, клали серебром и бумажками. Падают, кланяются до земли и уходят. Простые мужики. Вы знаете, как мужик рублем дорожит. Но тут что-то странное и страшное. Их жизнь — заметьте, многих тысяч! — в руках... по ихнему — *богородицы*, а по нашему — мужички.

— Так что вы ее близко видели?! Какое же у нее лицо?!

— Не старая, но и не первой молодости. Скорее, красивая. Но не в этом дело. Лицо ее действительно было поразительно, и, если хотите, оно было чрезвычайно красиво, от особенного, никогда мной невиданного внутреннего блаженства, и блаженства гордого, властительного, но мягко-властительного, религиозно-властительного.

Οἱ θεοὶ μακάροισι, «блаженные боги», вспомнил я у Гомера постоянный эпитет. В самом деле, не было ли в древности, в доисторической древности, психофизиологических явлений, *аналогичных нашему хлыстовству*? О котором тоже замечают многие исследователи, что тут (у хлыстов) «что-то есть языческое». Известно, что в конце греко-римской истории жил Эвгемер, этот Фейербах язычества, который объяснил «очень просто» происхождение «богов и богинь» древности тем, что это были «герои далеких поколений, впоследствии *обожествленные*». Но ведь это были бы, при всякой степени пре-

увеличения, «герои» же. Слона можно преобразить воображением в слона стосаженной вышины. Но слона преобразить *в розу*? Тут отсутствует закон воображения. Должна была в древности начаться какая-то особая линия «божеств», не людей, не «героев». И вот не было ли там особых сект, тоже как бы «хлыстов», которые начали линию «обоожествления» человека, — того, что хлысты называют: «*наши христы*», «*наши богородицы*», богородица «такого-то корабля» (=общины), и другая — «корабля соседнего». Ведь, говоря так, и они какую-нибудь Акулину принимают вовсе не за св. Деву Марию, историческую, родившую Иисуса Христа, а — за совсем другую; и они только не знают слова «богиня», нет его в *говоре* их мужицком, в *словаре*: и они пользуются для выражения нарицательного (общего) понятия единственным близким к этому собственным именем. Равно и о «христах» своих они никак не думают, что этот *тот самый*, который умер при Понтийском Пилате. Что же они думают? Да и слово «христос» они употребляют, за бедностью языка, вместо слова «бог», «божество», «полный божественных, чудесных сил», «стоящий выше всех на земле». Множество местных «христов» и «богородиц» не есть ли живое и на глазах у нас происходящее образование нового политеизма, во всем или в очень многом аналогичного политеизму азиатских, греческих и италийских племен? И там образованию обширных религиозных систем (напр. Олимпу) предшествовали глухие *местные* культы, большею частью *потайного характера*, и тоже с пророческим (как у хлыстов) вдохновением. Генерации «христов» у нас и «богов» там — тоже говорят о сближении. Хлыстовство наше, через какой-то психологический или физиологический выверт, нашло путь (или иллюзию) к «живым богам», которых можно ухватить руками и которые вместе «превыше поднебесной». И, найдя, поклонились им со всем энтузиазмом верующей толпы. Помните Клермон и собравшихся туда крестоносцев: «Так хочет Бог!.. так хочет Бог!..»

— И что же бы вы думали она сделала, эта Лукерья их (я могу ошибиться в имени)? Учредила себе конвой и одела его в форму конвоя Его Величества!! Того же покроя длинные кафтаны, такие же папахи. Только шашек им не дали. И тот же конный строй, ее всюду сопровождающий.

Это моего спутника более возмущало, удивляло и смешило, чем то, что она называла себя и ее считали «богородицею». Удивился и я.

— Неужели так она въезжала и в город?

Я был уверен в отрицательном ответе. «Может, только чудила у себя в степи?..»

— Как же, как же! Выезжала в губернский город, и все знаки богомольного к ней отношения выражала и эта ее гвардия; едет, как царица, как икона и вместе человек, и при ней этот (чуть ли он не назвал известного Веригина, но тогда о последнем я ничего не знал и могу ошибиться) ее сынок.

— Какой сынок?

— С которым она жила. Неопикуемой красоты юноша, с нежным, изящным и вместе типично русским лицом. Она всегда брала его с собою. И его тоже боготворили хлысты, — по связи с нею.

Тут, я убежден, чего-нибудь не знал мой спутник, и не знал — главного. Ну, если это была «баба Лукерья, нуждавшаяся в мужике», то ведь прежде всего не слепые же хлысты? Да и могла бы она потихоньку это устраивать, как и многие «не от сего мира» люди, сохраняя престиж? Нет, тут что-то совсем другое: догмат, учение, которых мы не знаем. Мы *ощупываем физиологию, а души за нею не видим*. Очевидно, тут — выставка, *культ*, а если культ, то — и *убеждение*. Но нам не дано в руки «ключа» ко всему этому. Тут у них нет сокрытого, не называемого; есть — *открытое*, именуемое. А открывают силу, а не слабость, не грех, не «воровство» быта или души. Таким образом, в этой части рассказа моего спутника начался *анекдот и непонимание наблюдателя или поверхностного, или полемического*.

Но вот дома предместья, большие и городского типа, начались сменяться домиками деревенского типа. Пошли уличные заборы. Издали виднелся крест православной церкви. Спутник мой велел ехать шагом и всматривался в сеть улиц и переулков. Очевидно, что он узнавал местность, где давно не был. По линиям пробирались робкие фигуры, видимо шедшие из церкви, откуда доносился слабый благовест «к выходу».

— Вот сюда, — показал он извозчику.

Он въехал в совсем узенький переулок. Робкие фигуры были и здесь. Они кланялись моему спутнику, и он снимал бровную шапку.

— Стой.

Лошадь стала. Два большие деревянные дома, рядом стоявшие, очевидно представляли одно общее или очень близкое хозяйство. Мы были в одном из средоточий столичного тайного сектанства.

#### IV

Робкие фигуры мужиков и женщин, пробиравшиеся около забора, вошли почти кучкою вместе с нами на высокое крыльцо избы. Теперь они здоровались за руку с моим спутником и называли его по имени и отчеству. Видно было знакомство, во всяком случае, более, чем только шапочное. — «Вот, привез к вам приятеля в гости», — указал он на меня. — «Милости просим! Милости просим!» — смотрели они на меня ласково и тоже подавали руку. «Так вот они, знаменитые *хлысты*, — подумал я, — встретя на улице, никак бы не подумал. Мужик как мужик. Степан как Степан. По чем узнать его?» Да, но ведь и к Гванагани подплыв и взяв кусок земли с берега, Колумб мог бы сказать: «Это такая же земля, как в нашей Испании: для чего же было плавать так далеко». — Были мы действительно в «другой части света», — по неизмеримой разнице психологии и мирозерцаний. «Но как это узнать? ощупать? как проявить для глаза?»

Чуть-чуть задерживаясь на крыльчке, проходили внутрь избы молчаливые женщины и девушки, видимо, все возвращавшиеся от поздней обедни.



— «Нам бы посмотреть сперва вашу мастерскую», — проговорил мой спутник. — «Это, пожалуйста, рядом». И мы, спустившись назад с крыльца, вошли в ту, очевидно, связанную с этою избу, которая стояла рядом. Я не ошибся: два дома представляли *одно хозяйство, одну собственность*, имели одного собственника — эту *коллективную толпу*, с крайне слабо выделенным в ней личным началом. Правда, я только теперь спрашиваю себя: *кто же владел всем этим? да и к кому мы, собственно, приехали?* Но, вступая на крыльцо, обращаясь к людям, мы — без всякого гипноза со стороны их — уже как бы отрицали возможность и нужду здесь в имени, в фамилии, в хозяине, в владетеле, везде встречающихся понятиях «распорядителя» и «исполнителя». Все нам объясняли устройство обширной, но не фабричного, а домашнего типа мастерской. Стояли огромные станки, на которых происходила выделка золотых и серебряных тканей, идущих на церковное облачение, ризы и на нашивки, на воротники и рукава мундиров. Я никогда не видал их приготовления и с любопытством осматривал приспособления, впрочем, мало что понимая в них. — «Ну, пойдемте в жилую избу». — Все вошли. Мастерская по воскресеньям была вся пуста. Мы вернулись в первую избу, которая уже была полна народа.

Как известно, для тепла все наши деревенские избы строятся невысокие. Такова была и эта. Сейчас же с крыльца через большую прихожую входили в обширную, хорошо истопленную комнату, где были поставлены столы и лавки, необыкновенно чисто содержимые. Вид жилища всегда являет психологию жильца: и здесь, очевидно, никогда не было беспорядка, лени, распушенности, дебоша, пьянства, разгула. В избе было уже несколько десятков человек, и не выделился ни один голос крикливый, бранчивый, даже просто резкий или грубый; хотя все говорили, и вообще, очевидно, никто не был стеснен никем. Спросили самовар, засуетились около самовара: и тоже без возможности определить, *кто же кому приказывал, кто служит, а кто был господином*. Как-то все работали, хлопотали, — но все это происходило само собою, без очевидного и, во всяком случае, без бросающегося в глаза центра. Спутник мой стал внимательно рассматривать образа и что-то шептал мне, чего я не мог уловить. Уже потом, когда мы возвращались в город, он мне объяснил, что есть «отметины» в церковной живописи и что «так всегда у хлыстов», и на «отличия»-то он мне и указывал. Я этого не замечал. В переднем углу стояли большие иконы, но и по стенам, по мере приближения к «святому углу», были полукартины, полуиконы. Пожалуй, «отметина» была в том, что их было очень много, что светские картинки, бытовые, охотничьи, из жизни царского семейства, портреты знаменитых генералов — вовсе отсутствовали и что самые сюжеты религиозной живописи были менее стереотипны, менее затасканы, являли более внимания и более знания истории и сущности всего «божественного», чем сколько этого знания встречается у крестьян. Очевидно, здесь «проходили» Закон Божий, как проходят начинающие и воодушевленные школьники (сужу по своей семье): и вот они вывесили по стенам все трогательное, все хватающее за душу, чего

так много рассеяно и в ветхой, и в новозаветной истории и что изумляет слезным изумлением всякого впечатлительного, кто впервые этого касается.

А люди эти были впечатлительные. Я не расслушал шепота моего спутника, может быть, и оттого, что мне не так хотелось смотреть иконы, как смотреть и слушать людей. Женщин было так же много, как и мужчин. Дряхлого, даже очень старого лица — ни одного не было. Видно было, что мы не сидели в старом «дедовском гнезде», а что это было что-то молодое, недавнее (сравнительно), не насиженное и не засиженное, хотя необыкновенно прочно сколоченное. Возраст был средних лет, более склоняющийся к молодому; 3—4 лица за сорок лет не делали дисгармонии. Но особенно много было подростков, пареньков и девушек, даже девочек, лет около 13—16. Все они были в глубоко-темных платьицах, «чернички», — как таких называют в быту, когда они и не монашенки, — за исключительную скромность наряда, поведения, за миловидность обращения. Ни одной цветной ленточки на шее или в волосах, с цветочками платка — на плечах. Мужики были одни в кафтанах, другие в рубахах; и опять ничего яркого, кричащего, ничего — веселого. За все время, как мы были «в гостях», я не слышал, чтобы кто-нибудь рассмеялся, да не видел и ни одной улыбки. А было утро и праздник.

Не успели мы сесть за стол, как начались гадливые рассказы о том, как «публика» держала себя за обедней, и особенно — сейчас после обедни. Рассказы — не длинные, не с целью даже, пожалуй, посмеяться, но вот что «прошел мимо такого — и осквернился». Я уже говорил, что все и гурьбой почти они вернулись от только что окончившейся нашей православной обедни, из той самой церкви, которую мы видели, подъезжая, издали и откуда несся далекий благовест. — «Как же, вышли, — и сейчас папироску!»... Говоривший сплюнул. — «Хоть бы отошел, чтобы храм Божий был невиден: и там закурил. Так нет: норовит тут же, чуть не на паперти»... «И разговоры! И смешки! И барышни с господами так и ужимаются, так и ужимаются. Беседу ведут, после обедни-то!!!»... «И не весть, из трактира ли они идут или из храма Божия: и точно пьяные, и ни пути им, ни дороги». Настаиваю и повторяю: длинной сплетни в речах их не было, сложного рассказа, инквизиторского подглядыванья — не было. Не было и общего огульного осуждения: говорил кой-кто. Но как грешный, и я закуриваю папироску скоро по выходе из храма, то осуждение мне запало в душу. «Вот... а мне казалось, что — ничего. А их — так оскорбило»...

Действительно, пушинка, которая бы упала на меня и меня не отяготила, меня и всякого «из нас», — этих людей почти заставила бы вскрикнуть от боли: это есть главное их отличие, главная новизна, меня поразившая, и, может быть, самая сущность «хлыстовщины» и «хлыстов», откуда все у них и началось, и потекло, как у особой категории людей. От того самого друга своего или приятеля, который сообщил мне много любопытного вообще о сектантах, я слышал отзыв, какого нигде не приходилось читать:

— Хлыстом *нужно родиться*. Кто не таков от рождения, кто уже от самого рождения своего не есть, в сущности, бессознательный хлыст, то хотя бы и вошел в их секту или все об них узнал, — отойдет от них равнодушно в сторону. Да и просто не пристанет, хотя бы была полная возможность.

Он не договорил. Но, как я видел их действительно особую духовную организацию, мне кажется, что врожденный хлыст, если он случайно в жизненных странствованиях не столкнется с такою вот общиной, не найдет «круга» по себе, своего «корабля» (как удачно выбрали они имя!), то истомится глубочайшим томлением, никуда не пристанет, ни с чем не сольется, ни с работой, ни с окружающими людьми; везде останется «исключением», «странным человеком», «коровою не ко двору», — и погибнет жалкою гибелью в общественном и личном смысле, приведя в недоумение о себе людей, часто раздражив и измучив их, и напортив (если случится) много в чужой коллективной работе. Такой, если женится, — разобьет чужую жизнь; бросит детей; пойдет странствовать; пойдет в святые места и замучится; или станет (в народе) «дурачком», «юродивым». Но едва ли можно представить, чтобы кого-нибудь намеренно замучил и вообще дал из себя «преступный тип»: совершенно обратно течение всей психики!.. Мне кажется, этим можно отчасти объяснить быстрый рост у нас «хлыстовщины», и что она как-то «ползет» по земле: истребят ее в одном месте — явится в другом, является повсюду, захватывает (в 40-х годах) и образованных людей. Два-три не захваченных «миссиею» (миссионерство) хлыста, с догматами и обрядами и вообще уже «оформленные», куда бы ни пришли, ни бежали, — находят всюду уже эту бесформенную «хлыстовщину»: робких, не умеющих найти себе места на земле людей, портящих чужую работу и точно ждущих: «Где-то есть *град по нас*», «где-то есть люди как мы?» Хлысты, уже оформленные, говорят: «Да вот — ваше место!» *Самовозгорается*, именно из психики народной (некоторых в народе людей) загорается «корабль!» — «Тут ваша и работа будет спора. И никто вас не обидит: найдете родных себе, которые роднее отца-матери, сестриц и братьев».

Поговорили в осуждение «православным» (за папироски и легкомыслие) немного. Подали колоссальный самовар. Все быстро разместились по лавкам: женщины к одной стороне, ближе к дверям, мужики — ближе «ко святым» (иконам). Подали дымящийся белый хлеб, только что изготовленный, лимон, хорошо нарезанный, предложили пить внакладку и сами стали пить. Посуда чистая. И все вообще было хорошо и чисто. Выпили по стакану. «Надо помолиться». Сейчас не помню: может быть и, садясь за чай, молились. Только вообще скажет кто-то: «Прочеть бы Царю Небесный?» — «Да конечно — прочеть!» И все опять роем. Молитва так и подымает их: и вот верзилы-мужики, большие, неуклюжие, как и подростки несовершеннолетние, все стоят, валяются на пол (земные поклоны), быстро опять встают, читают, повторяют слова, сладко, сочно, — молитва так и летит. И опять

застучали чашки, блюдечки. Я забыл сказать, что были поданы даже чайные ложечки. «Все, как и у нас», — подумал я.

— Вот, я привез к вам приятеля, — указал мой спутник на меня. — У нас он все проповедует брачную жизнь, очень тверд в этом: и захотелось ему увидеть вас, и поговорить с вами о предмете, который он сам так защищает, а вы так осуждаете. Ведь между вами — ни одного семейного, и вы даже считаете за грех на чужую свадьбу хотя бы только гостем пойти.

Во мне проснулся публицистический огонек. Всего недавно я выдержал полемику с исключительными защитниками девства в нашей литературе, С. Ф. Шараповым, Н. П. Аксаковым, г. Мирянином (псевдоним одного профессора). Аргументы «за» и «против» стояли у меня в голове батареей, и я сейчас стал стрелять в свою пользу, — на этот раз в лицо хлыстам.

Куда!.. то чувство отвращения, какое они инстинктивно и неодолимо имели к легкомысленному отношению «публики» к храму, они имели и вообще ко всем брачным людям, но только в другой специальной линии. Куренье сквернило храм, сквернило — близостью к нему, видностью его. Хлысты, я сказал, бесконечно впечатлительны: есть такие натуры, даже в детстве отличительные. У меня одна девочка в семье: избави Бог, если на воскресный белый фаргучек ляжет пятнышко, не чернильное, а например от супа, варенья, и крошечное, почти не видное. Лежит мой малыш в постеле, рыдает невыносимым рыданием: «Мама, перемени фаргук, не могу видеть эту гадость». Еще знал я взрослых, которые моются-моются поутру, точно кожу хотят снять с себя. И опять это что-то в натуре лежащее, отнюдь не воспитанием привитое. У хлыстов есть такое же в натуре лежащее необоримое *отвращение к осквернению тела человеческого*, которое для них представляется... не то храмом<sup>1</sup>, а во всяком случае, чем-то необычайно чистым, *хрустальным*, на что не должна лечь ни одна пылинка.

— Да не надо нам сего, вашего брака! — заговорили они гурьбою, заговорили громко. — Я им тексты привожу: «Плодитесь, множитесь — сказал Бог». — «Кто сказал?» — «Бог сказал» — «Где сказал?» — «Как же вы не помните: в *Книге бытия*, — первая глава» — «Да на что нам *Книга бытия*? — у нас Христос». — «Да ведь и *Книга бытия* — от Бога!» — «Ну, что в том: не хотим мы жениться». И, выйдя из-за стола, мужик указал на «черничек» девочек-девушек-женщин, и, с невыразимой нежностью глядя на них, проговорил:

— «Вот, глядите, *все они чистые!*..» Буквально я не припомню слов: но со святым, высоким порывом он заговорил, как мы говорим о детях 7—6 лет, о дочерях своих в младенческом возрасте: «Вот, не грех коснулся их? И душеньки их, и тельца их: это только Богу, а не человеку!» Глаза его загорелись негодованием: «А вы хотели бы эти-то невинные и чистые сосуды, когда они сами горят любовью только к Единому Христу — осквернить плотскими отношениями».

---

<sup>1</sup> Мысль — позволительная, ибо у ап. Павла есть знаменитое выражение: «*Тела ваши суть храмы Божии*».

Он весь горел. Да что за тайна? Да то и тайна, что вы с глубоким бы оскорблением почувствовали, если бы ваш друг, хороший богослов, напоминая «плодитесь! множитесь!» посмотрел «брачно» на вашу 8-летнюю дочь, учащую таблицу умножения; или как бы Лиза Калитина, в минуту, когда она уже решила монастырь для себя и вся загорелась новым чувством к Небесному Жениху, выслушала предложение бравого майора: «Сударыня, брак ваш с Лаврецким не удался, то выйдете за меня, — я все равно мужчина». Какое негодование! Какое расхождение натур, всего понимания вещей! Оканы расхлынулись: а между тем тексты «плодитесь, множитесь» — *на стороне майора и на стороне сластолюбивого* вашего друга-богослова. Две натуры, отцовская в отношении дитяти-дочери, и Лизы Калитиной, — не рассуждая, не держа памяти, вышибли бы из рук ваших тексты, растоптали бы вас самого, со всем богословием. А каждый, смотря со стороны, сказал бы: «Да, у него богословие, но как сам он гадок! Да, эти девы поступили против Писания: но мы готовы молиться на них! Мадонны!»

Я произнес католический термин, уверенный, что и у католиков, — коих «Мадонна» имеет только вербальное отношение к исторической и живой Божией Матери, а на самом деле есть совершенно другое и самостоятельное существо, ими почти заново сотворенное, — что и у них суть этой «Мадонны», заливающей все количество, гнездится в не опознанном «хлыстовстве» же, в хлыстовстве, конечно, без обрядов, без догматов, нимало на наше не похожем; в хлыстовстве как принципе и явлении в своем роде *всемирном*, может быть, *объемлющем и языческий, и христианский мир*. Просто — *такая психика!* Просто — *такой феномен, странствующий в человечестве*, может быть, ему *враждебный*, по крайней мере, как патологический, болезненный, *уклончивый от нормы*, но *всегда бывший и не имеющий когда-нибудь пройти*. Ибо раз человеческая природа теперь смертна, то и некоторые болезни, отклонения от нормы, сии дробы смерти и смертного — очевидно, извечно будут и останутся присущи человечеству. Передо мною сидевшие люди, может быть, имеющие патологическое уклонение от нормы, были во всяком случае безусловно и абсолютно — как Лиза уже в монастыре или как 7-летняя девочка — *не способны, не восприимчивы, глубоко антагонистичны браку*. Конечно, и между хлыстами есть «не настоящие» хлысты. Вспомним глубокомысленное слово моего приятеля, что хлыстом «нужно родиться». Как ведь и у нас в монашество не все идут «с призыванием». Но здесь и там, несомненно, есть основной стан людей довольно особой от нас природы, для которых божественное заповедание (ведь, однако, божественное?) ничем не звучит, просто — не слышно. И они до того уверены в своей природе, да и мир, глядя на них со стороны, до того же уверен в их *духовной красоте, прелести, героизме, высоте*, что говорит о них, а они сами о себе: «*Хоть и против Бога, а — святы!*»

Я говорю о монахах, с одной стороны; и о *самочувствии хлыстов* — с другой.

Страшно. Если сопоставить с текстами, которые ведь только бисер с разорванной жемчужной нити цельной духовной системы, — то страшно. Так, само по себе, если только поглядеть со стороны, — то как будто хорошо. Я знаю, все скажут (и вечно говорят), «однако в Новом Завете сказано, что — *лучше не жениться*». С этого-то и начинается все страшное. В Ветхом Завете, который тоже *божествен*, сказано *вообще и без всякого исключения*: «плодитесь, множитесь». Назорейство, за которое иногда цепляются девственники, в Ветхом Завете девством никогда не было: пример — Самсон-назорей и Далила, открывая и не запрещенная его жена или возлюбленная. Нет, в Ветхом Завете *ничего монашеского* не было; в Новом — явилось и даже явно *превознеслось!* И наступает, для вдумчивых и грустных натур, для натур, в совести ответственных, такой «разлом», «распад» Заветов, их «расхождение» *в идеале, объемлющем корни природы человеческой и всю мировую жизнь* (биология, быт народов), из которого и выхода нет и берегов не видно. Передаю это, ибо об этом уже теперь записали, заговорили, это уже поставлено тезисами двух борющихся мирозозерцаний. Добавлю для выяснения опасности: что ведь если согласиться с хлыстом, который прямо в лицо отверг мне «Книгу бытия», сказав: «У нас — Христос, зачем нам Книга бытия» (он точно летел, когда сказал это, точно перелетел через Ветхий Завет, не столько порицая его, сколько выразив: «Это — позади и не надо»), — то ведь, однако, и Христа мы *узнали*, как Мессию, лишь по предсказаниям о нем в ветхозаветных же книгах. И «не надо» в отношении всего этого Завета — отдается как эхо и *на предсказательных этих местах*: и падает вся достоверность и неоспоримость евангельской истории. Все темно. И все страшно опасно. Глупые не тревожатся. Но умные, поняв глубину вопроса, очень затревожились.

И взглянул я на этих «мадонн»: хоть бы одно хорошенькое личико! Курю я, по несчастью, папиросы и красивые лица люблю же. Сидят мои «чернички» одна некрасивее другой. В темных платочках. Скромные платьица. Молчаливы, страшно молчаливы. Но вот еще особенность, никогда мною не виденная в большом собрании людей. Все девичьи лица были до того неестественно бледны, как бы из них кто выжал кровь или кровь вся куда-то ушла, в сердце, в пятки — не знаю: в лице не осталось никакого цвета, яркости, краски. Не говоря об улыбке: этого и подумать здесь нельзя было! До того серьезно и трогательно все было здесь настроено. Кстати, о настроении.

Когда мы входим *в дом*, когда раздумываем, *куда* нам пойти, — то, собственно, *выбираем настроение дома*, и идем *в гости к семейному настроению*. Вот вы ходите, год-два-десять лет туда-то; обедаете, закусываете в нем; философствуете с хозяином, балагурите с хозяйкой. Ласкаете детей. И вдруг бы хозяин умер; или дифтерит срезал и унес бы всех детей. Страшное си-

ротство! Глубокая меланхолия! Входите в тот же дом, где всегда бывали: *не те лица и не тот* весь дом! Но, кроме того, и вы, и все входящие в дом *ведут себя совсем иначе, чем прежде*: открылось у вас какое-то глубокое дружелюбие к этому дому, готовность все сделать для этих осиротевших людей. А сами эти осиротевшие старики ко всем людям и вещам относятся как *к своим и не своим*. Все стало и *ближе и дальше* к ним. Все люди — точно *немножко родные, друзья*. Возможно, что скажут соседу: «Поди, купи мне креп»; незнакомого попросят: «Голубчик — подай ту вещь, принеси — другую». Это возможно. *Чопорность исчезла*. Деликатность, *нежность* беспредельно выросла. Но и все *вещи* также стали ужасно далеки: *не хочется беречь*. О том и о другом скажут соседу: «Возьми это! На что мне это — возьми!» Меланхолия все растворила и все преобразила: все — *мое* и все — *не мое*, все — *родные и никого — родных*. «Вы идете, не накинув шубу: простудитесь, захвораете!» — говорят сироте-старика. — «Умереть? о, с какой бы радостью!»

Вот такое отсутствие *крепости земли, связанности с землею*, есть в высочайшей степени и у хлыстов. Все у них прибрано — да. Чистоплотно все, не пахнет съестным, водкой, мясом — *как и в доме, где за стеной под белой простыней лежит дорогой покойник*. Все возбуждены. Скорей, даже все потрясены, — такова именно вся психология; и их ужасает ваш неприбранный вид, как вид пьяного и даже просто человека «навеселе» кроваво царапнул бы такого сироту-меланхолика. Если они глубоко занегодовали на закуливающих папиросы при выходе из храма, то не потому, что это «нарушало такой-то текст», и не по «византийскому стилю», который выдерживают старообрядцы: но потому, что этих впечатлительных и вместе кротких, нежных людей ударило это точно плетью, и они выкрикнули, кратко и нервно, от боли. Я заговорил о кротости, о нежности. «Васенька», «Матренушка» — все имена зова и обращения были нежные; но именно не плотской нежностью, а вот такой особой нежностью, где стоит покойник. Вы замечаете, — в таком доме никто не распорядится, не закричит, даже не назовет полным именем... «Вася» или «батушка Василий», когда прежде слышалось оборванное «Василий». Меланхолия — да, но только — не бездеятельная. Психология дома была такая, как бы все испуганы, потрясены или неизлечимой болезнью ближнего, или похоронами; но только никто не увял от этого, не упал, не лежит, не опустил руки. Напротив, быстро встают, почти вскакивают. И вообще *оживленность собственно движений, речей, внимания, особенно мысли и воображения* — у них *разительны сравнительно с деревенским нашим людом*, где все движется как «через пень колода».

## VI

— Ну, а не споете ли вы канту из любимых ваших стихов, — предложил мой спутник, и толкнул меня, чтобы я насторожился.

И вот никогда я не забуду этой канты, в которой вдруг выразилось, что они — «не то, что мы». Всякий знает, до чего наше погребальное пение

превосходит музыкальностью, мыслью, поэзией, *святостью* — пение свадебное. Да и всякое другое превосходит! Увы, опять мировая тайна, что ведь все трагическое, решительно все — выше, изящнее, глубокомысленнее комического. То есть при равной степени таланта и, следовательно, по существу именно сюжета. Великая тайна мировая скрыта в том, что вообще скорбь *священнее* радости: не отсюда ли Молох, этот священный ужас древних? Бросаю историю и говорю о том, что видел: вдруг понеслись звуки благородные, грустные, деликатные; музыка слов была так хороша, что собственно слова я не особенно разбирал, тем более, что они были вовсе для меня незнакомы. Вдруг раздался плач; я испуганно посмотрел вправо; не плакала, но заливалась слезами 14-летняя черная (смуглая), ужасно некрасивая девочка. Все пели, и она пела. А рыдания, начавшие ее душить, прерывали пение. Но и у всех почти были слезы. Плач все только сдерживали.

— Слушайте, слушайте, — шепнул мне сосед-спутник, — они поют о соединении с Христом.

Я стал внимательнее к словам. Изображалась в песне душа человеческая, потерявшая Христа или которая вовсе и не знала никогда Христа; и как она тоскует в мире и ничто ее не может утешить, ничто не может удовлетворить ее голод, пока в странствиях своих она не найдет «своего Спасителя и Избавителя». Было что-то *не общее*, а *личное*. Вообще-то и мы так поем или думаем. Но здесь был как бы туман какой-то, туман духовный, и каждая из чернявок-мадонн, да и мужчины-то все тоже, точно распростерев в тумане руки, искали *своего* Христа, *себе лично* Христа, но еще не нашли Его, еще нет Его, и душа их безмерно тоскует, что Его нет. Не забуду, в комментариях к этой песне, одной (обрывистой) тирады, услышанной мною от слишком православной женщины: «Да, но ведь *от чего-нибудь* Христос именуется *Женихом*?! об умершей молодой девушке говорят: вот, *она стала Христовой невестой*! Ведь не говорят: сестрой, ученицей, дочерью, а — *невестой*; *отчего же это?*» Действительно, какая-то смутная или недоговоренная идея «Жениха», конечно, присуща Христу, и Церковь сама так нарекает Его в умиленном пении на страстной седмице: «Се, Жених грядет в полунощи». Но мы музыку слушаем, а в слова не вникаем. Слышим звон, а «не знаем, где он». Хлысты, со всею чуткостью и нервностью, может быть, были поражены этими словами; вдумались в реальный этого смысл, решили, что «не попусту слово молвится», а первоначально оно *сказано было с жизнью и реально*. И — отнеслись к Христу как Живому и Вечному Жениху; не как к брату, отцу или учителю, но именно и специально как к Жениху — и полюбили Его *душою* своею, как женщиною, как *Девойю*. «Ψυχη», «Психея» — ведь и у греков представляема была не мужчиною. Здесь же, в этом собрании хлыстов, с ихним «Васенька», «Матренушка», «сестрица», «братец» — все были как на подбор друг к другу, с душами действительно усиленно женственными. Вот этими своими ярко не мужскими душами, умягченными особым умягчением, они и искали Христа: чтобы



не только выслушать Его слово (как все мы), но и слиться с ним в порыве восторга, покорности, повиновения; слиться существом своим и с существом Его: отношение не ученическое к Учителю, а более глубокое.

## VII

Мы сели. Поехали обратно. Мой спутник быстро заговорил:

— О Христе-то они пели? Это намеки. И как томятся. Это их Иван Семеныч (может быть я ошибаюсь в имени). Уехал, сказали, по делам в Новгород. Ихнее «соединение со Христом» и означает плотское соединение с этим Иваном Семенычем; а они дуры, малолетние, этого не разумеют, а старшие их подводят через это пение к этой догадке. Красавец из себя. Он тут с семьей женами живет, а эти все девочки, что вы видели, — предназначены к соблазну им. Ну, да до этого я не допущу. — Он назвал несколько имен знатных покровительниц, начальниц приютов. — «Вот они мне обещали взять всех этих сирот на воспитание. Его вышлем. Корабль разгоним. А невинных спасем».

— Если соблазн: то, конечно, так! Но что же я видел? Фата-моргану? Они сейчас притворились? для нашего приезда? А эти бледные, бескровные лица? Эти слезы? энтузиазм к молитве!.. И — какая-то туретчина, гарем!! Так ведь турки — те толстые, хохочут, плоть от плоти: а эти — так, очевидно, дух от духа! Кто-то чего-то не понимает: или — мой спутник, или — я!

«Христа» хлыстовского я все-таки увидел, но только не в «корабле» их, а как совершенно частного человека. Прослышал я, что на Стремянной улице, в зале «Общества распространения просвещения в духе православия», происходят какие-то «собеседования с раскольниками». И как несколько скучал после прекращения Религиозно-философских собраний, то и решил посетить их. Нужно заметить, что для всякого человека, хотя краешком души коснувшегося религиозных вопросов и притом коснувшегося их не официально и не по указке, а своею душою и свободно, становится уже чрезвычайно трудно всецело предаться чему-нибудь другому. Ни одна наука и даже все они не соприкасаются так с самыми границами истории, с первым началом ее и правдоподобным будущим концом (Страшный Суд), как религия. Далее, возьмем ли мы «ассоциацию идей» или «закон Фехнера» в психологии: все это покажется какою-то игрою в куклы сравнительно с богатством психологического наблюдения и психологических законов, открывающихся в писаниях великих подвижников пустыни и вообще «наших отцов». Психология Вундта куда беднее изречений Антония Великого или Макария Египетского. Наконец, язык их, этот и спокойный, и порывистый

язык, так исполненный пафоса и величия, недаром же еще *в рукописную эпоху имел миллионы слушателей — читателей*. Ей-ей, ни в какую эпоху Вундта или Милля *не стали бы переписывать в сотнях тысяч экземпляров*. Скучно показалось бы бумаге, перу, не вытерпели бы читатели и переписчики. Таинственная речь и Библии, и Евангелия вечно, при углублениях в религию — перед глазами, на языке; наконец, вопросы о жизни совести, загадки покаяния и возрождения души человеческой — все это куда занимательнее костей мамонта и даже радиоактивного света. Ну, не занимательнее последнего, то все-таки и не уступает ему. От этого вся область религии, будет ли она служить предметом для мысли или для безыскусственной жизни сердца, богаче, глубже и просветительнее, нежели мир наук, нежели философия. «*Philosophia est ancilla theologiae*», «философия есть служанка богословия», эта поговорка, сложившаяся в средние века, могла бы остаться навсегда справедливою, если бы сама «теология» не попала неосторожно в рабство, в неволю перед самою собою, — своими суевериями, своим преждевременным страхом. Известно, что последние Меровинги (первая династия французских королей) были уничтожены, попав в руки своих майордомов, т. е. домоправителей, экономов, попросту — слуг, первоначально во всем повиновавшихся королям. Вот роль таких «майордомов» около религии стали играть не по разуму усердные служители ее. Заблуждения «века сего» и в конце концов века каждого они стали возводить в какие-то ненарушимые тезисы. Вырос чудовищный забор схоластических построений, искусственных и зыбких, но относительно которых все притворялись, будто верят, что он стоит чуть ли не от потопа и простоит до Страшного Суда. Вырос коралловой риф теологии, в котором живучее, живущее — только на поверхности, а внутри он уже весь окостенел, окаменел, и о него только разбиваются корабли свободного человеческого и мирового плавания. Некогда питавшее человеческую душу — стало притуплять ее; окрылявшее — стало усыплять; освобождавшее — стало поработать ее. Некогда исторгавшее у человека слезы стало возбуждать негодование. Повторяем, это вовсе не существо религии, а бесчеловечное отношение исторических людей к религии. И вот, как ни тяжел этот каменный риф давно не живых мыслей, давно перегоревших и ставших трупом чувств, — все же этот старый риф, с осколками разбившихся около него кораблей, тянет к себе душу. И строй его, и *fatum* его, и погребенные здесь надежды и чаяния человечества, — все снова и снова притягивает сюда. И, даже без особенной любви к нему, все ходишь-ходишь мимо — и вот завернешь опять утлую лодочку личной биографии «к давно забытым берегам», как поет князь в «Русалке».

Словом, я заскучал по попам. Да не обидятся священники на меня за употребление этого народного имени, которое в устах моих не уничижительно, а есть только движение лишний раз обняться с народом. — Зала на Стремянной была уже полна людом. Я пошел обычным ходом: куда! просу-

нуть руки было нельзя, не то что пройти вперед. А отсюда, от дверей, ничего не было слышно, ибо зала необъятно велика, да и говорили что-то впереди на эстраде совершенно тихо. До чего же велика любознательность народа и жажда у него какого-нибудь света, науки, поучения, если эти сотни человек, составлявшие задние ряды присутствовавших, четыре часа стояли неподвижно, как часовые на часах, только с надеждой что-нибудь услышать и буквально ничего не слыша: ибо я, даже оттенком глухоты не страдая, ни одного членораздельного звука не уловил. С отчаянием я вышел на двор, и — разругался. — «Господин, да вы пожалуйста сюда», — обратился ко мне не то дворник, не то «свой человек» для собрания: и провел меня к маленькой двери почти против эстрады, на которой читали, говорили и вообще где был центр данного собрания и льющегося отсюда «просвещения в духе православия» (название общества, которому принадлежит зала). И тут было тесно, но уже не так. Я протискался вперед и сел на какую-то ступеньку, среди народа, но так, что все было видно и слышно. Чтение тянулось очень долго, чрезвычайно долго.

— «Несчастно вы, господин, попали», — заметила мне полная и миловидная женщина в платке, скупливо уткнувшая голову в руки. — Ерунда какая-то происходит. Вы бы приходили вчера или приходите завтра. Вчера пели, всем народом, Царю Небесный. Акафист с коленопреклонением читали. Еще разные молитвы пели и читали Евангелие. А теперь и не весть что говорят, и как отсюда выбраться — не знаю, а только потеряла я свое время, да и народ напрасно стоит, потому что ерунда одна. И слушать нечего».

«Ерундою» верующая баба назвала прения с сектантами, на которые я именно и пришел, выбрав этот день недели. И с какой твердостью она это сказала! — кажется, архиерей ее не переубедил бы. «Ну, и темен же народ», — подумал я. А лицо у бабы скорей было умное, чуть-чуть интеллигентное. Была это мешанка, не работница и не прислуга; верней всего — грамотная. И вот — «ерунда» о всяком движении мысли, кроме прямой и простой молитвы, прямого линейного поклонения. «А еще боятся сектантства, — подумал я, — поди-ка вот такую завлечи в секту». И таких сотни, пожалуй, тысячи были в зале, обширной, как манеж.

Прения мне очень нравились свободой, непринужденностью. Замечу вообще о свободе в духовенстве: вопрос не маловажный для будущего. Нет состава людей, в одной половине которых было бы столько глухого и какого-то добровольного, любовного рабства, а в другой половине столько внутренней, изысканной и деликатной свободы. Как это сочетается — не постигаю. На вечно памятных «Религиозно-философских собраниях» сотни посторонних людей были свидетелями, до чего здесь был соблюден принцип свободы исключительно благодаря отношению к ней духовенства, и как свобода эта нимало не перешла у «гг. литераторов» во что-то несимпатичное и нечистоплотное, благодаря опять же присутствию духовенства, которое са-

мою манерою говорить, возражать, сомневаться, философствовать преобразовало «буйный» дух свободы во что-то кроткое, безбитвенное, в какое-то искреннее желание прийти к соглашению и понять друг друга. Читавшие только протоколы этих собраний, печатавшиеся в «Новом пути» за 1903 и 1904 гг., не имеют настоящего представления о происходивших там прениях, на которые духовенство являлось чуть ли не с большею еще готовностью и жаром, чем светские. Духовенство терпеливо, вдумчиво; оно способно глубоко искать. В некоторых отношениях оно стояло выше светских по самой интеллигентности: и если бы не каменный риф схоластики, спутавший несчастным образом ум этого духовенства, то сколько возможно было бы с ним соглашений, признание великих качеств, в нем содержащихся, и бесспорно великих истин, им исторически хранимых. Но о «каменный риф» их школьного образования разбивалась мысль светских: самое трудное было — заставить духовных просто *понять, о чем говорят и плачутся светские*. И здесь выступали великие преимущества светских; вечно свободные и подвижные, они вносили в собрания *лицо свое, имя свое, биографию свою, сердце свое*. Все — категории, вовсе неизвестны в духовенстве: последнее — *стояло сословием*. Говорило каждое лицо от имени той семинарии, где оно выучилось. Говорилось «от Златоуста», «от Василия Великого»: и ничего — *от себя!* ничегохонько!! Светские прямо ненавидели это «общее», эту «схему», этот трафарет и благочестия и мысли. «Не отрицаем Василия Великого: но скажите что-нибудь от себя!» — «От себя?»... «Но я умер в Василии Великом, умер еще в VII веке после Р. Х.: и с тех пор и по сие время я только тень, ходящая по земле, и из-за которой глаголют слова Василия Великого». Светские прямо это ненавидели. Ненавидели, что им приходится говорить со схемою, которая в себе ничего не чувствует, не мыслит, не страдает ничему, ни о чем не скорбит, но остается тем «кимвалом звенящим и медью бряцающей», о которой их же авторитет выразился, что это — «ничто, если в нем не содержится любви». Явно, что глухота духовенства есть в основании умственная и уже потом сердечная. Но я возвращаюсь к свободе. Каменный риф духовенства лежит на дне глубокого моря. Возможная (и тогда сущая) в нем свобода до того превосходит культурностью своею, деликатностью своею, утонченностью своею, ну, хоть тип адвокатской или писательской свободы, что, кажется, они являются выразителями разных категорий. Эта свобода духовного лица о всем вас расспросит, во все вдумается, подаст руку в трудности; свобода эта неизмеримо активнее свободы общегражданской, которая только пассивна, — все выносит, все допускает, но ничему не сочувствует. Новая европейская свобода есть каменная свобода: уж поверну полемику на этот раз против просвещения и в защиту духовных или вообще в защиту всех религиозных людей. Свобода зиждущая, целющая, — не разрушающая, а спасающая, — свобода как теплота около сердца, как привет уму вашему и вместе спор против него — и, словом, жизненная, живая, «животная» (допустите термин для яркости), эта свобода есть вовсе не одно с политической, ученою или юридическою свободою, кото-

рую культивирует светское общество. Но этот великий дар присущ бывает духовным лицам лишь в том случае, когда они сами свободны, независимы, не подавлены; когда они хоть чуточку *лично* вдохновенны; когда проявление свободы не грозит ущербом никакому их интересу. Напротив, если духовному лицу случится быть природно недобрым или грубым, или придется стоять самому в жестких условиях, то все эти недостатки положения или личности помножаются на всю толщину рифа, на котором стоит духовное лицо. И тогда является что-то чудовищное, от чего бегут народы и закрывает лицо свое цивилизация. Так ведь и совершилось во Франции, в Италии. Произошло так перед Лютером. Может повториться у нас. От религии ли, от небесного ли бегут народы? Разве кому-нибудь не мило солнце, небо? Кому-нибудь противен Бог? Но вот необузданный папа говорит: «Я — Бог». Да и от наших духовных разве не раздавались речи: «Этот дурак Дарвин», «невежественные тюбингенцы», «Фаррар — дрянь дрянью»<sup>1</sup> и т. п., — везде только не дорастая до папы, а, в сущности, нося уже зародыш этого папского: «Я — Бог», «во мне божественный авторитет»; и, словом — «слушайте и повинуйтесь». Вот это «вице-божество» духовенства, в сущности нарушающее первую и вторую заповеди, какие были сказаны человеку: «Да не будут тебя бози *инии, разве Мене*» «не сотвори себе *кумира*», — вот это-то и возмутило народы священным негодованием во Франции и в Италии; плоды чего, грубые, но невольные, мы наблюдаем там. Без Бога человек никогда не захочет остаться. К Богу всегда вернутся. Но возможно, что к духовенству там уже никогда не вернутся.

## VIII

На очень высокой эстраде читал, положив перед собою тетрадочку, молодой человек в сюртуке. «Позвольте, я говорю, во-первых, — Предание, а во-вторых — Писание, два единственные источника и одинаковые авторитета всякого нашего рассуждения». И он поднимал палец кверху для убедительности: ибо не цивилизованная толпа пыталась возражать иногда во время самого чтения. Чтец же хотел дочитать сперва до конца тетрадочку, как закругленный литературный труд. В самом деле, он имел слушателями не один этот простой народ, но и интеллигентных людей. Сзади чтеца, в полукруге на стульях (или креслах), сидело несколько совершенно недвижных и не моргнувших, не высморкавшихся ни разу в течение четырех часов старых протоиереев, и по крайней мере один мне знакомый преподаватель семинарии. Этот был очень умен, но и он, подобно прочим, был недвижим как статуя Будды на Цейлоне. И вообще статуеобразность слушателей, «за чтеца» стоявших и за чтецом сидевших, была поразительна. Дремали ли они? Были

---

<sup>1</sup> Памятная брань, помещенная в объявлении газетном о какой-то тшедушной книжке русского полемиста.

ли очень убеждены во всем? Но только слова бабы, соседки моей: «Все это ерунда, а надо молиться», — как будто стояли вытисненными и на лицах этих почти не живых фигур. Распоряжался всем еще не старый священник, лет 40—50, очень известный в Петербурге. И видно было, как он умен и деловито умен, красноречив без напыщенности, простым владими́ро-московским красноречием. Оговорюсь для пояснения, что у нас есть два типа духовных — киевского и московского склада. Первые имеют в характере своем что-то не стесненное, вольнолюбивое, поэтическое, в обращении с людьми — мягкое. В речи их много воображения, сердца; а при недостатке этого — усладительной риторики. Второй тип духовенства зачался во Владимире-на-Клязьме и Москве. Он — жесток, деловит, имеет крепкую логику и крепкий хозяйственный ум. Иногда, присматриваясь, начинаешь думать, что в настоящем и сердечном смысле он не имеет вовсе понятия о религии, никакого чувства ее; никакого «этого тумана мистического», из коего в конце концов рождались в истории и «боги» и «веры». Кажется, даже к Христу и апостолам он относится приблизительно как учитель греческого языка в гимназии к словам «Jupiter», «Mars», т. е. что «конечно они были и римляне в них верили, но для нас с вами страшен только окружной инспектор». Этот тип суздальско-московской веры совершенно бесстрашен в отношении Бога или совести, ломает речь так и этак, все соответственно желанию «его превосходительства». Но он умен, этот тип людей, любить порядок, страшно последователен и незыблемо упорен в труде. Может он построить 20 томов сочинений, может добраться до высоты Сперанского. И когда я смотрел на гибкую, сильную фигуру священника-распорядителя, стоявшего на эстраде, и слушал его не масленную, но умную речь, то думал: «ну, такого не сломишь». И вспомнил вырвавшееся у Ильи Муромца причитанье о татарине, которым он побивал татар же: «а и жиловать, собака, не оборвется». Именно... Ничто, казалось, не могло бы этого священника переутомить, переломить, побороть. Во всяком столкновении он оказался бы на верху положения.

— Что же вы это за безобразие делаете? Дохнуть негде! Три часа стоим. Хоть бы лавки поставили. Вишь, сами-то все сидите, ведь.

Резкий голос говорил из середины народной тучи. Так и прозвенел, преврав лектора. Так как на народ действительно было жалко и почти страшно глядеть (три часа абсолютной неподвижности и ничего, в сущности, не слыша!), то я с некоторой недоброй радостью посмотрел на «господ сидевших». Было похоже на трех фарисеев и сто мытарей. «Не по Евангелию» стояли тут. «Ну-ка, как они найдутся». Но я был сконфужен.

Распорядитель («жиловатый») моментально нашелся. Упрек себе он обратил в похвалу себе. Выступив вперед и поведа рукою, он обратился к народу: «Вот какая тьма, вот какая жажда слушать вразумительное слово! Стеной стоят, человек к человеку! Тут подвинуться нельзя: где же тут поставить скамьи? Ведь тогда пришлось бы половину впустить, а остальные?! Лишились бы духовной пищи, которой жаждет этот благочестивый и тем-

ный люд. И нам самим жаль стоящих, прискорбно видеть страдание их, но сделать иначе нельзя, и было бы хуже — к ущербу самих слушателей». И т. д., и т. д. И хорошо. И возразить нечего. А усталость, хорошо оговоренная, так и осталась усталостью. Маслеца на ноженьки дали, а скамеечки усталому все же не дали. Потом только я догадался, что конечно не надо было пускать столько народа, ибо все задние ряды все равно ничего совершенно не слышали!

Из густой толпы народа продолжали слышаться возражения, и было любопытно наблюдать, «по каких пор» додумались или дочиталась рабочая и мелкотогровая столичная толпа.

— «Позвольте, «Предание», «Писание»... Да одначе же ученые сомневаются и в самом «Писании». Вот я читал «историю» такой-то «эволюции»: и сказано, что такие «предания» и «писания» у всех народов существовали. Значит, что же тут особенного? Библия — такая же книга, как и остальные». — Задумался говоривший — «Извините, господа священники и ораторы, но я ни во что не верю — ни в Библию, ни в Писание, и не знаю, верю ли в самого Бога».

Я опять опешил. Говорил, в манжетах и галстук, приказчик из магазина или «малый» из книжной лавки. «Ну-ка, как теперь они найдутся? Верно сейчас закричат на него». И вот я был удивлен и тронут необыкновенно мягким ответом, нехитро и не придуманно-мягким, а от души и настоящим. Сказал что-то и миссионер (читавший по тетрадке), и который-то священник, в том смысле, что «у кого нет веры, тому и не дано; может вера со временем придет» и т. д. Словом, мягко, деликатно, умно.

— Позвольте, — еще заговорил из середины тучи: — на странице (такой-то) Фаррара сказано, что «Божия Мать имела еще детей, кроме Иисуса Христа». Выражение евангелиста о «братьях Господних» он так истолковывает. Между тем как в «Руководстве священной истории» (опять имя автора и вообще все точно, в цитатах) разъяснено весьма естественно и духовно, что «братья Господни» суть не плотские братья Христа, а братья ему по духу, и конечно Божия Мать не могла иметь еще детей. Мысль Фаррара явно богохульная. Между тем духовный цензор пропустил книгу, не исправив это выражение, да еще она дана в виде приложения к духовному журналу (такому-то; я забыл имя, но журнал распространенный, вроде «Душеполезного чтения») и вот я получил ее вместе с духовным журналом. Что же это такое? Зачем в народе смуту сеять? Подрывать основы православной веры? Я вижу, что заблуждение, а другой печатному, да еще одобренному духовным цензором, не может не верить. Соблазн.

Торжество распорядителя собрания было полное.

— Прекрасно. Вот и плод! Вы ошибку заметили и сказали нам. Мы здесь озабочены миссионерством, в целях миссионерства существует и самое это собрание; а оказывается, среди слушателей, с которыми мы приготовились

бороться, есть такие, которые могли бы даже сами встать в ряды миссионеров. И делайте так и проповедуйте!! Помогайте труду нашему, апостольскому, тяжелому, и вырывайте везде, где можете, плевелы заблуждения. Отмеченное вами утверждение Фаррара есть конечно ложное, и цензор поступил неосторожно, по крайней мере не оговорив этого в примечании.

И опять хорошо. Никто не обижен, даже и цензор, т. е. все же «власть предрержащая».

## IX

Несколько передних рядов стульев (они все же занимали переднюю часть зала, может быть, до половины) было занято интеллигентными людьми «так себе», из семей духовных, хозяева лавок, кой-кто из учительниц, и т. д. Прямо против эстрады в первом ряду сидел господин — темный-темный брюнет, на которого я обратил внимание, когда он встал и начал возражать кончившему читать миссионеру. Нужно заметить, что во время разных прений распорядитель собрания, резюмируя чтение миссионера и защищая его тезисы, несколько раз почему-то с глубоким негодованием упомянул о таких нелепых сектах, в которых принадлежащие «запершись наглухо ночью, — танцуют». А это могло быть сказано только о хлыстах: и я не понимал, почему так горячится он? Но когда сидевший против эстрады встал и повел длинную речь, то я спросил соседей по ступеньке: «Кто это?» Мне назвали фамилию, и я узнал, что это — тот самый хлыстовский «христос», к которому мы ездили и не застали его дома. Ну, тут я впился глазами.

И возивший меня к хлыстам высокий авторитет по миссионерству не один раз повторял мне, что этот «христос» их — необыкновенный человек как по страшной силе пропаганды и фанатизма, так и по красоте. «Он бы вас в окно выбросил за вашу защиту брака», — сказал он убежденно. Однако о красоте его я думал, что это обыкновенная, аполлоновского типа, красота, к какой мы привыкли. Но было вовсе другое.

Ни на кого он так не похож был, как на Владимира Соловьева, которого я видал, и последний бывал необыкновенно красив, когда «держал себя». Дома и в блузе он был запущен, но когда появлялся впервые среди незнакомых людей и бывал молчалив или придумчиво-разговорчив, бывал обаятелен, — и вовсе типом не аполлоновской красоты, довольно пошловатой, а la кокотка, а вот этим типом сурового библейского пророка. Но, нисколько не преувеличивая, поднявшийся мещанин был несравненно красивее Соловьева, именно — как-то сжатее и сильнее его в фигуре. На нем был длинный сюртук, и вообще европейский костюм, с торговым пошибом. Волосы длинные, почти до плеч, волнистые. Ростом чуть-чуть пониже Соловьева. Голос скорее глухой, грудной, спокойный и твердый. Вся речь запутанная, безграмотная. Видно, что до всего «сам умом доходил». И в речи его не было тех «семи классов пройденной семинарии», которые блестели как сапог в читаемой тетрадке миссионера, правильной, по рубрикам, по параграфам. Говоря спокойно, он тут же тво-



рил мыслью, и от этого была некоторая запутанность в речи, она была без глянца, но, как я скажу ниже, говорившееся было ценно. Дополню сперва однако о фигуре хлыста: она была, я упомянул, вся сжата, но без соловьевской страшной и болезненной худобы, а сжата точно каким-то внутренним стеснением, внутренней крепостью... «Точно из Аравии, а уж во всяком случае чудно встретить в Петербурге»: последнюю мысль навевала его смуглость, совершенно мною никогда не виденная (даже в Италии) у людей арийской крови. Возможно, что он был метис, с цыганской кровью в жилах, о чем мог и не догадываться, ибо магушки детям не все о себе рассказывают. Тонкое, худое, как точеное лицо его было по цвету таково, как если бы кто смешал 1/4 белой краски и 3/4 черной, или уже самое большее половина на половину. Это было самое в нем поразительное, кидающееся в глаза; и от этого я так подробно передаю виденное. Во всяком случае его невозможно не заметить в многотысячной толпе, не отличить, не запомнить. Встретясь с ним на площади, на улице, всякий бы оглянулся на него и опять же запомнил бы. «Таланты, дьяволы! вся секта основана на талантливости, на признании таланта и поклонении ему!.. Нет, ведь это мысль — карлейлевская, а она — у наших хлыстов!» И пытался разобраться в речи хлыстовского «христа».

Сперва ничего не понимал, почти ничего. Отсутствовали наши формы «вводных слов», «главной мысли», «второстепенных мыслей», «заклечения». Но когда я пренебрег этим, я увидел, что речь была конечно содержательнее всего, что говорил из семинарского курса миссионер. Судите сами. «И к Преданию, и к Писанию», — говорил хлыст, — надо уметь правильно отнестись. Без руководства они могут только ввести в заблуждение. Где же этот правильный путь? Вы подбираете тексты, и подпираете толкование толкованием, от книги к книге, и все уходит в бездонную глубь исключительно книжной и часто произвольно наклоняемой мудрости. Раньше, чем толковать Писание, *надо полюбить Христа*. И в жизни мы видим, что только любящий человек, любящий своего наставника, учителя, руководителя, может *постигнуть* настоящим, не ложным образом — и *слово его*. Тем более о Боге: как толковать Божие слово, не любя Бога, и как братья за евангельское слово, так сказать, не вселяя в себя *самого Христа*? не умаляясь в человечестве своем, не подавая всего, что мы имеем от рождения греховного и слабого, чтобы на это чистое место Христос поставил престол Свой (я передаю мысль без буквальности). И вот тогда-то, когда внутреннею трудной и может быть для многих неудачной, невозможной работою над собою, мы этого достигнем, тогда у нас есть чем судить и Слово, и Предание. Не судить, чтобы отвергнуть, а судить, чтобы в полноте и всей жизни его принять. Пока я как бы не вижу лица Христа, ничего о Нем не думаю, да и думой такой не задавался: что же я буду вязать пучки из строк евангелия? Мертвая, безжизненная, возможно ошибочная работа. Но когда постиг *лицо Христа, душу Его*, — если хотя приблизился к этому, тогда видишь, что Он хотел сказать, тогда разумеешь слово Его раньше, чем оно донеслось до уха. Так ведь мытарь не все слова Христовы знал, а был христианин. Есть многие, которые помнят наизусть Евангелие, но что в

том? И есть безграмотные, но которые творят волю Христа, потому что знают, чего Он хотел, для чего сошел на землю; видят как бы лицо Христа. А без этого предварительного пути, без усилия над собою, без победы над страстями и немощами, и наклонностями, от рода идущими, невозможно ничего сделать. И люди, имея одно Предание и Писание, учат разному, и разошлись, и возненавидели друг друга. А в лице Христа — *единство и любовь и мир*».

Я так запомнил, потому что это было для меня ново. Речь хлыста текла, как река через пороги, — с запинками, извилинами, неудачными выражениями и без литературного плана. Она не была заготовлена, но не была и импровизацией. Он искал и затруднялся в выражениях, очевидно, глубокого и давнего убеждения. Но я обращаюсь к читателю: разве тут нет в самом деле метода, оригинальности и новизны? Помню, споря в религиозно-философских собраниях, мы, интеллигенты, все тоже цитировали Евангелие, т. е. держались метода своих оппонентов, как бы миссионеров среди нас. И, пожалуй, получались два словесные вервия, одинаково немощные. Хлыст, можно сказать, совершил работу более оригинальную, чем интеллигенты на этих собраниях, из которых некоторые (Д. С. Мережковский) имели европейскую известность... Он не принял оружия миссионеров; уронил свою шпагу, после чего им осталось бросить и свою. «Чего *хотел* Христос, — вот что нужно узнать: все *остальное* будет тогда ясно». В самом деле, евангелисты, как это и оговорено у них, записали лишь *часть слов* Спасителя. И, может быть, у них не записано многого очень важного. Подбирать слова евангелистов — значит совершать очевидно мертвое дело. Тут — одна глина, где еще «дух Божий» не задышал. Вы, положим, знаете человека: ну, если вы *хорошо постигли его личность*, — вам не для чего помнить всех его слов; вы даже скажете нечто новое как бы от его имени, его манерою, его духом: и он вас обнимет, *одоблив* все даже и *сотворенное, не вторящее* ему. Не так ли? На чем же основана посылка вместо себя другого «доверенного лица?» посылка другом — друга? «Поди, сделай то-то; сотвори это; достигни того; переговори с тем». И вовсе *без передачи точных слов*. Посылка друга для переговоров надежнее посылки *письма*. Так в жизни. Так в бедном человеческом житии. Не так же ли, однако, и в небесных отношениях? В прощальной длинной беседе с учениками Христос так и выразился: «Вы уже *друзи Мои, а не рабы*», «Я знаю вас и вы знаете Меня». *Приближение к Христу* — вот метод!.. Пожалуй, я продолжу мысль хлыста, если скажу, что метод этот заключается в том, чтобы приблизиться к Христу и, как бы погасая в Его лучах, начать светиться уже не собою, а заимствованными от Него лучами, — как луна светит не сама, а отраженными лучами солнца. Христос ведь и называется самою церковью «Солнцем» и «Солнцем правды» (рождественские песнопения). В гигантских усилиях, в большой работе сердца и ума, в ломке всей своей биографии, да и благодаря личным талантам и предрасположениям, хлыст погасает в своем темном «Я», в землистом «Я», — и воз-

родясь в лучах «вечной правды», «вечно Правдивого Лица», становится как бы луною Христа: и не здесь ли, не в этом ли изгибе мысли, и лежит настоящий секрет их «богородице» и «христов», этой самой дикой и поражающей нас удивлением части их учения? Вот такие-то «уподобившиеся Христу» (Единому Подлинному: ссылаясь на Его слова, ведь — они и сами это знают), «луны Христа», принявшие однако частицу подлинного Его существа в себя, как и луна на себе несет тоже подлинные солнечные лучи, — и именуется «христами» и «богородицами», или «лжехристами» и «лжебогородицами» миссионерских книжек. Приблизиться, *ассимилироваться* — это, в самом деле, метод! Не в этом ли состоит вообще даже и всякое усилие, религиозный подвиг — в отличие от религиозной *учености*?

Миссионер, читавший по тетрадке и чрезвычайно превосходивший хлыста закругленностью литературной речи, — ничего даже не понял в мысли хлыста. Они были как бы два гладких колеса, вертевшиеся в противоположные стороны без соединительных зубцов. Миссионер говорил все по-семинарски и от семинарии; хлыст все по-мужицки и от «чрева». Первый на память говорил, чему его выучили в семинарии, как бы рассказывал урок ученикам младшего класса. Для громадной толпы народной это было вразумительно, но в миссионерском смысле это следовало все заменить просто открытием школ, для безграмотных или малограмотных. Из тысячной толпы выделился один со своей работой мысли. И перед ним по духовному опыту, по силе таланта миссионер оказался учеником. В хлыстовстве есть несомненно присутствие фаустовщины, запросов глубоких, порывов страстных, решений оригинальных. Ведь и Ломоносов был вначале только талантливый деревенский паренек; и вот зрелище, как перед ним стал бы куражиться бездарный немецкий преподаватель, в Москве или Берлине, походило бы на это собеседование образованного миссионера с «необразованным сектантом». Натурою сектанты несомненно чувствуют превосходство свое над миссионерами, — натурою фаустовскою, уступая последним в школьной выправке, методе «образованности» речи и аргументации. Миссионеры, побеждая их в словопрениях, не могут оказать на них умственного обаяния; обаяния вообще душевного, гения своего что ли. А ведь религия — веяние, т. е. именно в обаяниях-то, в обаятельности — и лежит ключ возможной и убегающей от миссионеров победы.

## Х

Передам одну удивительную мысль, которая у меня явилась в следующие дни, когда я переживал про себя и обдумывал зрелище, которое видел в «корабле»-общине. Хлыстовство, по моему мнению, есть в *самой натуре вещей нашедшийся ответ на закон Мальтуса*, — о котором тревогою полна западноевропейская мысль, и, зависимо от нее, хотя и в слабейшей степени,

мысль русская. Закон этот, опуская подробности, состоит в доказательстве, что средства пропитания в данной стране, народе и, наконец, в целом человечестве возрастают в арифметической прогрессии, члены которой следуют правилу сложения, тогда как численность народонаселения возрастает в геометрической прогрессии, члены которой следуют правилу умножения. Словом, население, при нормальном размножении, всегда перегоняет трудоспособность и продукты, добываемые ею. «По одежке протягивай ножки» — учит народная мудрость. Но как бы человечество не подбирало под себя «ножки», тем не менее этой «одежке» или, — возвращаясь от иллюстрации к иллюстрируемому, — средств к существованию, не хватает и не может хватить на всех. С краю «ножки» остаются совсем не покрытые. Все ужасы пауперизма, нищета, голод, алкоголизм от отчаяния, преступления, переполненные тюрьмы — все это есть почти математическое последствие того, что вообще арифметическая прогрессия не может угнаться за геометрической. Растут люди быстрее, чем хлеб: вот основной ужас самого бытия человеческого. Проклятие, легшее на человека как род, как на человечество.

Наука точна. С наукой что же поделаться? Наука «поверх добра и зла» в том смысле, что она в первой же своей стадии устанавливает факты, обрисовывает действительность, и тут она должна быть или, точнее невольно бывает точна и неподкупна, как желатиновая пластинка в фотографии. Закон Мальтуса у многих, любящих человечество, надолго отнял сон. Легко произнести: «пауперизм». А разверните-ко картину его *в каждой хижине*. Войдите *в отдельную семью*. Проследите ужас этой семьи: любящие родители, уже обессиленные, больные; и вот их дети, от невоспитания, заброшенности — уже уличные воришки в мужской половине, проститутки<sup>1</sup> — в женской. Все ведь день за днем... На глазах родителей, дедов. С ужасающей последовательностью, неумолимостью. Чудовищно! «Нет, только чудовище могло создать человека не только таким уродцем, но и таким несчастным» — это и срывалось, а во всяком случае в праве было сорваться с уст филантропа.

Между европейскими мыслителями 2-й половины XIX века немного можно найти равных по величию ума, необозримой учености и по благородству души — Джону Стюарту Миллю. Автор «Утилитарианизма», «Си-

---

<sup>1</sup> Не могу не передать одного разительного случая: закинув руки за голову, 22-летняя красивая девушка работница-проститутка проговорила: «И-и-их! Кабы не нужда, пошла ли бы я на такую жизнь. Вот ваши два рубля отдам хозяйке за квартиру, останется еще за мной четыре. А ужинать — нечего, лягу так. Мы за квартиру 6 рублей платим, да еда, да нужно одежонки, а я на фабрике всех получаю 14 рублей». (На вопросы): «Нет, я не русская, мы из стариков». — «Мать, четверо маленьких, а большая — я одна». — «Мать говорит мне только: «Не води знакомства ни с кем (хулиганы, проститутки): а *пройдешь сторонкой — и никто тебя не осудит*». Т. е. это *о способе проституции, о выходе на улицу*. Эти слова матери своей дочери, как она должна исполнять свое ужасное дело, — ужасное *для семьи* *несколько не разрушенной*, с твердым православным укладом, — показались мне настолько ужасны, а сама девушка, в русской простоте и правде своей, показалась до того прекрасно... что, я думаю, это полезно узнать читателю.

стемы логики», «Политической экономии» и еще целого ряда рассуждений и исследований исторических и философских, он может считаться благороднейшим продуктом и вместе двигателем вообще западноевропейской духовной культуры. И вот, при обсуждении положения рабочих классов, он, перебрав всевозможные меры, предложенные для улучшения этого положения, определяет все их как *паллиативы*, и находит *радикальное средство только в одном*: перестает с такою быстротою множиться. «Сами рабочие держат узел рабочего вопроса в руках своих: это — прекратить дальнейший выброс рабочих рук на рынок соперничающего труда». «Рабочие, благоразумно сознав соотношение между спросом на труд и предложением его, и не доверяя всем бессильным обнадеживаниям филантропов, должны по мере возможности воздерживаться от вступления в брак». Так это и прописано у Милля. Да и у одного ли Милля? Все, посвящавшие мысль свою рабочему вопросу, т. е. глубочайшие и человеколюбивейшие мыслители, не находили иного средства, как этого жестокого, и... паллиативного!!

«Не вступайте в брак!» Хорошо. Но как-же иначе? Милль и другие, зарабатывая лишь социальную сторону вопроса, не касались биологической, физиологической. Это — западное «разделение труда», разделение его даже в сфере мысли, при обсуждении какой-нибудь одной конкретной жизненной темы. Пожалуй, «не вступайте в брак». Но ведь это значило только — «не венчайтесь!» а не то чтобы — *вовсе не иметь детей!* Пожалуй, парни и мужики фабричные жен иметь не будут: зато ровно в этой же пропорции увеличится число детей у незамужних девушек на фабриках, и на рынок все равно будет выброшено то же количество «рабочих рук, размножившихся в геометрической прогрессии». Нужно — *не рождать!!* А, — это другое дело, и гораздо труднее, чем «не вступать в брак». Остается проституция. Да, — это исход. «Физиология» действует, а детей не бывает. Никакого уродливого самоискажения, но только — несчастье. Несчастье ужаснейшее тысяч, а в будущем — миллионов девушек, которые потенциально могли бы быть матерями, женами! Нет, ей-ей, что вы ни говорите, как ни жеманьтесь, а будут созваны, и очень скоро, целые международные конгрессы, не из «специалистов» только (которые часто дальше своего носа ничего не видят), а из принцев, поэтов, мудрецов, священников, епископов, с целью не «бороться со злом проституции» (куда уж!), а вот только чтобы урегулировать ее, оформить и сделать менее страдальческою.

Закон Мальтуса и один из двух выходов: или — *убивать* нарождающихся детей, или — не иметь отношения к женщине иначе, чем к проститутке, т. е. бесплодно.

Когда я был у хлыстов, то по памяти стародавних занятий политической экономией и тоже в своем роде слез над законом Мальтуса, — у меня и мелькнула мысль: «вот еще исход, кроме детоубийства и проституции». Милль говорит: «Рабочие должны сами удерживаться вступать в брак». Ко-

торые, однако, рабочие? здоровые, нормальные, уравновешенные? Возможные лучшие отцы будущего поколения? Уж не предоставит ли иметь детей только стареньким богачам, так как избыток средств приобретает только к старости?! Да к этому, т. е. в сущности к национальному вырождению, по-видимому, все и клонится теперь. Милль, в силу западного «разделения труда» (в мысли), не занимался этими дальнейшими выводами из своего решения, которые уже намечены самою жизнью. Высокая его нравственность просто запретила бы ему сказать, посоветовать: 1) брак старичков, 2) запрещение молодежи жениться, 3) проституция и детоубийство для случайного продукта молодых. Чудовищно. Занимаясь лишь 1/4 своей проблемы, Милль и был нравствен и спокоен. Но у русских нет еще «разделения труда» для мысли, и мы слишком видим прямо наивность советов Милля.

Хлысты, как я видел, представляли собою общину в 50—60 человек, *абсолютно не множасьуюся*. Основной канон секты: «Не женатый — не женись, а женатый — разженись!» Но если для зрелого, здорового, уравновешенного рабочего «не женись» есть: 1) душевное томление, 2) кутеж и безобразие холостого быта, 3) соблазн девушек и детоубийство или 4) обращение к проститутке и гниение в известной болезни, — то для хлыста *исключены все эти четыре данные!* Гроб без гроба, погребение без смерти! Для меня поразительно, каким образом исследователи этой секты, с одной стороны, быстро и неудержимо распространяющейся, а с другой — *численно навсегда ограниченной присутствием исключительных, может быть, психопатологических, а может быть, гениальных особенностей*, — не догадались, не увидели того, что само собою кидается в глаза: именно, что хлыстовство представляет *единственную* переносимую, моральную и чистую форму борьбы с законом Мальтуса. Что же стоять с кнутом над рабочим, говоря «не женись», когда рядом нервнопатологический субъект говорит: «Ни за что я не хочу жениться, а дайте мне порадеть», и его тащат в тюрьму или вообще гонят, преследуют. Ну, и дайте им порадеть. Говорят, после раденья бывает так называемый «свальный грех». Категорически могут отвергнуть это на том простом основании, подтверждаемом всеми без исключения наблюдателями хлыстов, всеми без исключения миссионерами, что *у хлыстов никогда не рождается детей*, что было бы абсолютно невозможно, если бы фабула о свальном грехе была истинною. В последнем случае детей рождалось бы не только много, но они рождались бы постоянно и у всех хлыстовок, только от разных отцов. Но сказав это о хлыстах (т. е., что у них рождаются дети), значит стать в противоречие со всем о них известном, засвидетельствованным, удостоверенным. В редчайшем-редчайшем случае бывает такое рождение (дитя всегда убивается, как и в случаях рождения «около монастыря»), очевидно от индивидуального романа, притом не от настоящих хлыстов, а от людей, случайно попавших в эту секту без врожденного призвания. Отвращение их к плотскому общению до такой степени ярко написано, нервно выражено, до такой степени проникает все подробности их учения, их обильную поэзию (песни), и, словом, составляет

такую сущность и зерно их учения, что самое возникновение сплетни о свальном грехе нужно отнести к действию испорченного воображения исследователей (любители «анекдотов» известной окраски). Ведь вся церковная полемика против хлыстов заключается не во многих, а только в одном тезисе, выражаемом в заглавии полемических брошюр: *В защиту брака* — против хлыстов», «*В защиту плотского общения — против хлыстов*», «*О позволительности и должности по Слову Божию плотского брака — против хлыстов!*» Нет тезиса — не было бы полемики, а если есть полемика — то очевидно есть и тезис! Poleмисты отстаивают вовсе *не венчание*, они даже не упоминают о нем, а именно только отстаивают *реальное плотское супружество*. Они как бы говорят, хотя это и странно для христианских богословов: — «Зачем вы не совокупляетесь? Совокупляйтесь! Это — не грех, это — *по слову Божию!*» В этом — текст всех миссионерских книжек.

Словом, не будь у хлыстов учения (точнее — необузданного порыва) об абсолютном, обожевленном, не нарушимом, не загрязняемом девстве — нет самой секты, не с чем полемизировать, нет хлыстов! На этом противоречии двух тезисов, исповедуемых согласно миссионерами: 1) у хлыстов есть свальный грех, 2) хлысты абсолютно девственны, — лучше всего можно видеть, до чего младенческая полемика их, до чего не установлен самый «аз» как постижения ими наших сект, так и борьбы с ними. Следует добавить для незнакомых с темою, что на радения не попадал никто из внешних, ибо за таковое проникновение смельчаку грозит смерть. И мы имеем о них буквально сплетни, привносимые разными показаниями «покаявшихся» вероятно следовавших в этих показаниях «сладкому любопытству» расспрашивавших. Из страшной *затаенности радений* и из всемирной *связанности застенчивости и пола*, стыдливости и чувственного возбуждения, вероятнее всего предположить, что на радениях происходят, начинаясь танцами, какие-нибудь обряды поклонения, почитания, умиления в отношении их «христов», — но как именно *девственников*, и «богородиц» — но как именно *девственниц*-же. Как-то мне приходилось слышать от одного священника, что вот у них, в одном уезде Орловской губернии, «появились хлысты», — и что они «целуют коленку у своей богородицы». Вот что-нибудь подобное, то больше, то меньше, можно предположить. Наклон к этому, к поклонению «пречистому и непорочному телу», сказывается при первом же знакомстве, не скрыт, явен; есть у всех и в отношении ко всем членам общины. А море находится там, куда текут ручейки. Не может же в *центре* явления заключаться что-нибудь, абсолютно *противоречащее краевым очертаниям того же явления*. Свального греха, как беспорядочной формы, но *обычного человеческого общения, дающего в результате ребенка* — абсолютно не может быть у хлыстов. Нужно заметить, говоря так, — я не защищаю их. У массы нашей проституции, совершенно открытой, позволенной, не запрещенной ни единому гражданину Российской империи, и вместе превосходящей всяческий свальный грех (во всяком случае не частый у хлыстов), — исключает всякую брезгливость в отношении последнего, всякую возмож-

ность уголовно, государственно или церковно, преследовать секту именно и исключительно за «свальный грех как безнравственность». Тогда возбудите уголовное преследование против всех, посещающих дома терпимости! Сибирь бы населилась, Россия опустела бы.

Но результаты, достигнутые хлыстами, огромны:

- 1) труд,
- 2) братство,
- 3) порядок,
- 4) полное счастье членов, какое-то «блаженство», «упоение»<sup>1</sup>, без всякого вреда, ущерба для внешних; без всякой муки рабства, принижения и вообще без всякой «подневольности» для членов.

Нет еще рабочей организации, да и вообще не открыто системы человеческих отношений, где добровольно люди так снимали бы свое «я», чтобы вырасти в огромное коллективное «Я» общины, «корабля». Братство их, нежность их, ласка их, родственность их *не* в линии вертикальной (предки и потомки), а в линии горизонтальной (товарищи, «братья») — есть «эврика», в истории еще не найденная. У них же это налицо. Отчего в самом деле не постигнуть, что человечеству, поставленному под проклятие Мальтусова закона, не дано таинственное «искупление», возможность снять с себя печать каинства и убийства (проституция, детоубийство) через эту именно таинственную вкрапленность в *согрус* человечества индивидуумов странных, экзальтированных, в истории то менее, то более численных, которые живут, молятся, трудятся, счастливы, блаженны, но — *никогда не плодятся!* Это явление *биологии и истории*, вдруг получающее свое место и смысл. Не трудно видеть, что эти до известной степени апокалипсические человеки как бы приняли на себя, но фактом, а не идеалом только, *предсказание Апокалипсиса*: «Тогда — *рождать* больше не будут». Я вполне уверен, что изумительная высота в них горизонтальных чувств, *товарищества, братства, содружества* — достигнута именно через *таинственное угашение* в себе *инстинкта* и всей поэзии и *теплоты рождения*. Размножения не происходит: зато община — огромная, человек в 60, и из людей, кровно между собою не связанных, — горит, сочится жизнью, теплом, поэзией, счастьем, *как бы трететное существо младенца потекло по нитям связи чужих между собою членов...* «Корабль» — они называют — эту теплую, даже пламенную общину; я бы, по закону очевидно действующей здесь эквивалентности, назвал ее *социальною утробою*, не рождающею и вечно *возбужденною*: а хлысты — как бы кровинки этой утробы, беспокойные, взволнованные, счастливые,

---

<sup>1</sup> Еще возражение против предполагаемого разврата хлыстов: кто же не знает, что развратный *быт* сопровождается *тоскливым, скучающим* настроением души (в силу потери энергии, сил).



неустанные; глубоко в себе замкнутые и никому не мешающие. Ведь самый их прозелитизм, пропаганда — что такое? Не станут они меня соблазнять. Ни кого-нибудь из членов доброй журнальной редакции, людей рассудительных и спокойных. Они ищут «своих»; «спасают» их. И есть от чего: я сказал, что «хлысты» есть врожденное явление, и если не попасть ему в корабль, то он протомится всю жизнь свою, и куда ни войдет, в работу, на службу, к чужому хозяину, женится — везде *разобьет чужую жизнь и испортит чужое дело*. Хорош же, *уместен* он только в «корабль». «Корабль» есть собственно *единственное место естественной изоляции врожденного «хлыста» от инородной среды*, которой он стал бы вредить, *от несродных ему иных социальных связей*, которые он стал бы расшатывать. Выньте его из корабля, перенесите в общину здоровых (обыкновенных) людей, «нас» — и он сейчас начнет, невольно и самым бытом своим, неумением ни с кем слиться и совместно работать, дезорганизовать нашу общину.

И пусть они имеют «христов» и «богородиц». Ведь кому это из посторонних вредит? Иллюзия, великий призрак. Разве мы не имеем «Тысячи и одной ночи», и кому-нибудь запрещено читать ее? Если позволительны книги в чтении, дозволейте внести книгу и «роман» книги в жизнь. Бог с ними. И еще, последнее еще: все работное, все социальное, строительное, секрет великой дисциплины и любовной дисциплины, наконец талант и повиновение таланту, восторженное, с упоением, — наконец, эта жизнь целой общины не пьяными и дебошными вопросами, но величайшими религиозными вопросами — все это соделывает принадлежащих к этой секте ярким цветным пятном на монотонном ковре народной нашей жизни. Грозит она, по естественной ограниченности ее членов (естественное предрасположение), — ничему не грозит; а в силу закона Мальтуса — положительно обещает многое, обещает бесчисленное и ничем, помимо ее, не устранимое. Будущие государственные русские люди раньше или позже схватят этот комплекс мыслей и поместят потертую секту в ту ячейку общесоциального бытия, где ей следует быть.

Вышенаписанное я изложил по личным впечатлениям. Вот одна песенка, записанная у г. Добротворского («Люди Божи», Казань, 1869 г. — один из капитальных трудов о хлыстах), как томятся хлысты, если их что задержит прийти на таинственное их «радень»:

Тошным было мне тошнёхонько,  
Грустным было мне грустнёшенько;  
Мое сердце растоскуется,

Мне к батюшке (их «христос») в гости хочется.  
Пойду млада: реки текут быстрые,  
Мосты все размостились,

Перевощики все отлучилися;  
Пришло молодой хоть вброд брести,  
Вброд брести, омочитися,  
У батушки осушитися.

Мое сердце растоскуется,  
Сердечный ключ поднимается:  
Мне к матушке (их «богородица») в гости хочется,  
С любезною повидеться,  
С любезною побеседовать.

Мне к верным (хлысты в собрании) в гости хочется.  
С верными повидатися,  
С любезными побеседовать.

Довольно выразительно. Ну, что такую держать? или *как* удержать? Огромное число хлыстовских «духовных» стихов, коренного народного пошиба, свидетельствует опять о таланте, воображении и сердечности, которые разлиты в секте. Не требуется благословлять ее. Но для чего же ее проклинаять?

1904 и 1905 гг.

## МАТЕРИАЛЫ О ХЛЫСТАХ

Предыдущие статьи мои, напечатанные в 1904 и 1905 г. под заглавием: «В мире нашего сектантства» и «Закон Мальтуса и его естественные ограничители», вызвали следующие письма ко мне, которые, с точки зрения справедливости и любопытства, я считаю необходимым напечатать.

Мног. В. В. В одном из последних фельетонов, вы затронули один из безусловно проклятых вопросов, — вопрос о перенаселении земного шара вообще и о законе Мальтуса в частности. Не только здравый смысл, но и сама природа, сама беспощадная действительность на каждом шагу подтверждает справедливость этой теории. Не желают видеть очевидности этого закона только «вожди слепии», ведущие человечество «по своему усмотрению», — и до тех пор, разумеется, пока и ведущий и ведомый не свалятся в яму анархии. Эти господа консерваторы оберегают совсем не культуру и не природу, — они в душе не прочь возвратиться к тем «блаженным временам», — культура служит им только одеждой, прикрывающей их *вольчью натуру*: на этом основана и вся их узкая, лживая и корыстолюбивая мораль. Пользуясь тем, что вся остальная стихия человеческого мяса, — бежит ли она сломя голову в Тивериадское озеро, или топчет самое себя на французском базаре или на Ходынском поле, или покорно прыгает через воображаемую палку, — они поэтому сравнительно легко справляются со своей нелепой и преступной задачей: «поддерживать незыблемые законы природы» (!!!). Как будто природа в самом деле накануне анархии!..

Закон Мальтуса, мне кажется, знаком был и древним мыслителям. Надо радоваться только, что Мальтус не погиб на плахе или на кресте. Зато ученикам

его приходится уже туго. Не перевелись, значит, и в наше время: Домицианы, Калигулы и Нероны — переменили только тогу на мундир. — В самом деле, ведь это же учение легло и в основание учения Христа: Его тайного учения, конечно, за которое Он главным образом и был казнен, а вовсе не за те невинные притчи-аллегории, которые без объяснения непонятны были даже ученикам, и говорились только «для могущих вместить».

Вдумайтесь в евангелие; не по указке, конечно, специалистов: по их толкованию вся эта история получает характер какого-то сплошного абсурда.

Фарисей и архиерей — видите ли — несмотря на то, что присутствовали на всех публичных поучениях Христа и даже спорили с Ним, не решились, однако, взять Его до тех пор, пока не подкупили Иуду (?). И тогда же арестовали Христа, как только Иуда дал им какое-то ценное показание — *предал* (!!); а когда Иуда увидел, что он *обманут* ими — удавился. На допросе, они предлагают Ему рассказать им свое учение (!!). Дальше: им нужно, чтобы *весь* народ требовал казни Христа, ибо они самовольно не имели права казнить; Пилату они по секрету сообщают, что Он *развращает* (!!) народ: а для народа, чтобы объяснить мотивы казни Христа — ищут лжесвидетелей (!!). (От Л. гл. 23).

Тогда Пилат сказал им: «Вот — я избил Его до полусмерти, после этого Он не осмелится, вероятно, учить людей любить друг друга, но казнить Его не за что».

Но архиереи дали ему понять, что, если он не убьет Христа, то этим самым будет *недруг Кесарю* (!!). После такой угрозы, Пилат исполнил их требование.

Но после Христа остались еще ученики. Учение привилось; перекинулось в Грецию, Рим. Римляне, владевшие Грецией, Египтом, Карфагеном, той же Иудеей, и никого не преследовавшие раньше за религию, вдруг начинают травить христиан, и с такой жестокостью, какая неизвестна даже в аду. А христиане проявили такой героизм и благородство души, что это привело в смущение Сатану, но он, впрочем, быстро овладел собою.

Я совсем не знаю сущности учения хлыстов, но, судя по нашим описаниям, их общины-корабли (церкви), отношение друг к другу, и, наконец, те же преследования, — не напоминает ли все это эпоху первых христиан?

Вещь, сознаваясь откровенно — к чему морочить! — и мы не христиане; ведь мы только носим ризы христианские, но одежда не изменит сущности, а если так, то и хлысты могут по существу оказаться более христианами, чем мы. Если хлысты центром всякого разумного существа считают *душу*, а не тело (тело же, как частное, второстепенное, естественно и подчиняется ими — главному, целому), то трудно сказать, кто ближе к истине. «Душа больше тела, а тело больше одежды» — учение Христа. А у нас: «андреевская лента важнее мундира, мундир — тела, а сущность души — на задворках, а имущество или собственность ее — и совсем не признается». Кто же прав? Где истина? «Аз свидетельствую о истине» — сказал Христос, а свидетельство его — Любовь. Ergo — истина есть любовь. Познать Бога-истину человек не в состоянии иначе, как только в виде Любви...

«Нет Бога, кроме любви!».. Любовь — свободная, бескорыстная жертва, принесение своего я на алтарь Божеству, — общение с Божеством, счастье, блаженство, рай, свобода. — Допустим. Но вот вопрос: как и кого любить? — «Ищите прежде Царствия Божия, а об остальном не заботьтесь: оно *само* приложится вам», — таков совет Христа. Человек есть истинный Образ Божий, — разве не все равно «где», «как» и «в ком» увидел ты этот образ? — Люби его: форма или одежда не изменит сущности, а одежда (если только об этом стоит говорить) — лучше та, которая удобнее и приятнее. Собака любит своего хозяина. Запах пота его доставляет ей более наслаждения, чем *vera-violette* княгине М. А. Прикосновение слизистой оболочкой своего носа (тонкая кожа, масса нервов) к руке

своего хозяина, загорелой и не совсем чистой, опять-таки она считает за блаженство, а на мраморные плечи, покрытые пудрой и обнаженные, графини Z-ой и смотреть не хочет. Ведь были случаи, что собака или лошадь умирали голодной смертью (не желая пережить любимое существо) на трупе или могиле своего хозяина. Если собака отлично понимает, что грязь, приставшая к телу хозяина, есть только грязь приставшая к телу хозяина, которую можно сбросить лапой, то — достойно удивления, как иногда мудрые люди не могут понять этого. Тело — одежда души, если оно грязно — вымойте. А если друг считает куски во рту у друга, или не желает сделать другу какое-либо одолжение, так это уже что хотите — только не дружба.

Поэтому и вопрос о чистоте или благородстве тела — пустой и мешающий сути.

Я понимаю, конечно, что задача публициста неблагоприятна: требуется вбить в голову элементарное понятие... В свежую и, если хотите, пустую голову, оно входит легко, а в профессорскую да еще специальную по духовным вопросам — это не всегда легко: — туго набита. О генеральских головах — я и не заикаюсь.

Человек есть мера вссх вещей. Душой человека, как призмой — преломляется луч Божества, и все освещается свойственным ей одной светом. А мы хотим, чтобы каждая душа преломляла только красные лучи, как — «наиболее рациональные». Отсюда и страдание. Вся история служит наглядным доказательством. Целые культуры довольствовались унисонной музыкой, а всякую гармонию считали не только абсурдом, но и преступлением, и тех, кто имел несчастье раньше почувствовать присутствие Божества в гармонии — жгли на кострах, казнили на плахе и т. д., точно так же как и тех, которые почувствовали все тот же перст Божества в движении земли.

А как же — «полный порядок?» что есть истина? — Полный порядок? Мы принимаем за истину какой-то неясный призрак, именно химеру, который все время хватаем за хвост и никак не можем поймать его: мы — за ним, он — от нас... Ведь, право, без натяжки можно сказать, что мы уже высунули язык от этой погони, а конец?.. Несомненно одно: чем дальше — тем хуже. «Прогресс! Прогресс!». Но «прогресс» страдания и *мировой* уже скорби?..

Культура за каждую крупницу сомнительного блага пожирает уже несомненного вола. Приход не соответствует расходу! Десяток, другой годов назад, только такие люди, как Достоевский, видели новое дитя «полного порядка», анархию, — еще во чреве матери ее, а теперь? Мы, кажется, зашли в тупик. Не пора ли пощупать дорогу?..

В заключение — несколько слов о проституции. Несомненно и ясно как день, — если человечество не одумается, оно превратится в сплошную язву. Но не может быть, чтобы мудрая природа-мать не дала человеку какого-нибудь регулятора или лекарства от этой казни египетской! Посмотрите, как она заботится о растениях; как улучшается *качество* злаков, когда плодоносящая почва стоит под паром. Нет, она не допустит гибели человечества, — я глубоко верю в это! — оно возродится, если, конечно, не идти наперекор природе! Не нужно только глумления над божественным естеством и свободой человека.

Уж признаюсь вам — разве мало мудрецов бегает на корде у своей «половины», а она — у начальства? Вон Т. — великий мыслитель, а того и гляди окажется на один шаг от смешного, а если заупрямится так... нет помой, которые не вылились бы на его мудрую голову.

Нет, уж видно правду сказано, что женщина — смертельный враг гения.

А. Куприянова

Милостивый Государь  
Господин Розанов.

Позвольте мне обратиться к вам по поводу ваших статей касательно хлыстов. Ваша статья о них есть печальное знамение времени, — времени декаденщины, когда все уродливое, но пестрое, привлекает внимание. Не знаю, что заставило вас так сочувственно отнестись к учению хлыстов? Вы видели их наружно, и не poznали их грязной внутренности; мысли у вас — совершенно хлыстовские; змия бить — так бить. Вы говорите, что для рабочего «не женись» есть душевное томление, кутеж и безобразия холостого быта, и т. п. Но ведь это не всегда бывает, и такой человек в *хлысты* может пойти; но нужно помнить и знать, что у нас два рода хлыстов: хлысты и скопцы. Не знаю, почему вам нравится их полуязыческое учение с живыми богами, с радениями и свальным грехом? Я не знаю, как с вами говорить — как с верующим или неверующим? Эта ужасная, страшная изуверная секта давно признана опасной для Церкви и Общества, так как эта секта, как и другие секты, склонна к распространению среди простого народа... То неужели не нужно принять меры для ограждения православных от заразы этим нелепым учением?! Господа Ученые, дайте сперва образование народу, чтоб он мог отличить истину от лжи, — тогда пускайте в среду его свободно разгуливать сектантским волкам. Итак, теперь всем желательно дать свободу всяким раскольникам и сектантам, только пусть господа радетели русского народа, — только не истинно русского православного, — пусть они хорошенько сосчитают число сект и толков раскольничьих: пусть признают их право на существование, пусть будет отдан русский православный народ на новое татарское иго во власть раскольников, сектантов и жидов.

Но верится, что Русь святая будет спасена; нужно вам будет, господин Розанов, изучить хорошенько историю раскола и сектантства, а потом писать в защиту его; изучить его не по физиономиям сектантов, а по внутреннему учению их. Вспомнили бы вы хотя тираспольских самоубийц, и убийц замуравивших их в стену, вспомнили бы вы духоборческое царство, вспомнили бы штундистов, отказывающихся защищать отечество: могут ли быть полезными, преданными отечеству гражданами, раскольники, хлысты, духоборцы, штундисты, евреи, татары и язычники? Нет, тысячу раз нет. Всякий, думающий дать свободу иноверным распространять свое лжеучение, есть враг земли русской, ибо в этой свободе есть гибель России. Как чистая вода пока не взбаломучена — грязь лежит на дне; но лишь воду взболтнули — вся грязь поднялась, и стала грязнить воду. Земля русская была спокойна, грязь лежала на дне; началась война, встревожился народ, со дна поднялись разные секты, стали мутить русский народ. Изменник вере православной — не есть русский; о настоящем русском народе забыли, его место заняли раскольники и сектанты, и, пожалуй, евреи.

В газетах заботятся о подъеме духа у старообрядцев, а что этот подъем зовет угнетение духа миллионов русских православных — никому дела нет. Напрасно вы пишете про физическое преследование штундистов, — они свободно ведут пропаганду, собираются на моления, на собраниях иногда бывает миссионер от. Петр Зверев. Он старается действовать на них словом Божиим, а не полицией; лишь в редких случаях, подобных суздальским сидельцам, церковь по «власти вязать и решить» страхом спасает, принимает меры для исправления их. И такие редкие случаи не решаются так сразу любителями лампад и Фомы Кемпийского, а рассматриваются собранием служителей церкви, и таких случаев бывает очень мало, так что в укор церкви ставить нельзя. Почему, когда русским людям особенно тяжело, понадобилось усугублять эту тяжесть разными разновеерцами? Пусть бы они вперед показали свою преданность отечеству,

а уже потом, указывая на свою преданность отечеству, на жертвы, — они могли бы просить равноправия; а то выходит, что они в мутной водиче хотят рыбу ловить.

Очень и очень грустно, что нам, русским православным людям, отводится все меньше и меньше внимания в газетах; первое место — «истинно русским людям старообрядцам»... Только каким, австрийским поповцам, беглопоповцам, или беспоповцам? и какому из бесчисленных толков раскола? Все эти общества, проклинающие и ненавидящие друг друга, составляют ненадежный оплот государства. Простите ради Бога, что затрудняю вас. Что-то грустно стало от того, что пишут и что говорят. Остаюсь уважающий вас

Москва февраля 15 дня.

*Павел Малышев*

Прелестное письмо! В. Р-в.

Бог с вами, г-н Розанов, что вы такое придумали в вашей последней статье о хлыстах! Будто бы хлыстовство есть поклонение чистому незагрязненному девству, и, как таковое, представляет собою путь, как воздержаться от деторождения, не прибегая к проституции!! Хорошо, кабы так! Но сами посудите: ведь это во всяком случае есть уклонение от природы, стало быть нечто неестественное; о от неестественного — один шаг до противоестественного. «Гони природу в дверь, — она влетит в окно», да еще такое, что и назвать совестно. И как это вы легкомысленно говорите, что отсутствие деторождений указывает на отсутствие разврата? А как же, напр., les demivierges Прево? Они несомненно были девственными в физиологическом смысле, и детей не имели, но ведь есть же вещи и похуже совокупления: напр. многие мужья, по словам одной женщины-врача, предпочитают онанизировать своих жен вместо того, чтобы жить с ними, вдобавок — не для их удовольствия, а — своего собственного. Вероятно есть и еще какие-нибудь штучки (мне очень жаль вас портить, но такая невинность публицисту не к лицу). Вот вам говорили, что на радениях хлысты «целуют коленку своей богородицы», а мне — что совсем не коленку, а самое неприличное место, для чего она, становится на двух стульях, образуя арку, под которую верующие подходят как под икону, и — прикладываются<sup>1</sup>. Вы скажете: «это сплетни», — но ведь нет дыму без огня, да и, кроме того, эта версия гораздо последовательнее и ярче выражает поклонение «пречистому и непорочному телу».

Ваше возражение против предполагаемого разврата, опирающееся на светлом, совсем не тоскливом настроении хлыстов, также не выдерживает критики: разве проститутки в общем так уж одержимы меланхолией? Не много бы они заработали в таком случае. А литературные типы вроде Стивы Облонского? А пример Жорж Занд, которая меняла до старости любовников как башмаки, и всегда пребывала в самом ясном, всепрощающем и даже высоком настроении духа?

---

<sup>1</sup> Позволяем себе оставить это показание в его грубой неприкосновенности (оригинал письма сохраняется у меня), так как оно буквально совпадает с сообщением об элевзинских таинствах древних греков: именно, что «участники их adoraient et besaient l'organe sexuel feminin» (приведено у епископа Хрисанфа в 3-м томе «Истории религий древнего мира», см. ниже). И этому соответствует глубокая затаенность как мистерий древности, так и «радений» у хлыстов. См. далее цитаты.

Помнится, в своей статье вы сравнивали хлыстов с турками-полигамистами, и находили у одних пышный расцвет плоти, веселье, смех, у других — испитые тела, темную одежду, болезненную брезгливость, отсутствие всякой жизне-радостности. Все это говорит не *за*, а *против* нравственной чистоты, и ведет прямо к безумию, которое фактически столь распространено среди сектантов. Право, прежде чем объявлять хлыстовство «единственно переносимой моральной и чистой формой борьбы с законом Мальтуса», — вы бы лучше узнали хорошенько, в чем дело. (Неужели, в самом деле, ни один живой человек не видал, что у них происходит на радениях?). Один маленький факт важнее тысячи гипотез.

*Ваши читатели*

Как я уже заметил, в хлыстовстве есть нечто, напоминающее язычество. Соглашаясь с автором последнего письма, что у хлыстов на радениях происходят эти *целования*, я приведу из III тома «Религий древнего мира» епископа Хрисанфа следующие выдержки.

«В Елевзинских и Дионисовых мистериях, — говорит с негодованием блаженный Феодорит, τὸν τοῦ Διονύσου φαλλόν ἴσμεν προσκυνοῦμενον καὶ τὸν κτένᾱ τὸν γυναικῆιον παρὰ γυναικῶν τιμῆς ἀξιούμενον» (стр. 550).

«Греко-римские писатели не отвечают на это удовлетворительно, а церковные учителя *объясняли таинственность мистерий их стыда*, какой необходимо возбуждали эти *обряды* и употреблявшиеся в них *символические предметы*» (стр. 560).

«Св. Григорий Богослов об известных ему Елевзинских мистериях не считал возможным сказать что-либо кроме того, что *стыда ради о них нельзя и говорить*», и что *лучше не выводить на свет то, что совершается во мраке*» («тушат свечи» у хлыстов. В. Р.-в). Эпопты (учителя и руководители таинств), по его словам, сами молчали о том, что *действительно достойно умолчания*». Все учителя церковные *отзывались подобным же образом о мистериях*. Несколько благоприятнее относился к ним только Климент Александрийский, сам *державшийся мистического направления*» (стр. 564).

И, наконец, последняя и самая важная цитата, разъясняющая все эти глупие негодования отцов церкви:

«К прежде сказанному об этом прибавим, что в фаллологиях Дионисиевых и Елевзинских мистерий *все, участвовавшие в этой церемонии, adoraient et baisaient cette image obscène* (носильный fallum). Тоже *делали и с χτεῖς (l'organe sexuel féminin)*, который играл главную роль в фесмофориях. Подробнее смотри у Maury, t. II, 366» (стр. 562 арх. Хрисанфа).

Приведенные цитаты *не оставляют и малейшего сомнения* о тождестве в существенном, во вдохновении и вдохновляющих возбудителях, у греков в Елевзинских и др. *таинствах*, и у русских хлыстов в их *радениях*. Кроме частности, обстановки, слов и проч. Это, как грибы, *белые и боровики*: одна *порода*, один *genus* их, при разном виде, *species*. Тайна Элевзиса, Самофракии и проч. разгадывается. В. Розанов.

# РОКОВАЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА

*Сервис биди Шамаил — скопец волею Божиею.*

## I

25 октября, т. е. с небольшим месяцем назад, присяжные Рязанского окружного суда вынесли обвинительный приговор над 83 мужчинами и женщинами, «принадлежащими к изуверной мистической секте скопцов», основанной в 60-х годах XVIII века Кондратием Селивановым. В архиве Министерства внутренних дел лежат груды «дел» по поводу этой секты, а медицинский департамент того же министерства предпринимал специальные анатомические, физиологические и психопатологические исследования этого опасного сектанства (напр. академика Пеликана). Менее обширны и научны, но зато гораздо более многочисленны попытки богословского ее опровержения. Между тем, так как секта представляет собою церковно-религиозное увлечение, ошибку которого предстояло бы показать, то, очевидно, центр дела заключается именно здесь.

Дух секты подготовлялся и слагался с первых веков христианства. В обширном исследовании академика Пеликана собраны все факты еще древнего самооскопления, которому подвергали себя не только простые верующие, но даже священники в III и IV веках; и там же приведены постановления вселенских соборов, запрещающие это уродование себя, с всегдашнею ссылкой на божественное заповедание: «плодитесь, множитесь, наполните землю». Самооскоплению подверг себя даже великий, хотя не во всех частях учения признанный, учитель церкви, — Ориген. Однако это были разрозненные и частные случаи личного увлечения. Секта скопчества, как определенное учение и определенное, связанное между собою, скопище людей, существует единственно в России. И в этом виде это наше русское скопчество возникло и держится на *буквальном понимании и буквальном следовании* словам Спасителя, записанным в 19 главе евангелиста Матфея. Вот это место:

«Говорят Ему (Иисусу) ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.

Он сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано.

Ибо есть скопцы (в греческом тексте Евангелия *ευνουχοι*), которые из чрева матерного родились так.

И есть скопцы, которые оскоплены от людей.

И есть скопцы, которые *сделали сами себя скопцами для Царства Небесного.*

Кто может вместить, да вместит».

Секта основана на предпоследнем стихе. Приведем его по-славянски, гречески и латыни (официальная католическая вульгата): «И суть скопцы, иже исказиша сами себе, Царствия ради Небеснаго»; «*Καὶ εἰσὶν εὐνουχοὶ, οἵτινες εὐνουχίσαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν Βασιλείαν τοῦ Οὐρανοῦ*»; «*Et sunt eunuchi, qui se ipsos castraverunt propter Regnum Caelorum*».



Все попытки богословов истолковать этот стих, обегая скопчество, не привели ни к чему и полны бессильных натяжек. Они сводятся к трем категориям:

1) Стих этот *«нужно понимать духовно»*. Спаситель говорил «не об анатомическом и физиологическом оскотлении, а о духовном». Оно «и выражено Церковью в институт монашества», — далее которого, в последовании словам Иисуса Христа, никто не должен и не вправе идти. Последователи Селиванова пошли *далее*, — и за это *судятся и осуждены*.

2) Есть Божественная заповедь: «Плодитесь, множитесь», и человек сотворен «по образу, по подобию Божию». Человеческое тело ни в целом, ни в части не подлежит, поэтому, ни уничтожению, ни калечению: это есть грех религиозный и общественное преступление.

3) В Ветхом Завете, в Синайском законодательстве, содержится прямое запрещение скопчества в словах: «скопец и каженник (полускопец) в сонм Господень да не входит». Так как Ветхий и Новый Заветы единомысленны, то и в Новом Завете ничего подобного *настоящему скопчеству* не может содержаться.

Натянутость и прямо неверность объяснений этих усматривается сразу:

1) Слово «εὐνοχος», как и латинское «castraverunt», не оставляют сомнения, что говорится о чем-то *именно анатомическом*. Говорится о телесном, о хирургическом или, по крайней мере, ломком. Не мог Христос, говоря нечто *понятное ученикам Своим* (они Ему *не возражают*, не недоумевают, выслушав Его), говорить об институте монашества и об обетах монашеских, *возникших несколько веков спустя*. Предыдущий стих: «оскотлены от людей», и вслед за ним сейчас: «оскотили сами себя для Царства Небесного», не оставляет сомнения о *тождестве терминов в обоих предложениях*; а в первом случае («оскотлены от людей») он *неоспоримо имеет смысл оперативный, хирургический* (евнухи при дворах восточных деспотов).

2) Институт монашеский требует обета *вечного* воздержания от «плодиться, множитесь», т. е. все равно им требуется «искажение, искалечение» физиологическое. Но что за орган без функции? С испразднением функции должен испраздниться и он — как источник бессильного и запрещенного раздражения, раздражения греховного. «Если соблазняет тебя око твое — вырви его, если соблазняет тебя рука твоя — отсеки ее»: это также заповедания божественные. Душа выше тела; религия — выше социального порядка; церковь — сверхнатуральна; и не апостол ли Павел, лучший истолкователь Христа и христианства, определил все учение Бога-Слова, как «юродство миру», которое представляется «для эллинов безумием и для иудеев соблазном».

3) В Ветхом Завете предписано и обрезание, а в Новом — оно отменено. Тем более могли «прейти» слова: «скопец и каженник в сонм Господень да не входят».

Остается, по-видимому, только четвертое объяснение — самих скопцов.

Оно и возникло.

Но потому, что данное место не было правильно филологически объяснено, и переводом как на славянский, так и на русский язык греческого текста: «διὰ τὴν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν», ему было придано назначение *цели*: «для Царства Небесного», «Царства ради Небесного». *Цель* предполагает *усилие, импульс, влечение, идеал*: и через таковой перевод всем, читающим этот текст, была сообщена уверенность, что Сын Божий, «пришедший грешные спасти», положил скопчество (εὐνοχοί) гранью этого «спасения»; указал на него как на средство избежать физиологического отправления, — которое, по качеству этой *избегаемости*, уже само собою почувствовалось и назвалось «грехом». По *новизне* этой заповеди и некоторых других еще, сравнительно с Ветхим Заветом, все учение И. Христа и именуется самую церковь — «Заветом Новым».

Поразительна небрежность ученых, или какой-то умственный самогипноз их, по которому они не обратили внимания, что греческий предлог διὰ, когда он употребляется с *винительным падежом* как в данном случае (διὰ τὴν Βασιλείαν), указывает *не цель, а обстоятельство причины*. Читаем в общеупотребительном «Греко-русском словаре» проф. Вейсмана: «διὰ, предлог, с винительным падежом означает причину: *через, вследствие, по причине, по, от*». Разница не только огромная, но для истолкования данного места — колоссальная! И. Христос указывает *не идеал, не стремление, а делает третье объяснение бывающих в мире случаев скопчества*, помимо двух первых: 1) «от рождения», 2) «от людей». Не с иным значением предлог этот, при винительном падеже, употребляется и у евангелиста Матфея, в местах, которые не оставляют сомнения, что тут говорится не о цели, а об *обстоятельстве причины*:

В главе 17, стих 20: «по неверию вашему», «διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν».

В главе 24, стих 12: «по причине умножения беззакония (διὰ τὸ πληθύνειν τὴν ἀνομίαν) во многих охладает любовь».

Таким образом, слова о скопчестве, смутившие Селиванова и последователей его, смутили их неверною тенденцией в передаче (цель, идеал), и не могут никого смущать, если их передать соответственно значению предлога: «διὰ»: *при винительном падеже*:

«И суть скопцы, которые сами себя сделали скопцами... *вследствие (по причине, от)...* Царства Небесного».

Можно сделать, в некоторое извинение переводчикам, предположение, что они уклонились от точного, по букве и грамматике, перевода данного места вследствие того, что в *причинном смысле* оно представляло для них неразрешимую темноту. Уму их не вырисовывалось никакого наглядного случая или *обстоятельства*, в реализме которого речение: «Сделали сами себя скопцами *от* Царства Небесного» — получало бы на себя свет и для себя смысл. Между тем оставить читателя при чтении такой книги, как Евангелие, перед набором слов, для самих переводчиков не заключающих ника-

кого смысла — они смущались. И они дали *цель*, перевели «для» — собственно, чтобы дать какую-нибудь мысль вообще.

Предлежало обратиться к тщательным историческим изысканиям. В ту древнюю эпоху, когда слова были произнесены и ученикам Христа, очевидно, были понятны, не существовало ли каких-нибудь особенных и почти технических понятий, нам уже теперь чуждых, а в то время ходячих, которые связывались бы с выражением «*διὰ τὴν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν*» и с частями этого выражения. Что такое «*Βασιλεία?*» что такое «*Οὐρανός*» до Коперника, с дней которого так опустело и обездушилось все в звездах?

«Термины «*Царство Небесное*» и «*Царство Божие*», — говорит проф. кн. С. Н. Трубецкой в книге «Учение о Логосе», — имеет безусловно одинаковый смысл, так как на языке того времени постоянно говорили *Небо* вместо *Бог*, точно также как и употребляли другие выражения, чтобы избежать произнесения Святого Имени. Напр., «я согрешил на Небо и перед тобою» (Луки, 15 гл., стих 18); книжники обычно клялись «Небом», говорили «Небесное Имя» вместо «Божие Имя», «небесный страх» вместо «страх Божий». Таким образом, в выражении «Царство Небесное» разумеется не сфера, в которой пребывает Бог, не Престол Божий, а «Сидящий на нем» (Матфея, гл. 23, ст. 22). Далее, в еврейской литературе того времени «царство» означает не страну, а *правление, власть, владычество*. Так, напр., один из сеферитов Каббалы, т. е. одна из *сил Божиих*, называется *Малкут* — «царство» («*Βασιλική*» Филона). В еврейской литературе можно найти целый ряд подобных примеров: «Господь подчиняет Израиля Своей *власти* («царству») против воли его»; «кто читает ритуальную утреннюю молитву, *шема*, тот принимает на себя *иго царствия* Божия».

Так говорит знаток еврейской литературы именно этой эпохи, когда слагалось учение о Логосе в среде палестинских и александрийских иудеев и в тот самый век, когда Иисус Христос произнес не поддающиеся нашей угадке слова о скопчестве: «*διὰ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν*». Если же выражение «Царство *Небесное*» употреблялось взамен «Царство *Божие*» (чтобы не произносить Священное Имя), и самое слово «царство» имеет значение не пространственное, а — *волевое, властительное*, — то и текст: «и суть скопцы, которые сделали сами себя скопцами... *по причине, по обстоятельствам, от...* Царства Небесного», прочтется так: «и суть скопцы, которые сделали сами себя скопцами *от воли Божией*», или «*по причине* воли Божией», или «*по обстоятельствам* воли Божией», «по Божьей воле».

### III

Чтобы понять, каковыми могли быть эти скопцы, о которых говорит И. Христос ученикам Своим так просто, как бы это было что-то наглядное и общеизвестное в то время, нужно обратиться к величайшим подробностям еврейской бытовой, уличной жизни I века до и после Р. Х. Необозримую и

единственную сокровищницу в этом отношении представляет собою Талмуд. В нем действительно мы находим (трактат «Иевамот») упоминание фактов и еврейских понятий, дающих полное уразумение данного темного места в Евангелии от Матфея. Не забудем, что, по свидетельству древнейшего историка церкви, Евсевия (Eus, III, 39), Евангелие это было написано по-еврейски, хотя сохранился только его греческий перевод: «Матфей на еврейском языке написал изречения, которые каждый истолковывал, как мог». Евреи различали три вида скопцов: 1) «серис хамма» — «солнечный скопец»: это были люди, от рождения страдающие полным и непоправимым мужским бессилием. Термин «солнечный», занесенный в Талмуд, необыкновенно любопытен своею чрезвычайно древностью: известно, что еще египтяне поклонялись Солнцу (священный город — Гелиополис), и параллельно в то же время они поклонялись аписам (особенным быкам), временным и земным воплощениям не столько божественной в нашем смысле, сколько именно *солнечной силы, силы производительности*. «Солнечный скопец» был противоположный полюс такого аписа: он был вовсе лишен производительной силы, не имел в себе нисколько «солнца», «искры Божией» (по-нашему), «небесного луча», «небесного огня» (по-египетски). Таковых-то «солнечных скопцов» раввинистической литературы Христос и имел в виду, поставив их естественно на первом месте, как исходную точку и основной природный факт вообще всего явления скопчества: «*иже от чрева матерняго родишася тако*». 2) Вторую категорию составляли «серис адам» — «скопец от (руки) людей». Таковы были несчастные еврейские пленники (или иначе попадавшие в рабство) у сирийских, ассирийских и египетских владык. Их оскоряли для несения дворцовой службы. Евнухи составляли такую же важную принадлежность туалета женщин древности, как это и до сих пор мы видим на Востоке. Там женщина не появляется в торжественных случаях иначе, как окруженная этими уродцами; и чем она богаче и знатнее — тем их больше. Евнух не был вовсе только страж целомудрия: безобразием и уродством своим, и именно физическим и специально в половом отношении, он *оттенял и усиливал блеск* физической и даже специальной половой красоты девственниц и жен. От этого их было вообще много, — хотя для охранения целомудрия явно не нужно более одного или двух; и особенно много их бывало на свадебных празднествах, т. е. на людных, когда конечно нечего было беречься посягновения на невинность!! Это был убор невесты; черный бархат, на который положена белая жемчужина<sup>1</sup>. У евреев подобно-

---

<sup>1</sup> В одной из сказок «Тысячи и одной ночи» (к сожалению, я не помню — которой) передается следующий красивый эпизод. Евнухи окружают верблюда, на котором едет купленная на базаре красавица, — для гарема их господина. Скучая дорогою, она шутит с ними, неизменно в презрительном, издевающимся тоне. Случилось им проезжать грязным местом; и вот красавица, быстро сняв с пальца бриллиантовое кольцо, швырнула его в самое грязное место грязи и крикнула свуху: «Подними!» Евнух повиновался. Тогда она объяснила сму: «И вы все тоже, что эта грязь; а я среди вас — как это

явления никогда не было, не только вследствие прямого запрещения Моисея («скопец и каженник в сонме Господень да не входит»); но и главным образом вследствие общего и непреклонного устремления всей библейской жизни, законов, пророчеств к исполнению: «оплодотворяйтесь, размножайтесь, наполните землю». 3) Третья категория: «*серис биди шамаим*» = «скопец волею небес»; эта именно последняя категория и составляет наш *quaestio vexata*. Но уже по упоминанию в Талмуде, т. е. в школьной книге, очевидно, что в скопчестве «волею небес», «*διὰ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν*» не содержалось *никакого нового понятия, вводимого впервые Иисусом Христом* в противоположность всему духу Ветхого Завета, а упоминается какой-то бытовой факт ветхозаветной жизни. Какой?

Множество страниц Талмуда посвящено рассмотрению всяческих случаев «возможности» и «невозможности» брака между такими-то и такими-то лицами; и особенно они тщательно взвешиваются, когда дело идет о браке священников и первосвященника. Как известно, священник и первосвященник не могли жениться: 1) на вдове, 2) на разведенной и, наконец, 3) на «лишенной девства». Описывая всевозможные случаи «препятствий к браку» между первосвященником и израильянкою-девицею, Талмуд упоминает «муккат-эц» — «раненная деревом», каковою была девушка, лишившаяся признаков девства и не от насилия, и не по своей воле, а — *по несчастной случайности наткнувшись на сучок дерева*. Таковая теряла право на брак с первосвященником. Аналогичное несчастье могло произойти и с мужчиною, юношею, мальчиком; и, действительно, в одном месте Талмуда описан параллельный случай: «Рабби Йосе сказал: был случай с одним израильянином из Кефар-Менори. Он взошел на вершину камня и, поскользнувшись, упал, причем раздавились его ядра (NB: случай абсолютно тождественный с тем, что делают над собою наши скопцы); сохраняется ли за ним обязанность по смерти бездетного брата вступать в левиратный брак с его вдовою или он должен выдать ей халицу» (нечто вроде развода)?

Вот эти-то последние случаи *скопчества по несчастию*, известные в законнической литературе того времени и составлявшие предмет будничной судебной практики, и *разумелись И. Христом, когда он перешел к третьему виду оскотления*.

И. Христос, Который сказал: «Волос с головы человеческой не падает *без воли Божией*», вводил в последнюю и все категории кажущегося для нас случайным. Сюда входят не только случаи механического повреждения, как при падении на острый камень, но и случаи *выбаливания органов*, напр., рак соответственных частей. Все это — «по воле Божией», а не «от чрева матери» и не «от человек». И в нашем разговорном языке при встрече, напр. с человеком, который при одном здоровом глазе не имеет вовсе другого (выт-

бриллиантовое кольцо. Как кольцо еще лучше сверкает, когда мы его видим в грязи: так я кажусь еще прекраснее и царственнее, когда нахожусь среди вашего безобразия». Сила — среди *бессилия*, дары плодородия — среди *бесплодия*, оазис и вода — среди *высохшей пустыни*: вот в чем лежит пафос «восточных евнухов».

кнут и вытек, а веки его закрылись), вполне возможен диалог, где будут упомянуты все категории повреждения детородных органов, исчисленные И. Христом и исчислявшиеся в Талмуде; будет употреблена та же манера речи: — «Что же у тебя это, *от роду*?» (= «суть бо скопцы *от чрева матернего*»). — «Нет». — «Так, верно, *кто-нибудь* тебе его *выткнул*?» (= «и есть скопцы, которые *оскоплены от людей*»). — «Нет, и этого не было». — «Но как же это произошло? ведь не *сам же ты его себе выткнул*?» (= «и суть скопцы, которые *сами себя сделали скопцами*»). — «Сам выткнул». — «Но как? каким образом? при каких обстоятельствах» (= *διά*)? — «Шел ночью: запнулся и упал в поле: а тут коряга — и сучок прямо и прошел в глаз. Света Божия не взвидел». — «Какое несчастье!» — «Воля Божия...» (= «Власть небес», «*Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν*» — по терминологии древних евреев).

В грубые удельные времена Руси, когда мстительные князья ослепляли один другого (Василько Ростиславович), при виде лишённого глаза слепца (аналогия скопчеству в сфере зрения), и возможен был именно троякий вопрос и ответ о слепоте (= скопчество):

- 1) слепорожденный,
- 2) ослепленный от руки людей,
- 3) ослепший впоследствии и сам, по несчастию, по судьбе, роковым образом; как мы иногда говорим о смерти: — «*Волею Божию* помре».

Христос, едва назвал два вида скопчества, «от чрева матери» и «от людей», даже не мог не назвать непременно и третьего вида, ибо ученики Его поставили *общий* вопрос о безбрачии. Он же сказав, что остаются безбрачными только те, «кому это дано», перечислил, «кому» именно «дано». В нашем переводе опять употреблено неосторожное слово: «вмещают», как бы указующее на идеал, на зов к «вмещению». И, вообще, в переводе, через оттенки выражений, проведена действительно тенденция скопчества, евнушества (конечно — анатомического, ибо другого никакого не бывает, по крайней мере при Иисусе Христе не было), отнюдь не бывшего в словах Спасителя, говорившего о нем в изъяснительном наклонении, а не через *conjunctivus*, *optativus* или *imperativus*. Ведь не обвинят же Христа переводчики, что Он, не употребив повелительного наклонения, скрыл всю полную мысль Свою от учеников, дабы не испугать их сразу; и, однако, оставил в словах Своих нечто, что поздних последователей Его, при естественно нарастающем в веках фанатизме, привело бы к осклощению.

«*Διὰ τὴν Βασιλείαν Οὐρανῶν*», «по власти Небес», «правлением Небесным» — особенно было почти уличным, ходячим выражением, было молвою в ту эпоху, когда о каждом вновь родившемся спрашивали: «Под какую звезду он родился? Какова будет его *судьба*». «*Небеса*» определяли судьбу человека, счастливую или несчастную, от рождения и до могилы, включая и все варианты этой судьбы: преждевременную смерть, несчастное ослепление или вот такое осклощение при падении на острый камень. Еще Валленштейн (самый уже поздний отзвук древней *всеобщей* веры), запираясь в ночи с телескопом и гороскопом, искал о себе *τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν*. «Прав-

ление Небес» — это буквально, как понимали «звезды» в Сирии: в Вавилоне, в Гелиополисе и Мемфисе, и решительно во всех промежуточных меньших странах зависимой культуры, — какова была и Галилея. От того ученики, стоявшие среди толпы «учителей закона», заговоривших со Спасителем о разводе, выслушав о скопчестве с прибавкою этого *διὰ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν* — ни о чем не недоумевают; и не от того, как утверждают «изъяснители», что они сразу же догадались, что дело идет о возжеленном (для изъяснителей) монашестве или что они равнодушны были к закону Моисееву и даже Божию («плодотворяйтесь, множитесь»), но потому, что везде, и на улице и в школах, слышали об этом «серис биди шамаим» — «скопец по воле Небес», «по роковому случаю и несчастью».

Что касается последних слов Спасителя: «могий вместити — да вместит», то ведь мы знаем сплошное письмо харатейных и всяких других древних рукописей, где не было ни прописных букв, ни так называемой «красной строки» наших типографий; а у евреев слова даже не отделялись одно от другого ни малейшим промежутком. Писалось слово к слову сплошь. Была не речь, а масса букв, которую только читающий через остановки голоса разделял на слова. Если «могий вместити — да вместит» слить только с последним стихом в речи Спасителя, где говорится о «скопцах, которые сами себя сделали скопцами для (!!) Царства Небесного», — то и получится буква в букву наше селивановское скопчество, от которого некуда деваться и можно увильнуть только при крайней плутоватости души. Но *слова эти надо печатать с новой строки*, дабы у читателя и мысли о подобном идеале, как исшедшем из уст Христа, не могло зародиться. В этом виде, как новый и самостоятельный стих, он будет естественно *заключатъ всю речь Спасителя о разводе (исходный пункт речи)*, не относясь вовсе к скопчеству. И в самом деле, ну как начать «вмещать», напр. «скопчество от чрева матери», или кто *захотел бы* «от людей» быть оскопленным? («вмещать» указывает на идеал, на возможное и даже должное «хотение»)? Явно, что «могий вместити — да вместит» не относится вовсе к исчислению видов скопчества, каковое исчисление и описание и сделано все в изъяснительном наклонении, без малейшего сообщения ему *волевого, желательного* оттенка; а относится к словам о разводе, где прямо выражено Спасителем *желание* («нельзя разводиться иначе, как по вине прелюбодеяния»). На смущение учеников, что при таковой новой и трудной обязанности мужа к жене, лучше избегать брака, Христос, смягчая заповедь, и сказал: «могий вместити — да вместит». Т. е. «Моя воля, чтобы по иной причине не разводились; и кто ее может исполнить — да исполнит». Это — идеал, а не закон, как и всюду в учении Иисуса Христа.

Замечательное это объяснение слов Христа о скопчестве принадлежит не мне, а было в 1901 году сообщено мне, в частной переписке, мещанином города Тулы Ив. Коноваловым. Именно, в книге своей «В мире неясного и нерешенного» я указал, что Христос, говоря о скопцах: «иже исказиша себе Царствия ради Небеснаго», говорит *явно о чем-то общеизвестном в то время*, ибо не вызывает словами Своими ни волнения, ни нового вопроса у уче-

ников: когда столь страшное дело, как самооскопление, должно бы было вызвать и страх, и смущение, почти отступничество от Христа (ведь еврей-ученики не так, как мы, помнили о заповеди размножения!). Фарисеи, «блюстители закона», при таковом учении Христа, могли бы на нем одном основать свои обвинения Его: и если мы ссылаем в Сибирь скопцов, если Селиванов-немошный, без особых протестов общества, был у нас заточен, то, очевидно, *первое* провозглашение самооскопления «для достижения Царства Небесного», и притом провозглашение его Тем, Кто нарекал Себя Сыном Божиим, «пришедшим исполнить волю Отца», «исполнить закон, а не нарушить его» — должно было вызвать среди чадородного и чадолюбивого израиля невообразимую бурю! Как бы то ни было, не виденный никогда мною этот Ив. Коновалов, исходя из *общеизвестности* и очевидной *нестрашности* для учеников слов о скопцах, которые «сами себя сделали скопцами для Царства Небесного», и сделал почти все те разыскания, какие я изложил здесь, и разъяснил впервые это темное и опасное место. Разъяснение так ясно, что не оставляет о себе ни малейшего сомнения. Вместе с мистической и поистине страшною сектою скопцов, этим, увы, другом и соседом нашего монашества, — падает, правда, и единственное в Евангелии место, на которое оно само опирается. В исследовании «Догматические основы христианского аскетизма» П. Пономарева (Казань, 1899 г.), в главе второй, где автор, после разных «введений» и «предварительных соображений», переходит к настоящему «догматическому основанию» этого почти универсального в историческом христианстве духа, он указывает, что таковым служат слова, записанные в 19 главе у ев. Матфея; «И суть скопцы, иже исказиша сами себе *Царствия ради Небеснаго*». Все великое отступление монашества от социальной, родовой, племенной, народной жизни и есть это «искажиша сами себе»; а высокое положение его в иерархии церковной, властительное и законодательное, основывается на том, что такое трудное «искажение» будто бы совершается «для Царства Небесного», т. е. ради избавления от «греха», для «спасения души» и связанного с этим «рая», «райского блаженства».

На это... идея гороскопа! страх евреев произносить «Священное Имя»! и несчастный перевод предлога διὰ. «Ослеп, наткнувшись на сук»! «сделал сам себя скопцом, упав на острый камень»! «воля Божия, православные»! И никакого «райского блаженства», — как это очевидно и из самого плана сотворения человека Богом, «по образу, по подобию Своему», — не последует за умаление или лишение какой-нибудь части в этом «подобии». Религия духа, нравственного подвига, сострадания к ближнему, под влиянием этого неверного перевода, не могла не свестись и действительно свелась к усилиям то тонкого, то грубого, то косвенного, то прямого «искажения» себя: если не анатомического (Селиванов), то физиологического, бытового, житейского (монашество). И покачнулся на сторону весь столп христианства...

Конечно, скопцы ничего не узнают об этих моих строках. Ведь это все темные мужики. Но если дело *настоящего* и *успешного* «исправления веры»,



«приносящего плод» миссионерства, драгоценно нашей Церкви, да и государству, положившему неисчётные усилия на одоление секты скопцов (см. громадные работы комиссии, результатом которой было сочинение академика Пеликана) — важно радикальное ее искоренение, то нужно непременно поднять «дело о скопчестве». И чтобы оно стало общеизвестно именно среди самих несчастных скопцов, введенных в заблуждение несчастным переводом предлога *διὰ* и полным непониманием данного места самими переводчиками, — нужно, чтобы истинное понимание этого места, теперь не опасного и не могущего никого ввести в заблуждение, распространилось среди сектантов через самих же сектантов! Ведь кто лучший распространитель избавления от заблуждения, как не сами же столь фанатично заблудившиеся в нем! Вот почему, в видах миссии, я не могу не посоветовать вернуть из ссылки *невинно сосланных* туда (кто же виноват? не они же? *они* только читали и исполняли! вина — в переводивших без разумеия!) по приговору рязанского суда; и «дело» это официально следовало бы поднять Министерству внутренних дел, потребовав вторичного рассмотрения его перед присяжными заседателями, чтобы все было громко, ясно (сектанты должны слышать все!), и назначив от себя эксперта и защитника. Пусть государство защищает государственное, а миссионерство (если оно и в этом случае решится настаивать на обвинении) пусть защищает свое. Теперь война и все глухи к чему-нибудь, кроме ее. Но и «дело Христово» чего-нибудь стоит; чего-нибудь стоит судьба даже 80 сосланных человек; и, наконец, пора избыть полутаростолетнюю тревогу России. Ибо раскольники, читая столь явное место и веруя в Христа не так, как мы, но с рыданием и биением кулаком в перси... и не могли, не в силах были остановиться перед «искажением», которое *физиологически* и монашеством требуется; а они прибавили только *анатомическое* «искажение», как и мы все ампутуруем ставшие бесполезными и вредящие органы, не подвергаясь за это ссылке в Сибирь. За что же их преследовать? И *кто* их преследует? Те именно, которые неверным переводом «ввели их во искушение»...

Назад! И — пересмотр всего дела! Конечно, если ползает хоть и полуизуродованная, на четвереньках, как-нибудь, русская совесть по русской земле.

1905 г.

## «СТРАДЫ» КОНДРАТИЯ СЕЛИВАНОВА

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа.  
Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес!

Начало страдания о возлюбленном нашем государе батюшке, искупителе нашсм, который пришел во вторы на землю души на путь спасения забрать, а грех весь изодрать. И он своею волею к нам пришел, а кроме его — никому эту чашу пить, и этому делу — так и быть.

И я не сам пришел. А прислал меня сам Отец Небесный, и матушка Акулина Ивановна, пречистою утробою, которая греха тяжкого недоточная грехам никаким, и была великая миллионщица; приказчики у ней были по всей вселенной, торговали, да уж жили не горевали, а только грех весь из себя выгоняли, и на крест свой люди отдали в руки иудеям.

И на крест меня отдали божьи-люди<sup>1</sup>. А жил я в городе Туле, в доме у жены мирской, у Федосьи Иевлевны грешницы, у ней в подвале там и жил. Она меня приняла, а свои<sup>2</sup> не приняли, и они же доказали и привели к ней в дом команду солдат; однако она в это время не оробела. И я в это время был в подполье, и стали говорить и доказывать: «Ломайте пол. Он там, в подполье». И стали ломать, и не нашли меня; так и в два раза приходили — и не нашли. И сказали: «Пойдемте в третий раз и найдемте его». И стали ломать пол, и — другой. «Ломайте пол третий. Он — в подполье, и найдемте и отдадимте в руки на муки». И вытащили меня за святые волоса, и Бога не страшась. И тут все били, кто чем попало, безо всякой пощады; и поясок с меня сняли, и крест, и ручки назад завязали, и назади гири привязали. И повели с великим комбоем, и шпаги обнажили, и со всех сторон меня ружьем примкнули, одним ружьем в грудь, а другим сзади, и по моим обеим сторонам, только что меня не закололи.

Привели меня в Тулу и посадили меня на крепком стуле. И препоясали меня шелковым пояском железным, фунтов в пятнадцать, и приковали меня к обеим стенам, и за шейку, и за ручки, и за ножки<sup>3</sup>, и хотели меня тут уморить. И было завсегда четыре драгуна на часах; и в другой комнате сидели мои детушки трое, которые на меня доказали, и было сказано поутру сечь их плетьюми. Но мне их стало жаль, и я со креста сошел, и все кандалы с меня свалились, а драгуны в это время все задремали и меня не видели, как я прошел. И я своих детушек нашел и говорил им: «Детушки, не бойтесь. Ничего вам не будет, и будете отпущены. А я уж один пойду на страды за всех своих детушек, прославить имя Христово и победить Змия снова, чтоб он на пути не стоял и моих людишек не поедал». И тут меня хватились, и все злые удивились, а иные устрашились, и по всем местам бросились. И нашли меня на дворе; и я по двору гуляю: из желез я ушел, а со двора не пошел. Отец Небесный мне не велел, и приказал мне сию чашу пить: мимо меня одной нейтить.

И тут мне от нечистых велик был допрос. И ротик (NB. В. Р.) мне драли, и в ушках (NB. В. Р.) моих смотрели, и под носом глядели, говорят: «Глядите

---

<sup>1</sup> Так себя нарекают люди, в простонародии именуемые (насмешливо) «хлысты». — В. Р.

<sup>2</sup> Т. е. «хлысты». — В. Р.

<sup>3</sup> «Поясок», «ручки», «головка», «шейка», «ножки» — все говор какой-то институтки о себе, невольные выражения изнеженной пансионерки... Откуда это?! Не из воспитания, — мужицкого. Это все из природы: Селиванов — девушка! вот чего он не знал о себе; и сорвал с себя мужские детородные органы, не только ему совершенно не нужные, но и противоречившие всему его самоощущению, гадкие, противные. См. о «галлах» древности в начале «Людей лунного света». — В. Р.

езде. Есть у него где-нибудь отравы». И тут мне в личико (NB. В. Р.) плевали, и все тут меня били, кто чем попало, и тут мою головушку сургучом горячим обливали. И приказ был отдан, чтобы «близко к нему не подходить, чтобы на кого-нибудь не дунул или не взглянул: вишь, он великий прелестник, и чтобы не приворотил». И великим называли волхваю, так, как прежде Господа называли волхваю: «Он всякова может прельстить, он и Царя прельстит, недовольно что нас. Ево бы надо до смерти убить, да указ не велит. Смотрите, кормите ево, — да бойтесь, и подавайте ему хлеб на шестике». И хлебовье подавали, ложка была сделана аршина полтора: «Подавайте ему, да прочь отворачивайтесь».

И повезли меня из Тулы в Тамбов. И народу было несчисленно: кто бранит, кто плюет, а Господь это и любит; хошь не любишь, да так Отец Небесный все велел с радостью принять, не для себя, а для всех детушек. А мои детушки стоят и провожают, да плачут. И привезли меня в Тамбов, и посадили в тюрьму. И тут я содержался два месяца.

И опять повезли меня в Сосновку, с великим комбоем, — меня наказывать. Народ за мной шел полки полками. И ружье и шпаги у солдат были наголо, а у мужиков было у всякого в руках по палке. Тут меня сосновские детушки встретили и говорят: «Везут нашава роднова Батюшку». И плакали все слезно. И тут вдруг поднялась великая буря, и сделался в воздухе шум и пыль, что за тридцать сажень никоно не видать было; не довольно Батюшку, и народ весь не разглядишь.

И привезли меня в Сосновку, и стали наказывать меня кнутом, и секли долгое время, так что не родись человек на свете. И мне стало весьма тошно, и стал я просить всех своих верных и праведных: «О, верные и праведные! Помолитесь за меня, и помогите мне вытерпеть сие тошное наказание. О, Отец мой небесный! Не оставь ты меня без своей помочи, и помоги мне все определенное от тебя вынести на моем теле, и если да поможешь, то наступи на злова Змия и раззори всю лепость до конца». Тогда мне стало полегче, и тогда ж указ подоспел, чтоб до смерти не засечь. И эти иудеи по ненависти заставили моих детушек меня держать: за место древа держал мой сын Ионушка, а Ульян за головушку держал.

И тут мою рубашечку всю окривенили, с головушки и до ножек: вся стала в крови, как в морсу. И тут мои детушки мою рубашечку выпросили, а на меня свою беленькую надели. И тут я им сказал, что «я с вами увижусь со всеми». И тут мне стало очень тошно. И сказал я им: «Не можно ли мне дать парного молочка». Но злые сказали: «Вот еще, лечиться хочет»... Однако умилились, отыскали и мне дали. И как я напился — мне стало полегче, и сказал: «благодарю Бога». И тепереч в Сосновке, на котором месте меня секли, по явности поставлена церковь; а тогда мои детушки были люди бедные. И я им сказал: «Только храните чистоту, и всем будете довольны, тайным и явным. Всех вас Отец мой Небесный наградит, и оградой оградит, и Нечистый не будет к вам ходить. А чужих пророков к себе не принимайте».

И повезли меня из Сосновки в Иркутской. И посадили меня в повозку, и ножки мне сковали, и ручки сковали по обеим сторонам телеги, а за шейку железом к подушке приковали. «Смотрите, не упустите», — приказывали. Злой нечистому приказывал: «Такова еще не было и не будет: хошь кого обманет». И повезли за строгим комбоем, наголо шпаги: у мужиков у всякого была палка в руках; а деревенские бабы провожали от деревни до деревни.

В ту пору, когда Пугачева везли, и он на дороге мне встретился. И его провожали полки полками, и то ж под великим везли караулом его; а меня везли вдвое того больше, и весьма строго везли. И тут который народ меня провожал — за ним пошли, а которые его провожали — за мной пошли.

Ехавши я дорогой, и помыслил: «напрасно я людей скоплял, а скопил бы сам себя, и спасал бы свою душу». И где ни взялся Турка<sup>1</sup>, и схватил с моей головушки престол и унес в канаву. А я за ним: «отдай, Турка, да отдай же! А не отдашь, — разорю на земле всю лепость, и не дам ей нигде места на земле, так головушку и срублю». И взял сам Турка, — на головушку мне и надел: «На вот, изволь. Только нас не трогай». И тут престол<sup>2</sup> нес до самого Иркутска, и держал ручками на головушке.

И во время дороги нашли у меня данные детушками моими, зашитые в платье, деньги сорок рублей. И тут меня офицер крепко бил эфесом и палашом по всем моим составам, продолжая оное во всю даже дорогу, так что я во время наказания кнутом не принял столько муки, как от него. Ибо он все члены мои разбил, и при том говорил: «Ты — праведный, тебе не надо иметь деньги, а ты имеешь»; и взял оные себе, и меня приказал каждый день бить, и хотел до смерти убить: отчего у меня и ныне правая рука и все члены болят. Но Господь его наказал.

И во всяком городе был мне допрос великой: никакому душегубцу и никакому разбойнику не было таково, как мне; и везли меня полтора года, сухим путем и водою: шел с прочими невольниками по канату.

И, прибывши в Иркутской, жил не малое время, и увидел во сне про сосновских детушек, будто хочет нечистый дух мой корабль опровергнуть, а я круг своего корабля ходил и столбы становил, с матушкой своей с Акулиной Ивановной, и с сыночком своим с Александром Ивановичем, и с Романом Родивоновичем, и со всеми своими детушками. И мне про своих детушек по явности слуху не было пять лет: ни мне об них, ни им обо мне.

И нарядил Бог дочку мою Анну Сафоновну, и стала пророчить. И стал из ней дух выходить, как отца-искупителя находит и кого к нему из детушек отрядить. И нарядил Бог судьбой своей Алексея Тарасьича и Марeya Карповича. И говорил дух мой, посланный Отца моего, чрез уста Анны Сафоновны: «Ступайте, детушки, за своим Батюшкою». И ей отвечали: «Куда мы,

---

<sup>1</sup> По-видимому, «туркою» Селиванов называет соблазн, грех, чувственность, помысел, вожделение. — В. Р.

<sup>2</sup> Престол — иносказательно или «воздержание», или самое уже *оскопление*, отъятие половых органов. — В. Р.

матушка, поедем, и где нам ево найти?» Она вторично через судьбу Божию прогласила: «Поезжайте. Окромe вас некому ехать. Не вы будете его искать, он вас искать будет». И, благословясь всею обителью, помолились Богу, и всею обителью собрали на дорогу: тогда за суету не стояли. Так и поехали в Иркутской город. И приехали, и лошадей поставили на постоялой двор, и говорят между собою: «Ну, вот, брат. Что нам делать?» И вздумали идти на базар. А я тогда ходил по городу с блюдом, и собирал по явности на церковное строение. И увидел их, и говорю им: «Здравствуйте. Никак вы российские?» Они и признали меня, и залились горькими слезами. Я им говорю: «Молчите, молчите. Подите на постоялой двор, где вы стоите. Я к вам приду». Так ночь пришла. Я к ним и пошел, и пришел, от радости у них и ночевал, обо всем переговорил. Они мне говорили: «Мы за тобой, государь-батюшка, приехали». И я им сказал: «Нет. Я видел, будто у вас на дороге разослано веретье, и нет мне дороги к вам. Еще мне Отец Небесный велел поплакать. Да и вы, когда наплачете чан воды, тогда Отец мой Небесный к вам отпустит. И я вам еще скажу: как поедете к себе в дом, то нападут на вас разбойники; не знаю, как вас Бог помилует. Только вы смотрите, ночью не спите и у Бога милости просите: так Отец мой заступит». Поехали они от меня домой. И, не доезжая верст пять до той деревни, где разбойники живут, так и едут по дороге. И лежит, которой набольший их атаман, — без ноги. И взмолился: «Господа купцы, не можно ли меня довести верст пять до моего двора. Я сам вас за это не оставлю, вы сами увидите, какую я вам сделаю добродетель». И они ево взяли и посадили в повозку в хорошее место. И привезли его к нему в дом, так и братья ево выскочили на двор из горницы с такою радостью: «Эк, наш брат каких подхватил купцов!» И как скоро увидели, что брат без ноги, и припечалились. И деточкам моим пришлось у них ночевать, и они сердцами своими почувствовали страх, что глагол батюшкин исполнился: «Что наш батюшка говорил, вот дело-то теперича и пришло так». И они с ним на двор не поехали, повозку поставили на улице под окошком; и говорят: «Ну, брат! Смотри же, чтобы нам, по глаголу батюшкину, ночку не спать, а ляжем один в горнице, другой в повозке». Так и ночь проходит. Это его прикащики собираются и говорят промеж собою: «Ну, братья, приготовляйтесь. Берите, кому что надо, и смотрите не плошайте и гостей не упушайте». И услышал вдруг их набольшой, что они хотят делать, и проезжих убить; то он им и стал говорить: «Нет, братья. Оставьте, не трогайте, и ничего этого не делайте, и ничего им не говорите. А завтра их поутру проводите честно через ту деревню, где наши товарищи живут, и до той благочестивой деревни, где их ничем не тронут». Приехали в деревню и тут их стали спрашивать: «Которой вы дорогой ехали и где ночевали?» «Мы вот тут ехали и тут ночевали». — И стали дивиться: «Как вас Бог пронес этой дорогой. Тут не довольно проедем ехать, и мы, ближние, боимся и пройти мимо этого места».

Еще я вам скажу. Шел я один раз по дороге на пустом месте, и, где ни взялся блаженный, меня палкой по плечам ударил: «Что стал, глядишь? Ступай, куды послан. Ты назвался Отцем, — еще Учителем».

Еще же я скажу. Когда я был в Туле, сидел на стуле, и там есть монастырь Здвиженье. И я ходил на колокольню. И во все колокола звонил, и всех детушек манил, и в трубу трубил: «Подите, мои детушки, ко мне на корабль, и я вам буду всем рад».

Еще скажу. Пас я овец, и сам влез на древо кедр. Волку сказал: стережи овец. И на древе сидел, крестом благословляя на все четыре стороны.

Еще я пишу вам. Когда я шел в Иркутской, было у меня товару<sup>1</sup> за одной печатью: из Иркутска пришел в Россию, — вынес товару за тремя печатями. И тут меня стали спрашивать Цари, и Короли, и Архиереи, и всякова чину: «Покажи нам товар». Я им отвечал: «Не покажу, сами догадайтесь. Я товар добывал все трудами своими; свечи мне становили — по плечам и по бокам все дубинами, а светильни были — воловые жилы».

Еще. Когда я имел нужду по всем городам ходить, потому что не мог нигде головушки своей преклонить: ходил я в нищенском образе и часто переменял платье на себе. Однажды, не пивши, не евши, сидел трое суток в яме, где бросали всякую падаль. Да во ржи был я десять суток, отчего очень утомившись — лег и заснул; а когда проснулся, то увидел, что возле меня лежит волк и на меня глядит. Но я сказал ему: «Поди в свое место». И он послушался меня и пошел. А потом я проживал в соломе двенадцать суток. и пищи было со мною только один маленький кувшинчик водицы, которую употреблял я по ложечке в сутки. После онаго, перешел я к Божьему Человеку. Но и тут на меня доказали и пришли за мной с обыском. Меня же тогда спрятали и завязали в пеньковой сноп. А которые искали, сказали хозяину: «Что у тебя это какой большой сноп?» А я велел хозяину пробежать назад двора, в поле лечь. После того и еще меня искали. А я был в другом месте, тож у божьего человека, и мне деваться было некуда. Велел покрыть себя свиным корытом, и тут меня Отец мой покрыл, и не нашли.

И еще. Когда я ходил в Туле в нищенском образе, и вздумалось мне идти в село Тифин на ярманку, и там стихи петь. И брат мой Мартынушка меня не пушал и говорил: «Государь-батюшка, не ходи туда, тебя там поймают». Однако я пошел туда и говорил Мартынушке: «Смотри же брат, встречай меня». И пришел я на ярманку, а на ней стоял полк солдат. И у меня было три сумки: две я набрал, да хотел набрать и третью, и сам себе думаю: «Тут-то меня брат мой встретит с большою добычею». И пошел к солдатам просить милостыню<sup>2</sup>. И они меня схватили, и под палатку к себе взяли, и за телегу меня привязали кушаком, и крепко караулили, а набольший говорил им: «Не верьте, он уйдет. Остригите ему половину головы». Тут солдаты

---

<sup>1</sup> Оскопления: «малая печать» — отрезание ядр; «большая печать» — отрезание воспроизводительного органа; и с тем вместе — *всей детородной системы*, насколько она *наружно, органио* (в органах) выражена. — В. Р.

<sup>2</sup> Очевидно, тут говорится о *предложении* оскопиться: «Просил милости себе»; просил, чтобы «*для него, ради его*» — оскопились», «приняли малую печать» (отсечение ядер). В. Р.

остригли мне половину головки. И пришла ночь, и солдаты все полегли вокруг меня, а меня положили в серединках. И я шибко захрапел, будто бы уснул, а солдаты промежду себя и говорят: «Этак старичок намаялся, тотчас и заснул». Потом они все заснули. Так я, взявши, головушку свою тряпочкой обвязал и, через них перепрыгнувши, ушел в рожь. А они меня хватились и закричали: «Бежал! бежал!»... Да уже негде взять; только видно было, где я бежал, там рожь шаталась. И говорят: «Если пешком бежать, не догонишь, а на лошади ехать, то всю рожь поломаешь». И бежал я двадцать пять верст все рожью, да речками; потому, ежели на большую дорогу выйти, нельзя: схватят и увидят, что полголовки<sup>1</sup> острижено. И так я стороной бежал к братцу своему Мартынушке и постучался под окном. И он выскочил, и обнял меня крепко, и сказал: «О, о, братец, братец! Говорил я тебе, чтоб ты не ходил». — «А что? Я — слава Богу!» — «А где же тебе полголовки остригли?» А я ему отвечал: «Я тебе сказал, что я к тебе приду, а волосы вырастут, об этом не тужи». И он меня весьма крепко любил, и во всем берег. Я был молчалив и не смел: так куды мы с ним пойдём и где нам дадут блинков, то он меня все кормил, и подкладал<sup>2</sup>, и говорил: «На, ешь, да ешь же». А я молча кушал.

И мы с ним ходили по божьим людям. И в одно время были мы на бесе-душке, и одна девица Пророчица, по ненависти, стала с камнем у дверей, поднявши руку; и как подняла, так и окаменела у ней рука. А я пошел и лег в ясли, и лежал в них трое суток, не пил и не ел, а крепко плакал. И просил Отца Небесного: «О, Отец мой Небесный! Заступи Ты за меня, сироту, и поддержи под своим покровом». И Отец мой за меня вступился. И она видела во сне, что ее Ангелы наказывали жезлами, и всё её избили, и велели просить у меня прощения и сказали: «Если он тебя не простит, то все будет тебе такое мучение». Тогда она у меня просила прощения и говорила: «Прости меня, что я дерзнула на тебя поднять камень. Я не сама собою, а меня люди научили. И видела я во сне, что меня Ангел жезлом наказывал, и все кости во мне изломаны и болят. И он велел мне у тебя просить прощения, и если тобою прощена не буду, то все такое мучение принимать стану». И тут я её простил. А ещё брат её хотел меня застрелить из ружья. Когда я ходил на праздники из села в Тулу, то каждый праздник, когда я приду, то он выходил в лес с ружьем и стрелял по мне шесть раз; но ружье, по промыслу Божьему, не выстрелило ни одного раза.

И после того, восстали на меня все божьи люди<sup>3</sup>, возненавидели чистоту мою и жаловались Учмителю своему, Пророку Филимону, который ходил

---

<sup>1</sup> Поразительно это «полголовки»: совершенная барышня! См. «Люди лунного света», начало — В. Р.

<sup>2</sup> Замечательно, как «свои» его любят, еще в пору *формирования* секты, значит не по авторитету: любят как *девушку*, *милуются* с ним, он всем им *мил*, по нежности, по мягкости (*девообразность*). — В. Р.

<sup>3</sup> Именуемые «хлысты». В. Р.

в слове бойко. И он про чистоту мою в духе — пел, а так — ненавидел меня и призвавши говорил: «На тебя все жалуются, что ты людей от меня отвращаешь». А я ничего не говорил и все молча был. И он сказал: «Вишь, какой ты: даром что молчишь, — смотри, опасайся». И мне в то время пристать было негде, потому что все меня погнало. Тогда я пошел стороною, лесом, к божьему человеку Аверьяну и, пришедши к нему, говорил: «Любезный Аверьянушка! Не оставь ты меня, сироту, призри и утай от семейства и от посестрии своей, чтоб никто не знал. Пусти меня в житницу, за что тебя Бог не оставит». И он меня призрел и ходил ко мне тихонько от своих. И я ему объявил о чистоте, но он сказал: «Боюсь, чтоб не умереть». И я ему говорил: «Не бойся, не умрешь, а паче воскресишь душу свою, и будет тебе легко и радостно<sup>1</sup>, и станешь, как на крыльях, летать: дух к тебе переселится, и душа в тебе обновится. Поди к Учителю своему, Пророку Филимону, и он тебе то же пропоет, и скажет, что «в твоём доме сам бог втайне живет, и никто об оном не знает, кроме тебя». — И он пропел все то самое, что я ему говорил. И тут он мне поверил, пришел и поклонился, и принял мою чистоту. И, по приказанию моему, объявил посестрии своей, что я у них живу, и сказал ей, как Учитель их обо мне в слове провествовал, что «сам Господь живет у нас в доме тайно, и я его принял».

И еще, в одно время, был я в корабле у матушки своей Акулины Ивановны, у которой было божьих людей тысяча человек. У ней была первая и главная Пророчица Анна Романовна. Она узнавала в море и реках, когда будет рыбы лов и в полях хлеба урожай; почему, и по явности, она прославилась. И узнавши об оном, многие из миру к ней приходили и спрашивали: «Сеять ли нынешний год хлеб»: а также и о рыбе: «Ездить ли ловить или нет». И если она кому велит сеять хлеб или ловить рыбу, то много в тот год уродится хлеба и рыбы поймают; а в который год не прикажет, то ничего не поймают и хлеб не родится. И как я вступил в Собор<sup>2</sup>, а она тогда ходила в слове, и людей было с семьдесят; вдруг все встрепенулось. И, оборотясь ко мне, говорила: «Сам Бог пришел! Теперь твой конь бел и смирен!» И, взявши крест, ходила по порядку по всем в Соборе людям, давала каждому в

---

<sup>1</sup> Очевидно, в оскотлении содержится как продукт — радость, спокойствие, полнота природы: ибо, ведь более семени не выделяется! Но — должно бы! Куда же оно девается, т. е. субстрат его, сущность его, жизненная сила и энергия? Все растворяется в крови оскотленного; и эта кровь — играет, как бы с пузырьками в себе кислорода. Таким образом, скопцы не догадываются, что именно семя то, против коего они враждуют, остается *все целиком в них*, никуда не расходуеться, и родит в них «дар пророчества и восторга» (радения). Если принять, что нормально человек совокушается через 2 дня в третий, то получается около 120 совокущений в год, которые у скопца остаются внутри: и за много лет, за десять-двадцать, кровь его оживится буквально рекою семени. То-то «живоносные ключи», «ключи жизни»; может быть — знаменитая «вода живая», исцеляющая и воскресающая, мифологов и сказаний. «Вещественного пива не пьем, а пьяны бываем», уверение и хлыстов (тоже не совокупающихся), и скопцов. В. Р.

<sup>2</sup> В «собрании», в «корабль» на радение. В. Р.



руки; дошла до меня последнего, потому что я садился всегда у самого порога и за порогом, и был нем, и не слышал, и никогда не отверзал уст своих<sup>1</sup>, и отдала мне. И говорила потом Пророкам: «Ступайте по кругу, и угадайте: у кого бог живет». Тогда Пророки пошли, искали по себе, и по другим богатым, и у первых людей: ни у кого не нашли, а на меня и не подумали. Тогда Анна Романовна сказала им: «Для чего же вы меня бога не нашли, где я пребываю». Взяла у меня крест и показала всем: «Вот где бог живет». И всем это сделалось противно и злобно. Потом велела она выдвинуть на средину Собора сундук и села на оном крепко, и меня возле себя посадила, и говорила: «Ты один откупишь всех иностранных земель товары. И будут у тебя оный спрашивать, то ты никому не давай, и не показывай, и сиди крепко на своем сундуке. А тебя хотят теперь же все продать. Но хотя ты и будешь сослан далеко, и наложат на тебя оковы на руки и ноги, но, по претерпении великих нужд, возвратишься в Россию, и потребуешь всех Пророков к себе на лицо, и станешь судить их своим судом. Тогда тебе все Цари, и Короли, и Архиереи поклонятся, и отдадут великую честь, и пойдут к тебе полки полками». И, в одно время, взявши она меня в особую горницу, и сказала: «Я давно с тобою хочу побеседовать. Садись возле меня». И, посадя, схватила крест, и хотела привести меня, и говорила: «Приложись ко кресту». А я взял от нее, и сказал: «Дай-ко я тебя приведу самоё снова». И она, не слышавши от меня никогда слов, удивясь оному, сказала: «Ах! И ты говоришь! Что ты, с кем говорил?»... И тут накатил на нее мой дух, и она сделалась без чувств, упала на пол. А я испугался, будто бы бог мой ничего не знает: взял, подул на нее своим духом. И она, как от сна пробудилась<sup>2</sup>, встала и перекрестилась, сказала: «О, Господи! Что такое со мною? О! куда твой бог велик. Прости меня». Взяла и приложилась ко кресту и говорила: «Ах! Как что я про тебе видела». А я сказал: «А что такое видела? Скажи, так и я тебе скажу». И тогда она стала мне сказывать, что от меня птица полетела по всей вселенной всем возвестить, что я бог над богами, и царь над царями, и пророк над пророками. Тут я ей сказал: «Это правда. Смотри же, никому об этом не говори, а то плоть тебя убьет».

Но всего моего похождения и страдов не можно пером описать, и человеческого ум не постигнет, а скажу вам только вкратце о возлюбленном моем сыночке Александре Ивановиче<sup>3</sup>, который был мне друг и наперсник.

---

<sup>1</sup> Поразительный образ!! И сколько в нем чувствуется *силы*, тайной *власти*, магии. Селиванов сам себя чувствовал *магом*, и он в точности был *маг*, в уровень с халдейскими звездочетами. В нем ходили моря семени (никуда *не перешедшего*), и вот они-то подняли не малые корабли. Ведь и сам он жил сверх ста лет (ум. в 1823 г.). В. Р.

<sup>2</sup> Судя по глубоко простому тону всего вообще рассказа, нельзя сомневаться, что *так точно все это и было!!* Но что же это такое?!! Феномен, абсолютно неизвестный для психологии и естествоведения, поставивший бы в глубокий тупик Бэна, Милла, Тэна... Но — *было!!* Было — чудо Востока и древности! В. Р.

<sup>3</sup> Шилов. В. Р.

Родился он с благодатию, и еще в мире Бога узнал. Произошел все веры, и был перекрещенец, и во всех верах был учителем, а сам говорил всем: «Не истинна наша вера, и постоять не за что. О, если бы нашел я истинную веру Христову, то бы не пощадил своей плоти. Рад бы головушку за оную сложить, и отдал бы плоть свою на мелкие части раздробить». Господь, услышавши сие его обещание, избрал его мне в помощники. И потому я говорил, чрез искупительские уста свои, сыночку Романушке: «Поди, любезный, к одному человеку, зовут его Александром Ивановичем, и объяви ему об моем спасении и истинной вере; а он давно ищет оной, и желает на путь истинный прийти». Романушка послушал, пошел к нему и стал говорить: «Александрюшка! Не можно ли как получше пожить?» А он ему в ответ: «Нет! Если б ты самого того прислал, от кого ты сам послан, то бы я с ним поговорил, а с тобою мне говорить нечего. Я знаю, что его нет больше на свете, и он один только может наш греховный узел развязать». И, пришедши от него ко мне, Романушка говорил: «Ну, государь! Да ведь он никак приведен! Недовольно нам его учить, но он и нас научит. — «Пришли, говорит, того, от кого ты послан, и он один только может греховный узел развязать». И пошел я к нему сам, и только подхожу к его дому, а он меня и встретил. И говорит: «Вот, — кого надо и кого я ждал сорок лет, тот и идет. Ты-то наш истинный свет, и просветил всю тьму, осветил всю Вселенную, и тобою все грешные души просветятся, и от греховных узлов развяжутся; и тебе я с крестом поклоняюсь. Ты один, а нас много, и рад я за тебя головушку сложить, и на мелкие части плоть свою раздробить. Кто как хочет, а я тебя почитаю за Сына Божьева. И ты поживи на земле, а я прежде тебя сойду. Тебе много еще дел надо на земле сделать: свою чистоту утвердить, и всю лепость истребить, всех Пророков сократить, и всю гордость и грех искоренить». Тут я его благословил крестом, и дал ему крест, свечу и меч<sup>1</sup>, и сказал: «Вот тебе мой меч. Ты будешь у многих древ сучья и грехи сечь». И много с ним побеседовал, и ни с кем так много не беседовал, как с ним. И послал его на первую беседу к матушке своей Акулине Ивановне, и велел поклониться со крестом; а тогда еще с крестом не кланялись. И сказал ему: «Что мы теперь с тобой беседовали, то и Пророки тебе на первой беседе пропоют; и как скоро ты в Собор взойдешь, так и обратится к тебе Пророк и встретит тебя». И он поклонился мне и пошел. И как скоро вступил в Собор, так Пророк и обратился к нему. А он взшел в Собор и поклонился три раза с крестом матушке моей, Царице Небесной, а потом и всем на четыре стороны. И тут все удивились и говорили: «Никак он давно уже приведен. Да кто его научил с крестом кланяться?» И сказали про меня: «*Этот* научил его, — молчанка». И с того времени стали все с крестом поклоняться. А пророк ему запел: «Подика, брат молодец! Я давно тебя дождал: ты мне богу и Духу Святому надо-

---

<sup>1</sup> Все и — символы, и — реальность: меч — для отсекания, свеча — для прижигания, для остановки крови; крест — то, для чего и для кого все это, по чьему все это заповеданию. В. Р.

бен. Благословлю тебя крестом, ты виделся с самим Христом. Вот тебе от самого Сына Божьева меч, и много будешь грехи сечь, только изволь Сына Божьева беречь. Да дастся тебе книга Голубина, от Божьева Сына: ты сам об одной знаешь, и, с кем беседовал, знает. От вас много народу народится: знать, опять старинка хочет явиться». Тут матушка Акулина Ивановна взяла его к себе и изволила спрашивать: «Кто тебя сюда прислал и как ты приведен»? — «Вы, матушка, сами изволите знать, что от одного все приведены — Сына Божьева, да еще — от Владычицы». — «Знаю, знаю! Поди же теперь и поклонись от меня ему!» — И он пришел ко мне, поклонился и говорил: «О, государь батюшка! Что вы мне изволили говорить, то и пророки пели; и матушка Акулина Ивановна изволила разговаривать со мною, и говорила, что «это — мой сыночек», что «все Пророки мне поют, будто от меня Сын Божий народится, я этому и сама дивлюсь». А я ему сказал: «Ну, любезный сыночек, как она с тобой разговорилась, и про какой секрет разговаривала! Даром, что в первый раз, а все равно как со мной — так и с тобой разговаривала!» И тут я ему еще сказал: «Ну, любезный мой сыночек! Даст тебе Отец и Сын и Святой Дух, и Отец Искупитель, много сил, и порубишь много осин<sup>1</sup>. Когда ты Сына Божьева просил — жалует тебя Бог ригию, да тюрьюю. И благодарит тебя Отец и Сын и Святой Дух за ревность твою, и за верное неизменное обещание головушку свою за меня сложить. Ты хочешь живот и сердце насадить, да и сады<sup>2</sup> мне насадить: так я благословляю тебя идтить в ночь, а Господь пойдет на восток, и будет у нас между собою истекать один живой исток; дух мой будет в тебе во веки пребывать и обо мне возвещать. И мы с тобой хотя будем плотями врозь но духом пребудем неразлучно вместе. И кому будет ночь, а тебе — день, и не возьмет тебя никогда лень. Послужим ради Бога и не пощадим своих плотей, — так и Бог послушает нас, а то всех лепость поест. О, любезный мой сыночек! Помогите мне лепость изогнать. Ходил я по всем кораблям и поглядел: но все лепостью перевязаны, братья и сестры; того и норовят, где бы брат с сестрой в одном месте посидеть<sup>3</sup> Уж змею бить, так бей поскорее до смерти, покуда на шею не вспрыгнула и не укусила»... А он мне был верный друг, и великой

---

<sup>1</sup> Иносказательно: т. е. «многих *оскопишь*». Выше также, говоря об «*обрубании сучков у деревьев*» — Селиванов везде разумел *отсекание фаллов*. Древо-человек пошло «в *кривой*» сук, начал «расти в *фалл*» — вот представление, идея и тезис Селиванова. В. Р.

<sup>2</sup> «Сады» — скопческие общины, корабли; «насадить сады» — распространить скопчество. В. Р.

<sup>3</sup> Т. е. у «*божьих людей*» («хлысты») хотя отсутствует *совокупление*, но эротизм — влюбленность и чувственное волнение — сохраняется: но «*нужно и с ним покончить*», решил Селиванов, т. е. отсесть самые органы-возбудители эротизма. Но Селиванов не знал, что *возбудителем* страсти служит кровь, а органы — только осуществители и рабы крови. Нужно выпустить кровь из человека, и тогда он перестанет *желать* («лепость»). Т. е. когда умрет — перестанет и желать: а пока не умер — вечно желает. В. Р.

помощник, непобедимый воин. От начала до конца в жизни своей ревностно воевал противу греха, и много мне помогал. И нет мне ныне такова помощника, и нигде не могу избрать: ни в Питере, ни в Москве, — и ни в других городах; много есть у меня добрых людей, но все нет такова, каков был он. Он не имел и не желал себе чести, равно и не собирал себе телесного богатства, и не занимался суетою. Не щадил своей плоти, и жизнь истощал свою ради отца своего Искупителя, и был верный подражатель Христу, и имел чистый и непорочный сосуд Духу Святому. Он, по благословению Отца своего Небесного, пошел на стан освятить всю вселенную, и истребить в божьих людях всю лепость, и победить Змея лютого, поядающего всех на пути идущих моих детушек. Ну, любезные детушки! Скажу еще вам, и что-то Бог поспешит. Отец-искупитель явился: то которые приведены<sup>1</sup> Александром Ивановичем и белые рубахи<sup>2</sup> надели — и тут я их живых застал; а многие в море потонули, — который по шею, который по пояс. Отец-искупитель явился: всех из моря вытащил и расковал; а на старых учителей нечево пенять».

## «ПОСЛАНИЯ» КОНДРАТИЯ СЕЛИВАНОВА

### I

«Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес! В славу Божию, а истинным душам на спасение и вечную радость.

Послание от истинного Отца-Искупителя, всем возлюбленным моим, Богом избранным духовным детушкам, от мала и до велика. Посылаю свою милость Божию, и покров Отца Небесного, и благословение отныне и до веку. Радуйтесь о Господе: Христос бо воскрес, во спасение душ ваших.

Пишу всем моим детушкам, глаголом уст моих прошу и молю я, Отец-Ваш-искупитель, да приемлются слова истинного Отца в сердцах ваших. Поживите при своем Государе-Батюшке в веселии и радости, аки в небесной сладости. Положитесь на Бога: его терновая и крестная дорога такой имеет путь от самого начала мира, где бысть Спасителя самого жилище, и она ведет в лоно Авраамле, и шествующим по ней непременно истинная бывает от Бога помога. О, любезные детушки! — берите все истинного Отца вашего крепость, дабы ни малейшая не одолела вас сладость греха, лепость. Ненавидит бо душа моя лепости, яко лютаго Змия, ибо она вся свет поядает, и от Бога отвращает, и идти к Богу не допускает. И потому многие от пагубной лепости Учители — учительства, и Пророки — пророчества, Угод-

<sup>1</sup> «Приведены», т. е. к скопчеству: «оскоплены». В. Р.

<sup>2</sup> Символ скопчества, «чистоты» половой, возвращения к невинности от греха. В. Р.

ники и Подвижники — своих подвигов лишились, не доходили до Царства Небесного, променяли вечное сокровище на тленное и пагубное житие. О, любезные детушки! все таковые будут лишены вечного блаженства, которое истинный ваш Бог Искупитель обещал любящим Его и соблюдающим чистоту и девство. Ибо единые девственники предстоят у Престола Господня, и чистые сердцем зрят на Бога Отца моего лицом к лицу; в чистых же и непорочных сердцах любезно присутствует благодать Божия; тою же благодатию, яко многоценным миром, всякая душа помазуется в живот вечный. А в льстивых и нераскаянных и не хранящих чистоту мою людях вселится дух темный, и будет в Пророках и Учителях дух льстивый и лживый, и будут лица их не светлы, а темны: ибо они не проповедуют уже про чистоту истинного Отца, а все рекут льстивым духом. О, любезные мои детушки! Пишу истинный ваш Отец-Искупитель, и о всех душах ваших попечитель, прошу и молю! Поживите все единодушно и единомысленно, в чистоте и благочестии, в крепости и смирении, в любви и свете. День проводжайте в благочестии, а ночь в слезах и в сокрушении сердцем. На беседы сходитесь с любовию и беседуйте с кротостию и со страхом Божиим! В молчании думайте только то, что вы беседуете с самим Господом, яко на Страшном Суде, и занимайтесь всегда Богом, а не суетою. Не заглядывайтесь братья на сестер, а сестры на братьев и не имейте праздных разговоров и смехов; а также и в домах своих всегда пребывайте с Господом и Отцом своим во умилении и молчании, а празднословия не чините, от чего зарождается злая лепость, которую не без труда-то искоренить можно. Еще, любезные мои детушки, я прежде говаривал вам, и ныне напоминаю: не судите друг друга, а един судья у вас Отец-Искупитель; вы же между собою имейте любовь, совет и согласие, плевел и клеветы друг на друга не чините, и тем сердца ближних своих не вредите, и Отца своего не гневите, а каждого покрывайте своею добродетелью. Ибо любовь многие пороки покрывает, и на оной основана церковь Христова, и любовию все Пророки и Апостолы держутся, а без любви пост и молитва и прочие подвиги ничто же есть. А когда между собой будете союзны и находиться в согласии и любви, то никто вас не может преодолеть, и будете тверды и крепки... О, любезные мои детушки! Я пришел к вам не разорить вашего закона, но еще паче оный утвердить и укрепить, да про чистоту свою объявить: так имейте всегда в сердцах своих страх Божий и теплоту сердечную и любовь истинную. Храните девство и чистоту, а чистота есть от всех слабостей удаление, как-то: в начале — от женской лепости, а потом — от клеветы и зависти, от чести и тщеславия, от гордости и самолюбия, от лжи и празднословия; словом, что б от всех пороков и слабостей сердца ваши были чисты и совесть ни в чем не была бы замарана. При всем же том имейте всегда целомудрие, также присовокупитея к девственной чистоте<sup>1</sup> И оно состоит тоже не в одном слове, но заключается в

---

<sup>1</sup> Из сложения речи видно, что *а-сексуализм*, *бес-полость*, владеет Селивановым как *idee fixe*, как *столбняк* воображения и мысли, как какая-то духовная в своем роде «зашелкнута»... «Зашелкнуло» — и остановилось: и дальше мысль не работает.

ней многое; и именно: дабы и ум ваш был от всего свободен и на всем непоколебим, во всяком случае был бы цел и здоров; и ниже сердце свое — занимать какую-либо видимую суетою, или умом и сердцем — прилепиться к тленному богатству, а равно — и к лепости. Все сие принадлежит совокупно к чистоте и целомудренности: ибо как лепость погубляет тело и душу, так и сие суетное богатство и сребролюбие удаляет человека от Бога, то есть таковых, которые прилепляются сердцем к оному; а то и явное богатство не вредит умного человека: хотя имеет оное — равно как не имеет; а кто не имеет, то также об нем не должен сокрушаться и скорбеть сердцем. О, любезные мои детушки! Весьма нужно и необходимо иметь всякому, позвавшемуся на путь истинный и желающему душу спасти, оставить все слабости, и телесные сладости не иметь, а хранить чистоту и девство; и не озираться вспять, как Лотова жена, которая плотью обращается на сладость и занимается лепостью. О, любезные мои детушки! Преклоните главы, и обратите сердечные ваши очи внутрь себя, и уразумейте: какая польза именоваться «христианином», а жить крайне не по-христиански; отвергнуться мира, и потом паки миру подражать, и в таковых же слабостях и неразумении пребывать. О! страшно о таковых изрещи, и утробушка моя болит о всех грешных, что чрез нерадение и слабость лишаются вечного блага и вечного Царствия, и идут самопроизвольно по своему слабому житию и чрез гнусную лепость в муку вечную! А по сему, возлюбленные мои детушки, не льстите себя никто надеждою, ни — пророчеством, ни — учительством. Ибо у Бога тот Пророк, кто от всех слабостей и пагубной лепости себя сберег; или тот Учитель, кто сам себя в чистоте научил и душу свою истинному Отцу вручил. А то и Пророк и Учитель, живущий по слабости и лепости — умрет как разбойник не кающийся; а и рядовой, который сохранит чистоту и свято соблюдает заповеди Господни, то, когда будет душа его с телом расставаться, тогда истинные Пророки во всю вселенную через Духа Святого возглаголят, что чистая душа восходит с земли на Небо: и с честью ей все поклонятся, и Ангелы и вся Сила Небесная встретят ее с гласом трубным и с восклицанием, и сама Матушка Царица Небесная Акулина Ивановна и наперстник мой Александр Иванович примет ее и представит ко престолу Отца моего Небесного. О, любезные мои детушки! Слышите ли, какая чистой и непороч-

---

Сам Селиванов как очарован девственником, девственницею, целым сонмом их, садами их... Видит, грезит, бредит... «Хочу *всех* сюда охватить! целый мир!! все будем как *невинные дети*, еще бесполое, не знающие возбуждений!!! Не растите! не мужайте! не превращайтесь в женщин, в отцов!! Не надо, ничего не надо: кроме 7—10-летних девочек и мальчиков! Вот — Царство Божие, и — не надо иного!» Поразительная мечта и мысль. Так хотелось ему малолеток... Тут разгадываются великие загадки пола и его *аномалий*; тут, у Селиванова и в скопчестве, — ключ разума: почему вообще в мире существуют эти аномалии, где их космологическое заложение? Что они и куда ведут, и что обещают? См. у Достоевского о специфическом влечении Николая Ставрогина к «девочкам» и о музыкальности содомита Тришатова — в «Подростке». В. Р.

ной душе воздастся честь и слава. И вы бы у меня все были чисты, если бы не занимались лепостью, враждою и завистью, и первые бы получили место у Отца моего Небесного. А посему, яко истинный есть ваш Отец, желающий всем вам чистого и совершенного от всех пороков спасения, предохраняю вас от всех слабостей и лепости, от коей и в прежние времена многие тысячи праведных душ погибло, — и великих Угодников и Столпников женская лепость свела в муку вечную. О, любезные мои детушки! Прошу вас всех, предстоящих пред сим моим посланием, и молю, во избежание за сие гнева Божия и вечного наказания, презрите и возненавидьте пагубную лепость, которая ведет по своей дороге всех в муку вечную. Восстаньте от сна своего и припадите к истинному Отцу-Искупителю, призывающему всех в Царствие Отца Небесного. Удаляйтесь злой лепости, и не имейте с сестрами, а сестры с братьями, праздных разговоров и смехов, — от чего происходит уже лепость. Ибо она, как магнит-камень, имеющий свойство привлекать к себе близ находящееся железо: так и женская лепость, по враждебному свойству своему, каждого близко обращающегося брата с сестрою привлекает к себе, и непременно вкрадывается в сердца человеческие, и яко мол точит и поядает всю добродетель и изгоняет благодать Божию<sup>1</sup>. А без благодати Божией, яко нива неособбранная пуста есть и бесплодна, так и человек без Святого Духа пуст есть и бесплоден. В таком случае, и во избежание всего оно-го, имейте жизнь свою во всей осторожности. Пребывайте в благочестии, и кротости, и смирении, в посте и молитве, и имейте на всяк час и на всякую минуту страх Божий, и поминайте смертный час. Отыскивайте каждый свои пороки и никого не судите. Сердцами своими будьте кротки и милостивы: хотя кто вас и выберит, или в глаза плюнет, или погонит за имя Божие, — то все с радостью примите и за гонителей молитесь Богу, чрез что покажете на себе образ истинного вашего Отца, который пострадал и пролил кровь свою ради всех спасения. А посему и призирайте сирот, и питайте видимых хлебом; а паче — призрите самого Господа внутренним болением, слезами и воздержанием от пищи и питья, и имейте пост. Ибо пост есть телу здравие, а душе — спасение: а первый есть пост — девство и чистота<sup>2</sup>; а и видимый пост для спасения необходимо надобен. Так, любезные мои детушки, послушайте ради Бога и отца своего Искупителя и для ради душ своих, за

---

<sup>1</sup> Да что же: может быть ведь это и *так!* Если Бог *вне-мирен* и сотворил мир *только* как механик — машину, т.е. равнодушно и «без души» (Своей), то тогда, конечно, «понравившееся лицо женщины» есть первое *отвращение от Бога*, первое и *окончательное* (женитьба, потом семья), первое и непобедимое!!! Только если Бог — *в мире*, и мир сотворил Он *как поэт* — *поэму*, то «понравившееся лицо женщины», напротив, есть первая серьезная *связь с Богом*, серьезная и несокрушимая!!! Я стою за вторую; но Кондратий С-в, очевидно, стоял на первой точке зрения (т. е., что Бог *нескончаемо удален от мира*, ничего общего с ним не имеет, его не любит и не хочет). В. Р.

<sup>2</sup> Как глубоко! Никогда в православном богословии такого выражения я не встречал. В. Р.

что вам будет в Небесах награда. Надо здесь на земле заслужить, так и в Небесах не будем тужить. О, любезные мои детушки! Возлюбите мою чистоту и возьмите мою кротость и смирение. Оставьте плотяное утешение, честь и славу земную, — так получите небесную и вечную, а плоти ваши будут нетленными: и я, истинный ваш Отец, приведу вас к Небесному моему Отцу; и никто же придет к Отцу моему, такмо мною. О, любезные детушки! Обратите ваше внимание внутрь себя, и уразумеете, что истинный ваш Отец чистоты ради на земли явился, и претерпел многие страды, гонения и озлобления, биения, поругания, охуления и оплевания; судим был, и влачим и терзаем; странствовал сорок лет: и все члены и составы мои раздроблены; и головушку мою горячим сургучом обливали, и в дальние страны отсылали, и всю дорогу палачем раны на моем теле накладали; сто темниц я обошел, и всех вас моих детушек нашел; все сие принял и претерпел ради вашего спасения и утверждения закона Христова и чистоты. Еще я вам свидетельствую приказание Отца и Сына и Святого Духа, матушки Акулины Ивановны Царицы Небесной, и любезного моего сыночка Александра Ивановича, и Отца вашего Искупителя, всем моим любезным детушкам, с первого и до последнего, богатому и скудному, равное приказание: отложите на земле весь поклад и обложите души свои в оклад, поживите без лести и не желайте явной себе чести. О, любезные мои детушки! Как бы вам камень от сердца отвалить — так бы стал и Бог во всех членах ваших жить и говорить, и тогда стал бы прочь от вас грех отводить; но кого Бог удостоит внутреннюю церковь в себе построить — о том утробушка моя радуется. О, любезные мои детушки! Я не сам к вам пришел, а послал меня Отец мой Небесный судить живых и мертвых, чтоб грехом не умирали. А обо мне Пророки за сорок лет прорекали, что «Господь придет и судить станет, и принесет чистоту; но откуда придет, и узнаем ли мы Его? Он великие нужды претерпит, и пошлетя в дальние страны, и отдадутся ему все иностранные товары, и дастся образ спасительной воли, цепь и пила; праведных будет просвещать, и в небеса провожать, а гордых Учителей, Пророков и всех, которые лепостью занимались, сокращать. Тогда не возлюбят Учители учительства, Пророки — пророчества, и Соборные возненавидят соборы свои, и все скажут: «Не стало нам чести! сколько мы лет ждали этой чести и радости, а он выводит только слабости. По явности, всего Бог нам дал, да нет ни в чем — воли; погуляли бы мы еще по воле!» О, любезные детушки. Все это надо оставлять, а только одни души свои украшать и во убор небесный убирать, чтоб не стыдно было явиться пред Отца моего Небесного, который не любит житья лестного. О, любезные мои детушки! Ни с кем я так не беседовал, как с Александром Ивановичем! И говорил он мне, государь батюшка, в Москве: «Все пути расчищаются, дороги разматаются, и ковры под тебя подстилаются; и во всяком доме пищу поставляют. Теперь-то ты ловишь молявок, а когда вырастешь и по земле пойдешь, то и в явный дворец взойдешь, и тогда будешь осетров ловить, и там хлебушка покушаешь; а львы все застанут, и тогда волки завоют на всей вселенной. А волки — Пророки,



и не одни Пророки, а — и те, которые лепостью занимались: благодать у них чистая, да плоти коварные. Но ты со всеми справишься, и Учителя не будут безвременно овец стричь, а будут одну пору Петровку знать». О, великое дело быть Учителем. Надо заживо себя во гроб положить, а ноги свои в землю зарыть<sup>1</sup>, а голову к небесам привязать, а ум свой всегда к небу простирает, а сердце свое Богу вручать, и никакие подарки не брать, и сердце свое на земное не прилеплять, и никого не обижать, а всех равно, богатого и нищего, с любовью принимать, и ни на кого не гневаться, а гневайся всяк на свою плоть да на лепость<sup>2</sup>. А притом и должен кушать хлеб с водой, чтоб не жить с бедой, да третью — соль на подкрепление членов; а от других прохлад бывает душам наклад. Судите же одну правду, и всех равно, как среднего так и богатого, равно и нищего; и надо отрешись всего роду, отца и матери; и судить, чтобы лепостью не занимались, а на земле учителями не назывались. Един Учитель — Отец ваш Искупитель, и матушка Акулина Ивановна, да батюшка Александр Иванович, а прочим я никому не верю: ни Учителям, ни Учительницам, ни Пророкам, ни Пророчицам, а только верю одному делателю, исполнителю заповедей Божьих, тот и уподобится Царствию Небесному. А я всех равно почитаю — как вельможу, так и нищего: и нищий — да Бога сыщет; а и вельможа — да в делах неугожих; у меня тот и генерал, который дела Божия не замарал; тот и архирей, который в жизни своей не захирел; тот и патриарх, который будет в жизни разумом здрав и благ. А благ един Господь Иисус Христос, Сын Божий, который и пришел в мир грешные спасти, да от лепости отвести. О любезные мои детушки! Надо помнить смертный час, и как душа с телом расстанется, тогда суета вся на земле останется, и с единою добротой к Богу должно итить. О любезные детушки! Как можно постарайтесь и назад не озирайтесь; а хотя на коленках, да ползите, и у Бога помощи себе день и ночь просите. Ибо в прежние времена по тридцати лет Богу служили, а благодатию себя основали, да пред последним концом от Бога отставали.

А Страшный идет Суд: надо дела брать всем в рассуд, и разобрать Божий Суд. А я принес гостинчик всем поровну: чтобы лепостью не занимались, а Истинному Отцу с чистотою поклонялись. И хочет Истинный ваш Отец на сырой земле раскатиться и до всех своих детушек умалиться: хочет благословить, и всех своих детушек навестить; хочет в Успенский колокол зазвонить и всех своих детушек к себе заманить. И этому делу не миновать, чтобы Отцу Искупителю не стали чести отдавать; хотя и стали все пировать, но придет время — будут все головушки преклонять. Так и

---

<sup>1</sup> Вот где, вот в каком *скопческом* порыве, содержатся такие ужасные явления, как *самозакапывания* наших сектантов, людей отнюдь не *скопческого* толка!! «В гроб себя положить», «в землю себя зарыть» — ведь это буквально совпало с тем, что над собою совершили сектанты *не-скопцы* в Терновских плавнях, в Бессарабии, *100 лет спустя*!! Вот где разгадка всего — дух «девства», селивановская «чистота», *бестелесный спиритуализм*! В. Р.

<sup>2</sup> Поразительно! Полный символ веры терновских сектантов! В. Р.

станем заблаговременно грех из себя вон выгонять, начнем к Отцу припадать и греху не станем потакать. Пора, любезные детушки, Богу работать и души свои спасать, а пустые дела все надо бросать, и на грех наступить, и одну Сионскую Гору полюбить. А я свидетельствую о себе не сам собою, но свидетельствует о мне Отец Небесный, посланием через Духа Святого, и пишу не для славы. Слава моя — на кресте, а дом мой — темница: я в ней жил и не тужил, Отца своего слушал и малинку его кушал. А ныне я пришел на старых Учителей и Пророков: у них благодать была по пояс, а я принес полную, и облеку с головы до ног — и тогда вся земля мне поклонится. О любезные детушки! Извольте на белых коней садиться<sup>1</sup>, и со мною Господом водиться, духом моим сладиться, душою же с телом соединиться, тем и будете со мною в Небе веселиться. О любезные мои детушки! Помните всегда Вышнего и не кушайте хлебушка лишнего. Вы — люди израелитяне, а потому и должны быть душам своим хранители. А про меня Пророки вам вестили, да вы во внутренность свою не вместили: «Придет кормщик, и будет кораблями управлять, и мачты крепко утверждать: «посадит всех по своим домам, и не даст воли вашим «плотям». И должны помнить и страшиться праведного Суда Божия, а не человеческого; а если будете верить одним несбыточным мечтам, то умрете вечною смертью, не телесною, а душевною. Так любезные мои детушки! Живите — не вредитесь, всякой слабости берегитесь, и на суету мира сего не льститесь, а все ко истинному Отцу своему Искупителю с чистою совестью явитесь. Вы все у меня Отцем моим избраны, Духом Святым порождены и им воспитаны, и прощением очищены. Я, истинный ваш Отец-Искупитель, по благословению Отца моего Небесного много лет за вас страдал, и всех от мира своею кровию откупал. По сырой земле странствуя ходил, и чистоту свою всем явил. На колокольню выходил, и одной рукой во все колокола звонил, а другой избранных своих детушек манил, в трубушку трубил и им говорил: «Подите, мои верные, избранные, со всех четырех сторонешек; идите на звон и на жалостный глас мой трубный; выходите из темного лесу, от лютых зверей и от ядовитых змей; бегите от своих отцов и матерей, от жен и от детей<sup>2</sup>. Возьмите с собой только одни души, плачущие в нашем теле.

---

<sup>1</sup> «Белизна» — везде *скопчество*. «На белых коней садиться» — *оскопляться*. В. Р.

<sup>2</sup> Вот оно! — *полный разрыв рода, раздробление человечества*. Есть *индивидуумы*, лица, *мой дух, твой дух, и ничего* — еще. «Единство человеческого рода» *рассекается*, — то «единство», о котором говорят Библия и Катрфаж. Есть «случайный Шиллер» — запевший чудные стихи, *Бог весть откуда их запевший*, и ни матушка и ни батюшка которого не интересны, и их просто — *нет*, метафизически — *нет*. Кондратий недаром почувствовал себя «богом»: ибо если бы осуществилось его «дело», — он повернул бы планету «около своего пальца», как еще «Саваоф», пришедший испразднить того первого Саваофа, Саваофа «Авраама, Исаака и Иакова», 12 «колен» израилевых, и афинских «фил», и римских «триб и курий». Селиванов — чудовище; но именно такое, какос могло *поспорить с Богом*. «Манфред» наш, «Жаин» и «Люцифер» — это вовсе не стишки Лермонтова и Пушкина, и не сами эти

А почто ты, человек, нейдешь на глас Сына Божия и не плачешься о грехах своих, Который толико лет зовет тебя от утробы матери твоей телесной. И почто не ищешь душе своей Матери Небесной, как воспитала бы душу твою благодатью и довела бы до Жениха Небесного. А он берет за себя всю подвселенную и возводит с земли на небо, где ликуют души верные и праведные, Преподобные и Богоносные, Мученики и Мученицы, Пророки и Пророчицы, Апостолы и Учителя, в Царствии его Небесном наслаждаются вечною радостью и зрением Его красоты, и умиленным голосом, пением и восклицанием всей Силушки Небесной». На сей мой жалостный глас и на колокольный звон, некоторые стали от вечного сна пробуждаться, и головы из гробов поднимать, и из дна моря на верх всплывать, и из лесу ко мне приходять...

## II

«Христос воскрес! Воистину Христос воскрес! Во славу Божию, а нам во спасение и вечную радость!

Возлюбленному моему сыночку И. С.

Посылаю я тебе мое отеческое благословение, и милость Божию с неба, и покров Отца моего Небесного, и низкий мой поклон, с покровом Отца моего Небесного.

Любезный мой сыночек! Поживи, и истинному Отцу-Искупителю послужи в кротости и смирении, в любви и совете. Храни чистоту и девство, оберегайся лепости и праздных слов и хмельных напитков; а на беседу ходи, только не заглядывайся на сестер, и не давай видимых гостинцев, от которых заходит лепость, которая поядает весь свет и от Бога прочь отводит. А ты, любезный мой сыночек, сам знаешь, как надо жить и душу спасти.

Еще, любезный мой сыночек, И. С., не можно ли тебе побывать ко мне Отцу — своему Искупителю. А я сердечно тебе рад, и желал бы тебя повидать лично и побеседовать с тобою.

Итак остаюся истинный ваш Отец-Искупитель. Прошу и молю Небесного Отца, дабы сохранил жизнь вашу до конца. Истинный ваш отец остаюся жив и здоров на веки. Аминь.

Еще я желал бы тебе знатья и водиться с моим любезным и старинным сыночком. С. М.».

---

поэты: а единственно — мужик из деревни Сосновки, написавший «Страды», и «Послания» и в уровень по силе оригинальной и по новой мысли с творениями гигантов поэзии. Да, указав на это «Послание», — мы можем сказать: «вот наш Мильтон» и наша грустная песнь о «Потерянном и возвращенном рае». По могуществу и новизне что значат все бумагомаранья Чаадаева сравнительно с этим «Посланием», и как жалок тот журналист против «Батюшки». В. Р.

«Христос воскрес! Воистину воскрес! Во славу Божию, а нам на спасение и вечную радость!

Возлюбленному моему сыночку И. С.

Посылаю тебе заочно мир и мое отеческое благословление.

Не заглядывайтесь на женский пол: от женского пола приходит человек в слабость, которая поядает весь свет и от Бога прочь отвращает; а нам только дано чистоту нести и душу спасти. А вы люди ученые: вам можно знать, кто как себя спасал. Какое житие вел Дмитрий Ростовский и Богу служил! Так Иннокентий Иркутский, который взял благодать в Москве, а спасение имеет в Иркутском. Но и все угодники на земле не в славе были, слава вечная — на Небеси. Возлюбленный мой сын! Воззри на житие Отца своего Искупителя: как я жизнь свою проводил! Как принял нужды в дальней стране! И обратите внимание и сердечные очи на глаголы Истинного своего Отца и посмотрите на понесенные мною скорби и раздробленные мои члены... Сколько пролито моей крови, раздроблены все мои кости! А все сие сотворил для того, чтобы показать чистоту и девство, и утвердить истинный закон, и разорить лепость и нечистоту.

Так остаюсь Истинный Отец, прошу и молю Небесного своего Отца, дабы похранил жизнь вашу во всяком благополучии до конца.

Засим остаюсь Истинный ваш Отец жив и здоров, а тебе посылаю навеки мой покров от ныне и до века. Аминь».

## СКОПЧЕСКИЕ ДУХОВНЫЕ ПЕСНИ

А

*(Собранные из показаний скопцов  
в Соловецком монастыре)*

1

У нас было, на сырой земле,  
Претворились такие чудеса:  
Растворились седьмые небеса,  
Сокатилися златые колеса,  
Золотые — еще огненные.  
Уж на той колеснице огненной,  
Над пророками Пророк, Сударь, гремит:  
Наш Батюшка покатывает,  
Утверждает он Святой Божий Закон.  
Под ним белой храбрый конь:  
Хорошо его конь убран,  
Золотыми подковами подкован;

Уж и этот конь не прост:  
У добра коня жемчужный хвост,  
А гривушка позолоченная,  
Крупным жемчугом унизанная;  
Во очах его камень-маргарит,  
Изо уст его огонь-пламень горит;  
Уж на том ли на храбром коне,  
Искупитель наш покатывает.  
Он катает со златыми ключами,  
По всем четырем сторонушкам,  
По иным землям Французским,  
Французским и Иркутским:  
Набирал полки премудрые,  
Кавалерию духовную.  
А теперь-то, други милые,  
Прокатилось Красно Солнышко,  
Во северную, во Питерскую.  
При Батюшке-Искупителе,  
При втором Спасителе,  
Душам нашим воскресение!  
Уж стал наш Батюшка родной,  
Государь наш полковник дорогой,  
Своими полками полковать...  
Разложил свой Евангель толковой...

2

Благослови, наш Искупитель,  
Сударь Батюшка родимой,  
Колокол твой зазвонити,  
Птицу райскую сманити:  
Про твои страды велики —  
Горячи слезы пролити.  
Как тебя, наш Искупитель,  
Били, мучили Иудеи,  
А все злые фарисен,  
Не дали места в России.  
На твою пречисту плоть  
Налетали черны враны,  
Наделали многи раны,  
Отослали в дальни страны,  
Во Иркутскую губерню.  
Не без нужды ж тебе было,  
Всеё землю исходити,  
Пречистыми стопами.  
Все ради нас недостойных.  
А нынче Искупитель,  
Сударь Батюшка родимой,

До нас грешных умалился,  
Во Россию к нам явился.  
В славном Питере во граде  
Свет нынче пребывает;  
На все четыре сторонки,  
Свет очами позирает,  
И покровом покрывает,  
К себе деток призывает:  
— «Уж вы, детушки, идите,  
Ничего вы не годите!  
Придут, други, таки годы  
Укачу я в Царски Роды,  
Останутся все уроды.  
С собой возьму избранных:  
С ними буду ликовать,  
Грешны будут горевать.  
Не равно время случится,  
Иной вор постучится:  
От ворот ему откажут,  
За безверие откажут».

3

По заре, заре вечерней,  
Золота Труба трубила,  
Верных праведных будила.  
С неба Матушка скатила,  
На святой круг покатила;  
Избранным возвещала;  
Ждать Батюшку обещала,  
Приказала всем молиться.  
Скоро Батюшка явится,  
Красно-Солнце прикатится,  
В дом Давидов возвратится,  
На престоле воцарится.  
Осветит он нас лучами.  
Зазрит Батюшка очами.  
Всех избавит нас печали.  
В херувимских крылах ляжет.  
Про страды свои расскажет,  
Как страдал Творец от твари.  
Окружили его звери,  
Запирали крепко двери,  
Подносили ему лести,  
Чтоб по гроб быть в таком месте,  
Чтоб Батюшку заключити,  
С детушками разлучити.  
Но не знают фарисеи:

Наш Батюшка-Искупитель  
Обагрят кровью Россию;  
Во страдах его великих,  
Токи крови протекали,  
Святы уста запекались,  
Две капельки проронились.  
Еще Свет-наш-Искупитель  
Пострадал в Суздале-граде,  
Воскресил души во аде,  
Приказал всем жить в отраде.  
С нами Свет Божий, Свет, помилуй нас!

## О «СИБИРСКОМ СТРАННИКЕ»

После тех размышлений и наблюдений, плодом которых явилась книга «Люди лунного света», — явления как *хлыстовства*, так и *скопчества* становятся совершенно прозрачными, ибо определяется общий их *исток, начало*. Исток этот лежит в отклонении «половой стрелки» («лепота» Селиванова, — страсть, чувственное пожелание) от  $1^\circ$  (самец в абсолюте) и от  $180^\circ$  (самка в абсолюте), и — в прохождении этой половой стрелки по *промежуточным градусам*; причем чувственное пожелание в одном и в другом поле, ослабляясь, доходит до нуля, и *пропорционально возрастают духовные эмоции, духовные силы, духовные деятельности, духовные напряжения, огни, страсти*. Догмат хлыстов: «не женатый — *Не женись*, а женатый — *разженись*», попадает точка в точку в природу «лунного света»: «*nolo concubere*», «*nolo nuptias*». Они уже и *женатые* — все равно *супружества не выполняли*, были к нему *апатичны, равнодушны*. Таковы были «духовные»; без плотской связи, браки многих ранних подвижников христианства, — о чем факты приведены в главе 1-й «Людей лунного света»; или, если и начинали супружествовать, то — *вскоре прекращали половую связь*. Ибо в людях «лунного света» на протяжении градусов, не очень удаленных от  $1^\circ$  и от  $180^\circ$ , *физическая способность совокупления сохраняется*, и есть *маленький аппетит ее*, но он вскоре по удовлетворении окончательно угасает. Это и есть та дробь общего количества их, которая неудачно или даже нечаянно, необдуманно «*женилась*»; в крестьянском или духовном быту — «*женились*» (и вышли замуж) по воле родителей или по сословной традиции и закону должности (духовенство). Все таковые лица «*разжениваются*», вступая в хлыстовство: точнее, всем таковым, *навстречу их природе*, хлыстовство говорит: «Разойдитесь! — все равно ведь у вас *ничего нет*, или — *почти ничего*». Но, соответственно закону всеобщего мирового сложения организма, совокупление у них не исчезло, а только *скрылось*. *Наружу* — нет его; *функционально, анатомически* — нет; но оно в одних случаях частично (у *неполных хлыстов*), а у других вполне перешло в *жар и огонь* духовных волнений, каковые у образованных выражаются в умственном, поэтическом и общественном творчестве, до «*задыхания*» и «*экстаза*» (вдохновение), с «*поглощающею страстью*»; а у просто-

людинов, которым *все это закрыто* по самой неизвестности, перед которыми не лежит этих рельс сотворяющего духа, — оно выражается в *радениях*, «*пророчестве*», в *дальновидении*, доходящем до ясновидения (Акулина Ивановна Селивановских «Страд», предсказывающая *навверняка* хлебородный год и уловы рыбы), в расширенном и углубленном *чувстве природы*, так сказать *осязании* природы, *обоянии* ее. Этот дар «предсказывать» и «предвидеть» у простолюдинов — есть у образованных их научный «гений». Все это — тончайшие шупальцы «мозга», «души», «пола», — как хотите назовите, но *выросшие* от того именно, что совокупление *ослаблено* или *прекратилось*, что дети *плохо рождаются*, или их *вовсе не рождается*... Все это дары пола, трансформировавшиеся в спиритуализм. «Земной ангел» или «небесный человек» (термин девственников) заговорил, стал *думать, догадываться, искать, открывать*; это — тот «ангел», первый канон которого и в нормальном уставе (монастырь): «*будь один, не женись*» (= «не женатый — не женись, а женатый — разженись»), «*не имей детей*».

Хлыстовство — это вольное, дикое, от создания мира бытийствующее *монашество*.

Монашество (добровольное и вдохновенное) — это упорядоченное, нормированное, принятое историею и человечеством, одобренное законом, нравами и бытом хлыстовство.

«Братцы» и «сестрицы» — *там и здесь*; «родители» — оставлены и «детей *никогда не будет*» — *здесь и там*. Это не переступимые, до преисподней, овраги, которыми окопано хлыстовство-монашество и отделено от мира; или, вернее, это высеченные в граните берега, в которых течет река «бесполости» и «лунного света».

\* \* \*

Пункт, на котором мы должны сосредоточить все внимание, заключается в том, что здесь — *бесчисленные оттенки*, неисчерпаемое богатство *степеней и форм*; что «хлыст» и «аскет» — это не какой-то очерченный, *определенный* человек, — *определенного вида* и *определенной жизни*; а что *каждый человек* в сущности принадлежит *несколько* к хлыстовству, к аскетизму; но если он лишь *в малой дроби* принадлежит к ним, — то и остается нормальным человеком, женится, семьянинствует, рождает детей: но только *чуть-чуть в нем есть* «странности». Нет «хлыста» как чего-то общего, *когво*: есть «хлысты», *индивидуальности* хлыстовства, так же между собою *разнящиеся*, как различились бы *те дети*, которые от них могли родиться, но *никогда не родятся*. Вот эти возможные рождения, которые никогда не родятся, — мир абсолютно темный и неисследимый, не угадываемый, — образуют подспудную силою своею, подспудным тяготением своим, мир *хлыстовских индивидуальностей*, которые уже тем самым бесконечно варьируют, бесконечно *разнообразны*.

Канон только один, и он действительно *общ*: нет *тупости, вялости, апатии*. Все «в танце», говоря аллегорически; все «в радении», говоря тоже



иносказательно; все — в прыжке, акции, оживлении, постоянном, неудержимом. Скажем так: все — «в таланте» и иногда в «гении».

У кого «родилось бы трое» — в «таланте»; но у кого, как у Иакова, «было бы четыре жены и 12 сынов, не считая дочерей» — тот «в гение», и переходит в историческую значительность. О Григории VII Гильдебрандте можно бы сказать, что от него «родился бы целый народ»: но он «народа» не родил, зато преобразовал наново, дал новую конструкцию католичеству. Он был страстный враг брака, и именно с характерною хлыстовскою брезгливостью к нему. «У, как бы не загадиться»; «священники (католические) не должны им гадиться». Он был меньше Селиванова, но — уже почти Селиванов. Громада «самосознания о себе» Гильдебрандта вполне объясняет и селивановское чувство «я — Сын Божий, я — Христос, вторично пришедший на землю». Вообще «христы» и «богородицы» хлыстовские выклеваются отсюда сами собою. «Мы все немножко христы и богородицы, но скромные пока, провинциальные; а тот вот (Селиванов или Радаев) — на весь мир христос, и мы ему «поклоняемся».

Но если «нет детей» — то есть эквивалент именно «детей»: и отсюда телесный смысл всего их «Христовства», постоянное выпячивание именно тела своего «христом» (или «богородицею»), и поклонение «телу» же его, а не спиритуализму, не духу: хотя отчасти — и духу. Но впереди всего — «тело» («будущие дети», «нерожденные дети»): оно для осзания и обоняния хлыста (рядового) совершенно не таково, как для нас; а — как для матери «тельце» ее первого ребенка, как для отца — его младенец, существо явно «священное», по всем наблюдениям. «Христос» хлыстовского корабля есть как бы «новорожденный» всеми хлыстами; и как мать, играя ребенком в колыбели, захватывает губами его ручку, локоток, берет в рот пальчики ножек, каждый пальчик по очереди: так хлысты «готовы точно укусить» своего христа, но сладко укусить, без боли ему и только в наслаждение себе. Именно потому, что они не рожают и не будут рождать, у них возникает, — только у них рождается, — совершенно новое чувство тела, сахарного, золотого, сладкого, почти съедобного. Ну, а как «съесть нельзя» — то они хоть «до земли поклоняются» ему как «иконе» и «образу Божию». «Укусить» нельзя; ну — хоть «поцеловать». О, это уж непременно разразится: с жаром и волнением, с экстазом и сладостью, как мы решительно не умеем представить себе. Наконец, ведь ребенок именно — половое, это есть fructus sexuum: и потому переход поцелуев в ту форму, которая засвидетельствована в греческих таинствах и почти наверное существует у хлыстов (см. последнее письмо ко мне) — возможен, вероятен, очень близок. Наблюдайте внимательнее и осыпание поцелуями матерью своего ребенка, наблюдайте подробнее, и вы увидите кой-что из греческих и хлыстовских тайн. Во всяком случае это не избегается и матерью.

«Сладок каждый пальчик» сладостью нам совершенно неведомою: и в некоторых из древнегреческих мистерий совершалось живо-едение, как есть

слухи об этом и у наших хлыстов, и это у них бывает или бывало. Собственно логика — *съесть всего своего «христа»*, «причаститься» им до косточек. Но этого — нельзя; а все другое — недостаточно, не насыщает, оставляет алкание и жажду. Отсюда — «еще повторить», «еще увидеть», «прикоснуться», «созерцать».

Песня хлыстов:

*Тошным было мне тошнехонько,  
Грустным было мне грушененько;  
Мое сердце растоскуется —*

выражает чудно по точности состояние хлыста вне физического прикосновения или хотя бы созерцания, видения «христа» их или их «богородицы». «Белый свет не мил», «не могу теперь», «все *тошно* без него, *в удалении* от него»... «Сами ноги несут», — ничто не удержит:

*Мне в гости к Батюшке хочется.  
Пойду млада: реки текут быстрые,  
Мосты все размоестилися,  
Перевозчики все отлучилися;  
Пришло молодой хоть в брод брести,  
В брод брести — омочитися.  
Сердечный ключ поднимается...  
Мне к Матушке в гости хочется.  
С любезною повидаться.*

Вот! Вот! Вот! В этом — все дело: в духовном томлении, в тоске, пока хлыст (врожденный) не нашел хлыстовства, как учреждения, как «готового», как «корабля» подобных лиц, организаций, душ, в конце концов — «тайн» и «мистерий», первоначально в сущности *индивидуальных* и затем общих, коллективных, «корабельных».

Как и стих Лермонтова:

*И долго на свете томилась она (душа)  
Желанием чудным полна*

выражает с удивительной общностью и глубиной хлыстовское самоощущение, которое *в уменьшенной степени* есть ведь общечеловеческое самоощущение. Может быть, последняя разгадка хлыстов заключается в этом определении, что они какие-то действительно *последние человеки, краевые человеки*, на «окраине» человечества (*humani generis*) лежащие, около какой-то бездны, с «ничего» под боком, или — «раем» и «адам» под боком; что они *переполнены человечностью* (опять же «нет детей») в степени нам вовсе не известной, — *нам*, которые *в середине*, вне «рая» (размножение); и, просто, этих краевых ощущений мы не знаем и *никогда понять не можем*. Я упомянул о Лермонтове: как томительно и вместе как *лично близко, лично извест-*

но ему чувство трансцендентности! И тоже он пел о «любви» к какому-то «демону», довольно доброму, — довольно похожему на «христов» хлыстов... Пел со *странным очарованием*, особенно в «Сказке для детей»...

Мой юный ум, бывало, возмущал  
Могучий образ. Меж иных видений  
Как царь *немой и гордый он сиял*  
Такой волшебной-сладкой красотой,  
Что было страшно... И *душа тоскою*  
Сжималась — и этот дикий бред  
*Преследовал мой разум много лет.*

Кроме трансцендентности есть еще чувство катастрофы у Лермонтова, — близкого *конца и беды*, чем вообще полны апокалипсические секты, — да ведь полон и Апокалипсис. И вот если мы скажем, что все русские поэты ничего общего с хлыстами не имеют, а Лермонтов один имел кое-что общее с ними, *индивидуально-общее, обособленно-общее*, — то мы поняли бы *осязательно* очень многое в хлыстах и их психике, а также и в нем поняли бы эту бурю и быстроту творчества; и поняли бы то, что он вообще «прожил» свои 27 лет — как «прорадел» их, дурачился, озорничал, все чего-то «искал» и нигде не мог остановиться, «предвидел» смерть свою и самый ее *образ* (= «Акулина Ивановна» Селиванова) и засыпал мир необъяснимо-происшедшими стихами, вне обстоятельств службы, ученья и окружающего общества... «*Откуда-то* все родилось»..., как и *все* «неведомо откуда рождается» — у хлыстов.

«*Не понимаю и творю*»... как не сумеет сотворить никто из «понимающих, рассчитывающих, намеревающихся»: вот закон поэта, гиеродула, хлыста и Михаила Юрьевича. Разве это не «вскакивание» хлыста:

Бывают тягостные ночи:  
Без сна, горят и плачут очи,  
На сердце — тяжкая тоска;  
Дрожа, холодная рука  
Подушку жаркую объемлет;  
Невольный страх власы подьемлет;  
Болезненный, безумный крик  
Из груди рвется, — и язык  
Лепечет громко без сознания...

.....  
Тогда пишу. Диктует совесть  
Пером сердитый водит ум.  
.....

Великолепно и непостижимо; набор слов, и — огромное всякой поэмы!.. Вглядитесь в матерей с детьми, читайте Лермонтова, — и вы... еще не поймете, но приблизитесь к краешку хлыстовства, вы найдете *одну музыку* с ним, один *вкус* с ним...

«Зачем миру существовать, зачем жить людям, в грехе, слабости, еще в рождениях, бесконечных рождениях... для голода, для нужды, пустых забот и

страданий: собрались бы они лучше все в один мировой *корабль* и, не дожидаясь, пока земля столкнется с планетою или сгорит в солнце, — лучше бы натанцовавшись, налюбовавшись, нацеловавшись, — скушали бы все сладко друг друга, и перешли прямо в Вечную Жизнь, Вечное Сновидение и Видения».

\* \* \*

Есть пол *индивидуума*; но он всегда — только *момент*, только *фаза* или *стадия* в судьбе пола, в траектории пола, в его полете «от Адама до меня», т.е. всех моих предков и затем всех моих потомков. «Мой пол» есть какая-то точка в «нашем поле», *родовом* (*saxus generis*): который движется во времени совершенно так, как планета летит около солнца или как кровяной шарик движется в жилах. И можно даже этот *родовой пол*, или, что тоже или очень близко, — *пол человечества*, представить в следующей схеме как бы *мирового яйца*:

## МУЖЧИНА

Полигамия.

Семья и дѣти.

Холостой бытъ.

Животный какаштер  
пошлѣ, геронды,  
жыныя у дрык.

Холодная  
проституція.

Дѣти и семья.

Священная  
проституція.

Дѣти и семья.

Самитраганды,  
тачыты,  
жыныя мужской  
кочыты,  
пустыническыя  
смыты.

## ЖЕНЩИНА

Точки здесь выражают совокупления. Они начинаются от крайне напряженных и частых («священная проституция» древних, полигамия Соломона с сотнями «жен» и с «девицами без числа»); затем умеряются: здесь, — полигамия мормонов, в пределах 5—6 жен, и полигамия обычного мусульманина, с 2-я или с 3-я женами; переходят в спокойные (моногамия); и, наконец, почти исчезают. Тут их хватает только на «случайности» упорядоченного холостого быта, а у бедных простолудинок идет «в продажу», как совершенно ненужная и не интересная себе вещь. Здесь образуется холодная проституция: в которой почти и не рождается детей, не рождается у совершенно здоровых, не рождается в начале проституирования. Ибо самый организм, с «камнем» пола вместо «хлеба» пола, в сущности уже почти гермафродитичен, почти содомичен, хотя его анатомия еще и сохранена; отсюда же часто наблюдается у проституток развитие «дружб» и, наконец, появляется осязательная содомия. *Все это связано с глубоким их равнодушием*, не только обычным, но всеобщим (редчайшие исключения!) к совокуплению, к самцу, к мужчине; ибо они прикрыто сами уже суть полумужчины (ругаются, — грубости их, склонность к пиву и вину, *мужской к этому вкус*). Затем, все это переходит у *мужчин в мягкость*, а у девушек во властительность и некоторую жесткость души, в «крепкое» быта и фигуры: совокупление здесь уже не просто равнодушно, оно — *отвратительно*, несносно, «грязно на вид» и «гнусно пахнет». От него бегут «куда глаза глядят» юноши, девушки; бегут в «Союз пифагорейцев», к Платону в тенистые сады *загородной Академии*, в «ученики» к Сократу, в уединенные, пустынные монастыри, в горах (Испания и Италия), среди леса или пустыни, на островах Белого моря или Ладожского озера, «на водопад Иматру» (Влад. Соловьев); бегут, наконец, и к хлыстам в «корабли» их... Вертикальная ось, соединяющая самца и самку, исчезла вовсе и заменилась *горизонтальной осью*, где никакого полового тяготения нет. Ибо никто более не самец и не самка, а существо *средне-полое*, «solo» в мире, которое в «дополнении» не нуждается, ибо оно *utriusque sexus*, *столько же самец как и самка*, и самка *столько же сколько и самец*, и живет *собою* или *с собою*. От этого в таких индивидуумах часто развивается «обычный отроческий порок», к которому *вовсе не все люди в одинаковой степени расположены*, а расположены именно пролетающие по этой дуге мирового пола, с ослабленною силою совокупления, ослабленным тяготением к женщине, где она более духовно *мечтается*, нежели ее физически *хочется* или, еще точнее, — *нежели ее нужно...* На этой горизонтальной длинной оси мирового эллипсиса пола — все «братья» и «сестры», с метафизическим, т.е. *вечным и корневым*, исчезновением родителей, полным к ним равнодушием и, наконец, враждою, полным их непониманием. «60-е годы» отрицали «отцов» не по тому одному, что отцы «устарели», а вот по этому чувству могущественной Афродиты Урании, в них бившейся, т.е. по тому же чувству, по которому и *настоящие* аскеты «не хотят принять в келью родную мать», или, как записано в «житиях» о многих *язычниках* в фазе *перелома от язычества к христианству*, — «в юности ушла от отца,

отказавшись *от жениха*». Чудный образ такой девушки нарисован Лермонтовым, этим не опознавшим себя «человеком Божиим», «хлыстом», — поэзия которого вообще есть лучшее введение в хлыстовство; в сущности (в нашей литературе) — единственная понятная и существующая «дверь» к нему, «вход», «пропуск» в тайны его вздохов, слез и «рыданий»:

Это случилось в последние годы могучего Рима.  
Царствовал грозный Тиберий и гнал христиан беспощадно.  
Но ежедневно, на месте отрубленных ветвей, у древа  
Церкви Христовой юные вновь зеленели побеги.  
*В тайной пещере* под Тибром ревушим, *скрывался в то время*  
Праведный *старец*, в посте и молитве свой век доживая;  
Бог его в людях своей благодатью прославил.  
*Чудный он дар получил: исцелять от недугов телесных*  
*И от страданий душевных.* Рано утром, однажды,  
Горько рыдая, приходит к нему старуха простого  
Звания; с нею и муж ее, грусти безмолвной исполнен.  
Присит она воскресить ее дочь, внезапно во цвете  
Девственной жизни умершую... «Вот уж два дня и две ночи, —  
Так она говорила, — мы наших богов неотступно  
Молим во храмах и жжем ароматы на мраморе холодном,  
Золото сыплем жрецам их и плачем... но все бесполезно!  
Если б знал ты *Виргинию* нашу, то жалость стеснила б  
Сердце твое, равнодушное к прелестям мира: как часто  
Дряхлые старцы, — любясь на белые плечи, волнистые кудри,  
На темные очи ее — молодели; юноши страстным  
Взором ее провожали, когда, напевая простую  
Песню, амфору держа над головой, осторожно тропинкой  
К Тибру спускалась она за водою иль в пляске;  
Пред домашним порогом, подруг побеждала искусством,  
Звонким ребяческим смехом родительский слух утешая...»

О, сколько историй таких: изящество, *удвоенная жизненность*, красота... Всегда при этом *фигура крупная* (приближение к мужской), *никогда* — миньятюрная, *волосы растут роскошно*, груди умеренно большие и чудного овала, все тело *глубоко пропорционально*, ни одной выемки, ни одной ямочки (два пола, чрезмерность пола). Но, слушайте:

Только *последнее время* заметно она изменилась;  
*Игры* наскучили ей и *взор* отуманился думой.  
*Из дома* стала она *уходить до зари*, *возвращаясь*  
*Вечером* темным, и *ночи без сна* проводила. *При свете*  
*Поздней лампы* я *видела раз*, как она, на коленях,  
*Тихо, усердно и долго молилась... кому?.. неизвестно...*  
Созвали мы стариков и родных для совета; решили...

Вы знаете ли, как кончается это только начатое Лермонтовым стихотворение? Несчастные родители, убийцы и не убийцы дочери, пришли просить о помощи *того самого старца*, к которому *в пещеру* она и *начала уходить*

*тайно* и который и был ее убийцею, а впрочем — и *не-убийцею*. «Соседи и родные», к которым они обратились за помощью и советом, посоветовали старикам «затворить» свою дочь, запереть ее. И тогда она — умерла.

Тошным было мне тошнехонько  
Грустным было мне грустнешенько...

Множество таких историй, коротких и вместе бесконечных...

\* \* \*

Мне нужно было посетить одного священника, — совершить почти сухой «визит», а во всяком случае короткий, чтобы сказать благодарность за доброе дело около больного, которое он сделал. И он и его «матушка» были молоды, одиноки, умеренно интеллигентны. Начитаны, — он «даже во Владимире Соловьеве», она — в медицине и акушерстве. Все это было свежо и не свежо в их памяти; скорей — задернуто легкой кисейной занавесочкой. Они как будто «куда-то ушли от этого». В первое посещение, когда мне нужно было во что бы то ни было выпросить помощь для больного, и указана была мне семья этого священника, я не застал его дома. — «Может быть, матушка дома?» — спросил я. — «Матушка дома. Обождите». И через минуты три в дверях показалась лет 26-ти женщина с сухим, отчужденным, «ни до кого дела нет» лицом, которой я быстро заговорил о своей нужде и сел на диван, сказав, что «не уйду, пока не получу». В нужде бы-ваешь груб и прям.

— Нет. Некого послать. Некого дать... Вам *нужно*: но *что же делать*, если — нет... кроме сестры мужа, которая держит экзамены...

Она говорила точно *не мне*, а куда-то «в пространство», сухо и высокомерно. И когда я снова точно закричал: — «Отыщите», — то... не вследствие этого выкрика, а скорее от того, что прошло уже минуты три и она как бы очнулась от чего-то... только я вдруг увидел, что прежняя женщина точно куда-то «пропала», как бы ушла в землю, а предо мною стояло совершенно другое существо, с первым не имевшее ничего общего.

Все лицо ее выразило такую нежность и человечность, такую интимность с вами, как бы вы ее всегда знали, как бы вы с нею *всю жизнь* вели дела, и она *от вас* уже получила много даров, много добрых дел, а во всяком случае — *сама* как бы пресыщена дарами, и физическими, и духовными, и готова все это высыпать на вас, на голову вам, на грудь, в подол рубахи, в карманы, куда угодно.

— Я — *ничего* не имею.

— Я — *богата*.

— Я — *никто* вам.

— Я — *все* для вас.

Вот перемена. Куда *то* девалось? Откуда *это* взялось? Она не была дурна и *тогда*, только очень бледна и бела; но *теперь* даже физически она была

вся — грация, прелесть, порыв «без углов», скорее — полет какой-то, все лицо было полно улыбкой. Я кричал: «Скорей! Скорей!» Она торопилась. И минут через 10 мы уже сидели с «помощью» в пролетке. И я сказал, обращаясь к «помощнице»:

— Какая она *милая!*

— О, *вы* очень ей понравились. Я сама поражена: она совершенно *суха* и *мертва* со всеми приходящими. Да и мы, что около нее живем, не видим ничего, кроме угрюмости: редко-редко она выговорит слово, и в слове всегда этот тон: — «*Вы не нужны мне*»... Тяжело. Но вы или *понравились*, или пришли в *удачную минуту*. Счастье.

«Помощница» была курсистка, «наш брат», — девушка рациональная, простая, ясная.

И вот теперь мы приехали вторично «благодарить»... Нас, приехавших, было трое. Незначащие разговоры, небольшое угощение; уходили, входили. Я осматривал квартиру, всегда интересуясь «жильем человека»: ибо «по человеку» — жилье, и «по жилью» — человек. Все хорошо, обыкновенно, церковно, но не преувеличенно церковно. Скучновато. Взяв со стола карточку, я удивился:

— Вот идиллия!

Внизу, на низкой табуреточке, «в ногах», сидел батюшка, молоденький и безбородый еще; а на диване сидел с бородой господин, положив руку «в полуобниманье» на совершенно тоже молоденькую матушку, а другою руку он держал руку другой молодой женщины, которая его полуобняла.

— Сестра и брат ваши?

— Нет, так!

— Как «так»?

— Ну же. — «так»: мы все очень дружны. Это — «подруга» матушки, сверстница по годам и одно лето жила у нас, гостила. А это...

Назвал имя и отчество, ничего не говорившее мне.

Я сказал:

— Точно «в раю»...

— Да и есть «в раю», ответил улыбнувшись священник.

Поехали. Дома. Близкий друг и говорит мне:

— Ты заметил, что Лизы не было в комнате? Удивительную сцену я видела. Не могу понять.

Я, осматривая квартиру, ничего не заметил в людях. Пил чай, ел орехи, балагурил. «Лиза» — близкий нам человек, девушка лет 23-х.

— «Я устала за чаем, да и ты прошумел уши болтовней. И попросила священника отвести меня в комнату, где я могла бы прилечь и отдохнуть полчаса. Он повел в боковушку: каково же было мое удивление, когда я увидела на кушетке Лизу и матушку: они держали за руку друг друга, и обе плакали. Лиза не просто плакала, а в слезах было что-то неуправляемое. Они текли ручьем, — лицо было все мокрое... Но — не горькое и не расстроенное...



Когда я узнала, что ничего пугающего не произошло, то села возле них. Они все также продолжали сидеть, держа за руки друг друга, а матушка тихо говорила: — «Нужно быть ближе к Богу! Нужно быть ближе к Богу! Мы о Нем совсем забыли, и — *все* забыли. И от этого, от одного этого, что мы забыли Бога, у нас тяжело на душе. У нас и у злых людей тяжело. Везде мрак и везде тоска. И от того одного, что *нигде* Бога нет!» — «*Нигде* Бога нет!» — вторила Лиза. И при шепоте слезы начинали еще сильнее литься. Вся комната, такая тесная и душная, была чем-то точно наполнена: слезами ли, напряжением ли». Помолчав: — «Ты знаешь, я впечатлительна: но мне показалось, что Христос *вот где-то тут*, близко, *возле нас*».

«Потом вышли, и — ничего».

\* \* \*

Еще раза два я видел священника. Он мне показался ограниченным и не интересным. Может быть оттого, что я тоже, очевидно, показался ему не интересным. Всегда это взаимно. Искал тем для разговора, и они не находились. Только две ниточки проскользнули, ниточки-мысли, которые я не мог не запомнить, потому что они были мне новы:

— Вы никогда, В. В., не встречались *со странниками*?

— С какими «странниками»?

— Так... Русские странники... Странствуют из места в место, ходят по монастырям... Уходят в Святую Землю...

— И видал. И слышал. Т.е. видал, как они *народу что-то рассказывают*: но сам в разговор с ними не вступал и вообще личного отношения не имел.

Он не продолжал. Разговор оборвался.

Вопрос мне показался странным в том отношении, что он был *белорус* родом, чуть ли не из униатских священников; во всяком случае, *родители* его были униаты. Как «белорусу», так и «униату» — что до такого специального явления, как русский «странник»?! В другой раз он сказал рассеянно:

— *Недостаток* в Церкви собственно *один*, но такой, что пока он есть — ничего в ней нельзя начать и никогда ничего не выйдет. Митрополит здешний очень старается, чтобы духовенство было ближе друг к другу, но ничего у него не выходит, и он не знает, как это сделать. Недостаток, — что *каждый* из нас *есть особое лицо*... Да и паства, прихожане, люди: все — особые, каждый — особо; слитности нет, *единства нет*.

Он помолчал.

— А когда люди не слиты, все порознь, то какая же это «Церковь»? И Церкви нет, потому что нет любви.

Читатель заметит то, что мне тогда в голову не приходило: что слова эти заворачивают к «кораблю», к той общине «братьев и сестер», которую я видел, и в которой все действительно были «слиты». Но наметя, священник ничего о «кораблях» не думал: он сказал *свою мысль, свое недоумение*. И тут

замечательно, что его упорная мысль: «вот где провал сущего, наличного», — совпадал с тем, что «нашли» для себя именуемые «хлысты». Он же сказал мне это как бы в ответ и возражение тому, что говорилось на Петербургских религиозно-философских собраниях, которые он не всегда, но посещал.

\* \* \*

С тех пор «наши» стали посещать священника; я бывал там месяца в два — раз. «Наши» же бывали на неделе два раза. Я и «хотел бы обратить внимание» на священника, о котором начали мне говорить, что он «замечательно-христианского настроения», — но мне было некогда. Оказывается, взрослого члена семьи все тянула туда молоденькая девушка, которая сидела тогда с матушкой и плакала. Уже после 3-го или 4-го посещения она с неопишым восторгом сказала мне:

— Вы знаете, матушка и батюшка не *живут* друг с другом. Они только кажутся мужем и женою. Может быть и жили в начале... *Теперь*, во всяком случае, не живут.

Подняв лицо, я ярко подтвердил это:

— Я тоже это чувствую.

В выражении лица, в свете внутреннем глазного яблока, в фигуре и взаимном обращении мужчины и женщины, — всегда есть *следок* какой-то, по коему мы безошибочно, твердо угадываем, *есть* или *нет* между ними половое общение. *Есть*, — и все, от лица до манер как бы облито каким-то (не в дурном смысле) сальцом, влагою, потом ли, запахом ли. Сокупляющиеся — все пахучи (не физиологически, а идейно, аллегорически, символически). Если же *нет*, — то прекрасное лицо аскета сухо, без влаги, без запаха. Ботанически это очень объяснимо: здесь, с одной стороны, мы встречаем маленькие цветочки, страшно пахучие (резеда, мускус) и, с другой стороны, — огромные пресные цветы, издали видные — махровые, без пестиков и без тычинок, без плодника и без пыльцы. «Монашество» есть уже в ботанике, не думайте; отсюда-то такая крепость и сила его в человечестве.

Священник был мне не интересен, но пропорционально была мила матушка. Именно — мила, приятна. «Братом» ее и я бы пробыл всю жизнь; с тем вместе она не внушала ни единого «косвенного помысла». Просто она была прекрасный человек. Особенно меня привлекала к ней простота. Однажды я был у них в церкви; народу тьма, теснота. И когда кончилась служба, то мы вышли (протискались) с нею вместе на тротуар. Сделав сажень шесть по тротуару, она сняла (очевидно, неприятную ей) шляпку и, вынув из кармана шапочку, — как мальчишки бедные носят, из манчестера, — надела ее. И милая, и ребенок вся, в бедном черном пальто, пошла в этой едва переносимой шапочке. И улыбается: весело, что бедна и невзрачна.

Ну, хорошо. Но мне дела нет. Только однажды «наши» приезжают отсюда и заливаются смехом. Спрашиваю, «что?» — не отвечают. Наконец, рассказали:

— Приходим, чтобы у батюшки с матушкой выпить чаю после всенощной. Но поспешили рано; всенощная еще не кончилась и далеко не кончилась. Входим, стучим (в наружную дверь), — не отпирают. Еще стучим — не отпирают. Опять стучим — не отпирают. Звонили — нет. Сели на ступени...

И это — картина: сели на ступени, как пилигримы перед Сионом или как «неразумные девы» известной притчи. Тут замечательна уже создавшаяся тяга — «пойти туда»; тоска — если «не пойти»...

Просидели минут двадцать, как изнутри послышались звуки отпираемой двери; и когда они вошли в прихожую, то увидели какую-то изящную даму, накидывающую на себя дорогую ротонду, и еще «так себе замухрышку», одевающего кафтан, и, наконец, хозяйку дома, «матушку», которая с гостями прощалась. Все произошло быстро, ничего нельзя было рассмотреть. «Наши» вошли и началось обыкновенное... Разговоры, потом вернулся от службы батюшка. Чай. И — «домой».

Тяга усилилась...

«Старшая» из посетительниц, которой говорили, что она здесь, в повышенной церковной атмосфере, найдет «покой душе своей», «здоровье» на усталые нервы, — 2—3 дня поразмышляв о том, должна ли она «успокаивать свои нервы» или продолжать и далее и еще глубже «трепать их» — с детьми, в уходе за ними и досмотрев за ними, — решила «отставать» и «прекращать» посещения, потому что раз *есть* дети и это уже *факт*, то рассуждать нечего и долг ей указывает, *где* быть, хотя бы и с «измочаленными нервами». Младшая же посетительница, без детей и свободная, стала больше и больше вовлекаться в посещения, и уже ходила одна — или «к церковной службе», но непременно — «туда» или с кем-нибудь из детей, с одним, с двумя. К церковной службе, и «так» вообще, к чаю...

Я с корректурами, писанием статей и заработком «хлебов» не имел возможности пристально на этом сосредоточиться. Но «косым глазом» замечал...

Это почти нельзя передать словами, нужно было видеть воочию.

В «обычный день недели» сидят у нас в столовой гости 2—3, да «мы» (семья): и часу в 10-м, в 11-м входит «младшая посетительница» дома батюшки... вся «не своя»... куда-то «отсутствующая»... как «покойница заранее» или как сомнамбула, идущая по крыше чужого дома... с этим — «не нужны вы все мне»... мне — «нужно *одно*». Привстанут, поздороваются, и она поздоровается, сделав усилие «к привету». И осторожно, с «не нужно» обойдя всех и чуть-чуть задержавшись, проходит к себе...

Так тянулась зима. Раза три зашел и батюшка... Как теперь догадываюсь — «с торжеством победителя»: ибо речей с ним никаких не выходило. Так как батюшка — «уважаемая особа», то я выходил проводить его до порога: и только потом сообразил (через год), что для этой-то минуты прощания он и приходил, потому что в столовой никакого «содержания для прихода» («зачем пришел») — не было.

Тут же происходила целая церемония: он вытаскивал отвратительную как лягушка пятерню свою и складывал пальцы для благословения... Сам он, при

небольшом росте и широкоплечий, с тихим лицом, медлительный в движениях, — вообще (для меня) выражал тип лягушки, как бы поднявшей на вас голову (маленький рост) и гипнотизирующей вас своими стеклянными глазами. Не хотелось обратить внимания. Такой человек, которого «почему-то не слушается» и на которого «почему-то не смотрится». Но на что я не мог не смотреть глубоко изумленный, — это на то, что следовало за неопределенным движением пятерни: низко и низко склонив высокий и прекрасный корпус, «царевна-девица» подставляла обе ладони, скрестив их как для приятия св. просфоры («артос», — раздают за ранней обедней): сейчас же он клал маленький католический крестик (он был, по роду, из *униатов* и в нем были веяния католичества) над ладонями, и лягушачьей пятерни касались губы покоренной «царевны» с таким проникновенным благоговением, как этого в быту не увидишь, а в истории прочтешь — и не поймешь. Но у меня — корректуры, и я только косым глазом вижу; и лишь через год, припоминая, стал соображать... Батюшка находился в тайном идейном соперничестве со мною, — и как ученик Влад. Соловьева, и как «иерей», — а в то время (Религ. фил. собрания) я довольно соперничал с ними. Он приходил, чтобы сказать и показать:

— Смотри, как ты раздавлен, ты и весь дом твой — все вы тут сидящие, со своими «Религ. филос. собраниями». Вот у вас была даровитая овца, — кровь ваша, плоть ваша. Но сказал Христос: «Не от плоти и не от крови рождается человек, а от духа». Где же сила вашей крови, вашего родства, вашего воспитания или отсутствия воспитания: вот пришел Я, носитель духа и духовного нового рождения, и родил духовно в сию овцу новую веру, новую религию, — родил в нее новую душу: и теперь она совсем — *не ваша*, а только — *моя*. И вот знак: что она согнула спину, а я поставил сапог свой на спину ее, на голову ее, на душу ее, семинарский сапог в 5 р. 50 к., и ей так сладко, что я держу этот сапог на голове ее, как не сладки все ваши речи, друзья и вы сами. И она до тех пор только и счастлива, радуется, живет и дышит, пока [на] прелестных белых волосах (пышные, почти белые) ощущает мой не первой свежести сапог на своих волосах...

«Ну, что делать»... (бессилие), да и «корректуры» (некогда).

Уезжаем далеко на лето... Прежде шумная, деятельная, гордая с переходом в самолюбие, — взяла себе самую маленькую, неудобную комнатку, — поселясь в ней с девочкою-подростком. И, отстраняясь от завязывания каких-либо знакомств вокруг, вся как бы ушла в себя, не обращая ни на кого внимания...

Думы девичьи заветные, —  
Кто их может разгадать.

Только мне говорят «домашние», что не в «думах» дело, а в молитве: как все успокоятся в дому, все заснет в дому, она *одна* или *с подростком*, а то подросток *один*, но уже, очевидно, по ее инициативе, становятся на колени и молятся

...кому, неизвестно —

как дивно выразился Лермонтов. В самом деле, если бы были «молитвы вообще», «молитвенность вообще», ну — «наша православная» молитвенность: то отчего бы не ходить в *народные* церкви, в наши *широкие раскрытые* церкви, «с таким дьяконом» и все прочее. Явно, — выразилась и выделилась «тяга в сторону» без сомнения при словах и именах обыкновенных наших, обыкновенных православных. «Христос», «церковь», «Бог»: но все *почему-то* тянет куда-то, в какую-то узкую могущественную трубу, как бывает при топке печи. И вот «мы», «православие» — *здесь* устье печки, такое широкое и ладное, всеми видное и почитаемое; а там, сзади, — вовсе не видимая, вовсе темная труба, другое отверстие: тонкая труба прямо вверх, которая в сущности и «производит огонь», «совершает топку», ибо без нее печь не горела бы, не пылала бы, ничего бы не было, ибо — нет «тяги».

Но я не мог не умилиться.

Что может быть прекраснее и идеальнее образа, судьбы, как обращение и превращение умной, но эгоистической девушки в чудную молитвенницу, в «заботницу» по дому, около детей, — которая не только сама религиозна, но и детей «приводит к Богу». Признаюсь, эти уединенные молитвы я даже связывал с полом. Думал, просто пришел «возраст», — и из рассеянной девушки стало вырастать что-то более содержательное и прекрасное.

«Все хорошо».

На этом мы и остановились, не углубляясь в дальнейшее.

«Тяга», однако, развивалась все далее и превратилась в потребность быть «непрерывно в том обществе». Окончилось переездом Лизы в «тот район» города, где была «батюшкина церковь». Оказывается, в «районе этом» было еще несколько прозелиток, самых разнообразных слоев общества, которые все в сущности составляли «одно братство» или, вернее, «одно посестрие», так как кроме священника да «уважаемого странника», из Сибири родом, и еще одного почтенного архимандрита, — крайне аскетического образа жизни, ученого, с литературными трудами, — других мужчин в этом «кружке» не было. Я называл — «кружок»: но у меня неудержимо стучало в голову — «корабль». Были все явные признаки «хлыстовского корабля», без его имени. «Корабль» этот неудержимо узнавался по присутствию особенной в нем «тяги», — именно какой-то «духовной трубы», которая вовлекала отдельные души, явно уже *врожденно-предрасположенные*, в свой могучий вихрь, сущность которого оставалась непонятною, и которому явно не было сил противиться. Формально, — ничего особенного. Усиленно молятся: но кому же это «запрещено»? и как вообще это порицать? Но в сердцевине, в «нерасказанной сказке», вовсе не это: члены «кружка» или «корабля» повернулись спиной ко всему миру, — и хуже, чем его «отрицают»: они его вовсе не чувствуют, не ощущают, не видят, не знают. А «знают» только друг друга, и вот «друг к другу» они уже повернуты лицом, горячи, интимны, «не надываются друг другом». Когда я узнал о принадлежности сюда ученого архимандрита, — я как получил удар в голову. «*Это ли не православный?*» — «*столп православия!*» Решительно *ничего* формально-укоризненного не

было, да и *быть не могло* уже потому, что архимандрит занимал высокопедагогическую должность, был «наставник и руководитель юношества в вере и благочестии», «в догмате и святине»... «Какие тут *ереси*, когда он все догматы знает, и ни от одного, конечно, не отступал!»

...Все так и *было!* — явно!!

...Но была еще труба, «тяга».

К кому? Что такое?

Решаясь выяснить себе это, я, помолясь дома Богу (об успехе), пошел к той «красивой даме», накидывавшей на себя ротонду, когда наших пилигримов странным образом не пустили в дом батюшки. «Она все *знает*», «она — *там*». «Пусть мне ответит», — думал я, на вопрос: «Отчего они не идут в открытые наши церкви, в народные церкви, в российские церкви, а только ютятся *около себя, друг возле друга*, в каком-то, очевидно, *замкнутом кругу?*» У меня была и резче формула: «Извините, — хотел я сказать ей, — в Российском государстве лечатся только медикаментами, рассмотренными в медицинском департаменте, и запрещена торговля *непроверенными средствами*, — не проверенными ни наукою, ни властью, — и которые если даже и целебны, то запрещены к продаже оттого, что *могут* быть также и не целебны, а — вредны»... «*Объявите*, — и я преклонюсь», а «пока не объявлено, — вы что-то делаете *преступное*»...

Вошел. Вышла. И пригласила «тут же, поближе», в кабинет мужа, техника и естественника. Села, и я изложил все, что хотел.

— ...Не «*проверено наукою*», — вы говорите? Но наука вовсе не обнимает всего, и авторитет ее ограничивается ее прямыми предметами. Разве «окончено» там, где наука «кончена»? Я так не думаю, и даже совершенно верю и знаю, что наука не поднимается выше своего приблизительно *среднего положения в космосе*, коего стоит выше религия...

Это было слишком убедительно. Я молчал...

— «*Средства науки*», — вы говорите?.. Вы видите меня здоровой, — надеюсь, *так?*.. Что же вы скажете, если я вам скажу, что я в течение нескольких лет лежала прикованною к кровати и ваши «медики», — и между ними профессора и светила, — ничего не могли сделать мне, ничем меня не исцелили. Исцелила — молитва, вера. Я здорова. Неужели же вы думаете, что я брошу факт своей жизни, который для вас есть «*мимо-идуший*» факт, а для меня есть сердцевина моей жизни, корень моего оживленья, — ради каких-то, как вы говорите «*ученых книг?*?! — которые «*учены*» и не «*опровергаемы*» только до тех пор, пока следующий ученый опровергнет их и покажет глупыми!.. Потому что вы знаете, что «*переломы*» в науке бывали и наука вообще «*спорит*»...

Я это знал.

— А мое *здоровье* — неоспоримо; это — *внутренний факт*, коего я знаю сущность. Я была мученица и урод, я с ума сходила от невыносимых головных болей. Я не в силах была связать двух мыслей. Теперь я говорю с вами. Тржусь... Живу...

Я окинул ее...

Никогда не видал такой прелестной женщины. Прелестное ее было в грации, в изяществе. Она вся очаровывала личностью, и очарование это лилось от ее искренности, теплоты, ясности ума. В ней не было совершенно «шаблона», и она вся была только «своя» и шла «своим путем»...

Одета — изящно. Они были богаты.

Выходя, я столкнулся уже в прихожей со священником. Он смотрел на меня снизу своей широкой головой и был такая же лягушка, как всегда. Она была какой-то улетающей в небо птицей. — «Какая связь?! что общего?!»

Позднее я узнал, что «тяга» исходила из Сибирского Странника, которого собственно и имел в виду полууниатский священник, заговаривавший со мною о «странниках». Он интересовался не «явлением странничества», как фактом этнографическим или религиозным, как «фактом русским» и «православным», — до коего ему и дела не было: а спросил, «не видали ли вы странников?» — в сомнамбулическом полете своей души «вслед странника», его *лично* и его *одного*, который и его, и многих еще таких же увлекал за собою...

Чем?

Тайна...

Однажды только, рано зашедши к священнику деловым образом, в будень, я встретил у него за сухим чаем («без всего») не то мещанина, не то крестьянина... Пока я болтал с священником и матушкой, он выпил свою «пару чая», ничего не говоря, положил стакан боком на блюдечко («благодарю», «больше не хочу») и, попрощавшись, вышел. Это и был «Странник», — мужичонко, серее которого я не встречал.

От него «тяга»?!

Влиявшая на непоколебимого и ученого архимандрита?!..

На эту изящную, светившуюся талантом женщину?!..

Какое-то «светопредставление»... Что-то, чего нельзя вообразить, допустить...

И что — *есть*!! Воочию!!

Совсем позднее мне пришлось выслушать два рассказа «третьих лиц», и не увлеченных, и не вовлеченных:

— Разговор, — о каком-то вопросе церкви, о каком-то моменте в жизни текущей церкви, — был в квартире о. архимандрита: и мы все, я и другие присутствующие, были удивлены, что о. архимандрит всегда такой определенный и резкий в суждениях, был на этот раз как будто чем-то связан... Разговор продолжался: как вдруг занавеска отодвинулась и из-за нее вышел этот Странник, резко перебивая всех нас:

— Пустое вы говорите, пустое и не то...

— И дальше — какое-то «свое решение», нам не показавшееся ни замечательным, ни убедительным. Нужно было видеть, что произошло с о. архимандритом: с момента, как вошел «Странник», очевидно слушавший все из-за занавески, его — *не было*. «Нет о. архимандрита». Он весь поплёк, при-

низился и исчез. Вошел в комнату дух, «духовная особа» такой значительности, около которой резкий и властительный о. архимандрит исчез и отказывался иметь какие-нибудь «свои мысли», «свои мнения», быть «своим лицом», — и мог только повторять то, что «Он, сказал»...

Вспомнишь пифагорейское «*Αυτός εφη*», «*Сам изрек*», «*Учитель* сказал». ...Но и без шуток и «примеров», — тут было что-то параллельное, одинаковое в силе; было что-то, *проливающее свет на само пифагорейство*... Была страшная личная скованность, личная зависимость одного человека от другого...

И в этой-то неисповедимой зависимости — все дело...

Другой рассказ — члена редакции одной распространенной газеты. Хозяин газеты, старик, с большим значением для всего Петербурга, захотел увидеть этого «Странника», о котором и «чудных делах его в Петербурге» — стали везде поговаривать. Он пришел, в своем армяке и «простонародьи», и резиновых калошах, в редакцию, — «и с ним эта дама». По имени я узнал, что это и была та, которую я посетил. Когда окончилась «аудиенция», он сошел из второго этажа в швейцарскую и, называя только по имени (без отчества), сказал этой даме: «Посмотри, где мои калоши». Та заторопилась и, расшвыривая чужие калоши, отыскала «батюшкины» и из своих рук подала ему. «Батюшка» равнодушно надел и пошел. Она за ним побежала, как бы ничего не зная и не видя из окружающего.

«Не вижу, не знаю — *никого*»...

Как у архимандрита: «Что же я? — Вот *он* сказал»...

«Дивные дела твои, Господи!» — Волшебство, магия, на улицах Петербурга! — и в каком веке происходящие.

«Союз пифагорейцев в Петербурге?» — Возможно, *есть*.

Мне как-то случилось обмолвиться в присутствии священника, что ведь «личность этого Странника с нравственной стороны ничем не удостоверена, потому что зачем же он все *целует и обнимает* женщин и девушек? Тогда как личность вот *такого-то* человека (я назвал свою жену) совершенно достоверна и на ее нравственное суждение *можно положиться*»... Нужно было видеть, какое это *впечатление* произвело. Священник совершенно забылся и ответил резко, что хотя «странник и *целует женщины* (всех, кто ему нравится), но поцелуи эти до того целомудренны и чисты... как этого... как этого... нет у жены вашей, не встречается у человека»...

Разве что...

Был «столбняк». Столбняк мысли, воображения, чувства. Прежде всего «столбняк» *какого-то очарования*, которое по его полной необъяснимости и какому-то всемогуществу нельзя не назвать магическим...

Я видел сущность дела: священник *ревновал* к славе странника. Малейшее *сомнение* в «полной чести» приводило его в ярость, в которой он забывался и начинал говорить грубости. «Да что такое?» — «Почему о *всех* можно сомневаться, а об *этом*, а об *нем* — нельзя?»

«Очаровательный Бейлис» и еще более — «Великий Шнеерсон»... У евреев, в их *течении хасидизма* (нет «секты хасидов», а есть глубоко спириту-



алистическое и мистическое течение хасидизма в еврействе) есть «цадики». «Цадик» есть святой человек, творящий «чудеса». Когда «цадик» кушает, например рыбу в масле, то случится — на обширной бороде в волосах запутается крошка или кусочек масляной рыбы. Пренебрегая есть его, он берет своими пальцами (своими пальцами!!) этот кусочек или крошку масляной рыбы и передает какой-нибудь «благочестивой Ревекке», стоящей за спиной его или где-нибудь сбоку... И та с неизъяснимой благодарностью и великим благоговением берет из его «пальчиков» крошку и проглатывает сама...

«Потому что из *Его* пальцев и с *Его* бороды»... и крошка уже «*свята*».

Мы, собственно, имеем возникновение момента *святости*. Но этого мало, — начало момента, с которого *начинается религия*. «Религия — *святое место*», «*святая область*», «*святые слова*», «*святые жесты*»... «Религия» — святой «*круг*», круг «*святых вещей*». До «*святого*» — нет религии, а есть только ее имя. *Суть* «религии», таинственное «электричество», из коего она рождается и которое она манифестирует собою, и есть именно «*святое*»; и в «хасидах», «цадиках», в «Шнеерсоне» и «Пифагоре», и вот в этом «петербургском чудодее», мы собственно имеем «на ладонь положенное» начало религии и всех религий...

Которое никак не можем *рассмотреть*.

«Ум мутится», «ум бессилен»... «Ничего не понимаем»...

Суть «тяги» *подобна*, однако, *любви*. Я и говорил об «очаровании», которое явно чувствуется во всех «втянутых» и которому *остаются чужды все не втянутые*. Это не «любовь», но где-то в «*параллелях*» с любовью. Кто постиг любовь? Она ведь также не разгадываема. «Он» или «она» для всех — *ничего*. «Нимало не герой» и не «*святой*»: но для того, «*кто любит*», вот для него любимое лицо — вполне свято, не упрекаемо, не подозреваемо, и притом «несмотря на все *доказательства* противного». Любовь есть «*полная вера*» любящего в любимое. Но в «*любви*» этому особенному «изводу религии» мы имеем именно только параллель, а — *не тождество* и *не единство*. В «изводе религии» содержится какое-то *высшее очарование*, полное идеальных и идеалистических моментов. «Он научил меня *молиться*», «он меня *исцелил*»... «Он *спас мою душу* от пустоты, от суеты»... «Он *вывел меня из греха*»... Вот отчего Ревекка ест кусок с бороды цадика... Тут «кусок» не сам-по-себе. Тут — «цадик», «свет из него»: «по его молитве я стала угодна Богу и он снял с меня поношение Израиля — *бесплодие*» (забеременела, стала иметь детей)... Для нас же, христиан, он «открыл свет правды», свет «*нравственного миропорядка*», научил «долгу и добродетели». «Цадик-Пифагор» открыл «гармонию чисел и музыку сфер небесных»... *Каждому* народу его «цадик» приносит лучшее и высшее, что он *угадывал* сердцем своим в веках... в целых веках. Например, русским показал великий *образ смирения*. Может быть высшая красота смирения? — Может быть!.. «Святым» у китайцев будет особенно трудолюбивый человек, великий садовод и цветовник. В знойной Индии — сон, дрема (Будда, буддизм). Грекам Пифагор дал «мудрость», евреям устраивает общее «плодородие». У нас?..

Русские пути очень разны и отчасти еще не определились по молодости сложения нации. Но *смирение*, кажется, входит в состав нашей непрременной святости.

У евреев «святейший» Авраам имел жен и наложниц: и у «плодовитого» народа это не было вменено ему ни в какой грех.

«Грех», — если бы он «уклонил сердце от Бога своего»; но он — не уклонил. Авраам не уклонил, Иаков не уклонил. А Иаков жил одновременно с двумя сестрами-женами и пользовался двумя их служанками. «Невообразимо» для русского.

.....

.....

Странник, о коем я упомянул, утонул в море анекдотов о нем, которых чем более — тем гуще они заволакивают от нас существо дела. «Все русские — рассказчики, а не мыслители». Между тем здесь великая тема для мысли и для любопытства. Мы, конечно, имеем перед собою «что-то», чего совершенно не понимаем, и что натурально — *есть*, реально — *есть*; что *присутствует* в этом страннике. «Анекдоты», каждый порознь — не объяснимы. Анекдот *сам-из-себя* — не объясняется. Значит, он объясняется из чего-то *третьего*, позади его и *au fond* существующего. В этом-то и заключается *главное*, — и чем выше гора анекдотов, тем все они становятся необъяснимее, и тем это *главное* вырастает в силе и значительности. «Значит, *есть* что-то невероятно *огромное*, если на плечах своих выдерживает такую массу анекдотического, наружно смешного материала, и нимало не гибнет под ним».

Одно, что можно *объективно* заметить в Сибирском Страннике, заметить «научно» и не проникая в корни дела, — это что он поворачивает все «благочестие Руси», искони, но *безотчетно* и *недоказуемо* державшееся на корне аскетизма, «воздержания», «не касания к женщине» и вообще *разобщения полов*, — к типу или вернее к музыке азиатской религиозной лирики и азиатской мудрости (Авраам, Исаак, Давид и его «псалмы», Соломон и «песнь песней», Магомет), — не только не разобщающей помы, но в высшей степени их соединяющей. Все «анекдоты», сыплющиеся на голову Странника, до тех пор основательны, пока мы принимаем за что-то окончательное и универсальное «свою русскую точку зрения», — точку зрения «своего прежнего»; и становятся бессильны при воспоминании о «псалмах Давида», сложенных среди сонма его окружавших жен. Думать, однако, что «действительный статский советник Спицын, женатый на одной жене», как *религиозное лицо* стоит выше, нежели на какой высоте стояли Давид или Соломон, — нет возможности. Все эти «одноженные господа» суть именно «господа» и даже «г.г.», а не религиозные типы, не религиозные лица. Странник чрезвычайно отталкивает *европейский тип* религий, — и «анекдоты» возникли на почве великого *удивления*, как *можно быть* «религиозным лицом», иметь посягательство на имя «святого человека», при таких ... «случайностях». Но ведь, «взяв анекдот в руки» и вооружившись настроением анекдотиста, —

это же самое можно бы рассказать о Магомете, о Соломоне, о Давиде, об Иакове и Аврааме, которые, однако, были *близки к Богу* и явили «знаки» своей близости. Вот эти-то «знаки» есть очевидно и у Странника: их читают те, кому это *открыто*. Это не «псалмы», которые все могли бы *прочесть*. Таким образом, у него нет «знаков» *всеобщей убедительности*. У него есть какое-то *дело жизни*... Какое? «Исцелил» и «научил молитве» — вот все, что пока определенно известно...

Но это «исцелился» — *личная* сторона дела. Но есть еще «история»... В *истории* Странник явно совершает переворот, показывая нам свою и азиатскую веру, где «все другое»... Потому-то его «нравы» перешагнули через край «нашего». Говоря так, я выражаю *отрицательную* («не европейская») суть дела. В чем же лежит *положительное*? «Невем». Серьезность вовлекаемых «в вихрь» лиц, увлекаемых «в трубу» — необыкновенна: «тяга» не оставляет ни малейшего сомнения в том, что мы не стоим перед явлением «маленьким и смешным», что перед глазами России происходит не «анекдот», а *история* страшной серьезности.

Но в «узел» дела мы заглянуть не можем...

.....

Но не таков ли и вообще человек? Каждый имеет свою «потаенную историю»: а *как* она связывается и соединяется с его явной, большой, дневной историей, сплетенной из подвигов, из героизма и из святого? История и есть «священная история», — не одних евреев. Ведь около всякого дневного и явного — есть ночное и укрываемое. Никто не пытался связать «ночь» человека с его «днем». А связь есть: *день* человека и *ночь* его составляют просто *одного человека*, который днем совершает «подвиг» и ночью, — казалось бы, «совсем другое». *Другое ли?* — в этом весь вопрос. И природе дал Бог зори, утреннюю и вечернюю, тьму и свет, звезды и солнцу, *мириады* тех и это *одно*... И, конечно, — все *разно*: но — ничто *худо*. Но не *так* ли же с историей и с человеком?.. Верны ли наши *европейские* точки зрения?..

Они очень *привычны*... Но привычка — *не истина*...

.....

.....

.....

Я не назвал по имени Странника, его имя на устах всей России. Чем кончится его история — неисповедимо. Но она уже не коротка теперь, и будет еще очень длинна. Но только никто не должен на него смотреть, как на «случай», «анекдот», как на «не разоблаченного обманщика». *Кто его знает* — перед теми все «разоблачено»: и, однако, «тяга», «труба» — остается.



Малые произведения  
1909—1914 годов

# Библейская поэзия

«О поэзии в Библии» было написано в 1909 году; печатается же теперь впервые. — «О Песне песней» было написано в 1909-м году и тогда же напечатано предисловием к изданию «Пантеона»: «Песнь песней» Соломона. Перевод с древнееврейского и примечания А. Эфроса. Спб., 1909 г.»

*Спб., 1911 г., октября 16.*

## О ПОЭЗИИ В БИБЛИИ

Далекие, далекие пустыни... Солнце страшно печет, ночи холодные... Солнце как острый глаз в небе, жгучий, сыплющий лучи, — в небе почти черном; и звезды огромные, как бы наполненные соком, жизнью-кровью, — разбросаны в глубине небес, и кажутся висящими над землею как золотые плоды всемирного распутившегося дерева, под сенью которого лежит земля, и вот на ней шалаш человека...

И человек худощавый, высокий, с длинной седой бородой, столетний... Сухое тело, темная кожа, жгучая кровь. Она стара и не стара. Здесь люди поздно стареют, поздно зреют, не выхолаживаются, не пустеют.

Говорить не с кем... Говорятся немногие слова. Говорятся в случаях многозначительных. Нужен необыкновенный феномен, чтобы на камне, листе пальмы, кожаной тряпке записать что-нибудь; и необычайное нужно стечение обстоятельств, чтобы записанное сохранилось.

Полное отсутствие письменности, почти полное... Не для кого писать: кто же будет тогда писать?!

Но душа человека вечно полна речей... Писанных, ненаписанных, все равно — полна: как сердце, видим мы его или не видим, слушаем его биение или не слышим, — оно полно кровью и делает все, что сердцу принадлежит делать. И, «словесное существо», человек говорил до письменности так же много, как говорит и при письменности: но когда некому говорить, слова остаются в сердце и жгут сердце, воспитывают его, умудряют его.

Сухие, высокие старики пустынь были мудрые люди. Великий жар безмолвной души связался с великим жаром палящего солнца, полнокровных, полносочных звезд; и стало что-то одно, между Землею и Небом, не Земля и не Небо...

Стала молитва. Стало чувство Бога.  
Стала религия.

Без догм, без определений, без границ... Религия бесконечная, как бесконечна пустыня. Религия как торжественность. Религия как святость.

Религия как «мое» у каждого старика.

Но как старики были похожи друг на друга, и пустыня — одна, то и религия — была одна. Без уговоров, без условий, без соглашений.

«Моя» дума.

«Наша» дума.

Как прозрачный, утренний голубой туман между росистой землей и восходящим солнцем. Где его граница? Долго ли простоит он? Зачем спрашивать: гляди и любуйся.

Такова была «религия» этих старцев: просто — их «дума»; и, полнее — их существо, столь же физиологическое, как и духовное.

Немногое из этих «дум» было записано. Как «записалось» — это почти чудо, феномен. Больше было запомнено, — благочестивой памятью детей, благочестивой памятью внуков, даровитым любопытствующим соседом, передавшим соседу, сыну, внуку «слова», изречения «вон того высокого старика».

И как солнце не задерживается в ходе своем, так никто не заграждал воли этих стариков... Сухие и не сухие, старые и не старые, — каждый из них был окружен народцем: жен и жен, рабынь и наложниц, детей — детей — детей, множества детей, и внуков, глядя на которых к девяноста годам старец шептал: «Их — как песку в пустыне».

И дальше — стада... Дерево и плоды его... Виноградник и виноград... Козий сыр, овечья шерсть, молоко — молоко — молоко, — коров, кобылиц.

Сон. Отдых. Не торопливый, не нервный труд... И размножение, — как у овец, у кобылиц, у ослов, у круторогих могучих быков.

И хорошо и не хорошо.

Полно и мало.

Человек благодарил Бога.

В это время Европа была еще ледяная, холодная, дикая, необитаемая.

«Я» земли было в этих стариках.

И как они были одни, то это было всемирное «я».

И мелькнул исторический день. Два дня. Пронеслись века... Земля зашумела и помолодела.

Древняя земля была стара. Чем ближе к нам — молодее. Земля родилась из старого лона, и как растет — все молодеет.

Вот города Финикии, торговые, шумные... Спешат корабли к Сидону, к Тиру, к Библосу... Вдали слагаются громадные царства, и за пустыней лежит Ассирия, пугающая робкие племена... В высоких, таинственных, молчаливых дворцах слагаются свои легенды. Свои мифы, своя история.

По ту сторону моря — старый, как земля, Египет, начала которого никто не помнит, и всем кажется, что он вечно был и никогда не начинался. Был как есть, стройный, мудрый, сложный.

Там все мудро, — там науки, традиция наук. И когда они родились — тоже никто не знает. Родились при храмах, как великая тайна, как великий секрет старцев. Первая «наука» самому изобретателю ее показалась как чудо, как колдовство, как небесное откровенье. Квадраты чисел, кубы чисел, первая разрешенная арифметическая задача поразила человека, как радий наше время.

«Все это так необыкновенно. А необыкновенное — от Бога».

Между Аравией, Египтом и Финикией, по сю сторону Ирана и Месопотамии, лежали полосы земли, никому не понадобившиеся и никем пока не занятые. Здесь бродили остатки и потомки тех древних стариков, кости которых покоились в священных могилах. Могила копалась около могилы. А весь ставилась около веси... И те же стада и те же дети... Так же много жен. И границы семьи и племени, рода и народа не разграничивались.

Род переходил в народ. А народ разделялся на роды.

И так же всех жгло солнце... И так же говорило всем Небо... И так же человек слушал Небо.

Но уже все более шумело, все помолодело.

Старцы чуть-чуть отодвинулись вдале. Отодвинулись за занавески палаток. Уже оттого, что они безмолвны, или мало говорят, — кажется, что «нет их». На передний фас выдвинулось мужественное и молодое, говорливое, шумное, любящее, имеющее «истории». Женщины, которые не смели поднять головы в присутствии «владыки и мужа» своего, того прежнего старца, — теперь поднимают глаза, руки, речи, — и всему сообщают совершенно новый рисунок.

Солнце помолодело. Земля помолодела. Все помолодело. От того, что всего стало больше и все сделалось шумнее, оживленнее.

Рождать перестали так безмолвно, как прежде, как овцы и козы и ослицы. Проглянули человеческие глаза, проглянули в самом рождении. Чего-то захотелось. О чем-то вздохнулось. Что-то вспомнилось. Где-то на краю пустыни случился первый роман, — о котором рассказывали под шатрами со страхом и любопытством.

Как будто первозданные громадные скалы распались: и произошли холмики, долины, зеленеющие, с цветочками.

Запелась песня. Рассказалась сказка. Послышался речитатив, первый ритм, первая музыка.

Человек юнел, мудрел. Человек стал сложнее.

Родился грех. Родилось соперничество. Родилась зависть...

Молитва стала гораздо сложнее: стало надобиться замолить тоску.

Понадобилось укротить страх.

Понадобилось «отвратить врага и хищника» от ворот дома своего.

Лес рос еще прямо. Но в лесу закопошились гады.

И все-таки земля была еще очень хороша.

На этих полосках земли, которые пока еще никому не понадобились, — бродили евреи. С робостью взирали они на старый Египет, могущественную Ассирию, изумительных финикиан. Они были всех темнее, дичее, первобытнее. Они смотрели из своего «я» на соседние могущества и мудрость, как деревня смотрит на город, — огромный, непонятный и пугающий.

Они были робки.

Они были кротки.

В них было что-то тихое, милое и молчаливое. Когда первобытные скалы раскололись, — в сторону откатились драгоценнейшие камешки, немногие, внутри их хранившиеся. Они откатились далеко и сейчас затерялись. Их никто не нашел. Но чудным сознанием горел каждый камешек: «Я — лучшее у Бога».

«Мы самое лучшее на земле»: так — все безмолвно, никому не передавая — думали эти дивящиеся на мир, на города, на царства пастухи, земледельцы, ремесленники, торговцы.

Маленькая земля, маленький торг, маленькое «свое» у каждого: и среди этого «своего» величайшая драгоценность — сознание, что ради этого «я» и «мое» весь свет создан.

«Мы — маленькие. И никто нас не видит. Но мир создан для нас»; «если бы не для нас, то Бог и вовсе не создал бы мира».

Но этой тайны никто не поймет и никто не видит. И эта тайна — такая страшная и особенная, что мы никому ее не выдадим, если бы даже стали разрезывать наше тело на куски.

Мир для нас, но мир этого не знает. И живет «для себя». Но это — все пустое: ничтожно всякое его «для себя». Значащее в мире только то, что «для нас».

«Мы»... А «остальное» так себе... И это соотношение потому и держится, и до тех пор лишь держится, пока мы не узнаны, не видны, не замечены. Как только кто-нибудь «заметит и найдет» нас, — наше тайное царственное значение на земле разрушится и мы исчезнем, как соль мира. Та соль, которая распущена в воде и не видна, а она ей сообщает вкус.

«Вкус» человечества, «вкус» его для Бога — происходит от нас, — рассеянных, темных, скитающихся, безвидных.

А как мы получим *вид* — все исчезнет.

Не надо нам *вида*: форм, государств, учености, искусств, статуй. Соли нужно только, чтобы она *была*. И действует она только в распущенном, безвидном состоянии. Так мы — везде и нигде... Без средоточия. Но миру необходимо, чтобы мы *были*, и даже мир не удержится, если бы нас не стало: и мы должны только *быть*, т. е. множиться.



Множиться, и еще — ничего.

Множиться и трудиться, — т. е. кормиться.

Но еще — уже решительно ничего. Все остальное — запрещено. Все остальное страшно. Все остальное — безбожие. Для нас исключительно это безбожно, — для нас, исключительного народа. У прочих это хорошо и не огорчает Бога.

И вырос труд. И выросли плоды. И вырос торг, небольшой, не как у финикийян. Только чтобы пропитаться, или немного больше. Без жадности и без греха.

Но пышнее, чем где-нибудь, душистее, деликатнее, тоньше сложилось все, что «около рождения» или вытекает «из рожденья»... Так как и «быть» и «множиться» все положено, то сюда ушла скульптура и живопись, которым не дали развиться, — драма, которая была допущена, — поэзия запрещенная, запрещенная мудрость. Все — сюда. Перед всем заперты двери. Соль должна только осолять: для этого ей — *быть*, и быть — в *большом количестве*. Нужно осолить все воды земные. Нужно вкусом своим пропитать весь мир. И для этого не нужно соли ни во что другое обращаться, ни в алмаз, ни в другой драгоценный камень. Заваленная алмазами, земля погибла бы как безвкусная, истощенная, от голода. Соль должна быть солью; опущенная в воду, приправую к кушанью — она дает воде и кушанью больше, чем дал бы опущенный в нее бриллиант.

Не нужно бриллиантов.

Ничего не нужно.

Не нужно цивилизации.

«Мы примешаемся ко всякой цивилизации: но сами мы будем только множиться, и немного приобретать».

Любовь и жизнь у народа с таким странным призванием, — и, кажется, истинным призванием, — вылилась в особенные формы, не встречаемые у других народов. Тут не развернулось все это в волнующие и широкие драмы, в длинные повествования, как любовь Дамаянты и Наля, Одиссея и Пенелопы, Гектора [и] Андромахи; не сложилась в яркие, грешные и страшные истории, как у персонажей Шекспира, Гёте, Шиллера. Вечное «множитесь» — не забывалось; как оно забыто и отсутствует сколько-нибудь значительным стимулом у Дездемоны и Отелло, у Офелии и Гамлета, в Греции, в Индии. Разительную сторону еврейской любви (древней) и еврейских «житейских историй» составляет то, что она гораздо физиологичнее, чем где бы то ни было: но в то же время почему-то и, конечно, не без основания же единственно у них эта физиология получила до такой степени бесспорно-священный свет, священный вкус, как бы храмовой, церковный аромат, что ни один народ, усвоив книги, где рассказаны эти «истории» и передана эта

физиология, — не усумнился их внести в свои «божницы», положить на «престолы» своих храмов, читать их в свои «праздники», не замечая, не чувствуя противоречия и несовместимости. У *всех* — несовместимо! У евреев — *совместилось*. Точнее — «требуется друг друга», «не может быть одно без другого». Говоря иносказательно, везде детские замазанные пеленки пахнут, «как им и надлежит по законам физиологии», но у евреев, одних и исключительно, они как бы утратили естественный натуральный запах, отталкивающий, — и «благодарно преобразились» (говоря церковными понятиями) как бы в типичный, исключительный запах ароматистых курений. Везде это — кровь, семя, дурно пахучее; у них... кровь же — но святая, семя — но святое... «Мое святое семя», «наше святое семя» — термины, пестрящие Библию и невозможные в речи у Гектора и Андромахи, у Дездемоны и Отелло. Отсюда и выражение, от евреев пошедшее и ни у какого другого народа не начавшееся, — «святая семья». В этом, собственно, термин она усвоена Европой. В целомудренной застенчивости, священные книги евреев не говорят *так* о семье: но никакого иного чувства, как «святое», эти книги не имеют о семье; они сплошь строками своими, и сплошь о всякой семье, и сплошь о всем физиологическом, живом, биологическом, говорят как о святом. Термин «святое» приложен только к семени: но чувством «святое» обито, обернуто и все, что *около* семени и происходит *от* семени.

Соли нужно только *быть*. Только множиться. И когда так в это одно все уперлось, то оно оделось в непоколебимую броню — святину. «Святость» что разрушит? Она вечнее стали, силы, царств. Но множиться нужно *вечно*, именно — им, особенно — им. Тогда они стали «свято» множиться.

И семя, и пеленки, и все физиологические процессы вдруг запахло, как богомольная сельская церковь, тихая и смиренная, после прекрасной службы, когда из нее вышел народ. Это — израильский «вечерний звон», это их — «псалтырь», их «заутреня», и «горящие восковые свечи» Великого Четверга и Страстной Седьмицы...

Все — в размножении!

Как у нас все — в наружном культе, далеких, общественных, не «своих» у *каждого* «праздниках».

Перенесите весь праздничный годовой круг наш, с Пасхой, с Рождеством, с Новым Годом, с Троицею, с Водосвятием, с вербами, — перенесите весь необозримый культ Православия, с трогательными словами, особыми песнопениями, с музыкою, с духом, со смыслом, — под крышу единичного дома, маленького и бедного, и вылейте это на «род», там копошащийся, на деда и внуков, мужа и жену, отца и мать, сестер и братьев, племянников и теток, племянниц и дядей, золовок, тестей, тещ, далеких, близких, но связанных непременно *генетически, кровно*, — точнее, все эти праздники и весь этот культ влейте в самые *жилы*, в самую *кровь* и *сок* этих людей, и вы вдруг получите... «священную» еврейскую семью, и разрешение не разрешенной нигде еще в истории задачи — священного размножения.

Только у них.  
И нигде больше.

От этого таинственного явления осуждаемое решительно у всех людей вдруг сделалось, каким-то чудом, неосудимо у одних их: и неосудимо на оценку именно этих других людей, народов. Многоженство — у всех проклято, у них — благословлено. И *никто этим не смущается*, ни один читающий Библию. Не *оскорбляет это ничьего вкуса*, никто *нравственно их не судит за это*, — сохраняя в себе нравственную строгость, не отступая от нее. Это — чудо, чудо, как радий и как рентгеновские лучи. Евреи открыли «рентгеновские лучи» семьи. Улисс у Калипсо — светское приключение, сюжет для чтения у маркиз. Но Агарь у Авраама — предмет чтения священника: и священник, старый, седой, почтенный, благочестивый, не догадывается осудить Агарь, не догадывается осудить Авраама. Сближение с прислугой — какой сальный анекдот везде, сюжет тысячи водевилей; но разве водевилист смеет коснуться своим *тоном*, заметьте — *тоном*, «священной истории» рождения Измаила?! Наконец, это простерлось в бесконечность: встречаются истории «блудниц», истории как Лота и дочерей, — и ни от одной из них на читающего не пахнёт тем «салом», тем пригорелым, вонючим салом, каким пахнут переданные в романах и повестях истории наших даже «законных единобрачных супружеств». Это — чудо, которого мы только не замечаем. Поистине «невозможное для человека — возможно для Бога», и «где Бог — там и *святыня*», святое место: в Библии вдруг высветилась вся плоть человеческая, весь круг ее, начало и завершение, — все.

Это — радий.

Это — рентгеновский луч.

Вдруг все стало свято, все, все... И грех исчез. Сюда вошел Бог. И ни один народ не дерзнул сказать: «У них это было, *как и у нас*, грешно»...

Да, у нас — грешно.

Но у них — нет.

Если мы спросим, отчего же «подкосились ноги» у всемирного осуждения перед тем, что у всех осуждается, — мы заметим, что прежде всего на всех этих событиях лежит печать удивительной кротости и деликатности. При малейшем ропоте Сарры — Авраам отсылает Агарь; но и Сарра не роптала, пока Агарь не возгордилась сыном, не вознеслась над бесплодной. Здесь нет грубости ни в одном моменте. Агарь наказана за кичливость: кто скажет, что кичливость не наказуема? Но в пустыне она смирилась: и с нею опять Бог. И все четверо — Авраам, Сарра, Агарь, Измаил — у Бога. И все нравственны. И все природны. В Библии природа течет в той самой деликатности, как она течет «в природе»: и как в природе нет грязных мест, нет грешных мест, — их нет и в Библии. Но чудный дух кротости, — этот дар, которого все-таки недостает природе, и он дан только человеку, — возвышает Библию над обычно натуральностью и, не отрывая ее от природы, поставляет на вершину ее как венец, звезду и освящение.

Кроткого нельзя судить; деликатного нельзя судить; тихого и естественного нельзя судить. В Библии есть многоженство: но зато там нет ни одной «семейной ссоры». И хотя горе и гнев происходят там: но самый гнев, как ни удивительно, протекает без той едкости, цепляемости и вони, каким обычно сопровождается у нас. Разлившийся, вспучившийся ручей ломает храмину, топит людей: но он не «доносит по начальству» на людей.

Жил — и умер.

Был враг — и пал от врага.

Но это совсем не то, как брат брату выворотил глаза ножом (ослепление Василько в «Летописи»). Введите «ослепление Василько» в Библию: и от одного этого рассказа святой дух отлетит от нее. А об убийствах там во многих местах рассказано.

Суть зависит от таинственного тона Библии: который кажется так прост, естественен, — естественнее всего естественного, — и между тем никому не удастся повторить его хотя бы в нескольких строках. Все мудрецы света никак не сумеют прибавить несколько строк к таким, казалось бы, простым «новеллам», как «Руфь» или «Книга Товии, сына Товита».

Поэтому и названо было сплошь все это, но только это одно — «Священным Писанием», а все народы для себя нарекли их «по преимуществу книгою», «мудростью», «читаемым» — Библиею.

«— Вот наша Библия», — сказала человечество. И чтобы до полного чуда здесь ничего не недоставало, — сказала о книгах народа нелюбимого, враждебного себе, враждующем с ним. Полное чудо. Полная тайна.

Выражение «Библейская поэзия» — не совсем правильно. Библия совершенно чужда главного и постоянного характера поэзии — вымысла, воображения, украшения, — даже наивного, простого. Цель Библии, прямая цель библейского рассказа — передать факт, событие; и только. Невозможно там найти ни одной «кудрявой фразы», хотя бы былинного оттенка, — и такового там нет. Библия — «книга *былей*»; и если, конечно, теперь с нашими научными средствами мы о многом думаем, что «этого никогда не было» или что «это, бесспорно, происходило *иначе*», — то мы поправляем не намерение писателя или писателей отдельных библейских книг, ибо оно вполне совпадает «с нашим»: дать полную «истину», дать одну «действительность», а поправляем своим научным знанием неполную осведомленность того древнего писателя. В исчислении родов и поколений, которыми по временам пестрит текст Библии, где какая же поэзия, — мы явно читаем намерение автора не отступать от факта, дать хоть скучнейший факт, когда он в точности ему известен. Библия — календарь человечества, развернутый в поэму. Но что же придало ей этот характер? Почему на нас ложится впечатление от нее как бы от священной поэмы? Частью — вот эта именно реалистичность: ко всему бытию человеческому, бытию всего человечества, Библия относится «со страхом и трепетом», говоря церковным языком, — как к явному делу Божью, как к проявлениям воли Божьей в человеческих судьбах. Идея Провидения навеивается от чтения всей Библии, хотя слово это

в ее тексте и не встречается. Слово это — уже продукт научного мышления, цветок культуры: а Библия предшествует культуре и, собственно, изображает, как она возникла, как утверждались ее столбы и развивался весь план. Слова этого и нет: но читающий шепчет — «Провидение», «Провидение», так как громадные и мелкие факты, биографии людей и судьбы народов, перед его очами лепятся невидимыми и осязаемыми Небесными Перстами... «Чья-то воля», — «не моя, не наша воля»...

Но откуда же «поэзия»?.. Вымысла нет, нет в намерении. Ничего не украшено. Да, но все прекрасно: и вот мы шепчем неточное слово — «поэзия». На самом деле это не «поэзия», а то, что тонкий вкус народов и назвал «священством», священным для себя... «Святой дух веет над страницами»... Устраним слишком специальное представление, которое христианская церковь соединила со словом «святой дух», оставим его на степени «веяния чего-то чистого, неземного», что иногда опахивает человека, и он сам не знает откуда, — на степени «высокого и благородного», но не придуманного, нежного без приторности, кроткого без униженности, в высшей степени простого, в высшей степени ясного, в высшей степени наглядного, — и мы получим «дух Библии» или «святой дух Библии». Конечно, это не поэзия, но выше ее. «Простота» всех знаменитых авторов и знаменитых поэтов (напр., у нас Толстого в народных рассказах), в сущности, силится приблизиться к простоте Библии: но нигде не сохраняет изящества ее рисунка и ее слов. Кажется, это дар семитизма. Семитический дух несравненно прост, фактичен и вместе как-то неуловимо изящен, сравнительно с духом людей арийского корня. Тайна настоящей кротости и настоящей простоты дана только семитам. Можно так выразиться, что кротость и другие «добродетели» даны или являются у других народов и в других литературах как бы «лепная работа» в доме, «лепная работа» на потолке и стенах; у семитов же «лепной работы» вовсе нет, а суть того, что у других народов выражено в ней, — у них выражено в линиях здания, в плане построения, во «всем». Не «прибавлено», а суть; есть от века и вошло сущностью.

Чтение Библии никогда не раздражает, не гневит, не досаждаёт. Оно омывает душу, и никакой занозы в ней не оставляет. Прочитавший страницу никогда не остается неудовлетворенным. Такие чувства, как «недоумение», никогда не сопутствуют чтению. Вообще, дух от чтения ее не сдавливается, не искажается, не стесняется. «Прочитал, и стало лучше». И только. От Библии — всегда «лучше». И человечество естественно сказало: «Это — лучше» (т. е. всякого чтения), «это — Библия», т. е. «преимущественно книга», «книга книг». В ней как бы канон книжности: «Вот как надо писать, вот что пишите»... Но уже никто не мог; и люди сказали: «Потому что это написано Богом».

В точном смысле, научно, этого и нельзя отвергнуть: где Бог и где человек, где кончилось божеское и началось человеческое, или наоборот? Невозможность здесь разграничения Библия указывает в первых же строках, рассказывая о сотворении человека: «и вдунул Бог (в форму из земли) душу

бессмертную, душу разумную». Впервые это слово так ясно, просто и кратко высказано в Библии: а ведь можно упасть на землю, и в слезах целовать это слово, одну эту строку, с благодарностью к написавшему, которой и предела нет. «Весь ты, человек, из земли; глина, песок, известь, фосфор, — вот твой жалкий состав, как у камней, у травы, у соленых морских волн. Но не трепещи, не склоняй голову: во все это Бог вдунул разум, сердце, душу. И вот ты весь, — и Бог, и камень. Настоящего, настоящего Бога в тебе есть частица, — не идола, не истукана, не чего-нибудь, не фантазии и мифа: а настоящего Бога, Единого, Вечного, все создавшего — в тебе бьется пульс, дыхание, что-то, вот это небесное веяние, небесное опаживание, о котором ты говоришь, что не знаешь, откуда оно. Будь смиренен, ибо ты земля; но будь и высок, ибо ты — Бог, частица Бога, Божий дух в Тебе».

Поразительно. Хочется плакать. Испуган, благодаришь.

Нельзя не заметить, что Толстой посмеялся над этим рассказом Библии: сказав, что «сочинено» и «по-детски», что «неправдоподобно» и, значит, *не было*. Ну, что же: зато, «дважды два четыре» — есть. Но почему-то на этом «есть» никогда не возникало религии, ни разу человеку не захотелось помолиться на «дважды два». Толстой в этом случае, да и вообще-то если его всего придвинуть к Библии, окажется удивленно не «священным». Точно царь Халдеи, — «звон» о Боге слышавший, но Бога никогда не видевший и вообще бродящий где-то за краями, вдали, на горизонте подлинно священных мест.

Чтение Библии поднимает, облагораживает; и сообщает душе читающего тот же священный оттенок, т. е. настроенность в высшей степени серьезную, до торжественности и трагизма, каким само обладает. В сравнении со всякими другими книгами, это — как чистая вода горного ключа после спитого чая, водки и бутербродов; это — как поле и полевые цветы, хижина араба и его песня о звездах после душевного ресторана с «малыми»; всегда это для души — освежение и воскресение.

1909—1911 гг.

## О «ПЕСНЕ ПЕСНЕЙ»

«Да не преидет и иота в ней», хочется сказать о «Песне песней»: — «Не трогайте и черты в ней. Все вышло *так* в ней, и вышло *единственный* только раз в истории, что, как вы перемените хотя одну в ней черту, — нечто *умрет* в ней и *повредится вся она*; заменить же эту черту чем-нибудь ни вы и никто не сумеет. Итак, оставьте все эти звуки, тон их, сохраните даже то, чего вы за древностью не понимаете или что по незнанию обстановки быта крайне темно: эти непонятные места пройдут немymi для вас, но зато остальное сохранит ту свежесть живых и чистых вод, которые вот уже сколько

тысяч лет назад вышли из-под кедров Ливана, и поят народы с тех пор, и все пьют эти воды и свежают от них».

Ароматичность их не улетучивается... какая-то вечная... «Песнь песней» так и начинается с ароматичности — и никакое другое слово не повторяется в ней так часто, в стольких изгибах, оттенках, разнообразии, как это слово, название, ощущение... Если бы возможно было произведения человеческого гения или воображения распределить по категориям пяти чувств, сообразно тому, которое из них было господствующим, творящим в данной поэме или рассказе, то «Песню песней» без всякого колебания все отнесли бы к редкой, исключительной, немногочисленной группе произведений обонятельных ли, ароматичных ли, — как угодно. Сюжета она почти не имеет, рассказ в ней тускл или неясен; и никто не задается вопросом, о чем, собственно, здесь говорится, где «подлежащее» этой фабулы и где ее «сказуемое». Вся поэма как-то дремотна... Точно она прошептана в дремоте, когда еще душа и все чувства не пробудились или когда они не заснули; но, во всяком случае, — когда они ушли от действительности, от дня и отчетливости дневных очертаний. Рисунок ее также неясен, и вообще это далеко не зрительная и не красочная поэма... Ее музыка... Да, она есть; но она вся происходит от этих сгибов и перегибов, теней и полутеней чего-то сладкого, и именно сладко-ароматистого, что льется в поэме или, точнее, отделяется от поэмы и волнует нас темным безглазым волнением. Это самая ароматичная и тайная поэма во всемирной литературе.

Как чудно ее имя; поистине «Соломонова мудрость» вложена в самое ее название: — «Песнь песней». Оно выражает, что в поэме уловлено то, что в самой песне составляет песню, что входит певческим началом во все всемирные песни, и какие пропеты, и какие будут петься. «Вот, люди: все вы поете, когда вам хорошо, когда вы счастливы. В этой песне я даю вам то, отчего вы все поете, отчего вы счастливы. Капля ее, растворенная в озере других слов, уже превращает их в лазурные песни, сказки, поэмы. Здесь же нет слов, или они тусклы, тягучи, немногочисленны: их ровно столько, сколько наименее можно было взять, чтобы выразить самую сущность того, от чего происходит певческое начало во всем мире. Потому это и есть *песня песней*: как бы от нее все песни получили свой исток, начало, одушевление».

Узора нет, краски неразличимы... в каком-то сумраке мысль. Такие слова, как «красный», «голубой», «желтый», даже сам «белый» или «черный», — не только не встречаются в поэме, но вы сейчас же почувствуете, что они составили бы в ней какофонию. Отчего же? Говорится о глазах, — и отчего не сказать: «твои *черные* глаза»; отчего не сказать: «мой *красный* хитон». Но этого нет, и подобное слово царапнуло бы поэму, показало бы кровь в ее прекрасном, живом, нетронutom целом. В одном месте поэмы говорится: «Не *будите* любовь», не мешайте ей, не спугивайте ее. Как только Суламифь сказала бы: «Я уже сняла свой *красный* хитон», так сейчас она и рассеяла бы грезы Соломона и все пробудилось бы к действительности. Вся поэма движется так, что ни Соломон, ни Суламифь не помнят о цвете своих

одежд... Замечательно, что чуть ли не единственный цветовой термин: «я смугла», — в ней, во-первых, не тверд, не определен, и, во-вторых, что это сказано как признание в горячности: «Я смугла, *обожжена солнцем*». Все остальные названия цветов не суть названия зрительные, а воспоминательные, т. е. цвета не видятся сейчас, но близкий предмет сравнивается с другими предметами, причем упоминается их цвет, упоминается дремотно, невнимательно, больше по привычке языка и народного говора.

В этом отношении любопытно взглянуть на некоторые подробности текста и перевода, освещаемые ценными примечаниями А. Эфроса, новейшего переводчика (1909 г.) *Песни песней*. Напр., в самом начале:

Запах —  
приятный у масл твоих,  
елей изливаемый —  
имя твое.

Переводчик комментирует:

«Синодский перевод: — «от благовония мастей твоих»...; перевод Британск. и Библ. Об-ва: «твои масти приятны для обоняния».

«Слова, переданные «запах» и «масл», в еврейском подлиннике значат: «испарение, запах» и «тук, масло, елей». Дословный перевод древнееврейского текста дает: «для запаха (т. е. чтобы выделять запах) — масла твои хороши».

Итак, вот что привходит в состав первых двух строк, как по крайней мере *дополняющий образ* у читающего или слушающего «Песнь песней»: «испарение» и «тук». «Тук» — это постоянно мелькающий термин в ритуале древних жертвоприношений, еще живых и наличных в пору написания «Песни песней». Именем этим назывался *чистый жир* у жертвенного животного, анатомически — «сальник» (около почек), который строжайше запрещено было вкушать людям, а он шел целостью «Господу», — в жертву. Как говорит об этом «Левит» (III, 17): «Весь тук — Господу. Это постановление вечно в роды ваши, во всех жилищах ваших; никакого тука, никакой крови не вкушайте». Как эллины бы сказали: «Это — пища богов и человеку не принадлежит». В других местах описания жертвенного ритуала постоянно встречаются выражения, что «Господь любит *обонять* тук жертв»... Для древних евреев, слушавших «Песнь песней» и почти ежедневно приносивших жертвы в Храме со знанием всех этих подробностей о «Господнем обонянии» и ценности «тука», разговор-шепот Соломона и Суламифи входил в душу впечатлением сладкой жертвы (Суламифь), кротко изливавшей «испарения» от тука своего, которое вдыхает царь и мудрец, «образ и подобие» Бога своего, как испарения других жертв вдыхает сам Господь. Таким образом, Соломон и Суламифь, в дремотных ласках, сливались в представлении евреев с мистерией жертвоприношения в храме: но без пролития крови, без боли, в одной *сладости* жертвоприношения, как некоторая «бескровная жертва» (термин христиан). Поэтому тут в слово еврейское наряду с



образом «тук» поставлено и «елей»... «Пусть мелькнет в воображении у читающего, у слушающего»... «Елей» напоминал лампы, горевшие «перед лицом Господним». Введение этого образа в воображение читателя или слушателя еще плотнее приближал сюжет «Песни песней» к Храму, ко всему святому, священному, всему заветному, дорогому у Израиля. Слушая «Песнь песней», еврей не мог не трепетать глубоким внутренним волнением: «Вот я, израильтянин; вот царь наш мудрый... Но мы все, как он же... Мы читаем это о нем *одном*, а относим ко *всем* нам... Пусть он один сложил *Песню*, и говорил о себе: он сложил ее *для нас* и даже *об нас*... И мы хотя только слушаем ее, но тоже как бы сотворили ее; и вечно сотворяем, во всех жилищах наших, эту же самую *Песнь песней*».

О третьей и четвертой строчке переводчик пишет:

«Синодальный перевод: — «имя твое, как разлитое миро»; перевод Британск. и Библ. Об-ва: «имя твое — мировое масло». В древнееврейском тексте слово, переданное нами «изливаемый», — означает: «быть выпихиваемым, изливаемым, переливаемым»; по толкованию равви Шломо Иицхаки, прозванного *Раши*, поставленный здесь термин «обычно употреблялся для обозначения елея, *переливаемого из сосуда в сосуд для более сильного выделения запаха*»... Синодский перевод: «от благовония масей твоих — имя твое, как разлитое миро», соединяя все четыре строки в одну фразу, во-первых, произвольно пренебрегает таким определенным разделом между двумя частями (две первые строки и две последние); и, во-вторых, теряет какой бы то ни было смысл; ибо что значит: «твое имя подобно разлитому миру вследствие того, что твои масти издают благовоние».

Но дело в том, что А. Эфрос выпустил из перевода понятие «тук», которое содержится по его же указанию в еврейском слове, и его перевод: «запах приятный у *масл* твоих» также оставляет в недоумении читателя, если он не восполнит слово «масл» дополнительным «тук» или хоть «масть» синодального перевода. «Песнь песней» говорит о *пахучести тела*, об *испарениях тела*, — и именно в той части его, которая у жертв называется «туком». Но как живой у живого не может обонять внутреннего (собственное значение «тук»), то, очевидно, все это происходит через кожу («испарения», через маслянистость ее. И полный образ, проходящий в уме при чтении этого места, можно выразить так: «Как пахуче твое тело... От ароматичности его — самое имя твое; и когда его услышишь — точно вдохнешь запах мира, переливаемого из сосуда в сосуд».

Мне как-то пришлось прочесть, что нет ничего обыкновеннее на улицах Иерусалима, как увидеть жителя (не помню, сказано ли «еврея»), спешно идущего, который держит в руках цветок и постоянно подносит его к носу. В Берлине и Лондоне этого невозможно встретить. В другой раз я удивился, прочитав, что в иерусалимских молитвенных домах евреи часто передают из рук в руки разрезанный пополам свежесорванный лимон, и все поочередно обоняют его, «дышат его запахом». Ритуальный закон, что в субботу или

в пасху евреи *вдыхают запах вина*, разлитого перед всеми сидящими за трапезою по стаканам, — известен. Это *обонятельное* отношение к вину вместо *вкусового* или *впереди* вкусового — замечательно. На вопрос: «Каким создал Бог мир?» — европеец ответил бы: «Прекрасным»; русский говорит: «Как мир *пригож*», «Как человек *пригож*». Закон сочувствия еврея, закон восторга еврея идет совсем по другой линии, и он сказал бы: «Бог создал мир *пахучим*», «мир *ароматичен*». Нельзя не заметить, что отношение через обоняние гораздо ближе, теснее, интимнее, чем отношение через зрение... Тут есть что-то льющееся из предмета в предмет, из существа в существо, — тут ароматистый предмет охватывает собою вдыхающего, и вдыхающий пожирает пахучее. «Жертва» все... «жертвоприношения»...

До чего это всеобъемлюще, до чего представляется еврею абсолютным, непоколебимым, не возбуждающим никакого о себе сомнения, можно видеть из того, что самое понятие «священства» они связали с пахучестью, и, напр., при установлении «канона» священных древних книг, т. е. бесспорно «бог вдохновенных», не от человеческого *измышления* («*ratio*») происшедших, руководились тем, «пахнут» или не «пахнут» тексты тех или иных книг. Это, на европейский взгляд, невероятное дело, совершенно известно в ученом мире еврейских гебраистов с *фактической стороны*: но, вследствие глубокой невероятности, они, так сказать, читали о деле и все-таки не видели дела, отказывались его принять в точном значении. Об этом читаем следующее у проф. Юнгера в его «Общем историко-критическом введении в священные Ветхозаветные книги» (Казань, 1902):

... «Со времени ученого еврейского Гретца и издания им Песни п. и Екклесиаста (1871 г.) внесены и новые гипотезы о заключении или окончательной установке канона, и новые доказательства их. Отвергая участие Великой Синагоги в заключении канона, Гретц, знаток еврейской литературы, отыскал в Талмуде Иамнийское собрание, якобы чрезвычайно торжественное, и ему приписал последнее заключение канона и *канонизацию* (установление *священства*) всех ветхозаветных книг. Его мнение разделяют, хотя с ограничением: Буль (1891 г.), Ригм (1889 г.) и некоторые другие. Насколько основательно соображение Гретца? Приведем прежде всего самое свидетельство Талмуда об Иамнийском собрании (Jadaim., cap. 3, 4—5): «Верхняя часть пергамента священного свитка (незаписанная) и нижняя незаписанная *оскверняют руки* в начале и в конце книги; рабби Иуда сказал: «в конце оскверняет только тогда, когда к ней приделана колонка. — Все агиографы оскверняют руки, и Песнь п. и Екклесиаст оскверняют руки». Рабби Иуда сказал: «Песнь п. действительно оскверняет руки, но Екклесиаст служит предметом споров». Рабби Иосе сказал: «Екклесиаст вовсе не оскверняет рук, а Песнь п. служит предметом споров». Рабби Симон сказал: «Екклесиаст служит предметом споров, а Песнь п. оскверняет руки». Рабби Симон-бен-Азаи сказал: «Я принял из уст 72 старцев, что Песнь п. и Еккле-

зиаст оскверняют руки». Рабби Акиба сказал: «*Песнь п. есть святое святых, и все стояние мира не стоит того дня, в который дана эта книга*» (как поразительно! — В. Р.)... И на этом заключили».

Проф. Юнгеров к этому добавляет: «Вот все талмудическое свидетельство; как видно, прямого указания на признание *боговдохновенности* ветхозаветных книг здесь нет. Спор идет об осквернении рук»...

Автор не замечает или затушевывает очевидность, что спор и препирательство идет о *высоте* книг (восклицание Акибы: «все стояние», т. е. вся жизнь, все долголетие, «мира не стоит дня», одного, «когда была дана» — т. е. свыше, Богом — «Песнь песней»). Проф. Юнгеров продолжает:

«...Проф. Олесницкий (автор громадного исследования о Ветхозаветном храме) высказывает соображение, что здесь лишь обычные фарисейско-саддукейские споры об обрядовой чистоте, причем в своей глубокой ненависти к саддукеям-первосвященникам и священникам, хранителям священных книг, фарисеи решили признавать нечистыми даже священные свитки, которыми в храме пользовались саддукеи» (Юнгеров, стр. 109—110).

Но ведь спор на Иамнийском собрании шел не о *матерьяле* (пергамент) книг, а о *тексте* их, мысли, слове, духе; и не только об одних тех свитках, которые могли быть получены из помещений храма, и где до них могла дотронуться саддукейская рука, — а и о всяких написанных дома свитках, написанных вне Иерусалима, в Вавилоне, Персеполе или Александрии. Сверх этого, спор идет о *высоте* книг, и «осквернение рук» есть качество не *понижающее* эту высоту, а *единственно удостоверяющее их высоту*, — как это видно из перипетий спора. Полная глупость мнения Олесницкого ясна из того, что, очевидно, «саддукеи», каковыми в известный и притом долгий период истории были храмовые священники и первосвященники, конечно, «брали в руки» свитки *без исключения всех священных книг*: о чем же было спорить?! Как было выделить или узнать, что, напр., *Екклезиаста* «не коснулась ни одна саддукейская рука»? Спор был невозможен и смешон, как если бы кто-нибудь поднял вопрос, не касались ли «нигилисты текста Пушкина», не «держали ли в руках книги Пушкина», — и «осквернили их». Отбрасывая это нелепое мнение, мы остаемся при факте, что евреи, споря о «боговдохновенности», нерациональности, неизмышленности текстов Писания, употребляют вместо этих слов, с *равным значением*, другие: суть ли они (тексты) или не суть «оскверняющие руки», именно не бумагою или кожею, а *смыслом, духом* их. Если «свыше» — оскверняют; а если в них написано обыкновенное, наше, земное — «не оскверняют». Но что значит «не оскверняют»? Очевидно, раз дело касается Св. Писания, слово «оскверняют» нельзя принять в нашем моральном смысле, ни в смысле вообще «*унижают*», «*ухудшают*». Ведь Св. Писание *нужно* читать, закон *велит* его читать. Что же все это значит? Возьмем аналогии. Закон *велит* брать жену, но, пережив с нею «Песнь песней», все же нужно *вымыть руки*; она «священна» — по закону, по тексту, по духу, по всеобщему признанию: но, побыв с нею, муж «осквернился» и должен вымыться. Все идет к истоку Израиля и

всех законов у него, и всех слов у него: текст Свящ. Писания, если оно подлинно дано *свыше*, а не «приблизительно только» священное, в словах своих, мысли, духе, букве, в переписанном, в пергаменте, на котором написано, как бы «лосниться» и «масляниться» и... о нем можно сказать, что таинственные *благоуханные* слова его пали на землю от Бога, как «мирра падала с рук Суламифи, и капли текли с пальцев ее»... «Пахнет книга?» — «Да! *Песнь п.* пахнет. *Екклезиаст* — не знаем». — «Тогда, почитав *Песнь п.*, вымоем руки; а после Екклезиаста *умываться не надо*: это не боговдохновенная книга, а *обыкновенная философия*». Вот смысл и дух спора на Иамнийском собрании<sup>1</sup>. Поразительно, что износившихся текстов *одного* Св. Писания евреи *не истребляют, не рвут, не сожигают*: «кровь потечет»; и они *хоронят* эти вышедшие из употребления тексты, складывая их в сухом месте. Так было найдено собрание изношенных пергаментов в Каире, куда их складывали из местных синагог 1000 лет. «*Живое слово*», «слово *Живота*»...

Может быть, мы лучше выразим мысль свою, сказав, что на Иамнийском собрании шло различие как бы *живых цветов* от цветов из *шелка и золота*: в «канон» были включены только «пахучие тексты» из «живых цветов», — а из шелка и золота цветы, как они ни прекрасны, естественно, ничем не «пахнут», и их выкинули из канона. В «каноне — *сотворенное, рожденное, живое*; вне закона — *сделанное, великолепное, полезное, но — мертвое*». Вот мысль иудеев, не уловленная Юнгеровым и Олесницким.

Но поспешим к заключению. Иегова есть «супруг Израиля», когда-то давший ему, как жених, в «вено» землю Ханаанскую, и затем все время мучивший «невесту и жену» приступами яростного ревнования... В этом *суть* всех пророчеств, сплетающих нежность ласк и обещаний с угрозами за возможную измену, со страшным наказанием за совершившуюся измену... «Давала мять сосцы свои *чужеземникам*»; «раскидывала ноги *по дорогам* и блудила, а не была со *Мною*»... Весь пресловутый «*моно-теизм*» евреев есть «*едино-мужие*», верность «одному мужу», каковую Авраам поклялся при завете Богу за себя и потомство («семя»), свое: «Мужа *другого* не буду иметь», — сказал он с трепетом, получив Ханаан: «Ни — *убегать* к любовникам»... С тех пор и за это он был возносим, мы почти можем сказать — как Ганимед Зевсом: только у греков это вымысел и вообще ничтожная сказка, у евреев — действительность. «Будешь в опасности — и уберегу тебя, по жердочке будешь идти через поток — и не дам упасть тебе». В этом — смысл тысячи слов, обещаний, нежности. Или — *гремящих, невыносимых* угроз, «если будут мять сосцы у тебя *другие* (=не «Аз, Бог твой»). В

---

<sup>1</sup> Г-н Переферкович, переводчик на русский язык «Талмуда», говорит в конце «Введения»: «Священное Писание *оскверняет* руки, по *своеобразному выражению* Талмуда» (следует указание мест «Талмуда»). Но это не «своеобразие», а *суть* и *ключ* к бесчисленным разгадкам.

этом отношении «Песнь песней» есть символ или иносказание любви Божьей к человеку, любви человека к Богу. «Вот как»... «Вот плод завета»... В «Песне песней» говорится о Соломоне и Суламифи; в то же время тут говорится о каждом израильтянине и израильтянке; это — книга постоянного семейного чтения, *в собрании всей семьи*, в вечер с пятницы на субботу; в то же время это и песнь о завете между Богом и человеком. Светы переливаются, тени волнуются, сумрак сходит на землю: *лица неразличимы, очерк фигур неясен*... Да и не нужно, не хочется этого. Но восточные ноздри широко раскрыты, — нервные, восприимчивые, утонченно-чувствующие: все «говорится» ароматом, и даже шепот, неясный, мгlistый, невнятный, — почти ненужное здесь дополнение. «*Кто тут? Я ли, мы ли? Соломон, Суламифь? Или Бог и Царица-Саббатон, ныне в субботу сошедшие в каждую еврейскую хижину?»* Вежди слипаются, разум неясен... и не хочется различить, не хочется ответить... Все — слилось, и все — едино... Единое в Едином, одна для одного и один для одной.

«Монотеизм», — шепчут ученые.

«Не проходите мимо, не вспугните любовь», — поправляет «Песнь песней».

Только раз удалось это человечеству... И нельзя поправить, нельзя переиначить ничего в «Песне песней»... Пусть же поется она, вечная, без переложений и без подражаний...

Сб., 21 февраля 1909 г.

## В соседстве Содома

*(Истоки Израиля)*

Евреи — женственная нация, вот на что надо обратить внимание. Если и среди нас встречаются люди с особенно-женственным, мягким сложением, — с мягким лицом, мягким голосом, мягкими манерами, — с мягкими идеями, повышенной серьезностью и чувствительностью, сентиментальные, и прочее, и прочее, то у евреев эта *женоподобность — национальна*. Обратим внимание на голос: за всю жизнь я не помню, чтобы еврей когда-нибудь говорил *октавой*. Даже *густого баса* я не помню определенно, чтобы встречал когда-нибудь. Все их голоса — пискливые, крикливые и, еще чаще — мягкие и *интимные*.

Голос — великий показатель природы, именно — самого фундамента ее, органического, физиологического сложения.

Отсюда необозримые последствия, практические и теоретические.

Все их «гевалты» — это бабий базар, с его силой, но и с его слабостью. В сущности, на «одоление» у них не хватает сил; но в них есть способность к непрерывному повторению нападений, к неотступности, привязчивости. «С бабой — не развяжешься», — это относится к евреям, относится к нации их. Это нация гораздо более неприятная, чем существенным образом опасная; с ней всегда много «хлопот», как с нервной и капризной женщиной. Она угрожает «историями», «сплетнями», «сварой»; и где евреи, там вечно какая-нибудь путаница и шум. Совершенно как около навязчивой и беспокойной женщины.

Они избегают и не выносят трудных работ, как и солдатский ранец для них слишком тяжел. Это оттого, что они просто физически слабее других племен, именно как «бабье племя». Охотника с ружьем среди евреев нельзя себе представить. Также «еврей верхом» — смешон и неуклюж, неловок и неумел, как и «баба верхом». За дело ли они возьмутся — это будет развешивание товаров, притом легких (аптека, аптекарский магазин), конторское занятие, часовое ремесло. Но они не делают часы, а починяют часы. Вообще, они любят копаться в мусоре вещей, а не то, чтобы *создать, сделать новую цельную вещь*. Они какие-то всемирные штопальщицы...

Увы, «нам всем нравятся женщины» — не лицом вовсе, а их уступчивой, угодливой, любезной и ласковой природой. «Женщина обольстительна», и на этом женоподобии евреев основана *главная часть* их успехов. Они и, пожалуй, оне всюду вкрадываются, входят, — и всякую минуту готовы вам оказать услугу с чисто женскою добротою и живостью. Сюда присоединяется их интимный *тон* во всем, — опять женский. Евреи бы оборвались на первом, на третьем шаге, будь их любезность деланной или фальшивой. Нет, — это «в самом деле», потому что они — «в самом деле *бабы*». Они как-то пристают к *мужчинам* и *мужественным нациям*, и это влечение — «род недуга», и в комическом, и в серьезном смысле. Думать, чтобы Левитан «фальшиво» рисовал все русские пейзажи, целую жизнь — одни русские пейзажи, не нарисовав ни одного еврейского домика и ни одной еврейской семьи, — невозможно. Также и Шейн, собиравший всю жизнь русские народные песни, — конечно, любил их не деланно, а по-настоящему. Отсюда поразительное явление: «*вообще евреи не любят русских*», «*вообще евреи враждебны России*», но «*этот еврей почему-то любил меня и дружил со мною*», и даже — «много сделал мне добра». Это — частая фраза, это — повседневно. Но обратите внимание, как же это перекидывается в реальное отношение вещей: «да, евреи вообще *худая нация*, но этот еврей — *хорош*», иногда — «какое-то удивительное *исключение*». Но, поверьте, всякий еврей имеет «свое исключение» и где-нибудь среди русских имеет «исключительного друга». Что же оказывается: все евреи как будто имеют себе *среду сопротивления*, но каждый еврей без труда проходит ее, «потому что *имеет*

себе друга», которого и он «в самом деле любит» и «оказывает ему услуги». На этом основано бессилие «мер против евреев» и «законодательства против евреев», которые всегда обходятся: ибо около закона стоит *исполнитель*, который «все сделает для этого *исключительного* еврея, своего друга».

Еврей *лично просачивается*, когда «не пускают их нацию». Но ведь нация состоит из «лиц», — и проходит вся нация, хотя не скоро. Но она терпелива женским терпением.

Отсюда мучительный «гевалт», который поднимается в еврействе, когда их гонят, отторгают от себя; когда в них заподозрен дурной поступок или дурной человек. Опять это не деланно и тут не одни деньги. Прислушайтесь к тону, тон другой. Тон бабий. «Я — честная жена!», «Я ничего худого не делала!», «Это — сплетня обо мне». «Я — верна своему *мужу* (*мужественному племени*, — сравнительно мужественному, — среди которого евреи живут). Они боятся не факта, а у них вызывает тоску *мнение*. Они оскорблены, как «честная женщина», заподозренная в «дурном поведении». Просто они оскорблены этим и кричат на весь мир. В безумных их выкриках есть нотка отчаяния: «уходит возлюбленный». Самое отторжение, которое у финнов вызвало бы грубость, у немцев — высокомерный отпор или методическое сопротивление, у евреев вызывает истерику, как если муж «предлагает жене жить на отдельной квартире». Тут все настоящее и никаких подделок. Евреи знают, что банки у них останутся по-прежнему, что богаче всех они будут по-прежнему. Не в этом дело. Бабе нужна «любовь». И она визжит на весь свет, когда ей говорят: «Не люблю». Все их ругательства теперь России есть ругательства «заподозренной в поведении жены». Оттого они не хотели суда, — ни Дрейфуса, ни Бейлиса. «Как смеют *подозревать!*»

Древние пророки все говорят о непрерывной влюбчивости евреев в соседние племена; и когда читаешь, то долго не понимаешь, «что это такое», — читаешь и не веришь глазам, не веришь слуху своему. Но настойчивость и постоянство все одной и той же жалобы пророков, жалобы мучительной, наконец убеждает в том, что мы имеем тут какую-то дикую аномалию «израильского племени», которую, оглядываясь кругом *себя теперь*, начинаем в самом деле постигать, как некую совершенную новость в истории. В Испании — к испанцам, в России — к русским (о других народах и странах не могу судить, *не видав глазом*) евреи действительно прилепляются, прилипают, как сказано о жене, что она «прилепится к мужу своему». Посмотрите на поведение немцев в России, чухонцев в России, единоплеменных поляков в России, французов, англичан, шведов, итальянцев (на юге), румын в России; и сравните с еврейским *по тону, страстности и интимности*... Ничего похожего и подобного! Раз русский, захавший в Нью-Йорк, отдал поправить сюртук: он из гостиницы через слугу послал сюртук и не знал, к

кому он попадет. Сюртук приносит из починки еврей и, отдавая, застенчиво говорит: «У вас метка на воротнике: С.-Петербург. Значит, вы русский?» — «Да. Но не из Петербурга, а из Одессы». Вдруг еврей подскочил к нему, весь сияя: «Из Одессы?! И кто же у нас там теперь городской голова???» Согласитесь, что никакой выгнанный из Таганрога итальянец не стал бы интересоваться «дальнейшей судьбой Таганрога» и совершенно о нем забыл бы. Тот же русский мне рассказывал, что в Бостоне он увидел массы интеллигентной еврейщины, в последней бедноте, которые все курили *папиросы* «Бакунин», с его портретом на мундштуке, и называли себя «русскими нигилистами» и «русскими анархистами». Таким образом, «мука наша от еврейства», которая есть и которую нужно обдумать, так сказать, спаяна из двух пластинок, как сложные маятники хронометров:

1) они действительно успевают и все захватывают;

2) но это происходит автоматически, вне их национальной преднамеренности и национального плана, а само собою и проистекает из одной мало замеченной их национальной особенности;

3) женственности, прилепленности и прямой привязанности, почти влюбчивости; во-первых — *лицо к лицу* с тем человеком, с каким каждый из них имеет дело, и во-вторых — вообще к окружающему племени, обстановке, природе и быту (укоры пророков, да и очевидность).

Еще о маленькой подробности, — их «побоях», которые были во все века. Во время побоев они только визжат и бегают, и почти никогда не сопротивляются. Увы, и слабому полу приходится терпеть эти «домашние потасовки». Тут есть, конечно, физические и экономические причины, *но такая картина всего* решительно образуется на почве бабьего характера евреев, которых у мужского племени, например, у казаков времен Бульбы (когда «полиция вовсе не возбуждала против них народа») — руки чешутся «потреть» немного.

\* \* \*

Хорошо. Но где же родник, откуда все это? Родник древен, как само племя. Историки совершенно не обратили внимания на странную страницу их книг, где говорится о Содоме и Гоморре. Решительно ни у одного племени на земле, ни у греков, ни у римлян, ни у славян или германцев, ни у скандинавов, *на первой странице* их летописей, и даже *нигде* в летописях вообще, нет эпизода с целыми *двумя городами*, население которых, вероятно, с князьком его во главе, занималось бы такими странными делами, и имели на челе своем такое «пятно», которое и имя свое получило от названия одного из этих городов. В Европе если такое случится, то глубоко затаивается, а не входит в «историю судеб», — да и случается всегда *лично*, а не *городским и племенным способом*. В Талмуде есть целое рассуждение об этих городах. Поставлен вопрос: «*За что* их наказал Бог?» В Священной истории написано — «за грехи», и мы с тех пор думаем: «за пороки». Я был поражен, про-



читав *истолкование* Талмуда: на поставленный вопрос дан ответ положительно в лирическом тоне. «Земля тех жителей изобиловала плодами, постоянный мир и согласие царил у них, стада их были велики и во всем они были счастливы и прекрасны. И тогда в счастье этом они почувствовали себя так насыщенными и удовлетворенными, что забыли Бога, как бы потеряв в Нем нужду. *И за это забвение Себя Он их наказал*.» «Грех-то остается «грехом», но уж очень слабым, а о «пороке» и «порочности» и речи нет. Я был поражен: *мы совершенно не так* это дело понимаем; или, точнее, — «это дело» *они понимают совершенно иначе, чем мы*. Как же и почему, на каком фундаменте могла вырасти такая «прощающая» и «снисходительная» страница в Талмуде? Тогда я стал вдумываться в самый рассказ летописи; все помнят томительную просьбу Авраама *в защиту* городов, предназначенных к гибели: «*Может быть, есть в этом городе 50 праведников*»... — Поощажу. — «Вот, я решился говорить, Владыка, — я, прах и пепел: может быть, до 50 недостает 5-ти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город?» — Не истреблю, если найдется 45. — «Может быть, найдется 40?» — «Может быть, найдется 30?» — «Может быть, найдется десять?» — Он сказал: «Не истреблю ради десяти». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место к Дубу Мамврийскому (глава 18-я Бытия).

Во *всей всемирной истории* нет просьбы такой нежности и неотступчивости. От 50-ти до 10-ти много счета. Разговор был с только что совершившим обрезание Авраамом, в радостные дни нового союза. Да о *чем* просьба? О *ком* — главное? Стали бы *мы* просить, — *христиане, русские, англичане?*..

И вот тут обычный метод сокрытия дела от глаз любопытствующих: города были *истреблены*. «Порок наказан», и читающий успокаивается. Только Талмуд шепчет углубляющимся далее: «жители были *так счастливы, что забыли Бога*». «Счастье», конечно, грех, но «не очень». А смерть... Любопытствующий может усмотреть, что смерть постигает, правда, «виновного», как «наказание», но постигает и *неосторожного*, который приблизился к чему-нибудь *исключительному*, к чему не должен приближаться. В Летописи есть два таких случая. Раз перевозили ковчег завета из одного города в другой, колесницу трянуло, ковчег покачнулся — и его поддержал рукою израильтянин. В тот же миг *он пал мертвый*. В другой раз Моисей попросил увидеть Божие Лицо: но получил ответ — «Нельзя его увидеть человеку и *не умереть*». Так что *сама по себе* смерть и гибель еще не обозначает ничего и ничего не говорит о *содержании* «предмета гибели». Может быть, «грех», а может быть, вообще «нельзя приближаться»... Не распространяясь далее в эту сторону, заметим, что народ, пошедший от такого «соседства» и из этого древнего источника, — в необъяснимой женственности своей, в необъяснимой «прилепляемости» к соседним племенам, в чарах ласки и любезности «с вами, с которым говорит», и вообще, во всем этом фундаменте всемирных успехов, — имеет какую-то загадку Содомы. Женственная нация. Не лицо, не индивидуум аномальны, как это встречает-

ся изредка и везде, но *аномальна и аномальна целая масса во всей толще своей, в племени*. «Жидки» — это лукавые девчонки, которые среди нас бегают, ласкаются к нам, обольщают нас, входят в дружбу и интимность с нами, издают нам журналы и газеты, курят папиросы «Бакунин», интересуются одесским городским головой, делают «политику русскую» как «свою еврейскую политику» и вообще все «русские дела» делают как «свои дела», с жаром, пылом и без остановки. Похоже на то, что «мы на них не женились», а они за нас «вышли замуж». Тут, конечно, могут происходить и вот теперь происходят великие недоразумения. «Вы нам не нужны, убирайтесь вон». — «Как! — кричит супруга. — Ты обязан мне *давать содержание*». «*Пои меня! Корми меня! Давай квартиру! Подавай кошелек, я буду его хранить у себя*» (роль банков в стране). — «Что-о-о?! Зарезала мальчика? Я? Вай! вай! вай! Что он говорит, какая клевета. Я же была ему верна и никогда не отходила от кровати и кухни, черна, грязна и вечно работаю».

Вот вы и развязывайтесь с «особой»...

### Приложение

«Поколение потопа возгордилось вследствие благоденствия, как сказано (Иова, 21, 9): «Дома их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает, корова зачинает и не выкидывает. Как стадо, выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели; проводят дни свои в счастье и лета свои в радости». Гордость подвинула их на то, что они (там же, 21, 14) говорят Богу: «Отойди от нас, не хотим мы знать путей Твоих! что Вседержитель, чтобы нам служить Ему? и что пользы прибегать к Нему?» Они говорили: «Разве нам нужны Его дожди, ведь у нас есть реки, которыми мы пользуемся, и мы не нуждаемся в Его орошении, о чем сказано» (Быт. 2, 6): «но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Им сказал Святой (благословен Он): «Вы гордитесь предо мною тем добром, которое Я дал вам, этим же Я накажу вас, как сказано» (там же, 7, 4): «ибо через семь дней Я буду изливать дождь на землю, сорок дней и сорок ночей». Равви Иосе, сын дамаскинки, говорит: «Они возгордились только глазным яблоком, которое подобно воде, как сказано» (там же, 6, 2): «когда сыны Божии увидели дочерей человеческих». Поэтому и Святой, благословен Он, наказал их именно водою, как сказано» (там же, 7, 11): «в сей день разверзлись все источники великой бездны».

«Люди столпотворения возгордились добром, которое Он дал им, как сказано (там же, 11, 2): «двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и сели (син. пер.: поселились) там», а «сесть» значит не что иное, как есть и пить, как сказано (Исх. 32, 6): «и сел народ есть и пить»; это и было причиною их слов (Быт. 11, 4): «построим себе город и башню высокою до небес и сделаем себе имя прежде нежели рассеемся по лицу всей

земли» и прочее; а что сказано далее? — «и рассеял их Господь оттуда по всей земле».

«Жители Содомы возгордились благодаря добру. Что сказано в Содоме? (Иова, 28, 5—6): «Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее — место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези *туда* не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна». Они сказали: «Так как хлеб, серебро и золото получается из земли нашей, то мы не нуждаемся, чтобы кто-нибудь пришел к нам, ибо он придет в ущерб нам; пойдем и закажем путь посетителям в страну нашу»... Это и было причиной наказания Господня, как сказано (Иезек. 16, 48): «живу Я, говорит Господь Бог; Содомы, сестра твоя, не делала того сама и ее дочери, что делала ты и дочери твои». Вот в чем незаконные Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в гордости, пресыщении и праздности» (Талмуд, трактат Сота, гл. 1, пер. г. Переферковича).

Заметим еще, что гора, *с которой даны были законы народу*, — «*тряслась, пламенела и была покрыта дымом*», и все израильяне стояли перед ней в великом страхе, *не смея приблизиться*... Это на счет «сгоревших городов», каковых «сгорание» не дает непоколебимого фундамента для умозаключения.

Не возможно, что старцы Талмуда, так истолковавшие потоп и историю падения Содомы, имели в виду следующий параллелизм текстов, где проходит один и тот же образ *сжигающей, очищающей и дымящейся печи*, как бы *Уст* чьих-то, чьего-то *Рта* пламенного (поглощающего жертвы):

«Господь сказал Аврааму: возьми Мне трилетнюю телицу, трилетнего козла, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя.

Он взял всех их, рассек их пополам, и положил одну часть против другой; только птиц не рассек.

И налетели на трупы хищные птицы; но Авраам отгонял их.

При захождении солнца крепкий сон нашел на Авраама; и вот напал на него ужас и мрак великий.

«И встал Авраам рано утром, и пошел на место, где стоял перед лицом Господа.

И посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел: *вот, дым поднимается с земли, как дым из печи*».

*Бытие, XIX, 27—28*

«И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы.

Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне; *и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась*.

И сказал Господь Моисею: подтверди народу Моему, чтобы он не порывался к Господу, видеть Его, *и чтобы не пали [мертвыми] многие*».

*Исход, XIX, 17—18, 21*

И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут унижать их четыреста лет. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй.

Когда зашло солнце, и наступила тьма: вот дым (как бы из) печи и пламя огня прошли между разрезанными животными.

В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки Евфрата:

Кенесв, Кенезеев, Кедмонеев, Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, Аммореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев».

*Бытие, XV*

Стой на Синае города или живи там люди, — и они бы сгорели и погибли. То-то жене Лота нельзя было «оглядываться».

# «Ангел Иеговы» у евреев

(Истоки Израиля)

При заходе солнца крепкий сон напал на Авраама; и вот напал на него ужас и мрак великий.

.....  
Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым нечи и пламя огня прошли между рассеченными животными.

В этот день заключил Господь завет с Авраамом.

*Бытие, XV*

«Ты — Мой.

Будешь ли переходить через воды, — Я с тобою; через реки ли, — они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, — не обожжешься и пламя не опалит тебя».

*Исаия, XLIII, 2*

Труднейшее препятствие для изложения иудейского тайноощущения лежит в нестерпимой и непереносимой для европейского слуха, пера и бумаги сущности дела... *Прямо* это сказать и назвать вещи своими именами — совершенно невозможно. Только это лето, живя в Сахарне (после 15 лет умственных усилий), я нашел *подходы, уподобления, параллели и сравнения*, чтобы передать европейцам весь тот (с европейской точки зрения) ужас, невероятность, несбыточность, совершенное «не могу поверить» и, вместе, глубоко смешное, в *чем* именно заключается суть обрезания. Под «смешным»-то и сокрыто все. Кто из *серьезных* будет заниматься явно *забавными* вещами, представлениями? В этом лучший щит от ученых и философов. И «бог израилев» навсегда закрыл от глаз науки «свое дело с Авраамом», запорошив, как землицей, его сверху маленькими смешными забавностями. «Через смешное ученые никогда не переступят».

## I

Но кое-что и например. Вероятно, каждый замечал, что евреи «отлично себя чувствуют»... Всегда у них «превосходное расположение духа»... Жалобы на черту оседлости и на ограничения — только внешние крики, тот грубый и наружный таран, которым они пробивают стену сопротивления, выполняя «очередную задачу». При такой скованности, гнете, в черте оседлости — всякий народ впал бы в уныние, тоску, безнадежность. У евреев — ни малейшего подобного! «Отлично себя чувствуют» в нищете, в побоях, среди насмешек. Да что такое? В чем секрет? Где источник?

И Серафима Саровского избили, повредив ногу, разбойники; а он до этого и после этого был радостен. Иоанна Кронштадтского все видели радостным: а какая усталость от движения, молитв, поездок с раннего утра до поздней ночи... Вот «наш русский Авраам», этот Иоанн Кронштадтский. *Самочувствие праведности* поднимало ему руки, не давало уставать ногам и окрыляло все его бренное, старое тело.

Родник этой дьявольской неутомимости в истории евреев заключается в подобном же. Только «Иоанн Кронштадтский» и «Серафим Саровский» — у нас лица, а там — племя, у нас — два, там — десять миллионов. Оттого-то они и нападают на нас, а мы явно не можем защититься. Они вечно бодрь, свежи, когда мы устаем. Мы, и тоже устают французы, немцы, англичане; уставали римляне, греки. Одни евреи не устают. Да что за дьявольская загадка?

Да то, что они в самом деле «Иоанны Кронштадтские», — на восточный, азиатский, «молохов» лад. Верхняя точка в небе над головой — зенит; но по космографии есть ей соответствующая и обратная точка — надир, «под землей». Такая же, только на другом конце мировой оси.

Наша святость — трудная: посты, молитвы, измождение тела. Но и при этих упражнениях «святые» наши являют вечно светлый лик и доживают все до глубокой, иногда — до глубочайшей старости. Самочувствие всегда дает и долготу дней, и неутомимость подвига, и вообще труда, работы. «Дайте мне самочувствие Ангела — и я пролечу все небеса».

Теперь забудем все «наше» и перенесемся прямо к Азии.

Евреям дано самочувствие ангела, и именно — «ангела Молоха»... Каждый из них, читая «в часы субботы» Тору, не мог не обратить внимания на то, что, ведь, «почему я, еврей-Янкель», — не Авраам во всей его страшной огромности «отца всех», и в трепетной, сваливающей с ног, близости к Богу, «богу израилеву». Тут действительно одна из тайн юдаизма, выраженная через одно простое *умолчание*. — *Промолчала* Тора («Закон Моисеев») в том месте, где ожидаются непременно слова, молитвы, законы, гимны. *С нами Христос заключил новый «завет»* — и сказал сейчас же молитву «Отче наш». «Вот как молитесь». Произнес дивные поучения, наставления, дал притчи, дал полный путь жизни.

И мы говорим: «завет», «союз с Богом».

Еврей, читая в субботу Тору, не мог не удивиться великим удивлением, что, заключая завет свой с Авраамом, «бог израилев» не сказал ему никакой молитвы, не сказал ни одного поучения, не сказал коротенького: «произноси иногда — *Господи, помилуй*». Даже «Господи, помилуй» не сказано в такой потрясающий момент, как первый завет Бога с человеком, начало судеб такого особенного народа, как еврейский, — «народа избранного», «народа Божия».

«Избрал», а не научил «Господи, помилуй».

«Начало истинной религии» на земле — и даже «аминя» не сказано.

Поразительно. Всякий русский, едва я обратил его внимание на это, поразится тоже великим удивлением. Поразится и растеряется. «Ничего не понимаю». Как «начало религии на земле» без «аминя» и «Отче наш»? Ну, «Отче наш» в тамошнем особенном, ханаанском тоне? «О, Боже Вечный и Создатель всех тварей, — помоги мне!» Ничего. Полное безмолвие... Какая-то глубокая ночь. Молчаливая ночь.

Еврей, все перелистывая по субботам Тору и, естественно, применяя и примеривая к себе, не мог не заметить, что *в этом умолчании, в сущности, сокрыты бесчисленные глаголы*, — глаголы, приведшие через тысячу почти лет к восклицанию одного «великого у них старца» (в Талмуде):

«— Бог сотворил мир для того, чтобы *могло осуществиться* (в мире) *обрезание*».

Выражение это — знаменитое, и ни один раввин не скажет, что его нет у них; и даже, по всему вероятно, это у них «пошло по улицам» и известно в каждой хижине. В час «пира обрезания», вероятно, припоминают «по поводу» это радостное определение обрезания. Но dokonчим невольные мысли «жидка Янкеля», к которым он не мог не прийти, как к *естественному и неодолимому* заключению из отсутствия «аминя» и «Господи, помилуй» — в миг ветхого завета;

— Да что же такое я, Янкель? Авраам для Бога *не сделал больше, чем я*. Я стою к Богу вовсе не в таком отношении, как, например, «крещеный русский» стоит к Богу сравнительно с «Владимиром Святым». «Владимир Святой» сделал великое дело: крестил весь народ, привел целый народ от Перуна ко Христу, привел и *научил и дал наставников*... Тут такое величие дела, с которым «обыкновенному русскому *теперь*» невозможно сравниться. Совершенно иное — у нас: *каждый* Янкель самостоятельно *от себя* и лично делает Богу ровно столько, сколько сделал Авраам, и именно то, что сделал Авраам, и мучится, проливая кровь, так же, как Авраам, пролив кровь. Ведь *ничего еще* не сопутствовало Завету, не выразило его, не определило его, не легло содержанием в него. О, это «ничего»!.. это таинственное и страшное «ничего»! — В нем содержались миры. Через это «ничего я, Янкель, мелкий воршика, — ничем *не меньше* Авраама... и... имею его державное самочувствие.

Не менее угоден Богу...

Не менее близок Богу...

Лично и сам, самостоятельно, вступил «в завет с Богом», ибо совершен — то же, кроваво и мучительно, *и без единого слова* и «аминя», сделал Авраам, что делаю я.

Ворую — и свят.

Обсчитываю — и праведен.

Жму сок из крестьян — и все-таки мне Бог обещал «всю обетованную землю»...

*Потому что я обрезан.* Как Авраам, сосед и друг содомского царя, был тоже только обрезан.

Только всего.

Да что это за «темный лес» эта религия без «аминя» и всякой молитвы?! Даже без имени Божия. Мы говорим «Христос», «Богородица». А Авраам, которому самое имя «Иеговы» (открыто было Моисею *впервые*) вовсе не известно было, мог только сказать — «Бог мой», безлично, туманно. Так ведь всякий человек, и язычник, говорит: «Бог мой». Поистине, Авраам «заключил завет» куда-то в тьму, не зная имени, не наученный ни одной молитве.

Точно ночью встал перед каким-то темным уголком и совершил «туда» обрезание, ничего не понимая и никакого имени не произнося. Хотя бы спросил: «Господи, как Мне призывать Тебя?»

Поразительно: заключен завет, и человеческой стороне даже не сказано, как призывать Бога? Как *по имени* называть Его...

Из этого действительно явно, что «Янкель» равен «Аврааму». И имеет все его колоссальное самоощущение. Уверенность непобедимости. Уверенность избранности. Уверенность личного своего, «по обрезанию», завета, союза с Богом.

«Евреи прекрасно себя чувствуют». Главное, очень твердо на земле. «Бог сотворил мир для осуществления обрезания Богу», а «обрезаны Богу только мы». Заключение — явно. Все другое — дребедень и должно исчезнуть. А останемся только *мы*. Так они *все и каждый* и действуют, — сообразно этому, имея в мысли, что «таков будет конец всего». И это *implicite* содержится уже в том, что при обрезании *ничего еще* не было сказано, — ни обряда, ни устава жизни, ни поста, ни молитвы, ни храма, ни жертвенника. «Обрежь крайнюю плоть». Просто с виду забавно.

Что-то... темный лес. Простой человек испугался бы: «что-то дьявольское». И Авраам «пришел в ужас». Ученый скажет: «что-то Молохово». Кстати, в религии Молоха были тоже все обрезаны, и Самсону говорят о филистимлянах: «поди и (убив врагов) принести триста *краеобрезаний филистимских*»<sup>1</sup>...

---

<sup>1</sup> Поэтому нельзя видеть в Талмуде, и вообще в последующем иудействе, *злоупотребления* в том, или *преувеличения* и *самообольщенности* в том, что они выработали тезис: «мир создан для *евреев*», и вообще все учение о «гоях», как о «чужих», как о «ненужных», в своем роде «безблагодатных» существах; попросту — как о животных, почти безумных и бессловесных. «Не нужны». В этом все. «Не нужны» обнимает и вещественные отношения, и мораль. «Ненужного» можно обобрать; «ненужного» можно убить, не вытащить из ямы, не спасти, когда он тонет; его можно «залечить», когда он болен, или дать недействующего лекарства больно-



После обрезания начинается не просто покровительственное, но нежное, любящее и горячее-горячее отношение «бога израилева» к народу своему; и через особых избираемых людей поистине он шлет «письмецо» за «письмецом» им, «весточку» за «весточкой». Вот из 54-й главы Исайи:

«Не бойся... Не смущайся... Ты не будешь более вспоминать о беславии вдовства твоего. Ибо твой Творец *есть супруг твой*; Господь Саваоф — имя Его, и искупитель твой — Святой Израилев. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, — говорит Бог твой. На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл лицо Мое от тебя на малое время, но вечною милостью помилую тебя, говорит искупитель твой, Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся *не гневаться и не укорять тебя* (слушайте! слушайте! — даже если «по слабости» и «по обыкновенному» будете грешить — «не буду укорять»: это переступает через всякие границы добродетелей, это — личная любовь, смежающая глаза на слабости, на дурное, на преступление — увы, в истории неизбежное). Горы сдвинутся и холмы поколеблются, — а милость Моя не отступит от тебя... Бедная, бросаемая бурей (слушайте, слушайте: это — *личное*, лицо к лицу, «Бог ко мне», «Янкелю» говорит), безутешная! Вот я положу твои стены на камне рубине...»

О, не о *постах* говорится... Не об *изнурении* постом и молитвой; но о «скромном и деликатном образе жизни» всех добродетельных «духовных» религий. Дальше:

«...И сделаю основание твое из сапфиров. И сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою — из драгоценных камней».

---

му; можно «испортить литературу *гоев*»; можно испортить, извратить, исказить их промышленность и торговлю. И пусть об этом в *законе*, в «Талмуде» и «Шулхан-Арухе», ничего не сказано и даже сказаны обратные слова («о *помощи* чужеземцу», «чужеродцу», «необрезанному»). Все это будет мертво, все эти слова будут без действия, ибо они все будут *афоризмами*, ни с чем не связанными, ни из какой *системы* и ни из какой *общей мысли* не вытекающими. «Общая»-то мысль и «система»-то говорит: «гой», «чужой», «не обрезан», «не нужен Богу и никому», «обери его», «оттолкни его»... «*существо* его — ценно, но *самого его* — нет». А около «системы» может стоять прекрасный лично Гиллел, до которого и его прекрасных лично качеств, право же, «закону» нет дела, и нет дела Аврааму-обрезанцу, ни — всему Израилю. «Есть — Гиллел, есть — Шамай» (враждебный Гиллелу его современник, суровый и беспощадный учитель, не меньший, чем Гиллел, авторитет еврейства). Они любят ссылаться на «Гиллела» и таких, скрывая в тени Шамай, — коему синагога и вся традиция иудейства повинуются еще больше, чем Гиллелу. Гиллел — «для фронта», «в глаза» гоям; а позади и *au fond* всего — Шамай. Это надо помнить и об этом никогда не надо забывать. «Гой — труп: сними с него одежду и отходи прочь». Вот суть, которой изменить нельзя, ибо это есть «1 из 1000 лучей» обрезания.

Просто нужно удерживаться, чтобы не вспомнить полной параллели:

Чертоги пышные построю  
Из бирюзы и янтаря...

Читатель знает, откуда это, — но (оттого-то и не хочется печатать, писать, говорить) мне даже мучительно произнести вслух, — откуда. «Молоху» там (у поэта) может быть параллель, но какая же и там, и тут параллель нашим европейским и христианским верованиям?

Они — в посте.

Они — в смиренном одеянии.

Они и «грезить не смеют» про любовь, супружество. Да с кем?.. С Молохом еще возможно...

Ужасно страшно. Главное — страшно, что обрезание так голо, так одиноко-анатомично. Событие между Авраамом и «богом» израилевым похоже на то, как Иаков «брал за себя Рахиль», а оказался женатым на ее дурнушке-сестре Лие: Лаван, отец сестер, ввел дочь к жениху в такой час суток и так закрытую, что лишь на другой день поутру Иаков увидал, что «женат вовсе не на той». А уже «дело сделано», и он, через неделю, жениась на другой сестре, стал супругом обеих. Так же вот точно, «не выдав лица», «не показавши лица» — было и в завете с Авраамом:

— Ничего, кроме обрезания.

Но если так все совершилось, «по Иакову», то тогда понятно, что и не было сказано о жертвенниках, храме и все обошлось без «аминя» и молитвы.

— Мы люди простые, древние, серьезные. Нам разговоров не надо, а дело.

Старцы Талмуда дополнили собственно ясную мысль. Они о ней не сомневались, потому что чего же сомневаться, когда это «начало истинной религии на земле», и вместе — сухое, голое, одинокое обрезание.

Тогда они стали учить догмату, который знает всякий еврей и который решительно не открыт ни одному европейцу:

*В секунду обрезания Ангел Иеговы сходит на обрезаемого младенца и остается на нем до самой смерти.*

Нас «ангел» оставляет, когда мы грешим, обманываем, убиваем; но ведь к еврею он сходит, «не взирая на лицо», — только в силу обрезания, и, имея с ним только одним соотношением и связь, — явно не оставит его в тюрьме, в воровстве, в «грехах» не только невольных, но и в вольных. Евреи прощены заранее и во всем, как мы чувствуем себя прощенными после покаяния и причащения, — но у них это с самого младенчества и в силу обрезания. «Обрезание»? — «Что такое?»... Израиль «прощен» не за свои добродете-

ли, но силою чрезмерной и исключительной *к нему одному* «любви супружеской»...

«Грехи», «преступленья»?.. Уголовные кодексы народов и стран?.. «Законы русские», «законы французские»... *Какое* же все это имеет отношение к обрезанию? Это «в верхнем этаже человека», в его гражданской и социальной, в его моральной и головной части; тогда как обрезание по непрерываемому требованию «бога израилева» положено *в нижний этаж*.

Что же происходит и что может думать о себе еврей? Никакого разъяснения, догмата ему не дано, и даже его — нет. А думать ему естественно, что «кровь обрезания» призывает к себе или приманивает к себе «ангела Иеговы». И как у нас «Ангел сидит у изголовья младенца и охраняет его сон», «говорит и внушает в ухо и душу добрые мысли и желания», и мы думаем, что он «где-то около груди и влагает в сердце светлое и благое», так у евреев, у которых догмат говорит определенно, что «ангел Иеговы» *не около него* находится, а «*на него нисходит и на нем пребывает*» — естественно каждому думать и ощущать, что он пребывает и остается там, где ранка и кровь. Помните, у Гомера вещий Терезий научает Одиссея: «вылей кровь жертв в яму — и души усопших *слетятся на кровь*». Этот миф — как краевое и далекое эхо, и, по всему вероятно, неверно вибрирующее в воздухе, — но, однако, эхо того самого, что у евреев сказано ясно, прямо и несомненно верующему. При обрезании, когда нож рассечет тело и кровь покажется, а под кровью часть тела обнажится — «ангел Иеговы *сходит*» на эту часть, на эту кровь и, так сказать, открытую жилу тела. Как бы присасывается сюда — чему и отвечает введенный в обрезание акт *mezizach*, т. е. высасывание у мальчика крови моголем.

Нужно заметить, что «ангел Иеговы» вовсе не то, что известные «ангел Гавриил», «ангел Рафаил» и другие несколько, со своим именем у каждого, которых Бог посылает и они суть «вестники», «посланники». «Ангел Иеговы» — темное место Библии, темное понятие ее, о коем есть даже целые исследования, сводящиеся к тому, что он относится к Иегове, как тень к предмету, запах к цветку и заместитель к замещаемому. Никогда не скажется: «Иегова (или *Элогим*, — другое имя Божие) послал ангела Иеговы», но иногда в местах, где ожидается по ходу изложения слово «Иегова» — сказано «ангел Иеговы». Таким образом, «ангел Иеговы сошел на младенца» — вовсе не далеко от мысли, что «на мне, Янкеле, Иегова имеет свое пребывание». А что «на мне, Янкеле, ангел Иеговы пребывает и был все время жизни, начиная с 8-го дня от рождения» — это есть верование всех хижин, всех местечек.

С «ангелом Иеговы» на себе они бросаются во все жизненные битвы, в суды, в споры, в литературу, уверенные везде «взять верх». Да вот слова Исаяи, прямое продолжение предыдущих:

*«Тебе бояться нечего», — говорит Господь: — «Вот будут вооружаться против тебя, но не от Меня; кто бы ни вооружился против тебя — падет. Вот, Я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие своего дела, — и Я творю орудие для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который будет со-*

стяжаться с тобою на суде, — ты обвинишь. (Каково! — не сказано, «ты будешь прав и обвинишь», — а «обвинишь потому, что ты обрезан Мне»). Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь».

Еще, из следующей (55-й) главы — песнь любви «бога израилева» к «своему» израилю:

«Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все деревья в поле — рукоплескать вам».

Заметьте, все эти слова и подобные израильтяне еженедельно читают в синагоге и дома, «где откроется». Везде — это, везде — приблизительно то же.

### III

А как же еврейки? У нас девочки и мальчики крещены, и «весь русский люд — христиане». Никто не обращает внимания, как же еврейские девочки? В сущности, — перенося наши понятия туда, — они все «не крещены», и даже все — вовсе вне Бога и вне религии!

Дикие, пустынные, ничего!!!

Не поразительно ли?

Несомненно — «обрезан» один мужской пол, и, как девочки не подлежат ему, — они вовсе вне присутствия Иеговы. Как бы у нас — «сестры христиан», а — не христианки. Нужно заметить, никакому «закону Божию» девочки у них не учатся и никаких молитв «поутру» и «на сон грядущий» они не читают.

Да и потом, во всю жизнь, собственно, *один мужчина* исполняет очень многочисленные молитвенные и обрядовые обязанности юдаизма. *Женщина в них не участвует вовсе.*

Что же делает «некрещеная» (в нашем бы смысле) еврейка? Вне Иеговы и не читая Ему никакой молитвы?

Девочка — ничего. Так и есть — «некрещеная», не обрядовая.

Когда же она «приобщается юдаизму»? Раз я спросил еврея в пути: «Что обязана сделать христианка, если б она захотела перейти в еврейство»? Подняв голову, он с недоумением ответил: — «Ничего». Потом добавил: — «Только погрузиться в нашу микву» (*общий бассейн с водою*). Потом прибавил строго, крикливо: «И — хорошо стричь ногти, — о, хорошо стричь, хорошо!» С силой удара и страсти.

Ну, не «бесовщина» или не «культ ли Молоха», когда она, «переходя в новую религию», «свет новый себе открывая», — не получает: 1) ни слова себе научения, 2) ни — символа (своей особой) веры, 3) ни — молитвы Господней, а должна...

Черт знает что такое: «крепко, крепко стричь ногти» (они стригутся до тела, с такой абсолютной строгостью старухами ритуальными в микве, что девушки-невесты кричат от боли, а старухам мать невесты дает деньги, чтобы они не задели мяса и не окровянили пальцев).

Что же делается? «Когда Хайка делается израильянкой»?

Тут поймешь, почему дочь «судьи израилева», Иеффая, которую отец по неосторожному обету должен был принести в жертву «богу Израилеву», — «пошла в горы и плакала девство свое».

Она «оплакала» не просто то, что осталось незамужнею; какой об этом вопрос перед смертью, — перед закалыванием (бррр... рукою отца!!!); а... что она, дочь народного героя и первая с тимпаном вышедшая встретить отца после победы, — должна была быть принесена в жертву «израилеву богу», в сущности, вовсе даже не сделавшись «правоверною израильянкою», не слившись с народом своим.

Израильянка «приобщается юдаизму» и «вере отцов» через замужество. И для нее «выйти замуж» — то же, что для христианки — «креститься».

Тут-то и получает значение: «ангел Иеговы сходит на мальчика в миг обрезания и остается на нем (не возле него) до смерти». Что же, собственно, происходит и отчего девочек не учат «закону Божию и молитвам»? Все происходит так же сухо и голо, анатомично и одиноко, как в обрезании: она «в миг потери девства», — по юдаизму, по вере каждой хижины еврейской, — принимает в себя, «просто по-древнему», ангела Иеговы.

Как же вы можете найти уловимую разницу с культом Молоха, культом «крови и религиозного сладострастия», когда у евреев и евреек через особенность вероучения «ангел Иеговы» входит в естественно и неодолимо сладострастные ощущения?

Внутренним зерном их, внутренним огнем их. Едва ли не здесь (учение об ангеле Иеговы в отношении к обрезываемому) лежит причина развития той части обрядового обрезания, которая лежит в высасывании крови. Что тут нам светит? Кровь младенца обагрят десны, зубы, язык обрезывающего. Ну, а он? Не пассивен: и, может быть, к нему идет первая строка *Песни Песней*. У евреев все связано и зависит одно от другого, вытекает одно из другого. Мне брезжится, что в мысль обрезания входит нож, кровь, мука и поцелуй. И во всех трех — «бог Израилев».

Он и целует.

Он и кровянит.

Он и рассекает мясо.

Могель же только исполняет, — «пешка», «подставной болван», дающий зрителям символ того, что скрыто за занавескою у заключающего завет с вступающим в завет, между «богом Израилевым» и восьмисуточным мальчиком-евреем.

Отсюда дети считаются у евреев прямо *произведением* Божиим.

«И посетил Господь Анну, и зачала она и родила еще»... (Первая кн. Царств, глава 2, стих 21).

«Ибо, когда увидят у себя детей своих, *дело рук Моих*, то они свято будут чтить Имя Мое» (Исайя, глава 29, стих 23).

Вот отчего еврейки, особенно в древности, — да и сейчас, поскольку остаются «верны богу израилеву», т. е. не интеллигенты, так бешено выхо-

дят замуж, и родители так энергично выталкивают их в замужество, — причем не особенно церемонятся с «любовью» и вообще не интересуются «разговорами», полагая, что дело, — и, в данном случае, *религия*, — «в деле». Это им все равно как нам «креститься». Исполнить «закон», исполнить все. «Ни законов, ни молитв нам не дано, а только — замужество». Но уже к нему готовятся тщательно, и все замужество, ежемесячно, *по понятной причине*, течет ритуально в строжайше наблюдаемой физиологической чистоте. Отсюда-то и развилась их миква, эти дикие, на наш взгляд, погружения и очищения, — да еще проглатывание невестою «святой воды миквы, дабы освятить и горло свое, и желудок». «Ангел Иеговы в тебя войдет, дочь Израиля»... Да и понятны эти патетические взрывы: «украшу тебя рубинами, жемчугом, всем»... Патетическая, телесная, восторженная любовь... Все связано. Объясняется *тон* заветных весточек «оттуда»...

Теперь понятно, почему «за одного они все». Евреи образуют не «племя одно», — мало ли племен, тоже патриотических, германское, английское; но ведь ничего подобного ни у кого *по единству* нет. Евреи составляют как бы *один монастырь*, общину *одного устава и одной обители*, но глубочайше брачную. Все они страшно близко *телесно* поставлены друг к другу: через микву, обрезание и супружество — они в сущности все *родные* друг другу, и все немножко влюблены друг в друга, осязательно, как бы «потершись друг о друга» спиной ли, плечами ли, чем ли. Ток могучего религиозного электричества пробегает от «американских жидов» до Петербурга, и все они говорят с Фамусовым: «Ну, как не порадеть *родному человечку*». Тогда как «гои» все между собою чужие, и только — знакомы или ведут «общие дела». Отсюда: «*между двумя евреями никогда нет соперничества*», торгового, всякого.

Замечателен самый *тип*, самый дух их связности. Это что-то не человеческое, не гражданское, не общественное. Повторяю, патриоты ведь есть везде, сильное племенное чувство есть у многих. Но это — «завыли разом от Бостона до Одессы» (Дрейфус, Бейлис) имеет параллели себе в другом мире и вовсе на другой почве. «Бывает, выехав на волков, охотники нечаянно попадают в *волчицу*, за которой бегут они все, и приветливо, и ласково. Происходит величайшая беда: не помня себя, вся стая кидается на охотников, — и, чуть что, разрывает их!» Во-о-т! Они все «прекрасные и непорочные» друг для друга, через этот воистину содомический укус в обрезании: не то — Эндимионы, не то — Анунциаты. Странно и дико поверить, но весь израиль образует «одну стаю» в удовольствиях, и это будто о них предсказал Платон, что «если бы все мужи города были связаны таковою («греческою») дружбою, то город сделался бы непобедим, ибо каждый в нем был бы готов умереть за каждого» («Федр»). Вот какая соединяет их плотская связь, — попадающаяся тоже в монастырях, — но здесь заплывавшая в целом племени через «ангела Иеговы», на *каждого* сходящего в обрезании. Тут и вой от моря до моря, и шелканы миллиона зубов. «Не суй пальца — откусят». И общее чувство к ним, и страх окружающих к животнo-человеческой стае. И всеобщее: «бежим от этих Эндимионов! — они обворовали нас и хотят еще зарезать».

# Европа и евреи

Слава Богу, Россия теперь — не рабыня, лежащая безмолвно и бесправно у подножия все забравшего себе чиновника, — притом, довольно безыдейного и с притупленными желаниями, с отяжелевшей волей. Россия теперь «сама», и эта «сама Россия» справится с евреем и с еврейством, которые слишком торопливо решили, что если они накинули петлю на шею ее газет и журналов, то задушили и всячески голос России, страдание России, боль России, унижение России.

...что уже никто и не услышит этого голоса, ее жалобы, ее страдания, ее боли, ее унижения. Но русский народ имеет ум помимо газет и журналов. Он сумеет осмотреться в окружающей его действительности без печатной указки. Сумеет оценить «печатную демократию», распластанно лежащую перед «гонимыми банкирами», «утесненными держателями ссудных лавок», «обездоленных» скупщиков русского добра и заправил русского труда. Минский, стихотворец и адвокат, говорил мне в 1905 году, в пору октябрьской забастовки: «Конечно, евреи **способнее** русских и желают сидеть в передних рядах кресел» (он представлял жизнь как бы театром, с актерами и зрителями, и соответственно этому выразил свою мысль). В двух учебных (частных) заведениях Петербурга, где учеников и учениц половина на половину евреев и русских, — евреи уже делали попытку бить русских товарищей, но (по крайней мере, в одном заведении) получили хорошую «сдачу». Раздраженно один малыш воскликнул моему 14-летнему сыну:

— Все равно, евреи богаче русских! — и одолеют!

В другой раз:

— За евреев заступится Австрия, Россия будет разбита и тогда мы получим все, что нужно.

Эти выкрики 14-летних еврейских мальчиков выдают тайну семей еврейских, гостиных еврейских, кабинетов еврейских. Они показывают, как «нас там любят»... Уже мечтают, сколько они возьмут за шкуру убитого медведя на международном рынке мехов...

Но, господа! — медведь-то еще не застрелен, а гуляет в лесу. Он долго дремал в берлоге, сосал лапу. Но ваше злодеяние над кротким, тихим, никого не обидевшим мальчиком Андрюшею Юшинским разбудило его...

*В. Р.*

Р. S. В сентябре 1899 года, сейчас по окончании дела Дрейфуса, мне пришлось сказать несколько слов в статье «Европа и евреи», предостережительных в нашу сторону, в сторону христиан и европейцев. Уже тогда я предлагал «перестроиться», дабы не понести около

евреев судьбы «персов перед македонянами». Эту статью, всякое слово которой можно повторить и сейчас, поставив лишь вместо «Франция» имя «Россия», я перепечатаваю здесь.

Спб., 27 января 1914 г.

Процесс Дрейфуса окончился. Но хорошо ли Европа разобрала вкус этого горького, терпкого, вонючего плода, который три года жевала и едва имела силы с ним справиться? «Еще две таких победы, — сказал Пирр-победитель о римлянах, — и я погиб». Так много он потерял в битве. Так много потеряла Франция, да и такую роковую угрозой для целой Европы стоит странное дело о капитане-изменнике. О «капитане» и об «изменнике»: как будто мало тех и других на свете, и дела их ведаёт суд, и они падают в Лету, не возбуждая ничего внимания и ничего любопытства. Но на этот раз, во всяком случае, человек не безупречной репутации и отталкивающей карьеры был... еврей. И вот Лета не смогла поглотить его — рамки суда раздвинулись, стены «Palais de Justice»<sup>1</sup> пали, «дело» выросло в вопрос почти о судьбе Франции; и последняя, вздрогнув, имеет причины подумать: «Еще две-три таких победы — и я погибла». «Кто был бесчестен, один Дрейфус или вся Франция?» — чудовищный вопрос, какого, казалось, никогда не ставилось между человеком — повторяем, по крайней мере, сомнительной репутации — и между первоклассною страной с тысячелетнею историею. — «*Были ли и особенно есть ли в настоящее время Дрейфус-изменник Франции?*» — вот о чем нужно спросить, потому что было «дело Дрейфуса». И если бы там, в разных «dossier», в «bordereau»<sup>2</sup>, было все чисто, то неужели Дрейфус и *евреи* будут еще расписываться в «любви к Франции» как к «своему отечеству», когда они сделали нечеловеческие усилия не к тому, чтобы передать там Германии какие-то «мобилизационные планы», а чтобы «сорвать самую Францию», как игрок срывает банк. Не удалось; оборвалось. Но усилие было так гигантно, что Франция затрещала по швам. Они, *ces juifs*<sup>3</sup>, «любят Францию»... Берегись, Франция, — да берегись и Европа. Это «первое предостережение»...

«Изнамена», — все говорят «об измене», все препираются о ней... «Ее не было», она «не доказана», «нет улик». Да какой вам улики надобно, кроме *этой же «affaire»*<sup>4</sup>, и что такое изнамена, как не «*злоумышление* против отечества», «желание *предать* его», «желание *погубить* его»?! Ну, «не было изнамены Дрейфуса», есть «измена еврейства»; и не было «шпионской проделки», так было и есть, остается в сложнейшем и обобщеннейшем смысле, в смысле самом грандиозном, — «государственное преступление», не только доказан-

<sup>1</sup> Дворец юстиции [в Париже] (*фр.*).

<sup>2</sup> «досье, личное дело»... «опись, реестр» (*фр.*).

<sup>3</sup> эти евреи (*фр.*).

<sup>4</sup> афера (*фр.*).



ное и всеми видимое, но и совершенно признаваемое самими евреями, так нежно любившими свое отечество три года! Да и до чего опасная измена, на какой мучительной подкладке! Так или иначе совершилось темное дело, но, ни от кого не скрывая и при полном свете дня, *Франция как страна*, как организация, как управление — *шельмовалась без пощады*. Вот уж истинные «бичи Иероваама», просвистевшие над спиной прекраснейшей и благороднейшей из европейских стран. Не знаем, виновен ли Дрейфус; но видим Францию уличенную, опозоренную каким-то лакейским способом наказания. Так бьют Расплюевых; так били Францию — светоч, долгое время светоч нашей цивилизации. Вы помните мучительнейшую минуту, в финале комедии, где жених и герой уличается в мошенничестве: эта минута растянута была на три года (ведь это пытка), и под пятою мошеннического заподозривания билось целое правительство. Дело так и кануло в Лету темным; светло же, как день, одно — что Франция была три года *в положении желающего вывернуться и не могущего вывернуться* из беды Кречинского. Никогда так человека не мучил, не пытал человек. Они, евреи... «сыны Франции»!

Сыны, так любящие «свое отечество», «свою Францию»...

И ее буковые леса, ее Рону, ее литературу от Абеяра до А. Мюссе, ее науку от бенедиктинцев до Пастера. Ведь эта все — *одна Франция*, господа, одна *вместе* с теперешним правительством, пусть и плоховатым, о чем француз заплачет, а не посмеется...

Посмеяться может только *чужеродец*, который, заушая «правительство», думает, что он нисколько не бьет Францию.

\* \* \*

Тут вопрос не о том, кто светел, а о том, кто силен. Конечно, Франция светлее еврейства. Ведь «дело Дрейфуса» было попыткой сорвать «нравственный банк» Франции: отсюда вся его вязкость, упорство, и отсюда же всемирное к нему внимание. Очень интересен «сам» Дрейфус или «генерал Буадефр»!.. Царями столько не занимаются; и смерти императрицы австрийской, тоже невинно погибшей, не было дано и сотой доли внимания, какое дано было «невинно заподозренному Дрейфусу». Европа следила, кто у кого сорвет банк, и притом такого странного характера, что там заложена была самая душа и жизнь игроков: прекраснейшей страны, древнейшего и очень странного народа! И игра была удивительно выбрана в момент: ну, проиграй еврей — и ничего не теряет еврейство; «да, мы ошиблись, один из нас — мошенник и изменник, но у Франции остается 100 000 честных израильтян, совершенно искренно любящих свое отечество». Это в случае проигрыша; а в случае выигрыша? А в случае выигрыша «срывался моральный банк» вовсе не Гонза, Буадефра и проч., и проч., а именно *Франции* в самом ее сердце, в самом ее центре. А оттуда бежит кровь по всем членам, и ядовитый укол в «штаб» парализовал бы, конечно, самое тело страны и «любимого отечества». Оставим вопрос о «светлом духе» еврейства и обратимся к их силе.

Сила эта — в цепкости и солидарности. Нам передавали в эту зиму, что когда одна из одесских газет пробовала временно стать «против Дрейфуса», то поутру множество евреев выбежали из дому на улицу и, манифестируя свое негодование, рвали в клочки только что полученные номера этой газеты. Париж — Одесса, это не рукой подать. Затем «дело Дрейфуса» несколько раз грохло. Да и что за «дело», решительно — грязное дело, грязна его тема, и далеко не херувим человек. Вспомним у нас Новикова и Радищева: такие ли люди? — и тоже «сидели» без «вины». Так мы говорим, что «дело Дрейфуса» грохло. Но в то время, когда столько невинных глухо погибло, и вся история Тауэра и Бастилии есть история глухой гибели человека, «свои» не дали погибнуть ангелоподобному капитану. Мы исследуем *силу* еврейства и указываем на его *цепкость*. Евреев немного — 7 млн человек. Персов было гораздо больше, чем македонян: но македоняне шли «фалангой», т. е. «свиньей» (форма военного построения), и, разрезая кучи, тьмы тем персов, — их побеждали. Секрет еврейства состоит в том, что они *по связности* подобны конденсатору, заряженному электричеством. Троньте тонкою иглою его — и вся сила, и все количество электричества, собранное в хранителе-конденсаторе, разряжается под точкою булавочного укола. В Париже 3 млн французов, но ведь евреев там сколько на земном шаре — 7 млн; в Вильне русских около 40 тысяч человек, а евреев в Вильне *те же семь миллионов*. И, конечно, евреи побеждают в Париже столь же легко, как и в Вильне.

«Первое предостережение», полученное в деле Дрейфуса Европою, показывает, что если Европа *не перестроится в своих рядах*, если она будет идти так же вразброд, — «по-персидски», «тьмы тьмами», — то она, несомненно, будет разрознена иудейскою «свиньєю» и потеряет все, как персы перед македонянами. Дело — в социальном построении; у нас «каждый за себя», «Бог за всех»; у евреев «все за каждого», — и потому-то, может быть, у них «Бог» в точности «за всех». Мы — разобщены; они не только соединены, но *слиты*. У нас соединение — фразерство; у них — факт. Скажите, пожалуйста: поддерживала генеральный французский штаб французская печать так же, как одесситы-евреи Дрейфуса, т. е. так же априорно, столь же «в темную», до «окончательного выяснения»? Именно вот готовности «заранее», «а priori» отстоять «своего», — этой прекрасной «стенки» национального сознания — и не было во Франции, да и нет этой «стенки» нигде в Европе. — «Говорят, в штабе *мошенники*»... «Как *интересно*»... Жажда сплетни, жажда злобы, эти чувства «дамы просто прекрасной» и «дамы прекрасной во всех отношениях», — которые съедали друг друга и съедали всех своих знакомых из-за каких-то ситцев, тряпок, — эти воистину презренные чувства, конечно, взломались как вешний лед перед юдаической «свиньєю», которая от Вильны до Парижа поперла в одну точку.

Поперла и... почти сломила. Берегись, Европа, твой лед хрупок, укрепи лед!

Сентябрь, 1899 г.

## ИУДЕИ И ИЕЗУИТЫ

В истории неоднократно случалось, что *мелкий и личный факт*, факт, наконец, *местный* — получал с необычайною быстротою величайшую силу, повсеместное распространение и выливался в огромные результаты. Так от мелкой искры взрываются пороховые погреба, «от копеечной свечки Москва сгорела»; а чтобы перейти от поговорок к определенным историческим фактам, укажу, что нежелание администрации Иезуитского ордена добросовестно уплатить по счетам одной торговой французской фирме было причиной, что «статуты ордена» были потребованы французским министром к рассмотрению на суд; в них были прочитаны параграфы антиморальные и антиобщественные, и «разоблаченный орден» был изгнан из Франции и скоро был изгнан и из всех просвещенных стран Европы. Другой пример — знаменитые «индульгенции» Тецеля, «отпущавшего за деньги грехи человеческие» с таким особенным бесстыдством, как еще не случалось никогда дотоле, что вызвало возмущение Лютера, поднявшегося на самый Рим и на самое папство, и поведшее к отложению Германии и затем всей германизированной Европы от католичества. Здесь, собственно, маленькое и местное событие было *поводом*, а родившиеся из него громадные последствия оттого и были громадны, что этот маленький факт, можно сказать, имел *миниатюрные с себя снимки повсюду*, имел мириады *подобных* же мелких фактов, рассеянных по всей стране или даже по всем странам Европы. Иезуиты вообще уже «нечестно рассчитывались», — и не в одной торговле, и не в одной Франции; они *фальсифицировали мораль*, они *фальсифицировали христианство* и *исказили* основное учение Иисуса Христа. «Индульгенции» продавал не один Тецель, — а папство вообще обходилось нехорошо и с деньгами, и с совестью, и с народами по ту сторону Альп. Все увидели, что в «католичестве» имеют не столько христианство, сколько «римскую веру» и известный первосвященнический эгоизм, политический и финансовый. У Европы раскрылись глаза. И вот это раскрытие глаз, которые увидели всюду в Европе расплзшееся зло, — зло *застарелое* и уже давно мучившее всех, — и породило великие результаты.

Этим великим результатом было освобождение Европы от безграничного *папского авторитета*, в одном случае, и от тонкой *иезуитской паутинны*, в другом случае. Не забудем, что и папы были покровителями искусств, покровителями поэтов, художников и ученых; у них работали Рафаэль и Микель-Анджело. А иезуиты покрыли Европу сетью училищ, которые были не только самыми многочисленными, но и по опытности и искусству преподавателей были первыми в Европе.

Так что великие культурные заслуги у них были; у них было очень много «вообще»... Но кроме «вообще» нужно иметь и «в частности»; кроме покровительства Рафаэля — нужно честно рассчитываться за забранный товар.

Поднимается третье освобождение Европы, может быть, самое мучительное и самое трудное, но совершенно необходимое — от евреев; от *семитизации* европейского духа, европейских литератур, всего европейского склада жизни, всей так называемой «европейской культуры». И «дело Бейлиса», которое самым именем закрыло кровавое «дело младенца Ющинского», есть лишь толчок, из которого, как ураган, развивается колоссальное движение — освобождение от семитизма. Роль евреев в культуре очень близка к роли иезуитов в христианстве, а сами евреи и в личности своей и в статутах своей жизни весьма подобны иезуитам с их тайною и всемогущею организацией. Так же они вкрадчивы и льстивы, так же всюду проникают или пролезают; так же все себе захватывают, как захватывали иезуиты; так же у них гибка мораль и так же все в этой морали отпускают «своим» их тайные статуты, и беспощадны к *чужим*, как это было у иезуитов. Вообще, родство и близость с иезуитами евреев — поразительны. Мы находим параллелизм во всех линиях духа и устройства. И — в самом зерне. Зерном этим служит беспощадный, абсолютный эгоизм черного «я», не считающийся решительно ни с кем и ни с чем, кроме *себя*, и обращающий всякое другое лицо и всякое другое учреждение и наконец целые народы чужие в жертву себе, в «жратво» для себя.

Евреи действительно поторопились, вспыхнули, запутались и упали. Они слишком понадеялись на циничное средство, — *скупку* всей печати в Европе, скупку и оболъщение и всей почти печати русской. Рассчитывая на это, они встали во весь рост и неосторожно распахнулись: и все в России увидели, а очень скоро и во всей Европе рассмотрят, черное тело и черную душу еврейства. Суть — в беспощадном эгоизме, в принесении всего решительно в жертву своему единственному, родовому, национальному «я». Требуя от нас: от немцев, от французов космополитизма и общечеловечества, они даже не едят одной пищи с нами, и это — не личное у них, а *национальное*: «национализм» и национальные статуты евреев, введя знаменитое отныне «кошерное мясо», строжайше запрещают всем «своим» даже есть из одной миски суп с христианами, брать мясо с одной сковородки с христианами, с этими «просвещенными» французами, с этими «республиканцами» французами и с «русскими братьями». Явно, что ни «просвещение» европейское, ни «республики» европейские, ни «родное русское братство» — им не нужны, и они в нем лавируют и скользят, но к нему не прилепляются. Говорим про массу, про ядро еврейское, не считая «промежуточных» и «переходных» форм. Да и в последних живет и не может не жить черный отблеск слишком древнего духа. На самом доньшке у самого образованного еврея лежит затаенное чувство: «Россия все-таки *пройдет*, а евреи *останутся*». Примеры Египта, Греции, Рима не могут не подействовать.

Перед нами, русскими, да и перед всею Европою раскрылись прямо национальные ужасы юдаизма, например, в этом знаменитом учении о «гоях». Мальчику и девочке уже 7, 8, 9, 10-ти лет родители внушают, раввин внушает, *именем религии своей внушает*, что русские и французы — все вообще «нечисты» до такой степени, что есть с ними из одной тарелки то же, что есть из одной

плошки с собакой или кошкой; что европейцы — это даже не люди, а *животные*. Это — *точные*, запечатленные во всех рукописях и в бесчисленных печатных экземплярах Талмуда положения, параграфы, законы, принципы, моральные воззрения. От этого внушаемого им «религиою» воззрения не отречется ни один еврей; ни один не скажет: «Этого *нет!*» Никогда подобного чудовищного учения не знала ни одна религия в мире и ни одна нация в мире. О всем этом европейцы и раньше приблизительно знали, но знали как-то издали, глухо, неопределенно; евреи не рассказывали, а европейцы не любопытствовали. Вдруг это все разом *раскрылось в процессе Бейлиса*; а сотни газет в тысячах листов *сообщили об этом всем миллионам русских*. И что бы ни твердила закупленная, задобренная и обольщенная печать, русская и заграничная, у читателей есть и свой разум, и все понимают, что нации с такими чудовищными принципами совершенно *не место среди европейцев*, что насколько мы любим «историю» и «культуру», настолько не место среди нас этой типично антикультурной и типично антиисторической нации. Ибо в зерне истории и культуры лежит уважение человека к человеку и любовь человека к человеку. Здесь самые уставы жизни таковы: «*Не ешь с европейцем*» — это говорит глубоко и осязательно всякому, это говорит ему ежедневно, это говорит ему повсеместно. Европейец — *поганец* для тебя, и ты должен относиться к нему, как «к *поганому* существу», т. е., естественно, ты должен его *презирать* и ненавидеть. И это говорится еще детям 7—8 лет, говорится в каждой еврейской хижине. С каждым «кошерным куском» еврей проглатывает как бы «заговор» и «зарок» против русского; чтобы сказать все понятным языком — он проглатывает «погромную» против русских прокламацию», но которая не просто прочитывается и бросается, а переваривается у него в желудке и с кровью входит в плоть и кости еврея, в кровь еврея, в мозг еврея. Тихая и вкрадчивая, именно ядовитая ненависть к русскому, к немцу, к французу, к англичанину, ко всем — вот что такое статут и догма и религия о «гоях», — о чем все знали только глухо и отдаленно, обще и смутно. Теперь все это *ясно прочитали*. Они и изгаживают все, к чему касаются, — всякий дом, куда входят, всякую семью, куда вкрадываются, всякую школу, куда их впускают; и прежде всего и яснее всего изгадили нашу когда-то здоровую, прекрасную, «натуральную» литературу своими смердящими «богоскательствами», «богоборчествами», «богостроительствами», декадентствами, символизмами и всяким словесным маргарином и всяким мысленным онанизмом. «Гои» суть «гады» и «гадость у них *все*»: это такая связь догматов, которую разорвать невозможно. Но у нас-то многие догматы не исполняются, а у них с «не садись за один стол с европейцем» все привилось с детства и все с детства вошло в кровь и перешло у взрослого в привычку, в манеру, в единственный способ уметь жить и действовать среди европейцев. Они *не умеют* не портить того, что врожденно считают «нечистым» и «гадким»...

Какими же невинными и чистыми представлятся нам принципы иезуитизма сравнительно с принципами иудейства!

1913 г.

## ЕВРЕИ И «ТРЕФНЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЦАРСТВА»

Скрывая или оставляя в тени тот факт, что сами евреи воистину поклоняются Молоху своего *национализма*, что кроме национализма они и не имеют никаких других питательных духовных корней, и даже сам «Бог», Существо всемирное и всечеловеческое, — для них есть исключительно «еврейский бог», *пимало не пекущийся о других народах и даже к другим всем народам враждебный*, — евреи в то же время унижают, высмеивают и всячески выдают народное чувство, сознание своей истории и государственную гордость у французов, у немцев, у русских. В особенности, как деятели литературы, как мелкие журнальные и газетные сотрудники, не выдающиеся талантом, но подавляющие числом, и также как члены французского общества, немецкого общества, русского общества, — они выступают постоянно со своим смехом над «национальными предрассудками», умалчивая о «кошерном мясе» своей нации, мешающем всякому еврею сесть за один стол с немцем, с французом или с русским. Кроме редчайших исключений, еврей *никогда не женится на русской и еврейка никогда не выходит замуж за русского*. Вообще, применяя язык католического брачного права, «отделение от стола и отделение от ложа» со всеми в мире народами — составляет самую сущность юдаизма с древнейших времен и поныне. Даже прошедшие гимназию и университет евреи и еврейки весьма твердо и весьма косо выдерживают эту линию, подчиняясь неодолимому давлению сорока веков своей истории. Что же касается простого народа, то здесь смешанных браков совершенно не происходит, здесь происходит только их иудейский «кошерный брак» и недопустим «трефный брак» ни с каким чужеродцем. Да это и понятно, в силу учения их раввинов и в силу догмы Талмуда о *нечистоте* всех людей неевреев. Брак, происшедший по всем формам с христианином или с христианкою, — раввинами считается «ничем»; он считается не браком с человеком, а сожителем со скотом, и измена ему для еврея-мужа или для еврейки-жены считается не пороком, не супружеской изменою, а добродетелью и святым делом. Ибо, бросая христианина-мужа или христианку-жену, еврей и еврейка возвращаются только к состоянию их юдаической «чистоты» и исключительной «богоизбранности». Можно ли представить себе что-нибудь более чудовищное в смысле антисоциальности! Можно ли говорить о каком-нибудь «мирном сожительстве» с подобным народом? Та «гармония», к которой стремится всемирная история, с евреями всегда есть какофония. Никакой «музыки» не выходит, и никогда ее выйти не может. Не может же ее выйти потому, что всем духом своим, так полно сливающимся со статутами жизни, евреи коренным образом отрицают или коренным образом не понимают «всемирности» или всечеловечности. Всякий еврей, переходящий на почву всемирных симпатий, хотя бы только идейно и философски, подвергается синагогальному «херему», т. е. душа его считается погибшею, а тело и жизнь объявляются подлежащими уничтожению,

убийству. И такое лицо или убивается, или делаются попытки со стороны «общины Израиля» его убить. Такова была знаменитая история с голландским философом Спинозой, который после наложенного на него «херема» подвергся нескольким покушениям на свою жизнь со стороны темных фанатиков. Нам они кажутся «фанатиками», но у себя-то они действовали «по закону». Об этом можно читать во всех его биографиях и во всех пространных курсах философии. Можно ли представить себе древнего грека, которого за *философский интерес* к персидской религии Зороастра соотечественники пытались бы умертвить; можно ли представить себе немца, которого лютеранская консистория отлучала бы от церкви и «обрекла смерти» за любопытство и за интерес к русским летописям. Представим себе всех пасторов Берлина, Штеттина, Гамбурга и Петербурга, единогласно вопиющих и проклинающих немца Шлецера единственно за то, что он издал своего «Нестора», или Даля за то, что он собирал и записывал русские пословицы и русские говоры?! Едва мы привели эти примеры и аналогии, как всякий почувствует, до чего евреи есть *невозможный для сожительства* народ, до чего они народ 40 веков *антикультурный и антиисторический*. Здесь-то и лежит причина, почему их, в конце концов, отовсюду изгоняли, из всех стран и от всех народов, — отчего возник и факт и легенда о *juif errant*<sup>1</sup>: они *не сливаемы ни с одним народом и племенем*, как не соединяются вода и масло; везде они сидят только «в себе», в силу непоколебимых сорокавековых правил своей *религии*, и в то же время, *быта* своего — отделенные от всех людей в «столе» и «ложе», в знаменитом своем учении о «кошере» и «трефа». «Съесть русской пищи» значит «опоганиться»; жениться на *русской* значит все равно, что жениться на *собаке*, на *корове*. Это совершенно *точное учение их закона*, их Талмуда, и это совершенно строго *соблюдается в их быту*. В том и особенность и ужас юдаизма, что у них религия есть в то же время учение о *быте*; что «религия» и «поклонение Богу» у них есть необозримый «Домострой».

Но, входя в наши дома и в наши семьи как знакомые и как друзья, они всегда несут на себе лживое и лукавое «общечеловеческое лицо», со смехом над «национальными предрассудками», *в сущности только — нашими*. Что мы, русские и христиане, все для них «трефа», поганое, нечистое и ненужное ни Богу, ни людям, *они об этом не распространяются*, они нас только учат и внушают своим непреодолимым гипнозом, что является чем-то «трефным» и негодным наше правительство, что это есть поганое «трефа» в Польше — ее старое шляхетство и темные ксендзы, что такое же «трефа» — немецкая филистерская семья и немецкие семейные добродетели или немецкая верноподданническая любовь. Таким саркастическим смехом над всем европейским и над всем христианским прокатились стихи и проза Гейне, этого остроумного и вместе интимного пересмешника, отрицателя и циника. Смех Вольтера был глубоко здоровым смехом сравнительно со смехом

---

<sup>1</sup> вечный жид (*фр.*).

Гейне, значительно отравившего европейский дух. Но этот смех и сарказм Гейне, без всякого утверждения, *без всего положительного*, — он в мелких и грязных формах сочится из всякой еврейской строки, из всякой еврейской газеты, от всякой еврейской книгоиздательской фирмы. Возвращаясь к тому, что это такое, этот непрерывный смех над всем европейским и христианским, мы найдем полное его объяснение в том, что это есть литературное преображение знаменитого их учения о «трефа». Секрет и разгадка в том, что все «европейское и христианское» есть что-то *обреченное Богом*, их «израиелевым богом», на *вымирание, гибель, вырождение и гниль*. Гноить и гноить русских, гноить и гноить Францию, выедать все «старонемецкое» у германцев — это почти физиологический закон евреев, перешедший на степень бессознательной привычки. Кроме «ихнего еврейского», этого всемирного «кошера», все остальное — «заклятое» и «трефа», «не годно к употреблению». Вот объяснение «дурного правительства», в сущности, «трефного правительства», одинаково в монархической России и в республиканской Франции. И «республика» — *трефа*, потому что она — «не наша», потому что это «республика *гоев*»; напротив, и монархия будет «кошер», если королем или президентом объявится где-нибудь Соломон Соломонович. Нет ни одного еврейского порицания еврею Дизраэли-Биконсфильду, потому что он «кошер» и «наш»; а на Бисмарка, который никак не меньше Биконсфильда, были высыпаны все еврейские яды бесчисленных газет и парламентских ораторов. Весь вопрос в том, чтобы были «мы» и «наши», — о прочем *ни о чем* нет речи; нет речи о добродетели, о разуме и всего меньше речи о христианской или европейской пользе. Но этот неудержимый и неодолимый напор еврейского наглого хохота над всем старым в Европе, над всеми европейскими святынями, над всеми европейскими молитвами и вздохами, над нашей старой поэзией и крестом, — это есть выползшее в литературу их учение о «трефном» и «кошерном», «поганом» и «чистом», которым сорок веков были пропитаны все хижины еврейские, с вечной заповедью: «не ешь с персом», «не ешь с греком», «не ешь с римлянином», «не ешь с испанцем», «с французом», «с немцем», «с русским». *Ни с кем* «не ешь» и «не вступай в брак», — ибо они *не чисты и гои*. Сорока веков нельзя отмыть ни от кого; сорок веков сильнее всякой индивидуальности.

Что же это такое? И что такое сравнительно с этим бледное и бессильное учение иезуитов и статуты иезуитского ордена? Это — цветочки: в иудеях мы имеем «ягодки». Всякий еврей и, с позволения сказать, «Грузенберг», всякий «Гинзбург» и «Ротшильд» есть «папа» в самочувствии, в самосознании, в «избранности» Богом. И эти мириады «пап», насевших на Европу, давят на нее, как чугунная тумба на человеческую грудь.

И тяжело дышится Европе. Сдавливает ее могучие кольца Израиля. Он уже все облепил — векселем, книжкой, газетой. Давит, кого может и обольщает, кого еще не может. Он, в особенности, обольщает детей наших, в школе,



в университете. Наше несчастное бесхарактерное юношество уже все облито сладким ядом еврейского гипноза, льстивого, интимного и насмешливого в отношении «иных». Несчастный «гой» или «гойка» 17—20 лет не понимают, что *они лично суть «гой» и «скверна»* для говорящего с ними еврея и еврейки; они полагают, доверчиво, что евреи только «критикуют» из «общечеловеческого чувства» их трэфное правительство, их трэфную политику и всю их трэфную историю.

Что евреям наши крестовые походы? Что еврейской душе говорит наше страдание под монгольским игом? Смех, а не горе. Что им говорит чистое имя Пушкина, народное имя Кольцова? И они все это загаживают, ибо *всякий европейский свет есть тьма для них*, как они со своим «не съдаемым ни за что бедром» говядины представляют для нас чудовишный курьез и сплошную, даже непонятную, тень.

*И не будет света в Европе*, пока не скростся за горизонт этот ужасный мрак. Теперешнее «к свету!» Европы имеет единственный перевод: «освободимся от племени с чудовищными уставами жизни». Не надо его, не надо!! — ни как соседа, ни как сожителя! «Не надо брака» — это они первые сказали и твердят себе сорок веков. Это их устав, это их слово. Да будет оно исполнено.

1913 г.

## В ПРЕДДВЕРИИ 1914 ГОДА

Уходящий в вечность 1913 год и восходящий зарею перед нами 1914 год — встречаются, как острями, в мучительной борьбе, какую русскому народу приходится выносить от чужого азиатского народа, волею судеб замешавшегося в нашу историю. Мы говорим об *евреях*. По частному поводу, — желание сокрыть явное преступление, — евреи выступили как *единая все-светная нация*, почти как *один человек*, — и накинулась на Россию и русских, на русское государство, на русский суд, на русскую остающуюся от них независимую печать, требуя, чтобы все это оставалось не в рамках объективного бесстрастия, «не взирающего на лица» и нации, а чтобы все это взирало на евреев и сохраняло за евреями какую-то совершенно дикую и небывалую *привилегированность*: быть *не судимыми*, быть *не обвиняемыми*, быть даже *не подозреваемыми*... Эта претензия, которая показалась бы сумасшествием в устах немцев, французов, англичан, не говоря уже о забытых и забываемых везде русских, не кажется сумасшествием ни самим евреям от иллюзии «избранности», проникающей всю их историю, ни даже другим народам, давно привыкшим уже к невыносимому еврейскому хвастовству, самопоению и презиранию ими других народов. Эта нация ростовщиков и банкиров в то же время претендует на культивирование высших философских добродетелей самого бескорыстного и отвлеченного характе-

ра. С этой нацией в будущем нам еще предстоит очень много возни, и только что кончившееся «дело Бейлиса» есть только предостережение вовремя. Нет, однако, сомнения, что здравый русский смысл не покинет нас и что тот еврейский «шок», подобный нервному шоку при операциях, какой они произвели на русских в октябре и ноябре 1913 г., скоро пройдет, русские опамнутся, придут в себя; и увидят все «дело» о замученном русском невинном мальчике в том самом свете, в каком оно натурально находится и находилось все время еврейского «гевалта» и позорного идолослужения собственной русской печати перед евреями.

В этом отношении конец истекшего года важен еще как толчок к подъему народного чувства в нас. Мы увидели границу, довольно опасную границу, до которой затопила нас инородчина, до которой поблекли и полиняли русские души. И то чувство оскорбленного достоинства, которое испытано было нами в октябре месяце, уже дало свои плоды в ноябре и декабре. Мы освежились и вздрогнули. Теснее прижались друг к другу. Теснее, дружнее и дружнее входим в новый 1914 год. И не будем бояться подобных испытаний в будущем: ибо есть болезни к смерти, и подобною болезнью можно назвать всякий вид квиетизма, самодовольства и спячки; и есть болезни и страдания — к исцелению. Таково всякое *самосознание* боли, унижения и обиды.

1 янв. 1914 г.

## ПАМЯТКА

Всегда, сталкиваясь с каким-нибудь взглядом, необходимо иметь в виду его *исходную* точку.

Учение о «чистом» и «нечистом», получившем у евреев наименование «кошер» (чистое, годное к употреблению), «трефа», есть, собственно, *не еврейское*: ибо уже Ной, по Библии, входя в ковчег и заключив в него всех животных, разделил их на «чистых» и «не чистых». Таким образом, это есть взгляд равно *иафетидов*, или *арийцев*, происходящих от Иафета, как и *семитов*.

Но у арийцев это разделение никогда не проводилось строго и фанатично. Напротив, евреев нельзя себе представить даже в *мелочах быта* без вечного стояния в уме их представления о «кошер» и «трефа». Происходит это от чрезвычайной дробности и чрезвычайной точности Моисеева законодательства о «чистом» и «годном» и о «нечистом» и «негодном»...

Евреи вечно «чистятся», вечно «моются» и прожигают свою посуду на огне. «Телесная чистота» отделяет еврея от «нееврея», «нечистого»; не образ мысли, не устройство сердца, не хорошее поведение и отношение к ближнему, но эта, главным образом, *физическая, ритуальная чистота*.

Читателю сейчас же высветятся особенным светом множество страниц Евангелия, множество столкновений Иисуса Христа со «старейшинами иудейскими», с их «фарисеями и книжниками» (начетчиками в законе, тал-

мудистами); споры эти вращаются именно около «ритуалов» и «чистоты» иудейской, около «недозволенного по закону». — «Почему ученики твои не умывают рук перед вкушением пищи?» — «Почему ты сам ешь с мытарями и фарисеями?» — «Почему исцеляешь в субботу?»

А что «исцеляешь и творишь добро» — на это не обращают внимания.

Что тот «мытарь и грешник» выше душою фарисеев — это не ставится ни во что.

Христос наконец ответил им общим принципом: «Не то оскверняет, что входит в уста, а что исходит из уст». Не пища — ибо она идет в желудок, а слово — ибо оно идет из души и свидетельствует о душе.

Это поистине божественный по мудрости и высоте ответ Иисуса Христа подсекал все фарисейство и колебал Моисеев закон в его мелочности.

Иисус Христос открывал царство духа, душевности, которого просто даже не подозревали «старейшие иудейские»; они не понимали Иисуса Христа в самом предмете Его учения...

«Душа» — говорил Он...

«Тело» — говорили они...

«Совесть» — учил Он...

«Правила» — насильовали они...

Наконец, Он потряс и предсказал разрушение их Храма как национального и общего средоточия и регулятора этих ритуалов, этих мелочей, этих телесностей, этих форм и формализма...

Они Его распяли...

Остались Его ученики. Они были иудеи; и поразительно: под давлением веков считать все «нееврейское» нечистым, они думали, что само чистейшее учение Иисуса Христа они могут преподавать лишь только одним иудеям, одним «обрезанным»; и сторонились других людей, сторонились человечества, тогдашних язычников — персов, сирийцев, греков, римлян...

Все это — глубоко чистосердечно, в глубоком недоумении.

Видя, что собственными силами они никак не могут одолеть эту тьму иудейскую, Христос посылает любимому и старшему из учеников, апостолу Петру, — Ангела: чтобы осязательно и вразумительно научить его перестать в мире Господнем разделять вещи, существа и людей на «чистых» и «нечистых». Две главы «Деяний Апостольских», 10-ю и 11-ю, читателю и нужно, при рассуждении об евреях, держать в уме. Вот эти главы:

«В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским,

*благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу;*

он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий!»

Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом.

Итак, пошли людей в Иоппию и призвали Симона, называемого Петром: он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море: *он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой*».

Когда Ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иоппию.

На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел на верх дома помолиться.

*И почувствовал он голод, и хотел есть*; между тем, как приготавливали, он пришел в исступление,

*и видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и спускаемое на землю;*

*в нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные.*

И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи, и ешь».

Но Петр сказал: «нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого».

Тогда в другой раз был глас к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым».

*Это было трижды, — и сосуд опять поднялся на небо.*

Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, — вот, мужи, посланные Корнилием, расспросивши о доме Симона, остановились у ворот».

И, крикнувши, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?»

Между тем, как Петр размышлял о видении, *Дух сказал ему*: «Вот, три человека ищут тебя;

*встань, сойди и иди с ними, нимало не сомневаясь; ибо Я послал их*».

Петр, сошед к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете; за каким делом пришли вы?»

Они же сказали: «Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом Иудейским, получил от святого Ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих».

Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иоппийских пошли с ним.

В следующий день пришли они в Кесарию. *Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей.*

Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его.

Петр же поднял его, говоря: «Встань; я тоже человек».

И, беседуя с ним, вошел в дом, и нашел многих собравшихся.

И сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтоб я не почитал ни одного человека скверным или нечистым.

Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак спрашиваю: для какого дела вы призвали меня?»

Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в своем доме, и вот стал передо мною муж в светлой одежде,

и говорит: «Корнилий! услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом.

Итак, пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром: он гостит в доме кожевника Симона при море; он придет и скажет тебе».

Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога».

Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде — приятен Ему.

Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех.

Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном:

как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.

И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе.

Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться, не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых.

И Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых.

О Нем все пророки свидетельствуют, что *всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его*».

Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово.

*И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников:*

ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал:

«Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?»

И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней.

Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово Божие.

И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «ты ходил к людям необрезанным и ел с ними».

Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря:

«В городе Иоптии я молился, и в исступлении видел видение: сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба и спустилось ко мне;

я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, пресмыкающихся и птиц небесных.

И услышал я голос, говорящий мне: «встань, Петр, заколи и ешь».

Я же сказал: «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои».

И отвечал мне *голос* вторично с неба: «**Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым**».

*Это было трижды*; и опять поднялось все на небо.

И вот, в тот самый час три человека стали пред домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне.

Дух сказал мне, чтоб я шел с ними, нимало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека.

Он рассказал нам, как он видел в доме своем Ангела (святого), который стал и сказал ему: «Пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром;

он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой».

Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале.

Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым».

Итак, если Бог дал им *такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа*, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?

Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал **Бог покаяние в жизнь**».

Вот, собственно, в чем дело, на отвержении какого *особенного видения и Ангельского голоса* коренится и зиждется *теперешнее иудейство*. Если «язычники», если мусульмане, буддисты, монголы и проч. находятся в стороне от христианства, то евреи *вовсе не находятся вне христианства, а — внутри христианства*, но — как *антихристиане*. В этом все дело, что *мы этого не понимаем*, да и *иудеи этого не понимают*: что они — не «вне», а — «с нами», но — *против нас*, как личные и непосредственные враги *обращенного к ним отвержения «кошера» и «трефа»*... Именно им было сказано о «трефе», что «трефного» — нет, что все — чисто, ибо «все Господне». Не русским, не немцам, не грекам или римлянам (у которых «трефного» и не было), а — одним и исключительно евреям как держателям «трефного» в целом мире, провозвестникам *брезгливости и отвращения* народов друг к другу, отворачивания каждого народа в свою специальную «святость» и «чистоту», в свой «единый храм» (иудеи), как отвергателям и *вековечным* отвергателям универ-

сального и общечеловеческого. Воистину, иудеи не «Бога» только распяли, а еще более распяли Человека; разгвоздив его на кусочки, на вековечные «племена», «gentes», с зачеркиванием всякого Единства рода человеческого, всякой Единой души человеческой... И воистину «распятие Христа» еще продолжается, пока есть эти их чухломские «кошер» и «мы», «трефа» и «вы»...

Это — вечные *узды* человечества...

Это — отрицание «Един Мир и Един Бог»...

Един Святой в святых вещах...

Евреи, особенно юные, — евреи настоящие и чистосердечные идеалисты — сами не понимают, за что и за кого они стоят, когда стоят «за себя»... ибо воистину они идут против человечества, они одни идут против него...

## СОКРОВЕННЫЙ ТРУД РОЗАНОВА

Две книги венчают долгую творческую жизнь Розанова: «Апокалипсис нашего времени» и «Возрождающийся Египет». Первая — книга гнева и отчаяния, проклятий и стенаний, вторая — попытка дойти до корня всех вещей. Книги не просто «граничат» по времени их написания (куски «Египта» писались и летом 1918-го, т. е. в самый разгар работы над «Апокалипсисом»), но они даже «пересекаются», поскольку некоторые статьи Розанов думал поместить то в одно, то в другое свое сочинение. Но «Апокалипсис» рожден лицезрением «последних времен» русского царства и страшного, как-то «вдруг» наступившего будущего. «Египет» — возник из внимательного взгляда в древность, в самые истоки мира человеческого. Потому «образы автора», встающие за каждым из произведений, замстно разнятся: в «Апокалипсисе» — явленная миру растерзанная русская душа, которая видит крушение всего русского и самой России, в «Египте» — скрытая от чужих глаз душа пытливая, в ее попытке прозреть самые «основы мира».

О возникновении идеи «Возрождающегося Египта» есть мимолетное свидетельство Зинаиды Гиппиус в ее «Живых лицах».

«Он готовил ее очень давно. Еще во дни наших постоянных встреч увидел раз у меня на столе большого скарабея (приятельница-англичанка привезла из Египта). Пришел в страстный восторг.

— Подарите мне! Мне очень нужно. Вам на что? А я книгу об Египте напишу. У меня и все монеты — египетские. В Египте то было, чего уже не будет: христианство задушило.

Очень радовался подарку и унес, завернув в носовой платок».

Воспоминание естественно отнести к периоду наиболее теплых отношений Гиппиус и Мережковского с Розановым, т. е. задолго до 1913 года, — до дела Бейлиса, до исключения Розанова из Религиозно-философского общества. Но первые выпуски давно замысленного труда появляются (под названием «Из восточных мотивов») лишь в 1916 году. Остальное — гранки, рукописи, газетные вырезки, вырванные из журналов ранее напечатанные статьи с новой правкой, т. е. наибольшая часть этого труда, — так и не увидело света при жизни писателя.

Книга, оставшаяся в виде черновика, — для позднего творчества писателя это не исключение. «Сахарна», «Мимолетное» 1914 и 1915 годов, «Пос-



ледние листья», «Апокалипсис нашего времени»... — лишь небольшая часть этих произведений могла быть прочитана современниками. «Возрождающийся Египет» из их числа. Но есть в нем одна особенность, которая отличает его от всех прочих черновиков: невероятное количество заготовленных иллюстраций. В архиве писателя их сотни и сотни. И хотя в большинстве случаев (исключения крайне редки) совершенно невозможно понять, какая из иллюстраций готовилась в ту или иную часть рукописи, само количество этих изображений египетского мира лишний раз говорит об особенностях розановского мышления как такового.

Он всегда был на редкость «неакадемичен». И столь «странным» мыслителем Розанов стал не только потому, что предпочитал сухим трактатам живую статью или заметку. Слишком уж редко идеи, его посещавшие, происходили из переосмысления «источников». Он сам признавался, что чужие книги «глотал», и чаще всего — глотал беспорядочно: без начала, без конца, даже самые «середки» выбирая достаточно произвольно. В «Литературных изгнанниках», в одном из примечаний к письмам Страхова, он расскажет про свой «стиль» познания: «Сняв с полки и «открыв где попало», я зато иногда часы простаивал, не отходя от полки и не дойдя до стула... Этот способ чтения имеет свои качества. Остро прочитывается, остро запечатлевается».

Такое «взрывное» чтение не могло не отразиться на особенностях писания. Несистематичность, клочковатость поглощаемого текста заставляла более обращать внимание не столько на автора той или иной мысли, сколько на самый предмет рассуждений. Неудивительно, что даже первая книга мыслителя, «О понимании», — этот капитальный и стилистически «неповоротливый» труд, — написана не просто «не взирая на авторитеты», но так, будто мировой философии до Розанова не существовало вовсе. Каждое понятие он стремится объяснить заново, по-своему, почти «на ощупь», как объясняли те или иные идеи ранние античные мыслители.

Не чтение, но *вглядывание* — вот основа основ розановской метафизики. Не случайно для «погружения в мысль» ему понадобился не научный фолиант, но именно скарабей, подаренный Гиппиус. Т. е. то, во что можно было всматриваться и всматриваться, постигая через глаз несказанное.

В книге «Среди художников» мы найдем поразительный ход мысли. Писатель обращает свои взоры на танец Айседоры Дункан. Розанов убежден: она «живьем» воскресила древние движения, как могли бы мысленно воскресить танец мы, внимательно рассматривая разные его «фазы», изображенные на греческих вазах. И следом в цепочку рассуждений врывается страстный монолог о нумизматике. С каким трепетом, предчувствием «воскрешения» живой жизни можно вглядываться в эти изображения. Здесь стерт один бок, здесь — другой, здесь — сердцевинка. Но, мысленно «соединив» эти рельефы, можно узнать «монету целиком», а всматриваясь в воссозданную картину — уловить «основы основ» той цивилизации, которая эти монеты «пустила в мир».

В авторе «Возрождающегося Египта» всегда жило глубинное реставраторство. Не только «склеить» из глиняных черепков сосуд, но и «воскре-

силь» по изображению живые движения. Не только воссоздать мыслью рельеф монеты, но и уловить в ней «дыхание времен». Для того чтобы вспыхнула мысль, Розанову нужна «незаконченность», нужно созерцание фрагмента. Именно вглядываясь в «краешки» мира, он вдруг прозревает целое. Потому столь часто в «Уединенном» и «Опавших листьях» появляется ремарка «за нумизматикой», которая, повторяясь вновь и вновь, из простого «обстоятельства» рождения мысли превратилась в формулирование метода вживания в предмет.

Чтение «островками» — и пристальное всматривание в проблему, созерцание изображений на старинных монетах — и внезапные озарения, тут же набросанные на клочке бумаги. Здесь все тот же способ рождения мысли «почти из ничего», а на самом деле — из сосредоточенности на малом.

Проницая мысленным взором культуру древнего Египта, Розанов с той же «мелочной» внимательностью вглядывается в рисунки. Не просто собирает иллюстрации из научных изданий и каталогов, но сам — день за днем — переводит тушью на кальку египетскую зримую метафизику, как бы собственной рукой «ощупывает» священные контуры.

В сущности, значительная часть книги есть не что иное, как «комментарий» к древнеегипетской живописи. Именно к живописи, а не к ученым фолиантам.

Жанр комментария всегда был одним из любимейших у писателя. Он и сам готов был признать, что лучшая его проза — постраничные примечания к чужим письмам. Там же, где с «репликой по поводу» соединилось его вечное приглядывание к «краешкам мироздания» (как «способ жизни», «способ мысли», как целое мироощущение), Розанов почувствовал особую любовь к создаваемому труду. Из скарабея, монет, рисунков он «вычитывал» больше, нежели в академических трудах египтологов. (Отсюда — столько насмешек над их близорукостью, сентенции, что ученые не столько открывают нам, сколько «закрывают» истинный Египет.) Глубинные, сокровенные тайны загадочного народа, поразившего мир своими пирамидами, лежали слишком далеко от ученых суждений.

Поклонение скарабею, какому-то «навозному жуку» — уже в этом есть свое откровение. Соединение «грязи» и «божественности» не могло не поразить воображение Розанова. Сама идея, что «святое» и «неприличное» могут оказаться разными сторонами единого мироощущения, — одно из сильнейших впечатлений писателя. Оно выльется с особой силой на страницы «Уединенного». Но корень этой темы — все тот же скарабей, жук-навозник, отразивший в себе основу основ — Солнце.

О многом сказанном в последнем «сокровенном» своем сочинении Розанов говорил и раньше. Пол как источник и основа жизни, пол как исток религии, пол как святость. Он и прежде писал о «мистике» пола, о его «кос-

мичности», о том, что все мироздание им пронизано. В книге «В мире неясного и нерешенного» он вдохновеннейшие страницы посвятил описанию «лиц» человека: стоп, ладоней, лица «феноменального» — и пола, как лица «ноуменального», уходящего в «тот мир». Там же мы встретим давнее розановское озарение: семя и зачатие — это своего рода Слово, только иначе произносимое и куда более «первоосновное», нежели обычные человеческие слова. Еще раньше, в «Природе и истории», мыслитель готов будет объяснить особенности человеческих культур из того, что передают родители в минуту «произнесения» этого «ноуменального» глагола своим детям.

Но теперь он эти темы разрабатывает заново, по-новому вглядываясь в ранее сказанное. Теперь Египет и только Египет — главный его мысленный собеседник. Из него Розанов черпает ответы на главные вопросы мироздания. Задаёт «детские», а в сущности, вечные вопросы и пытается дать столь же вечные ответы. И в старые темы входят новые оттенки. И мысль обретает ценность именно в своих оттенках.

«Зачем же цветы и кому они пахнут?» Из этих, с виду таких наивных слов рождается глубинная метафизика. В пахучести есть что-то «подобное музыке», то, что «без слов» и «глубже слов» действует «на всех». В пахучести же множество приходит к единству:

«...«Двое» цветок и пчелка, столь разные. «Где небо? Где земля»? Противоположны. Но так как все пахнет, то — и едины».

И значит, запах — основа гармонии мира. Здесь Розанов готов идти до самых крайних обобщений:

«Цветок и пчелка? Вольно же пчелке копошиться в цветке. «Так далеки по существу». И тайна всех вещей мира, пожалуй, в том, что они все развалились бы, «матерьял» выпал бы у «горшечника» из рук, если бы, кончив вещи, он не спрыснул их все пахучестью».

В мире запахов и ароматов — и «симфония мира», и его гармония «единства-множества», и — дыхание Божье.

И более всего дыхание Божье — Розанов в этом нисколько не сомневается — легло на Египет. Тем интереснее его стремление сблизить дорогую, несчастную Русь с древнейшей цивилизацией. Хотя бы там, где он находит странное «портретное сходство»:

«В общем и всегда египтянки нисколько не похожи на русских: но эти зимние лапти или валснки, русский явный платок на голове, широкие рукава «фонарем» (никогда у египтянок!!), и голые ниже локтя руки, и широкий русский нос, подбородок «яблочком» (я все очень точно срисовал), и лицо широкое, деревенское наше... когда я увидел всё это в «Dizionario di mitologia egiyziá», извлеченное откуда-то со статьи под № 30, я не знал, куда деваться от изумления...»

Это неожиданное «прозрение» хотя бы о редкой и случайной близости русского лица к египетскому (а значит, — при самом характере обобщений мыслителя — и русского космоса к мирозданию древних) следует за настоящим гимном «живому» и «животному» небу. Созвездия не случайно оду-

хотворялись древними, не случайно их небеса «заселены» живыми существами: «медведица», «рыбы», «лев», «дева», «телец»... Древний египтянин, как и вообще древний язычник, ценил прежде всего — живое, жизнь, основу жизни, которой и поклонялся в лице ли Озириса и Изиды, в лице ли священной кошки, или священного скарабея, в лице ли — этот образ особенно дорог Розанову — коровы, как животного, дающего в изобилии молоко, и как символа плодородия.

«Есть небесное молоко, — восклицает Розанов. — О, пейте его люди, человеки. И вы будете живы. Вовеки. И есть небесная мудрость. Научайтесь ей. Без нее вы вечно останетесь детьми, учениками. А пора восходить в учитель. Нудит, нудит нас к этому наше время. Мещанское. Несчастное. О, как мы задыхаемся в Европе. Еще более, томительнее и скучнее, чем Греция и Рим».

Этот вздох, когда для Розанова русская жизнь начинает биться в европейских сдавленных пространствах, равносильна признанию тайной близости России миру древнему. И в неожиданных, тайных выводах мыслитель не столь уж «опрометчив».

Здесь есть совершенно детское упование:

«Но вот: мне тоже хотелось всегда пить молоко, горячее, из вымени коров. Этим вкусом я совпал лично и в натуре с натуральным Египтом».

Есть и «нащупывание» метода:

«...о, поведите меня, коровы, сперва русские и потом египетские, и научите меня мудрости страны первой, страны древней, страны священной».

Он испытывает вроде бы совершенно «интеллектуальный» восторг от образа «Изиды-коровы», еще более усиленный простым желанием (естественным в трудное, голодное время) каждый день пить молоко. (Как всегда у Розанова самая отвлеченная мысль замыкается на непосредственный быт.) Но достаточно вспомнить, куда вскоре пойдет крестьянская линия русской поэзии, чтобы увидеть: тема Розанова — не чудачество, не просто увлечение «странного литератора».

К концу жизни Розанов неожиданно совпадает в своих упованиях с русским мужиком. По крайней мере — с мечтательным мужиком, который выплеснулся в стихах новокрестьянских поэтов. Тот же «коровоцентризм» взойдет в их поэзии. «Он пришел целовать коров, слушать сердцем овсяный хруст...» — или (обращение к началу высшему): «Господи, отелись!» В этих есенинских строках нет кощунства. Здесь — то самое обожествление «коровьего начала» мира, которое Розанов усматривал в культуре и мироощущении народа, воздвигавшего пирамиды.

Интерес и любовь к язычеству — не «уклон» Розанова, но чутко уловленное «дуновение ветра». Неожиданное «окрестьянивание» глаза Розанова объясняет и самую основу его мышления. В простейшем живет вечное. Потому и в основании философии должны лежать не отвлеченные категории, но — это простейшее-вечное, как хлебное зерно, которому готов поклониться и русский крестьянин, и египтянин, живший несколько тысячелетий тому назад.

«Ведь зерна хлеба, «и трав, и дерев»... — все это глазки, Озирисы. Мы эти зерна топчем ногами. «Нельзя пройти по траве — не убивши несколько богов». И не надо ходить по траве. Бойся, смертный, бойся, смертный. Ты топчешь жизнь свою, ты топчешь хлеб свой. Египтяне все открыли».

«В мире неясного и нерешенного», «Юдаизм», два тома «Семейного вопроса в России», каждый из которых заканчивался «погружением в древность», и тоже с иллюстрациями. Не собранная, но вчерне составленная из уже напечатанных статей книга «Во дворе язычников»... И «В темных религиозных лучах», при издании расплавшаяся на «Темный лик» и «Люди лунного света»... Все это были подступы к Египту. Иногда даже — разрозненные его «куски». В 1916 году Розанов решится «приступить к мечте» — издавать книгу хотя бы отдельными выпусками. Но только незадолго до смерти найдет подлинное ее название.

«...Из восточных мотивов» — не ладно. Опереткой пахнет, — это он пишет в «Апокалипсисе нашего времени». — Надо взять заглавие серьезное: «Возрождающийся Египет».

«Восточные мотивы», а тем более «Из восточных мотивов» — такое наименование подразумевало некоторую «ознакомительность», «необщеобязательность» создаваемого труда. «Возрождающийся Египет» — это уже императив, это непреложность. И за сменой названия — тоже целое мироощущение. В европейском мире не просто «выдохлось» христианство, но в нем изменился, как-то «переродился» тот внутренний стержень, на котором Европа держалась. Все возвращается «на круги своя». Древнейшая египетская цивилизация, которая поклонялась животному, растению, насекомому, т. е. всему живому, и солнцу — не просто живому, но и самому источнику жизни, ее «исходной точке», — воскресает вновь, как воскресал к новой жизни ее Озирис.

Поворот истории, «Закат Европы», был очевиден в начале века для многих. То что Европа, если и устоит в XX веке, то изменится до неузнаваемости, в этом не сомневались самые разные умы. В двадцатые годы будут говорить и о «новом средневековье», и о «вторичном варварстве». Розанов увидит за жуткими событиями (за «апокалипсисом нашего времени») иное: возрождение почти из небытия седой древности.

Но и здесь книга Розанова оказывается «с загадкой». С одной стороны, он готов видеть развитие мировой истории по египетскому «образу и подобию». Мумия фараона подобна куколке, из которой вылетит бабочка-душа. Но и весь Египет «лег» в христианство, как гусеница в кокон. Египет «окукливается» в христианстве, чтобы после воскреснуть.

И все же, с другой стороны, есть множество «прозрений» Розанова совсем иного характера:

— «Замечательно и поразительно, что сложение пальцев правой руки точь-в-точь, как у наших архиереев при благословении. Между тем это — сложение руки за тысячу почти до Рождения И. Христа».

— «Венера! Венера!», «Тайнственный Меркурий!» «Вaal-Солнце!!»  
— «Луна, бледнолицая, меланхолическая»: о, как счастливо опять произнести эти слова, произнести, наконец, с христианскою верою, надеждою и любовью».

— «Как и пророки и Христос с любовью смотрели на сидонянок, на хананянок, не гнали, любили, ласкали. «Это все — наше!!» Скажем с радостью это спокойное слово, ни с кем не разделяясь, а со всеми соединяясь, не по равнодушию и индифферентизму, а понимая все. Все — люди. У всех — одна молитва. Один потрясен словом Христа, другой потрясен — смертью, один — страдает, другой — чисто радуется. Примем же в сердце наше все».

— «Спросите себя о Гераклах, даже спросите о Ниобее, не говоря уже об Афродитах, и Милосской, и Медицейской, дают ли они впечатление умиления? Нет. Против египтян все они холодны, даже Ниобея. Мы сострадаем Ниобее, мы дрожим за Лаокоона. Но это слишком резкие, колючие чувства. Этого непрерывного тока умиления, прелести, восторга к самой жизни, изображаемой, к самим людям, изображенным — мы не испытываем. Египетское искусство ближе к христианскому, нежели к греческому, — с которым уже по скромности оно не имеет ничего общего».

В «Апокалипсисе» Розанов был жестче. В «Египте» встречается, конечно, «созвучие» антихристианскому пафосу. Но приведенные фрагменты заряжены совсем иными чувствами и воззрениями. Даже если христианство лишь «куколка» — оно не может быть чем-то «неестественным», каким оно изображено в «Апокалипсисе». Но в «Египте» мы встречаем временами и совсем иное видение христианства, где оно не только не антагонист религии Египта, но прямое его продолжение: «Но из Востока, около этих лун, звезд и солнца — это так утверждено, так незыблемо и во всякой хижине это установлено, что как-то «все христианство уже дышит нам в лицо».

«Возрождающийся Египет» как будто предшествует «Апокалипсису нашего времени». Он был ранее начат, к концу жизни «Апокалипсис» словно бы и вовсе отеснил «Египет» на второй план. Но, готовя выпуск своего жгучего «Апокалипсиса», Розанов все время возвращается мыслью к «Возрождающемуся Египту». И в этом смысле книга о Египте — самая последняя из его толстых книг, только еще более незаконченная, нежели «Апокалипсис нашего времени». В ней, конечно же, больше вопросов, чем ответов. Августовской ночью 1918 года Розанов оставит своего рода «последнюю мысль» своего труда:

«мерцания, мерцания, мерцания...  
...не вижу и вижу, не вижу и вижу...  
...туман, небо, облако...  
...если начало жизни...  
...les origines de la vie...  
...initia vitarum...  
...сокровища жития...»

В этом бормотании, в этих обрывках, в этом «тумане» мыслей — итог, но итог лишь предварительный. Не думы ли о Египте подтолкнули Розанова к последнему, вполне христианскому «отрезку» его жизни, когда он вдруг увидел повсюду «кресты» и успокоился душой? Не был ли в «Египте» заключен, хотя бы в возможности, обратный ход от жестокого «Апокалипсиса»?

Незаконченная книга вряд ли может дать на это ответ. Но уход самого Розанова и характер этого ухода заставляет задавать этот вопрос по прочтении «Египта» снова и снова.

*С. Федякин*

В настоящем томе сохраняются те же принципы издания, что и в вышедших ранее томах Собрания сочинений Розанова.

### Возрождающийся Египет

В 1900 г. Розанов публикует очерк «Величайшая минута истории», первую по времени работу, вошедшую в настоящую книгу. А в 1901 г. появляется и название «Из восточных мотивов»: таково было авторское заглавие статьи, опубликованной журналом «Мир искусства» (1901, № 8/9) под названием «Звезды», принадлежащем редакции. Однако идея издания отдельной обобщающей книги о Древнем Египте, первоначально названной автором «Из восточных мотивов», появилась у писателя позднее, по-видимому, в 1916 г. Поэтому значительное количество «египетских» и «восточных» статей, очерков, «опавших листьев» он в том или ином виде публикует в периодике и включает в другие свои книги.

В ноябре 1916 г. Розанов в «Новом времени» публикует ряд статей о Древнем Египте, первая из которых — «Пробуждающийся интерес к Египту» — уже в своем заглавии содержала как бы «зерно», идею будущей книги. К этому времени, очевидно, относится и решение писателя выпустить книгу о Египте со значительным количеством иллюстраций.

В составленном в начале 1917 г. плане своего Полного собрания сочинений (в 50 томах) он под № 38 называет книгу «Из восточных мотивов». Но в письмах к друзьям, записях «для себя» 1917—1918 гг. Розанов обычно именует этот труд просто «Египет», «мой Египет». В октябре 1918 г. в одной из записей для «Апокалипсиса...», вспоминая свою раннюю статью «Жид на Мойке» («Новый путь», 1903, № 1. С. 133—137), он отсмсает: «Это было как «видение Моисея», плавающего в (осмоленной) корзинке по Нилу. В сущности, это было предварение моего «потом», предварение и «евреев» (моя литература), и «Об Египте» («Из восточных мотивов»). «Из восточных мотивов» — не ладно. Опереткой пахнет. Надо взять заглавие серьезное: «Возрождающийся Египет». Вот, как в сильвасах или пампасах, когда льют «в месяц весеннего равноденствия» дожди (тропические особенные дожди). Тогда почва трескивается, закаленная жаром «перед этим» и ставшая как дерево. Тогда (примечание к «Географии» Смирнова, мелкий шрифт, в конце, описание) вдруг подымается горб (глины): разламывается, — и из-под него (т. е. отряхивая глину со спины, черепки глины) вылезает из-под нее живая каракатица или аллигатор, или удав. Они — «заснули на лето» и теперь ожили. Так Египет: Европа сейчас трескается, как



сухая глина над спиною чудища, плезиозавра. Обваливается и сваливается со спины: потому что подымается Египет. Сперва «видение Розанова об Египте», а потом уже — полный, «сам», — Египет» (*Розанов В. В. Собр. соч. Апокалипсис нашего времени. М., 2000. С. 178—179*).

Тогда же в «Обращении к евреям» писатель прямо заявляет о том, что он меняет «прежнее неудачное: «Из восточных мотивов» на новое название — «Возрождающийся Египет» (там же. С. 190). Эти записи Розанова правомерно рассматривать как наиболее точное выражение воли автора относительно заглавия его труда о Древнем Египте. На этом основании в настоящем издании принято название «Возрождающийся Египет».

До марта 1917 г. Розанов успел опубликовать только три выпуска «Из восточных мотивов» (Пг.: Сириус, 1916. Вып. I—II; 1917. Вып. III) из анонсированных им десяти. Пагинация в этих трех выпусках продолжающаяся и разделение на выпуски условно: фраза, начатая и не законченная в предыдущем выпуске, заканчивается в следующем. Отсутствует точка и в конце последнего предложения третьего выпуска, и оно, в принципе, может быть продолжено. Однако такого продолжения в материалах Розанова не найдено. Последующие же, неопубликованные выпуски «Возрождающегося Египта» построены и подобраны автором уже как отдельные самостоятельные подборки (правда, объем этих подборок весьма различен, и при печатании стандартными по объему выпусками переход незаконченного текста с одного печатного листа на другой был бы неизбежен). В каждом из трех вышедших выпусков Розанов помещал рекламу (см.: *Розанов В. В. Собр. соч. В мире неясного и нерешенного. М., 1995. С. 438—439*).

На выход из печати 1-го выпуска «Из восточных мотивов» благожелательно откликнулся критик Ал. Илецкий. «От В. Розанова, снабжающего рисунки своими статьями. — писал он, — можно ожидать многого в его умении войти в корень вещей, проникнуть в существо дела. И, действительно, уже в вышедшем первом выпуске мы встречаемся с его яркими и глубокими мыслями из религиозной истории евреев и Египта. Да, часто раскрытие тайн дается не точному уму и трудолюбию, а тем вдохновенным полетам и внезапным озарениями мысли, на которые способны редкие умы» (*Илецкий Ал. Египет в издании В. Розанова // Новое время. Иллюстрированное приложение. 1916. 19 ноября. С. 8—9*).

В мае 1917 г., в последней статье, появившейся в «Новом времени» за подписью Розанова, он сообщал о ходе издания книги: «Корректурa двух листов четвертого выпуска, сданная в типографию в конце февраля месяца, была сдана мне в исправленном виде лишь через два месяца за полным отсутствием рабочих и наборщиков, могущих выправить типографский набор и произвести небольшую вставку. Все это — в типографии «Сириуса», превосходно оборудованной...» (*Розанов В. Об издании книги «Из восточных мотивов» // Новое время. 1917. № 14776. 13 мая*). После остановки издания в Петрограде Розанов предполагал печатать продолжение за границей. Однако этот замысел не был осуществлен.

В письме к Мережковским, продиктованном незадолго до смерти, писатель с горечью говорит о неоконченных книгах: «Безумное желание окончить «Апокалипсис», «Из восточных мотивов» и издать «Опавшие листья», и все уже готово, сделано, только распределить рисунки «Из восточных мотивов», но это никто не может сделать. И рисунки все выбраны. Лихоимка судьба свалила Розанова у порога» (*Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989. С. 526*). 20 января (2 февраля по новому стилю) 1919 г. он пишет одному из близких друзей: «Хочется очень работать. Хочется очень кончить

Египет и жадная жажда докончить, а докончить вряд ли смогу. А работа действительно изумительная. Там есть масса положительных открытий, культ Солнца почти окончен. Еще хотел бы писать, мои драгоценные, писать больше всего о Египте, об Солнце, много изумительных афоризмов...» (там же. С. 528).

Труд остался незавершенным. Подобранные Розановым рисунки к неопубликованным выпускам № 4—12 только частично им были распределены по тексту. В рукописи во многих случаях имеются лишь авторские названия рисунков (в наст. изд. эти названия даны в угловых скобках).

Весь материал, который Розанов считал необходимым включить в книгу о Древнем Египте, он распределил на 12 выпусков различного объема и разной степени готовности. Первые три выпуска печатаются здесь по тексту опубликованных автором выпусков I—III «Из восточных мотивов». Выпуски IV—XII публикуются впервые полностью по рукописи (РГАЛИ. Фонд 419. Ед. хр. 96—105).

Рукописные варианты нескольких фрагментов, подготовленных Розановым для «Возрождающегося Египта», сохранились и в других его архивных материалах. Так, в рукописи «Апокалипсиса нашего времени» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 234) имеются черновые варианты текстов «Шакал», «Моисей и Египет», начало эссе «Вечное афродизианство» (без даты), вариант очерка «О поклонении аписам у древних египтян». В архивных материалах «Последних листьев» (Государственный литературный музей. Ф. 362) имеются черновые варианты записей Розанова «Тайна человеческого рта», «Тайна Озириса», «Тайна Дианы Ефесской», ранняя реакция очерка «Тайна скарабея» (без заглавия). В «Сахарне» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 229) сохранилась рукопись очерка «Почему фараоны хоронились не при основании пирамид?» В настоящем томе Собрания сочинений эти тексты публикуются впервые полностью в соответствующих разделах «Возрождающегося Египта».

В своей книге о Египте Розанов многократно обращается к различным трудам по египтологии. В тексте сохранены принятые им сокращенные или условные обозначения цитируемых трудов. Мы приводим список полных названий этих источников.

*Breasted J. H. Ancient Records of Egypt. London, 1906—1907. Vol. 1—5.*

*Breasted J. H. History of Egypt. London, 1909.*

*Breasted J. H. Development of Religion and Thought in Ancient Egypt. London, 1912.*

*Brugsch H. Hieroglyphisch-demotisches Wörterbuch. Leipzig, 1867—1882. Bd. 1—7.*

*Brugsch H. Religion und Mythologie der alten Ägypten. Leipzig, 1888.*

*Brugsch H. Die Ägyptologie. Leipzig, 1891.*

*Capart J. Une rue de tombeaux á Sakkarah. Bruxelles, 1907.*

*Champollion F., le jeune. Les Monuments de l'Égypte et de la Nubie. Paris, 1835—1872. Vol. 1—4.*

*Description de l'Égypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française. Paris, 1809—1813. Vol. 1—12; 2 ed. Paris, 1821—1830. Vol. 1—24.*

*Ebers G. Ägypten. Stuttgart, 1879.*

*Erman A. Die ägyptische Religion. Berlin, 1909.*

*Lanzoni. Dizionario di mitologia egizia. Pisa — Torino, 1889—1895. Vol. 1—5.*

*Lepsius C. R. Das Todtenbuch der Ägypten nach dem Hieroglyphischen Papyrus in Turin mit einem Vorworte zum ersten Male herausgegeben. Leipzig, 1842.*

*Lepsius C. R.* Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien nach den Zeichnungen. Berlin, 1849—1859. Bd 1—12.

*Maspero G.* Histoire ancienne des peuples d'Orient classique. Paris, 1894—1899. Vol. 1—3.

*Maspero G.* Les contes populaires de l'Égypte ancienne. 4 éd. Paris, 1911.

*Maspero G.* Essais sur l'art égyptien. Paris, 1912.

*Бруши Г.* Египет. История фараонов. Пер. с нем. СПб., 1880.

*Брэдстед Д. Г.* История Египта с древнейших времен до персидского завоевания. Пер. с англ. М., 1915. Т. 1—2.

*Масперо Г.* Древняя история. Египет. Ассирия. Пер. с фр. СПб., 1892. Изд. 2-е, 1900; 3-е, 1905.

*Масперо Г.* Древняя история народов Востока. Пер. с фр. М., 1895. Изд. 2-е, 1903; 3-е, 1911.

*Масперо Г.* Египет. Пер. с фр. М.: Изд. «Проблемы эстетики», 1915 (Серия: Ars Una — Species Mille = Всеобщая история искусства).

## Выпуски I—III

### Величайшая минута истории

Впервые: Новый журнал иностранной литературы. 1900. № 10. С. 446—452.

С. 9. ...на него немного лет назад указал Толстой... — см.: Предисловие Л. Н. Толстого к Собр. соч. Гюи де Мопассана (в 5 т. Изд. «Посредник», 1894. Т. 1).

С. 10. *Когда волнуется желтеющая нива...* — Из одноименного стихотворения М. Ю. Лермонтова (1837).

*И на штыке у часового...* Ф. Н. Глинка. Песня узника (1826).

С. 11. «Социальная статика», «Книга о воспитании» — речь идет о книгах Г. Спенсера «Социальная статика. Изложение социальных законов, обуславливающих счастье человечества» (1851; рус. перев. с англ. — СПб., 1872) и «Воспитание умственное, нравственное и физическое» (1861; рус. пер. с англ. и предисловие Е. А. Сысоевой. — СПб., 1883; Изд. 3-е — 1889).

С. 14. ...четвертый месяц года издревле и сейчас называется у евреев «Талмузу» — по библейскому времячислению евреев, состоит из двадцати девяти дней, приходится на июнь — июль григорианского календаря.

*О, еврейские женщины! Вы сидите в храме и сплетаете одежды Талмузу* — Иез. 8, 14.

С. 15. *Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу* — М. Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

*Очи спереди и сзади и внутри и снаружи божества...* — ср.: Откр. 4, 6—8.

*Дар напрасный, дар случайный...* — из одноименного стихотворения А. С. Пушкина (1828).

*Не напрасно, не случайно...* — начальные строки стихотворного ответа митрополита Филарета Пушкину (у Филарета: «...Жизнь от Бога мне дана...»). Пушкин, в свою очередь, по просьбе Е. М. Хитрово, ответил Филарету стихотворением «В часы забав иль праздной скуки...» (1830, 19 января).

С. 18. *И ухватился Иов за роги жертвенника* — 3 Цар. 2, 28.

## Зачарованный лес

Впервые: Весы. 1905. № 2. С. 17—21.

С. 21. *Первоначальных чистых дней* — А. С. Пушкин. Возрождение (1819).

*Эфод* (ефод) — верхняя одежда первосвященника (Исх. 28, 4—14; 39, 2—22).

*Загорит, заблестит луч денницы...* — Песня Рахили в драме Н. В. Кукольника «Князь Даниил Васильевич Холмский» (II. 2; музыка М. Глинки). Эти строки, по памяти, с неточностями, цитирует Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» (1877, март, II 3).

С. 22. *Я — Господу спюю...* — Суд. 5, 1—5 (вольное изложение Розанова).

## Из седой древности

Впервые в кн.: *Розанов В. В.* Религия и культура (СПб., 1899) под названием «Нечто из седой древности». Здесь публикуется последняя авторская редакция очерка.

С. 22. Эпиграф: *«И вселит Бог Иафета...»* — Быт. 9, 27.

С. 23. *Дуб Мамврийский... дуброва Мамврийская...* — ср.: Быт. 3, 18; 18, 1. Мамре — сила, крепость, тучность (*др.-евр.*); местность близ Хеврона, с дубравой, где поселился Авраам.

С. 29. *Игры Вакха и Киприды...* — см. А. С. Пушкин. Воспоминанье (1828, черновая рукопись).

*Отцы пустышники и жены непорочны...* — Из одноименного стихотворения А. С. Пушкина (1836). Пушкинское произведение является поэтическим переложением молитвы Ефрема Сирина (IV в.).

С. 30. *Дам тебе я на дорогу...* — М. Ю. Лермонтов. Казачья колыбельная песня (1840).

С. 31. *По вечным, великим железным законам...* — И. В. Гёте. Божественное (1783). Пер. А. Григорьева (1845). У Григорьева: «По вечным, медяным, / Великим законам...»

С. 33. *...у своего 3—6—7-месячного дитяти...* — Первоначально, в статье «Нечто из седой древности» (1899) было: «У своего 11—13-месячного или двугодовалого дитяти».

С. 48. *«...несть чуждей, ни эллин».* — Рим. 10, 12.

*Оно прошло, оно пройдет* — М. Ю. Лермонтов. Демон (1839). У Лермонтова (Ч. 2. 10) — слова Демона о людях: «Они прошли, они пройдут...»

С. 49. *Что в имени тебе моем?..* — Из одноименного стихотворения А. С. Пушкина (1830).

С. 51. *...пройдя веков завистливую даль* — А. С. Пушкин. К портрету Жуковского (1818).

С. 57. *«...всякая, которая становится перед скотом, да будет душа той истреблена из народа своего»* — Втор. 27, 21.

С. 58. *«Съедим — сын и я, и потом — умрем»* — 3 Цар. 17, 12.

*«Отец, где же жертва?»... «Узнаешь, сын мой»* — Быт. 22, 7—8.

С. 59. *...свечу воску ярого...* — А. В. Кольцов. Кольцо (1830).

*В великоленных auto-da-fe...* — А. И. Полежаев. Корнолан (1834). Эти строки цитируются Ф. М. Достоевским в «Братьях Карамазовых» (гл. «Великий инквизитор»). *К вящей славе <Божией>* — девиз ордена иезуитов (на лат. языке).

С. 60. *...«Он — брат мой»* — 3 Цар. 20, 30—32.

С. 61. ...ведь это — Илия «порубил пророков» на Кедроне... — 3 Цар. 18, 40 (в Библии — на Киссоне).

...ты отпустил его живым. И за это заплатишь жизнью — 3 Цар. 20, 42.

С. 62. «Ты теперь жених крови у меня...» — Исх. 4, 24—26.

С. 68. «Ганибал у ворот!» — крик римлян перед битвой при Каннах (216 г. до н. э.).  
Источник — Тит Ливий. Римская история от основания города (кн. 33, 16).

### Подробности и частности

Впервые: Розанов В. В. «Из восточных мотивов». Пг., 1917. Вып. III. С. 75—96.

С. 70. Эннеада — в египетской мифологии девять изначальных богов.

С. 83. ...твоя вера будет моею верою — Руфь. 1, 16.

### Выпуск IV

С. 94. ...Смугла я. Солнце меня опалило... — Песнь. 1, 5.

С. 100. ...Моисей говорил перед лицом Божиим... — ср.: Исх. 33, 11; 34, 34.

...на лицо Божие нельзя взглянуть и не умереть — Исх. 33, 20.

С. 104. ...вкусите древа жизни и будете божи — ср.: Быт. 3, 5.

С. 105. ...небо в самом деле не «Куафюра» — от фр. coiffure — прическа, главным образом женская.

С. 106. ...пойдет и не устанет, полетит и не утолитя — Ис. 40, 31.

С. 116. Потом пришел Павел и раздавил обрезание, как вошь. — Ср.: Рим. 2, 25—29; 4, 9—12; 1 Кор. 7, 12; Гал. 5, 9; 6, 15.

### Выпуск V

С. 118. ...лучшая до сих пор на русском языке «История религий древнего мира»... — Хрисанф [Ретивцев В. Н.]. Религии древнего мира и их отношение к христианству: Историческое исследование. СПб., 1873—1878. Т. 1—3. Розанов обычно обращается ко второму тому этого трехтомника: Т. 2. Религии Египта, семитических народов, Греции и Рима (СПб., 1875).

### Выпуск VI

С. 124. ...роды и роды... — одно из любимых выражений Розанова, восходящее к Библии и означающее преемственность поколений, бессмертие народа. В статье 1913 г. о фресках Розанов писал: «Все это будет народно, а не лично... Это будет нечто вечное, вековое, чему поклонится и одно поколение, и другое, на что будут молиться роды и роды людей» (Розанов В. Стенная живопись // Новое время. 1913. № 13333. 26 апреля).

...говорит Ревекке: «О, сестра наша! — да родятся от тебя тьмы тем потомства» — Быт. 24, 60.

С. 125. ...миф «Атиса и Кибелы» — в греческой мифологии Атис — юный слуга, страстно влюбленный в свою госпожу Кибелу, богиню плодородия.

С. 128. Номады — древнегреческое название кочевников.

С. 130. ...Векфильдский священник — название романа О. Голдсмита (1766, рус. пер. — 1847).

С. 135. *Увы, «вся Русь» никогда не жила «Историей 1812, 1813 и 1814 года» Михайловского-Данилевского* — имеются в виду произведения военного историка и мемуариста Александра Ивановича Михайловского-Данилевского (1790—1848), автора книг «Описание Отечественной войны в 1812 году», «Описание войны 1813 года», «Записки 1814 и 1815 годов» и др.

С. 136. *А. В. Прахов, написавший специальное исследование о египетских храмах...* — Прахов А. В. Критические наблюдения над формами изящных искусств. Вып. I. Зодчество древнего Египта. СПб., 1880.

С. 139. *Обе страны (Египет)...* — т. е. Верхний и Нижний Египет.

С. 143. *Я хлопаю в ладоши и повторяю из Хераскова «Веселися, храбрый Росс»* — слова из «Хора для кадрили» («Гром победы раздавайся! Веселися, храбрый Росс!...») Г. Р. Державина, впервые исполненного (музыка О. А. Козловского) в 1791 г. по поводу взятия Измаила. В героических поэмах М. М. Хераскова («Чесменский бой», 1771; «Россияда», 1779 и др.) встречаются сходные выражения.

*...пускать свое «ба» или «ка»...* — в древнеегипетских религиозных верованиях «ба», «ка» (и другие) — элементы, составлявшие человеческую сущность, различные проявления души человека, функционирующие нераздельно с ним как при жизни, так и после смерти. «Ба» приблизительно может быть определено как воплощение жизненной силы человека; «ка» — не только жизненная сила, но и некий «двойник» человека, его «второе я», определяющее жизненную судьбу.

С. 151. *...и сотворил Бог деревья, — каждое сеющее семя, по роду его и по подобию* — Быт. 1, 11—12.

С. 152. *В те дни, когда мне были новы...* — А. С. Пушкин. Демон (1823).

*...прозвали эту квашию, кажется, Тотом.* — Тот, бог мудрости, счета и письма, изображался в виде человека с головой ибиса.

*Как «Увар Уварович»... но когда Елена «блится в нервах»...* — И. С. Тургенев. Накануне (1860). У Тургенева — Увар Иванович Стахов и его внучатая племянница Елена Николаевна Стахова.

## Выпуск VI'

С. 155. *...Байи, где и я был.* — В. В. Розанов с женой путешествовал по Италии весной 1901 г., чему посвятил цикл очерков, публиковавшихся в «Новом времени» и «Мире искусства» в 1901—1903 гг., позднее составивших его книгу «Итальянские впечатления» (СПб., 1909).

С. 156. *«Солнышко...» ... «скотный бог», «Велес»...* — в славянской мифологии Велес — покровитель домашних животных и бог богатства; по «Повести времьных лет» — «скотный бог».

С. 159. *...да произрастит земля зелень...* — Быт. 1, 11—13.

С. 162. *...плодитесь, множитесь, наполните землю...* — Быт. 1, 22; 9, 7.

С. 163. *...в страшной книге «Последних судеб мира»... которая «за семью печатями»...* — ср.: Откр. 5—11.

## Выпуск VII

С. 168. *...И даже глупого Менелая она бы не обманула...* — В греческой мифологии Елена, супруга царя Спарты Менелая, была похищена троянским царевичем Парисом.

С. 170. ...*Что у Рафаэля собственно семейного? Мать и ребенок...* — Речь идет о картине Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна» (1515—1519).

С. 173. *И напишете или страницу из Мильтона или страницу из Иловайского.* — Имеются в виду поэмы «Потерянный рай» (1667) и «Возвращенный рай» (1671) Джона Мильтона и исторические труды (в том числе — учебники для гимназий) историка Д. И. Иловайского.

С. 176. ...*равенство, братство, свобода...* — лозунги Великой французской революции конца XVIII в.

*Взгляни на Неаполь и умри...* — итальянская пословица.

С. 178. ...*ученые от Шамполиона до Бругша и Д. И. Введенского, коему в нашей печати принадлежит последняя книга об Египте...* — имеется в виду книга Д. И. Введенского «Патриарх Иосиф и Египет (Опыт соглашения данных Библии и египтологии)». Сергиев-Посад, 1914.

С. 181. ...*по «тощие коровы» (сон фараона)...* — ср.: Быт. 41, 1—32.

## Выпуск VIII

С. 185. ...*воды жизни* — Откр. 22, 1; 22, 17.

С. 186. *Рыба была посвящена (на одной монете Кизика) Афродите.* — Кизик известен в истории пелопоннесских войн: под Кизикум афиняне, руководимые Алкивиадом, разбили спартанцев (410 г. до н. э.). В нумизматике известны монеты — *статеры* Кизика из смеси золота и серебра — VII—IV в. до н. э.

С. 187. ...*Я не понимаю, как «Константин с ума сошел»? Как можно было предпочесть девок бабам и холостых господ семейным?* — Речь идет о Константине Великом, римском императоре (с. 306 по 337 г. н. э.), первым признавшем христианство (наряду с язычеством) официальной религией. В гражданском законодательстве уравнивал в правах (в том числе имущественных и наследственных) семейных и холостых граждан.

*«И поют песнь Моисея...»* — Откр. 15, 3.

*«И бе слово»...* — Ин 1, 1.

*Гиббон* — английский историк Эдуард Гиббон (1737—1794) в своем главном труде «История упадка и разрушения Римской империи» (1776—1787, в 7 т.; рус. пер. 1883—1886) большое внимание уделил военной и политической стороне рассмотренных им исторических событий, почти не касаясь духовной сущности христианства, в этот период утвердившегося.

*Рим высказался...* — начало специальной буллы римского папы Иннокентия (416 г.: «Рим высказался, дело закончено»), т. е. вопрос решен окончательно, остается только молчать и повиноваться.

С. 188. *Это понимал Пушкин, написав (у Щеголева) из деревни письмо Natalie...* — см.: Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1979. Т. 10. С. 353.

С. 189. ...*сгипсилась (гипс), окреморилась...* — от фр. creante — охра, глина; т. е. стала объектом пластических искусств, скульптуры.

С. 190. ...*«и напал ужас великий на него» (на Авраама)* — Быт. 15, 12.

С. 192. *«Как лань жаждет на источники воды, так душа моя жаждет к тебе, Господи»* — Пс. 41, 2.

С. 193. *История началась с преступления...* — ср.: Быт. 4, 1—15.

*...в путь вся земля* — Нав. 23, 14.

*... «дай — хорошо поступает, а не дай — лучше поступает»...* — ср.: 1 Кор. 7, 38.

С. 194. *Не загораживай уст волю молотящему* — 1 Кор. 9, 9.  
*Шехина* — от *sekinā* — «пребывание» (др.-евр.). Одно из имен Бога в иудаизме, выражающее идею его действительного пребывания, присутствия в мире. Действительность обычно проявляется в обещании защиты от врагов и многочисленности потомства общавшихся с Шехиной. Обнаруживается, напр., в Богоявлении Моисею (Исх. 3, 2—6; 13, 2—22), Илии (3 Цар. 19, 12—15), в «Славе Господней, наполнившей скинию» (Исх. 40, 34—35) и т. п.

С. 202. *Ты находишься в Эдеме, в саду Божиим* — Иез. 28, 13—15.

*Я услышал, записывает Геродот, что в Тире есть очень древний храм...* — Геродот. История. Кн. 2 (Евтерпа). § 44.

С. 204. *...как говорит Суламифь...Возлюбленный мой...* — Песнь песней. 5, 2—5.

С. 205. *...семь женщин ухватятся за подол одного мужчины...* — Ис. 4, 1.

## Выпуски IX—X

С. 210. *...два — в плоть единую* — Быт. 2, 24; Мф. 19, 5.

С. 211. *Из груди Благой Природы...* — Ф. Шиллер. К радости (1785), пер. Ф. И. Тютчева (1823, «Песнь Радости»). У Тютчева: «У груди Благой Природы...»

С. 215. *«Двери! Двери!» — как гремит до сих пор в наших церквах* — возглас диакона перед пением «Символа веры» в Русской православной церкви.

*«Кто не обрезан, тому нельзя показать наших таинств», — ответили Геродоту египетские жрецы.* — Геродот. История. Кн. 2 (Евтерпа), § 37 и др.

С. 216. *Остальное дописать из книги* — в рукописи предполагаемый текст отсутствует.

*Даже не из Праксителя и «Федона»* — Пракситель (ок. 390—330 г. до н. э.), древнегреческий скульптор, автор «Афродиты Книдской». «Федон» — один из диалогов Платона.

С. 221. *Ибо Мицраим...* — В Ветхом Завете (Быт. 10, 6) Мицраим, сын Хама, внук Ноя, родоначальник филистимлян (Быт. 10, 13—14). Под этим именем в священных еврейских книгах зачастую подразумевается Египет.

*...«во сне фараона»* — Быт. 41, 1—4.

С. 227. *Покройте попоной, мохнатым ковром...* — А. С. Пушкин. Песнь о вешем Олеге (1822).

*...по поводу заметки моей о лучшем обращении с животными* — 23 сентября 1902 г. в «Новом Времени» Розанов напечатал заметку «О сострадании к животным», а в 1903 г. в журнале «Новый путь» (№ 6. С. 170—172) — статью «О милости к животным». Обе работы вошли в его книгу «Около церковных стен» (1906).

С. 230. *Ну, тащица, сивка...* — А. В. Кольцов. Песня пахаря (1831).

С. 231. *И вот: Эдип... по Софоклу, но раньше — по Египту и вере его, что «всякий умерший есть Бог»* — разъяснения на эту тему в связи с постановкой трагедии Софокла «Эдип в Колоне» Розанов изложил в 1904 г. в статье «Что сказал Тезею Эдип? (Тайна сфинкса)» (Мир искусства. 1904. № 2. С. 33—41. См.: Розанов В. В. Собр. соч. Во дворе язычников. М., 1999. С. 287—299).

С. 233. *И вдунул в лице человека душу бессмертную* — Быт. 2, 7.

С. 235. *И стал стар Давид.* — 3 Цар. 1, 1—2.

*Они делали страшные опыты, по Клименту Александрийскому, — «мешая плоти»... «устраняли мужа»... смеивая ближайшие родства.* — Климент Александрийский (ок.



150—ок. 215 г.) в «Увещевании к эллинам» (рус. пер. Н. Корсунского. Ярославль, 1888) осуждающе описал видимые нелепости греческих культовых мистерий.

*Отчего Гаркави не переведет ее.* — Гаркави Авраам Яковлевич (1835 или 1839—1919), гебраист, заведовал отделением еврейских книг Публичной библиотеки в Петербурге, составил описание семитских рукописей этой библиотеки, издал много-томную серию памятников средневековой еврейской письменности.

С. 236. ...«боги» *Стикса и Ахерона*— в греческой мифологии Стикс и Ахерон(т) — реки (а также их божества), отделяющие от людей подземное царство мертвых.

*О страшных бурь не пой...* — Ф. И. Тютчев. «О чем ты воешь, ветр ночной...» (1835). Здесь и далее у В. Розанова — контаминации различных строк этого стихотворения.

*...запрещено Ап. Павлом, написавшим о Коринфском кровосмесителе* — 1 Кор. 5, 1—5.

С. 238. *Взгляни на небо: и сколько ты видишь звезд, столько у тебя будет потомства* — Быт. 15, 5; Евр. 11, 12.

С. 239. *Лот и дочери...* — Быт. 19, 30—38.

*Болит ли что у вас — призови священника* — Лк. 17, 12—14.

С. 240. *И долголетен будешь на земли* — Еф. 6, 3.

С. 241. *И создал Элоим человека по образу и подобию своему* — Быт. 1, 27.

С. 244. *Геродот... упоминает... о возжении лампад в Саусе и по всему Египту*— Геродот. История. Кн. II. 62.

С. 246. *В пророчестве Ионы...* — Иона. 3, 7—8.

С. 247. *...писал книгу «О понимании»...* — «О понимании: Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания» (М., 1886) — первая книга Розанова.

С. 250. *...что вытекает от разницы дней творения...* — ср.: Быт. 1, 19—31.

*...«клад Египта схоронен в ящике на дне озера Меридэ»*— Меридово озеро в Древнем Египте уже в период Древнего царства (III тысячелетие до н. э.) использовалось для ирригации. Его современный остаток — озеро Биркет-Карун.

## Выпуск XI

С. 254. *Адам...покрылся «кожами».* — ср.: Быт. 3, 21.

С. 256. *Из планеты земледелия не докажешь...* — первоначальный черновой набросок этого текста, без заглавия, с пометой в начале текста «1.1.1917 (в трамвае ночью)» см.: *Розанов В. В.* Собр. соч. [том 11]. Последние листья М., 2000. С. 239—340. Для «Возрождающегося Египта» автор существенно дополнил первоначальный текст.

С. 257. *...яже Бог сочета — человек да не разлучает* — Мф. 19, 6; Mr. 10, 9.

С. 260. *...франц. Экспедицию в изд. Меллука* — т. е. 1-е издание «Description de l'Égypte...» в 12 томах.

С. 262. *Да прочитайте у Масперо: они явно сделали из нее Афродиту...* — Г. Масперо, описав в предшествующем тексте статуэтку египетского фараона с богиней змий и не особенно высоко ее оценив: «Это — добросовестно воплощенная мифология и ничего больше», далее пишет: «Этого нельзя ни в коем случае сказать о корове, найденной Навилем в одной почти целиком сохранившейся часовне в Дрейдер-эль-Бахаре ... Ее следует поставить наряду, если не выше, с лучшими памятни-

ками этого рода, созданными греческим и римским искусством, и чтобы найти работу столь же поразительной правдивости, нужно, пройдя сквозь глубь веков, спуститься до великих художников-анималистов наших дней).

С. 264. *Адаа и Цилаа, жены Ламеховы* — Быт. 4, 19.

С. 267. *Равви Акиба недаром сказал...* — высказывание иудаистского законоучителя Акиба бен Иосифа (50—132/135 г.) на Иамнийском собрании (синедроне, верховном суде Иудеи), определявшем каноничность, «бог вдохновенность» книг «Ветхого завета». Розанов своими словами пересказывает здесь соответствующее место «Талмуда» (Мишна. Тракт. Ядаим. Гл. III. § 4—5).

С. 267. *Авраам сказал слуге: «Положи мне руку под стегно и клянись Господом»* — Быт. 24, 2—3.

С. 269. *...сбывается еврейское: «Мир собственно создан для мальчиков 13-ти лет»...* — Розанов имеет в виду первые описанные в Библии обрезания: Быт. 16, 16; 17, 5; 17, 10—11; 17, 24—26.

С. 274. *Кипел, сиял уж в полном блеске бал...* — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей (1841).

*Осени поздней цветы запоздалые* — А. Н. Апухтин. «Ночи безумные, ночи бессонные...» (1876). У Апухтина — «Осени мертвой цветы запоздалые...».

С. 275. *Тут было все, что называют светом...* — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей (1841).

С. 277. *Ведь в Евангелии даже есть что-то о «вечном хлебе»...* — ср.: Иоан. 6, 48—51.

*И — о «вечной воде жизни»* — ср.: Иоан. 4, 14.

*...и еще о «Вечном Евангелии»* — ср.: Откр. 14, 6.

С. 278. *Сею рукопись писал... Петр Зудотелин* — ремарка Розанова в духе «Жалобной книги» А. П. Чехова (1884). Ср. аналогичную его ремарку в «Опавших листьях (Короб второй и последний)» в записях конца декабря 1912 г.

*Пель-мель* — (фр.: *pêle-mêle*), мешанина, беспорядок.

С. 279. *Людям скучно, людям горько...* — А. С. Пушкин. Цыганы (1824).

С. 280. *Древен диавол связан и ввергнут в бездну* — Откр. 20, 2—3.

*...быть три дня, а на четвертый он восстанет из гроба* — ср.: Откр. 11, 7—11.

С. 281. *...«сый»* — сущий, <вечно> существующий, вечный. Розанов здесь, очевидно, имеет в виду библейское: «Рече Бог к Моисею, глаголя: Аз есмь Сый» (Исх. 3, 14).

С. 282. *«За каждое слово праздное ты ответишь Богу»* — Мф. 12, 36.

*...как сказал наш Некрасов о сне богатого купца-притеснителя* — Н. А. Некрасов. Влас (1855).

С. 283. *...к пророку Даниилу, который «видит царства в виде козлов и коров»* — Дан. 8, 3—8.

*...к Иезекиилю с его «колесницею»* — Иез. 1, 5—23.

С. 284. *И Апухтин, когда он писал стихи...* — В рукописи цитата из Апухтина не приведена.

*И эти таинственные строки из «Ивановой ночи» Шекспира...* — У. Шекспир. Сон в летнюю ночь (1596). Акт 3.

*...как спектр солнца на табличке физики Гано...* — т. е. подобно полосам таблицы спектральных линий видимого света из учебника Альфреда Гано (1804—1887) «Полный курс физики», неоднократно переиздававшегося (9-е изд. 1898 г.).

С. 285. *Ты не должен желать женщины...* — ср.: Мф. 5, 28.

С. 286. ...женщина, рождающая — в солнце, и луна под ногами ее... — Откр. 12, 1—2.

Влад. Соловьев замечает где-то, что русская поэзия началась собственно с переводного стихотворения элегии Грея «Сельское кладбище» — В. А. Жуковский «Сельское кладбище» (1802), вольный перевод «Элегии, написанной на сельском кладбище» (1751) английского поэта Т. Грея (1716—1771).

С. 287. Влад. Соловьев не мог не быть поэтом, потому что он много грустил. — Владимиру Соловьеву как поэту Розанов посвятил статью «На границе поэзии и философии» (Новое время. 1900. № 8721, 9 июля). См.: Розанов В. В. Собр. соч. О писательстве и писателях. М., 1955. С. 48—56.

С. 288. *Аз же глаголю вам, если не станете таковыми как дети — не выйдите в Царствие Божие* — Мф. 18, 2—3.

Прудон, подписавший «собственность — это кража» — ср. запись Розанова от 16 ноября 1917 г.: «Не собственность, как объявил Прудон, есть кража, а — лень» (Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. М., 2000. С. 121).

С. 289. ...у евреев закон «Орла» («край поля») — ср.: Лев. 23, 22.

...«универсальная отмычка» (Шерл. Холм.)... — О своем увлечении чтением брошюр о приключениях Шерлока Холмса, выходявших в виде дешевых лубочных изданий с продолжением, Розанов упоминал неоднократно.

Руфь «все-таки воровала колосья» — ср.: Руфь. 2, 3—9; 4, 3—10.

*И везде Фаворский свет, в котором показался Христос* — ср.: Откр. 21, 1—25.

С. 290. *Петроград шумит, 2-я революция, ленинцы и анархия* — запись сделана Розановым 4—5 июля 1917 г.

*«Время судей израилевых»*... — Суд. 10, 6—16, 31; 1 Цар. 4, 1—7, 14.

...с перенесением Ковчега из Газы в Аскалон... — ср.: 1 Цар. 5, 8—10. Ковчег завета в Аскалон был отослан из Гефа, а не из Газы. Газа упоминается как место, где ночевал Самсон — Суд. 16, 1—3.

...с Самсоном и Далилой... — Суд. 16, 4—30. В Ветхом завете — Далида.

...с Иеффаем и прекрасной дочерью его — Суд. 11, 30—40.

Давид... так чудно оплакал Авессалома — ср.: 2 Цар. 118, 33.

С. 291. *Одних я помню — матерей...* — Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны...» (1855/1856). У Некрасова: «То слезы бедных матерей!...»

*Могель* — лицо, производящее операцию обрезания (*др.-евр.*).

С. 292. *Бог наш вечно жив, вечно суц* — ср. Исх. 3, 14; Откр. 1, 8.

## Выпуск XII

В этот выпуск Розанов включил ряд статей, опубликованных ранее: «Из восточных мотивов» (Мир искусства, 1901. № 8/9, под названием «Звезды»); «Египет» (Золотое руно, 1906. № 5); «Пробуждающийся интерес к Древнему Египту», «Оттенок разницы (к спору о Египте)», «Психологическое осложнение иероглифов», «Цивилизация «центра» и «окраин» (К духу исторического Египта)», «Этнографические объяснения Египта» (Новое время, 1916. 3, 6, 16, 22 и 30 ноября). На рукописи эссе «За спиной открытия» имеется помета Розанова: «Не напечатано, хотя собирались в «Нов. Вр.»»

С. 293. *Приблизительно в 95-м году, познакомившись с Вл. Сер. Соловьевым...* — личное знакомство Розанова с В. С. Соловьевым состоялось осенью 1895 г. по инициативе Соловьева через посредничество Ф. Э. Шперка (см.: Золотое руно. 1907. № 2. С. 52).

- С. 294. *Когда бегущая комета...* — М. Ю. Лермонтов. Демон (1839).
- С. 295. *Белинский удивился когда-то...* — В. Г. Белинский в статье «Стихотворения М. Лермонтова» (1841) писал: «Это стихотворение есть художественная апофеоза матери... Где, откуда взял поэт эти простодушные слова, эту удивительную нежность тона, эти кроткие и задумчивые звуки, эту женственность и прелесть выражения?».
- С. 299. *...«я не старуху убил — я себя убил»...* — Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Ч. 4. IV.
- С. 300. *...и Бог обратил их камни на их голову* — ср.: Иоиль. 3. 4—7.
- С. 301. *...очищались, принося горлинок в жертву Иегове* — ср.: Лев. 12, 6.  
*... в... романе Эберса «Серапеум» мы читаем сцену, как был разрушен храм этого имени римскими воинами*— Эберс Г. Серапис. СПб., 1886 (гл. 23—25).
- С. 302. *В 1893 году у Николаевского моста, в Петербурге, впервые я увидел настоящих египетских сфинксов...*— речь идет о египетских сфинксах XV в. до н. э., установленных в 1834 г. на набережной Невы у Академии художеств.
- С. 303. *Дальше, вечно чуждый тени...* — М. Ю. Лермонтов. Спор (1841).
- С. 306. *Их моют дожди, засыпает их пыль...* — А. С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге (1822).
- С. 307. *Камбиз «зарезал на дороге»*— имеется в виду завоевание Египта персами во главе с царем династии Ахеменидов Камбизом (525 г. до н. э.), сопровождавшееся жестокостями, осквернением и разрушением египетских храмов.
- С. 308. *«История Египта»...* Б. А. Тураева — Тураев Б. А. История Древнего Востока. СПб., 1911—1912. Ч. 1—2.  
*«Рассказ египтянина Синухета...»* — Тураев Б. А. Рассказ египтянина Синухета и образцы египетских документальных автобиографий. М., 1915 (серия «Культурно-исторические памятники древнего Востока»). Под общ. ред. Б. А. Тураева. Вып. III).
- С. 311. *...в Апокалипсисе и у пророка Иезекииля говорится о четырех небесных животных...*— ср.: Откр. 4, 6—7.; Иез. 10, 14.
- С. 313. *Бегство Марии в Египет...* — Мф. 2, 13—15.  
*Я долго читал книгу об истории изучений Египта, написанную русским ученым...* — т. е. «Историю Древнего Востока» Б. А. Тураева.
- С. 315. *... по образу и подобию Твоему создан человек...*— Быт. 1, 26; 9, 6.
- С. 320. *В XVI веке Томас Мор написал «Похвалу глупости»...* — «Похвала глупости» — произведение Эразма Роттердамского. Написано им в 1509 г. в Англии, где автор гостил у своего друга и единомышленника Томаса Мора, которому и посвящена книга (впервые напечатана в Париже (1511); рус. пер. — М., 1840). Рассуждения в книге ведутся от лица Глупости — Морин, по-гречески — *μωρία*. Обращаясь к Т. Мору, Эразм говорит в предисловии о мотивах написания этого произведения: «Прежде всего, навело меня на эту мысль родовое имя Мора, столь же близкое к слову *мория*, сколь сам ты далек от ее существа, ибо по общему приговору, ты от нее всех дальше. Затем мне казалось, что эта игра ума моего тебе особенно должна прийти по вкусу... отныне, тебе посвященная, она уже не моя, а твоя». Об Эразме Роттердамском как авторе. «Похвалы глупости» Розанов писал много раз (см., например: Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. М., 2000. С. 169—170).
- ...«Instauratio magna»* — «Великое восстановление наук», грандиозный проект Фрэнсиса Бэкона (1561—1626) по обновлению философии, над осуществлением которого он продолжал работу фактически всю жизнь.

*По поводу небольших египетских заметок в «Нов. Вр.»*. — имеются в виду статьи Розанова, опубликованные им в газете «Новое время» в ноябре 1916 г. и включенные в XII выпуск «Возрождающегося Египта».

С. 321. *Ваш взгляд в одной статье об Египте в «Нов. Вр.»*, — речь, очевидно, идет о статье Розанова «Этнографические объяснения Египта» (Новое время. 1916. № 14634. 30 ноября).

*В. Н. Дядичев*

## Апокалипсическая секта

### (Хлысты и скопцы)

Впервые: *Розанов В. В.* Апокалипсическая секта (Хлысты и скопцы). СПб.; Типография Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1914. Книга вышла в феврале 1914 г. Отдельные статьи печатались ранее: Мечта «духовных христиан» (Русское обозрение. 1896. № 11. С. 387—415, под заглавием: «Несколько замечаний о духоборческом течении русского раскола»); Поездка к хлыстам (Новое время. 1904. 7 и 21 декабря № 10 335, 10 349; 1905. 4 и 5 января. № 10363, 10364, под заглавием: «В мире нашего сектантства»; разд. X. — 2 февраля 1905 № 10385, под названием «Закон Мальтуса и его естественные ограничители»); Роковая филологическая ошибка (Слово. СПб., 1904. 16 декабря).

В журнале «Богословский вестник» (редактор священник П. Флоренский) в мае 1914 г. (№ 5. С. 181—197) появилась рецензия А. В. Ремезова, фрагменты из которой приводятся ниже:

А. П. Чехов в одном из своих рассказов («Ариадна») отмечает устами его героя такое свойство русских разговоров:

— ...Когда сойдутся немцы или англичане, то говорят о цене на шерсть, об урожае, о своих личных делах; но почему-то, когда сходимся мы, русские, то говорим только ... о высоких материях и о женщинах. Мы так интеллигентны, так важны, что изрекаем одни истины и можем решать вопросы только высшего порядка... Когда приходится говорить о пустяках, то мы трактуем их не иначе, как с высшей точки зрения.

Наоборот, в указанной книге В. В. Розанова приводится как раз противоположный упрек: «Все русские — рассказчики, а не мыслители», — у нас, будто бы, интерес к внешним фактам преобладает над интересом к объясняющим их принципам.

Судя по этому, можно было бы опасаться, что сама книга, стремясь восполнить отмечаемый ею недостаток, уклонится в противоположную крайность и таким образом оправдает наблюдение Чехова. Однако, к счастью — с точки зрения интересов серьезной характеристики наших сект, — она не только не заслуживает этого упрека, но даже, если судить строго, гораздо ближе к отмечаемой ею самой крайности, чем к противоположной: в ней тоже нет «высоких материй», содержание ее почти исчерпывается фактическим материалом.

Этого нельзя не отметить прежде всего при оценке указанной книги и отметить с чувством искреннего удовлетворения. Ведь, при настоящем состоянии дела изучения русского сектантства ему ничего иного не нужно, кроме ознакомления с чисто фактическими данными: «Прежде такого (чисто фактического) изучения по крайней мере главнейших из наших сект, — чего у нас еще не сделано, — всякие общие

исторические, психологические и пр. объяснения каждой секты порознь, как бы ни были красноречиво написаны, останутся лишь общими местами, ни для кого не убедительными, исключая разве самих авторов их» — говорит один из серьезных исследователей сектантства (*Новицкий О. Духоборцы. Их история и вероучение. Изд. 2-е, 1882*). Отсюда, объединенные в разбираемой книге статьи приобретают серьезный интерес и даже, так сказать, научное значение как раз тем, что не стремятся быть научными: в них нет отвлеченных рассуждений, почти каждую мысль свою В. В. Розанов выражает описанием конкретного случая; язык книги, это — язык фактов, значительная доля которых собрана самим автором при личном общении с хлыстами. Правда, В. В. Розанову сравнительно немного приходилось сталкиваться с ними, но все-таки главная масса того, что передает он, — плод его личного непосредственного наблюдения, что при его умении тонко улавливать и мастерски передавать впечатления, производимые сектантами, придает его книге несомненно серьезный интерес. Автор проникает в самую душу секты и чутко прислушивается, как к доминирующему в ней настроению, так и к нюансам в сложных переживаниях мистиков. Далеко не всякий, даже много и часто вращающийся в среде сектантов, способен так удачно подметить их общее настроение и, вообще, учесть производимое ими впечатление, а тем более так рельефно передать его, как это с легкостью опытного писателя делает В. В. Розанов. Поэтому, относительно его книги и в особенности ее центральной (по содержанию и объему) статьи: «Поездка к хлыстам» позволим себе высказать предположение, что многих, не обладающих даром проникновенной наблюдательности, чтение ее лучше ознакомит с хлыстовством, чем даже личное, но кратковременное наблюдение. В. В. Розанов случайно встретил хлыстовского «христа» и поражен особенным характером его красивой наружности: это, по его наблюдениям, не пошловатая («à la кокотка») аполлоновская красота, но обаятельная красота сурового библейского пророка; он сравнивает его наружность с наружностью и манерой особенно «держат себя» у Владимира Соловьева; по поводу слишком смуглого цвета его лица высказывает очень смелое предположение о его происхождении и заканчивает писание «карлейлевской мыслью»: «Таланты, дьяволы! Вся секта основана на талантливости, на призвании таланта и поклонении ему!...» Впечатление при чтении получается совершенно полное и на редкость живое (с. 89—90). Может быть, и правда, что даже при встрече с этим «христом» «на площади, на улице всякий бы оглянулся на него и запомнил бы», но, конечно, редко у кого это впечатление так бы точно, чисто кристаллизовалось, как это получается при чтении розановского описания. Далее, когда на следующей странице читаешь изложение речи «христа», то почему-то невольно следишь за каждым словом ее и ловишь его с затаенным дыханием, словно в самом деле слушаешь одушевленное излияние энтузиаста-проповедника (с. 91—92). Это уже — способность передавать не только голые факты, но и производимое ими на непосредственного наблюдателя впечатление, заражать равнодушного читателя этим последним, как будто вводит его в живое соприкосновение с описываемыми личностями <...>

Связь, в которой В. В. Розанов рассматривает сектантскую мистику с половой страстностью, составляет, как сказано, весьма интересную сторону книги. Но для читателя, не интересующегося «корнями», не менее интересной покажется сама по себе статья о «Сибирском страннике», «имя которого теперь на устах всей России», и судьба которого, действительно, столь загадочна, что сколько бы ни писали о нем, все будет мало. Мысль поставить его рядом с другим историческим «известным стариком», «как называл Меливанова кн. А. Н. Голицын в официальных даже бума-

гах» (Чтения, 1872, кн. III. С. 70.) должна быть признана великолепной. Все это обещает новой книге В. В. Розанова самое широкое распространение, чего мы от души желаем ей, а автору ее вместе с тем — и новых столь же психологически проникновенных трудов по ознакомлению с сектантством.

С. 325. *На воздушном океане...* — М. Ю. Лермонтов. Демон. 1, XV.

С. 335. *«Исследование о скопческой ереси»* — книга Н. И. Надеждина (1804—1856) «Исследование о скопческих сектах» вышла в Петербурге в 1845 г.

С. 341. *Типикон* — сборник указаний о порядке и образе совершения церковной службы. Московский собор 1666 г. принял определение об исправлении церковных книг.

С. 346. *...один из самых видных деятелей по расколу...* — Скворцов Василий Михайлович (1859—1932).

С. 347. *...человек 20-го числа* — служащим жалование выдавалось по 20-м числам каждого месяца.

С. 359. *...я выдержал полемику с...* С. Ф. Шараповым, Н. П. Аксаковым, г. Мирашином. — В 1898 г. в газете «Русский труд» (№ 47—52) печаталась статья Розанова «Брак и христианство», а в 1899 г. на страницах той же газеты возникла полемика по поводу этой статьи. В «Северных цветах на 1901 год» (с. 169—179) Розанов поместил свой отклик на книгу «Сущность брака», вышедшую под редакцией С. Шарапова (М., 1901). Эти и другие материалы вошли в книгу Розанова «В мире неясного и нерешенного». Спб., 1901.

*...«тела ваши суть храмы Божии»* — 1 Кор. 6, 19.

С. 364. *...после прекращения Религиозно-философских собраний* — 5 апреля 1903 г. синод запретил Религиозно-философские собрания в Петербурге, существовавшие с 1901 г.

*... «закон Фехнера»* — психофизический закон, обоснованный немецким физиком Г. Фехнером в 1858 г., определяющий связь между интенсивностью ощущения и силой раздражения, действующего на какой-либо орган чувств.

С. 391. *В одной из сказок «Тысячи и одной ночи»...* — в полном издании сказок (М., 1958—1959. Т. 1—8) и в дополнительной книге «Халиф на час. Новые сказки из 1001 ночи». М., 1961) подобный эпизод отсутствует.

С. 413. *Катрфаж* де Брео Ж.Л.А. (1810—1892) — французский зоолог и антрополог. Отрицал генетическое родство человека с миром животных, выделив его в отдельное «царство».

С. 421. *И долго на свете томилась она...* — М. Ю. Лермонтов. Ангел (1831).

С. 422. *Бывают тягостные ночи...* — М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и писатель (1840).

С. 425. *Это случилось в последние годы могучего Рима...* — начало одноименного стихотворения М. Ю. Лермонтова.

С. 430. *...«неразумные девы»* — Мф. 25, 2—13.

С. 431. *...кому, неизвестно* — вероятно, Розанов имел в виду строки из «Демона» (2, VI) М. Ю. Лермонтова: «Святым захочет ли молиться — А сердце молится ему».

С. 435. *Хозяин газеты...* — имеется в виду А. С. Суворин.

С. 438. *...его имя на устах всей России* — речь идет о Г. Е. Распутине (1872—1916), фаворите императора Николая II и императрицы Александры Федоровны.

*А. Н. Николюкин*

# Малые произведения 1909—1914 годов

## Библейская поэзия

Впервые: *Розанов В. В.* Библейская поэзия. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1912. Книга фактически вышла в ноябре 1911 г. Отклик на выход этой книги Розанова за подписью «Э-нь» [М. И. Эйшишкин?] появился в газете «Киевская Почта» 12 декабря 1911 г.

С. 445. *Дамянти и Наль* — герои древнеиндийского эпоса «Наль и Дамянти».

С. 446. ...«*святое семя*» — Ездр. 9, 2; Ис. 6, 13; 61, 9.

*Великого Четверга и Страстной Седмицы* — четверг Страстной недели (седмицы), последней недели перед Пасхой.

С. 447. *Агарь у Авраама* — см.: Быт. 16, 1—16.

*Лот и дочери* — см.: Быт. 19, 31—38.

С. 448. ...*ослепление Василько в «Летописи»* — в Несторовой летописи под 1097 годом приведен рассказ об ослеплении князя Василько, сына князя Ростислава Владимировича, по наущению Давыда Игоревича, сына князя Игоря Ростиславича.

С. 450. *Точно царь Халдеи...* — халдейский царь Вавилонии Навуходоносор (в 605—562 гг. до н. э.) в 587 г. до н. э. захватил Иерусалим и увел в плен жителей Иудейского царства, ср. 4 Цар. 25, 1—27.

«*Да не прейдет и иота в ней*» — ср.: Мф. 5, 18.

С. 451. «*Не будите любовь*» — ср.: Песнь. 2, 7.

С. 452. ...«*я смугла, обожжена солнцем*» — ср.: Песнь. 1. 5.

«*Господь любит обоять тук жертв*» — ср.: Исх. 29, 13—25; Левит. 1, 8—13; 3, 3—16; 17, 6.

С. 455. «...*Проф. Олесницкий (автор громадного исследования о Ветхозаветном храме)...*» — Профессор Киевской духовной академии А. А. Олесницкий (1842—1907) — автор исследования «Ветхозаветный храм в Иерусалиме». СПб., 1889 (940 с., 75л. илл.). Им же написана книга: *Олесницкий А. А.* Книга Песнь песней (Шир Га-Ширим) и ее новейшие критики. Киев, 1882 (388 с.).

С. 456. *Г-н Переферкович... говорит в конце «Введения»...* — имеется в виду первый том русского перевода Н. Переферковичем «Талмуда» (СПб., 1899—1904. Т. 1—6), на который Розанов написал рецензию в Литературном приложении к «Торгово-промышленной газете». 1899, 24 октября.

*Вено* — плата, выкуп от жениха за невесту; также — приданое, даваемое невесте в дар, к венцу (термин древнерусского брачного права).

«*Давала мять сосцы свои чужеплеменникам*» — ср.: Иез. 23, 3—21.

«*раскидывала ноги по дорогам и блудила, а не была со Мною*» — ср.: Иер. 3, 1—13; Иез. 16, 15—58; Ос. 3, 1—5.

...*был возносим... как Ганимед Зевсом* — в греческой мифологии сын троянского царя Троса Ганимед из-за своей необычайной красоты был похищен Зевсом и унесен им на Олимп, где на пирах богов исполнял обязанности виночерпия.



## В соседстве Содома (Истоки Израиля)

Впервые: *Розанов В. В.* В соседстве Содома (Истоки Израиля). СПб.: Тип. Т-ва А. С. Суворина — «Новое время», 1914.

С. 458. *Шейн* — Шейн Павел Васильевич, фольклорист, этнограф. Автор двухтомного труда «Великоросс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.» (СПб., 1898—1900) и ряда других подобных работ, созданных на материале экспедиций по России, в которых автор принимал участие.

## «Ангел Иеговы» у евреев (Истоки Израиля)

Впервые: *Розанов В. В.* «Ангел Иеговы» у евреев (Истоки Израиля). СПб.: Тип. Т-ва А. С. Суворина — «Новое время», 1914.

С. 468. *Обрежь крайнюю плоть...* — Быт. 17, 9—14.

С. 469. «*Есть — Гиллель, есть — Шаммай*» — древнееврейские ученые раввины Гиллель и Шаммай. Гиллель вносил в толкование книг Ветхого завета дух терпимости и кротости. Его противник суровый формалист Шаммай проповедовал нетерпимость к «чужим», не иудеям.

*И сделаю основание твое из сапфиров...* — Ис. 54, 11.

С. 470. *Чертоги пышные построю...* — М. Ю. Лермонтов. Демон (1839). Ч. 2. 10.

С. 471. *Тебе бояться нечего... кто бы ни вооружился против тебя, падет...* — Ис. 54, 14—17.

С. 473. *...дочь... Иеффая... пошла в горы и плакала девство свое* — Суд. 11, 37—39.

С. 474. «*Ну, как не порадеть родному человечку*» — А. С. Грибоедов. Горе от ума (1824). Действие II. Явление 5.

*...не то — Эндимионы, не то — Анунциаты.* — В греческой мифологии Эндимион, прекрасный юноша, внук Эола, за свою красоту взятый Зевсом на небо. Анунциата — героиня произведения Н. В. Гоголя «Рим» (1842); ее необыкновенная красота заставляла вспомнить «те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы».

## Европа и евреи

Впервые: *Розанов В. В.* Европа и евреи. СПб.: Тип. Т-ва А. С. Суворина — «Новое время», 1914. Часть статей сборника ранее была опубликована в газете «Новое время»: Текст от слов «Процесс Дрейфуса окончился...» и далее до даты «Сентябрь 1899 г.» — «Новое время», 1899. 11 сентября. № 8455 — под заглавием «Европа и евреи», без подписи; «Иудеи и иезуиты» — «Новое время», 1913. 27 октября (9 ноября). № 13516, без подписи; «В преддверии 1914 года» — «Новое время», 1914. 1(14) января. № 13580, без подписи.

С. 475. *Минский, стихотворец и адвокат, говорил мне в 1905 году...* — Минский Николай Максимович (наст. фамилия Виленкин, 1856—1937), поэт, философ, юрист по образованию, имел степень кандидата прав; в начале 1900-х годов вместе с

Розановым, Мережковским и З. Гиппиус был инициатором и участником Религиозно-философских собраний в Петербурге.

...над кротким... мальчиком Андрюшею Ющинским... — судебный процесс по делу об убийстве Андрея Ющинского («дело М. Бейлиса») проходил в Киеве в сентябре—октябре 1913 г. Розанов посвятил этому делу ряд статей, опубликованных затем в его книге «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (СПб., 1914).

*Дело Дрейфуса* — проходивший в Париже в 1894 г. судебный процесс по обвинению в шпионаже в пользу Германии французского офицера А. Дрейфуса (1859—1935). В 1899 г. Дрейфус был помилован.

С. 477. ...бичи Иероваоама — ср.: 3 Цар. 11, 1—13; 12, 25—33.

...так бьют Расплюева... беды Кречинского... — см.: А. В. Сухово-Кобылин. Свадьба Кречинского (1854).

С. 478. ...«дамы просто прекрасной» и «дамы прекрасной во всех отношениях» — Н. В. Гоголь. Мертвые души (1842). Том I, гл. XI.

С. 479. ...«индальгенции» Тецеля... — настоятель доминиканского монастыря в Саксонии Иоган Тецель в конце XV—начале XVI в. (умер в 1519 г.) стал известен тем, что беззастенчиво торговал индульгенциями, навязывая их и вымогая деньги; утверждал, что значение индульгенций (грамот на отпущение грехов, выдаваемых от имени Папы римского) превышает значение крещения.

С. 483. ...немца Шлецера... за то, что он издал своего «Нестора»... — немецкий историк Август-Людвиг Шлецер в 1760—1764 г. работал в России, позднее — в Геттингене. Написал ряд работ по русской истории. В 1802—1809 издал свою расшифровку Несторовой летописи, которую посвятил Александру I, императору России.

В. Н. Дядичев

- Аббас II — 82  
 Абеляр П. — 477  
 Август Гай Юлий Цезарь Октавиан — 8, 155, 218, 309  
 Аврелий Марк — 9, 10, 12, 15  
 Акиба бен Иосиф — 267, 455  
 Аксаков Н. П. — 359  
 Аксаков С. Т. — 135  
 Александр Македонский (Александр Великий) — 68, 135, 152, 309  
 Александр Север — 12  
 Алкивиад — 317  
 Аменофис IV — см. Аменхотеп IV  
 Аменхотеп III — 142  
 Аменхотеп (греч. Аменофис) IV (Эхнатон) — 88, 138, 141—144, 156, 235  
 Амьель (Амисель) А. Ф. — 268  
 Анакрсон (Анакреонт) — 130, 176  
 Андреев Ф. К. — 258  
 Антоний Великий (Антоний Святой) — 364  
 Антонин Пий — 9, 12  
 Антонины — 153  
 Алухтин А. Н. — 284  
 Аракчеев А. А. — 334  
 Аристотель — 11, 101, 130, 162, 243, 309, 353  
 Артемьев Ф. Ф. — 143  
 Ассурбанипал (Ашшурбанипал) — 112  
 Астиаг — 71  
 Аттила — 218  
 Ахав — 60, 61  
 Бакст (Розенберг) Л. С. — 317  
 Бакунин М. А. — 460  
 Бейлис М. Т. — 435, 459, 474, 480, 481, 486  
 Белинский В. Г. — 295  
 Беркли Дж. — 41  
 Бисмарк О. фон Шёнхаузен — 353, 484  
 Бламберг В. К. — 315, 317  
 Блан Л. — 290  
 Болотов В. В. — 9  
 Боткин В. П. — 263  
 Брем А. Э. — 160  
 Бругш Г. К. — 118, 130, 136, 178, 240  
 Брэстед Дж. Х. — 138, 142, 143, 151, 181, 321  
 Буадефр Р. Ф. Ш. Ле Мужон де — 477  
 Буль — 454  
 Бэкон Ф. — 101, 320, 321  
 Бэн А. — 404  
 Валленштейн А. — 393  
 Василий Великий (Василий Кесарийский) — 367  
 Василько Ростиславович — 393, 448  
 Введенский Д. И. — 178  
 Вейсман А. Д. — 389  
 Венадав (Венадад, Бен-Хадад III) — 60, 61  
 Виардо (Виардо-Гарсия) П. — 263  
 Видеман К. А. — 314  
 Вильгельм I Гогенцоллерн — 291  
 Вильгельм II Гогенцоллерн — 290, 291  
 Владимир I Святой — 467  
 Вольтер (Ф. М. Аруэ) — 13, 17, 176, 256, 483  
 Вундт В. — 314, 364, 365  
 Гано А. — 284  
 Гаркави А. Я. — 235, 322  
 Гейне Г. — 176, 483, 484  
 Геродот — 26, 36, 40—42, 45—51, 57, 58, 61, 64, 67, 87, 90, 94, 97, 98, 113, 114, 118, 122, 132, 137, 202, 215, 228—230, 244, 276  
 Герье В. И. — 8  
 Гёте И. В. — 13, 17, 21, 31, 445  
 Гиббон Э. — 187  
 Гиллел (Гиллель) — 469  
 Гинзбург (Гинцбург) Г. О. — 484  
 Глубоковский Н. Н. — 257  
 Гоголь Н. В. — 312  
 Голенищев В. С. — 307, 321

- Голицын А. Н. — 334  
 Гомер — 68, 80, 129, 150, 176, 198, 353, 471  
 Гонз — 477  
 Грей Т. — 286  
 Гретц (Грец) Г. — 454  
 Григорий Богослов (Григорий Назианзин) — 386  
 Григорий VII Гильдебранд — 420  
 Грузенберг О. О. — 484  
 Гумберт (Умберто I) — 155
- Давид — 53, 61, 138, 192, 230, 235, 290, 437, 438  
 Даль В. И. — 483  
 Данила Филиппович — 328  
 Дарвин Ч. Р. — 238, 240, 320, 368  
 Декарт Р. — 36, 41, 248  
 Демосфен — 11, 12  
 Дизраэли Б., граф Биконсфилд — 484  
 Димитрий (Дмитрий) Ростовский (Д. С. Туптало) — 325, 415  
 Диодор Сицилийский — 40  
 Добролюбов Н. А. — 176  
 Добротворский П. И. — 380  
 Домициан Тит Флавий — 382  
 Досифей — 335  
 Достоевский Ф. М. — 22, 299, 383, 409  
 Дрейфус А. — 459, 474—478
- Екатерина II Великая — 344  
 Ефимий — 339
- Жанна д'Арк — 423
- Занд (Санд) Жорж (А. Дюпен, по мужу Дюдеван) — 385  
 Заозерский Н. А. — 351  
 Зверев П. — 384  
 Зороастр (Заратуштра) — 483
- Иеровоам I (точнее, «бичи Ровоама») — 477  
 Иеровоам II — 56  
 Иловайский Д. И. — 173  
 Иннокентий Иркутский (И. Е. Попов-Вениаминов) — 415  
 Инцхаки (Ицхаки) Шломо (Раши) — 453  
 Иоанн Златоуст — 367  
 Иоанн Кронштадтский (И. И. Сергиев) — 466
- Калигула Гай Юлий Цезарь — 382  
 Камбиз — 68, 75, 180, 307  
 Кампанелла Т. — 79  
 Кант И. — 105, 198, 202, 240, 256, 271  
 Каракалла Септимий Бассиан — 49  
 Катон Младший (Утический) Марк Порций — 85  
 Катрфаж де Брсо Ж. Л. А. де — 413  
 Кельсиев В. И. — 336—340, 345, 346  
 Киселев П. Д. — 339  
 Климент Александрийский — 235, 386  
 Колумб Х. — 296, 355  
 Кольцов А. В. — 230, 485  
 Коновалов И. — 394, 395  
 Константин I Великий Флавий Валерий — 9, 13, 15, 153, 187  
 Константин Николаевич — 345  
 Коперник Н. — 390  
 Кочубей В. П. — 334, 335  
 Кулаковский Ю. А. — 8  
 Куприянова А. — 383  
 Кутузов М. И. — 152
- Ланцони — 99, 208, 275, 277  
 Лсвингстон — см. Ливингстон  
 Левитан И. И. — 458  
 Леонардо да Винчи — 311  
 Лепсиус К. Р. — 37, 67, 72, 90, 130, 136, 144, 154, 156, 179, 184, 207, 212  
 Лермонтов М. Ю. — 10, 30, 49, 294, 295, 298, 303, 325, 413, 421, 422, 425, 432  
 Лернер О. — 290  
 Ливингстон Д. — 347  
 Липранди И. П. — 339  
 Литвин С. К. (Ш. Х. Эфрон) — 35  
 Лихачев Н. П. — 90, 113, 114  
 Лобек К. А. — 69, 71  
 Локк Дж. — 256  
 Ломоносов М. В. — 374  
 Лукиан — 231  
 Лютер М. — 350, 368, 479
- Магомет (Мухаммед, Мохаммед) — 437, 438  
 Маймонид М. (Моше бен Маймон) — 97  
 Макарий Египетский (Макарий Великий) — 364  
 Макиавелли Н. — 353  
 Малербранш (Мальбранш) Н. — 41  
 Малышев П. — 385

- Мальтус Т. Р. — 374—377, 379—381, 386  
 Марков А. К. — 146  
 Маркс К. — 288, 289  
 Масперо Г. К. Ш. — 92, 97, 109, 120, 125,  
 130, 165, 181, 262, 264, 282, 303, 309,  
 316, 321  
 Мельников П. И. (псевд. А. Печерский)  
 — 345  
 Мережковский Д. С. — 373  
 Мервинги — 365  
 Мессалина (Валерия Мессалина) — 10,  
 112  
 Меттерних (Меттерних-Виннебург) К.  
 — 353  
 Микель-Анджело (Микеланджело) Буо-  
 нарроти — 479  
 Милль Дж. С. — 248, 365, 375—377, 404  
 Милорадович М. А. — 334  
 Мильтон Дж. — 173, 414  
 Милюкова А. С. — 8  
 Минский (Виленкин) Н. М. — 475  
 Михаил (М. Десницкий) — 335  
 Михайловский-Данилевский А. И. — 135  
 Моммзен Т. — 8  
 Мор Т. — 320  
 Муравьев А. Н. — 347  
 Мурильо Б. Э. — 218  
 Мюссе А. де — 477  
  
 Набухадурсор (Навуходоносор II) —  
 112  
 Надеждин Н. И. — 335, 336, 339  
 Наполеон I Бонапарт — 16, 26, 28, 75,  
 90, 124, 184, 218, 251, 300, 314, 353  
 Некрасов Н. А. — 176, 263, 282, 291  
 Нерон Клавдий Цезарь — 10, 382  
 Нефер-Нефру-Атон (Нюфритити, Нефер-  
 тити) — 138, 141, 143  
 Никанор (А. И. Бровкович) — 29, 30  
 Николай V (Т. Парентучелли) — 32  
 Никон (Н. Минов) — 351  
 Новиков Н. И. — 478  
 Ньютон И. — 101, 130, 158, 320  
  
 Овсянникова Е. А. — 289  
 Олесницкий А. А. — 8, 455, 456  
 Ориген — 193, 387  
 Орлов Г. Г. — 344  
  
 Павел I — 334  
 Павзаний (Павсаний) — 40  
  
 Паскаль Б. — 268, 320  
 Пастер Л. — 477  
 Пеликан В. В. — 387, 396  
 Переферкович Н. А. — 34, 62, 64, 66, 127,  
 456, 463  
 Перикл — 152, 344  
 Петр I Великий — 302, 342, 346  
 Пилат Понтий — 354, 382  
 Пиндар — 130  
 Пирр — 476  
 Пифагор — 21, 353, 436  
 Платон — 11, 12, 41, 46, 68, 69, 130, 221,  
 243, 276, 424, 474  
 Платон (П. Е. Лёвшин) — 345  
 Плиний Старший Гай Секунд — 83, 348  
 Помпей Гней Великий — 9  
 Пономарев П. — 395  
 Порция — 85, 112  
 Поссевин А. — 346  
 Потемкин Г. А. — 344, 345  
 Пракситель — 73, 195, 216  
 Прахов А. В. — 136, 317  
 Прево М. (автор романа «Les demi-  
 vierges») — «Проститутки», 1894) —  
 385  
 Прудон П. Ж. — 288, 289  
 Птоломеи (Птолеми) — 11, 180  
 Пугачев Е. И. — 399  
 Пушкин А. С. — 15, 29, 30, 45, 188, 290,  
 300, 413, 455, 485  
  
 Радищев А. Н. — 478  
 Рафаэль Санти — 31, 32, 39, 45, 49, 89,  
 170, 218, 479  
 Ревилль Ж. — 9  
 Ренан Ж. Э. — 17  
 Репин И. Е. — 311  
 Ригм — 454  
 Ровоам — 18  
 Розанов В. В. — 177, 260, 346, 350, 381,  
 384—386, 397—399, 401—407, 409,  
 410, 412—414, 428, 455  
 Розанов Н. В. — 289  
 Розанова А. С. — 289  
 Росселини (Роселлини) И. — 90, 123  
 Ротшильд М. А. — 484  
 Руссо Ж. Ж. — 79  
  
 Сальвиан — 68  
 Северы — 9

- Селиванов К. И. — 328—330, 332, 334—  
337, 387—389, 395—397, 399, 404,  
406—410, 413, 418—420, 422
- Семирадский Г. И. — 10
- Сенкевич Г. — 10
- Серафим Саровский (П. С. Мошнин) —  
466
- Синицын — 339, 340, 342
- Соколов Ф. Ф. — 318
- Сократ — 130, 216, 347, 424
- Соловьев В. С. — 286, 287, 293, 371, 424,  
426, 431
- Соловьев С. М. — 290
- Соломон — 8, 13, 17, 18, 36, 53, 54, 57,  
61, 192, 225, 267, 424, 437, 438, 441,  
451, 452, 457
- Софокл — 231
- Спенсер Г. — 11, 314
- Сперанский М. М. — 334, 343, 344, 369
- Спиноза Б. — 51, 483
- Стенбок (Стенбок-Фермор) Ю. И. — 340,  
346
- Страбон — 40, 228
- Суворов А. В. — 344, 345
- Тамерлан (Тимур) — 218, 300, 301
- Тацит Публий Корнелий — 10, 83, 348
- Тецель И. — 479
- Тиберий Клавдий Нерон — 425
- Тии — 142, 143
- Тиле К. П. — 314
- Тит Флавий Веспасиан — 68, 301
- Толстой Л. Н. — 9, 31, 302, 317, 449,  
450
- Толстой П. А. — 334
- Трубецкой С. Н. — 390
- Тураев Б. А. — 156, 308, 321, 322
- Тургенев И. С. — 152, 263
- Тутмос III — 142
- Тучков А. И. — 317
- Тэйлор (Тайлор) Э. Б. — 314
- Тэн И. — 404
- Фальконет (Фальконе) Э. М. — 302
- Фаррар Ф. У. — 8, 368, 370, 371
- Фейербах Л. — 353
- Фемистокл — 20
- Феодорит (Теодорет) Кирский — 386
- Фехнер Г. Т. — 364
- Филарет (В. М. Дроздов) — 15, 16, 19,  
24, 25, 344, 351
- Филон Александрийский — 25, 390
- Фишер К. — 271
- Флобер Г. — 8
- Фома Кемпийский (Т. Хемеркен) — 384
- Херасков М. М. — 143
- Хирам I — 17, 53
- Хрисанф (В. Н. Ретивцев) — 114, 118,  
119, 385, 386
- Цезарь Гай Юлий — 344
- Цёльнер И. К. Ф. — 60, 62
- Цицерон Марк Туллий — 155
- Чаадаев П. Я. — 414
- Шамай (Шаммай) — 469
- Шамполион (Шампольон) Ж. Ф. — 135,  
136, 174, 178, 212, 260
- Шарапов С. Ф. — 359
- Шейн П. В. — 458
- Шекспир У. — 21, 22, 33, 284, 445
- Шилейко В. К. — 114
- Шиллер И. Ф. — 40, 413, 445
- Шиллов А. И. — 335, 404, 405, 407, 411, 412
- Шлёцер А. Л. — 483
- Шлиман Г. — 198
- Шнеерсон Шмуэль — 435, 436
- Штраус Д. Ф. — 17
- Щеголев П. Е. — 188
- Эберс Г. — 301, 303
- Эвгемер (Евгемер) — 353
- Эванс А. Дж. — 198
- Эфрос А. М. — 441, 452, 453
- Эхнатон (букв. «угодный Атону») — см.  
Аменхотеп IV
- Ювенал Децим Юний — 10, 83, 228, 301
- Юнгеров П. А. — 454—456
- Юстин Мученик — 199
- Ющинский А. — 475, 480
- Ярослав Мудрый — 47
- Ярославна (Ефросинья Ярославна) — 83,  
112

ВОЗРОЖДАЮЩИЙСЯ  
ЕГИПЕТ

<Предисловие> .....	7
Выпуски I—III .....	8
Величайшая минута истории .....	—
Зачарованный лес .....	20
Из седой древности .....	22
Подробности и частности .....	69
Как произошли «египетские» и другие «древние таинства»? .....	—
«Афродита Книдская» и египтянка .....	73
Первая молитва на земле .....	74
Как произошло изображение Изиды .....	75
Как стали поклоняться Изиде .....	77
Афродизианская красота .....	79
У ноги мужа .....	83
Дети египетские .....	86
Первая колыбельная песня на земле .....	89
Песня песней .....	—
Обрезание у египтян .....	90
Выпуск IV .....	91
Тайна четырех лиц, шести крыл и омовение .....	—
Волшебная трость .....	106
О поклонении плодородию Нила .....	109
У развалин великой стены .....	110
Что такое обрезание .....	115
Обрезание .....	—

Выпуск V. Как возникли колоссы египетские .....	116
Выпуск VI .....	124
«В робы и робы» Востока .....	—
Из быта египтян .....	125
Игры египтян .....	126
По канве египетских рисунков .....	127
Семья и сожитие с животными .....	128
За 1400 лет до Р.Х. ....	138
К рисунку: «Анубис принимает мумию из рук плачущей жены, чтобы внести ее в могилу» .....	144
Из «Книги мертвых...» .....	—
Египетский загробный суд .....	150
Шакал .....	—
Животное, просвещающее человека .....	152
Выпуск VI' .....	153
Поклонение Солнцу .....	—
Египетское солнце <i>с руками</i> .....	156
Провидение как растительная идея .....	—
Символика, символы, подобия и преобразования .....	163
Почему фараоны хоронились не при основании пирамид? .....	166
Выпуск VII. Лица прекрасные .....	168
К большому портрету деликатного и содeржательного лица .....	—
К мужскому портрету .....	169
К картине (большой) египетской семьи .....	—
К портретам египетским .....	171
К портрету из Шамполиона .....	174
Груди, кормление «на том свете» .....	175
Нежность .....	177
Откуда эти люди? .....	178
Нога коровы .....	181
Выпуск VIII. Священный блуд .....	182
Бутон .....	—
«Вечноженственное» египтян .....	—
Моисей и Египет .....	185
Вечное афродизианство .....	186
...так называемые «Нагие боги» .....	195
Еще о том же .....	201
Примечание к «Нагие боги Востока» .....	203



<b>Выпуск IX—X. Résumé и таинства</b> .....	205
Египетские таинства .....	—
Тайна человеческого рта .....	209
Тайна Озириса .....	210
Тайна Дианы Ефесской .....	211
Тайна скарабея .....	212
Как произошел скарабей .....	219
Египетская Суббота, графически выраженная .....	220
Столпы мира .....	221
О поклонении аписам у древних египтян .....	227
Египет и раб ( и друг) его .....	231
Вкус и запах .....	233
Мужество и отчество .....	237
Résumé об Египте .....	240
Исторические категории .....	244
 <b>Выпуск XI. Таинства Египта</b> .....	 252
«Кожный покров» на человеке .....	—
Еще о коже человека .....	255
Димстра и миф Эдипа .....	256
Бес .....	259
Деталь египетского рисунка .....	261
Перед зёвом смерти .....	264
«Линючесть» вещей. «Линялость» вещей .....	271
Танцы .....	274
Вечная жизнь. Вечные хлебы. Вечная вода .....	276
Скука .....	277
Знание .....	281
Из «8-го дня творения». «Фантастические животные» .....	282
Спектр пола .....	284
Жизнь .....	285
Элегия мира .....	286
Анархия .....	288
Египет (6 августа 1918 г. Ночь) .....	291
 <b>Выпуск XII</b> .....	 292
Из восточных мотивов .....	—
Египет .....	301
Пробуждающийся интерес к Древнему Египту .....	306
Оттенок разницы (К спору об Египте) .....	308
Психологическое осложнение иероглифов .....	309
Цивилизация «центра» и «окраины» (К духу исторического Египта) .....	312
Этнографические объяснения Египта .....	313
За спиной открытия .....	315
Ум светит или сведения светят? .....	319

# АПОКАЛИПСИЧЕСКАЯ СЕКТА

## (Хлысты и скопцы)

Мечта «духовных христиан» .....	325
Поездка к хлыстам .....	346
Материалы о хлыстах .....	381
Роковая филологическая ошибка .....	387
«Страды» Кондратия Селиванова .....	396
«Послания» Кондратия Селиванова .....	407
Скопческие духовные песни .....	415
О «Сибирском Страннике» .....	418

## МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1909—1914 ГОДОВ

Библейская поэзия .....	441
О поэзии в Библии .....	—
О «Песне песней» .....	450
В соседстве Содома (Истоки Израиля) .....	457
«Ангел Иеговы» у евреев (Истоки Израиля) .....	465
Европа и евреи .....	475
Иудеи и иезуиты .....	479
Евреи и «трэфные христианские царства» .....	482
В преддверии 1914 года .....	485
Памятка .....	486
<i>С. Федякин. Сокровенный труд Розанова</i> .....	492
КОММЕНТАРИИ .....	500
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН .....	519

Василий  
Васильевич  
Розанов

Собрание сочинений

# Возрождающийся Египет

Заведующий редакцией

*М. М. Беляев*

Ведущий редактор

*П. П. Апрышко*

Редакторы

*Т. В. Исакова и Ж. П. Крючкова*

Художественный редактор

*О. Н. Зайцева*

Технический редактор

*Е. Ю. Куликова*

Корректор

*Н. А. Медведева*

ЛР № 010273 от 10.12.97.

Сдано в набор 15.02.02.

Подписано в печать 20.05.02.

Формат 60x84  $\frac{1}{16}$ .

Бумага офсетная для ВХИ.

Гарнитура «Таймс».

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 30,69. Уч.-изд. л. 37,02.

Тираж 4000 экз. Заказ № 387.

Электронный оригинал-макет  
подготовлен в издательстве.

Издательство «Республика»  
Министерства Российской Федерации  
по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций.

ГП издательство «Республика».

Миусская пл., 7,

Москва. А-47, ГСП-3 125993.

Отпечатано с готовых диапозитивов  
на ГИПП «Уральский рабочий»  
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕСПУБЛИКА»**

Выпускает

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

**В. В. РОЗАНОВА**

В 1994—2002 гг.

вышли следующие тома:

- Т. 1 — Среди художников
- Т. 2 — Мимолетное
- Т. 3 — В темных религиозных лучах
- Т. 4 — О писательстве и писателях
- Т. 5 — Около церковных стен
- Т. 6 — В мире неясного и нерешенного
- Т. 7 — Легенда о Великом инквизиторе  
Ф. М. Достоевского
- Т. 8 — Когда начальство ушло...
- Т. 9 — Сахарна
- Т. 10 — Во дворе язычников
- Т. 11 — Последние листья
- Т. 12 — Апокалипсис нашего времени
- Т. 13 — Литературные изгнанники.  
Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев
- Т. 14 — Возрождающийся Египет

Подготовлены к выпуску  
следующие тома:

- Т. 15 — Судьбы русского консерватизма
- Т. 16 — Семейный вопрос в России



ISBN5-250-01840-8



9 785250 018401 >

